ISSN 0130-6545

6.1998

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

РОМЕН ГАРИ
Белая Собака

ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКА
К 100-летию со дня рождения

АНДРЕ МОРУА
Воспоминания

26 мая названы имена лауреатов наших ежегодных литературных премий

Премия ***ИЛлюминатор***
(учредители «ИЛ» и Конверсбанк)
присуждена **Виктору Голышеву**
за перевод романа А. Ислера «Принц Вест-Эндский»

Премия ***Инолит***
(учредители «ИЛ» и Конверсбанк)
присуждена **Ирине Волевич**
за перевод романа Я. Муакса «Праздники любви»

Премия ***Инолиттл***
(учредители «ИЛ» и Конверсбанк)
присуждена **Ирине Кузнецовой**
за перевод новеллы В. Денона «Ни завтра, ни потом»

Премия ***имени отца А. МЕНЯ***
(учредители «ИЛ», Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино, Институт восточноевропейской истории Тюбингенского университета и Католическая академия Штутгарта)
присуждена **Чингизу Айтматову**

Премия ***имени А. КАРЕЛЬСКОГО***
(учредители «ИЛ» и Альманах немецкой литературы)
присуждена **Владимиру Седельнику**
за статью «Искусству дозволено все»

Премия ***«Библиотеки журнала «Иностранная литература»***
(учредители «ИЛ» и издательство «Азбука»)
присуждена **Ларисе Савельевой**
за перевод романа М. Павича «Хазарский словарь»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — ЗАО КОНВЕРСБАНК
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)

Из общего тиража в 15 470 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 2214 экз. журнала.

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — заведующий отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, П.Л. ВАЙЛЬ,
М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

6 **июнь** **1998**

СОДЕРЖАНИЕ

РОМЕН ГАРИ — Белая Собака (*Главы из книги. Перевод с французского М. Злобиной*)..... 5

ЭМИ БЛУМ — Рассказы (*Перевод с английского и вступление О. Варшавер*)..... 54

СИЛЬВИЯ МОСС — Стихи из книги «Удаляющиеся города» (*Перевод с английского и вступление Изабеллы Мизрахи*)..... 71

ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКА — Стихи и эссе (*К 100-летию со дня рождения. Вступление Анатолия Гелескула. Переводы с испанского А. Гелескула и Н. Малиновской*)..... 77

ЖОЗЕ САРАМАГО — Евангелие от Иисуса (*Роман. Окончание. Перевод с португальского А. Богдановского*)..... 96

Документальная проза

АНДРЕ МОРУА — Воспоминания *(Фрагменты книги. Перевод с французского М. Аннинской)*..... 166

Статьи, эссе

МИЛОРАД ПАВИЧ — Писать во имя отца, во имя сына или во имя духа братства? *(Перевод с сербского Ларисы Савельевой)*..... 194

ЦВЕТАН ТОДОРОВ — Человек, потерявший родину *(Главы из книги. Перевод с французского Н. Кулиш)*..... 200

ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ — Прохладный свет. *О подлинной реальности Мирчи Элиаде и Гайто Газданова*..... 212

АЛЕКСАНДР ГЕНИС — Довлатов и окрестности *(Главы из книги)*..... 220

Гений места

ПЕТР ВАЙЛЬ — Из жизни горожан (Нью-Орлеан — Теннесси Уильямс, Нью-Йорк — О. Генри)..... 228

Среди книг

С. АПТ — Пушкин по-немецки. Е. СОКОЛОВА — «К умершему в юности». Т. ВЕНЕДИКТОВА — В опровержение слухов о конце литературной истории..... 241

Курьер «ИЛ»..... 249

Авторы этого номера..... 254

© «Иностранная литература», 1998

В следующем номере «ИЛ»

Роман «ПСАЛОМ В КОНЦЕ ПУТИ» норвежского писателя **Эрика Фоснеса Хансена** — рассказ о трагическом рейсе «Титаника». В рамки повествования вставлены жизнеописания музыкантов судового оркестра, волею судеб сошедшихся на корабле и разделивших его участь.

Удивительные, порой неожиданные и всегда полные юмора истории из жизни **Жоржи Амаду**, рассказанные им самим, — эпизоды из книги воспоминаний патриарха бразильской литературы «КАБОТАЖНОЕ ПЛАВАНЬЕ».

Фрагменты книги «ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ», составленной из писем **Симоны де Бовуар** к американскому писателю Нельсону Олгрену.

Цветные иллюстрации номера — работы ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКИ:

На 1-й стр. обложки — «Портрет сидящей испанки».
На 2-й стр. обложки — «Девушка».
На 3-й стр. обложки — «Пьеро» и «Ноктюрн».
На 4-й стр. обложки — «Антоньито Эль Камборьо».

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в следующих книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Англия» — Хлебный пер., д.2/3
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
«Летний сад» — ул. Б. Никитская, 46

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу: http://russia.agama.com/r_club/journals/inostran/soderj.htm

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎953-51-47; факс 953-50-61; E-mail inolit@adicom.ru

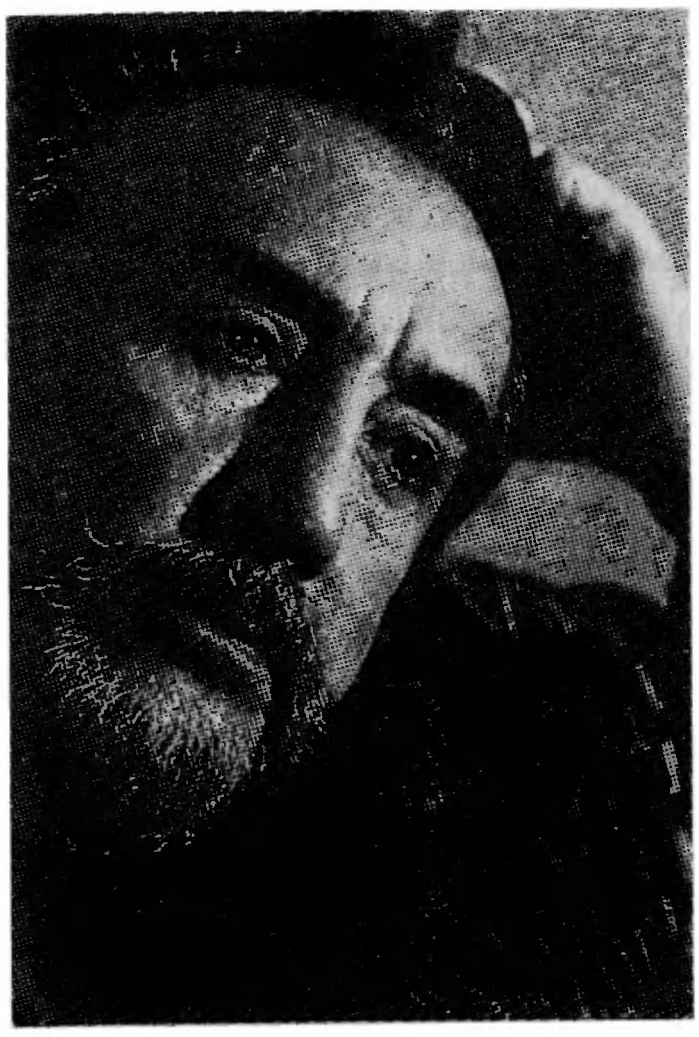
Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 26.05.98. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,72. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 26,84. Заказ №3414.

Тираж 15 470 экз.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



РОМЕН ГАРИ

Белая Собака

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

Перевод с французского М. ЗЛОБИНОЙ

Это был серый пес с бородавкой вроде родинки на правой стороне морды и рыжеватой шерстью вокруг носа, придававшей ему сходство с заядлым курильщиком с вывески бара «Курящая собака» в Ницце моего детства.

Он смотрел на меня чуть наклонив набок голову, и в его напряженном, пристальном взгляде была та мучительная нестерпимая надежда, с какой потерявшиеся собаки подстерегают прохожих. У него была грудная клетка борца, и впоследствии, когда мой старый Сэнди задирал его, я много раз наблюдал, как он грудью, словно бульдозер, отбрасывал приставалу.

Он вошел в мою жизнь 17 февраля 1968 года в Беверли-хиллс, куда я приехал к своей жене Джин Сиберг на время съемок фильма. В тот день на Лос-Анджелес обрушился ливень — безудержный, как большинство явлений природы в Америке, если уж они являют себя. За несколько минут среди домов образовалось озеро, по которому беспомощно ползали, разбрызгивая воду, униженные «кадиллаки», и город принял то выражение несообразности, свойственное вещам, используемым не по назначению, к которому нас давно приучили сюрреалисты. Я беспокоился за своего пса Сэнди, который ушел накануне в холостяцкий поход в сторону Сансет-стрип и до сих пор не вернулся. Благодаря высокоморальной атмосфере в нашей семье Сэнди оставался девственником до четырех лет, но какая-то потаскушка с Дохени-драйв заставила его потерять голову. Четыре года буржуазного воспитания и образцовых принципов в два счета полетели сучке под хвост. У этого пса простая, доверчивая и беззащитная душа, совершенно не готовая к встрече с кинематографическими кругами Голливуда.

Мы привезли из Парижа весь наш постоянный зверинец. Тут были бирманский кот Бруно и его сиамская подруга Май; на самом-то деле Май был мальчиком, но мы, не знаю толком почему, всегда считали его девочкой — наверно, из-за тех сокровищ ласковой нежности, которыми он нас щедро одаривал. Еще у нас были старая драная кошка Биппо, дикарка и человеконенавистница, выпускавшая когти и царапавшаяся, едва лишь мы пытались приласкать ее; тукан Билли-Билли, подобранный нами в Колумбии, и великолепный семиметровый питон по прозвищу Пит Душитель, которого я встретил одновременно с туканом в колумбийских джунглях и которого недавно отдал в частный зоопарк Джека Каррутерса в долине Сан-Фернандо. Мне пришлось расстаться с Питом, потому что мои друзья отказывались заниматься им, когда я — в припадках непоседливости, присущей человеку, которого теснота собственной шкуры доводит до клаустрофобии, — внезапно принимался метаться с континента на континент в поисках кого-то

© Gallimard, 1970
© М. Злобина. Перевод, 1998

или чего-то непохожего, сам не знаю чего. Лучше, наверно, сразу же уточнить, что я так и не нашел ничего *другого* в этих моих поездках-поисках, за исключением совершенно необыкновенных сигар в Мадрасе, ставших одним из самых больших и приятных сюрпризов в моей жизни.

Время от времени я навещал своего питона. Я входил в отдельную клетку, которую отвел ему Джек Каррутерс из уважения к писателям, устраивался, скрестив ноги, против Пита, и мы, остолбенев, долго смотрели друг на друга с беспредельным удивлением, будучи не в состоянии дать какое-либо объяснение тому, что с нами случилось, и поделиться хотя бы крупицей понимания, извлеченной из нашего прошлого опыта. Очутиться в шкуре питона или человека было поистине сногсшибательным происшествием, и это совместно пережитое ошеломление рождало между нами настоящее братство.

Иногда Пит складывался треугольником: питоны не сворачиваются в клубок, а предпочитают углы; у меня было впечатление, что он подает мне какой-то знак, который я должен разгадать. Позднее мне объяснили, что поза треугольником — защитная позиция питона, которую он принимает в случае опасности, и таким образом я узнал, что у меня с Питом Душителем действительно есть нечто общее — исключительная осторожность в отношениях с людьми.

К полудню, когда на улицах бушевали потоки воды, я услышал красивый, так хорошо знакомый мне баритональный лай, и пошел открывать дверь. Сэнди — крупный желтый пес, вероятно, очень побочный потомок какого-то далекого датского дога, но из-за ливня и грязи его шерсть приняла цвет раздавленного шоколада. Он стоял у двери с поникшим хвостом, опустив нос к самой земле, и разыгрывал возвращение блудного сына, раскаянье и стыд с совершенством истинного ханжи. Не знаю, сколько уж раз я говорил ему, чтобы он не шлялся по ночам; погрозив ему пальцем и многократно повторив «bad dog»[1], я уже приготовился в полной мере насладиться ролью обожаемого и грозного господина и хозяина, обладателя абсолютной власти, когда мой пес деликатно повернул голову, указывая, что мы не одни. В самом деле, он привел случайного знакомого. Это была серая немецкая овчарка, кобель, примерно семи-восьми лет, красивое животное, производившее впечатление понятливости и силы. Я отметил, что у него не было ошейника, что было редкостью для породистого пса.

Я впустил своего гуляку, но серый не уходил; дождь хлестал с такой силой, что его мокрая шерсть прилипла к телу, отчего он стал похож на тюленя. Он махал хвостом, навострив уши; блестящие живые глаза следили за мной с тем напряженным вниманием, с каким собаки подстерегают привычный жест или приказ. Он явно ждал приглашения, требуя права убежища, которое издавна принято в отношениях людей с их товарищами по несчастью. Я пригласил его в дом.

Совсем нетрудно составить себе представление о характере собаки, за исключением доберманов, чьи реакции всегда казались мне непредсказуемыми. Серый сразу же поразил меня своей благожелательностью. Впрочем, всякий, кто жил среди собак, знает, что если одна из них проявляет дружелюбие к другой, то почти всегда можно довериться ее суждению. Мой Сэнди был на редкость кроткого нрава, и непроизвольная симпатия, которую вызвал у него этот могучий пес, укрывшийся у нас от дождя, была для меня самой лучшей рекомендацией. Я позвонил в Общество защиты животных сообщить, что приютил бродячую немецкую овчарку, дал номер своего телефона на случай, если объявится хозяин, и с облегчением отметил, что мой приемыш обращается с кошками чрезвычайно почтительно и вообще отменно воспитан.

В следующие дни у нас побывало множество гостей, и серый, которого я назвал Батькой (что значит по-русски папаша), имел большой успех у моих друзей, хотя поначалу производил отпугивающее впечатление. В самом деле, кроме бойцовской груди и огромной черной пасти, Батька обладал еще клыками, напоминавшими рога тех маленьких бычков, которых в Мексике называют «мачос». А между тем у него было мягкое, доброе сердце; он обнюхивал посетителей, чтобы лучше запомнить их, и после первой

---

[1] Плохая собака (*англ.*). (*Здесь и далее, за исключением отмеченных особо, — прим. перев.*)

же ласки, shook hands, давал им лапу, словно желая сказать: «Я прекрасно знаю, что с виду страшен, но, право же, я славный малый». По крайней мере, именно так я истолковывал старания Батьки успокоить моих гостей, но само собой разумеется, что романист легче других обманывается относительно природы живых существ и вещей, ибо он *придумывает* их. Я всегда придумывал всех тех, кого встретил в своей жизни или кто жил рядом со мной. Для профессионала воображения так легче, это избавляет вас от утомительных усилий. Вы не теряете времени на то, чтобы пытаться понять своих близких, вам не надо заниматься ими и на самом деле уделять им внимание. *Вы придумываете их.* Потом, когда вам преподнесут сюрприз, вы ужасно сердитесь: они вас обманули! В общем, оказались недостойны вашего таланта.

Никто не требовал серого, и я уже смотрел на него как на законного члена семьи.

В доме, который я занимал в Ардене, естественно, был бассейн, и компания, отвечавшая за его исправность, два раза в месяц посылала служащего осмотреть фильтрующие устройства. Как-то после обеда, когда я писал, со стороны бассейна вдруг раздался протяжный рык, сменившийся тем отрывистым, частым и неистовым лаем, каким собаки предупреждают о присутствии *чужака* и одновременно — о своей готовности немедленно напасть на него. Нередко это лишь собачий эквивалент нашего «Удержите меня, не то я наделаю бед», однако настоящие, хорошо обученные сторожевые псы не валяют дурака. Я не знаю ничего тягостнее этих внезапных взрывов дикой ярости, имеющих целью парализовать вас, приковать к месту — для начала, а там уж... Я выбежал в патио.

За воротами стоял чернокожий служащий, приехавший проверить фильтр бассейна, и Батька с пеной на морде кидался на решетку в таком жутком пароксизме ненависти, что мой славный Сэнди заполз, скуля, под куст и прикинулся ковриком.

Чернокожий стоял совершенно неподвижно, парализованный страхом. Да и было отчего... Добродушный, всегда такой приветливый с нашими гостями, пес превратился в свирепую фурию, и из глубины его глотки рвался рев оголодавшего хищника, который видит мясо, но не может его достать.

Есть что-то глубоко деморализующее и гнетущее в этих мгновенных превращениях мирного и, казалось бы, хорошо знакомого вам домашнего животного в кровожадное и как бы совершенно *другое* существо: поистине изменение натуры, чуть ли не переход в другое измерение. Это один из тех мучительных моментов, когда все ваши утешительные системы и привычные категории разлетаются вдребезги. Обескураживающий опыт для любителей незыблемых истин. Внезапно мне открылся образ первобытной жестокости, таящейся в недрах природы, о подспудном существовании коей — в перерывах между двумя убийственными проявлениями — мы охотно забываем. Гуманизм (так это называлось в былые времена) всегда бился в силках этой дилеммы — между любовью к зверью и ужасом зверства.

Я попытался оттащить Батьку, заставить его вернуться в дом, но у этого негодяя и впрямь было чувство долга. Он не кусал меня, но обслюнявил все пальцы, вырываясь из рук, и бросался, оскалив клыки, на ворота.

Чернокожий стоял по другую сторону с инструментами в руках. Это был молодой человек. Я очень хорошо помню выражение его глаз, потому что впервые видел негра перед лицом животной ненависти. Он выглядел печальным, как это бывает с некоторыми людьми, когда им страшно. Во время войны я часто подмечал это выражение на лицах своих товарищей по эскадрилье. Помню, как накануне одной особо опасной операции (нам предстояло идти бреющим полетом) полковник Фурке сказал мне: «У вас печальное лицо, Гари». Мне было страшно.

Я отослал молодого человека, решив на этой неделе обойтись без чистки бассейна.

На следующее утро та же сцена повторилась со служащим Вестерн-юнион, доставившим мне телеграмму.

А после обеда нас навестили друзья, и, вопреки моим опасениям, Батька принял их с величайшей любезностью. Это были белые.

Тогда я вспомнил, что служащий Вестерн-юнион был чернокожий.

***

Понемногу мной овладевало беспокойство, хорошо знакомое тем, кто ощущал, как вокруг них разрастается и становится все более очевидной неприятная истина, которую они отказываются принять. Это просто совпадение, говорил я себе. Игра воображения. Я одержим «проблемой».

Но после того как Батька едва не загрыз посыльного из супермаркета, мое беспокойство сменилось настоящим смятением. В тот момент, когда я открывал дверь, Батька лежал посреди комнаты и одним махом в коварном, рассчитанном на внезапность атаки молчании прыгнул к горлу человека. Еще секунда — и было бы поздно: я едва успел захлопнуть ударом колена дверь.

Посыльный был чернокожий.

В тот же день я усадил Батьку в машину и повез в «Ноев ковчег» Джека Каррутерса в долине Сан-Фернандо. Я хорошо знал Джека, бывшего ковбоя экрана, уже много лет занимавшегося дрессировкой животных для кино. Кроме всего прочего, его заведение гордилось серпентарием, где вы могли найти самых типично американских ядовитых гадов. Джек и его помощники извлекали из них яд, шедший на приготовление сывороток. Змеиная яма была тем местом, которое я старательно обходил, приезжая на ранчо: когда глядишь на то, что там копошится, кажется, будто наблюдаешь знаменитое коллективное бессознательное Юнга, то самое, в которое все мы скатываемся, едва родившись. Удручающее зрелище.

Джек сидел за своим рабочим столом в синем комбинезоне и неизменной бейсбольной кепке. Он молча выслушал меня, покусывая одну из тех гнусных сигар, на которые Америка обрекла себя, порвав с Гаваной.

— И что же вы хотите, чтобы я сделал?

— Вылечите собаку...

Ной Джек Каррутерс, что называется, спокойный человек; за его чуть ироническим спокойствием чувствуется внутренняя сила, слишком уверенная в себе, чтобы демонстрировать крутые замашки. Только странная, словно нарочитая неподвижность его массивного коренастого тела может навести на мысль о некой подавляемой агрессивности, своего рода сознательном отказе от насилия. Впрочем, это рассуждение человека, привыкшего держать себя в узде: я раз и навсегда смиренно признал, что не в состоянии полностью цивилизовать скрытое во мне животное, которое таскаю с собой по всему свету. Как бы то ни было, в Голливуде все любят Джека, несмотря на его холодность, ведь этот человек понимает, что канарейка, которую вы ему доверили, не может быть заменена какой-либо другой канарейкой и что господин, который поместил к нему своего боа-констриктора, умоляя окружить его заботой и вниманием, расстался с любимым существом — любимым, возможно, потому, что ничего менее похожего на себя он не нашел.

— Вылечить?

Джек разглядывает меня своими бледно-голубыми льдинками.

— От чего вылечить?

— Этого пса специально натаскали нападать на чернокожих. Клянусь вам, это вовсе не мои фантазии. Каждый раз, как к двери приближается негр, он впадает в бешенство. С белыми — ничего, машет хвостом и дает лапу.

— Ну и что?

— Как «ну и что»? Это лечится, нет?

— Нет, ваш пес слишком стар. — В его глазах вспыхивает насмешливый огонек. — Это потерянное поколение. Вы должны бы это знать.

— Джек, всем известно, что вы творили чудеса с так называемыми испорченными животными.

— Это вопрос возраста. Старые привычки слишком прочно въедаются... Ничего не поделаешь. К тому же почти все «испорченные» животные были кем-то испорчены. Сознательно *извращены* годами систематической дрессировки. Ваш пес слишком стар.

— Это дело терпения.

— Слишком поздно. Ему, должно быть, лет семь. Его нельзя изменить. Слишком укоренившаяся привычка. То, что называют профессиональной деформацией.

— Но нельзя же оставить его таким.

— Что ж, усыпите его. На вашем месте я бы сделал ему укол.

— Мне кажется, сделать укол следовало бы скорее тем мерзавцам, которые натаскали его...

Джек смеется. Он из тех счастливчиков, которые способны одним «ха-ха-ха» отмахнуться от целого света.

— Я даже не уверен, что смогу взять к себе вашу псину. У меня два чернокожих помощника. Вряд ли им понравится это. Ну да ладно, оставьте его пока, там видно будет.

Я прощаюсь с Батькой. Он следит за мной с напряженным вниманием, навострив уши и слегка наклонив набок голову. Я возвращаюсь, сажусь рядом с ним на землю и долго глажу его серую голову. До встречи, папашка! Не расстраивайся. Наша возьмет.

Я еду по Колдуоттер-кенион, и на сердце у меня такая тяжесть, словно его придавили горы камней. Широкие, без тротуаров авеню, обсаженные пальмами, безлюдны, только машины обитаемы. Я кружу по этой моторизованной пустыне, все время возвращаясь к бульвару Уилшир, где имеются тротуары. Тротуары здесь — словно оазисы.

Радио в машине сообщает о расовых стычках в Детройте. Двое убитых. После бунта в Уотсе, когда погибло тридцать два человека, страна в тревоге, ведь еще не было такого рекорда, который Америка не сумела бы перекрыть в более или менее короткий срок.

Когда дело касается людей, можно, по крайней мере, утешиться Шекспиром, успехами медицины или следами наших подошв на Луне. Но что касается собак, то тут невозможны никакие алиби. Всякий раз, как я навещаю Батьку, мне чудится в его взгляде немой вопрос: «Что я такого сделал, почему меня посадили в клетку, почему ты больше не хочешь меня?» Что я могу ответить этой, в сущности, невинной твари? Только утешить лаской. Уходя от Батьки, я испытываю приступ настоящей ненависти к самому себе, но, если воспользоваться знаменитой фразой Виктора Гюго, «Когда я говорю «я», то имею в виду всех вас, несчастные».

Каждый день я приезжаю в собачий питомник.

Надо же посмотреть, к чему мы с вами пришли.

Семь часов утра. Кроме ночного сторожа и животных, в «Ноевом ковчеге» ни души. Цветы и листья, колеблемые утренним ветром, сверкают крупными, словно гроздья зари, каплями росы.

Жирафа доктора Дулитла разглядывает меня такими женственными в тяжелых ресницах глазами, каким могли бы позавидовать дамы от Элизабет Арден. Батька встает на задние лапы, опираясь на решетку, он еще издали почуял меня. Я прижимаюсь щекой к железной сетке, ощущаю его холодный нос и горячий язык. Совсем нетрудно узнать во взгляде собаки выражение любви, и из-за этой собачьей преданности и любви я вспоминаю о своей матери. Правда, глаза у нее были зеленые...

Ключа у меня нет. Я сажусь на корточки у клетки, а Батька ложится по другую сторону решетки, положив морду на вытянутые лапы, и не сводит с меня глаз.

Лучезарное небо по-калифорнийски прозрачно, как обычно на заре, пока еще на дороги не вышли миллионы машин и не заработали заводы, чье грязное дыхание накроет город вонючей пеленой.

Я собирался уйти незаметно: не хотелось ни с кем разговаривать, да и нечего было сказать. Но я потерял всякое представление о времени, как это часто бывает, если утекающие мгновенья исполнены покоя и вы принимаетесь жить как бы за пределами своего «я», слившись со светом, деревьями и сладостью воздуха.

Было около десяти, когда я увидел чернокожего смотрителя, которого, как и все в зоопансионе, знал под именем Киза[1]. Прозвище это он получил из-за связки ключей, которую носил на поясе в качестве «главного хранителя ключей» от всех львиных клеток, змеиных ям, бассейнов с аллигаторами, обезьяньих домиков и прочих закоулков «Ноева ковчега» Джека Каррутерса. Он был примерно в десяти метрах от нас, когда Батька насторожил уши и на миг застыл, потом вскочил и, зарычав, одним прыжком бросился на решетку, забрызгав мне лицо слюной. В моем сознании, в очередной раз потрясенном

[1] От англ. keys — ключи.

этим внезапным сдвигом привычного мира, этим мгновенным превращением дружелюбного существа в свирепого зверя, возникли, моментально материализовавшись, призраки беглых рабов и хлопковых плантаций, с которых Америка все еще продолжает собирать трагическую жатву...

Киз прошел мимо клетки, не взглянув на собаку, с улыбкой на озаренном солнцем лице — высокий, тонкий парень в рубашке с короткими рукавами и маленькими, похожими на бабочку усиками на верхней губе. Смутное сходство с Малькольмом Иксом[1]. Впрочем, во всех негритянских лицах мне чудится что-то общее с этим борцом.

— Hello, — бросил он мне. — Прекрасный день.

— Hello.

Я сидел на земле, избегая его взгляда, в то время как Батька, задыхаясь от ярости, бился о решетку и внезапно замолкал, кося глазом в сторону Киза и оскалив клыки, потом снова бросался на ограду с кровожадным охотничьим воплем. Чернокожий улыбался.

Я сказал:

— No progress[2].

Киз посмотрел на собаку. Достал из кармана хлопчатобумажных брюк пачку «Честерфилда», несколькими щелчками выбил из нее сигарету, прикурил и еще раз спокойно посмотрел на Батьку.

— White Dog, Белая Собака, — сказал он.

Помню, как я обозлился. Все-таки это уж чересчур..

— Будет, — сказал я. — Не смешно.

Он мгновение рассматривал меня.

— Белая Собака, — повторил он. — Знаете?..

Его глаза продолжали обшаривать меня, словно я спрятал в своих карманах два-три века истории.

— Нет, конечно вы не знаете. Это Белая Собака. С Юга. Там так называют собак, которых специально дрессируют, чтобы помогать полиции травить чернокожих. Очень тщательная дрессировка.

Мне хотелось сдохнуть. Потому что это моих рук дело. Знаменитая фраза Виктора Гюго может быть перевернута: «Когда я говорю «вы», то имею в виду и себя тоже». Есть такая милая песенка: «Tea for two and two for tea»[3], ее легко переиначить: «Я — это вы, а вы — это я». Для этого даже существует термин — «братство». Никакой возможности увильнуть. Запасной выход отсутствует.

— В прежнее время их натаскивали, чтобы преследовать беглых рабов, теперь — против демонстрантов...

Пес выл. Я тоже — молча.

— К тому же при такой сторожевой собаке ваша белая супруга может ничего не бояться, когда вас нет дома. Никто ее не изнасилует.

Киз повернулся к Батьке, дымя сигаретой. Мгновение он разглядывал его с видом знатока.

— Прекрасная собака, — сказал он и покачал головой. — Но старая. Где-то около семи лет. В этом возрасте их уж не переделаешь...

Он долго молчал, не сводя глаз с Батьки. Он размышлял. Сегодня я думаю, что именно тогда у Киза возникла эта его идейка и; прикрывшись маской задумчивости, он уже намечал план действий.

— Пока, — сказал он мне.

И не спеша удалился, позвякивая висевшими на поясе ключами.

Батька, мгновенно успокоившись, занялся блохой.

---

[1] Малькольм Икс (1925—1965) — лидер «черных мусульман», в шестидесятые годы подвергший критике экстремистскую доктрину идеолога движения Элии Мухаммеда и убитый своими бывшими единомышленниками.

[2] Никакого улучшения (*англ.*).

[3] Чай на двоих, двое за чаем (*англ.*).

Я пошел в контору к Джеку, но не застал его. Джек был на студии — присматривал за своей звездой-шимпанзе, снимавшейся для телевидения в обезьяньей версии «Ромео и Джульетты».

Я вернулся домой. Жена была на собрании «Урбан лиг», занимающейся трудоустройством безработных негров. Вообще-то настоящих безработных среди чернокожих относительно мало. Их просто не берут на работу. Эти бандитские профсоюзы закрыли перед ними все двери.

А после обеда в доме одного преподавателя актерского мастерства состоялось собрание либералов, участвующих в движении за гражданские права, от посещения которого я благоразумно воздержался.

Я им объяснил, скольких усилий мне стоило избавиться от Вьетнама и Биафры, от истребляемых на Амазонке индейцев, от бразильских наводнений и преследуемых советских интеллигентов, — надо наконец где-то остановиться. Элефантиазис, есть такое кожное заболевание, знаете? Это когда ваша кожа воспаляется от чужой боли. Хватит, сказал я им, я отказываюсь страдать по-американски. Должен также признаться, что я испытываю острую антипатию к «профессору», в доме которого проводилась эта акция солидарности с чернокожими борцами за права. Типичный, на мой взгляд, калифорний-ский phony, что в приблизительном переводе означает нечто среднее между проходимцем и жуликом. Один из тех прогрессистов, которые возмущаются обществом потребления — и занимают у вас деньги, чтобы пуститься в спекуляцию недвижимостью. Терпеть не могу людей, чей политический радикализм порожден тайными психологическими комплексами, а не социологическим анализом. Если молодежь упрекает, и совершенно справедливо, некоторых последователей Фрейда в том, что они пытаются приспособить их к больному обществу, то и старания противоположной стороны, тех, кто хотят приспособить общество к своей больной психике, не представляются мне решением проблемы. Словом, я не пошел на собрание, но прочел подробный отчет о нем.

Речь шла о создании «школы без ненависти», и чтобы убедить ряд состоятельных белых дать необходимые для этого средства, решено было продемонстрировать им, до какой степени психика чернокожих детей отравлена ненавистью к белым. С этой целью организаторы пригласили нескольких малышей — семи, восьми и девяти лет — вместе с их родителями и устроили маленькое представление. Вот какой диалог — за точность записи я ручаюсь — состоялся между чернокожими ребятишками и белой дамой, которая не только была их давним другом, но приютила в своем доме все семейство негритянских активистов (отца, мать и пятерых детей). Вы только представьте себе этих несчастных негритят, окруженных несколькими десятками взрослых белых, собравшихся на сеанс сей новомодной анатомии.

— Скажи, Джимми, я грязная белая свинья?

— Да, мэм, вы белая свинья.

— Скажи, Джимми, я голубоглазая ведьма?

— Да, мэм, вы голубоглазая ведьма.

Уточню: библия «черных мусульман» от их пророка Элии учит, что всякое существо с голубыми глазами — враг.

— Ты ненавидишь меня, Джимми?

Тут в отчете сказано: «Долгое молчание. Ребенок колеблется и встревоженно ищет глазами своих родителей». Не забудем, что «голубоглазая ведьма», допрашивающая его, на протяжении месяцев нежно заботилась о малыше. Дальше отчет указывает: «Ребенок глубоко вздыхает».

— Да, мэм, я вас ненавижу...

И после колебания добавляет:

— ...вроде бы.

Конец картины. Отчет не сообщает, угостили ли Джимми после этого номера чем-нибудь сладеньким. Впрочем, чай и пирожные были предложены всем..

И — пошла шапка по кругу. За ваше доброе сердце, дамы-господа! Правозащитника Джимми гладят по его идейной головке. Сю-сю.

Но надежда Америки заключена в этих двух словечках: «Вроде бы».

Слава богу, я не присутствовал на этом сборище. Не то наверняка укусил бы кого-нибудь.

Ознакомившись с этим отчетом, я вынужден был целый час бегать по Беверли-хиллс. Мои друзья думают, что я занимаюсь так называемой спортивной ходьбой, чтобы сохранить форму. Ничего подобного. Это попытки бегства.

Домой я возвращаюсь приятно опустошенный. Но жизнь спешит загрузить меня через край неприятностями. В десять утра раздается телефонный звонок. Это Джек Каррутерс.

— Вы можете сейчас приехать?

— Зачем? Что случилось?

— Приезжайте.

Он кладет трубку.

Я еду.

Джек сидит за своим столом: расплющенный нос, седые волосы ежиком и кружочек голой кожи в том месте, где его череп залатали стальной заплаткой. Старый каскадер, более двух тысяч падений с лошади, официально засвидетельствованных, профессиональный диплом в рамке, висящий на стене между фотографиями Тома Микса и Ринтинтина. Джек зажигает сигареты одну за другой и тотчас же давит их в пепельнице: это у него называется не курить. Даже не поздоровавшись со мной, он говорит:

— Значит, так. Я прошу вашего разрешения сделать ему укол. Усыпить.

— Но почему вдруг?..

— Пойдемте покажу...

Старый пес лежит на боку, приоткрыв окровавленную пасть, и тяжело, прерывисто дышит. Увидев меня, он, не поднимая головы, слабо шевелит хвостом.

Мы входим в клетку. Джек наклоняется и ощупывает Батьке бока, тот судорожно дергается.

— Из-за вас я потерял своего лучшего помощника, — говорит Джек.

— Киза?

— Да. Он раз двадцать на день проходил мимо клетки, и каждый раз одно и то же — взрыв бешенства. Этого пса очень хорошо вышколили. Прекрасный, породистый пес. Киз вроде не обращал на него внимания, но мне казалось, что он нарочно слонялся около клетки... словно хотел как следует запомнить этот яростный лай, так сказать, «голос его хозяина»... Понимаете? Так он каждое утро разжигал свою ненависть.

Пес лижет мне руку, оставляя на пальцах кровавый след. Я медлю, не решаясь приласкать его. Знаю, Батька ждет своей награды: «Видишь, я поступил так, как меня учили...»

Я глажу *верного* пса.

— А сегодня утром Киз надел свой защитный комбинезон и вошел в клетку, чтобы объясниться с собакой. Я слышал, как они там рычали друг на друга, оба, и, клянусь вам, я не знаю, кто из них рычал громче — человек или пес. Он его едва не убил... Не стоит и объяснять, что он метил не в собаку. Только тех, других, которые выучили пса, не было под рукой. А потом...

— Что?

Ной Джек Каррутерс смеется.

— Он дал мне в морду. То есть попытался. Когда я помог ему подняться, он снял с пояса ключи, один за другим, положил на стол и ушел.

— Я ужасно огорчен, Джек.

— Я тоже. В этой стране миллионы ужасно огорченных типов, но это ничего не меняет. Вы не можете перевоспитать вашего пса, это ясно как день. Лучшее, что вы можете сделать для него и для всех остальных, это усыпить его. Он безнадежно *испорчен*... Словом, вы понимаете, что я хочу сказать...

Он смотрит на Батьку:

— Никто не имеет права делать такое с собакой.

— Хотел бы я добраться до типа, который...

— Боюсь, его тоже вам не удалось бы перевоспитать. Такое уж это поколение. Оно

уйдет само собой, тихо-мирно. Поколения, они на то и существуют, чтобы исчезать. Только я не уверен, что у негров есть время или желание ждать...

Уставившись на меня своими голубыми глазами, он сердито спрашивает:

— Так как же насчет укола? Да или нет?

— Нет.

Джек согласно кивает.

— Что ж, тогда вам придется забрать вашего пса, я не хочу его держать.

Он щурит глаза, и вокруг них со всех сторон вдруг проступают морщины. Я ловлю его странную полуулыбку, словно бы незаконченную, прерванную на полпути, как и вообще все отражения чувств на этом залатанном, частично парализованном лице.

— У меня идея. Я знаю один собачий питомник, где нет чернокожих. Их туда не берут. Самое подходящее место для вашего песика. Я дам вам адрес.

— Катитесь к черту.

Джек еще раз одобрительно кивает и уходит, бросив только что закуренную сигарету.

Я остаюсь в клетке, сидя на земле рядом с Белой Собакой.

Я тяну время, хоть какой-то выигрыш: час, два — не знаю сколько... Решение я принял, но сознание собственной твердости позволяет мне откладывать исполнение.

Потом иду к машине за поводком и звоню Чаку Белдену. Прошу его одолжить мне револьвер.

Возвращаюсь за Батькой. Он тащится за мной, прихрамывая и вывалив язык. Ему трудно вспрыгнуть на сиденье. Наверно, одно или два ребра сломаны. Я помогаю ему забраться в машину. Мы едем по бульвару Вентуры, сворачиваем на Лорел-кенион. У светофора люди улыбаются симпатичной собаке, смирно сидящей рядом с водителем и поглядывающей на дорогу. У Ван-Нис я проскакиваю на красный свет, чтобы не останавливаться рядом с грузовичком, за рулем которого сидит негр...

Я запираю Батьку в гараже.

В четыре часа пополудни Чак приносит мне свой армейский кольт. Я наливаю себе стакан виски, но медлю пить. Я знаю, что не могу себе это позволить — выпить виски и разъезжать по городу с заряженным пистолетом. Алкоголь срывает меня с катушек.

А посему я выливаю виски на бегонии и сажусь за руль. Батька любит автомобильные прогулки. Я закрываю все окна, и мы пересекаем Голливуд, направляясь к Гриффитс-парку.

Раньше его лесистые холмы были излюбленным местом прогулок влюбленных и любителей природы; сегодня, проезжая эти опустевшие места, люди редко выходят из машины. В больших американских городах уровень преступности каждый год растет на шестьдесят процентов. Правда, у вас всего один шанс из тысячи получить удар ножом, но поскольку все воображают, будто судьба проявляет к ним исключительный персональный интерес, каждый опасается, что она выберет именно его.

Я останавливаю машину около Креста паломника и выпускаю Батьку.

Беру револьвер.

Батька смотрит на меня. Он знает — инстинкт.

Он опускает голову.

Я целюсь за ухо.

Белая Собака ждет.

У меня дрожит рука. Я плачу. Слезы застилают глаза. Пес расплывается. Я стреляю.

Промазал.

Пес не шевельнулся, даже не посмотрел на меня.

У меня такое чувство, словно я промазал собственное самоубийство.

Белая Собака поднимает ко мне глаза, потом отворачивается и ждет.

Меня начинает рвать.

— Однако, месье, столько драм из-за какой-то собаки... А Биафра?

— Вы что, смеетесь надо мной? Биафра! Значит, если вы ничего не делаете для Биафры, вы можете плевать на свою собаку?

Сегодня появилась новая казуистика, позволяющая вам — из-за Биафры, из-за Вьет-

нама, из-за нищеты «третьего мира», из-за всего что угодно — пройти мимо слепого, который просит перевести его через улицу.

Кольт выскальзывает из моей мокрой руки.

— Белая Собака, иди сюда.

Он с трудом поднимается, делает шаг ко мне и обнюхивает дуло револьвера...

Нет, черт подери. Никогда.

Ну какое мне дело до чернокожих? Люди как люди. Я не расист.

К тому же всадить пулю в голову несчастного пса — это, месье Ромен Гари, знаете как называется? Пораженчество. Капитуляция перед врагом. Такого со мной еще ни разу не случалось. Надо же додуматься — сдаваться с заряженным кольтом в руке!

На ощетинившиеся заросли холмов уже опускается фиолетовый туман, который смягчает колючий пейзаж. Но не меня.

Я закуриваю гаванскую сигару, обошедшуюся мне в сумму, которой хватило бы, чтобы в течение десяти дней прокормить индийскую семью.

Я чувствую себя немного лучше.

Похлопываю Батьку по холке.

— Наша возьмет.

Он машет хвостом, высунув язык.

— Они не пройдут!

Он дает мне лапу.

Жаль, что поблизости нет какой-нибудь совсем чистой стены, на которой я мог бы нацарапать свои гуманистические лозунги.

— Человек еще станет человеком!

В искусстве хвататься за соломинку надежды мне нет равных.

Чемпион.

— Человек победит, потому что он сильнее их!

Короче, я жульничаю как могу. Но главное — этот бой выигран. Я беру Батьку на поводок и открываю дверцу машины. Он прыгает на сиденье. Маленькая психодрама окончена.

Я останавливаюсь у Шваба и звоню в «Ноев ковчег». Никого. Отыскиваю в справочнике номер телефона Джека. Во всем признаюсь ему.

— Вы зачем, собственно, рассказываете мне это?

— Джек, подержите у себя собаку до моего отъезда из Соединенных Штатов. Я заберу Батьку с собой.

— Идите к черту. Поместите его в собачий питомник, где нет негров. В Санта-Монике имеется такой. Потрясающий. Люкс. Даже мэр Йорти[1] не сумел бы сделать лучше.

— Тогда дайте мне телефон Киза.

— Что вы хотите от Киза?

— Я хочу с ним поговорить.

— Послушайте, он черный мусульманин. В лучшем случае вы поможете ему заработать билет в Мекку. Похоже, братья-мусульмане получают его, если принесут Элии Мухаммеду пять белокурых скальпов или пять пар розовых ушей.

— Если Киз вернется к вам на работу, вы возьмете пса?

— Согласен. У меня две сотни змей, переполненных превосходным ядом, и никого, кто бы мог его извлечь, представляете? А Киз по части яда большой специалист. Только у меня нет здесь его телефона. Позвоните мне завтра в контору.

На ночь я запираю Батьку в гараже, оставив ему королевскую жратву.

Я ни слова не говорю Джин. Она не подозревает, что Батька рядом.

В гостиной у нас очередное собрание негритянских активистов.

Джин Сиберг с четырнадцати лет состоит во всех организациях, борющихся за равноправие. Что создает серьезные проблемы в наших отношениях. Поскольку я старше жены на двадцать четыре года и раньше ее прошел свою дистанцию, проделав все эти акробати-

---

[1] Никудышный мэр Лос-Анджелеса, переизбранный после откровенно расистской антинегритянской избирательной кампании. (*Прим. автора.*)

ческие трюки, на которые толкают нас братские порывы, в возрасте от семнадцати до тридцати лет, я решительно отказываюсь еще раз пережить эту затяжную агонию. Я слишком часто расшибался и не имею никакого желания присутствовать при ее падениях.

Когда я вхожу в гостиную, все смолкают. И правильно делают. У меня это на лице написано. Я хочу сказать, что достаточно посмотреть на меня, чтобы почувствовать некий холодок. Ибо я знаю: среди борцов за «правое дело» не меньше мерзавцев и мелких спекулянтов, чем в противоположном лагере.

А что касается упомянутого собрания, то события очень скоро подтвердили мою правоту. В самом деле, несколько недель спустя один из присутствовавших там мерзавцев, соответственно обстоятельствам прикрывшийся, если позволено так сказать, черной кожей, попытался шантажировать Джин — под благородным предлогом gaming Whitey, проучить белых.

— Мисс Сиберг, у нас есть компрометирующее вас письмо, в котором вы соглашаетесь передать братское революционное послание африканским студентам в Париж... Там даже упомянуто имя одного из руководителей «черных пантер»... Если мы это опубликуем, ваша карьера кинозвезды в Америке...

Джин ответила:

— Публикуйте.

Потом она немного поплакала. Мисс Сиберг в том возрасте, когда еще возможны разочарования.

На следующее утро узнаю телефон Киза и звоню ему. Девчоночий голос сообщает, что папы нет дома.

— Вы не знаете, как мне с ним связаться?

Ребенок встревоженно спрашивает:

— Это касается животного?

— Да, очень важное дело.

На том конце перешептываются.

— Папа в «Панкейкс стадио», в Ферфаксе.

Там я и нахожу Киза, сидящего перед горой блинчиков с кленовым сиропом. На голове у него одна из тех круглых мусульманских шапочек, которые кажутся вырезанными из коврового саквояжа. Он весьма любезно здоровается со мной и кончиком ножа указывает на стул. У него мелкие и чрезвычайно острые белые зубы. Я открываю рот, чтобы начать свою адвокатскую речь, но он прерывает меня:

— Знаю, знаю. Я в тот день немного погорячился. Сожалею... Это меня уши подвели...

— Уши, — повторяю я с таким видом, словно что-то понимаю.

— Очень чувствительные уши. Я не мог больше вынести этого воя и рычания. Вот и отколотил его — ну, как иной раз разбивают радиоприемник, который производит слишком много шума...

Он размышляет, продолжая есть. Помню, что я еще раз уловил в его глазах и лице то выражение, которое лучше всего передает слово scheming, выражение человека, замышляющего против вас какую-то пакость.

— Можете отвезти его в «Ковчег». Я лично займусь им. Это потребует немало времени. Но я уверен, что добьюсь успеха.

Он разрезает на четыре части блин, истекающий янтарным соком.

— Я всегда добиваюсь своего.

— Вы хотите, чтобы я предупредил Джека?

— Не стоит труда. Вот разделаюсь с блинами и сразу на работу. Привозите пса часам к двенадцати.

У него отменный аппетит.

— Великолепное животное. Жаль, если пропадет.

Он улыбается мне, оскалив все свои острые зубы:

— А вы знаете, что после Уотса за хорошо обученную сторожевую собаку белые дают до шестисот долларов?

Я ничего не отвечаю, поднимаюсь и ухожу. Эта сволочь, похоже, принимает меня за белого.

***

Я привожу Батьку в питомник и объявляю Каррутерсу о возвращении его любимого сотрудника. Змеи смогут избавиться в пользу человечества от своего яда. Джек пьет свой утренний кофе в обезьяньем отделении, прислонившись к прутьям решетки. Маленькая, чуть больше уистити, пушистая черная зверюшка пытается через его плечо окунуть палец в кофе. Время от времени Джек протягивает ей свой бутерброд, обезьянка отгрызает кусочек, и Джек ест остальное.

— У меня неприятности с кенгуру, — сообщает он мне. — Мать семейства избила папу, какая-то домашняя ссора. Не понимаю, что происходит в этой семье. Психология кенгуру иной раз ставит меня в тупик. Говорят, австралийцы похожи на американцев, но в отношении кенгуру это не совсем верно. И чего она бесится, эта потаскушка? Никакой другой бабы у моего парня нет, так в чем же дело? Я расстроен, потому что сегодня днем они должны дать представление — сеанс бокса — в пользу корейских сирот. Но старик не в состоянии бороться. Совершенно запуган. Знаете, все кенгуру немного чокнутые. Несколько лет назад у меня был кенгуру, который буквально терял сознание всякий раз, как я ему представлял самку в течке. Он принюхивался, быстро, по-кроличьи втягивая воздух, и потом грохался в обморок. Обозленная самка сама прыгала на него. Психология, мой друг, пренеприятная вещь. Хотите кофе? Нет? Значит, Киз возвращается и лично займется вашей милой собачкой?

— Он и правда отличный парень.

Ной Джек Каррутерс отпивает глоток кофе. Вид у него задумчивый.

— Как же, — говорит он без всякой уверенности.

Мгновение он рассматривает меня своими бледными глазами, потом отводит взгляд. Обезьянка протягивает лапу и выхватывает у него остаток бутерброда.

— Змеи тоже очень любят Киза, — говорит Джек. — Настоящий чародей.

Он выливает остаток кофе на газон.

— Никогда не видел типа, которого бы так разбирала злоба, — говорит он почти с уважением. — Просто удовольствие посмотреть. Ладно, пойду к своему кенгуру, надо поднять ему настроение.

Он бросает на меня косой взгляд.

— Вы для чего все это делаете?

— О чем вы?

— О собаке.

— Просто хочу спасти ее, вот и все...

— Ну-ну, рассказывайте... Что вы, собственно, пытаетесь доказать?

— Но... ровным счетом ничего.

— Ладно, приятель. Что, я не знаю интеллектуалов?.. Это символ, да? Хотите доказать, что это излечимо?

— *Это излечимо.*

— Конечно, конечно. Но начинать надо с колыбели. Это займет пять — десять лет. А уж Киз...

— Что Киз?

— Весь пропитан змеиным ядом. Так что вы в надежных руках. Пока.

Он уходит.

Маленькая обезьянка, уцепившаяся за решетку, тявкая, протягивает мне лапку.

***

Шесть часов вечера.

Джин отправилась собирать деньги для школы в Монтессори, которой уже год оказывает поддержку. Одна из целей этого учебного заведения — дать чернокожим детям воспитание «без ненависти». Так прямо и сказано в проспекте: воспитание *без ненависти.* Что наводит на грустные размышления, ибо, если в этом *отличие* школы от других... Мне-то всегда казалось, что там, где есть ненависть, нет воспитания. Только дрессировка. Порча.

И вот я говорю себе, что проблема чернокожих в Соединенных Штатах упирается в вопрос, который делает ее практически неразрешимой: я имею в виду Глупость. Никогда еще на протяжении нашей истории разуму не удавалось решить проблемы, чья глубинная природа связана с Глупостью. Удавалось разве что обойти их, уладить силой или хитростью, но в девяти случаях из десяти, когда разум уже не сомневался в победе, из его собственных недр возникала во всем своем могуществе бессмертная Глупость...

К моей печали и стариковскому желанию «больше ни во что не ввязываться» примешивается сугубо личное и довольно смешное раздражение. С тех пор как я приехал в Голливуд, *мой* дом, то есть дом моей жены, превратился в штаб-квартиру доброй воли либеральной белой Америки. Либералы (американское значение слова, пожалуй, ближе всего к французскому «гуманист» или скорее «альтруист») восемнадцать часов из двадцати четырех толпятся в нашем доме, даже когда Джин в студии. Так сказать, постоянное дежурство благородных душ — тем, кто полагает, что я вкладываю в эти слова оттенок насмешки, лучше всего немедленно закрыть книгу и пойти погулять куда-нибудь подальше. Вот уже сорок лет я таскаю по свету свои все еще не утраченные иллюзии, несмотря на все мои усилия, никак не могу избавиться от них и окончательно, раз и навсегда, отчаяться — я просто физиологически не способен на это. Я потому и отношусь так агрессивно ко всем этим «благородным душам», что узнаю в них самого себя: тут включается психологический механизм «переноса», хорошо известный скорпионам, евреям-антисемитам и тем неграм, которые переносят свою ненависть к собственному уделу на других чернокожих. Должен также сознаться, что мне все больше действует на нервы растущее число паразитов, крутящихся вокруг Джин. Каждый день на обочине движения за гражданские права возникают мини-группки, чья деятельность имеет одну-единственную цель — обеспечить экономическое выживание их «руководящих комитетов». Все они занимают выжидательную позицию, готовые в любой момент подобрать манну небесную, которая должна посыпаться на них из разных федеральных и частных фондов. Я никогда не совал нос в финансовые дела Джин Сиберг. Однако с момента своего приезда наблюдаю не меньше полудюжины мудозвонов, мошенников и вечных пикаро, которые играют — и выигрывают, — делая ставку на ее двойное чувство вины: во-первых, кинозвезды (одного из самых презираемых существ, ибо никому на свете так не завидуют); во-вторых, лютеранки с ее обостренным ощущением *первородного греха.*

Жаль, что сам я не признаю за собой права на власть, которую наполеоновский кодекс предоставлял в былые времена мужу и о которой втайне мечтаю: недурно было бы выставить за дверь несколько черных проходимцев, взимающих с моей белой супруги налог за «виновность».

В который раз убеждаюсь, что в Америке мне так же не по себе, как во Франции. Я слишком люблю эту страну. Слишком долго живу здесь, чтобы чувствовать себя посторонним.

И вот я принимаюсь подстегивать свою решимость, чтобы убедить себя покинуть Соединенные Штаты и бежать все равно куда, лишь бы не слышать этой навязшей в зубах песенки: «Конечно, он подлец, этот чернокожий, но не забывайте, что именно белые сделали его таким...»

Май сидит у меня на коленях. Этот сиамский кот, не расстающийся со мной, обычно устраивается на моем плече и своим выразительным, богатым оттенками голосом с массой подробностей рассказывает непонятные мне истории. Сейчас он в очередной раз поверяет мне тайны кошкомира, но я не в состоянии разобрать ни слова. Дивный фольклор, который только Пушкин сумел переложить в стихи, возможно, даже целая кошкофилософия ускользают от меня — настоящая филологическая катастрофа. Сфинкс наконец заговорил и рассказывает вам все, но незнание иностранных языков останавливает вас на пороге великого откровения.

Возвращается Джин, минутку кружит около меня, но я каменно молчу. Мне нечего ей прощать, но я чувствую себя уязвленным: мелкая и комичная обида мужа, задетого тем, что его жена больше думает о несчастьях страны, чем о своем доме.

В дверь звонят, и я иду открывать. На пороге очаровательные девочка и мальчик, лет

семи-восьми, светловолосые, типично американские детки, словно сошедшие со страниц волшебных сказок (для белых).

— Извините, сэр. Фидо здесь?

— Фидо здесь нет.

Я кидаюсь к холодильнику и возвращаюсь с коробкой шоколадных brownies, от которых вынужден воздержаться из-за диеты, но которые покупаю, чтоб пожирать глазами.

— Нет, спасибо, сэр.

Обрадованный, я проглатываю пирожные.

Дети переглядываются, потом смотрят на меня с суровым выражением типа «пять лет тюремного заключения, и никаких поблажек».

— Но в Обществе защиты животных нам сказали, что Фидо у вас.

Я начинаю понимать, кто такой Фидо, когда из «шевроле», припарковавшегося у моего дома, выходит худой суховатый человек с пышной седеющей шевелюрой, в котором я узнаю дедушку Крушена — лет сорок тому назад он прыгал через заборы на рекламных плакатах «Соли Крушена, вечная весна», — и я с удовольствием отмечаю, что он до сих пор жив и по-прежнему в отличной форме. Он пересекает бодрым шагом газон. Шестьдесят лет с гаком, судя по морщинам, избороздившим его открытое и веселое загорелое лицо. Угадываются долгая счастливая жизнь, хорошая пенсия и сбережения, полностью выплаченные ссуды на недвижимость, страховой полис «Блю крос», рыбная ловля с удочкой, утиная охота — и все это упаковано в красную клетчатую рубашку «Пендлтон». Он встает между детьми, приобняв их за плечи.

— Добрый день, сэр... В Обществе защиты животных нам сказали, что три недели назад вы подобрали собаку, скорее всего нашу. Это немецкая овчарка с маленькой бородавкой и рыжеватой шерстью на морде. В Гардении, когда мы были на прогулке, сгорел наш прицепной фургон, и пес спасся бегством, удрал, так сказать, на природу...

— Его зовут Фидо, — говорит мальчик.

За моей спиной раздаются шаги. Жена. Я не оглядываюсь из осторожности. Джин не умеет врать.

— Входите же, входите...

Они входят. Дети не сводят с меня глаз. Наверно, они пролили немало слез, когда добрый Фидо исчез.

Я любезно улыбаюсь им, делаю простодушное, честное лицо. Я давно уж приготовился к этой встрече. Кажется, я даже потираю мысленно руки.

— У вашего пса не было ошейника?

Дедушка качает головой.

— Нет, Фидо потолстел, и пришлось снять ошейник, душивший его, особенно когда мы привязывали его. Мы как раз собирались купить другой, с именной планкой, как положено, но...

Я поднимаю руку.

— Не имеет значения. Я уверен, что речь идет об одной и той же собаке. Бородавка и рыжая шерсть вокруг носа, прямо как у заядлого курильщика, ха-ха-ха...

Лица белокурых ангелочков светлеют.

— Да, это он, — говорит папаша Крушен.

— Очень жаль, но у меня уже нет вашей собаки. Я обращался в Общество защиты животных, даже дал объявление в «Икзэминере»... Никто не откликнулся.

— Мы проводили здесь отпуск, — говорит старик. — Мой сын с женой приехали в Лос-Анджелес, чтобы посмотреть здешние места и подыскать дом, если им тут понравится. Потом сын вернулся в Алабаму, чтобы привести в порядок дела, прежде чем обосноваться здесь окончательно.

— Красивая страна Алабама, — любезно говорю я.

Дедушка улыбается одной из тех улыбок, от которых становится светло в комнате.

— Самая красивая, — говорит он.

— Калифорния тоже неплоха, — добавляю я.

Он соглашается.

— Здесь больше интересных деловых возможностей. Мой сын вышел на пенсию

после двадцати лет службы в полиции и собирается завести собственное дело. Он хочет открыть собачий питомник. Ему всего сорок семь лет. Да, он служил в полиции штата. А я был шерифом...

Я улыбаюсь.

— Это у вас семейное.

— Да, мой отец тоже был шерифом и...

Чувствую, что он сейчас достанет фотографии.

В полутьме комнаты раздается чуть дрожащий голос моей жены, которая говорит по-французски:

— Если ты им отдашь собаку, я уйду.

Я улыбаюсь еще шире.

— Заткнись, — отвечаю любезным тоном, — просто я прикидываюсь мудаком, вот и все.

Дедушка Крушен в восторге:

— Вы француз?

— Да, я родился в Вердене, это то, что называется «чудо на Марне».

— Я был во Франции в 1917 году, — говорит он. — Добровольцем. Мадлон, маршал Фош... Да, годы, годы...

— Старый хрен не упускает ни одного клише, — говорит Джин.

Когда Джин со своим американским акцентом произносит жаргонные словечки — это нечто!

— Ужасно жаль, но вашей собаки уже нет у меня.

Я смотрю на бывшего шерифа.

— Замечательно выдрессированная собака, — говорю я.

Однако я забываю, что для старикана все это в порядке вещей, ему не в чем упрекнуть себя. Мои язвительные намеки совершенно не доходят до него.

— Это полицейская собака, — объясняет он мне. — Одна из лучших. Мой сын сам обучал ее. В полиции он как раз специализировался на дрессировке собак. Он всегда любил животных, и родителей Фидо он тоже дрессировал. За этим псом — два поколения полицейских собак. После восьми лет службы в полиции их отправляют на покой. На них огромный спрос. Мой сын выкупил своего любимца. Лучшего сторожа для дома вы не найдете.

— Пой, птичка, пой, — бросает Джин, по неожиданной ассоциации вспомнив реплику из своего диалога с Бельмондо в фильме «На последнем дыхании». Я перевожу:

— Извините мою жену, она ни слова не знает по-английски... Она спрашивает, не хотите ли вы чего-нибудь выпить?..

— А ушами ты не двигаешь? — спрашивает меня Джин.

Это ключевая фраза в наших отношениях. Я обязан ею актеру Марио Давиду. Я встретил его как-то в мадридском аэропорту в буфете. Преисполненный дружеских чувств, я кинулся к нему, опрокинул бутылку вина, попытался поймать ее, наступил на ногу официанту, обернувшись, угодил локтем в глаз Марио, и, пока рассыпался в извинениях, от моего зубного моста отскочила золотая коронка и упала в суп. Марио, смотревший на меня с большим интересом, спросил: «А ушами, Ромен, вы не двигаете?»

Итак, я предлагаю:

— Скотч?..

— Нет, спасибо, право же... Вы кому-то отдали собаку?

— Да. Что ж вы хотите. Раз никто не спрашивал ее... А тут один из моих друзей проникся к ней симпатией...

— У вас есть его адрес?

Я делаю вид, будто колеблюсь.

Мой шериф переходит на сухой, официальный тон.

— Будьте добры дать мне адрес вашего друга.

— Послушайте, — говорю я, — я прошу вас подумать. Я был поражен той инстинктивной, почти животной привязанностью, которая возникла между вашей собакой и моим другом... Надо вам сказать, что мой друг африканец... *Чернокожий.*

Дедушка Крушен столбенеет. Улыбка гаснет, но рот остается открытым, что придает ему вид полнейшего ошеломления. В жизни супружеской пары случаются моменты, когда долгие годы совместной жизни проявляют себя довольно неожиданным образом: один из супругов внезапно заговаривает языком другого. Из глубины комнаты вдруг раздается выражение, которое я подхватил давным-давно в Иностранном легионе и которое никогда еще — о, никогда! — я не слышал из прелестных уст своей подруги:

— Ну ты даешь, падло! — с оттенком почтения и даже восхищения говорит Сиберг.

Вдохновленный ее поддержкой, я расправляю крылья:

— Мой друг — молодой африканский студент, получивший годовую стипендию для учебы в Калифорнийском университете. Когда он увидел вашу собаку, он прямо-таки влюбился в нее... Да, дружба с первого взгляда. Эти двое, можно сказать, созданы друг для друга. Вы не поверите, но, право же, их невозможно было разлучить...

Папаша Крушен медленно всплывает на поверхность. Не знаю, как глубоко он нырнул, но этого парня с крепкой челюстью не так-то просто уложить на обе лопатки. Он из породы первопроходцев. Такие вот люди и построили Америку.

— Ваш приятель-негр увез собаку в Африку? — спрашивает он слегка осипшим голосом.

— Да, я сам оплатил билет. Не хотел разлучать друзей. Есть вещи, которые делать непозволительно.

Девочка принимается плакать, прикрыв кулачками глаза.

— Я хочу Фидо, хочу Фидо, — тянет она жалобным тоненьким голоском, от которого разрывается сердце.

Спешу сказать, что это лишь стилистическая фигура.

Я был тронут ее слезами не больше, чем Чингисхан «Несчастьями Софи».

— Бедная лапочка, — говорит Сиберг, и, поверите ли, в ее голосе звенит нота абсолютной искренности.

Но надо объясниться. Я люблю детей — с тех пор как у меня есть свой ребенок. И если эти очаровательные крошки, лившие горючие слезы из-за пропавшей собачки, оставляют меня равнодушным, то причина как раз в этой любви. Ибо, глядя на бывшего шерифа, я спрашивал себя: почему средний возраст жертв, погибших от рук полиции во время расовых волнений в гетто, колеблется между четырнадцатью и восемнадцатью годами?

Мы долго молчим; глухое напряженное молчание нависает в комнате.

Мой шериф начинает понимать. Мы понимаем друг друга.

— Вы не имели права распоряжаться этой собакой, — говорит он.

Я отвечаю покладисто:

— Послушайте, я напишу в Африку. Уверен, что с вашим псом там обращаются как с маленьким принцем. Во всяком случае, он ни в чем не нуждается. В Африке двести миллионов чернокожих, так что представляете...

Он встает. Покровительственным жестом кладет свои большие шероховатые руки на белокурые головки. Он прекрасный дедушка, этот мерзавец.

Но самое ужасное, что он вовсе не мерзавец, а хороший человек.

— Я должен повидаться с адвокатом, — говорит он.

— Повидайтесь, конечно. Потом вы мне скажете, как он выглядит.

Жена провожает их до дверей. Американское гостеприимство. После чего возвращается ко мне, обхватывает руками шею, прижимается щекой к моей щеке. Мы долго так сидим, не говоря ни слова. Но потом я все испортил своим жалким уроком зрелости, то есть усталости.

— Джин, брось. Ты не можешь помочь тем, кто по-настоящему нуждается, их миллионы и миллионы, до них не дотянуться, а другие... все эти «псевдо», лицемеры, профессионалы страдания, чужого, — это слишком грустно и разрушительно для души. Существует барьер, столь же непреодолимый, как цвет кожи: я говорю о твоей профессии... Если кинозвезда, пусть даже самая искренняя, самоотверженная и абсолютно честная, если она прикасается к социальному бедствию, к настоящей ране, то знаешь что получается?.. Да все та же кинозвезда. Вокруг вас всегда слишком много рекламы и фо-

тографов, чтобы толпа могла увидеть в вашей общественной деятельности и добрых делах что-нибудь другое, кроме погони за рекламой и поз для фотографов... Или надо оставить кино, неприметно работать в низах, но тогда никому из тех, кто тебя окружает, ты не нужна, их интересует только звезда...

— Я знаю, и мне плевать... Но есть школа... Тридцать детей, которых невозможно бросить... Билл Фишер из Маршалтауна опять прислал нам чек на пять тысяч долларов и...

Я чувствую ее слезы, капающие мне на шею.

— Послушай меня, Джин. Поговорим немного об этой школе «без ненависти»... Если эти несчастные детишки действительно получат воспитание «без ненависти» в специально созданной для этого школе, они окажутся совершенно беззащитными перед другими людьми и неприспособленными к жизни...

— Я хочу им помочь. Я знаю о проклятии, которым отмечена кинозвезда. Я перестану сниматься.

— Если ты уйдешь из кино, если не станет больше кинозвезды Джин Сиберг, тебе не придется искупать свой звездный грех и, возможно, ты уже не захочешь помогать им...

— Потому что именно это движет мной?

Я встаю.

— Не знаю. Во всяком случае, с меня хватит. Я смываюсь. Не могу больше. Семнадцать миллионов американских негров в доме — это многовато даже для профессионального писателя. Единственное, что я могу с этим сделать, это написать еще одну книгу. Я уже пустил на литературу войну, оккупацию, свою мать, освобождение Африки, бомбу, я отказываюсь делать литературу из чернокожих американцев. Ты знаешь, как я устроен: если я сталкиваюсь с чем-то, что не могу изменить, исправить, улучшить, я это устраняю. Отправляю в книгу. После чего на душе легчает. Я лучше сплю. Но теперь я умываю руки. Не могу писать *черный* роман. Я...

— Ты все равно об этом напишешь, — говорит она.

— Джин, брось это. Ты десять лет жила вне дома. В конце концов, как моя жена ты француженка.

— Я останусь американкой, пока не сдохну...

— Ну что ж, прекрасно. Но я отказываюсь жить с Америкой на шее...

В дверь звонят. Я иду открывать. Их пятеро — дамы и господа в племенных костюмах. «О нет, — ору я по-французски, — хватит, черт подери!» — и захлопываю перед их носом дверь. Поворачиваюсь к Джин. Кажется, я рычу, впрочем, не уверен.

— Они здесь. Явились. Они настаивают, мерзавцы. Что ж, раз они настаивают, я это сделаю. Ты прекрасно знаешь, это сильнее меня. Я запихну их в книгу о страданиях чернокожих, книгу, которая разом, словно волшебная палочка, покончит со страданиями чернокожих. Как «Война и мир» и «На Западном фронте без перемен» положили конец войнам. Им ведь несть числа, книгам, которые изменили мир, но если ты назовешь мне хоть одну, я расцелую тебе ноги... Так вот, или ты избавишь меня от негритянской проблемы на дому, или я сам от нее избавлюсь...

Она идет к двери и, приоткрыв ее, говорит:

— Одну минутку, мой муж переодевается.

Я говорю:

— К черту! Я уезжаю.

— Уезжай.

Иду в гараж и сажусь за руль.

На вопрос знаменитой анкеты Пруста «Какой военный подвиг вас больше всего восхищает?» я ответил: «Бегство».

Я немало повоевал на своем веку. Внес свой вклад. Больше не хочу.

Единственное, о чем я прошу сегодня, — это чтобы мне дали спокойно выкурить еще несколько сигар.

Только это неправда. Нет ничего ужаснее моей неспособности отчаяться.

Значит, бегство. Без колебаний.

Я направляюсь по бульвару Сансет к Океану, но, спохватившись, поворачиваю на-

зад и еду в «Ноев ковчег» Джека Каррутерса. Пересекаю ранчо и вхожу в собачий питомник. Батька вскакивает и лижет мне лицо, я стискиваю его в объятиях.

— Прощай, Батюшка...

Я говорю ему по-русски, чтобы никто другой нас не понял:

— Слушай внимательно, дружище. Я не прошу тебя не кусать чернокожих. Но не надо кусать *только* чернокожих.

Думаю, он понял меня. Собаки чутьем узнают своих кровных братьев.

Я покупаю зубную щетку и первым же самолетом лечу в Гонолулу. Далее — Манила, Гонконг, Калькутта, Тегеран... Я останавливаюсь то тут, то там, чтобы, слегка прикоснувшись к «экзотике», «местному колориту», «живописности», выбиться из колеи и потерять себя из виду; несколько дней там, несколько тут, нигде не задерживаясь, ни во что не вникая, не то я начну понимать, что за всеми этими масками скрывается наша изначальная данность, недостойная и неприемлемая, и опять окажусь нос к носу с самим собой.

Я пишу эти строки в Гуаме, перед лицом своего брата Океана. Я слушаю, дышу, впитываю его гул, который освобождает меня: я чувствую себя понятым и выраженным. Только Океан обладает достаточными голосовыми возможностями, чтобы говорить от имени человека.

***

Была еще ночь в моем самолете, летевшем над кхмерскими городами и рисовыми полями, и шесть часов пополудни в Лос-Анджелесе, когда Сэнди, лежавший у ног Джин, насторожил уши, потом поднялся и тихонько подошел к двери. Мгновенье он принюхивался, опустив нос к полу, после чего замахал хвостом, сообщая о приятном госте.

Это был Батька, удравший из питомника. Он пробежал всю долину Сан-Фернандо и холмы Беверли, чтобы добраться к своим.

Потом Джин скажет мне, что в глазах старого пса было больше любви, чем она могла выдержать. Она разрыдалась. Потому что не могло быть и речи о том, чтобы оставить в доме собаку, которая в глазах наших чернокожих друзей была воплощением веков рабства и своим присутствием постоянно о них напоминала. «Я провела отвратительную ночь, пытаясь примирить непримиримое. Что само по себе говорило о своего рода моральном сибаритстве и непозволительном дилетантстве. Не следовало даже колебаться».

Наутро она позвонила Каррутерсу, чтобы поставить его в известность.

— Значит, он нашел дорогу к дому. Прекрасно. Прямо гора с плеч.

В голосе Каррутерса слышалось не просто облегчение. Настоящая радость.

— Да, Джек, вас не назовешь человеком, который хочет изменить мир.

— Вот что значит жить с писателем, Джин. Вы берете собаку и делаете из нее мир... Знаете, что здесь произошло на днях? Сперва один из наших чернокожих, самый молодой, попытался отравить вашего полицая. Он подложил ему в корм такую порцию стрихнина, которой хватило бы, чтобы двадцать два раза окочуриться. Но собака не притронулась к еде: сами понимаете, из негритянских рук...

— Джек, это невозможно.

— Разумеется, невозможно. Не меньше половины того, что происходит на свете, невозможно. Я ничего не знал об этой истории со стрихнином. Ведь я хозяин, стало быть, мне ничего не говорят. А на следующий день Терри — ну, этот парень, ему восемнадцать лет, молодость, это так прекрасно! — пошел к сторожу Татуму. Билл Татум кормит пса, потому что он такой белый, что, судя по ласковым ужимкам вашего полицая, от него за тысячу миль приятно разит белым духом. Вы, конечно, уже догадались, Джин, что у нас, белых, особый запашок типа «одно удовольствие понюхать». В качестве доказательства могу предъявить собаку. Парнишка попросил Билла отравить вашего расиста. Татум ответил, что ему семьдесят лет и он уже не в состоянии отравить кого бы то ни было, нет в нем того, что требуется для такого дела. Не хватает силы убеждений. Возраст, маразм — словом, кишка тонка. Сам-то я узнал об этой интриге, замышлявшейся за моей

спиной, исключительно из-за потасовки между Терри и Кизом. Юнцу здорово досталось от Киза. Только не спрашивайте меня почему...

— Нелепо сводить счеты с несчастным животным... Киз достаточно умен, чтобы понять это.

— Ошибаетесь, Джин. Киз куда *более* умен. Он такой умный, что порой создается впечатление, будто он не думает, а просчитывает. Он из тех парней, которые не размышляют, а замышляют. Во всяком случае, он задал мальцу хорошую трепку. А венец программы был показан позавчера. Я услышал вопли, доносившиеся из раздевалки, и пошел посмотреть. Обнаружил там совершенно голого Терри и Киза с револьвером в руке. Револьвер был мой, Терри стащил его из моего стола и спрятал под рубашкой. Похоже, малыш собирался пристрелить вашего полицая. Вот до чего мы дошли в этой стране. Представляете, сколько там в глубине скопилось гноя? Ведь в этой истории дело идет уже не о политической или расовой проблеме, а о безумии, психическом заболевании. Словом, вы легко поймете, как я обрадовался, узнав, что ваш пес сбежал...

— А вы не помогли ему слегка?

— Нет. Не я. Может быть, Билл Татум или другой белый — в порыве братской симпатии...

Если бы я был в тот момент в Париже, я наверняка получил бы телеграмму, приглашавшую меня явиться в Орли для получения отправленной из Америки собаки. Но я находился в Гонконге.

Проблема разрешилась весьма неожиданно. Я не могу упрекать Джин за то, что она попалась в ловушку. Я сам, конечно, тоже кинулся бы в расставленную сеть.

Было примерно восемь-девять вечера. Джин, игравшая в «Аэропорте», готовилась к ночным съемкам в студии МГМ[1]. Батька и Сэнди, основательно подзаправившись на кухне, разлеглись после ужина посреди гостиной. Перед домом остановилась машина, и Батька немедленно оповестил о цвете кожи визитера. Стремительно вскочив, он молча, оскалив зубы, прыгнул к двери и вдруг издал свирепый рык, шедший, казалось, из глубины веков.

Джин услышала приближающиеся шаги. Но еще прежде чем раздался звонок, с собакой произошла необычная перемена.

Батька поджал хвост и попятился.

Он не переставая лаял. Но теперь в его голосе звучали новые нотки. Страх и бессилие слышались в жалобном, похожем на стоны тявканье, которое он издавал между двумя взрывами яростного лая, продолжая отступать.

Джин приоткрыла дверь, не снимая цепочки: это был Киз, улыбающийся во весь рот. Непринужденная раскованность гибкого тела, лицо, освещенное мелкими, плотно поставленными острыми зубами, которые я так ясно вижу...

— Привет.

— Привет. Подождите минутку. Я запру собаку в гараже.

Улыбка стала еще шире.

— Зачем же, в этом нет надобности. Он не тронет меня.

— Послушайте...

— Я хорошо знаю животных, мисс Сиберг. Говорю вам, он не тронет меня. Мы еще не подружились, но кое-что все же изменилось. Имеется определенный прогресс. Если у вас найдется минута...

Джин колебалась, потом сняла цепочку. Гостеприимство.

— Вы уверены?

Киз толкнул дверь и вошел. Батька рычал и неистовствовал с удвоенной силой. Однако Джин, не раз наблюдавшая, как при виде чернокожего он мгновенно, подчиняясь рефлексу, бросался на «врага», была потрясена переменой.

Киз прошел на середину гостиной, а Белая Собака, не переставая рычать, кружила около него, собираясь с силами, чтобы прыгнуть, и замирала, словно наткнувшись на непреодолимый физический барьер. Это противоречило всей ее выучке, всему, что она

---

[1] Метро Голдвин Майер.

усвоила, всей ее жизни верной Белой Собаки, и оттого такое неподдельное отчаянье прорывалось в ее яростном лае.

Белая Собака чувствовала себя предательницей. Джин отошла к распахнутой в ночь двери, стараясь проглотить комок страха. Чернокожий стоял посреди комнаты. Он достал из кармана пачку сигарет и, легонько пощелкав по ней пальцами, вытолкнул сигарету. Сунул ее в рот.

— Видите, — сказал он, — кое-что изменилось. *Теперь они боятся.*

Да. Я ничего не придумал. Джин уверена, что слышала именно эти слова. Теперь *они* боятся. Если эта почти безумная фраза не откроет вам глаза на то, что накопилось за столетия в негритянской душе, то, значит, вы безразличны не к неграм, а к душам.

Таких полицейских собак, как Батька, специалисты называют бойцовскими. Обычно у них в роду несколько поколений собак, специально дрессируемых для нападения. Таким образом, выучка облегчается наследственностью, которая становится поистине второй натурой. И вот с этой наследственностью, со своей собственной природой боролся теперь пес.

Его переполняла ненависть, но страх мешал атаковать. Шерсть встала дыбом, уши были прижаты к голове, и в его вое и жалобном рычании теперь слышался отголосок настоящего душевного раздвоения, в котором угадывалось отчаянье верной собаки, виновной в нарушении служебного долга.

Белая Собака знала, что предает *своих*...

Киз закурил.

Потом Джин скажет мне, что во всем этом было что-то подлое. «Прежде всего в смехе Киза — это был смех победителя. Бывают все же другие триумфы, а этот был так же отвратителен, как всякая победа террора... Потому что первым делом возникал вопрос: каким образом он добился этого? Истязаниями? Невозможно было без боли смотреть на эту обезумевшую, растерявшуюся собаку, переставшую подчиняться собственным рефлексам, запуганную, запутавшуюся, обманутую и сбитую с толку людьми, — жертву *истории*... Это было гнусно и непереносимо. В тот момент я почти ненавидела Киза, но не лично, а вообще, как ненавидят *все это*. Но нельзя же всякую подлость всегда сваливать на общество. Иной раз это ваша персональная заслуга. Благое намерение «спасти», «вылечить» собаку не имело к этой истории никакого отношения. Это была борьба между людьми...»

Она сухо сказала:

— Вижу, вы оставили у него неизгладимое воспоминание.

— Необходимая оборона, — сказал он. — Но я только раз по-настоящему избил пса, когда немного потерял голову. Он просто привык ко мне, вот и все. Иногда в своем защитном комбинезоне я остаюсь два-три часа в его клетке, и таким образом он учится смирению... Он начинает понимать, что ничего не может мне сделать, что ему не удастся избавиться от меня, что так оно и будет.. Он знает, что я не боюсь его и что он проиграл...

Позднее, когда последовало дальнейшее развитие событий, я часто задавал друзьям вопрос: а как бы вы поступили на нашем месте? К тому времени дело получило огласку, и разные люди, кто с добрыми, а кто и с сомнительными намерениями, звонили Джин и говорили, что были бы счастливы взять собаку. Но об этом не могло быть и речи, ибо эти предложения — не примите за каламбур — были слишком явно шиты *белыми* нитками. Большинство друзей, к которым я обращался, отвечали, что на нашем месте они сделали бы собаке укол, что «чувствительность должна все же иметь предел». Я не разделяю их мнения. По-моему, окружающая действительность, напротив, доказывает нам, что мы и так свели к минимуму пределы чувствительности, дальше некуда. Лично я отказываюсь сдавать позиции перед эскалацией современной бесчувственности. Отказываюсь производить эмоциональную уценку ввиду всеобщей инфляции и признавать, что сто франков страданий нынче обесценились до франка или, иначе говоря, что сегодня нужна сотня убитых там, где вчера вам хватило бы одного.

Джин колебалась. Я хорошо понимаю эту потребность великодушных натур, которую многие принимают за слабость, верить людям, готовность *дать им шанс*. Сам я от-

нюдь не великодушная натура, ибо никогда ничего не прощаю и тем более не забываю. Но и я как-то дал себя обворовать некоему мошеннику исключительно потому, что у него была мерзкая рожа. Я испытывал потребность искупить свою инстинктивную антипатию и заключил с ним контракт.

— Конечно, если вы хотите продать собаку, — сказал Киз, — то сможете выручить за нее не меньше восьмисот долларов. Это ведь не просто сторожевая, а настоящая бойцовая собака. На них очень большой спрос.

— Ну хватит, Киз. Не надо провокаций. Вы же знаете о моем отношении.

Он принял почтительный вид. Ни тени иронии.

— Да, знаю, вы много помогаете нам. Такие люди, как вы, Берт Ланкастер, Пол Ньюмен, Марлон Брандо... Я знаю.

В душе он, наверно, помирал со смеху. Но он держался за свою идею, бес. Ненависть и злоба обладают исключительной энергией, они движут горами. На этой основе были построены прекрасные страны. Это надежно.

Джин решилась: она еще раз поверит. Такой уж Сиберг человек, ничто ее не изменит.

— Ладно. Я отвезу собаку на ранчо, ведь вы за этим ко мне пришли? Если Джек согласится.

— Он согласится. В наше время трудно найти опытных специалистов. А для змей он точно никого не найдет. Нужны годы, чтобы выработался настоящий иммунитет. Как у меня: если укусит гадюка, мне хоть бы что. Во всей Калифорнии сыщутся лишь два человека, которые не хлопнутся в обморок, если сунуть им в руки коралловую гадюку.

— Почему вы так добиваетесь этого?

Он засмеялся, тряхнув головой.

— О, тут вы меня поймали. Я всегда, сызмальства любил животных. Потому и выбрал эту профессию. Скоро я открою свой собачий питомник. Заведу собственное дело. Я ведь настоящий специалист. А если справлюсь с вашей собакой, можно, значит, считать, что самый лучший. Да, мэм. Лучший...

Все это, заметьте, происходило на фоне благоухающих роз. Должно быть, мое отсутствие создает в доме совершенно исключительную пустоту, которую приходится немедленно заполнять десятками букетов роз. Они сыплются со всех сторон. Вместе с визитными карточками. Очень лестно сознавать, что, как только вы покидаете свою восхитительную супругу, весьма внушительная толпа индивидов кидается в цветочные магазины, дабы попытаться заменить испарившийся аромат.

— Вот что еще, Киз. Я знаю, один из ваших коллег попытался убить собаку. Вы уверены, что он опять не примется за свое?

— Терри? Он понял. Я ему все как следует растолковал. Кстати, он здесь, в машине. Я везу его домой. Хотите поговорить с ним?

Парень в самом деле был тут, стоял, прислонившись к машине, и считал ворон. Восемнадцать лет. Подрастающее поколение.

— Не беспокойтесь, мисс Сиберг. Я сморозил глупость. Обещаю вам, больше это не повторится. Честно. Можете на нас положиться.

Вот и все. На следующий день Джин отвезла Батьку на ранчо. Я сделал бы на ее месте то же самое. Общаясь с Джин, я иногда снова обретаю то простодушие, которое необходимо, чтобы выигрывать, умея терять. Я хочу этим сказать, что надо продолжать верить людям, ибо лучше быть обманутым, преданным и осмеянным, чем перестать в них верить и доверять им. Лучше позволить злобным тварям еще много веков греться у этого священного огня и греть на нем руки, чем дать ему угаснуть. Не так страшно понести потери, как потерять себя.

***

Через два дня после моего возвращения в Париж корреспондент «Франс-суар» сообщает мне, что брат Джин разбился в автомобильной катастрофе. Ему было восемнадцать. Я немедленно вылетаю к Сибергам в Маршалтаун. Это в Айове, в сердце Среднего

Запада, который несомненно остается самым «старозаветно-американским» местом Америки. В ходе унылого парада визитеров, пришедших выразить сочувствие семье, я слышу, как эти славные люди говорят о «другой драме», повергшей в печаль маленький, на двадцать тысяч жителей, городок: порядочная девушка, чьи родители пользуются здесь всеобщим уважением, вышла замуж за негра. Отец при смерти, мать тоже едва жива, а ведь такие достойные люди, such nice people... Мысль, что смешанный брак может представляться такой же страшной бедой, как трагическая гибель юноши, выводит меня из себя. Я пытаюсь сдержаться, но молчание — знак согласия, и не стану же я, в самом деле, сидеть тут с траурной миной, безмолвно поддакивая, только потому, что моя более иль менее белая кожа хорошо маскирует меня? Провокация — мой любимый способ необходимой обороны. Я говорю своим собеседникам, что лучше любого из них понимаю эту «трагедию», поскольку моя первая супруга, на которой я женился в 1941 году, была чернокожей африканкой и разгуливала совершенно голая. (Это почти правда, если не считать того, что в Шари во время войны такие браки заключались по племенным обычаям: отец невесты отдал мне свою дочь в обмен на охотничье ружье, двадцать метров ткани и пять банок горчицы.) Друзья семьи потрясенно молчат: они-то думали, что Джин Сиберг вышла замуж за приличного человека. Как всегда, я не могу вовремя остановиться и увязаю все глубже — говорю, что у меня есть двадцатишестилетний сын от моей негритянки, который является членом Французской коммунистической партии. Тут некоторые из моих слушателей пытаются спастись бегством, и чтобы удержать их, я бросаю волшебное слово «де Голль». Я уже готов объявить, что у де Голля есть примесь негритянской крови, но беру себя в руки — все-таки я не имею права «объевреивать» Францию, ну, вы понимаете, что я хочу сказать. Поэтому я довольствуюсь сообщением, что де Голль был свидетелем на моем бракосочетании в Банги и что он крестный отец моего сына-негра-французского-коммуниста. В комнате повисает тяжелое, так сказать, белое молчание, после чего соболезнования, которые эти славные люди выражают семье моей жены, звучат с удвоенной искренностью.

Между тем мне не следовало бы на них злиться: позади у них века рабства. Я не говорю о чернокожих. Я говорю о белых. Вот уже два века они рабы принятых идей и священных предрассудков, благоговейно передаваемых от отца к сыну, два века покорно следуют этим торжественно провозглашаемым, предписанным идеям, которые держат в тисках их сознание, подобно тем колодкам, что в давние времена еще с детства деформировали ноги китайских женщин. Я стараюсь держаться, когда мне в очередной раз объясняют, что «вы не можете понять, у вас во Франции нет семнадцати миллионов негров». Это правда, зато у нас пятьдесят миллионов французов, что тоже не подарочек. «Поймите же, речь не идет о притеснении негров. Мы за то, чтобы они пользовались всеми своими правами. Но из смешения рас ничего хорошего не выходит».

Ночью моя юная жена рыдает в моих объятиях, и я ощущаю ее горе как лично мне адресованный упрек — чувство, хорошо знакомое тем, чья мужественность есть прежде всего потребность защитить, утешить и помочь. Наверно, никогда еще в минуты бессилия моя мужская суть не взывала с такой напрасной, дикой яростью к той подлой силе, которую, за отсутствием более подходящего слова, мы называем судьбой — проигранная битва, в которой нам даже не дано сражаться.

В последующие дни кто-то снова заводит разговор о «другой драме», и происходит неизбежное: я срываюсь и говорю хозяину дома, что ему, с его недоделанной физиономией с выражением пустой тарелки, как и многим белым, похожим на тех советских руководителей, которых Пастернак называл «кругломордыми тупицами», следует призвать на помощь чернокожих, чтобы те добавили немного красок их потомству. Я покидаю сцену в тишине, обычно наступающей после битья посуды, и сажусь за руль. Еду мимо кукурузных полей и стараюсь убедить себя, что в пятьдесят четыре года, принимая во внимание все шрамы, коими отмечена моя шкура и моя прекрасная душа, пора бы хоть немного научиться смирению. Но совместимо ли смирение с нормальной сексуальной жизнью? Должно быть, как и мудрость, оно приходит к вам *после*...

***

Джин должна срочно приступить к съемкам фильма в Вашингтоне, и мы покидаем Маршалтаун через три дня после похорон. Но погибший брат не покидает нас и еще долго останется с нами. Я узнаю о его присутствии по ее внезапным слезам, при виде которых могу лишь воинственно сжимать пустые кулаки, как всегда, когда сталкиваюсь с непоправимым. Утешитель обиженных детей, которого я прячу в себе, всеобщий защитник, рыцарь Справедливости, в очередной раз поставленный на место, впадает в то состояние внутренней ярости, раздражения и ненависти к самому себе, которое охватывает всех бунтарей, когда они вынуждены пробормотать: «Что же ты хочешь, тут ничего не поделаешь». Я беру ее за руку — великолепная поддержка! — и спрашиваю, что нового в нашем зверинце. Узнаю, что наш сын, который еще не достиг шести лет, но уже проявляет склонность к самоанализу, попытался, следуя, конечно же, примеру отца, а возможно, также совету Сократа «Познай самого себя», измерить свои глубинные возможности — и проглотил сантиметр; пришлось отвезти его в больницу. Кошки здоровы.

— А Батька?

Лицо Джин мрачнеет. Она сохранила непосредственность реакций с внезапными переходами от улыбки к печали и неспособность скрывать душевные движения — словно последний след детства...

— Не хочу говорить об этом...

Я весь напрягаюсь.

— Киз убил его?

— Нет.

Она молчит, глядя на серо-красные склоны гор.

— Послушай, Джин...

— Сперва он морил его голодом. То есть Батька отказывался от еды, если... если ее приносил чернокожий. Пес превратился в скелет. Джек Каррутерс и Киз ужасно разругались, потому что Джек сам пришел покормить пса. «Или он примет еду из моих рук, или вообще ничего не получит», — заявил Киз. Каррутерс позвонил мне, он вопил в трубку и так колотил кулаком по столу, что слышно было по телефону... да, Джек Каррутерс, про которого говорят, что он всего насмотрелся и никогда не выходит из себя. Вот именно. Он вопил в трубку, молотя кулаком по столу — бам! бам! бам! — «Заберите от меня это паршивое животное, или я сегодня же сделаю ему укол... Понимаете, Джин, избавьте меня от всего этого...»

Избавьте меня от всего этого...

Я плохо представляю себе, как они сумеют отправить семнадцать миллионов негров в Африку.

— И что же?

— Я сказала, ладно. Села в машину и поехала в питомник. Только не тут-то было. Киз не хочет, чтоб собаку забрали.

— Что ты мне рассказываешь?

— Он не хочет отдавать собаку. Когда я приехала, Киз как раз вошел в кабинет Джека, и можно было подумать, что они сошли с ума. Оба. Джек Каррутерс, человек-скала, холодный, как лед, Джек на грани истерики, ты можешь себе это представить? Нет? Ну, а я это видела своими глазами. И Киз был не лучше. Джек вопил, и его полупарализованное лицо судорожно дергалось, жуть! А Киз открывал рот и не мог ничего сказать, а когда ему наконец удавалось вытолкнуть из глотки слова, звук был такой дребезжащий, словно он склеил его из осколков. «Вы не имеете права морить голодом это животное, — орал Каррутерс. — Только не здесь, не у меня. Я не признаю подобные методы дрессировки». «А какие методы дрессировки вы признаете? — кричал, давясь словами, Киз. — Те, которые применяли на Юге, чтобы натаскать этого пса?» Тут я подумала, что Ноя Джека хватит удар. Его залатанное лицо так напряглось, что я испугалась, как бы оно не затрещало по швам. Но он собрал себя в кулак, даже голос загнал куда-то внутрь, знаешь, как это бывает, если человек делает отчаянное усилие, чтобы сдержаться, и когда Джек заговорил, казалось, звуки идут откуда-то из-под земли. «Послушайте, Киз. Если вы хотите

сказать, что я расист, то вы правы. — Киз только рот разинул от удивления. — Да, я *расист*. Но не такой, как прочие, белые или черные. Я расист, потому что мне давно обрыдла ваша паскудная человеческая порода — все вы, хоть желтые, хоть зеленые, хоть серо-буро-малиновые. Я еще тридцать лет назад выбрал животных». Оба они несколько поуспокоились. «Вы не можете отпустить этого пса, — сказал Киз. — Его надо сначала вылечить». «Это *испорченный,* загубленный пес, Киз, и вы прекрасно знаете это. Неисправимый. Его нельзя перевоспитать». — «Дайте мне взяться за дело». — «Вы морите его голодом и жаждой. Это садизм. Вы вымещаете на этом псе свою ненависть к его хозяевам...» Киз посерел от ярости. «Ну нет, я не стану размениваться на собаку, если захочу им отомстить... Я доберусь до них самих. С револьвером». Я попыталась вмешаться, но ты же понимаешь... Джек ткнул в мою сторону пальцем: «Я хочу, чтобы она забрала этого пса. Не то собака сдохнет от голода. Это станет известно. Пойдут разговоры, что Джек Каррутерс истязает животных при дрессировке. У меня будут неприятности с Обществом защиты животных. Их инспектор уже расспрашивал меня. Пришлось врать. Я сказал, что собака была больна и ничего не ела. Я рискую, черт подери, погубить свою репутацию». Такой аргумент, it's bad for business — это плохо для бизнеса, — был, по-видимому, понятен Кизу, потому что он согласно кивнул головой. «Знаю. Дайте мне еще две недели, вот все, о чем я прошу. Собака не сдохнет. Это на редкость сильное животное». А потом Киз сказал нечто поистине удивительное. Он сказал: «Это замечательная собака». Причем так искренне, что Джек явно не знал, что ответить. «Ладно», — бросил он. После чего Киз ушел, и Джек повернулся ко мне: «Вы хоть что-нибудь понимаете в этой истории? Он ведь действительно держится за эту собаку. Но почему? Почему он так хочет ее *вылечить*? Киз — черный мусульманин. У них, кажется, так заведено: вам оплачивают путешествие в Мекку всякий раз, как вы приносите пять белокожих скальпов. Ненависть в чистом виде. Тут все ясно. Так что же он хочет доказать этой собакой? Что можно излечить *ненависть*? Что это лишь результат дрессировки, что это исправимо? Ну хорошо, почему бы тогда Кизу не начать с себя?» Кажется, я сказала, что слово «ненависть» приложимо лишь к клиническим симптомам, но в любом случае это тяжелый невроз, притом заразный и... словом, ты понимаешь. Но Джек не слушал меня. «Из-за этой собаки все свихнулись», — сказал он.

Я был полностью на стороне Киза.

— Я уверен, что собаку можно перевоспитать.

Думаю, мне редко случалось настолько ошибиться в человеке. Я приписывал Кизу свои собственные идеалистические трепыхания и ностальгические вздохи, эти умильные, со слезой в голосе, фиоритуры на тему «Возлюбите друг друга», включая собак и майских жуков (коих, буде они упадут на спину, поставьте на лапки), это вечное «Аллилуйя» сочувствию, братству и доброте... Как подумаю, что я опубликую эту повесть и все эти душещипательные слова, вышедшие из-под моего пера, будут прочитаны, сразу же слышу, как потешаются надо мной истинные, без слабины и гуманистических финтифлюшек, рационалисты, твердокаменные и несгибаемые, те, которые построили наш мир, ибо именно сильные мужчины, не забудем, построили мир, а потому, надо полагать, спасти его может лишь женственность...

***

Мы приземляемся в Чикаго. Два больших магазина типа «Бон марше» горят на окраине негритянского квартала. Поджог. В зале ожидания несколько черных и белых пассажиров смотрят на клубы дыма, поднимающиеся на экране телевизора. Молодая стюардесса за конторкой говорит со слезами на глазах:

— Когда это кончится? Вся наша культура рушится...

Здесь употребляют слово «культура» в значении «цивилизация». Сперва я обращаю внимание лишь на положительный аспект дела: молоденькая американочка со Среднего Запада, сидя за конторкой захудалой авиалинии, говорит со мной о «культуре» и прекрасно понимает, что поставлено на карту.

Мы смотрим, как на экране полыхают дома. Репортаж совсем свежий, утренний, и

он поднимает мне настроение. Я рад, потому что люблю Америку. Рад, что она зашевелилась, что ей больно, что, возможно, она проснется. «Вьетнам» — это худшее, что могло случиться с Вьетнамом, но лучшее, что могло случиться с Америкой: конец самоуверенности, начало сомнений в себе, требование перемен. Я не знаю, какой будет новая Америка, но знаю, что негритянский взрыв не даст ей заживо загнить, закоснеть от склероза подтачиваемых невидимой порчей структур. Америку спасет негритянский вызов, тот, говоря словами Тойнби, challenge, принимая который цивилизации трансформируются. Либо погибают.

Молодая женщина утирает слезы. Она смотрит на меня с тем непроизвольным доверием, с каким здесь относятся к хранителям вековой мудрости — европейцам. Мне хочется достать свою корону француза и немножко потереть ее, чтобы она ярче заблестела.

— Вы думаете, это уладится?

Я немного опасаюсь вещей, который «улаживаются». Зачастую это дает двух побежденных вместо одного.

— Послушайте, — говорю я ей, — вы можете быть совершенно спокойны: это не уладится. Гражданская война тоже не уладилась, к счастью для Америки. Негритянское меньшинство пытается освободить от рабства белое большинство, но не так-то легко сломать тиски, более двух веков калечащие мозги. Одно из двух: либо негры добьются своего — и Америка изменится; либо они потерпят поражение — и Америка тоже изменится. Вы не можете проиграть.

В зале ожидания полдюжины чернокожих и полтора десятка белых смотрят на горящие дома, не обмениваясь ни словом. Есть одно обстоятельство, о котором умалчивают газеты: в Соединенных Штатах *никогда* не бывает того, что во Франции на журналистском языке называется «спор, переходящий в боевые действия». Первопричиной всех вспышек насилия является полицейская расправа, либо недоразумение, либо ложный слух, либо провокация. Но никогда — *спор*.

— Я хотела бы поехать в Европу, — говорит малышка.

Моя жена тотчас же записывает ей наш парижский адрес. Я вздрагиваю. Сиберг только и делает, что раздает наш адрес всем чокнутым молодым американцам, которые уверены в существовании Атлантиды. Вот почему в один прекрасный день я обнаружил в нашей квартире на улице Бак шесть спавших в спальных мешках битников. У одного из них уже четыре года был наш адрес, и он поделился им с друзьями. Некоторые люди ничего не смыслят в символических жестах.

К концу дня мы прилетаем в Вашингтон, который встречает нас цветущими вишневыми деревьями.

В тот же вечер в такси, которое везет нас обедать, мы слышим по радио сообщение об убийстве Мартина Лютера Кинга. Шофер — негр. Он кажется мне особенно черным по контрасту с мгновенно побледневшей Джин. Вцепившись в руль, он просит меня повторить адрес ресторана. Я повторяю. Он едет дальше, просто куда глаза глядят, потом опять спрашивает сдавленным голосом:

— Так какой адрес, вы говорите?

Бесполезно отвечать. Я жду, когда он придет в себя. Мы кружим среди цветущих вишен, со всех сторон освещенных прожекторами, — фантастическое зрелище, напоминающее застывший балет.

— Так какой адрес вы сказали?

— Что, его убил белый? — спрашивает Джин. Малькольм Икс был убит своими же «черными мусульманами» — организацией, возглавляемой старым распутником Элиа, который обрюхатил не знаю уж сколько своих «последовательниц» и опасался триумфальной популярности Малькольма. Говорят, нефтяной король Н. — миллиардер крайне правых взглядов, само олицетворение белой расы и ее интересов в Америке — выплатил значительные суммы «черным мусульманам», рассчитывая (и вполне резонно), что появление черных расистских объединений «разбудит» белых.

— Это белый? — спрашивает Джин.

Шофер не отвечает. Я говорю ему, чтоб он отвез нас обратно в отель. Я чувствую,

как от его сутулой спины бьет ненавистью: это не относится лично к нам, просто мы первые белые, подвернувшиеся ему под руку. Восхитительные в свете прожекторов вишневые деревья напоминают теперь тех людей, которые, перепутав день, явились в вечерних туалетах на торжество, назначенное на завтра. Шофер подвозит нас к гостинице. Я подавляю желание дать ему слишком большие чаевые — просто за то, что он негр и что Мартина Лютера Кинга убили.

— Это взорвется, — говорит Джин.

***

Это взрывается на следующий же день. К двум часам в городе уже полыхают около семисот пожаров, причем многие в двух шагах от Белого дома. Как всегда, молодые бунтари поджигают прежде всего свои дома, так что на каждую лавку, принадлежащую белому, приходится пять оставшихся без крова негритянских семей. Еврей-антиквар с седой бородой, магазин которого был разграблен, появляется на экране телевизора.

— Я не сержусь на них. Их надо понять...

Другой белый неопределенной национальности возникает на фоне разбитой витрины своей бельевой лавки, где еще валяется пара кальсон, словно бы нарочно выставивших зад. «Почему полиция не стреляла? Это позор: они оставались в своих машинах, в то время как у них под носом грабили мой магазин». Он хотел бы, чтобы шестнадцати-пятнадцатилетних ребят поубивали из-за нескольких пар кальсон. Несомненно, они были высшего качества.

Мэр Вашингтона, чернокожий по фамилии Вашингтон, запретил полиции стрелять, за исключением тех случаев, когда под угрозой человеческие жизни. По телеку показывают сцены грабежей, снятые чернокожими репортерами. «Хилтон», где мы остановились, напоминает роскошный лайнер, потерявший управление: весь обслуживающий персонал состоит из негров, которые не посмели пересечь свой квартал, чтобы явиться на работу. Рестораны закрываются за отсутствием продуктов, кучи мусора растут на глазах — первый признак неисправной цивилизации. Дым пожаров разносится над кварталами, которым явно ничто не угрожает, но где ходят слухи о том, что «они уже идут». На улицах столпотворение; все, у кого есть машина, пытаются бежать из этого города, где около сорока семи процентов белых окружены сплошным «черным» поясом...

В холле «Хилтона» туристы, приехавшие на праздник Цветущей вишни, сидят на своих чемоданах в ожидании автобуса, который отвезет их в аэропорт; число авиарейсов увеличили в три-четыре раза. Лица расстроены, реакции абсолютно несоизмеримы с практически несуществующей опасностью... К счастью, прогуливаясь среди покинутых вишневых деревьев, я наталкиваюсь на очаровательную американскую пару, из тех американцев, что мне по сердцу. Вдвоем им, наверно, лет сто пятьдесят. Пожилая дама фотографирует особенно пышное дерево, у которого, клянусь вам, такой вид, будто оно позирует. Ее муж сам похож на высохшее дерево со сморщенной корой, которое уже никакая весна не заставит расцвести. Его голубые глаза глядят на меня с выражением лукавого понимания.

— Кругом, знаете, вся эта кутерьма... а здесь такой покой... и весь парк в нашем распоряжении.

Я говорю им:

— I love you, — и оставляю наедине с цветущими вишнями.

К вечеру положение настолько «ухудшается» (не знаю, в чем это выразилось), что в столицу направляют двенадцать тысяч солдат федеральных войск. Объявляется комендантский час. Проходя за несколько минут до него мимо Белого дома, я вижу историческую картину, которую ни я, ни другие свидетели никогда не забудут: пулемет на ступеньках лестницы президентского дворца, нацеленный на улицу. Несколько часов спустя его уберут по личному распоряжению Джонсона, но я его видел. Это было очень красиво. Трудно представить себе более выразительный образ бессилия, чем этот жалкий, нацеленный на улицу пулемет у входа в жизненный центр самой великой и самой могучей демократии мира. Америка наконец становится страной, где может произойти что-то новое...

***

Я поднимаюсь к себе в номер, и десять минут спустя мне приходится призвать на помощь все свое хладнокровие, чтобы не набить морду одному из самых известных идолов Голливуда, из тех замороченных собственным мифом суперменов, которые боятся лишь одного — как бы мир хоть на несколько секунд не забыл об их существовании. Съемки картины моей жены прерваны, и молодой (то бишь сорокадвухлетний) герой-любовник, ее будущий партнер в другом фильме, в постановке которого я должен участвовать, уже несколько дней осаждает ее, «чтобы поговорить о персонажах». Речь идет об одном из тех невероятных субпродуктов актерской студии, где под видом формирования актеров в духе реализма и правдоподобия им ломают психику смесью психодрамы с психоанализом, и в результате, который можно наблюдать на многочисленных жертвах этого «метода», те теряют всякое представление как о реальности, так и об искусстве. Уже несколько дней он твердит нам, что его ужасно беспокоит любовная сцена, которую он хотел бы порепетировать с Джин, которую им надо «прожить». Я застаю его в своем номере совершенно пьяного.

На телеэкране вереница друзей и последователей Мартина Лютера Кинга проходит перед его открытым гробом. Но у супермена свои заботы. Он жалуется. Он хочет репетировать эту пресловутую любовную сцену без свидетелей и не понимает, почему Джин Сиберг требует, чтобы режиссер присутствовал при репетиции. Не нужно никакого режиссера. Это слишком интимный эпизод. Он уверяет, что, согласно священному методу актерской студии, им обоим обязательно надо «прожить» эту сцену, чтобы во время съемок мысленно ориентироваться на нее. Не мог ли бы я поговорить с Джин, ведь я тоже «творец», и убедить ее пойти репетировать к нему в номер?

Короче, этот жалкий сукин сын просит меня повлиять на жену и уговорить ее переспать с ним.

На экране — лицо Мартина Лютера Кинга. Но супермен не удостаивает его и взглядом, одержимый своей навязчивой идеей, в которой угадывается страх перед сексуальным актом и потребность успокоить себя. Острое желание схватить бутылку виски и стукнуть по башке этого психопата пронзает меня. Все это было бы комично, если б не мертвое лицо на экране, лицо черного апостола ненасилия. А рядом со мной этот хреновый супермен, который, между прочим, изображает «прогрессиста», когда дело касается негров, наливает себе еще виски, ни разу не взглянув на лица Коретты и Мартина Лютера Кинга.

Он продолжает объяснять мне, что «это в интересах искусства», чтобы моя жена «репетировала» с ним сцену в постели без свидетелей. Я стараюсь сдержаться. Ненасилие, ненасилие...

Кулаки у меня сжимаются, горло перехватывает. Я наконец физически понимаю реакцию негров, отвечающих насилием на унижения. Пастор Мартин Лютер Кинг, сознавал ли ты в полной мере, какой страшной животной силе объявил свою мирную войну? Я иду на компромисс.

Пинок ногой в зад — это, в сущности, не насилие, а вполне добродушный жест. А ведерко со льдом, опрокинутое на морду, приятно освежает.

Я стараюсь быть на высоте.

Потом я даже помогаю ему подняться.

Но моему фильму уже ничто не поможет — с ним покончено. Несомненно, это самый дорогой в мире пинок в зад: бюджет фильма составлял три миллиона долларов.

Я выключаю телевизор. Мне кажется, что глаза покойного видели меня...

На следующий день мы возвращаемся в Лос-Анджелес, и прямо с аэродрома я еду в «Ноев ковчег».

***

Я признаю, что мысль об излечении Батьки приняла в моем сознании символическое значение. Можете насмешливо пожать плечами; меня поймут лишь те, кто исповедует своего рода аристократический идеал человека. Я принадлежу к тем демократам,

которые считают, что цель демократии — сделать благородство общедоступным. А ведь Америка — единственная в мире страна, которая *начала* с демократии...

Моя нервная система, имеющая репутацию железной, понемногу сдавала.

Бывали ночи, когда я просыпался в ужасе, уверенный, что в мое отсутствие они — Киз или Ной Джек Каррутерс — сделали Белой Собаке укол — из жалости, так как она безнадежно испорчена, и вспоминал тогда немца, с которым познакомился в 1937 году в купе поезда, возвращаясь из Швеции. «Согласен, это не вина евреев, — говорил он. — Их сделали такими. Две тысячи лет их оплевывали и унижали, вот они и стали такими мерзкими. Их, можно сказать, убедили. Но теперь-то они уже *испорчены*. Отравлены. Это безнадежно, их нельзя вылечить. Следовало бы из жалости убить их, не причиняя боли. Им же было бы лучше». Я бросился на него с пивной бутылкой — пять дней тюремного заключения в Дюссельдорфе.

Каждый день я звонил Каррутерсу, и это ему осточертело. Всякий раз он отвечал: «Я не занимаюсь больше вашим псом. О нем теперь заботится Киз. Оставьте меня в покое».

Киз... Редко встречал я человека, который был бы мне настолько — как бы это сказать? — «симметричен».

Воскресенье, на ранчо никого нет.

Сторож Билл Татум, бывший воздушный гимнаст, которому нынче за семьдесят, успокаивает меня: пес в хорошем состоянии, даже в очень хорошем. Да, Киз по-прежнему занимается им... Старик хочет вроде бы что-то добавить, но смущенно замолкает, бормочет несколько дежурных слов о «смоге», который портит весну, и дает мне ключи.

Батька мгновенно узнает меня. Я с облегчением отмечаю, что он прекрасно выглядит: морда явно сытая и шерсть блестит. Утихнув после первых минут бурной радости, он бежит к поводку, смотрит на меня и лает, сообщая, что хочет погулять. Я везу его в Гриффитс-парк, где он в течение часа бегает и резвится, упиваясь вкусными запахами дикой природы. На обратном пути я заезжаю в старый Хьюз-маркет, открытый по воскресеньям, и иду за продуктами, а собаку оставляю в машине.

Наверно, покупки заняли у меня около четверти часа. Вернувшись, нагруженный, на стоянку, я вижу, что Батька вылез из машины, по-видимому, опустив мордой оконное стекло, которое я оставил приоткрытым, чтобы ему не было душно. Одна из многочисленных молодых мам, мелькающих тут и там в разноцветных брюках, поставила около стены детскую коляску, и Батька, опершись о край передними лапами, с интересом заглядывает внутрь. Я улыбаюсь, делаю несколько шагов к коляске и...

Думаю, никогда за всю свою жизнь я не испытал такого страха, и однако ж...

Похолодев, я застываю с пакетами в руках.

Малыш в коляске — чернокожий. Батька пристально смотрит на него. Собачья морда в каких-нибудь десяти сантиметрах от детского личика.

А потом...

Батька бросает на меня быстрый, словно бы лукавый взгляд, снова поворачивается к ребенку и принимается вилять хвостом.

От облегчения, от благодарности к горлу у меня подступают слезы.

Я подхожу к Батьке и осторожно беру его за ошейник. Подняв уши, он продолжает махать хвостом и поглядывает на малыша с тем выражением веселого внимания, которое появляется у собаки, нашедшей товарища для игр.

Младенец дрыгает ножками и смеется.

Батька обнюхивает его и пытается облизать лицо.

Очень осторожно я увлекаю Батьку к машине, захлопываю дверцу и долго сижу, бессильно привалившись к рулю и совершенно опустошенный.

Наконец беру себя в руки и еду в долину Сан-Фернандо, время от времени поглаживая собаку, спокойно сидящую рядом со мной. Я рассказываю старому Татуму о чуде, но старик явно не испытывает восторга. Он кидает на Батьку странные взгляды. Похоже, он не доверяет ему и даже немного побаивается.

— *Животные,* — говорит он неопределенно. — Да, знаю. С ними можно сделать все что угодно...

Дома я с нетерпением жду возвращения Джин, чтобы сообщить ей новость. Белая Собака на пути к исправлению. Конечно, то был всего лишь младенец, а не настоящий чернокожий, но прогресс тем не менее очевиден... Однако Джин не разделяет моего энтузиазма. Она слушает мой рассказ, снимает туфли и говорит с легким раздражением:

— Ну что ж, при таких темпах понадобится еще семьдесят пять лет. Кто же станет столько ждать?

К моему великому удивлению, на следующее утро Ной Джек выдал мне примерно то же самое:

— Если надо начинать с колыбели, то нас с вами ждет еще немало развлечений.

Он скорчил такую рожу, Джекки-Бой, увидев, что я вхожу в зообольничку, где он находился. У него на вывеске было написано: «О черт, опять этот приперся!» Похоже, глядеть на меня ему было примерно так же приятно, как пить уксус медленными глотками. Правда, он был в хорошей компании. На столе перед ним копошился выводок чихуахуа, чьи крохотные, чуть больше мышек, тела казались сделанными из розового желатина. Джек кормил их из пипетки. А в глубине зала ветеринар с помощником занимались мисс Бо, знаменитой дамой-шимпанзе, которая каждый вечер с телеэкранов призывает вас, на собственном примере, чистить зубы новой зубной пастой, разумеется, с энзимами и, разумеется, самой-самой лучшей. Мисс Бо проглотила целый тюбик пасты, и ей предстояло промывание желудка.

— Я вам скажу, Гэри...

Американцы всегда произносят мою сугубо русскую фамилию («гари» — это повелительное наклонение глагола «гореть») таким образом, что превращают ее в американское имя. Поскольку это одно из самых распространенных в Америке имен, я чувствую себя так неуютно, словно меня лишили лица.

— Вы не любите животных.

— Спросите у моих друзей...

— Этот пес превратился для вас в абстракцию. Я с самого начала это увидел. Для Киза тоже. Интеллектуалы, они заразные.

— Отстаньте от меня с вашими интеллектуалами, Каррутерс. Если уж они так вам противны, баллотируйтесь в мэры Лос-Анджелеса, вас выберут.

Он сказал чуть ли не с восхищением:

— Сукин сын! На все готов ради своей навязчивой идеи. Вот уже шесть недель как он ежедневно оставляет своего трехлетнего сына в клетке с собакой.

— Что вы плетете?

— Ну и напугал же он меня в первый раз...

Каррутерс подъезжает к ранчо со стороны бульвара Магнолий, и хотя с этой стороны загоны наполовину скрыты зарослями розового и белого лавра, собачий питомник с большой Батькиной клеткой на первом плане хорошо виден. Отсюда можно также увидеть одинокую жирафу Вальсинг Матильду — нет ничего более одинокого, чем жирафа, если она одна вырисовывается на горизонте, — и вход в серпентарий с иронической надписью, выведенной большими красными буквами: «Мы — банда ядовитых змей и готовы доказать вам это. Не входите». Помещение для обезьян находится чуть дальше справа и выглядит роскошным по сравнению с остальной частью этой маленькой жилой зоны. Многие шимпанзе снимаются в кино, по контракту, подписанному Джеком Каррутерсом, и принадлежат к числу самых знаменитых звезд большого и малого экрана, так что Джек считает своим долгом обеспечить им более или менее приличные условия жизни.

Доехав до поворота к ранчо, Джек увидел сквозь решетку Батьку и едва не врезался в пожарный кран: посреди клетки один на один с собакой стоял чернокожий малыш. Джек еле успел притормозить и поймать выпавшую изо рта сигару, развернул машину и рванул к ранчо. Через две минуты он уже входил в клетку. Только тогда он понял, что ребенок попал в клетку не случайно, как он сперва подумал, а был кем-то туда посажен: собаку удерживала цепь, а ребенок был привязан ремнем к решетке. Словом, никакой опасности. Джек не был знаком с семьей Киза, так что в тот момент еще не знал, что малыш — сын его милого служащего. Он принялся вопить во все горло. А уж если Джек разоряется, это звучит! Все, находившиеся в пределах слышимости, немедленно примчались,

и Киз первый. Он отреагировал так быстро, что прибежал вместе с обвившей его руку змеей, из которой извлекал яд и которую даже не успел бросить обратно в яму. Он так и стоял перед Джеком со змеей, разевавшей пасть поверх его сжатого кулака. Произошло бурное объяснение, и Джек узнал, что уже больше недели, как Киз стал оставлять своего сына в клетке Белой Собаки.

Должен сказать, первое объяснение или, точнее, подозрение, которое пришло мне в голову, когда он рассказывал эту историю, совпало с тем, что промелькнуло в сознании Джека, и не делает чести ни мне, ни ему. Какой-то миг мы оба думали, что Киз *дрессирует* своего сына. Вид Батьки, когда он впадал в неистовство, был ужасен, и, поддавшись той аберрации воображения, к которой приводит злоупотребление интерпретациями во всех областях, где мы упражняем свою бредовую логику, я сказал себе: Киз хочет выдрессировать ребенка. Он хочет приучить его к образу ненависти, чтобы тот *усвоил*. И не обвиняйте меня в том, что я как писатель легко становлюсь жертвой своей чрезмерной фантазии: та же мысль возникла у Джека, чем и объясняется его гнев. На самом деле все обстояло совсем иначе. Киз хорошо знал животных, знал покровительственное, «отцовское» отношение сильных, уверенных в себе собак ко всем детенышам, будь то человечьи или звериные. Ребенку ничто не угрожало, но Киз тем не менее принял меры предосторожности, привязав обоих на некотором расстоянии друг от друга.

— Сперва я поставил малыша с наружной стороны клетки, — объяснил он. — Пес сразу же выразил ему дружескую симпатию. Так я выдерживал их в течение нескольких дней, чтобы быть совсем уверенным, а потом Чак захотел пойти поиграть с собачкой...

— Зачем вы это делали?

Киз, улыбаясь, посмотрел ему в глаза.

«Нет, — уточнил Джек, — нельзя сказать, что он посмотрел на меня. Он прицелился».

— Зачем вы это делаете?

— Хочу приучить пса к *нашему* запаху...

«Тут мне безумно захотелось разбить ему морду, — сказал мне Джек. — Как если бы он оскорбил лично меня. Но надо все же признать, это паскудство насчет запаха сыграло такую роль в сегрегации, что мне просто нечего было сказать. Я все проглотил».

— Теперь мы этого добились, — заключил Киз. — Если хотите, можете пойти в клетку и отвязать их. Пес будет счастлив, и малыш тоже. Абсолютно никакого риска. Беру на себя всю ответственность.

— Можете сделать это сами, раз уж вы совсем рехнулись.

Киз протянул руку:

— Держите.

Джек поспешно поймал змею. «В таких случаях, — объяснил он мне, — надо действовать быстро, чтобы схватить ее в нужном месте. Я уверен, что, если б чуть замешкался, Киз швырнул бы ее мне в руки как придется. Я был слишком занят змеей, чтобы еще пытаться одновременно удержать этого беса, которому я плачу восемьсот долларов в месяц. Так что я стоял, зажав в кулаке извивавшуюся змею, и глядел, как Киз входит в клетку. Нас тут было четверо или пятеро зрителей, буквально превратившихся в статуи, ведь никто из нас не подозревал, что Киз уже сумел подружиться с Белой Собакой, только юный Терри, наверно, знал и очень веселился. Ну, значит, Киз вошел в клетку, отвязал собаку и ребенка — и ничего не произошло. Он победил. Ваш полицай подошел к малышу и дружески облизал ему лицо, и сопляк смеялся, и Киз похлопывал собаку по заду, настоящая счастливая семья. После этого, понимаете, мне уже нечего было сказать. Да и что, по-вашему, мог бы я сказать? В конце концов, я ошибся. Никогда бы не поверил, что можно перевоспитать старую полицейскую собаку, прошедшую такую выучку; мне казалось, что уже поздно, что это у нее в крови. Я был не прав. Когда по утрам я приезжаю на ранчо и вижу, как малыш и собака нежничают в клетке, я чувствую, что принадлежу к старому поколению дрессировщиков, что нынешние работают лучше, вот и все. Теперь в клетке полная идиллия... Возвращение к земному раю... Только змеи отказываются играть в эти игры. Они не доверяют. Я тоже...»

Наверно, вид у меня был такой взволнованный, как если бы всеобщая любовь и добро воцарились на земле под звуки небесного хора.

— Ваш Киз — поистине потрясающий парень.

Нельзя, конечно, утверждать, что можно по глазам прочитать мысль. Но взгляд, который остановил на мне Джек, был настолько красноречив и выразителен, что ясно говорил: «Сволочь он».

В глубине зала мисс Бо завопила так, будто рожала.

— Киз и ваш пес теперь друзья-приятели, — сказал Джек. — Пойдите полюбуйтесь. А у меня работа.

И он повернулся ко мне спиной.

Надо и впрямь суметь сохранить в душе неистребимый след того человека, каким ты был до великого поражения, называемого зрелостью, чтобы еще быть способным испытать то прекрасное радостное волнение, которое я почувствовал, увидев Киза, сидящего на земле в клетке и извлекающего из Батькиной шкуры клещей, подхваченных, конечно же, во время его вчерашних развлечений на лоне природы. Пес лежит на спине, задрав кверху лапы и весь отдавшись наслаждению. Киз поднимает голову, бросает мне: «Привет» — и снова принимается ублажать Батьку.

Картина согласия и дружбы. Солнце. Эвкалипты. Сладость идиллии. Вокруг клетки квохчут куры. *Белые...* В этой стране можно совсем свихнуться.

Батька по-прежнему лежит на спине в полном экстазе, а Киз трет ему жесткой щеткой живот. Пес приоткрывает один глаз и вежливо машет хвостом, приветствуя меня.

Теперь этот пес улыбается. За всю мою жизнь я знал не больше двух или трех собак, которые умели улыбаться, и Батька — из их числа. Для того чтобы улыбнуться, надо обнажить зубы, раздвинув чуть подрагивающие губы, то есть, если вы предпочитаете точные слова, *оскалиться,* как говорят по-русски.

— Вот вы и добились своего, — говорю я.

Киз продолжает тереть Батьке живот.

— Нет еще, — говорит он.

— Вы и так сделали все что можно.

— Нет, — говорит он. — Не все.

Он окидывает лежащую у его ног собаку взглядом знатока.

— Можно добиться большего. Только это потребует времени.

...Я и теперь вижу, как он стоит посреди клетки, и хотя с тех пор прошел уже год и столько всего случилось, его образ ничуть не поблек, он присутствует где-то рядом со мной и продолжает расти, временами принимая почти мифологические очертания.

...Я могу не опасаться, что забуду его.

Это один из тех узкобедрых, долговязых американцев, которые тянутся в рост благодаря каким-то неведомым достоинствам американской почвы. Маленькие черные усики над узкими губами, в коих угадывается след некоего далекого романского предка, и взгляд, который ничего от вас не ждет и вам ничего не предлагает — ни доверия, ни симпатии, ни злобы; который все скрывает и не вступает в контакт. Лицо, в котором жесткость лепки берет верх над тонкостью черт. Намеренное отсутствие выражения сообщает ему ту особую гранитную неподвижность, которую находят «свирепой», когда говорят об африканских воинах, и называют «медальной чеканностью», если речь идет о римских легионерах или кондотьерах эпохи Возрождения.

На руках — многочисленные шрамы от змеиных укусов. Татум говорил мне, что этот странный человек обладает почти магическим иммунитетом, что он абсолютно нечувствителен к яду всех американских змей... «Может быть, — добавил старик, подмигнув мне, — у них есть какой-то секрет, передаваемый от отца к сыну, какие-то травы, откуда мне знать...» На самом деле это приобретенный иммунитет, выработавшийся как в результате прививок, так и благодаря накопившимся в организме дозам яда. Я сам видел, как он, стоя в кишащей змеями яме, голыми руками извлекал яд у гадюки, извивавшейся в его кулаке. Жаль, что с людьми это гораздо труднее...

Он стоял, выпрямившись, среди змей с видом полнейшего равнодушия, но нельзя было не почувствовать, что он стоит как *победитель,* что этот чернокожий американец не даст себя согнуть...

Киз наклоняется над псом, гладит ему живот. Батька от удовольствия жмурит глаза.

Я чувствую на своих губах растроганную, с привкусом викторианской слащавости, улыбку.

— Придется еще немало повозиться с песиком, — говорит Киз. — Правда, меня он принял. Так ведь я кормлю его. Выгуливаю. Ухаживаю за ним, чешу ему пузо. Я обслуживаю его... Что ж, за это он готов любезничать со мной. Я его house-nigger.

Моя улыбка скисает и испаряется.

Неизлечим, мерзавец. У него слишком развита историческая память.

Помните ли вы еще, что такое house-nigger, «домашний негр»? Это был чернокожий слуга, который терся около хозяев, самоотверженно служил им, играл с их детьми, за что господа осыпали его милостями и обеспечивали ему привилегированное положение среди прочих рабов...

Сегодня активисты негритянского движения обзывают так чернокожих, добившихся успеха в «белом» обществе, пробивших себе дорогу в истеблишменте...

— Я его house-nigger...

Киз выходит из клетки, зажигает сигарету, мечтательно втягивает дым, отшвыривает спичку... Он роняет, не глядя на меня:

— Вы не хотите отдать его мне?

Я отчетливо чувствую, что за этим ускользающим взглядом что-то замышляется...

— Почему вы так настаиваете на этом?

Он поворачивается ко мне спиной.

— Нельзя же бросить собаку, — говорит он глухо.

Я колеблюсь. Говорю осторожно:

— Я посоветуюсь с женой.

Я пересекаю холмы, съезжаю по Колдуотеру, спускаясь от эвкалиптов к пальмам, и всю дорогу мне кажется, что Киз следит за мной своим непроницаемым взглядом, который так надежно укрывает его мысли.

Хватит. Я не позволю себе поддаться гипнозу этой ненависти, которую ощущаю так остро, словно она в самом деле следует за мной.

***

Теперь каждый раз, как я приезжаю в питомник, я чувствую себя третьим лишним. Замечательная дружба рождается у меня на глазах. Когда в клетку входит его *trainer*[1], Батька вскакивает, пытаясь облизать лицо чернокожего, и если Киз отворачивается, пес трется о него с ласковым урчанием. Я присутствую при этих излияниях с растроганной улыбкой и утешительной мыслью, что ничто не бывает проиграно окончательно. Я горжусь собой. Я сделал доброе дело. И когда я сижу здесь, у меня такое чувство, будто я получаю свою награду, свою премию за добродетель.

Если мы в клетке втроем, Батька ведет себя очень тактично. Увидев меня, он идет мне навстречу, скаля зубы в приветливой улыбке и виляя задом, после чего затевает свою любимую игру: легонько покусывает мне бороду, будто ищет блох. Затем он идет к Кизу, трется о него, возвращается ко мне и много раз повторяет этот маневр. Человек, наделенный воображением романиста, сказал бы, что он призывает нас побрататься, подать друг другу руки и скрепить договор о дружбе.

— Что ж, — говорю я Кизу во время одного из своих визитов. — Думаю, пес может покинуть питомник и вернуться в общество. Он вылечился.

— У вас еще будут с ним неприятности. Он принимает меня, потому что привык и знает лично. Делает для меня исключение. Но, заметьте, если Терри или другой чернокожий приближается к клетке, на него опять находит. Он впадает в бешенство. Говорю вам, я его house-nigger.

И он заливается долгим беззвучным смехом, в котором, кажется, участвуют лишь зубы.

— Теперь для него существуют «хорошие негры» и «плохие негры».

---

[1] Тренер, дрессировщик, инструктор (*англ.*).

— Нельзя же, в самом деле, требовать от пса, чтобы он не делал различия между теми, кого знает, и чужими. Это нормально.

— Да, это нормально. А ненормально то, что на запах белых он не реагирует, тогда как запах чернокожих...

— Послушайте, старина, право же...

Киз сидит на корточках. Еще раз похлопав Батьку, он встает:

— Я констатирую это просто как специалист. При дрессировке собак, особенно полицейских, обоняние играет главную роль. Да мы бы не смогли иначе научить собаку чуять *своих*...

Ни тени вызова. Напротив, какое-то запредельное спокойствие. Целая литература понаписана о «возбудимости» чернокожих. В активистах негритянского движения больше всего поражает их холодность. Зачастую они держатся так, словно их уже давно убили.

— Чего вы, собственно, хотите?

— Я считаю, вам надо реже приходить сюда. Пес толком не понимает, на каком он свете, это же видно. Можете вы мне сказать, каковы ваши намерения? Вы собираетесь увезти его в Европу или что? Я буду говорить с вами откровенно. Пес отнимает у меня массу времени. Я стараюсь изо всех сил.

— Знаю.

— Если все это лишь для того, чтобы в один прекрасный день вы забрали собаку, спасибо и до свидания...

Батька сидит между нами и подметает хвостом песок. Он переводит взгляд с Киза на меня, словно понимая, что речь идет о важном решении, касающемся его судьбы. Я колеблюсь. Я чувствую себя пастырем, отвечающим за спасение Батькиной души. Не может быть и речи о том, чтобы таскать его за собой по всему свету, и, однако же, если я скажу Кизу «берите его», это будет как предательство...

— Я хочу знать, оставите вы мне собаку или нет. Я спрашиваю вас.

Я продолжаю молчать. Своим внезапным требованием Киз, сам того не подозревая, затронул мое уязвимое место — то, что я считаю восточной слабостью своего характера: я испытываю отвращение к окончательному и необратимому, к последнему слову. Все это еще осложняется психологией главы клана или главаря банды, кондотьера или восточного сатрапа, не знаю уж, как это назвать: я не имею права бросать тех, кто от меня зависит. Странный атавизм, который достался мне с тех давних времен, когда мои очень отдаленные азиатско-степные предки, умирая, забирали с собой на тот свет своего коня, своего сокола, а иногда и свою любимую жену...

— Так как же?

— Пес, во всяком случае, останется в Америке. Если вы действительно им так дорожите...

— Да, именно так.

— Мы еще поговорим об этом.

***

Собрание проводилось в Бел-эре, в доме одного продюсера, под председательством Коретты Мартин Лютер Кинг и преемника Кинга, пастора Абернати. Там был весь Голливуд.

Речь шла о создании фонда для «великого похода бедных» на Вашингтон. На собранные средства организаторы рассчитывали отправить в федеральную столицу каких-нибудь сто миллионов обездоленных, негров, мексиканцев, пуэрториканцев, индейцев, которых предполагалось поселить в «деревне бедных людей», построенной в двух километрах от Белого дома.

Этот план, в котором угадывался отдаленный отзвук шествия волхвов и девы Марии на ослике, был задуман Абернати и нес печать совершенно устаревшего библейского провинциализма.

Все, начиная со слов «бедные люди», заимствованных из фразеологии дамы-патро-

нессы, говорило о намерении придать борьбе внеполитический и внеидеологический характер.

Представьте себе великолепный дом в Бел-эре, самом богатом и шикарном районе Калифорнии, три сотни самых именитых и состоятельных голливудских звезд, буфет, ломящийся от икры и шампанского, и милейшего Абернати, призывающего своих овечек проявить щедрость и пожертвовать деньги, чтобы поддержать поход «бедных людей» на Вашингтон. Только преподобный Джесс Джексон, пастор «новой волны», осмелился бросить фразу: «Нельзя решить проблему двадцати миллионов американских чернокожих, не изменив все американское общество». Пастор Абернати долго описывал нам последние мгновения перед покушением, проведенные им в комнате мотеля, которую он занимал вместе с Мартином Лютером Кингом. Патетическое и несносное желание сообщить этим минутам ореол библейского бессмертия и святости превращало грубую реальность убийства во второсортную копию распятия, которой явно не хватало изобразительного таланта апостолов.

Замолчите, доктор Абернати. Не сообщайте нам марку крема для бритья, которым пользовался Мартин Лютер Кинг за несколько мгновений до гибели. Не рассказывайте, что он затем передал тюбик вам и предложил воспользоваться, поскольку вы забыли свой. Я знаю, понимаю: этот крем для бритья станет реликвией. Он обретет запах святости. Однако вы забыли, что в Библии не осталось свободных мест. Она давно уже никого не принимает. Клянусь вам, Господь не явится на свое негритянское рандеву. Он пропустил множество других.

Мой сосед, улучив паузу в речи пастора, шепчет мне на ухо:

— Вы видели этот зал? Зрелище потянет на тридцать миллионов долларов.

Это верно. Они все здесь — от Белафонте до Барбры Стрейзенд — и слушают пастора Абернати, повествующего о походе бедных людей и об этом креме для бритья, обретающем запах святости. В первом ряду — Марлон Брандо со своей супругой-таитянкой. Рыжая кожаная куртка, львиная грива и свитер с высоким воротом, выгодно подчеркивающим подбородок... Он одним из первых стал помогать, не считая денег, «делу» чернокожих. Я ставлю слово в кавычки, потому что оно слишком истрепалось.

Он идет к микрофону. Сурово оглядывает зал:

— Тем, кто не пришел сюда сегодня, хорошо бы иметь уважительную причину.

От брошенной угрозы становится неловко — она несколько «наигранна». Но худшее впереди. Сказав несколько слов о детях, которых недоедание делает дегенератами (Брандо с неутомимой щедростью поддерживал усилия ЮНЕСКО), он просит вызваться добровольцев, готовых войти в руководящий комитет, призванный обеспечить непрерывность предпринятых здесь усилий. Из трехсот присутствующих тридцать поднимают руки. Ясно, что этого более чем достаточно. Если бы в руководящем комитете было триста человек, значит, пришлось бы опять создавать руководящий комитет, только и всего.

И вот Марлон Брандо несколькими словами внезапно открывает нам больше правды о себе и об отношениях некоторых негритянских друзей со своим «я» (не с неграми, а именно с собой), чем психиатрическое исследование. Он пристально всматривается в зал, оглядывает тридцать поднятых рук. Слегка покачивает плечами. Он играет. Я говорю «играет», ибо ярость, вдруг появившаяся в его голосе и исказившая лицо, нарочита и умышленно подогрета. Если тут есть хоть капля искренности, то это искренность избалованного великовозрастного ребенка.

— Кто не поднял руку, убирайтесь отсюда к черту.

Как всегда, когда при мне кто-нибудь распоясывается, я чувствую себя так, словно сам опозорился.

Я прекрасно понимаю, что Марлон Брандо пытался имитировать повадки «стоящих насмерть» «черных пантер».

Но когда так ведет себя миллионер, который ничем не рискует, даже получить пинок в зад, перед вами предстает даже не «белая пантера», а пудель, писающий на ковер в гостиной.

— *Убирайтесь отсюда к черту...*

Забудем Марлона Брандо и его неудавшийся номер «черной пантеры». Но вот о

чем действительно важно сказать: среди белых есть психологически неадаптированные личности, которые используют трагедию и требования афроамериканцев, чтобы перенести свой личный психоз из области психики в социальную сферу, где он получает оправдание.

Чернокожие прекрасно знают, что некоторые белые «помогают» им и толкают к экстремизму по интимным причинам, часто не имеющим никакого отношения к американской расовой трагедии. Один из негритянских активистов сказал мне, с улыбкой глядя вслед удаляющейся голливудской знаменитости: «Мы очень помогли ему».

Были, однако, и комические интермедии.

Предполагалось, что каждый укажет сумму, которую желает внести, письменно и скромно вложит листок в конверт.

Но это значило забыть, что мы находимся в столице шоу-бизнеса. Некоторые из присутствовавших просто не могли примириться с мыслью, что они пожертвуют двадцать тысяч долларов и никто в зале не узнает об этом. Я не стану называть имени звезды, проявившей инициативу, скажу лишь, что сей симпатичный комедиант положил конверт, после чего встал и объявил:

— Я жертвую весь гонорар за свой будущий фильм.

Что началось! Все наперегонки ринулись за ним. Из одного конца зала в другой летели цифры, вспыхивали аплодисменты, влажно блестели глаза, и даже пастор Абернати, потихоньку задремавший на эстраде во время речей, проснулся, сияя.

И тут прозвучала великолепная фраза, брошенная одним режиссером, мужем знаменитой звезды:

— Недостаточно дать деньги. Мы должны пойти в негритянские семьи, научиться понимать их...

В 1968 году, друзья мои! Не знаю, представляете ли вы все те ошеломляющие выводы, которые следуют из этого трагикомического крика души. Ибо это внезапно пробудилась не старозаветная Америка, нет: автору было тридцать семь лет...

Чернокожие, стоявшие вокруг эстрады, — Белафонте, Янг, преподобный Джексон — делали отчаянные усилия, чтобы сохранить серьезный вид. *Мы должны пойти в негритянские семьи, научиться понимать их.*

А над всем этим парило удивительное, прекрасное лицо и печальная, едва намеченная улыбка Коретты Мартин Лютер Кинг. За всю свою жизнь я не видел более благородного и прекрасного лица.

***

Мы везем в нашей машине литературного агента Ллойда Катценленбогена, его брата продюсера Сен-Робера и литературного агента Сеймура Блица. Все трое находятся в совершенно ужасающем покаянном состоянии. Того и гляди, начнут бить себя кулаками в грудь; я испытываю искушение стряхнуть в ладонь пепел своей сигары и предложить им, дабы они могли посыпать себе главу. Комплекс виновности — главный отличительный признак американского интеллектуала. Чувство личной вины свидетельствует о вашем высоком моральном и общественном статусе, это своего рода пароль, знак вашей принадлежности к элите. Говоря о своей «нечистой совести», вы демонстрируете свою отлично функционирующую «чистую совесть» или хотя бы, для начала, что у вас есть совесть. Разумеется, я говорю здесь лишь об аффектации, а не об искренних чувствах. Всякая цивилизация, достойная этого имени, всегда будет ощущать свою вину перед человеком: именно по этой примете вы узнаете цивилизацию.

Я слушаю, как мои пассажиры предаются самокритике. Самый высокий уровень понимания и терпимости обнаруживает Ллойд Катценленбоген, он — литературный агент нескольких очень хороших современных писателей и драматургов.

— Всякое психологическое освобождение предполагает полную вербальную раскованность. Негры смогут избавиться от навязывавшегося им «уважения» к белым лишь посредством противоположной крайности. Это «десакрализация»... За каждым поджогом, насилием или убийством, которое совершает чернокожий, стоят преступления бе-

лых, *наши* преступления. *Мы* запихивали их в гнусные невольничьи судна, *мы* приковывали их цепями...

Вступает Сеймур Блиц:

— Мы так же не имеем права забывать о том, что *наши* предки делали с чернокожими, как немцы не имеют права забывать о преступлениях Гитлера... *Мы* совершали преступления против человечества, рядом с которыми бледнеют...

На меня нападает приступ безумного смеха. Никак не могу остановиться, право, ничего более уморительного в жизни не слышал, хотя жизнь не упускала возможностей уморить, то бишь посмешить меня.

— Что на вас нашло? — взвизгивает Блиц.

— Я вам скажу, что на меня нашло.

Я утираю слезы.

— Я вам скажу. Вы все трое — евреи из Восточной Европы, и даже если один из вас успел приехать вовремя, чтобы родиться в Соединенных Штатах, ваши отцы и деды еще гнили в гетто между двумя погромами, когда в США уже не было рабства. Но вам приятно говорить «*мы*, американские рабовладельцы», потому что при этом вы ощущаете себя полноценными американцами... Я не утверждаю, что вам плевать на негров...

— Спасибо! — рявкает Катценленбоген.

— ...но это позволяет вам забыть о том, что вы сами — нацменьшинство, помогает закрыть глаза на собственное отчуждение. У меня просто живот болит от ваших mea culpa...

— Он пьян, — торжественно заявляет Сен-Робер, и это почти правда, хотя я никогда не прикасаюсь ни к спиртному, ни к марихуане, ни к ЛСД. Я так спелся с самим собой, что не могу допустить, чтобы выпивка или наркотик разлучили меня со столь приятным спутником. Но я пьянею от негодования. Кстати, именно так делаешься писателем.

Атмосфера становится настолько прохладной, что мы решаем поехать пообедать в бистро, чтобы подогреть нашу дружбу. Разговор в этом весьма престижном месте Голливуда сперва держится на самом высоком уровне, не спускаясь ниже суммы в четыреста тысяч долларов (с гарантированными десятью процентами от общей выручки). После чего Сен-Робер — еврей, как вы, конечно, поняли по фамилии, — начинает метать громы и молнии против новых проявлений антисемитизма в Гарлеме. С тех пор как негритянский авангард атакует евреев — не в качестве белых, а именно как евреев, — последние в свою очередь становятся расистами. Пресловутый backlash — ответный удар. Тут заплачешь, как говорила моя мать, которая никогда не плакала.

Своего первого негра-антисемита я встретил как раз у Ллойда Катценленбогена. Это было очень красиво. Мой друг Ллойд — испытанный либерал. Он все понимает, а понять значит простить. Диалог, записанный по памяти — мне пришлось дважды выходить, чтобы взять себя в руки, — звучал примерно так:

Активист негритянского движения. Вы, евреи, прибрали к рукам все гетто. Все дома, все магазины принадлежат вам. Вы берете с нас за ваши паршивые товары на десять процентов больше, чем в белых кварталах. Придется отрезать вам уши.

Катценленбоген. Возьмите еще цыпленка.

Активист (*накладывает на тарелку*). Спасибо. Вы дерете с нас три шкуры.

Я (*по-французски*). Твой парень начинает действовать мне на нервы.

Катценленбоген (*по-французски*). Ты не можешь понять. Мы угнетали их в течение двух веков. Им нужно самоутвердиться. Заткнись.

Активист. Разумеется, это не относится лично к вам. Я знаю, Ллойд, что вы тут ни при чем.

Я. Вот-вот, Ллойд, вы *хороший* еврей.

Активист. Возьмите soul stations, эти пресловутые радиостанции для чернокожих... Почти все принадлежат евреям.

Я. Вы антисемит?

Активист. Вы не американец, вам этого не понять.

Я. Значит, вы, в конечном счете, ощущаете себя американцем?

Катценленбоген. Ты что, стал расистом?

Я. Впрочем, мысль о негре-антисемите мне весьма приятна. Я счастлив убедиться, что негры, как и все, нуждаются в евреях.

— А как ваш пес? — спрашивает Сен-Робер.

— Что мой пес?

— Все такой же расист?

Я молчу. Остальные не в курсе, и Сен-Робер рассказывает им всю историю в таком сострадательном тоне, как если б говорил о моем близком родственнике, оказавшемся эсэсовцем. Я опускаю нос и ем за пятерых, как всегда, когда подавлен...

Катценленбоген ничего не сказал, но был, казалось, заинтересован рассказом.

Он позвонил мне на следующий день и уже двадцать минут спустя примчался в своем открытом «тандерберде». Я усадил его. Угостил «кровавой Мэри».

— Я пришел поговорить о вашей собаке, — сказал он. — Я все обдумал этой ночью и обсудил с женой. Думаю, мы сможем вам помочь.

— Вот как! И каким же образом?

— Пес не может провести всю оставшуюся жизнь в клетке, а вы слишком много путешествуете, чтобы им заниматься.

Я уже почуял, что последует дальше. Будь я полностью собакой, шерсть у меня встала бы дыбом.

Ллойд маялся. Это исключительно элегантный мужчина. Синий блейзер, золоченые пуговицы, тончайшее белье.

— Просто я хотел предложить вам взять собаку. Мы с женой живем одни в Бел-эре в уединенном доме и...

Он выглядел таким искренним, проявлял такую очевидную доброжелательность и к тому же занимался такими хорошими писателями, что, не будь у меня в кишках чего-то вроде радара, который начинает немедленно подавать сигналы в присутствии какого-нибудь сукина сына, ему бы, возможно, удалось меня облапошить...

— Ужасно жаль, старик, я уже обещал собачку мэру Йорти, — говорю я. — Но если у Батьки будут маленькие Белые, я подумаю о вас, обещаю.

Он, как ошпаренный, кидается к двери — тем яростным шагом, который заменяет мирным натурам брань или что-нибудь покрепче.

Ночью мне не спалось.

Из глубины своего мрака я думал о том, что Дон Кихот был суровым реалистом, который умел разглядеть за банальным, привычным обличьем повседневности мерзких драконов.

А Санчо Панса — восторженный романтик, неисправимый мечтатель, не способный увидеть реальность, из тех слепцов, которые в течение тридцати лет верили, что Сталин — мудрый «отец народов», пекущийся о счастье людей, и что двадцать миллионов погибших при «чистках» — всего лишь «капиталистическая пропаганда».

Дон Кихот *знал*. Наделенный редкой проницательностью, он ясно видел бесов и чудищ, при малейшей возможности высовывающих свои гнусные рыла из нашей генетической змеиной ямы.

Я зажигаю лампу, беру автобиографию Кливера и сразу же натыкаюсь на цитату из Лероя Джонса[1]: «Встань, черный безумец, нигилизм. Насилуй белых девушек. Насилуй их отцов. Режь горло матери».

Дерьмо!

Я выхожу.

Кружу в своем «олдсмобиле» по туманному городу так же бесцельно, как мысли в моей голове. Доезжаю до Малибу, чтобы послушать голос своего брата Океана. Но он молчит.

Он спит.

Еду на ранчо и вхожу в клетку Пита Душителя, который любезно разворачивается, потом складывается треугольником.

---

[1] Лерой Джонс (р. 1934) — американский поэт и драматург, поборник культурной и политической автономии для чернокожих.

Мы глядим друг на друга.

Когда питон вот так пристально смотрит своими круглыми глазами на человека, кажется, что он никогда в жизни еще не видел ничего подобного.

Мы долго разглядываем друг друга, в очередной раз объединенные отсутствием понимания и безграничным изумлением. Мы в некотором роде обмениваемся впечатлениями. Их можно подытожить одним словом — чудовищно...

Потом я иду в клетку Батьки, и тот приветствует меня с горячностью, которая веселит и тешит восьмилетнего ребенка, все еще таящегося во мне. Белая Собака кладет голову мне на колени, и пока я ем засоленные по-русски огурцы с черным хлебом, купленные в Хьюз-маркете, Батька, замерев, с обожанием глядит мне в глаза. В нашем мире лишь во взгляде собаки можно встретить истинную человечность.

В таком братском единении застает нас Киз.

— Порядок?

— Порядок.

Он входит в клетку и кормит пса. Батька лебезит перед ним, виляет задом и лижет ему руки.

Киз бросает на меня быстрый взгляд.

— Ну и ну, — говорю я вместо комплимента.

— Да, — говорит он, — дело быстро идет на лад.

Он выпрямляется и зажигает сигарету, со странным выражением наблюдая за мной.

...Сволочь! Я никогда не прощу его.

***

Один мой друг, имеющий доступ к подобной информации, предупредил меня, что наш телефон прослушивается и что в доме наверняка установлены микрофоны. Почему бы нет? Пусть, раз у них такая работа.

В Ардене не говорят ничего такого, о чем бы не писали в газетах. Просто бесконечная говорильня, как всегда, когда возможности действовать ограничены.

Я сыт по горло американским негритюдом. К счастью, Франция зашевелилась, и это для меня — как глоток свежего воздуха. Телевидение ведет непрерывный репортаж. Взятие Сорбонны, тысячи студентов на баррикадах, угроза всеобщей забастовки. Я наконец дышу. Укрывшись в своем кабинете, я смотрю телевизор, в то время как в гостиной идет собрание «зеленой власти» (понимай — долларовой) — новой организации, поставившей себе целью заложить основы нового «черного» капитализма с негритянскими банками, негритянской промышленностью, негритянской торговлей. Когда я вхожу в гостиную, где Джин как раз подписывает чек, я натыкаюсь на парня, одетого в нечто вроде фиолетовой тоги с пряжкой в виде маски, с крестом на груди, круглой шапочкой раввина на голове и золотым кольцом в мочке правого уха, который произносит речь. Настолько замечательную речь, что я бегу в свой кабинет, кидаю взгляд на французских стражей порядка, которым каски, дубинки и щиты придают вид этаких рыцарей-круглого-стола-выпивох-и-бражников, недостает только Жуанвиля[1], Святого Людовика и Годфруа Бульонского, хватаю карандаш с бумагой и подхожу к двери, дабы не упустить ни единого перла, срывающегося с уст Саида Мактуба, еще три месяца назад известного мне под именем Питера Стюарта.

— ...Мы отнюдь не намерены свергать американский капитализм, совсем напротив. Мы хотим получить *возмещение* за ущерб. Нам должны заплатить за столетия эксплуатации и лишений, за труд и пот, притом с процентами, и мы не собираемся делиться с белыми рабочими. Мы построили своими руками часть этой страны и теперь хотим, чтобы с нами расплатились. Но белые готовы стать коммунистами, лишь бы увильнуть от уплаты долгов...

Питер Стюарт Саид Мактуб продолжает разглагольствовать. Мочка его уха еще слегка воспалена — он внес инфекцию, когда сам проткнул ее. Я тоже всегда мечтал носить

---

[1] Жан де Жуанвиль (1224—1317) — французский хронист, автор жизнеописания Святого Людовика и хроник крестовых походов, в которых Жуанвиль сопровождал короля.

золотое кольцо в мочке правого уха, но никак не мог подыскать подходящий предлог. Возможно, если б я сослался на своих монгольских предков по отцовской линии... Да, но моя мать была еврейка. Это абсолютно неразрешимая дилемма. Когда я был в Израиле, то на пресс-конференции, транслировавшейся по радио, почтенный журналист из «Маарива», похожий на Бен Гуриона, только сильно состарившегося, спросил меня перед полным залом: «Господин Ромен Гари, вы обрезаны?» Это был первый случай, когда пресса интересовалась моим членом, да еще при радиотрансляции! Я не посмел сказать «нет», не мог же я отречься от своей матери и плюнуть на ее могилу. Я сказал «да», и в зале раздалось что-то вроде вздоха облегчения, тоже переданного по радио; но потом я ощутил странные покалывания: это протестовала правда.

...Однако я не пропустил ни единого слова, сказанного Питером Стюартом Саидом Мактубом, адвокатом по профессии:

— Коммунизм наш враг, потому что он провозглашает бесклассовое общество, интернационализм и всеобщую справедливость, минуя этап негритянской собственности и негритянской справедливости.

Уф!

Я возвращаюсь к телевизору. Летят булыжники. Солдаты отвечают гранатами со слезоточивым газом, их рыцарские доспехи сообщают всему зрелищу нечто странно-анахроничное. Я устраиваюсь в кресле и закуриваю сигару. Дивная вещь: сидишь себе комфортабельно дома, а тебе подают на подносе весь мир.

Я немного стыжусь своего малодушия, когда ночью объявляю Джин, что собираюсь завтра сбежать.

Она выглядит растерянной. Бросить семнадцать миллионов американских негров ради прогулочки по майскому Парижу — вот поступок, который не пройдет даром для моего престижа. Все же я прикрепляю к пижаме свой крест «За освобождение» и офицерскую розетку Почетного легиона, но Джин знает, что им уже двадцать пять лет, почтенный возраст: я *бывший. Экс.* В любом случае недопустимо ссылаться на битву за Англию, чтобы смыться. Все проблемы здесь, в Америке: в конце концов, в Париже — белые. Именно такое прелестное замечание сделала на днях наша приятельница Клара, когда я рассказал ей, что одного моего парижского друга оставила жена, так как он потерял состояние:

— На что он жалуется? Он ведь белый, не так ли? У него нет настоящих проблем.

Словом, я дезертирую. Не хочу больше бывать на собраниях, где все делают вид, будто не знают, что Абдул Хамид, здесь присутствующий, — стукач, что новая группировка, представленная здесь бритоголовым Бамбадиа, по всей вероятности, финансируется ФБР, стремящимся посеять раздор в рядах «власти черных»; где никто не задается вопросом, почему столько молодых активистов было убито своими же черными собратьями и по чьему приказу. Короче, я считаю, что моя совесть тоже имеет право на каникулы, а Париж с его весной, расцветшей баррикадами, и солдатами безопасности на улицах — это как раз то, что мне нужно, чтобы встряхнуться.

Я укладываю вещи. Утром в день отъезда еду с сыном в собачий питомник, и мы проводим час с Белой Собакой. Моему сыну шесть лет, и мы можем позволить себе строить совместные планы. Мы решаем, что после моего возвращения повезем Батьку во Францию, чтобы женить его на французской девочке, и у них будет много малышей. Мой сын, у которого всегда были чернокожие приятели, не подозревает о существовании «черных». Никогда еще, ни разу он не спросил меня, почему у месье такого-то, или у Джимми, или у его мамы черная кожа. Мой сын еще не дрессированный.

Дома на столе нахожу записку: «Не уезжай, не простившись со мной. У меня собрание в Крентоне, это по пути в аэропорт...» Я жму лапу моей желтой собаке Сэнди. Май прыгает ко мне на плечо, трется о щеку и рассказывает длинную, чрезвычайно запутанную историю, где речь идет о птицах, о каком-то чрезвычайно вульгарном и неприятном коте, живущем напротив, и об украденной с кухонного стола телячьей отбивной, о которой она, право же, никогда не слышала.

В Крентоне, где я прежде не бывал, отыскать нужный дом оказывается довольно трудно. Спрашиваю дорогу у здоровенного бородача: этот бедный Лумумба наверняка

отдал своей бороде не меньше сил, чем делу Конго... Адрес, который я называю, производит наилучшее впечатление:

— Вы едете к Чарли?

— Я еду к Чарли.

Третья улица налево, пятый дом по правой стороне. Перед домом торчат двое чернокожих, которым я объясняю, чей я муж, и, чтобы успокоить их, добавляю, что жена сама просила меня приехать. С первого взгляда отмечаю, что это собрание отнюдь не в духе «зеленой власти». Напротив, это одна из тех party, когда у каждого окна стоит часовой, не спускающий глаз с улицы. Единственный парень, с которым я знаком, — член black deacons[1] — здесь производит впечатление умеренного. Царит атмосфера подпольной сходки маки времен оккупации, но с кубинским акцентом бород и беретов и смутным нацистским душком, исходящим от кожанок. Кастро почти удалось охмурить американских негров, но в конце концов они все же заметили, что среди военачальников, министров, приятелей и приятельниц Фиделя нет ни одного чернокожего...

Что это случилось с barbudo? Разве на Кубе не осталось чернокожих?

С ума сойти, до чего беленькой выглядит Джин на этом фоне. Она как раз выступает. Голос ее дрожит:

— Для движения за гражданские права нет худшей рекламы, чем шумиха вокруг кинозвезд, которые пытаются вам помочь. Это слишком отдает Голливудом. Кинематографом. «Модой». Ведь звезда, кто ж не знает, что это такое? Что бы ты ни делала, какой бы искренней ни была, у тебя такой вид, словно ты позируешь для фотографов и «держишь» улыбку. Я делаю что могу для школы, но когда вы просите меня подписать манифест, вы только вредите себе...

У меня впечатление, будто я стал невидимкой. Зря я не надел свою красную феску и небесно-голубые с золотом турецкие шаровары.

— Не забудьте, что мы в двух шагах от Голливуда, где скоро начнут снимать «Че Гевару» с Омаром Шарифом в главной роли... Короче, что бы я ни делала, всегда будет казаться, будто я *играю*...

Ее голос срывается. Двое типов у окон настороженно смотрят на улицу. Думаете, они опасаются полицейской облавы? Не смешите меня. Полиции незачем утруждать себя. Она уже здесь, внутри. В Америке нет политического движения, которое не было бы охвачено агентурой ФБР. Знаете, как лучше всего держать под контролем политическое движение? Это *создать его.*

А часовые поставлены для того, чтобы подстеречь и отразить внезапный вооруженный налет какой-нибудь соперничающей негритянской группки. Самая трагическая сторона экстремизма — *внутренние* разборки. Все происходит так, словно какая-то тайная сила манипулирует движением, натравливая экстремистские группировки друг на друга.

Я обнимаю Джин. Чувствую себя совсем как безутешная супруга, чей муж отправляется в крестовый поход. Но для Джин лучше, чтобы я уехал. Разница в возрасте — ужасная вещь, если вы женились на молодой женщине, которая младше вас на несколько столетий. Не говоря уж о том, что за плечами у меня Вольтер и Ларошфуко, от которых не так-то просто избавиться.

Мне удается довезти свое горе до аэропорта и втащить в самолет.

***

Парижская ночь озвучена взрывами. Я слышу какой-то топот и подхожу к окну: около десятка молодых людей идут по улице Бак, скандируя: «Мы-хотим-выйграть! Мы-хотим-выйграть!» Потом запевают хором:

Буржуа — что свинья:

Чем жирнее — тем свинее!

Выхожу, чтобы поесть, и на улице Севр перед рекламным щитом вижу Б., своего

---

[1] Группа самообороны чернокожих Юга. (*Прим. автора.*)

старого товарища по юридическому факультету, ныне известного адвоката, который вдумчиво изучает надписи:

Де Голля — на чучело!

Фашизм не пройдет!

Б. не замечает меня. Он стоит перед щитом со своей розеткой командора ордена Почетного легиона, погруженный в мечты. Потом украдкой достает из кармана фломастер, воровато оглядывается, поворачивается к щиту и начинает писать. Я читаю:

Свободу Тельману!

Франко но пасаран!

Шиаппа — на виселицу!

Долой Кагуль!

Я хлопаю его по плечу. Он отскакивает, потом узнает меня. Мы пожимаем друг другу руки. Я беру у него фломастер и пишу:

Свободу Димитрову!

Отомстим за Маттеотти!

Спасите Эфиопию!

Он вырывает у меня фломастер, возбужденно сверкая глазами. Пишет:

Ла Рок не пройдет!

Ж. П. — убийцы!

Обезоружьте лиги!

Теперь моя очередь:

Свободу Карлу фон Осецкому!

Долой двести семейств!

Отомстим за Гернику!

Все на защиту Теруэля!

Я выпрямляюсь. Мы смотрим друг на друга. Волнующий момент: не каждый день вам бывает двадцать лет.

Он берет у меня фломастер:

За Единый фронт левых сил! Все в Мютюалите!

Сталин с нами!

Мимо медленно проезжает полицейская машина, и мы принимаем невинный вид. У Б. глаза влажно блестят.

— Наша возьмет, — шепчет он. — Мадрид еще держится.

— Блюм пошлет им самолеты, — говорю я.

Мы еще раз взволнованно пожимаем друг другу руки и расходимся. Я шагаю, горделиво подняв голову, довольный собой. Я тоже принял участие в борьбе.

Я колеблюсь между кислой капустой «У Липпа» и рагу по-лангедокски «У Рене», но с тех пор как в Париже революция, рестораны переполнены. Все же мне удается найти место «У Липпа», где за соседним столиком молодая женщина рассказывает, что солдаты уже убили сотню студентов и, чтобы спрятать концы, бросили тела в Сену. С аппетитом уплетая отварную говядину, она со всеми подробностями описывает, как в полицейском участке насиловали студенток и приканчивали раненых. После чего она заказывает слоеное пирожное. Я тоже ужасно хочу слоеное пирожное, но от него толстеют. Наспех разделавшись со сладким, молодая женщина уходит вместе с друзьями: ночь они проведут на баррикадах. Я спрашиваю Роже Казеса, как дела с продуктами.

— Держимся, — отвечает он.

***

На Сен-Жермен-де-Пре становится жарко. Между солдатами и студентами идет бойкий обмен презентами: булыжники — на гранаты со слезоточивым газом. Роже Казес опустил железный занавес в пивной, и нас выпускают через первый этаж с другого хода. Перед зданием — кордон солдат. Один краснорожий страж порядка типа короля Позоля в каске, от которого так и разит почвой, добрым вином и жратвой, пуленепрошибаемый с головы до сапог, со щитом Святого Людовика в руке преграждает мне путь:

— Сюда нельзя.

Я оглядываюсь: интеллектуальная молодежь толпится справа, у церкви. Я пытаюсь объяснить ему, что на улицу Бак, где я живу, можно попасть, лишь перейдя на другую сторону.

— Послушайте, я поверну налево...

Король Позоль прищуривает глаза. Я замечаю, что он чертовски похож на его величество Короля Карнавала моего почти родного города Ниццы. Он все сильнее щурит глаза, и при этом его пухлые губы расплываются в улыбке.

— Ах, ты поворачиваешь налево? Получай, подонок!

И я получаю удар дубинкой по затылку. Мгновение гнева, и потом все вдруг проясняется: у меня борода, я в джинсах, в куртке, без галстука и — верх непрезентабельности — вместе с молодым негром. Удар дубинки предназначался не мне: король Позоль бил по одежке. Он ошибся классом.

Слезы благодарности выступают у меня на глазах. Честное слово буржуа, меня охраняют. Я не зря плачу налоги. Удар дубинкой, который я схлопотал, доказывает, что меня защищают от швали. Я испытываю блаженное чувство безопасности. Достаю свой дипломатический паспорт, удостоверение участника Освобождения, удостоверение второго заместителя министра информации и иду к лейтенанту. Предъявляю свои бумаги.

— Майор Гари де Касев. Лейтенант, позвольте вас поздравить.

Он бросает взгляд на мои документы и отдает мне честь.

— Я оделся как подонок, чтобы провести небольшую проверку. У вас замечательные люди. Мгновенный рефлекс, лучше просто не бывает. Дубинка разит практически одновременно со взглядом. У меня самого есть собака, обученная атаковать подонков, я знаю толк в дрессировке. Браво.

Я горячо пожимаю ему руку. Он провожает меня до своего красноорожего галла, которому я тоже пожимаю лапу.

— Вы все получите завтра по дополнительному литру вина. Я поговорю со своим министром.

Я удаляюсь с сознанием выполненного долга. Рядом со мной семенит Каба, встревоженно поглядывая на меня. Во время инцидента он словно стал невидимкой, хотя не отошел от меня ни на шаг. Настоящая черная магия: Каба так привык к уличным стычкам, что разработал особый метод колдовства, который позволяет улетучиться, физически оставаясь на месте. У этого негра в роду, должно быть, много поколений чародеев.

— Вам не больно?

— Не имеет значения. Главное — знать, что нас охраняют.

Я лечу домой, преисполненный молодого задора: мои двадцать лет галопом возвращаются ко мне, потрясающий прилив гормонов. Переодеваюсь в свой самый изысканный костюм в мелкую клеточку, прикрепляю розетку Почетного легиона, надеваю свою парадную хомбургскую шляпу, сделанную на заказ у Желло. Зонтик, без него нельзя, и получше свернуть. Я готов к выходу.

— Теперь, Каба, оставьте меня. Вы не подходите к моему костюму. Живо сматывайтесь. Я пойду делать революцию.

Он неодобрительно качает головой и уходит. Каба не выносит нигилистов.

Те, кто не испытывал чувства освобождения, смотря фильмы братьев Маркс или чаплинского «Диктатора», конечно, ничего не поймут в «братских жестах», которыми я развлекался на улицах Парижа в тот вечер. Провокация? Разумеется. А что, по-вашему, можно сделать против Трои? Сделаться конем... Затылок у меня еще тупо ныл после удара дубинкой, а в голове только одна мысль: подлить масла в огонь гнева.

Итак, одетый с буржуазной элегантностью, я являюсь на улицу Севр, где у «Лютеции» намечается внушительное противостояние сил. Солдаты трижды вежливо останавливают меня.

— Осторожнее, месье, в вас могут запустить булыжником.

— Оставьте меня в покое, я воевал в Куфра и в Нормандии.

Достаю свой министерский пропуск.

Какой-то паршивец с железным прутом в руке приближается ко мне. Типичный француз, черноволосый, мускулистый, с окурком во рту.

— Придурок, — бросает он мне.

— Хам, — отвечаю я.

— Фашист! — орет он.

— Паршивый еврей, — огрызаюсь я.

На этот раз я метко прицелился. Ничем вы так не обозлите трудящихся, как обозвав их «паршивыми евреями». Я точно знаю, что они при этом чувствуют — то же, что я сам, когда в Америке меня обзывают «паршивым французом». Вся моя кожа тогда вспыхивает цветами нашего знамени. Что-то вроде людской волны катится ко мне, я благоразумно отхожу к солдатам, вопя:

— Все жиды!

Я доволен собой: слегка раздул священный огонь. Конечно, среди них имеются наши славные, истинно французские парнишки, так можете себе вообразить... Как подумаю, что потерял свою родину, святую Русь, из-за евреев, которые зашли в своем коварстве так далеко, что даже моя мать оказалась еврейкой и я сам тоже, то не могу больше сдержаться и ору:

— Франция — для французов!

Солдаты бросаются вперед, подняв дубинки. Чувствую, что кое-что сделал для матери-родины, я хочу сказать, отомстил за сожженную Наполеоном Москву и всех наших, погибших при Бородино. Все-таки Керенский негодяй. Он раз десять имел возможность ликвидировать большевиков. А теперь они заняли даже Одеон.

Я бреду по улице Варенн, печальный и униженный. Эмиграция — это ужасно. Вы становитесь генеральным консулом Франции, Гонкуровским лауреатом, патриотом, голлистом, пресс-атташе французской делегации в ООН. Ужасно. Разбитая жизнь. Я вынимаю свой шелковый носовой платок от Гермеса и вытираю слезы — газ. Решаюсь прогуляться по бульвару Сен-Мишель орденами наружу. Студенты расступаются, зажав нос.

Но самая яркая встреча с революционным Парижем ждет меня во дворе Сорбонны, куда я отправляюсь в своем неприлично респектабельном костюме с ленточками буржуазных орденов, подстегиваемый тем же духом провокации, который вдохновляет остряков, осыпающих меня насмешками. Какое разочарование: прием ледяной, но вежливый. Студенты узнают видного врага народа и затевают дискуссию. Все мои аргументы основательны, а ваши — сплошной бред, и однако же правы вы... Я ухожу подавленный, с ощущением, что оставил там свою молодость.

И в этот момент на улицу Эколь внезапно вступает Красота.

Ко мне приближается дама. Мать. Рядом с ней девушка и мальчик, похожие на нее. Лицо усталое, изможденное, чем-то она напоминает мне тех русских женщин начала века, которые готовили революцию и шли на каторгу в Сибирь, чтобы в один прекрасный день их дети и внуки были отправлены на каторгу в Сибирь. Победившая революция — это всегда проигранная революция. Попробуйте опровергнуть меня, приведите хоть один исторический пример, доказывающий обратное. Я слышу за спиной ее голос:

— Месье Ромен Гари, месье Ромен Гари...

Я оборачиваюсь.

— Мы нуждаемся в помощи...

Кто «мы»? Я знаю это лицо, такие никогда не просят ничего для себя.

— Кто это «мы»? Студенты?

Улыбка с легким привкусом горечи.

— О, студенты, знаете...

Я знаю. Всего несколько мгновений назад я слышал во дворе Сорбонны, как громкоговорители передавали такой дивный призыв: «Нужен товарищ с машиной, чтобы поехать в XVI округ[1]».

Я смотрю на даму с изможденным лицом, в глазах которой горит непобедимый огонь всех проигранных революций.

— Речь идет о бастующих рабочих заводов «Рено».

---

[1] Один из самых богатых аристократических районов Парижа.

Я жду. Она немного колеблется.

— Коммунистическая партия настаивает на прекращении всеобщей забастовки. Фонд поддержки бастующих исчерпан. Забастовщикам заводов «Рено» больше никто не помогает, они могут рассчитывать лишь на самих себя... а дома жены начинают терять терпение... Не могли ли бы вы вместе с вашими друзьями...

Я не ослышался: *вместе с вашими друзьями.*

— ...собрать средства, чтобы помочь им продержаться?

Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что к чему, я так уставился на нее, что у меня просто глаза на лоб полезли. Эта женщина — вот она стоит передо мной — наделена той святой наивностью, которая с незапамятных времен обеспечивает выживание рода человеческого. В своем доверии к людям она перешагнула все демаркационные линии и социальные барьеры. Ибо, в конце концов, эта дама знала меня. Я предстал перед ней со всеми внешними признаками буржуазного порядка. Известный голлист... Следовательно, она знала, что всеми действующими статутами я исключен из братства «все-мы-немецкие-евреи», о котором кричат на улицах Парижа французские студенты. И она обращается ко мне, просит собрать вместе с моими друзьями средства, чтобы помочь рабочим «Рено» продолжать забастовку!

Возможно, она подумает, что я преувеличиваю, но на глазах у меня выступили слезы. Конечно, слезы еще ничего не значат, они у меня безотказные. Однако эта женщина сумела, несмотря на все внешние знаки моей низости, стать по ту сторону всяких знаков. Заведомая иррациональность ее просьбы вытекала из того инстинктивного, проникновенного понимания, которое непроизвольно поднимается на ту высоту, где ничто не может поколебать вашу гуманистическую веру. Уже, не дожидаясь моего ответа, она что-то пишет на клочке бумаги.

Я отдаю ей все деньги, которые были при мне. Она хочет написать расписку.

— Послушайте, мадам, прошу вас, в конце концов, какого черта... не нужна мне расписка.

— Дело в том, что тут попадаются прохвосты, которые собирают на улицах пожертвования и оставляют деньги себе.

Она тщательно складывает купюры и прячет в сумку.

— Если бы только вы могли собрать вместе с друзьями несколько миллионов... жены рабочих совсем выбились из сил...

Я последний раз смотрю на эту женщину: мне чудится, что я в Москве 1905 года. В России таких больше не осталось. Революция победила по всему фронту.

***

Я возвращаюсь домой как раз вовремя, чтобы снять трубку трезвонящего телефона. Это Джин, она звонит из Беверли-хиллс, и первые же звуки ее голоса выдают смятение, которое пытаются скрыть слова.

— Я звоню, чтобы сказать тебе, что вынуждена уехать из дому... чтобы ты не беспокоился, если телефон не отвечает.

— Что случилось?

— Так, угрозы...

Ее голос пресекается.

— Они отравили кошек... в порядке предупреждения...

— Май?

— Нет, Бруно и Биппо. А потом раздался телефонный звонок. Анонимный: «В следующий раз, потаскуха, — твоя очередь. Не лезь в наши дела, белая сука».

В ее голосе появляется нотка надежды:

— Наверно, это провокация белых...

Ну-ну, рассказывай.

Эта фраза продолжает стучать у меня в ушах: «Не лезь в наши дела, *белая сука...*»

За один год эта «сука» отдала большую часть того, что заработала, негритянским организациям...

— Они еще повредили мою машину. Открутили колесо... И кто-то выстрелил в окно кухни... а я одна в доме...

И тогда я слышу, как мой голос холодно произносит, как бы помимо меня, откуда-то со стороны, из того другого мира, где все приведены к общему знаменателю подлости:

— Забери Батьку из питомника. Лучшего сторожа ты не найдешь...

На том конце провода — сдавленный возглас:

— Как, и это говоришь *ты*?

— Да, я. Позвони Каррутерсу и попроси немедленно привезти собаку. Мне будет спокойнее.

— Ты хочешь, чтобы я забрала собаку, обученную хватать за горло чернокожих?

— Необходимая оборона. Негодяй остается негодяем независимо от цвета кожи.

Она вопит, хотя вообще никогда не повышает голоса:

— Ни за что, слышишь, ни за что!

— Ты сообщила в полицию?

— Ты хочешь, чтобы после всех наших протестов против полицейского насилия я пошла к ним жаловаться, что мне угрожают чернокожие?

Я проглатываю несколько ругательств и медленно перевожу дыхание.

— Джин, самое священное право человека — не поддаваться...

Она прерывает меня:

— Я звоню единственно для того, чтобы сообщить тебе, что не ночую дома... не волнуйся.

Она кладет трубку.

Всю ночь я кружу по комнате, задыхаясь в петле страха, которую стягивают чьи-то неведомые руки в Голливуде. Там достаточно наркоманов, психов и маньяков, чтобы принять всерьез любую угрозу. К четырем часам утра решаю выяснить, в чем дело. Звоню другу, молодому адвокату, одному из лидеров негритянского движения, которому не посмеют отказать в информации. Объясняю ему ситуацию, и он долго, с беспечностью миллионера, которая обходится мне в десять долларов, хранит молчание на том берегу Атлантического океана.

— О'кей, — говорит он. — Я так думаю, что это будет не слишком трудно...

Ему понадобилось ровно тридцать шесть часов, чтобы дать мне — с некоторой усталостью в голосе — все необходимые разъяснения.

— Это серьезно?

— Пока что только неприятно. Видишь ли, когда прекрасная звезда, «богатая», «знаменитая», *спускается* со своих высот...

— И что?

— А то, что это уж *слишком.* Джин Сиберг для наших женщин, участвующих в борьбе, *это уж слишком...*

Я молчу. Я понимаю: это так по-человечески.

— Собственно говоря, тут не ревность или зависть... скорее обида. Наши женщины живут на осадном положении, в страхе, в бедности... но как бы то ни было, это *их* жизнь. Так вот, когда прекрасная кинозвезда *спускается* к ним и привлекает к себе все взгляды, все внимание... они чувствуют себя обворованными. Им кажется, что эта знаменитость присвоила часть их достояния, часть их драмы, их братства... Понимаешь?

— Понимаю.

Мы оба смолкаем.

Я чувствую, что ему, как и мне, тяжело, но разное бремя лежит у нас на сердце.

— В общем, их приятели организовали маленькую кампанию устрашения, чтобы отстранить Джин. Чтобы наши славные женщины могли сохранить для себя лично свою нищету, свою привилегию на страдания и гонения, не делясь этим со звездой экрана. Понимаешь?

— Понимаю

— Потому что, когда кинозвезда появляется в их замкнутом, осажденном мирке, знаешь, кем она там становится?

— Звездой.

— Вот именно. Вижу, тебе все ясно.

— Да, мне все ясно.

— В общем, наши славные женщины приняли меры, чтобы устранить ее... Таким образом, они сами останутся звездами негритюда, звездами своей осажденной крепости. Вот и все.

— Вот и все. Спасибо.

— Ладно, до скорой встречи.

— До скорой встречи. Спасибо.

— Что ж ты хочешь, такова жизнь.

— Да, такова жизнь...

***

Я приезжаю в Беверли-хиллс утром следующего дня и еще на подходе к двери слышу отчаянное мяуканье. У всех сиамских кошек пронзительные голоса, но когда они страдают, это ужас что такое. Дом пуст. Май, тощая, как скелет, неподвижно лежит на подушке рядом с тарелкой еды, к которой не притронулась. Она умирает.

Эти черные сукины дети отравили ее, как и двух других наших котов. Я беру ее на руки и — сказываются бессонные ночи — плачу от бессильной ненависти. Май говорит со мной, напряженно смотрит на меня, пытаясь что-то объяснить, да, я знаю, знаю, ты ни в чем не виновата.

Никак не могу перестать реветь.

Так я провожу час, или два, или три, трясясь от ненависти, и Джин, вернувшись со студии, застает меня за попытками покормить Май из пипетки. Я вскакиваю.

— Почему ты не сказала мне, что они отравили Май? Кого, собственно, ты щадила: меня и мою чувствительность или этих подонков?

— Но...

— Нет никаких убедительных «но». Негодяи остаются негодяями при любом цвете кожи. Не могу больше видеть, как со всякой сволочью обращаются точно с севрским фарфором исключительно из-за цвета кожи... Это шантаж...

Она плачет. Ее маленькое личико выглядит измученным, нервы на пределе...

— Май не отравили... Ничего подобного... Я каждый день вожу ее в клинику. Ветеринар говорит, что это такая болезнь, перерождение тканей.

— Скажи, пожалуйста, чью честь ты спасаешь?

— Они ничего ей не сделали, — кричит Джин.

Она выбегает, и я слышу, как яростно трогает с места машина. Похоже, я наконец достиг последней черты одиночества — подвиг, казавшийся мне невозможным. Я звоню в «Пан-Американ» и заказываю билет на остров Морис, где у меня вроде бы есть друг, с которым я, впрочем, не поддерживаю связи уже двадцать пять лет. Но Джин возвращается, садится рядом со мной, берет за руку.

Следующие дни я провожу, ухаживая за Май, которая медленно и мучительно умирает. Является Катценленбоген и менторским тоном объясняет мне, что я не имею права придавать такое значение кошке, в то время как весь мир... Я выставляю за дверь обоих — его и мир. Май — человеческое существо, к которому я глубоко привязан. Каждый, кто страдает у вас на глазах, — человеческое существо.

Она лежит у меня на руках, похожая на чучело из-за потускневшей, утратившей блеск шерсти, и время от времени издает жалобные «мяу», которые я понимаю, но на которые не в состоянии ответить. Наши голосовые связки не позволяют нам по-настоящему выразить себя. Конечно, мы можем орать и выть, но, как я уже писал, только у Океана достаточно мощный голос, чтобы говорить от имени человека.

Столько шума из-за кошки, не правда ли? Но что вы тогда делаете в этой книге?

Май умерла 7 июня в три часа тридцать минут, и мы похоронили ее в Чирроки-лейн, под самыми прекрасными в мире деревьями. Она любила лазить по деревьям.

***

Я вернулся в Беверли-хиллс, в наш арденский дом, несколько недель спустя. Я не могу долго оставаться вдали от Америки, потому что еще не настолько стар, чтобы перестать интересоваться будущим, тем, что меня ждет. Здесь решается *наша* судьба, Америка испытывает нас яростно, жестоко, иногда подло, она в остром кризисе, но по сравнению с глубоким трупным окоченением Востока это живой континент... Что-то мучительно рождается там. Это единственная в истории великая держава, которая задается вопросом о собственных преступлениях. Такого никогда еще не бывало. Вот почему эта страна, даже будучи на самом дне отчаяния, не позволяет вам отчаяться...

Я свиделся еще раз с Белой Собакой. Мне надо дожить до глубокой старости, чтобы суметь забыть нашу встречу. Надо, чтобы мой сын вырос и стал человеком среди множества других людей, наконец достойных так называться. Надо, чтобы Америка вышла из предыстории и я смог бы наконец умереть с облегчением и благодарностью за то, что мне все-таки довелось увидеть новый мир.

С тех пор как я вернулся в Беверли-хиллс, я много раз пытался связаться с Кизом по телефону. Но трубка неизменно отвечает механическим голосом: «Номер отключен». Каждый раз, как я слышу эту фразу, я думаю о целом поколении отчужденной, «отключенной» молодежи, и не только американской.

Я звоню домой Джеку Каррутерсу, но Киз больше не работает у него.

— Он завел собственное дело. У меня в конторе есть его адрес... Впрочем, подождите... Вот: Коринн-стрит, это в Крентоне. Зеленый дом за футбольной площадкой. Третья улица направо по Флоренс авеню.

Ллойд Катценленбоген, явившийся поговорить с Джин о делах и не заставший ее дома, предлагает отвезти меня, он знает этот район. Мы едем...

— Я заезжал сюда несколько недель назад, чтобы посмотреть итальянский фильм «Битва за Алжир», — говорит мне Ллойд. — Вон там направо...

Он указывает на земельный участок, пустующий в ожидании повышения цен...

— Примерно два десятка чернокожих мальчишек в военной форме, с деревянными ружьями, тренировались, готовясь к уличным боям, под руководством инструктора. Наверно, бывший Джи-Ай из Вьетнама... Пока я смотрел фильм — кажется, он был запрещен во Франции, в нем воссоздана в неореалистической манере героическая борьба арабов против французских угнетателей...

Я дергаюсь. У меня нет никаких причин дергаться при словах «французские угнетатели», но внутри что-то заскрежетало. Павловский рефлекс. Меня хорошо выдрессировали.

— ...пока я смотрел фильм, эти ребятишки шумно ввалились в зал. Они пришли учиться. Когда феллахи убивали на улице какого-нибудь французского солдата, инструктор громким голосом делал технические замечания. Всякий раз, как падал француз, они смеялись и аплодировали... Что вы на это скажете?

Я отвечаю прицельным ударом:

— А что бы вы сказали, если б фильм показывал героическую борьбу палестинцев против израильских «угнетателей»?

Он дергается.

Некоторое время мы едем во враждебном молчании.

— Кажется, это здесь, — говорит Ллойд.

Во всяком случае, это единственный зеленый дом на улице, и немного дальше действительно футбольная площадка. Чернокожие дети сидят на тротуаре и глазеют на нас. Тут я замечаю еще один зеленый дом, расположенный чуть глубже на другой стороне улицы. Мы выходим из машины.

— Спросите, живет ли тут Киз, а я пойду посмотрю напротив.

Я пересекаю улицу.

Поворачиваюсь спиной к первому дому. Не знаю, почему сейчас, когда я пишу эти строки, мне хочется уточнить, что я был одет в белый льняной костюм. Возможно, из-за стихов Виктора Гюго, над которыми мы так смеялись в лицее:

Сияя добродетелью и белизной льняных одежд...

Я делаю несколько шагов по траве между платанами. Вдруг слышу за собой крик ужаса, затем звериный рык и отрывистый, яростный, злобный лай, иногда смолкающий, должно быть, потому, что у собаки занят рот...

Я поворачиваю назад и бегу к дому.

В маленьком дворике никого нет, но дверь открыта, и теперь я слышу детские крики и особое, горловое рычание собаки, вцепившейся в добычу....

Ллойд лежит на земле с залитым кровью лицом и пытается окровавленными руками оттолкнуть Батьку, чьи клыки подбираются к его горлу. В комнате полно детей, и старший, которому, наверно, не больше пяти лет, старается оттащить за хвост собаку, в то время как другой малыш плачет тоненьким, дрожащим от страха голоском. Остальные, застыв, смотрят. Я бросаюсь на Батьку, он цапает меня своими острыми, как ножи, клыками, я с проклятьями валюсь на пса, который впивается мне в живот. Я катаюсь по полу, вцепившись в Батьку, который по-прежнему тянется к горлу Ллойда, и вижу Киза, стоящего в одних плавках на лестнице... *Он смеется.*

...Сколько стоял он так, с вызывающей улыбкой, с видом победителя, наслаждаясь достигнутым *равенством*?

— *Черная* Собака!

Даже здесь, в Андрексе, где я пишу в полном одиночестве, я все еще слышу свой бешеный голос, в котором сегодня улавливаю отзвук бог весть какой радости или освобождения, словно мне удалось наконец избавиться от надежды...

— Вы выиграли... Теперь это Черная Собака!

Батька шел на меня. Он сильно покусал меня, но вслепую, в свалке, когда я пытался оторвать его от Ллойда.

Я ждал, опустив голову и выставив кулаки.

Но ничего не произошло.

Я поднял голову.

И встретил взгляд своей матери, взгляд преданной собаки.

Батька смотрел на меня.

Я видел, как рядом со мной падали и умирали товарищи, но когда я хочу напомнить себе, каким может быть выражение отчаяния, недоумения и страдания, я представляю себе взгляд этого пса.

Внезапно он задрал морду и издал душераздирающий, исполненный дикой, темной печали вой.

Мгновение спустя он уже был на улице.

Ллойд лежал без сознания. Ему пришлось наложить четырнадцать швов, причем самая глубокая рана была всего в нескольких миллиметрах от сонной артерии.

Киз неподвижно возвышался на лестнице над нами, и его обнаженная фигура напоминала одну из тех гигантских статуй, которые устанавливали на носу невольничьих кораблей...

— Так вот что вы хотели, чего добивались с самого начала? Чтобы Белая Собака стала Черной Собакой? Вы победили, браво! И спасибо... Теперь, по крайней мере, мы не одиноки в своем бесчестье!

— Да, *мы многому у вас научились. Теперь мы даже можем давать вам уроки...*

Шок и нервное истощение породили во мне какую-то детскую — по чрезмерности — обиду. Помню также, что я твердил себе, глядя на черного человека: «Это мы, это мы, это мы...» Я уж и не знаю толком, что имел в виду. Может быть, что это мы его выдрессировали...

Но сказал я ему совсем другое. Это вырвалось само собой из глубины моей обиды, и он не преминул насмешливо подчеркнуть высокопарность фразы, которая была, однако, оправдана моей абсолютной искренностью:

— Послушайте, Киз... Такие чернокожие, как вы, предают своих братьев, догоняя нас в ненависти, и проигрывают ту единственную битву, которая стоит борьбы и победы...

Он беззвучно смеется.

— Я знаю, месье, что вы известный писатель.

— Ну хватит. Белая Собака, Черная Собака — это все, что вы знаете?

— Приходится начинать сначала, — говорит он.

— Равенство в подлости?

— Необходимая оборона — вот как это называется...

— Все-таки грустно, когда евреи начинают мечтать о еврейском гестапо, а негры — о негритянском ку-клукс-клане...

Лицо Киза принимает горделиво-грозное выражение. Голос как бы высвобождается, крепнет, гремит, я не узнаю его. Впервые я вижу, как он теряет самообладание и вдруг дает прорваться накопленной столетиями злобе:

— В этом году они убили двадцать наших братьев. Мы защищаемся, вот и все. Мое дело — дрессировать собак *для нас.* Не сторожевых собак. Бойцовских. Мы еще покажем вам...

Я слышу вой сирен «скорой помощи» и полицейской машины, вижу Ллойда на носилках, его ошеломленные, расширенные от ужаса глаза и последний раз смотрю на Киза...

— Жаль. Вы упускаете единственный стоящий шанс, который есть у чернокожих, — быть другими. Вы напрасно так стараетесь походить на нас. Слишком много чести делаете нам. Да, мы так хорошо поработали, что, даже если наша чертова порода полностью исчезнет, ничего не изменится...

Он смеется. О, эти зубы!

— Очень может быть, — говорит он, — но главное, *чтобы это не помешало вам исчезнуть...*

Полицейские слушают нас, ничего не понимая. Они хотят узнать, была ли сделана собаке прививка от бешенства. Я говорю им, что от этого еще не придумали прививки...

Он бежал по городу, и на всем его пути полицейские машины сообщали друг другу: «Внимание! Бешеная собака!» Великое недоумение и великое горе верующего, которого предал его всеблагой Бог, глядели из его глаз. На углу Ла-Сенеги и Санта-Моники полицейская машина сержанта Джона Л. Саллема едва не задавила его, но он увернулся. В тот момент он уже почти добежал. До Ардена оставалось всего двести метров...

Двадцать минут спустя я нашел его на руках у Джин. На его теле не было ни царапины. Он свернулся калачиком у нашей двери и умер.

Я пробыл в больнице пятнадцать дней, из них два дня и три ночи проспал, накачанный лекарствами.

Но случались минуты сумеречных просветлений, когда в голове возникали какие-то мысли и тотчас же возрождалась та неистребимая надежда, которая побуждает меня видеть в каждой проигранной нами битве цену наших будущих побед.

Я не впал в отчаяние. Но моя неистовая любовь к жизни очень затрудняет наши с ней отношения — так бывает трудно любить женщину, которой ты не в состоянии помочь и которую не можешь ни изменить, ни покинуть.

■

ЭМИ БЛУМ

Рассказы

Перевод с английского О. ВАРШАВЕР

От переводчика

У Эми Блум множество голосов, она проживает множество жизней. Сборник «Иди ко мне» завораживает с первой строки... Потом шаг за шагом проза набирает вес, фактуру, силу и внезапно обрывается. Но это не конец, а новое начало... И мы понимаем, что перед нами настоящий писатель.

Это отрывок из рецензии Марго Джефферсон в «Нью-Йорк таймс», посвященной выходу первого сборника Эми Блум, которая не торопится стать профессиональным литератором, а сочетает сочинительство с основной своей работой. И тот, кто прочитал рассказы раньше, чем это предисловие, наверняка догадался, что по специальности Эми Блум – психотерапевт. Тонкий, думающий, тактичный. Наверняка умеющий выслушать и не осудить. Для нас это не только новое имя, это новая интонация в разговоре о пограничных состояниях, в которых все чаще оказываются люди вполне трезвомыслящие. И разговор о нас самих, пребывающих «в норме». Только что есть норма? Психическая, сексуальная? Видимо, этот вопрос волнует и весьма пуритански настроенных американцев. Недаром проза Эми Блум удостоена многих литературных премий, недаром оба рассказа, представленные в этой публикации, были включены в американские сборники «Лучший рассказ года» (1991 и 1992) и в различные антологии. Похоже, время сейчас такое на планете: люди стремятся разобраться в самих себе.

Но внимание к творчеству Эми Блум вызвано не только тематикой ее произведений. Она пишет удивительно легко, емко, иронично. В счастливый для себя день я сняла эту книгу с полки в огромном американском книжном магазине. Это потом я разглядела круглую печать «Национальная книжная премия. Финалист». Потом увидела список наград. А сначала я просто раскрыла книгу наугад и прочитала: «Голос моей сестры — горный ручей, падающий в серебряный кувшин. Звонкая красота его дает прохладу и уносит ввысь — от жара тела, от самого тела». И мне очень захотелось читать дальше.

Любовь — не пирог

Посреди тягостных, раздирающих душу похорон моей матери, во время панихиды я впервые подумала: не отменить ли свадьбу? Двадцать первое августа показалось мне совершенно неподходящим днем, Джон Уэскотт — совершенно не годным в мужья человеком, да и представить себя в длинном подвенечном платье, любезно предложенном миссис Уэскотт, я не могла. Мы обручились на Рождество, когда мама только начала умирать, а умерла она в мае — раньше, чем ожидалось. Когда священник произнес: «Нас покинула редкая душа, даривша я близким отвагу и радость», я взглянула на голубоватый церковный свод и подумала: «Мама не пожелала бы мне жизни рядом с таким челове-

© Amy Bloom, 1993
© О. Варшавер. Перевод, 1998

ком». Джон, разумеется, спросил, ехать ли ёму из Бостона на похороны. Я сказала «нет». И он не приехал: из уважения к моей независимости и прочая, и прочая. Не понял, что я просто постеснялась обременить его своим горем.

После похорон мы принесли домой маленькую урну с маминым прахом и принялись развлекать всех, кто зашел пособолезновать: кучу отцовских коллег из юридической школы, несколько его бывших студентов, дядю Стива с новой женой, наших двоюродных сестер (мы с Лиззи обыкновенно называем их «Нечто номер раз» и «Нечто номер два»); бывших соседей, водивших дружбу с нашей семьей с тех давних пор, когда мамины скульптуры еще не продавались; маминых приятелей из мира искусства; маминых сестер; моих школьных друзей; соседей, чьих детей я когда-то пасла; мою лучшую подругу по колледжу; подружек Лиззи и многих, кого я попросту не узнала. Я слишком давно живу вне дома: сперва в колледже, теперь в юридической школе.

Сестра, папа и я методично кружили по комнате. Всех вновь вошедших папа обнимал. Не важно, хлопали его при этом по спине или жали руку, он притягивал человека к себе и заключал в медвежьи объятия: я видела, как отрывались от пола ноги обнимаемых. Мы же с Лиззи разрешали творить с нами что угодно: хлопайте по плечу, гладьте по головке, прижимайте к груди, скорбно вглядывайтесь в глаза — мы все стерпим.

Папа как раз душил в объятиях нашу уборщицу, госпожу Эллис, когда в гостиной появился господин Декуэрво с чемоданчиком в руках. Почти уронив госпожу Эллис, папа решительно направился к господину Декуэрво, сгреб его в охапку, и оба, постанывая, закачались в страстном безмузыком вальсе. Мы с сестрой сели на диван и, прильнув друг к другу, смотрели, как папа орошает слезами макушку своего друга — любовника нашей матери.

Когда мне было одиннадцать, а Лиззи восемь (последнее лето, которое она пробегала нагишом, без купальника), господин Декуэрво и его дочка Гизела, тоже почти восьмилетняя, гостили на нашей даче в штате Мэн. Домик этот достался нам по отцовской, спенсеровской линии, и папа с дядей Стивом владели им сообща. Мы проводили там каждый июль (вода холоднее, погода лучше), а дядя с чадами и домочадцами сменял нас в августе. Папа относился к своему брату примерно так же, как мы к кузинам, поэтому пересекались семьи лишь на обеде в день их приезда.

В тот год господин Декуэрво гостил у нас только с дочкой, без жены: ей пришлось поехать на родину, в Аргентину, навестить захворавшего родственника. Мы ничуть не огорчились. Госпожа Декуэрво была матерью-профессионалкой, и нам с сестрой в ее присутствии становилось не по себе. Она требовала мыть ягоды перед тем, как их съесть, укладывала нас отдыхать после обеда, следила, чтобы мы мазались лосьоном для загара и застилали по утрам постели. Женщина она была неплохая, но надоедливая. Свод же основных летних правил, установленных нашей мамой, был краток: не есть ничего плесневелого и червивого, не купаться в одиночку, а главное — не сметь будить мать до восьми утра, если, конечно, ты не истекаешь кровью или вовсе не умираешь. Вот и все. Однако госпожа Декуэрво, виновато косясь на маму, постоянно норовила что-нибудь к этому списку добавить. Мама же была неизменно ровна с ней, в споры не вступала и продолжала жить по-своему. Нам она явственно дала понять, что от таких особ, как госпожа Декуэрво, нам придется отбиваться самостоятельно. Супруги Декуэрво развелись, когда Гизела училась на втором курсе в архитектурном институте.

Хорошенькую, чересчур послушную Гизелу мы любили, порой подшучивали над ней и любили потом еще больше, потому что она никогда не жаловалась, даже на меня. Отец семейства нам тоже нравился. Мы встречались с ними на пикниках и праздниках. Господин Декуэрво никогда не отпускал в наш адрес плоских шуток, напротив, рассыпался в комплиментах и неизменно одаривал нас с сестрой необычными сувенирами, которые приходились как нельзя кстати. Когда мне надоела моя кургузая стрижка и я начала отращивать волосы, он подарил мне серебряные заколки, а для Лиззи, которая с трех лет читала взахлеб, он привез шикарную закладку из натуральной кожи. Мы разворачивали подарки, а мама стояла рядом, посмеиваясь над его расточительностью.

Помню, когда они подъехали, мы все сидели на веранде. Первым из машины выско-

чил господин Декуэрво, напоминавший — благодаря пышным золотисто-каштановым волосам — цветущий одуванчик. На нем были желтая футболка и коричневые джинсы. Гизела походила на него как две капли воды, только ее волосы были стянуты в пучок и лишь несколько пушистых локонов обрамляли загорелое личико. Чтобы одолеть несколько шагов, что отделяли их от веранды, Гизела ухватила отца за руку, и я тут же прониклась к ней нежностью: во-первых, она не скрывает, что любит своего папу, совсем как я своего; во-вторых, не скрывает, что побаивается нас всех, а может, и не всех, а лично меня. Лиззи редко кто боялся: она не отрывалась от книг надолго и не успевала навести страху.

Родители спустились с крыльца им навстречу. Огромный, голый по пояс папа был в выцветших синих штанах, державшихся под огромным животом на слабой резинке; веснушчатая, влажная от пота спина его ярко алела, как всегда летом. Стоило папе выйти на солнце, рыжие волосы на голове, плечах и груди вспыхивали огнем. Он гордился своей родословной, ведь Спенсеры наполовину викинги. Мама была в своем неизменном летнем одеянии — черном раздельном купальнике. Никакого другого я на ней не помню. К вечеру она добавляла к этому костюму одну из папиных рубашек и завертывалась в нее точно в кимоно. В какие-то годы купальник сидел на ней как влитой, подчеркивая плоский живот и ровный загар; в иные годы кожа казалась сгоревшей и сморщенной, а сам купальник был где-то широк, где-то узок. Мама тогда слишком много курила и выходила на крыльцо откашляться. Но в то лето купальник шел ей необычайно, и она любила спрыгивать с веранды в папины объятия, и ее длинные волосы стегали его по лицу, а он кружил ее и улыбался, улыбался...

Родители расцеловались с господином Декуэрво и Гизелой, мама подхватила пестрый парусиновый баульчик, папа поднял чемодан, и они повели гостей в дом.

Мы считали свою дачку настоящим дворцом. И Лиззи, и я с превеликой важностью заявляли подругам: «Мы проводим каникулы в загородном доме, приезжайте нас навестить, если ваши родители не против». Нам нравилось приглашать, нравилось упоминать о даче мимоходом, как о чем-то само собой разумеющемся, и понимать, что по сути-то это чудо, настоящее чудо. Сосны и березы спускались от дома почти к самой воде: несколько шагов по замшелым валунам — и ты рассекаешь безмятежную прохладную гладь, а маленькие серые рыбки вьются меж свай под рассохшимися дощатыми мостками, подплывают близко-близко или бросаются прочь из-под весел, стоит спустить на воду нашу старую голубую лодку.

Сам домик состоял из трех спален, кухоньки и громадной, на полдома, гостиной. Две взрослые спальни были совсем крошечные, там умещалось только по широкой тахте с покрывалами в пастельных тонах: желтоватым с розочками у родителей и белым с голубыми маргаритками в другой комнате. Детская была значительно просторнее: целый дортуар с тремя кушетками и разноперыми покрывалами и наволочками. Подушки постоянно были влажноватые и пахли сосной и солью, а моя — еще и духами «Ма гриф», потому что под ней всегда лежал мамин шарфик. Душ находился на улице, за зеленой полиэтиленовой занавеской, а в доме, рядом с родительской спальней, имелась еще и обычная ванная комната.

Господин Декуэрво с Гизелой вписались в наш летний распорядок так естественно, точно проводили с нами каждое, а не только прошлое лето. Этот месяц навсегда остался в памяти воплощением неспешности и благодати. Вставали мы рано, под пенье-свиристенье птиц, и сооружали завтрак: если родители к тому времени уже просыпались, варилась каша или жарились тосты, если родители спали, мы отрезали себе по куску пирога или набивали животы холодными спагетти, а то и просто зефиром. Первой из взрослых обычно вставала мама. Она выпивала чашку кофе, расчесывала и заплетала нам косы и отпускала на все четыре стороны. Если мы отправлялись «в экспедицию», она клала в рюкзак поверх армейского одеяла большие бутерброды и какие-нибудь фрукты. Если же мы бежали купаться, она просто стояла на веранде и махала нам вслед.

К обеду мы возвращались, подчистую съедали все, что попадалось под руку, и снова убегали к озеру, или в лес, или в близлежащий городок: вдруг городские ребята настроены с нами поиграть? Чем занимались целый день взрослые, я не знаю. Иногда они

тоже спускались к озеру купаться, иногда я видела маму в сарайчике, служившем ей студией. Но когда мы возвращались, часов в пять-шесть, взрослые уже потягивали на веранде джин с тоником и вид у них был счастливый и безмятежный. Лучше этих мгновений не было за весь день.

По вечерам после ужина папы мыли посуду, а мама курила на веранде под Арету Франклин, Билли Холидей и Сэма Кука, а потом решительно тушила сигарету и мы вчетвером принимались танцевать. Мы, девчонки, извивались, дергались, топали и раскачивались, старательно копируя маму. Вскоре на пороге гостиной появлялись папы с посудными полотенцами и кружками пива в руках. Тогда мама поворачивалась к отцу — всегда к нему первому:

— Ну что, Дэнни, потанцуем?

Она клала руку ему на плечо; он, просияв, совал полотенце господину Декуэрво, ставил пиво на пол и начинал танцевать с неуклюжей грацией, шаркая ногами и улыбаясь. Иногда он взмахивал руками и притворялся не то огромной рыбиной, не то медведем, мама же двигалась легко и мечтательно, всецело подчиняясь музыке. Они танцевали под несколько мелодий подряд — вплоть до папиного любимца Фэтс Домино. После чего папа, отдуваясь, плюхался в кресло.

А мама, оставшись одна посреди комнаты, прищелкивала пальцами и покачивалась в такт.

— Гаучо[1], друг, потанцуй с ней, а то меня хватит удар, — говорил папа.

Настоящее имя господина Декуэрво было Боливар, но я узнала это от Лиззи только после похорон. Мы всегда называли его господин Декуэрво, поскольку кличку Гаучо произносить стеснялись.

Грациозно передернув плечами, господин Декуэрво бросал папе оба посудных полотенца и, все еще глядя на папу, делал шаг в мамину сторону — уже под музыку.

— Завтра с утра будем бегать, Дэн, вернем тебе прежнюю форму, чтоб танцевал всю ночь напролет, — говорил он.

— Какую еще «прежнюю»? Я уже двадцать лет пребываю в этой милой форме. Что возвращать-то?

Все смеялись; господин Декуэрво с мамой переглядывались, она подходила к папе и целовала его в лоб, усеянный бисеринами пота. Потом брала за руку господина Декуэрво и выводила на середину гостиной.

Когда она танцевала с папой, мы с сестрой могли хихикать, даже путаться у них под ногами, как во время семейной игры в бадминтон, где ракетки держат двое, а участвуют все. Когда мама танцевала с господином Декуэрво, мы следили за танцующей парой, присев на качалку на веранде или примостившись на подоконнике, и боялись взглянуть друг на друга.

Они танцевали только быстрые танцы, танцевали так, словно ждали этого всю жизнь. Мамины движения становились все более плавными, исполненными смысла, а господин Декуэрво оживал, загорался, словно выхваченный из тьмы ярким пучком света. Папа танцевал, как жил: шумно, добродушно, насмешливо, несколько тяжеловесно; зато господин Декуэрво — обыкновенно тихий, задумчивый и серьезный, — танцуя с мамой, совершенно преображался.Он словно летал: счастливый, одухотворенный, то наступал на маму, то кружил ее и вокруг нее, откликаясь на каждый ее шаг, каждый жест. Они улыбались всем нам поочередно и снова обращали друг к другу враз посерьезневшие, страстные взгляды.

— Потанцуй еще с папой, — говорила сестра. Говорила за нас всех, оставшихся за бортом.

Мама посылала Лиззи воздушный поцелуй:

— Хорошо, любимая, сейчас. — Повернувшись к обоим мужчинам, она со смехом объявляла: — Что ж, намек прозвучал громкий и недвусмысленный. Давай пре-

---

[1] Прозвище южноамериканских ковбоев, чаще всего относится к жителям аргентинских пампасов. (*Прим. перев.*)

рвемся, Гаучо. Пора уложить этих обезьянок спать. Все, девочки, по койкам. Уже поздно.

И трое взрослых препровождали троих детей сначала на кухню пить молоко, потом в ванную — умываться, чистить зубы и мазать лосьоном обгоревшие плечи — и, наконец, в нашу просторную спальню. Спали мы, к великому изумлению Гизелы, в трусиках и футболках.

— Без пижам? — не поверила она в первый вечер.

Я самодовольно фыркнула:

— Здесь это ни к чему.

Взрослые целовали нас и выходили, а мы лежали и слушали щелканье орехов и приглушенный разговор за картами: взрослые играли в джин или покер и слушали Дайну Вашингтон и Одетту.

Однажды я проснулась примерно в полночь и отправилась через гостиную на кухню: попить и проверить, не осталось ли на блюде пирожков с клубникой. И вдруг увидела маму и господина Декуэрво. Они обнимались. Я была удивлена и озадачена. Фильмов я к тому времени насмотрелась множество и понимала: если кто-то кого-то обнимает так крепко, они должны и целоваться. Наверняка. На знакомые мне мамско-папские объятия это не походило ничуть. Отчасти потому, что папа был на двадцать сантиметров выше и килограммов на сорок—пятьдесят тяжелее мамы. Поэтому обнимались они совсем не как в кино: крошечная, хрупкая черно-белая женщина терялась в лапах громадного розово-оранжевого мужчины и смотрела на него снизу вверх, как на великана. Зато рядом с господином Декуэрво мама стояла, как сестра с братом, щека к щеке, оба стройные, широкоплечие, с длинными босыми загорелыми ногами. Мамины руки были под футболкой господина Декуэрво.

Наверно, она почувствовала мой взгляд. Медленно открыла глаза.

— Дорогая, ты нас испугала. Мы с господином Декуэрво как раз говорили друг другу «спокойной ночи». Ну, сходи в туалет, а я подоткну тебе одеяло, хочешь?

Она не заискивала, нет, просто поясняла, что я для нее важнее господина Декуэрво. Они отстранились друг от друга так быстро и незаметно, что я тут же забыла, как они выглядели, стоя вместе. Я кивнула маме; только что виденное уже начало превращаться в моем сознании в обычное «спокойной ночи», ведь мама всех близких друзей обнимает и целует на прощанье.

Когда я вернулась из ванной, господин Декуэрво исчез, а мама поджидала меня, глядя на луну. Она проводила меня в спальню, уложила и поцеловала: сначала в лоб, потом в губы.

— Спи, глупышкин. До утра.

— А сделаешь утром оладьи с черникой? — Мне показалось, что сейчас самое время что-нибудь выпросить.

— Утром увидим. Спи.

— Ну, мамочка, пожалуйста...

— Ладно, завтра объявляется черничное утро. А теперь спи. Доброй ночи, заяц. — Она на миг задержалась на пороге, оглянулась на меня и ушла.

Папа поднялся рано и отправился с приятелями на рыбалку на озеро. Он уезжал каждую субботу, надев старую футболку, повязав на лысину красный платок, прихватив коробочку с крючками и блеснами, и возвращался обыкновенно часам к трем. Господин Декуэрво клялся, что готов чистить, готовить и есть всю пойманную рыбу, но ничто не заставит его провести целый день в компании заядлых рыболовов в бейсбольных кепках и белых носках.

Проснувшись, я учуяла запах кофе и разогретого масла. Гизелы и Лиззи в кроватях уже не было. Я ужасно расстроилась: сама же выпросила у мамы оладьи и сама же их проспала! Небось ни одной оладушки не оставили!

Господин Декуэрво с Лиззи сидели за столом и доедали оладьи. Мама на синем диванчике в гостиной расчесывала Гизеле волосы. Расчесывала куда бережней, чем мои, и не хлопала ее поминутно по плечу, чтоб сидела смирно. Впрочем, Гизела и так сидела смирно, не ерзала и не вопила, если щетка застревала в волосах.

Я уже готова была рассердиться на всех и вся, как мама вдруг подмигнула и сказала:

— Заяц, твои оладьи на плите. Гаучо, сними, пожалуйста, для Эллен тарелку, она, наверно, горячая.

Господин Декуэрво вручил мне тарелку с оладьями: большими поджаристыми кругляшами, щедро сдобренными темно-лиловой давленой черникой. Потом он оторвал кусок бумажного полотенца, положил на него вилку и нож и потрепал меня по щеке. Его ладонь пахла кофе и корицей. Вкусы мои он знал и сразу придвинул поближе масло, мед и сироп.

— Соку налить? — спросил он.

Я кивнула. Я вглядывалась в него украдкой, но сейчас он совсем не походил на человека, который ночью так странно обнимал мою маму.

— Мировецкие оладьи, Лайла, — произнес он.

— Да, мамочка, очень вкусно. — Я старалась не уступать семейству Декуэрво в изысканности манер, но это было непросто: Гизела говорила «пожалуйста» и «спасибо» за любую ерунду.

Мама улыбнулась, заколола Гизеле волосы. Уже припекало. Я быстро проглотила оладьи и пихнула Лиззи ногой под столом.

— Пошли.

— Сначала умойся, — сказала мама.

Я сунула лицо под кухонный кран, и мама с господином Декуэрво расхохотались. Победоносно вскинув голову, я увлекла девочек на улицу. Мы похватали с веревки полотенца и со всех ног припустили к озеру.

— Кто последний, тот дурак, — дико заорала я, торпедой сорвалась с мостков и ввинтилась в холодную зеркальную гладь. Гизела с Лиззи прыгнули следом, и мы плескались и играли, пока не подъехал папа с целым ведерком рыбы. Выскочив из джипа, он помахал нам и провозгласил, что два дня с утра до вечера все будут есть только рыбу. Мы застонали, притворно зажали носы, и он, засмеявшись, пошел в дом.

Чередой тянулись солнечные, похожие друг на друга дни: мы купались, удили с папой рыбу с мостков; поедали бутерброды с арахисовым маслом и повидлом прямо в лодке; раскачивались на качалке на веранде и пили апельсиновый «Краш».

А потом на целую неделю зарядили дожди. Однажды утром мы проснулись и услышали, как по крыше барабанят-танцуют капли. Мама просунула голову в дверь:

— Дорогие, к нам нагрянула непогода. Как насчет какао и тостов с корицей?

Мы надели штаны, свитера и отправились на кухню. Мама уже выставила тарелки и кружки, а сама приступила к обычному ритуалу дождливых дней: принялась готовить сангрию. Сначала она наполнила три плошки из-под арахисового масла апельсиновым соком из большой белой канистры. Потом стала резать все апельсины, лимоны и грейпфруты, которые оказались в доме. Мне она разрешила полить на фрукты бренди, Гизеле поручила бросать сахар, а Лиззи досталось самое важное — опорожнить на все это месиво бутылку красного вина. Не помню, чтобы в дождливые дни родители пили что-нибудь, кроме сангрии.

Потом мама вышла на веранду выкурить утреннюю сигарету; потом из спальни спустился папа и вышел на веранду вслед за ней. Мы же стали играть в «ловись, рыбка». Краем глаза я видела родителей, уютно сидевших друг подле друга на плетеной кушетке. Через несколько минут спустился и господин Декуэрво, выглянул на веранду и тут же уткнулся в первый попавшийся старый журнал.

В конце концов мы решили уйти к себе в комнату и поиграть в «монополию» — раз уж взрослые не желают нас развлекать. Спустя два часа, которые я провела в основном в тюрьме, а Лиззи — бездарно позабыв собрать ренту, крошка Гизела обанкротила нас окончательно и мы, все втроем, отправились на кухню перекусить. Вообще все дождливые дни превращались в один нескончаемый перекус, то более, то менее изощренный, прерываемый настольными и карточными играми, а также скулежом и подвыванием. Мы непрерывно дули сок и газировку, жевали сыр, бананы, печенье, колбасу, кукурузные хлопья и сваренные вкрутую яйца. Взрослые ели сыр, крекеры и пили сангрию.

Помню, на исходе дня папы сосредоточенно читали, сидя в креслах, мама ушла к себе делать наброски, а мы одуревали от скуки. Спустившись за сигаретой, мама застала следующую картину: я старательно выводила пальцем свое имя по растекшемуся на столе меду, а Лиззи с Гизелой методично выдирали набивку из синего диванчика.

— Господи Боже, Эллен, не трогай этот чертов мед! Лиз, Гизела, немедленно перестаньте! Оставьте в покое диван! Если вам неймется, идите на улицу и танцуйте под дождем.

Мужчины с трудом, словно возвращаясь из дальних странствий, оторвались от чтения.

— Право же, Лайла... — начал папа.

— Лайла, на улице́ ливень. Мы за ними присмотрим, — сказал господин Декуэрво.

— Уже присмотрели. Результат налицо. — Мама саркастически улыбнулась.

— Мамочка! Правда? Нам можно под дождь? Все снять и бегать под дождем?

— Ну конечно снять. Какой смысл мочить вещи? Купальники тоже не нужны — вряд ли во дворе соберется толпа зевак.

Пока мама не одумалась, мы бросились на веранду, сорвали с себя одежду и с гиканьем попрыгали в топкую траву, презирая и жалея всех детей, которые вынуждены сидеть взаперти.

И стали играть в «богинь-под-дождем». Суть игры заключалась в том, чтобы гладить себя, подставляясь ливневым струям, и выкрикивать заклинания, то есть имена всех, кого только знаешь. Потом мы играли в садовника, в салки, в красный-зеленый свет, в мяч, и все было потрясающе скользким, мокрым, ирреальным в серой пелене дождя. Родители смотрели на нас с веранды.

Когда мы наконец вернулись в дом, возбужденные, восхищенные собственной великолепной мокростью, они завернули нас в махровые полотенца и отправили сушиться и одеваться к ужину.

Мама расчесала нам волосы и приготовила соус к спагетти. Папа нарезал салат, а господин Декуэрво соорудил торт с клубникой, выложив посреди коржа сверкающую ягодную пирамиду. Мы были на вершине блаженства. Взрослые много смеялись, потягивали розовую сангрию и перекидывались овощами, точно жонглеры.

После ужина мама повела нас в гостиную танцевать, и тут вырубилось электричество.

— Черт! — возмутился на кухне папа.

— Черт знает что! — возмутился господин Декуэрво, и мы услышали, как они, смеясь и ругаясь, бродят в темноте в поисках карманных фонариков.

— Милые дамы, кавалерия прибыла! — Папа поклонился, покручивая в руке фонарик.

— Американский и аргентинский дивизионы, señora y señoritas.

Я никогда прежде не слышала, чтобы господин Декуэрво говорил по-испански, даже отдельные слова.

— Что ж, значит, я в полной безопасности, во всяком случае, злоумышленники на меня не посягнут. Хотя, с другой стороны... — Мама засмеялась, и папы тоже засмеялись, положив руки друг другу на плечи.

— Что, мамочка? Что «с другой стороны»? — Я теребила ее как в детстве, когда боялась потеряться в огромном универмаге.

— Ничего, зайчик, мама глупости говорит, не слушай. Все, жевуньи, пора по койкам. Можете лечь и поболтать. А двери запрем: больше на улице делать нечего.

Папы сопроводили нас в ванную и шепнули, что можно только пописать, а остальными процедурами пренебречь, поскольку света все равно нет. Оба поцеловали нас на ночь: папины усы щекотали щеку, а усы господина Декуэрво скользили по ней легко, почти неощутимо. Мгновение спустя в спальню вошла мама. Ее щека на моей была гладкой и теплой, точно бархатная подушечка. Гроза, танцы под дождем и сытный ужин порядком нас измотали, так что бодрствовали мы недолго.

Когда я проснулась, было еще темно, но дождь прекратился, электричество дали, и в коридоре горел свет. Никто же не знает, что он горит, а электричество над экономить. Я

почувствовала себя ужасно взрослой, вылезла из постели и обошла дом, выключая повсюду свет.

Я дошла до ванной, и тут у меня разболелся живот. Зря, наверно, наелась пережаренной воздушной кукурузы. Я просидела на стульчаке довольно долго, глядя, как ползет по стене коричневый паучок. Я сбивала его, а он снова карабкался к полотенцам по гладкой стене. Боль в животе поутихла, но окончательно не унялась, поэтому я решила разбудить маму. Вообще-то папа отнесся бы ко мне с бóльшим сочувствием, но спит он куда крепче: пока добудишься, мама уже накинет халат и помассирует мне живот. Ласково, но не так заботливо, как хотелось бы несчастной жертве внезапного недуга.

Я снова зажгла свет в коридоре и направилась к родительской спальне. Толкнув скрипучую дверь, увидела маму. Она спала, как всегда, прильнув к папиной спине, повторяя изгибы его тела. А к ее спине прильнул господин Декуэрво. Одна его рука покоилась сверху на пододеяльнике, другая лежала на маминой голове.

Я постояла, посмотрела и, пятясь, вышла из комнаты. Никто из взрослых не шелохнулся; все трое дышали глубоко, в унисон. Что это было? Что я увидела? Мне захотелось вернуться и посмотреть снова, так, чтобы видение исчезло, или, наоборот, смотреть долго-долго, пока не пойму.

Боли в животе как не бывало. Я юркнула в свою постель и взглянула на Лиззи и Гизелу, маленькие девчачьи копии двух только что виденных мною мужчин. Они просто спали, подумала я. Взрослые просто спали. Может, у господина Декуэрво сломалась кровать, провалилась, как наши два года назад? Или его кровать промокла от дождя? Наверно, я уже никогда не засну... Но дальше помнится уже утро, снова дождь, и Лиззи с Гизелой упрашивают маму отвезти нас в город, в кино. И мы отправились смотреть «Звуки музыки», которые крутили в соседнем городке десять лет подряд.

Больше в то лето ничего примечательного не произошло, все в моей памяти сливается в сплошную ленту: купанье, рыбалка, путешествия на лодке в открытое озеро. Когда Декуэрво уезжали, я обняла Гизелу, а его обнимать не хотела, но он шепнул мне на ухо:

— В будущем году мы привезем моторную лодку и я научу тебя кататься на водных лыжах — Тогда я обняла его крепко-крепко, а мама положила ладонь мне на голову, точно благословляла.

Следующим летом я провела весь июль в лагере и разминулась с Декуэрво, хотя они приезжали. Потом они пропустили пару лет подряд. Потом Гизелу и Лиззи отправили со мной в лагерь в Нью-Гэмпшир, и взрослые недельку пожили на даче вчетвером, без детей. Папа после этого сказал, что больше не вынесет жизни под одной крышей с Эльвирой Декуэрво: либо она его доконает, либо он ее попросту убьет. А мама примиряюще сказала, что Эльвира не так уж плоха.

С той поры мы встречались реже. Господин Декуэрво с Гизелой приезжали ко мне на выпускной вечер, на открытие маминой бостонской выставки, на папино пятидесятилетие и на выпускной вечер к Лиззи. Когда маме случалось быть в Нью-Йорке, она обычно ужинала со всем семейством. А если ее планы вдруг менялись, приходилось заменять ужин обедом.

На похороны Гизела приехать не смогла. Она этот год жила в Аргентине и работала в архитектурной фирме, которую основал ее дед...

Когда все соболезнователи покинули дом, господин Декуэрво передал нам очень добрую записку от Гизелы. Внутри был мамин портрет, выполненный пером и тушью. Потом мужчины уселись в гостиной с двумя рюмками и бутылкой шотландского виски. О нас с сестрой они словно забыли: поставили пластинку Билли Холидей и под звуки ее бархатного голоса принялись пить и горевать всерьез. Мы с Лиззи пошли на кухню и решили съесть все сладости, которые натащили гости: домашние пирожки, струдель, орешки, сладкий картофельный пирог и шоколадный торт миссис Эллис с начинкой из шоколадного суфле. Мы поставили две тарелки, налили две кружки молока и приступили.

— Знаешь, — проговорила Лиззи с набитым ртом, — когда я приезжала домой в апреле, он звонил каждый день. — Она мотнула головой в сторону гостиной.

Было непонятно, одобряет она или осуждает. Я своего мнения на этот счет тоже не имела.

— Она называла его Боливар.

— Что? Она же всегда называла его Гаучо! И мы поэтому не называли его никак.

— Знаю. Но весной она называла его Боливар. Эл, она говорила с ним каждый божий день и называла его Боливар...

По лицу Лиззи бежали слезы. Как же нам не хватало сейчас мамы: она бы погладила ее мягкие, пушистые волосы, она бы не позволила ей сидеть и захлебываться слезами. Я потянулась через стол, взяла Лиззи за руку. В другой руке я по-прежнему держала вилку. Мне вдруг показалось, что мама смотрит на меня — с улыбкой и легким прищуром. Она всегда так смотрела, когда я упрямилась и не желала что-нибудь делать. Я отложила вилку, обошла стол и обняла Лиззи. Сестра прильнула ко мне, точно обессилев, точно в ее теле не осталось ни единой кости.

— После третьего звонка я спросила ее прямо, — произнесла Лиззи, уткнувшись мне в плечо.

— Что она сказала? — Я чуть отстранила Лиззи, чтобы услышать ответ.

— Она сказала: «Ну конечно, он всегда звонит в полдень. Он знает, что в это время у меня больше сил». А я объяснила, что спрашиваю не об этом: я не знала, что они так близки.

— Прямо так и бухнула?

— Да. А она сказала: «Дорогая, никто не любит меня так, как Боливар». Тут я вовсе не нашлась, просто сидела и думала: хочу ли я вообще про это слушать? Потом она заснула.

— Ну и что ты думаешь?

— Не знаю. Я собиралась спросить ее снова...

— Ну, Лиззи, ты даешь! — не выдержала я. Она действительно потрясающая, моя сестра. Тихоня, но умеет встревать в такие ситуации и разговоры, в которых я себя просто не представляю.

— Мне даже спрашивать не пришлось, потому что она сама завела разговор на следующий день, сразу после его звонка. Положила трубку — такая изможденная, вся потная от усилия. Но улыбалась. Она посмотрела на карликовые яблони в саду и произнесла: «Когда я познакомилась с Боливаром, яблони были в цвету, он же хотел поставить в саду, как раз на их месте, большую скульптуру и предложил попросту выкорчевать деревья. Я заметила, что соревноваться с природой по меньшей мере самонадеянно. Тогда он предложил пересадить яблони. Я в конце концов согласилась, а он спросил: «Неужели самонадеянность это так плохо?» Когда он познакомился с папой, они выпили виски и сели смотреть футбол, а я готовила ужин. Потом они вместе мыли посуду, как — помнишь? — на даче. Когда оба они со мной и вы обе рядом, я точно знаю, что пребываю в блаженстве».

— Так и сказала «в блаженстве»? Это точные мамины слова?

— Да, Эллен. Боже, неужели ты считаешь, что я приписываю ей интересные заявления на смертном одре?! — Лиззи терпеть не может, когда ее кто-нибудь прерывает. Особенно я.

— Прости, продолжай.

— Короче, мы разговаривали, и я... решила уточнить, о чем, собственно, речь. Ну, просто о близких друзьях или об очень тесной дружбе. А мама засмеялась. И посмотрела, как в детстве, помнишь, когда мы врали, что идем в гости к подруге, а сами отправлялись пробовать какой-нибудь адский напиток или рыться в песчаном карьере? Так вот, она посмотрела точь-в-точь, как тогда. И взяла меня за руку. Рука у нее была легкая, точно перышко. Эл, она сказала, что они, все трое, любят друг друга, каждый по-своему, что оба мужчины — потрясающие люди, каждый в своем роде, и каждый заслуживает любви и хорош тем, каков есть. Она сказала, что папа — самый лучший муж, о котором женщина может только мечтать, и она счастлива, что он — наш отец. А я спросила, как она может любить обоих сразу и как они сами это выдерживают. И она ответила: «Дорогая, любовь — не пирог и на части не режется. Я люблю и тебя и Эллен, и для каждой у меня целая и очень разная любовь, потому что сами вы очень разные люди, чудесные, но

совсем разные. И я рядом с каждой из вас становлюсь совсем разной. Я не выделяю ни одну из вас, не выбираю между вами. Точно так же с папой и Боливаром. Считается, что так не бывает. На самом деле бывает. Просто надо найти таких людей». Она произнесла это, закрыла глаза и не открывала их до конца дня. Ну, ты-то что глаза вытаращила?

— Господи, значит, так и есть. Я ведь знала...

— Ты знала? И ничего мне не сказала?

— Лиззи, тебе же было восемь лет, от силы девять! Что я могла сказать? Я и сама тогда толком не понимала, чтó я, собственно, знаю.

— Так что ты знала? — сурово спросила Лиззи. Я нарушила незыблемое правило: мы всегда перетряхивали родительское грязное белье на пару, особенно мамино. Мы ведь всю жизнь пытались подобрать к ней ключик.

Как же рассказать, что я застала их втроем? Куда проще было представить, что у мамы был роман с господином Декуэрво с папиного ведома. Какие слова подобрать? Я растерялась. А потом просто сказала:

— Я однажды видела, как мама целовалась с господином Декуэрво. Вечером, когда мы легли спать.

— Правда? А где был папа?

— Не знаю. Но где бы он ни был, он, разумеется, знал, что происходит. Мама ведь об этом тебе говорила, правда? Ну, что папа знал и не возражал...

— Да, конечно. Господи...

Я снова уселась. Мы уже почти покончили со струделем, когда появились мужчины. Изрядно выпившие, но вполне вменяемые. Просто чуть-чуть не в себе. Да и мы наверняка были не в себе — с красными, вспухшими от слез глазами, за столом, заваленным остатками еды.

— Какие красавицы! — сказал отцу господин Декуэрво, когда они, чуть покачиваясь, замерли на пороге.

— Конечно красавицы. И умницы. Умнее не найдешь.

Отец пустился в пространные рассуждения о нашем незаурядном уме. Мы с Лиззи, смущенные, но и немало польщенные, только переглядывались.

— У Эллен Лайлин рот, — сказал господин Декуэрво. — У тебя рот в точности как у твоей мамы: правый уголок чуть выше левого. Само совершенство.

Отец согласно кивал, точно никто и никогда доселе не изрекал столь несомненных истин. Потом он повернулся к Лиззи:

— А у тебя мамины глаза. В день, когда ты родилась, я заглянул в них и подумал: бог мой, у нее Лайлины глаза, только не голубые, а зеленые.

Господин Декуэрво, разумеется, кивал. Я приготовилась, что они сейчас перекинутся с наружных органов на внутренние и проведут полное вскрытие. Но они не стали.

Папа подошел к столу, положил руки нам на плечи.

— Девочки, вы сделали вашу маму бесконечно счастливой. Ни одним из своих творений она не гордилась так, как вами. Ни одному так не радовалась. И она считала, что вы обе совершенно особенные... — Он заплакал. Господин Декуэрво обнял его и перехватил эстафетную палочку:

— ...особенные и неповторимые. И в студии у нее висели только ваши портреты и ничего больше. Поверьте, она знала, что все мы будем горевать, но хотела, чтобы вы не забывали и о радостях. Чтобы радовались всему: вкусной еде, вину, каждому рассвету, каждому поцелую... — Он тоже заплакал.

— Девочки, мы сейчас приляжем. А попозже, когда встанем, отведем вас куда-нибудь поужинать. — Отец ткнулся в наши щеки мокрым ртом, и оба они протопали по коридору к спальне.

Мы с Лиззи переглянулись.

— Хочешь, напьемся? — предложила я.

— Нет, пожалуй, нет. Я бы тоже прилегла, если ты не против побыть одна. — Вид у сестры был, точно она вот-вот заснет, прямо стоя. Я не возражала. Все равно надо позвонить Джону.

Лиззи подошла, обняла меня крепко-крепко, и я тоже обняла ее и смахнула с ее волос шоколадные крошки.

Я сидела на кухне одна и думала о Джоне, о том, как расскажу ему о маме, о ее любви, о том, как она лежала между ними в супружеской постели и они, наверное, храпели. И я явственно представила, как Джон промолчит и подумает, что отец на самом деле не любил маму, раз позволил ей спать с другим мужчиной, а моя мать была настоящей сукой, раз вынудила отца терпеть этот разврат «под собственной крышей». Джон наверняка так подумает, а может, даже скажет вслух. Нет, надо все-таки позвонить, пока я вконец не разозлилась на него за слова, которых он не произносил. А то Лиззи, как всегда, решит, что я завожусь на пустом месте.

Я набрала номер. Джон был очень мил, спросил, как я себя чувствую, как прошла панихида, как держится отец. Я ответила на все вопросы и поняла, что остальное рассказать не могу. И не могу выйти замуж за человека, которому не могу рассказать остальное.

— Эллен, милая, — произнес он, — я так тебе сочувствую. Тебе, должно быть, очень тяжело. Такой печальный день.

Конечно, он выбрал совершенно уместные, подходящие случаю слова. Правильные слова. Только мне они резали ухо. Я была родом из неправильной семьи, я не готова была жить по правилам.

Мне страшно не хотелось обижать Джона, но я не могла выйти за него замуж только из боязни его обидеть. Поэтому я сказала:

— Это не самое печальное, Джон. Я не могу стать твоей женой. Правда не могу. Знаю, тяжело выслушивать это по телефону, но... — Я не знала, что говорить дальше.

— Эллен, давай все обсудим, когда ты вернешься в Бостон. Тебе сейчас тяжело, у тебя такое горе. И я подозреваю, что вы не вполне поладили с моей матушкой. Но ты скоро вернешься, и мы все исправим.

— Я знаю, ты считаешь, что я передумала из-за маминой смерти. Так оно и есть, но... не потому... Ты не поймешь. Джон, я не могу за тебя выйти. Я не могу надеть платье твоей матери и не могу за тебя выйти. Прости.

Он долго молчал, а потом сказал:

— Эллен, это невозможно. Мы заказали приглашения!

Теперь я знала: я права. Скажи он: «Черт побери, я выезжаю, буду к вечеру» или на худой конец: «Да о чем ты? Я все равно хочу на тебе жениться», — я бы, может, и передумала. Но он сказал именно то, что сказал, и я, тихонечко попрощавшись, повесила трубку.

Словно вторые похороны за день. Я сидела и ножом выкалывала из торта маленькие высокие ломтики, а потом кончиком ножа заваливала их набок. Мама наверняка послала бы меня прогуляться. Я начала убирать со стола, и тут появились папа и господин Декуэрво. На вид слегка посвежевшие.

— Эл, как насчет стаканчика джина с ромом? — спросил папа.

— Если ты не против, — добавил господин Декуэрво.

— Не против. Я только что порвала с Джоном Уэскоттом.

— Да? — Не знаю, кто из них произнес это вежливое «да?».

— Я сказала, что мы, как мне кажется, не принесем друг другу счастья.

Именно это я и намеревалась сказать.

Папа обнял меня.

— Родная, это нелегко, я знаю. Но ты все сделала правильно. — Потом он повернулся к господину Декуэрво и добавил: — Лайла как в воду глядела. Твоя мать была уверена, что ты не выйдешь замуж за этого типа.

— Дэнни, она почти всегда оказывалась права, — сказал господин Декуэрво.

— Почти, — подчеркнул папа, и они засмеялись чему-то своему, понятному только им двоим, и пожали друг другу руки, как старые боксеры.

Папа откинулся на спинку стула.

— Ладно, твоя очередь сдавать.

— Играем пенни — очко, — сказал господин Декуэрво.

Ручей в серебряном кувшине

Голос моей сестры — горный ручей, падающий в серебряный кувшин. Звонкая красота его дает прохладу и уносит ввысь — от жара тела, от самого тела. Сестре было четырнадцать, мне двенадцать, и мы ходили на «Травиату», а потом на автомобильной стоянке она отвела меня в сторонку и велела: «Слушай». Она открыла рот неестественно широко, и голос вырвался — кристально чистый и ясный, и оперные завсегдатаи застыли у машин, не в силах сесть и завести моторы. Они внимали, затаив дыхание, а потом устроили бурную овацию.

Я хочу помнить Розу именно такой, и именно этот эпизод я рассказывала всем ее психотерапевтам. Чтобы тоже узнали, какая она, моя сестра, чтобы поняли: то, что перед ними, не настоящая Роза. Ведь до расхожих шлягеров, до мотивчиков из рекламы были Пуччини и Моцарт, и сладкозвучные церковные песнопения, и в них таилась такая мощь, что казалось, Иисус вот-вот сойдет с креста и восхищенно захлопает в ладоши. Пусть знают: прежде чем превратиться в гору жира, что колышется по больничным коридорам в тренировочных штанах и широченных размахайках для беременных, Роза была самой хорошенькой девочкой аррандейлской начальной школы, первой красавицей лэндмарк-ской средней... Может, были там и другие красавицы, но я их не замечала. Для меня идеалом была Роза, моя белокурая защитница и наставница, проводник к таинствам «Тампакса» и смене маминых настроений.

Первый срыв произошел у нее в пятнадцать лет. То она возвращалась домой в грусти и слезах, то тихо сияя; в конце концов перестала возвращаться вовсе. Прямо за нашим домом начинался лес, там она и отсиживалась до сумерек, пока мама, продравшись сквозь колючий вереск, не отыскивала ее в самых дремучих зарослях и не приводила домой — отрешенную, с сухими листьями на голубом свитере, с грязью на белых джинсах. После трех недель такой жизни мама, по профессии музыкант и, по общему признанию, женщина с весьма нестабильной психикой, сказала отцу, человеку доброму и печальному, по профессии психиатру:

— Она сходит с ума.

— Это что, диагноз? — Отец взялся за газету, тут же отложил ее, вздохнул. — Прости, вышло чересчур резко. Я тоже вижу, что ее что-то беспокоит. Ты с ней говорила?

— О чем? Дэвид, она сходит с ума. Ей нужен не задушевный разговор с мамочкой, ей нужна клиника.

Они еще немного попререкались, потом отец несколько часов кряду пытался беседовать с Розой, причем она сидела, зализывая волоски чуть выше запястья сначала в одну сторону, потом в другую. Мама смотрела на них из коридора, бледная, с сухими глазами. Она уже собрала вещи, и когда трое отцовских коллег заехали нас проконсультировать — по дружбе, бесплатно, — мама с Розиным чемоданом уже сидела в машине. Меня она обняла и обещала вернуться к вечеру, только без Розы. И добавила, упреждая самый страшный из моих страхов:

— С тобой этого не случится, не бойся. Одним людям суждено сойти с ума, другим нет. Тебе это не грозит. — Она усмехнулась, провела рукой по моим волосам: — Даже если очень захочешь.

В клиниках, больших и поменьше, Роза провела следующие десять лет. Ее лечила уйма жутких психотерапевтов, но попадались и неплохие. В одной клинике не оказалось ни окон, ни картин на стенах, а пациенты шаркали в одинаковых шлепанцах с больничным клеймом. Мама даже не стала заходить в приемный покой. Она развернула Розу, и они решительно направились к выходу, а отец, извиняясь перед коллегами, побрел следом. Психиатров, социальных работников и медсестер мама игнорировала, а для пациентов играла Генделя и Бесси Смит — на чем придется. В одних клиниках стоял настоящий «Стейнвей» — подарок от благодарных или обнадеженных родственников; в других ей случалось дубасить «Дай-ка воблу да кружку пива» на стареньком исцарапанном пианино, которое не настраивалось лет сто, потому что в клинике давным-давно забыли, для чего предназначены музыкальные инструменты. Отец разговаривал с администра-

торами и заведующими серьезно-уважительно, а с лечащими врачами даже пытался приятельствовать. Зато семейных психотерапевтов все мы дружно ненавидели.

Худший из всех, кто выпал на нашу долю за эти годы, восседал в кабинете с бледно-зелеными стенами. Цепким глазом он оценил мамину неземную красоту, выцветшую футболку и узенькие девчачьи джинсы, папин мятый пиджак и грязный, с потеками галстук, а также весь мой вызывающий семнадцатилетний облик. Роза в тот год была как никогда далека от моды: в штанах самого-рассамого большого размера и в широченном «бальном» платье. Она походила на плюшевого медведя. Мы молча сидели, а доктор Уокер просматривал историю болезни. Когда же Роза начала, призывно подвывая, мять свои груди, он взглянул на нас с нескрываемой тревогой. Мы с мамой засмеялись. Даже отец улыбнулся. Этим приемчиком Роза часто начинала знакомство с новыми врачами.

— Почему, интересно, все семейство так радуется непристойному поведению Розы? — произнес доктор Уокер.

Роза громко рыгнула, мы снова рассмеялись. Это был наш седьмой семейный психотерапевт: никто из них долго не продержался. К несчастью, доктор Уокер явно вознамерился поучить нас уму-разуму.

— Ну, а ты, Вайолет, что думаешь о Розином поведении?

Это они любили. Должно быть, в пособии говорилось: если родители не слишком контактны, попробуйте побеседовать с сестрой.

— Не знаю. Может, она хочет, чтобы вы перестали говорить о ней так, будто ее тут вовсе нет?

— Неплохо сказано, — заметила мама.

Отец кивнул:

— В самом деле.

— Ж..., а смекает, — добавила Роза.

— Что же, семья, я вижу, единодушна, — произнес доктор Уокер с деланным пониманием и приязнью.

— Эй, хорек востроносый, что за чушь ты мелешь? — Разозлившись, Роза соображала куда лучше обычного. Доктор и вправду напоминал белобрысого хорька. Мы засмеялись. Не удержался даже отец, который всегда старался — из чувства цехового братства — не вмешиваться в работу коллег.

На пятнадцатой минуте доктор Уокер счел аудиенцию оконченной и вышел. Мы весело переглянулись. Роза, конечно, как была с приветом, так и осталась, но нам удалось хоть чуть-чуть развеяться.

День, когда мы познакомились с самым лучшим на Розином веку психотерапевтом, начался почти так же неудачно. Мы насмерть перепугали врачиху-практикантку, привели в полное замешательство ее куратора, и уж он-то и напустил на нас доктора Торна: этак сто тридцать техасских кило, обильно политых соусом «чили», набитых кукурузными лепешками, накачанных пивом «Одинокая звезда», и все это в черных высоких ковбойских ботинках и узеньком плетеном галстучке на том месте, где, по расчетам, должна быть шея.

— Вот так денек! — Переполненная счастьем Роза немедленно прекратила ласкать свои груди. — Вот так шизан! Прямо шизанище!

— Привет, малыш Шизёнок.— Представьте, какого роста должен быть человек, назвавший мою сестру малышом. Он и нас окрестил с ходу: — Это добрый доктор Айбошиз; это мадам Кремень-шиз: попробуй расколи; а вон там, в комбинезончике, под которым небось ничегошеньки нет, Нешизок-колобок, от всех укатится.

Он подметил и мое одиночество, и неспособность сойти с ума. В каждом он узрел самую суть. Мы мгновенно расслабились.

С доктором Торном нам повезло. Розу вскоре перевели в реабилитационный центр, начальница которого так любила Шизана, что терпела все Розины выходки, даже то, что моя сестра готова была лечь под каждого встречного-поперечного. Так, лихорадочно, до изнеможения трахаясь, Роза пыталась унять изводившие ее голоса.

Шизан сказал твердо:

— Нет, подружка, не могу. Я не могу заниматься любовью со всеми прекрасными женщинами на свете, а главное, не могу любить тебя и оставаться при этом твоим врачом. Прости уж. Надеюсь, ты найдешь себе хорошего парня и он будет с тобой нежен и добр Ты же знаешь, каким был бы я, если б мне посчастливилось стать твоим дружком-Чур! — ищи такого же.

И Роза перестала тащить в постель наркоманов, алкоголиков и прочих приютских безумцев. Мы очень полюбили доктора Торна.

Отец снова занялся лечением богатеньких неврастеников и раз в неделю бесплатно консультировал в клинике доктора Торна. Мама дозаписала пластинку с концертами Моцарта и выступила в благотворительном концерте для Розиного заведения. Я вернулась в колледж и нашла себе отличного парня, бейсболиста из Техаса. И велела ему по ночам называть себя «подружкой». Роза регулярно принимала лекарства, сбросила около пятидесяти килограммов и стала петь в евангелистской церкви неподалеку от приюта.

Сперва служители культа не знали, что делать с этой необъятной, смешно одетой блондинкой, которая мечтательно раскачивалась на пороге церкви во время репетиций, но стоило ей спеть несколько тактов из «Господь Всемогущий», как дирижер понял: это перст Божий! Благодаря Блаженной Розочке его хор, «Хор надежд и упований», непременно выйдет в финал Евангельской олимпиады.

В море шоколадно-кофейных, светло- и темнокоричневых лиц белело Розино лицо — самое большое, сливочно-нежное, обрамленное нежнейшими белокурыми локонами, точно там стояла не одна, а две белые женщины, слитые воедино. Розино серебряное сопрано и густое золотое контральто Адди Робишо сплетались в тонкие, как шелк, и прочные, как сталь, кружева. По щекам у нас текли слезы, а Роза с Адди в пышных, ниспадающих волнами темно-красных платьях раскачивались в обнимку и посылали свои ангельские голоса к Богу. Когда же замирала в вышине последняя нота, они смотрели с галереи для певчих вниз, на нас, и улыбались.

Роза все-таки время от времени слетала с катушек, и внутренние голоса подначивали ее делать разные гадости, но доктор Торн, Адди или мама обычно могли с этими приступами совладать. Так прошло пять хороших лет. А потом Шизан умер. Не сумел проглотить очередную сардельку, обильно политую острым соусом «Чили», не продышался на пике июля в душном кабинете без кондиционера. Одно большое, по-техасски могучее кровоизлияние — и он умер.

Роза крепилась неделю: прилежно принимала лекарства, ходила на спевки, по сто раз на дню разбирала и перекладывала вещи в своей комнате. Душевнобольные устремились на похороны, как верующие в святые места. Шизофреники, тяжелые невротики или просто личности, пребывавшие «не в ладу с миром» — все непременно хотели проститься с доктором Торном. Напичканные сильными психотропными препаратами, многие так тряслись, что едва не падали в церкви со скамеек. Чокнутые держались за руки, плакали и стонали, разговаривали сами с собой. Полоумные и тронутые слепо тыкались друг в дружку, как новорожденные щенята за загородкой.

Роза перестала принимать лекарства, спустила с лестницы одного из приютских безумцев, и держать ее там отказались. Отец позвонил в страховую компанию и выяснил, что на новую, расширенную психиатрическую страховку можно рассчитывать не раньше чем через сорок пять дней. Я сгребла Розины вещи в пластиковый мешок для мусора, и мы собрались домой. На кушетке возле двери приюта валялся слюнявый мальчик-идиот. Роза подмигнула ему на прощанье.

— Предстоит трудное испытание... Испытание для всей семьи. И, пожалуй, нам следует обсудить, как мы представляем себе эти сорок пять дней. У меня, к примеру, есть определенные опасения... — Папа начал семейный совет, едва Роза рассадила по местам тридцать своих плюшевых мишек.

— Никаких пилюль, — сказала Роза, глядя в пол. Ее короткие толстые пальчики, те самые, что когда-то заплетали мне косы и рисовали на моих щеках тюльпаны, теперь теребили засаленный подол размахайки. Отец бросил на маму отчаянный взгляд.

— Розочка, хочешь поводить новую машину? — спросила мама.

Роза просияла.

— Хочу! Я поеду в Калифорнию смотреть медведей в зоопарке Сан-Диего. Я бы и тебя взяла, Вайолет, но ты ведь терпеть не можешь зоопарки. Мама, помнишь, как она плакала в Бронксе, когда узнала, что звери после закрытия не расходятся по домам! — Роза стиснула мою руку своей влажной ладошкой. — Вайка, бедняжка моя.

— Если будешь принимать лекарства, через какое-то время и машину сможешь водить. Такой уговор. Лекарства — машина. — Мама говорила без нажима, боясь получить в ответ новый параноидальный всплеск.

— По рукам, подружка, — смилостивилась Роза.

Я жила тогда в часе езды от дома, днем преподавала английский, ночью писала стихи. Раз в два-три дня заезжала домой поужинать. Звонила каждый вечер.

Отец отвечал, прикрыв трубку рукой:

— Очень тяжко. Но, по-моему, мы справляемся. Роза с мамой по утрам гуляют. Еще она подолгу смотрит телевизор. В дневной стационар ходить не хочет. На хор тоже. Пару раз заглядывала ее приятельница, госпожа Робишо. Такая милая женщина. Роза даже не пожелала с ней разговаривать. Сидела, глядела в стенку, напевала. Если откровенно, дела обстоят не очень-то хорошо, но, думаю, мы справимся. Прости, дорогая, я не хотел тебя огорчать.

Мама отвечала бодро:

— У нас все отлично. Составили распорядок дня, соблюдаем его неукоснительно, живем не тужим. Тебе совершенно не нужно приезжать так часто. Дождись воскресенья. У тебя своя жизнь, Вайолет. У нее своя.

Я действительно выждала неделю, вздрагивая от каждого телефонного звонка. Но я была благодарна маме за ее непрошибаемое спокойствие и скрытность — качества, которые так бесили меня в детстве.

Приехала я в воскресенье, не к вечеру, а до обеда, чтобы помочь отцу в саду. Мы любили садовничать вместе. Мама с Розой гуляли на озере, и мы с отцом сразу принялись пропалывать и окучивать помидоры и травить обнаглевшую тлю. Только часа в четыре я захотела пить и вошла в дом.

Мамин вертящийся стул был разломан на пять аккуратных частей и сложен штабелем у рояля.

— Мы с тобой так славно провели время, — сказал отец. — Не хотелось тебя расстраивать. — Он все топтался у порога, боясь натащить на подошвах грязь из сада.

— Что сказала мама?

—Сказала: «Лучше стул, чем рояль». А Роза легла на пол и заплакала. Тогда мама увела ее на озеро. Вайолет, так больше продолжаться не может. Впереди еще двадцать семь дней. Роза по ночам не спит, и мама, естественно, тоже почти не смыкает глаз. Я бы заплатил двадцать семь тысяч, по тысяче на день, чтобы ее продержали в клинике без страховки, клянусь!

— Так заплати. Отправь ее в Хартли-Риз. Отличное место. Ей там очень нравились занятия по искусству.

— Отправил бы, да не могу. Страховой полис требует бессимптомности в течение полутора месяцев до начала действия страховки. То есть никакой госпитализации.

— Господи, папа! Она не то что полутора месяцев — полутора часов не прожила без симптомов! Где ты выкопал эту страховку?

— Единственная долгосрочная страховка для хроников. — Он прикрыл рот рукой, словно боялся, что с языка сорвется что-то лишнее, и ушел обратно в сад. Может, даже заплакал.

Так порознь — он в саду, я в доме — мы и дождались маму с Розой. Сестра вернулась в насквозь мокрых, закатанных до колена тренировочных штанах, с кучей ракушек и водорослей, которые она неохотно согласилась оставить на заднем крыльце. Мама поцеловала меня и велела Розе сменить штаны.

Зрачки у Розы расширились.

— Ни за что! Я ни за что не... — Она плюхнулась на колени и принялась ритмично биться головой о пол кухни, вкладывая в каждый удар весь свой немалый вес. Мама ухватила ее за пояс, попыталась удержать, но Роза отмахнулась от нее не глядя, как от досадной помехи. Мама отлетела, ударилась о холодильник.

— Вайолет, сделай что-нибудь...

Я растянулась на полу, на том самом месте, о которое Роза пыталась размозжить себе голову. И она остановилась — в полусантиметре от моего живота.

— Ой! Вайка, мамочка, простите! Только не сердитесь! — Она с трудом поднялась и, подвывая, кинулась к себе в комнату.

Мама встала, ополоснула лицо, вытерлась посудным полотенцем. На Розин вой влетел отец, на ходу скидывая с голых ног резиновые сапоги.

— Дай-ка я посмотрю! — Бережно поворачивая мамину голову, он осмотрел ушибы на бледном лице. — Что случилось?

Мама глядела на меня в упор.

— Вайолет, что случилось? — повторил отец. — Где Роза?

— Роза из-за чего-то расстроилась, побежала наверх и по дороге нечаянно толкнула маму.

Я солгала в жизни только трижды. Это была моя вторая ложь.

— Толкнула маму! Ей, должно быть, так стыдно и тяжело. То есть, естественно, что на ее пути оказалась именно ты, родная, но, поверь, она не хотела. Поверь. — Он приготовил маме чаю, и тепло его любви, всю жизнь боровшейся со вспышками маминой ярости и с полосами отчуждения, наполнило эту чашку и согрело мамины маленькие ладони и длинные тонкие пальцы. Мама прилегла, положила голову ему на колени. Я отвела глаза.

— Давайте накроем на стол, я потом ее позову, — сказала мама. — Или нет. Лучше ты позови ее, Дэвид. Пусть лучше твое лицо она увидит первым.

Обед прошел нервно. Роза отчаянно пыталась с собой совладать, все время напевала популярную песенку из мультфильма, едва притронулась к еде, тут же облилась соком, расплакалась. Отец взглянул на маму. Дал Розе свою салфетку. Она прилежно принялась промокать свою размахайку. Слезы высохли.

— Я так хочу спать, хочу я в кровать, чтобы спать-почивать,хочу быть в себе и в твоей судьбе, хочу в красном гулять, хочу детку качать, в красном ты не ходи, о любви не проси, потому что я так хочу спать, хочу я в кровать…

—Ну, будет, Роза, хватит. Давай-ка я провожу тебя наверх, уложу в кроватку. А потом мамочка зайдет и скажет девочке спокойной ночи. Ну, будет, Роза, успокойся...

Роза уцепилась за папину протянутую руку, он обнял ее за неохватную талию, и они вышли.

Мама закрыла лицо руками, на мгновение замерла, а потом принялась убирать со стола. Мы молча помыли посуду. Мама напевала шубертовскую «Schlummerlied», колыбельную о лесах и речке, которые уговаривают дитя уснуть. В детстве она пела ее нам каждый вечер.

Отец заглянул на кухню, подал маме знак «пора» и увел ее наверх. Вскоре они вернулись.

— Спит.

Мы вышли на веранду послушать цикад. Остаток вечера я помню смутно. Помню разлитую в воздухе тихую печаль и редкую на моей памяти картину: родители сидели, держась за руки, и смотрели на закат.

Часа в три ночи я замерзла под тонкой простыней и проснулась. В поисках одеяла я почему-то заглянула в Розину комнату. Розы там не было. Я надела джинсы и свитер и спустилась вниз, нутром чуя, что там ее тоже нет. Вышла на крыльцо. Цепочка широких Розиных следов тянулась по росистой траве к лесу.

— Роза, — тихонько окликнула я, боясь разбудить родителей или напугать сестру. — Розочка, это я. Где ты?

Я едва не споткнулась о нее, огромную, белую, в блеклой от лунного света разма-

хайке, в насквозь промокших штанах. Голова была откинута назад, а шея тянулась — белая-белая, точно античная колонна.

— Роза!..

Дыхание ее было замедленным, губы бледными. Вдруг ее веки дрогнули.

— Концерт окончен, — прошептала она. Да, по-моему, так она и сказала.

Я села рядышком, возле откинутой руки, прикрывавшей пузырек с остатками белых таблеток. Я сидела и смотрела, как гаснут звезды.

Когда они погасли совсем и начало пригревать солнце, я вернулась в дом. Мама, набросив на плечи одеяло, ждала на крыльце. Каждый шаг давался мне с трудом. Вдруг мама ударит меня? Или убьет? Ведь я позволила ее любимице умереть.

— Воительницы, — сказала мама, обняв меня тонкими, сильными руками. — Я вырастила настоящих, мужественных дочерей. Королевы-воительницы. — Она крепко поцеловала меня и ушла в лес одна.

Позже она разбудила отца. Он пойти в лес не смог. Еще позже она позвонила в полицию и в похоронное бюро. Потом положила трубку, легла и не вставала до самых похорон. Папа кормил нас обеих, обзванивал всех, кого надо было обзвонить, и сам выбирал для Розы гроб.

Мама играла, голос Адди выводил золотые узоры, а я закрыла глаза и снова увидела сестру — четырнадцатилетнюю, с откинутой назад пышной белокурой гривой. Она жмурилась от вспышек фар на стоянке возле оперы. И горный ручей заполнял до краев серебряный кувшин, затапливал наши сердца, и, объятые им, мы уносились ввысь — все выше, выше, выше...

СИЛЬВИЯ МОСС

Стихи из книги «Удаляющиеся города»

Перевод с английского и вступление ИЗАБЕЛЛЫ МИЗРАХИ

Я познакомилась с Сильвией Мосс в библиотеке маленького городка, где она проводила поэтический семинар для всех желающих. Таковых вместе со мной оказалось двенадцать человек. Как водится на таких мероприятиях, каждый назвал свое имя, профессию и мотивы прихода, среди которых обнаружилось большое разнообразие. Один мужчина, средних лет и средней упитанности, пришел, например, узнать, можно ли стихи продать и как их в этом случае рекламировать. Намерения других были не столь серьезны.

Сильвия оказалась высокой хрупкой женщиной, с тихим голосом и неуверенными манерами. После семинара я подождала, пока она ответит на все вопросы, и предложила выпить кофе. Она легко согласилась, но кофе заменила водой, а я — мороженым. Мы проговорили полтора часа.

На следующий день я зашла в библиотеку и, заметив на стенде книжку Сильвии Мосс, стала просматривать ее. Первое попавшееся мне стихотворение начиналось словами: «В чеховском рассказе двое любовников /сидят в саду,/ провожая глазами пароход в Феодосию». Стихи Сильвии удивительно искренние, хотя их и нельзя назвать исповедальными. Стало жалко, что не я их написала. Оставалось перевести. Не хочется употреблять заезженную фразу о том, что такой поэт будет интересен русскому читателю, но в данном случае это правда. Правда еще и потому, что мир Сильвии Мосс настоян на корнях мировой культуры. И потому, что в нем есть Чехов, бегство из революционной России, погромы и другие отголоски нашей отечественной истории и литературы. Есть даже стихотворение, читая которое мы сразу вспоминаем пушкинскую мертвую царевну, хотя говорится в нем о Белоснежке. Родители Сильвии детьми были привезены в Америку из России. Сама она родилась в Нью-Йорке, получила степень бакалавра в Колумбийском университете и степень магистра по истории искусства — в Нью-Йоркском.

Большинство ее стихов коротки, потому что слова точны, а мысль лаконична. И как у верно взятого аккорда, у них длинное послезвучие. Не зря Сильвия Мосс получила престижную премию Уайтинга (кроме престижа, еще и 25 тысяч долларов).

Ежегодно — вот уже в течение двадцати лет — пять американских издательств проводят конкурс на лучшую книгу стихов, готовящихся в этих издательствах к печати. Известные поэты изучают рукописи, и каждый выбирает своего кандидата. Сборник стихов Сильвии Мосс «Удаляющиеся города» («Cities in Motion») был выбран в 1986 году Дереком Уолкоттом и вошел в число пяти лучших книг года.

Публикуемая подборка — дар автора читателям «Иностранной литературы».

© И. Мизрахи. Перевод, вступление, 1998

Пароход в Феодосию

В чеховском рассказе двое любовников
сидят в саду,
провожая глазами пароход в Феодосию.
И у тебя все так же, как у них —
у этого мужчины и этой женщины

на скамейке в Ялте.
Смеркается, а они все молчат.
У мужчины есть жена,
у женщины — муж,
и конец их истории

еще далеко.
Поскрипывает кипарис, темнеет лиловая вода,
а ты все сидишь над чеховским рассказом,
потому что это и твоя история,
и ты не знаешь, чем она кончится.

1913

Любой лес заставляет тебя
вспомнить тот первый лес:
петляющие лисьи следы,
далекий звук колокола
и белые клубы пара,
слетающие с замерзших губ.
Мать тянет за руку,
не давая остановиться.

Незнакомый мальчик
зачем-то ищет тебя. В твоем доме
чьи-то пальцы ощупывают
мамино платье,
раздирают матрас.
Ноги липнут к дощатому полу.
Ты видишь одни лишь сосны,
и каждая — как солдат.

Ночной паром

Так почему красавица
не вышла замуж,
а скряга промотал свое добро?
Теперь уж поздно спрашивать тебя о сестрах
или о том, каким он был, твой город.

© 1987, by Sylvia Moss

Этой весной цветущие вишни
уже ни о чем тебе не говорят,
и только братья твои и сестры
еще хранят в памяти улочку
под названьем Черноморская.
Но и они устали — хрупкие тела
ослабли от разочарований.
Скоро и их черед.
Паром еще не отошел, и все вы спешите.

Теперь тебя мучат кошмарные сны —
все самое ужасное произошло, —
и ночью женщина, закутанная в шаль,
снова мерит шагами палубу, потом останавливается.
За спиной у нее турецкий берег,
а она все смотрит на удаляющиеся города,
на своих спящих детей,
на пламенеющий в воде дворец.

Тетя

Как водится,
она обожала свою дочь,
а ко мне обращалась
на том, другом языке,
беззлобно,
но с каким-то
нетерпеливым раздражением —
«krasavitza».
Подразумевалось, наверное, «недотепа»,
но я не обижалась.
После школы я шла к ним —
поиграть с двоюродной сестрой.
Она знала все слова
на том, другом языке,
даже слово, которое означает «красавица».

Дочь

Зима. Снежный пух падает с неба.
Замело дороги, застыла вода в колодцах.
Царица мечтает о дочери,
белой, как снег...
Ты знаешь, что будет дальше,
мы уже читали эту сказку:
царица умрет в родах,

зеркало расскажет правду.
Тебе четыре года, ты сидишь тихо —
руки на коленках —
и ждешь, когда царевне дадут отравленное яблоко.

Не проси меня объяснить,
почему так злилась мачеха
и как очнулась царевна
от.долгого сна в хрустальном гробу.
Потерпи.
Как всегда в сказках,
падчерица будет потом жить долго и счастливо,
а мачеха плохо кончит.

Изменчивая земля

Сын плачет,
и я зову его к окну.

Андромеда, Близнецы и Овен
быстро занимают свои места
в чернеющем небе.
Мы находим пояс Ориона
и голубую звездочку — его плечо,

и мальчик уже не боится заснуть.

Это зимнее небо четко расчерчено,
надежно и знакомо,
как карта Земли.
Орион устремляется по следу,
за ним — Близнецы.
Мальчики-двойняшки,
такие разные, такие неразлучные,
вместе держат арфу —
но лишь один из них бессмертен.

Кокон

Внутри, глубоко внутри —
туго скрученный,
тончайший свиток,

живая кожица
цвета слоновой кости
с черной каймою и россыпью пятен.

Створки крыльев еще
крепко сжаты,
ослепительно красивы,

но пока не для наших глаз.

Погребальная утварь

Дорогая женушка! Аньян[1] остался в прошлом —
мы больше не верим в человеческие жертвоприношения.
Поэтому не нужно ослеплять двух лошадок,
рыть колею для колесницы
и убивать перепуганного кучера.
Тебе не понадобится колесница
в будущей жизни.

Но у тебя все же будет набор дудочек
и в обычных склянках запас
сушеной рыбы и персиков,
бобов и красного перца,
а также зеркало в бронзовой рамке
и небольшой слепок нашей с тобой жизни —
маленький домик из глины
и глиняные сын и дочь.

Летняя ночь[2]

Мелкие, невзрачные цветы
разбегаются от террасы
по всем направлениям,
ветер наплывает
на белую скатерть,
ощупывает ее жесткие
складки, пару салфеток,
группку хрустальных рюмок.
Двое только что встали из-за стола, ушли,
и непонятно, почему еще стоят здесь
плетеные кресла, графины,
бокалы, —
но потом замечаешь перчатки,
брошенные у блюда с клубникой,
недопитый стакан бренди —
и тебя поражает, ранит в самое сердце
эта поспешность отсутствующих возлюбленных.

---

[1] Город в китайской провинции Хэнань, во второй половине второго тысячелетия до н. э. — столица государства Инь; знаменит новейшими раскопками городских домов, храмов и усыпальниц. *(Здесь и далее — прим. ред.)*

[2] Стихотворение навеяно картиной норвежского художника Харалда Сулберга (1869—1935) «Летняя ночь».

Фома и апостолы

И он тоже
был плотником
и стоял рядом с ними,
с теми, кто говорил:
это правда.
Но как он мог поверить?!

— Если Учитель жив,
пусть и ко мне придет,
к Фоме,
пусть не избегнет меня.
И я вложу персты свои
в каждую рану его,
куда вогнали гвозди.

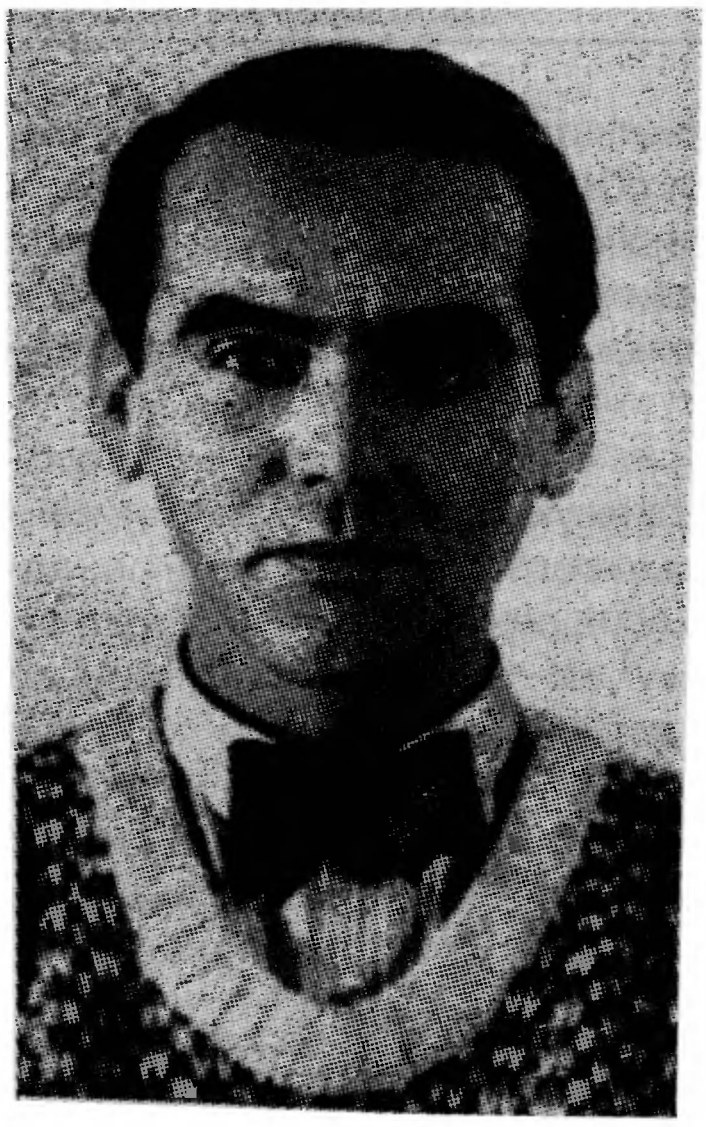
Будут ли сломлены
неуступчивые,
уверовавшие последними?
Они ведь любят не меньше.

Приглашение

Ты зовешь меня,
но я боюсь покинуть город:
поэтов, с которыми я незнакома,
больницы (ведь я могу умереть)
и новости — из разных городов.

Снова и снова читаю твое письмо:
«Дорогая,
деревья здесь склонились к самой воде».
Ты бредешь по высокой траве,
дожидаясь ответа.
А я не знаю, смогу ли стать частью этого пейзажа.

■



ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКА

Стихи и эссе

К 100-летию со дня рождения

С испанского

Поэт

В Испании обычно зовут его просто по имени — Федерико; в России утвердилась и обрела хождение его материнская фамилия — видимо, в силу краткости и какой-то теплоты звучания. И всякий раз, произнося «Лорка», мы вслух или про себя непроизвольно добавляем «поэт». Для меня, например, — человека, давно влюбленного в его стихи, — он прежде всего драматург. Иные страницы его прозы не уступают стихам. И все же — поэт, и не иначе. Почему?

Чехов зачислял в поэты людей, питающих пагубное пристрастие к словам «аккорд» и «серебристая даль». Что говорить, «поэт» в обиходе звучит высокопарно. Однако Лев Толстой в «Исповеди», порывая и прощаясь с искусством, называет себя не писателем, не романистом, а поэтом. «Я — художник, поэт» — так говорит о себе человек, за долгую жизнь вряд ли срифмовавший пару строк, разве что шуточных. Поэтом он называл и Чехова, который уж точно никогда не рифмовал и если шутил, то исключительно в прозе. Очевидно, поэт и стихотворец — далеко не одно и то же. Это прописная истина или, как говорили в старину, «мысль не новая, но справедливая».

Грамотный стихотворец может оказаться лишь версификатором, а неграмотный крестьянин — поэтом. Свидетельство тому — народные песни. Поэтом может быть плотник, звонарь и вообще кто угодно, даже если он не причастен ни к стихам, ни к песням. Это общеизвестно и мало кого удивляет. Но случаются порой вещи удивительные. Сервантес, помимо всего, был и стихотворцем, одаренным, искусным, но не больше, а вот плод его фантазии, Дон Кихот, оказался великим поэтом — он создал такое силовое поле, которое втянуло и преобразило множество человеческих судеб. Один только пример.

Почти через три века после Сервантеса, в самом начале гражданской войны, когда не было еще ни интербригад, ни русских летчиков в Испании, небо Мадрида защищала эскадрилья, которую на скудные пожертвования снарядил и возглавил д'Артаньян французской литературы, писатель Андре Мальро. Десятилетия спустя журналист его спросил: «Почему для вас и для вашего поколения Испания значила так много, что вы шли за нее умирать?» Мальро — герой Сопротивления, любимец де Голля, и естественно было бы ждать, что он заговорит о борьбе, фашизме и солидарности. Он ответил кратко и неожиданно: «Потому что Дон Кихота создал испанец». Пример того, как поэзия влияет на историю.

Поэт — не сочинитель стихов. Это, почти по Эйнштейну, материализованный сгусток энергии, не знаю — творческой, жизненной или космической, но такой, что она изменяет вокруг себя пространство, и чужие жизни в ее силовом поле тоже меняются, движутся иначе и проникаются ее излучением.

Как переводчик Лорки я не однажды становился в тупик перед вопросом, который задавали самые разные люди. Что я испытываю, переводя, то есть читая пристальней, чем они,

---

© Herederos de Federico García Lorca, 1997
© А. Гелескул. Перевод, вступление, 1998

Иллюстрации — рисунки Федерико Гарсиа Лорки.

и остается это во мне или как с гуся вода? Короче, понимаю ли я, что общаюсь не со стихами, а с поэзией? Еще короче, меняюсь ли я хотя бы в чем-то? Но обманываться можно, а знать этого нельзя, и вообще о таких вещах не говорят и никому не исповедуются. Но я знал и знаю людей, которых поэзия Лорки изменила — разбудила, заставила видеть и чувствовать иначе, ярче и по-другому смотреть на жизнь и на смерть. Вот почему, произнося его имя, беззвучно добавляют — поэт.

О Лорке сказано и написано столько верного и надуманного, справедливого и несправедливого, что к этому трудно что-либо добавить. Пожалуй, свежую мысль высказал испанский писатель Феликс Гранде в ответ на следующую тираду некоего критика: «Этот гранадский клавесинист нанес большой вред нашей поэзии, и давно пора ревизовать его наследие». Гарсиа Лорка был пианистом, знал и любил Ванду Ландовску[1], но сам к клавесину вряд ли прикасался. «Гранадский клавесинист» — это метафора, должная утвердить в читателе представление о чем-то мизерном, слабосильном и старомодном. Не опускаясь до мелочной полемики, Феликс Гранде как бы вскользь замечает: «Ума не приложу, какой такой вред нанес он нашей поэзии. Ему — да, нанесли, и все мы помним какой. А ревизовать его наследие не сможет даже нейтронная бомба, поскольку оставляет в целости и сохранности библиотеки». Звучит жутковато, но веско.

К несчастью, не во всем Феликс Гранде прав. Не все наследие Лорки дошло до библиотек. В последнем, посмертно опубликованном интервью поэт перечисляет книги стихов, готовые к печати, — их шесть, а дошли до нас только две. От седьмой, в интервью не упомянутой. книги сонетов уцелели крохи, несколько черновиков. А если обратиться к драматургии, печальный перечень удвоится. Едва ли в нашем веке найдется художник, чье творчество понесло столько утрат; судьба наследия Лорки отдает средневековьем. Погиб не только поэт.

Вдогонку мне плачут
мои нерожденные дети —

это строки из посмертно опубликованного стихотворения, посмертные строки. Стихотворение входило в книгу «Сюиты», одну из пяти, до нас не дошедших.

В последние годы стало печататься то, что сохранилось в семейном архиве, — наброски, отрывки, отдельные сцены и явно законченные вещи. Многие из них замечательны. Но, публикуя стихи, Лорка порой менял их неузнаваемо, и нет уверенности, что на уцелевших листках, исписанных карандашом, лежит печать последней авторской воли.

Именно эти возвращенные из небытия стихи, статьи, выступления составляют основу нашей публикации. В нее, кроме стихов из трагедии (песен народного склада, которым Лорка отвел место античного хора — предсказателя и плакальщика), включены новообретенные эссе разных лет и несколько стихотворений из упомянутой книги «Сюиты». Некоторые из них впервые опубликованы в последнем четырехтомном издании Лорки, вышедшем в Барселоне в 1996—1997 гг. Стихи увидели свет через три четверти века после их написания. Это ранние, молодые стихи, и, быть может, потому в их сдержанном лиризме есть оттенок исповедальности. Позже Лорка старательно избегал его и даже признавался: «Я страдаю, когда вижу в стихе свое отражение». Книгу составляли циклы коротких стихотворений — сюиты; название для музыканта естественное, а музыкантом Лорка стал раньше, чем поэтом. Миниатюры цикла разнообразны, часто контрастны, но варьируют тему, заданную начальным стихотворением. Несколько сюит Лорка успел опубликовать, и по ним видно, как важна их вольная, струящаяся композиция — стихи загораются друг от друга, словно камешки мозаики. Лорка сочинял музыку, но композитором назвать его трудно. Композитором он был в поэзии. Его прижизненные книги, кроме самой ранней, юношеской, — не просто сборники стихов, но каждая — строго выверенное и выстроенное единство. Он медлил издаваться прежде всего потому, что подолгу строил и менял композицию, зато, выстроив, говорил о книге: «Отточена». Но свой композиторский дар он унес с собой, и то, что уцелело из его рукописного наследия, осталось разрозненным. Рассыпанные искры сгоревшего метеора.

Затасканное выражение «в огне гражданской войны» утратило реальность и стало риторической фигурой. Но огонь не риторика, а война и память о ней — тем более. Мадридский дом, где могли находиться рукописи Лорки, сгорел при бомбежке. Сглаживая память о войне, Франко, как известно, распорядился перенести все военные захоронения в одно место и назвать его Долиной павших. Широкий жест человека, развязавшего гражданскую войну, доныне многих умиляет, и у нас в России тоже. Семью Лорки он не умилил. Когда поступило распоряжение перенести прах поэта в Долину павших, его родные воспротивились с героической решимостью. Перенос был бы чисто символическим: гранадское селение Виснар, ска-

---

[1] Ванда Ландовска (1879—1959) — польская пианистка, клавесинистка, композитор и музыковед. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

зочное, как лунный свет, опоясано братскими могилами, и та, над которой установлена памятная плита с именем Гарсиа Лорки, — лишь наиболее вероятное место его погребения. И только благодаря гордой непреклонности и неимоверным усилиям сестры поэта и его близких эти братские могилы не были потревожены. Прах поэта покоится в земле, которая была ему родной и которой наспех забросали его простреленное тело. Вспоминаются строки другого поэта, великого (невеликими поэты не бывают), но пространственно такого далекого от Испании, — узбека Алишера Навои: «Хочешь цвести весной — стань землей. Я был землей. Я ветер».

По-испански ветер, воздух и песня звучат одинаково.

АНАТОЛИЙ ГЕЛЕСКУЛ

Из книги «СЮИТЫ» (1920—1923)

Земля без песен

Синее небо.
Бурая нива.

Синие горы.
Бурая нива.

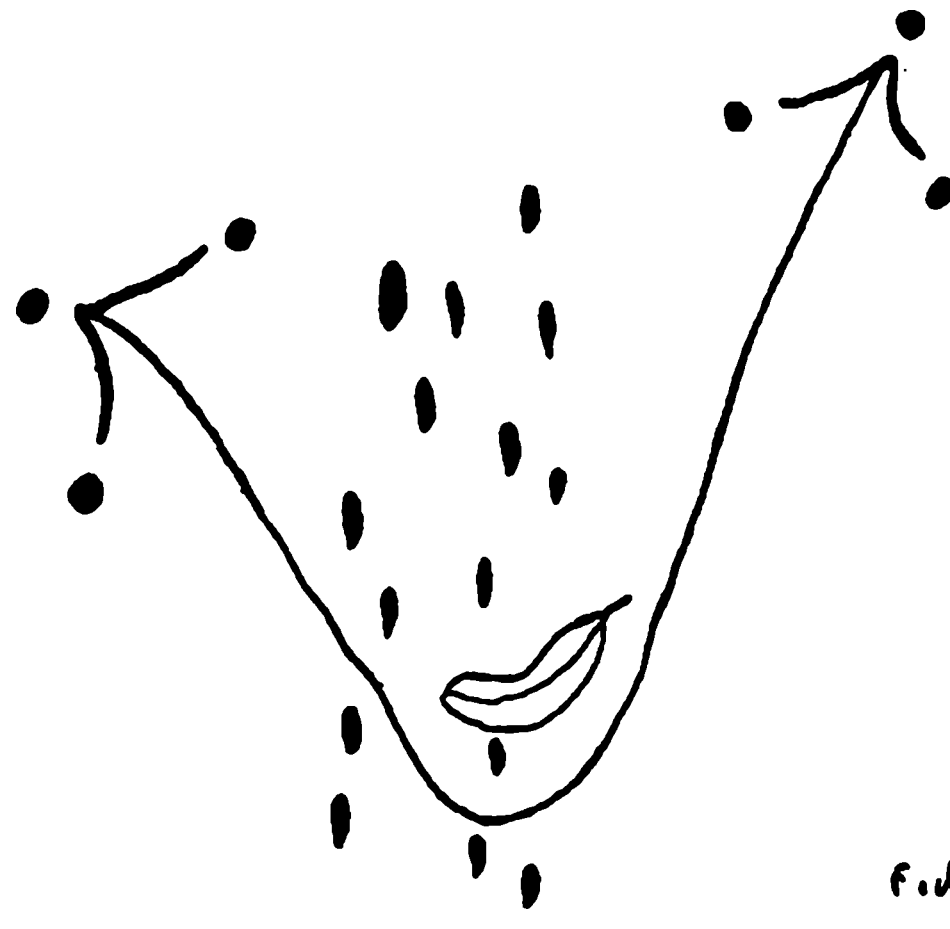
По жгучей равнине
бредет сиротливо

единственная
олива.

***

Вечерний ветер в деревьях
играет их голосами.
Колосья смотрят на звезды
и тускло светятся сами.
Уходит закат в потемки,
в курящийся росный ладан.

Рассыпав янтарные четки,
уходит, никем не разгадан.



Запоздалые стихи

Закат и грай вороний,
и реки все бездонней.

Смотрю, как под седою
плакучей ивой дыма,
отражена водою,
вся жизнь проходит мимо.

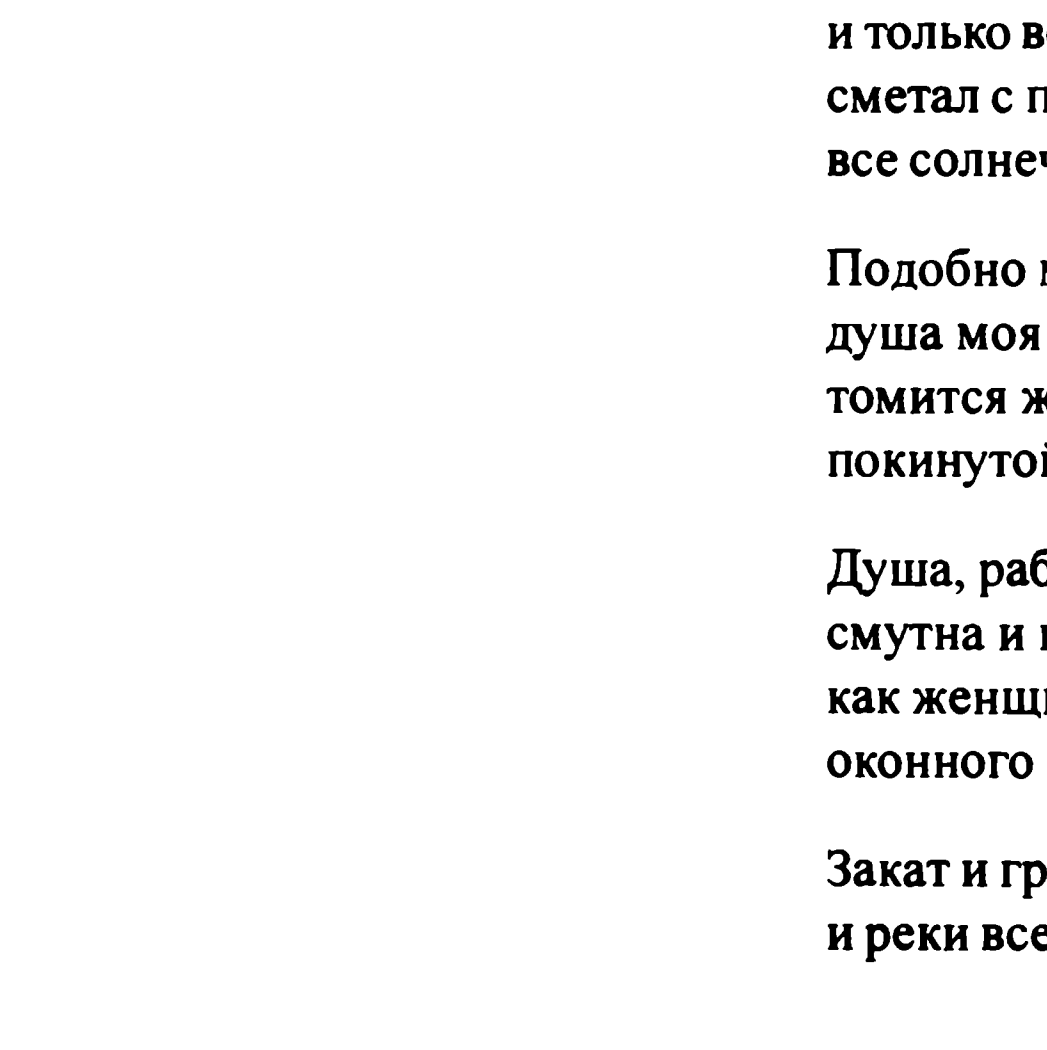
И вижу, что доселе
в любви или печали
мне соловьи не пели
и флейты не звучали.

Смыкалась ночь сурово,
и только ветер дикий
сметал с пережитого
все солнечные блики.

Подобно мертвым рекам,
душа моя поныне
томится жгучим эхом
покинутой пустыни.

Душа, рабыня яви,
смутна и незнакома,
как женщина в оправе
оконного проема.

Закат и грай вороний,
и реки все бездонней.



Горизонт

Тусклое солнце
село в зеленый туман.

Смутно и сонно.
Спят и баркас, и лиман.

Грусть однозвучным бренчаньем
будит отара овец.

Где оно,
прежнее сердце мое,
серебряный бубенец?

Цвета

У луны над Парижем
цвет фиалок и грусти.
Он желтеет над мертвой
стариной захолустной.

Он зеленый в легендах,
где померкшая слава
заросла паутиной
по углам архитрава.

А луна над пустыней
глубока и кровава.

Но правдив ее облик,
просто белый и стылый,
лишь на сельском погосте
над забытой могилой.

Призраки

В ночи, объятой сном,
рыбачат привиденья
на озере лесном.

Из повести старинной,
безлунной и пустынной,

они толпой видений
пришли и ловят тени.

Но силятся в сети́
сердца свои найти.

И, прошлое тревожа,
ищу я сердце тоже,

но нет его нигде.
Уплыло, потонуло
в беспамятной воде.

Memento

Когда умираем,
уносим с собою
не просто небесную просинь,
а розовое,
голубое,
цветное.

Рассветное небо
и небо ночное.

А мне говорили,
что мертвые
помнят лишь это —
спаленное вихрями
небо нещадного лета,
недоброе небо
и черного цвета.

Сумерки

Поздний час.
Тишина степная.

Козодои летят,
стеная.

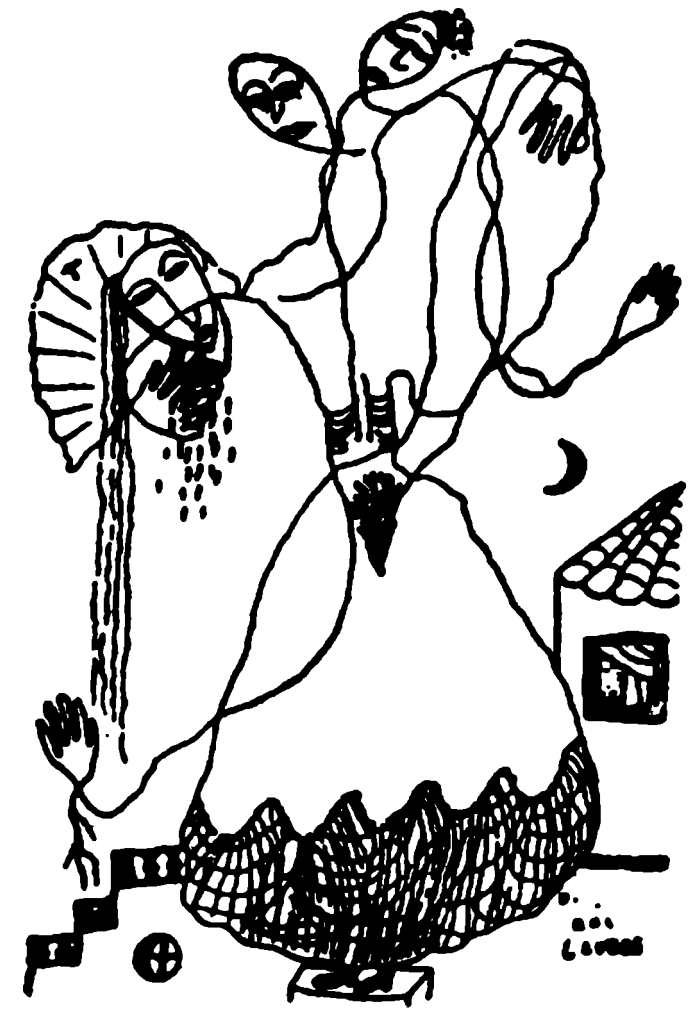
Бредят дали,
грустит округа.

Мир распахнут,
как руки друга.

Танец

Танцуй перед народом
с собой наедине.

Ведь танец идет по водам.
И не горит
в огне.



***

Без глаз моих
ты, бедная душа,
не разглядишь, как хороша луна.

Без губ моих
тебе, моя душа,
не знать ни поцелуя, ни вина.

Без сердца моего
и ты мертва.
К чему вся глубина твоих зеркал,
когда умрут слова?

Закат

По краю небосвода
крадется непогода.

Как сизые верблюды
бегут по небу клочья.
Закат, повитый тьмою,
грозит недоброй ночью.

Сошла тоска по крыльям
на горные отроги.
Глухая будет полночь —
ни друга, ни дороги.

Стихи из трагедии «КРОВАВАЯ СВАДЬБА» (1933)

Колыбельная

Баю-баю, милый,
в песенке поется
и вода струится,
а коню не пьется.
Та вода ночная,
темень гробовая,
под мостом чернеет,
песню запевая.
Что она укрыла,
смыла по дороге,
замела подолом
у себя в чертоге?

Спи, дитя.
Коню не до питья.
Спи, родной.
Заплакал вороной.

Леденела грива,
кровь ручьем бежала,
в конском оке стыло
серебро кинжала.
Быстрину подковы
раскололи с ходу.
Но потоки крови
обгоняли воду.

Спи, сынок.
Вода коню не впрок.
Спи, родной.
Заплакал вороной.

Он к речной прохладе
жарких губ не тянет.
Все зовет кого-то,
лишь на горы глянет.
И тревожит горы
жалоба глухая,
мертвою рекою
в горле затихая.
Ах, коню не пьется
в луговом затоне!
О снега печалей,
зоревые кони!

Уходи! Задерни
переплет оконный
зеленью дремотной,
дремою зеленой.
Приутих мой милый.

Приумолк мой сонный.
Есть у нас подушка,
чтобы спали сладко.
Простыня льняная,
медная кроватка.
Баю-бай, сыночек.

А коню не пьется,
конь воды не хочет!
Возвращайся в горы,
где твой след пылится,
где в лощине серой
встретит кобылица!
Спит мой ненаглядный.
Сладко ему спится.
Баю-бай, сыночек!

А коню не пьется,
конь воды не хочет!
Возвращайся в горы,
не томись в загоне!
О, снега печалей,
зоревые кони!

Спи, дитя.
Коню не до питья.
Спи, родной.
Заплакал вороной.

Песни дровосеков

1

Месяц на восходе,
над долиной!
Остуди ты кровь росой жасминной!

Месяц одинокий,
свет небесный
на серебряном лице невесты!

Ай, незваный месяц, напоследок
приюти любовь под тенью веток!

Ай, недобрый месяц, в утешенье
не лишай любовь последней тени!

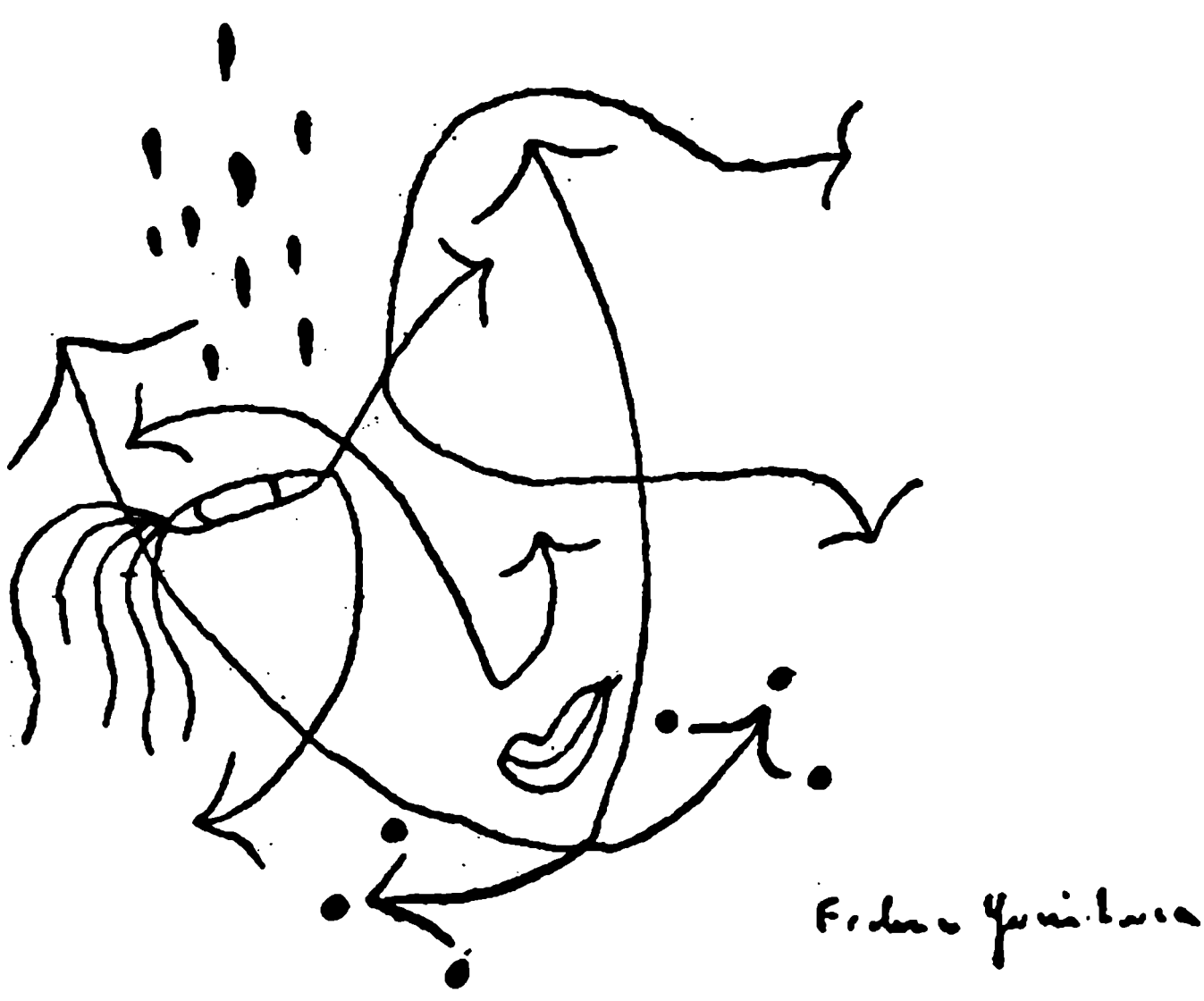
2

Смерть, ты здесь,
ты вечно наготове!
Не пои песок ручьями крови!

Смерть,
сухие листья, злые вести!
Не сплетай венок из них невесте!

Смерть, я знаю — ты несправедлива,
но оставь зеленой ветку ивы!

Злая смерть, любви неутоленной
ветку ивы ты оставь зеленой!



Монолог Месяца

Я зрачок колокольни,
зоркий лебедь в затоне,
призрак утра в деревьях.
Не уйти от погони!
Кто укрылся? Кто плачет
в остролистах колючих?
Лунный свет, я бросаю
нож, отточенный лучик,
и тоскует по крови
мой свинцовый лазутчик.
Отогрейте! Я дрогну
среди стекол и камня!
Дверь и душу откройте,
дайте каплю тепла мне!
Замерзаю! Мой пепел,
прах усопшего тленья,
у костра не согреют
ни леса, ни селенья.
Только яшмою снега
леденит бездорожье,
да стоячие воды —
мое смертное ложе.
Но сегодня от крови
оживут мои щеки
и подмятые ветром
камыши у протоки.
Ни укрытья, ни тени.
Не уйти от погони!
Я войду прямо в сердце
и согрею ладони.
Сердца, жаркого сердца!
В его смертном ожоге
мои недра оттают.
Я заждался! С дороги!
Я проникну! Ни тени
не останется где-то.
Зашумят перелески
отголосками света.
Этой ночью от крови
оживут мои щеки
и подмятые ветром
камыши у протоки.
Кто укрылся? Напрасно!
Не уйти от погони!
Лунной дрожью алмазной
обозначатся кони.

Песня прядильщиц

Мой клубок, клубок,
что сулит нам бог?

Белизну наряда,
мишуру тесьмы.
К четырем родиться,
умереть к восьми.
И сплести тенета
для девичьих ног,
а для горьких лавров —
гибельный вьюнок.

Был ли кто на свадьбе?
Мне не довелось.
Что же там такое
ввечеру стряслось?
Ни гостей оттуда,
ни известий нет.

Мой клубок, клубочек,
что шепнешь в ответ?

Восковые раны
и печаль ракит.
Не разбудит утро.
Ночь не усыпит.

Зацепилась нитка
и бежит опять,
голубые горы
помогли бежать,
догнала, настигла,
слишком невтерпеж.
И лишила хлеба.
И вложила нож.

Мой клубок, клубочек,
что же ты притих?

На косе песчаной,
где свело двоих,
неподвижный всадник,
восковой жених.

Ближе, ближе, ближе
юркая игла.
Грязь береговая
раны залила.

Мраморные складки.
Мертвые тела.

Перевод А. ГЕЛЕСКУЛА

Предисловие к множеству книг

Сумерки отзываются в нас эхом сентиментальной баллады. На горизонте дрожит вечерняя звезда, и под ее теплой лаской загораются наши собственные звезды. Свой путь, долгий или краткий, мы обречены пройти. И невесело думать о жизни, которая достигнет перевала и сойдет в гиблую осень умирать.

Книга сумерек пьянит печалью своих страниц, и читаются они с тихой тревогой. Цветут маки. Откликнись же этой улыбке полей!.. И такой ласковой луне!.. Но ты уходишь в себя — иначе говоря, на свой лад перелагаешь ту гениальную книгу, что шелестит перед глазами... и задумываешься. Какие щемящие думы! Брезжат и расплываются миражи грядущего, и хочется растаять в перламутровой синеве горизонта. Они уплывают, чудесные видения плоти и духа, а все, что ты можешь, — это молчать и мучиться, глуша в себе самое искреннее.

Поэт — существо, обязанное быть искренним, — в душе замалчивает то, что способно взорвать ему сердце. На сцене пляшет тень, оплакивая все — горестное и радостное. Радость, честно говоря, призрачна, потому что в глубине сердец почти всегда ютится неизбывная печаль, растворенная в мироздании печаль печалей — боль существования. Это она велит поэту летними вечерами, сострадая луне и розам, оплакивать сумерки. И это единственный способ молиться по-настоящему.

1918 г.

© Н. Малиновская. Перевод, 1998

Комментарии к Омару Хайяму

Вчера в мои глаза хлынуло солнце. И я задумался о сиюминутном. Прошлое — царство смерти. Будущее? Ах, будущее... Любовь и скорбь в зеркале небытия. Вслушайтесь в голос Исайи, в его божественно-медовые утешения. Лев будет жевать солому, как мул, а волк возлюбит ягненка. Но жизнь — это сейчас. Так ли уж важно для нас то, что придет? Когда мы горюем? Сейчас. Когда радуемся? Сейчас. Когда умираем? Сейчас. Далекий и дивный Хайям, мечтавший жемчугом раствориться в вине своего духа! Загадочный заклинатель неразрешимого, пленительных и скорбных парадоксов! Что искал ты в вине? В какие глубины оно тебя погружало? Несомненно, твой пантеизм возник из непрерывного созерцания мира. Все в мире способно волновать, потому что все одушевлено. В благородных оттенках вина живет душа правды и любви. Вино расцвечивает черноту ночи. Смутный мистик Омар проник в тайны вина как никто другой, он сумел увидеть красоту опьянения... и приукрасил ее. На зеленой траве пейте рубиновые вина, поднесенные возлюбленной. А сам говорит, что думал о небесах.

Когда великая душа — понятие в наши дни непривычное — спускается в низины плоти, она и там видит духовное начало; когда пьянит вино, в душе вспыхивает любовь, безмерная любовь ни к кому и ко всему. И человек в эту минуту прекрасен. Красота ведь минутна. Вино, переполнив сердца, играет всеми оттенками чувств и раскрывает самый, наверно, точный смысл нашего существования. Любовь. Только любовь. Вне жизненных установок. Так ли уж важно, что есть люди, которые обещают нам вечные муки, в придачу к невечной муке, именуемой жизнью? Так ли уж важно, что нас попирают догмы? Сумей мы заглянуть в душу, все мы полюбили бы друг друга. Но существуют доктрины, человек с колыбели вписывается в какую-то из них, и большинство следует им до самой смерти и отстаивает то, о чем едва ли имеет понятие. Что истинно? Что таит пресловутое пламя веры? И рождаются раздор, ненависть и смерть. И одни истребляют других вопреки своим верованиям. Если бы в ночном бреду внутренний голос крикнул им: «Зачем?!» Зачем мука вечности после такой лавины страданий? Омар из Нишапура, ты видел, как враждуют люди, цепляясь за свое вчера или завтра, и провозгласил сегодня. Ты смотрел на мир, погрязший в смутах, и говорил: «Сегодня, сейчас! Дайте мне вина и губы любимой. Розы — цветы цветов, в них вино аромата. Сегодня, сейчас! Близится ночь, но я освещаю путь огнем вина и страсти». Сегодня, сейчас. Ты пришел постичь их затуманенную правду. А как же иначе, провидец рубиновой влаги? Сейчас — это и есть жизнь. Сегодня длится годами. Вчера — умершее сегодня, завтра — не рожденное. Любой наш день — это всегда сегодня.

Древний перс, озаренный луной! Ты ли не видишь, что мы, люди, не можем представить себе вечность? Когда мы думаем о нетленной душе, нам рисуется ее вечное сегодня. Когда тоскуем о бессмертии, мы хотим остановить то мгновение, которое заронило в нас эту тоску. Единственное, что в нас бесценно, — это воображение, оно-то и утешает нас образом вечного сегодня. Человек — всегда сейчас и здесь. Виночерпий тихих радостей, в вине ты распознал сиюминутность любви и туман настигающей ночи. Ты вдыхал запах облаков и видел орды проповедников. И ты распахнул золотую дверь своего бесконечного сегодня, вернув вину его подлинный смысл.

Твоему народу, такому одаренному и с таким пламенным воображением, запрещен губительный напиток. Пророк умел читать в ваших сердцах. И, придумав вечное блаженство плоти, чтобы вы возлюбили ее превыше всего, он проклял вино, чтобы вы его возненавидели. Он знал, что вино — великий разрушитель религиозных доктрин и глубже проникает в душу, особенно в такую страстную, пламенную и безудержную, как ваша. Разумеется, имелось в виду духовное воздействие вина, о телесном не стоило и говорить.

Бодлер называет вино вторым детищем Солнца. Ты, Омар, называешь его первым и единственным. Поэты хвалят вино из любви к вину. Ты — из любви к себе... именно так, и ты сам признаешь это в своих жалобах. Фанатичный сброд поносил тебя, а ты в пылу пирушки плакал и повторял: «Чем я виноват?» В том-то и беда. «Чем я виноват?» — вос-

клицают донкихоты, блуждая по дорогам без подвигов и приключений, потому что всеобщее презрение лишило их этой возможности. «Чем я виноват?» — кричат калеки с увечным телом и неискалеченной душой. «Чем я виноват?» — доносится слитным воем изо всех тюремных окон. «Чем я виноват?» — вздыхают полоумные и кретины. «Чем мы виноваты?» — стонут разоренные народы. Где-то интригуют, доктринерствуют, лицемерят, а ты, Омар Хайям, изгой спиритуализма, наполняешь чашу — и вступаешь в горний мир. Древний перс, озаренный луной, в глубине души мы хотели бы следовать тебе... Но, придавленные жизнью, приниженные ее нелепостями, мы продолжаем плестись ее изнурительными дорогами.

Ты был милосерден к таким, как мы, милосерден настолько, что считал себя одним из них, бессильных разорвать порочный круг.

У человечества скверная привычка смотреть на дела великих людей свысока. Можешь сам в этом убедиться после того, как тебя перестали чернить. Конечно, века смыли пятна, но и человечество стало другим, не связанным узами крови с ушедшими поколениями. Персонажи, окружавшие Дон Кихота, снисходили к нему, сочувствуя свысока. И то же самое было с Гамлетом и Вертером.

Великое мгновенно разверзает в нас бездну недоумения и непонимания...

Ты расплескал по земле вино, чтобы утолить тоску влюбленных, давно ушедших и развеянных пылью. Невиданные цветы, дворцы, краски твоей земли и ее вино угасли в самом расцвете...

Ты воскрешаешь незапамятные сады и смутные краски. Твои слова отзываются странно и благотворно. Как сказал бы Рубен, ты избранный поэт. Ты вне сравнений, потому что никогда не пел в хоре и не подпевал ему.

Абу-Абд-Алаб

1917 г.

Из советов поэту

Между стихотворением и деревом та же разница, что между ручьем и взглядом.

Ни мыльных пузырей, ни свинцовых пуль. Настоящее стихотворение должно быть незримым.

Учись у родника, который лихорадит ночные сады, и никто не знает, когда он смеется и когда плачет, когда начинается и когда кончится.

На перекрестках пой вертикально.

Не лишай стихи тумана — иной раз он убережет от сухости, став дождем.

Строение и звучание слова так же таинственны, как его смысл.

Никогда ничего не объясняй и не стыдись равного трепета перед бабочкой и бегемотом.

Твой рацион: на севере — вино и звезды, на юге — хлеб и дождь.

Встречая слово «нет», пиши сверху «да», а натыкаясь на «да», сразу зачеркивай.

Учти и помни, что лягушка строго критикует бредовый полет ласточки.

Когда начинается «ты слазь, а я сяду» — ломай стул и в эти игры не играй.

Не забывай и на пределе счастья или страха прочесть на ночь «Отче наш».

В неприкаянной смуте предвечерья, когда люди вздыхают, а у деревьев голова раскалывается от птиц, выключи сердце и примерься к широким веслам заката.

Если море тебя печалит, ты безнадежен.

1924 г.

Набросок

Пространство, в котором поэзия движется и живет, дальнее или ближайшее, создано четырьмя стихиями — землей, воздухом, огнем и водой. С них начинаются бесконечные ступени и градации, приводящие к числам, луне, к пустынному небу или к иллюзорному царству света. Четыре разных и враждебных мира. Четыре целостных эстетики, одинаково совершенных и непримиримых. Можно делить поэтов по тому природному началу, которое они любят или предпочитают, и можно оценивать их по той властности, с которой они выражают это начало, или, как ныряльщиков, по глубине погружения в него. Сведите в поединке стихию и поэта и приглядитесь к напряженной борьбе того, что вне человеческих мерок, с воплощением ритмов и меры, средоточием любви. Стихия стремится растворить, усыпить и ограничить, обмануть видимостью границ, которых у нее нет. Поэт стремится сфокусировать, внедрить и утвердить законы, которые позже могут стать истинами, когда побежденная стихия будет лизать ему руки языками огня, воздуха, воды или камня. Поэт изо дня в день ведет такую же борьбу с природой, какую из века в век вели и ведут народы. Стихия остается неуязвимо бесстрастной, обнажая свои красоты и тайны с невинным бесстыдством, присущим всему бескровному.

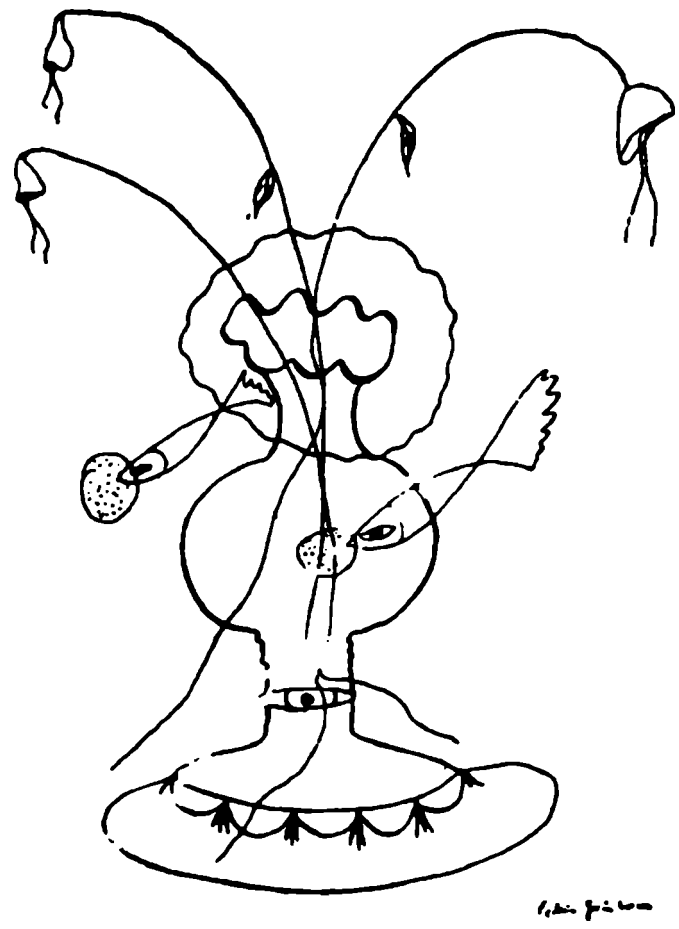
Поэт, чье воображение ограничено физическими возможностями, единственно в силу любви, вынужден дробить, калечить и подчинять окружающую красоту, давая ей свое истолкование или, другими словами, проецируя на нее себя.

Что говорить, нет охотников заглядывать в пучину. Ребенок хочет омочить ноги, а наутро море выносит его труп. Люди умудренные сторонятся моря, а немудреные бегут от него, пока не затихнет гул прибоя. Но поэт погружается по грудь и всю ночь борется с волнами, а наутро ему открывается, что море — огромный конь. Всякий, кто захочет, увидит это, взглянув на арену борьбы. И добавлю — увидит верно. Все, что кажется невозможным, становится возможным в силу необходимости, той жажды гармонии, без которых мертвы разум и дух человека. Сиюминутный вымысел может со временем стать нормой, мгновенная искра — каменным изваянием.

Человек не находил себе покоя, пока ранние мифы не обрели завершенную форму, пока черепашья кожа и слоновый торс архаического Аполлона не стали чистой, молодой плотью, подарившей свою свежесть греческому лавру. И точно так же, придумав парус, он не бороздил моря, пока не пришел поэт и не разукрасил, не населил их немыслимыми существами, наделив кровью и плотью все, что правит волнами.

Достаточно сказать правду, сорвав с нее маску и ранив ее в самое сердце, как тут же она обретает в наших глазах плоть и жизнь. Потому что не истины за нами, а мы за ними охотимся и нам с ними мериться силой.

1929 г.



Выступление по аргентинскому радио

Дорогие радиослушатели!

Расцвеченное багрянцем и шелестящее сухим золотом лето заполонило испанские горы и долы. Жгучий воздух, которого сторонился Сан Хуан де ла Крус[1], оберегая чеканные цветы своих песен, воздух — цитируя Гонгору[2] — как тысячеустый выдох, воздух, исторгнутый бескрайней песчаной грудью, поросшей колючками, стелется раскаленным маревом от неприступных утесов Панкорбо до белостенного Кадиса, смутившего сны молодого Байрона. На севере изредка моросит. Волны отливают тусклым серебром Англии. Но и там знойно. Среди влажной зелени, которая силится стать европейской и не может, — смуглая башня, броские бедра девушки, ссоры, стычки и прочие приметы нашей испанской самобытности.

Когда я думаю сейчас об Аргентине, этой растянутой антологии климатических зон, она видится мне гигантской женской фигурой, аллегорической, лубочной и ласковой, чей лоб увенчан ветвями и змеями Чако, а ноги погружены в голубые снега Юга. Куда ни глянь, повсюду то дремотный глаз коня, высвеченный грустной степной луной, то рассветная скачка в море конских грив или овечьего руна.

Ржанье, мычанье и блеянье задумчиво перекликаются под неистощимым рогом изобилия, из которого льется на вас дождь колосьев.

Старик скажет, что пампа подобна сну, мальчишка воскликнет, что это самолучшее футбольное поле, а поэт, чтобы лучше увидеть ее, взглянет на небо.

Если и вы задумались об Испании, проделайте то же, что я проделал с вашей страной, — вспомните, как она выглядит на карте. Любой ребенок знает, что Франция похожа на кофейник, а Италия — на сапог, что Индия слоновьим хоботом мягко трогает Цейлон, что Швеция и Норвегия — две кудлатые собачки в ледяном море, а Исландия — цветок розы на щеке глобуса. И если не дети, неспособные это представить, то мы, взрослые, знаем, поскольку нам объяснили, что Испания похожа на растянутую шкуру быка. Не на анаконду, как Чили, а на шкуру животного, и животного священного. Эта причуда географического символа отражает самое глубинное, яркое и цельное в испанском характере.

В разгар иберийского лета возникает черный силуэт, завершенный, стремительный и полный такой страсти, что все содрогается и выглядит малокровным, красивый силуэт в безудержном порыве, вселяющий уважение, страх и, как ни странно, безотчетную радость при одном только взгляде на гордый лоб, «вооруженный полумесяцем», по выражению Гонгоры, — двумя острыми рогами, средоточием его силы и разума.

В разгар иберийского лета неистовое мычание доводит до слез грудных детей и взламывает двери лачуг, сбегающих к Тормесу или Гвадалквивиру. Не из стойла исходит это мычание, не из соломенной дремы закута, не с гулкой от телег дороги и не из захолустного ада скотобоен, зловонных от непрерывного кровопролития. Этот рев вылетает из цирка и рассекает небо, сопровождаемый градом человеческих голосов.

Этот кровоточащий рев доносится с неистовых арен и знаменует тысячелетний обряд причащения, тайную жертву тартесской[3] Венере, божественной матери всех коров, царице наших пастбищ, которая старше стен Иерусалима и Рима и ныне изгнана цивилизацией на безлюдные отмели Уэльвы.

В разгар иберийского лета расцветают арены, то есть алтари. Человек приносит в жертву боевого быка, сына кроткой коровы, утренней богини росы. Вечно обескровленная мать, небесная корова требует также человеческой жертвы и, конечно, получает ее. Ежегодно гибнут лучшие тореро, растерзанные заостренными рогами быка, который в одно жуткое мгновенье из жертвы превращается в жреца. Кажется, что бык по какому-то

---

[1] Сан Хуан де ла Крус (1542—1592) — испанский поэт-мистик; канонизирован католической церковью.

[2] Луис де Гонгора-и-Арготе (1561—1627) — испанский поэт.

[3] Тартесс — древнее название Андалузии.

инстинкту или неведомому закону выбирает самого доблестного тореро, как некогда критяне для своей тавромахии выбирали самую чистую и прелестную девушку.

От Пепе-Ильо[1] до незабвенного моего Игнасио Санчеса Мехиаса[2], включая Эспартеро[3], Антонио Монтеса[4] и Хоселито[5], тянется вереница смертников, испанцев, принесенных в жертву темному ритуалу, который вряд ли кому понятен, но подобно вечному огню, залогу благородства, щедрости и бескорыстной отваги, не дает душе народа остыть. Какая-то властная сила сводит испанца с быком, сила для него самого безотчетная, даже неощутимая, и в этом слепом, безрассудном порыве участвуют мертвые, навсегда пригвожденные к своим лунным барьерам.

Говорят, что тореро выходит на арену ради денег, престижа, аплодисментов и славы. Это неправда. Тореро выходит на арену, чтобы сойтись один на один с быком, которого он боится и любит и с которым ему есть чем поделиться. Аплодисменты его радуют и ободряют, но доносятся словно из другого мира. Он действительно другой, этот абстрактный мир, созданный пришедшими на бой быков — единственной на свете публикой, состоящей не из зрителей, но из актеров. Каждый встречает быка вместе с тореро, но не следуя взмахам его плаща, а пуская в ход свой воображаемый плащ и свои приемы, иные, чем те, что он видит.

Словом, тореро — это форма, которая вмещает и утоляет тысячеликую жажду, и бык — единственный настоящий актер, истинный премьер и герой драмы.

Жажда помериться силами с быком терзает мальчишек, как дикая кошка, задолго до того, как они поймут, что это высокое искусство и есть у него свои гении, эпохи и школы. Этой жаждой, знакомой всем испанцам испокон веков, и держится праздник. Это она превращает публику в актеров и ставит вровень с искушенным тореро, это благодаря ей никому не кажется чудом немыслимое зрелище — вероника[6] в стиле Бельмонте[7] и, над той же бычьей головой, факел, некогда зажженный Рафаэлем Эль Гальо[8].

Среди простонародья эта жажда схлестнуться с быком бывает у молодежи такой нестерпимой, что ей предпочитают смерть. Нередко юноши, перемахнув барьер, бросаются на арену с красной тряпицей и тростинкой вместо шпаги, как настоящие смертники, чтобы сделать перед быком несколько пируэтов, исход которых печален. Другие, сбросив одежду, переплывают реку и на выгоне состязаются с быком голыми при свете луны, рискуя беззащитным телом. Третьи затевают немыслимые одиссеи по горам и долам с неутолимой жаждой красиво умереть и сказочной надеждой склонить голову зверя к своим юным ногам избранников судьбы. Недавно один парень сказал мне, что хочет посвятить себя бою быков: «Вчера я был один в поле, и вдруг мне так захотелось этого, что я заплакал».

Башня Саламанки, Fortis salamantina, отраженная в зеркале Тормеса, и севильская Хиральда[9], разукрашенная, как праздничная сбруя, башня, омытая Гвадалквивиром, — это два минарета, венчающих испанский культ быка. Конечно, все идет с юга: тореадорские марши, пасадобли — андалузцы по крови, и все богатства тавромахии, все накопленное, течет с перевалов Сьерра-Морены и растекается дальше на север. Но сейчас и

---

[1] Пепе-Ильо (Хосе Герра Дельгадо, 1754—1801) — испанский тореро; ему приписывают сочинение «Тавромахия». Стал героем народного романса. О нем упоминает В. П. Боткин в «Письмах об Испании» (Ленинград, 1976, с. 65).

[2] Игнасио Санчес Мехиас (1887—1934) — испанский тореро, после долгого перерыва вернулся на арену и вскоре погиб. На его смерть Лорка написал «Плач по Игнасио Санчесу Мехиасу».

[3] Эспартеро (настоящее имя Мануэль Гарсиа Куэста) — легендарный тореро, еще при жизни стал героем народных романсов. Погиб в Мадриде в 1894 г.

[4] Антонио Монтес Вико — тореро, погиб в Мексике в 1907 г.

[5] Хоселито (настоящее имя Хосе Гомес Ортега, 1895—1920) — испанский тореро из цыганского рода.

[6] Вероника, факел — тореадорские приемы при работе с плащом.

[7] Хуан Бельмонте-и-Гарсиа (1892—1962) — испанский тореро, выступал с 1913 по 1935 г.

[8] Рафаэль Эль Гальо (настоящее имя Рафаэль Гомес Ортега, 1882—1960) — испанский тореро из цыганского рода, брат Хоселито.

[9] Хиральда — символ Севильи, почти стометровая арабская башня, украшенная орнаментами, сначала минарет Большой мечети, затем христианская колокольня.

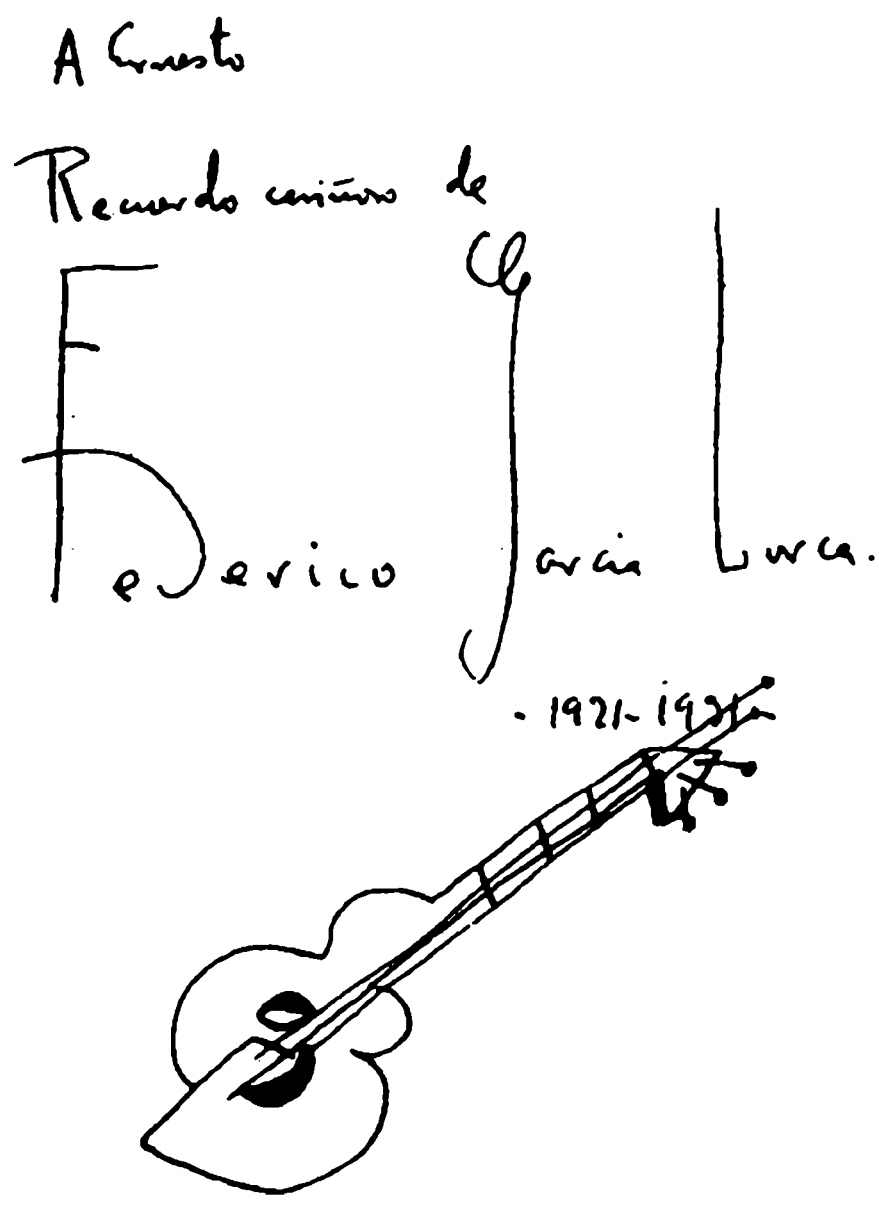
золотая Кастилия в лице Саламанки обзавелась отменными пастбищами и благородными быками, напористыми и неукротимыми. Боевого быка способна вскормить лишь чудотворная трава в низовьях Гвадалквивира, взрастившего Эрреру[1] и Гонгору, и в долине Тормеса, реки Луиса де Леона[2] и Лопе де Веги. Это дикий зверь, не пригодный для крестьянских работ, и, перенесенный в мягкую, мирную Галисию, он в первом же колене вырождается в работящего вола.

Вокруг этих именитых башен, обелисков саламанкской теологии и севильской песни, разворачивается драма страстей, о которых я говорил, и сейчас, в летнем багрянце и шелесте сухого золота, она сотрясает горы и долы Испании. От колоколов Саламанки, омытых университетской культурой Возрождения, до колоколов Севильи, осеребренных средневековым Востоком, тянется ожерелье ран, чертит зигзаги золото позументов, плещут бумажными лентами бандерильи, и гигантский черный бык, воспетый покойным Фернандо Вильялоном[3], сказочный бык тьмы захлопывает своим ревом двери лачуг и будит фанфары смерти в сердцах парней, в тех бедняцких сердцах, которые так страстно его жаждут.

В разгар иберийского лета, предвкушая вечно новый бой быков, я прощаюсь со всеми, кто сейчас меня слушает, обласканный туманами Ла-Платы.

Август 1935 г.

Перевод Н. МАЛИНОВСКОЙ



[1] Фернандо де Эррера (1534—1597) — испанский поэт.
[2] Луис де Леон (1527—1591) — испанский гуманист, поэт-мистик, профессор богословия Саламанкского университета.
[3] Фернандо Вильялон Даоис-и-Алькон, граф Мирафлорес де лос Анхелес (1881—1930) — испанский поэт.

ЖОЗЕ САРАМАГО

Евангелие от Иисуса

РОМАН

Перевод с португальского А. БОГДАНОВСКОГО

Как же это я пойду на таких ногах, думал Иисус, глядя вслед удалявшемуся Пастырю. Господь, с такой безупречной чистотой проведший исчезновение овцы, не одарил его благодатью своего божественного плевка, и из облака не вылетела слюна, которой Иисус мог бы смазать и исцелить свои раны, откуда продолжала, блестя на камнях, течь кровь. Нечего было ждать содействия и от Пастыря — тот бросил слова осуждения и ушел прочь, как тот, кто не сомневается, что приговор будет исполнен, и не желает присутствовать при сборах в дорогу, а уж тем паче — прощаться. Иисус на четвереньках дополз до места их недавней стоянки, где на каждом шагу виднелись приметы этого царства скотины — разбросаны были подойники и прочая пастушеская утварь, грудами лежали еще не выдубленные и не выделанные овечьи и козьи шкуры, в обмен на которые они с Пастырем, если бы только захотели, могли бы получать все, что нужно для жизни, — плащ, одеяло, хитон, любую еду. Подумал Иисус, что они, былые питомцы его, не взыщут на него, если он сам себе заплатит жалованье — обмотает ноги овечьими шкурами, смастерив из них некое подобие башмаков, а сверху прихватит их и перевяжет крест-накрест жгутами из шкуры козьей: мех на ней куда более редкий, и потому управляться с нею проще и легче. Тут он задумался, как лучше — мехом внутрь или наружу, и решил, что ноги его в столь плачевном состоянии, что прикосновения кожи не выдержат, а потому пусть будут у него калиги на меховой подкладке. Плохо, конечно, что мех сейчас же прилип к содранным до живого мяса ногам, но раз уж он все равно решил идти берегом Иордана, то, как станет невтерпеж, достаточно будет опустить обутые ноги в воду: сапожищи и сами по себе тяжелы, да еще пропитаются, набухнут водой, и это поможет израненным ступням отклеиться от ворсистого меха, избавиться от спасительных корок, уже запекшихся на ссадинах и порезах. По яркому цвету поплывшей вниз кровавой струйки можно судить, что раны, как это ни странно, еще не гноятся. Иисус продвигался к северу медленно, потому что устраивал себе частые привалы — садился на берегу, свесив ноги в воду, наслаждался ее прохладой и целебными свойствами. Но саднили не только ноги — болела и душа: как же это так выгнал его Пастырь после того, как произошла его встреча с Богом, встреча в полном смысле слова неслыханная, ибо, сколько ему известно, нет во всем Израиле человека, который мог бы похвастаться, что видел Бога и остался после этого жив. «Видел»-то, впрочем, это громко сказано, но сами посудите: если в пустыне является нам не то облако, не то столб дыма и говорит: Я — Бог, да и потом ведет какой-никакой разговор, и ведет его не только последовательно и внятно, но с такой совершенно божеской, не терпящей возражений и пререканий властностью, что малейшее сомнение в небесном происхождении нашего собеседника покажется богохульством. И кто, кроме Бога, мог бы ответить на вопрос о Пастыре с таким одновременно и небрежным, и сведущим видом, показавшим, что он, хоть малость и презирает его, знаком с ним, однако же, хорошо, можно сказать — близко знаком, что еще больше подтвердил своим отказом ответить все-таки, кто он такой — ангел ли, демон? А самое интересное то, что сам Пастырь своими сухими, вроде бы не имеющими к такому событию отношения словами подтвердил истинность этой сверхъестественной встречи: «Я тебя не спрашиваю, встретил ли ты Бога», промолвил он брюзгливо и не выказав ни

Окончание. Начало см. в №5, 1998.

© Editorial Caminho, 1991
© А. Богдановский. Перевод, 1998

малейшего удивления, словно заранее знал об этой встрече. Но главное, он не простил Иисусу гибели овечки — чем иным можно объяснить последние слова его: «Ты ничему не научился, уходи», с которыми, демонстративно, как мы бы сейчас сказали, поднялся и удалился к стаду и стоял там спиной к Иисусу, покуда тот не ушел. И теперь, когда Иисус изощрял свое воображение в тщетных попытках догадаться, чего потребует от него Бог в их следующую встречу, слова Пастыря «Ты ничему не научился» звучали у него в ушах отчетливо и ясно, будто он по-прежнему стоял рядом, и в это мгновение тоска одиночества, разлуки, утраты охватила его с такой силой, что сердце защемило. Он сидел на берегу Иордана, опустив ноги в воду, и глядел, как расплывается по прозрачной глади тоненькая кровяная струйка из рассеченной лодыжки, и внезапно почувствовал, что ни кровь эта, ни собственные его ноги больше не принадлежат ему: это отец его приковылял сюда остудить водой иорданской прободенные щиколотки и сказал ему то же, что и Пастырь: Начинай все сначала, ты ничему не научился. Иисус, словно вытягивая на берег звено за звеном тяжелую и длинную железную цепь, стал вспоминать всю свою жизнь — и таинственно поданную весть о его зачатии, и светящуюся землю, и рождение в пещере, и гибель младенцев вифлеемских, и отца, распятого на кресте, и наследство кошмарных снов, и бегство из дому, и спор во Храме, и свидетельство Саломеи, и появление в пещере того, кто назвал себя Пастырем, и пастушье житье, и спасенного ягненка, а потом — пустыня, убитая овца, Бог. И это последнее слово оказалось уже чересчур — далее думать о нем Иисус не смог, и мысли его приняли иной оборот: почему ягненок избежал смерти, а овца — нет? Глупый вопрос, не правда ли, но чтобы вникнуть получше, скажем то же, но иначе: спасенный спасен не навсегда, а обреченный — обречен окончательно. Вот он и вытянул на иорданский берег последнее звено под заунывную песенку, что распевала невидимая ему, скрытая в тростнике женщина — то ли стирает она там, то ли купается, — а Иисус хочет осознать, что все это — одно и то же: живой ягненок, превратившийся в мертвую овцу, ноги его, обагренные кровью отца, и эта женщина, что напевает, раскинувшись в чуть колеблющейся от легкого ветра воде, уставя в небо тугие торчащие груди и черный треугольник внизу живота, — нет, Иисусу еще ни разу в жизни до сегодняшнего дня не доводилось видеть такого, но ему ли, человеку, который, едва отойдя от какого-то дымного столба, тотчас принимается соображать, что им с Богом делать в следующую встречу, ему ли не понимать, что прелести — да, пожалуй, это слово здесь уместно, — что сокровенные прелести женщины не могут быть ни воображены, ни навеяны песенкой, которую эта женщина напевает, тем более что нам неведомо, к кому обращены слова ее. А Иосифа уже нет здесь, он вернулся в братскую могилу под Сепфорисом, и от Пастыря хоть бы кончик посоха остался на виду, ну а Бог, если он и вправду вездесущ, решил на этот раз явиться рабу своему не столпом облачным, а воплотиться в неспешно текущую воду, в ту самую воду, которая омывает тело женщины. А тело Иисуса дает себя знать — и между ног у него происходит то же, что у всех самцов, людей и зверей, плоть набухает, восстает, наливается кровью, ринувшейся туда со всего тела так стремительно, что даже нечему стало сочиться из порезов и ссадин. Господи, сколь крепка эта плоть, но Иисус не отправился на поиски женщины и оттолкнул от себя руки жестокого плотского искушения, шепнувшего: «Ты — никто, если сам себя не любишь; ты не постигнешь Бога, пока не постигнешь собственное тело». И кто шептал эти слова — неизвестно, но уж точно не Бог, не на его четках эти зерна, а вот с Пастыря бы сталось их произнести, не будь он так далеко отсюда, и, быть может, слова эти выпевала женщина в тростнике, и Иисус подумал, как было бы приятно попросить ее — пусть объяснит их смысл и значение, но голос стих: то ли течение отнесло женщину ниже, то ли она просто выбралась на берег, чтобы обсушить тело, спрятать его под одеждой, то есть заставить замолчать. Иисус же вбил ноги в разбухшие от воды башмаки, поднялся, отчего вода брызнула во все стороны, как из губки. Да, сильно бы смеялась эта женщина, если бы направилась в эту сторону и увидела его в столь нелепой обуви, но, надо думать, вскоре бы смолк ее смех, ибо глаза ее скользнули бы вверх, угадывая сокрытое под хитоном соразмерное и стройное тело, а потом еще выше, пока не встретились бы с его глазами, и всегда-то горестными, а теперь отуманенными новой тревогой. Ничего или почти ничего не сказав, она вновь открыла бы свою наготу, и, когда произошло бы то, чего следует в таких случаях ожидать, бережно бы сняла с него безобразные меховые санда-

лии, и поцелуями бы излечила его раны, а потом осторожно, как яйцо или реликвию, обернула бы каждую ступню своими еще влажными волосами. Дорога пуста. Оглядевшись по сторонам, со вздохом находит Иисус укромный уголок, направляется туда, но вдруг замирает на месте — вовремя вспомнилась ему история Онана, которого покарал Господь за то, что изливал свое семя помимо места, для него предназначенного. Разумеется, если б Иисус снова вдумался в этот классический эпизод и подверг его всестороннему осмыслению, беспощадная суровость Бога не остановила бы его, ибо для ослушания имелись две причины: во-первых, невестки, с которой, согласно Закону, следовало бы продолжить род умершего брата, под рукой не было, вторая же причина была еще более основательной: Господь, явившись ему, сообщил, что имеет на него в будущем определенные виды, хоть и не сказал, какие именно, и маловероятной несуразицей выглядело бы то, что он позабыл все свои обещания, все порушил — и из-за такой безделки, как рука, осмелившаяся забрести куда не следует, ибо кому ж, как не Господу, ведать, что не всякий голод, не всякую жажду утолишь едой и питьем: есть и иное, не менее тягостное воздержание. Эти и подобные им размышления вместо того, чтобы, потакая столь простительной человеческой слабости, завлечь Иисуса на гибельную стезю порока или, проще говоря, в укромное местечко, возымели вдруг противоположное действие и не завлекли, а отвлекли — отвлекли от первоначального намерения, не говоря уж о самом желании, очевидная греховность которого расхолаживала и внушала колебания. Итак, смирившись перед собственной добродетелью, Иисус перекинул суму через плечо, крепче сжал посох и пустился в путь.

В первый день этого пути по-над Иорданом из-за укоренившейся за четыре года привычки сторониться людных мест он обходил селения, встречавшиеся, впрочем, нечасто. Однако чем ближе становилось до Генисаретского озера, тем трудней было делать это: прежде всего потому, что деревни были окружены возделанными полями — подика обойди, — ну а потом, когда бродяга и так подозрительного вида еще и явно уклоняется от встречи с людьми, крестьян это наводит на нехорошие мысли. И Иисус решил выйти в мир, и мир его не разочаровал, хоть и оглушил позабытым за время пастушьей жизни шумом. В первой же деревне, куда он вошел, орава ребятишек при виде его невероятных котурнов подняла дикий свист и улюлюканье, что отчасти подвигло Иисуса на покупку настоящих сандалий, — не забудем, деньги у него на это были, он ведь не притронулся к подаянию фарисея, четыре года живя в глуши, где и тратить их было и не на что и незачем, так что был он обладателем целого состояния, о большем и мечтать не надо. После того как сандалии были приобретены, состояние его уменьшилось до двух монеток весьма незначительного достоинства, но это его не смутило, и голод его не страшил, ибо недалеко уже до Назарета, до родного дома, куда он воротится, как пообещал в тот день, когда покидал его, и, казалось, навсегда: Я вернусь так или иначе, но непременно. Он идет не торопясь, следуя бесчисленным изгибам русла: ноги его еще не зажили окончательно и до такой степени, чтобы совершать большие переходы, но главная причина его медлительности заключается, пожалуй, в уверенности, что дом никуда не денется, что он уже, считай, дошел, но нет, другая, куда более смутная мысль треножит его: Чем скорей я приду, тем раньше придется уходить. И он идет вдоль берега Иордана по направлению к северу, и вот уж достигает уровня Назарета: теперь надо взять чуть к западу — и он дома, но синие, широкие, тихие воды озера неожиданно снова задерживают его. Повинуясь этому порыву, он садится на берегу, наблюдает за рыбаками, когда-то в детстве он бывал с родителями в здешнем краю, но отчего-то не обращал внимания на труд этих людей, оставляющих за собою такой сильный запах рыбы, словно они сами только что вынырнули из пучины. Сейчас он решает помочь как умеет — а не умеет он ничего — и чем может — тоже не слишком много — выволочь лодку на берег или, наоборот, столкнуть ее в воду, взяться вместе с другими и вытащить сеть, и рыбаки, видя его голодное лицо, дают ему две-три костистых рыбки. Поначалу он робко поджаривал их и съедал в сторонке, но на второй день — а всего провел он там три — рыбаки пригласили его к своему костру. А в последний день он вышел в море, как мы вслед за рыбаками станем называть Генисаретское озеро, в лодке, принадлежавшей братьям — Симону и Андрею: они были старше Иисуса, и обоим уже перевалило за тридцать. Там, на промысле, подбадриваемый новыми друзьями неофит, первым смеясь над своей неловкос-

тью, размахиваясь так широко, что, если с берега смотреть, казалось — не сети он бросал, а вызов, несколько раз попытался закинуть невод, но безо всякого успеха, если не считать, что сам чуть не вывалился за борт. Рыбаки хохотали, ибо им уж было известно, что Иисус разбирается лишь в овцах да в козах, и Симон молвил: Вот жизнь была бы, если бы и рыбу можно было пасти, как скотину, верно? На что Иисус ответил: Рыба, по крайней мере, не отстает от стада, за ней по чащобам гоняться не надо — она вся здесь, в этой раковине моря, каждый день убегает она от рыбачьих сетей, каждый день попадает в них. Улов был небогат, еле покрывал дно лодки, и сказал Андрей: Правь к берегу, брат, сегодняшний день дал нам уже все что мог. И Симон согласился: Верно, брат, идем домой, и уже разобрал было весла, и только собрался потабанить левым, разворачивая лодку, как Иисус — мы лично не склонны верить, что под воздействием благодати или по наитию, а скорее движимый им самим не сознаваемым чувством благодарности, — предложил еще три последних раза забросить сети. Может, рыбий пастырь как раз вывел на нас свое стадо? Вот и еще одно достоинство у баранов перед плотвой, засмеялся Симон, их видно, а Андрею сказал: Ладно, бросай, не разживемся, так при своем останемся. Андрей закинул невод, и пришел он полный рыбы. Братья вытаращили на Иисуса глаза от удивления, сменившегося изумлением и оторопью, когда и во второй, и в третий раз закинутый невод возвращался полным. И из моря, воды которого недавно еще казались необитаемыми, как воды чистого ручейка, хлынул в изобилии невиданном сверкающий сплошной поток жабер, хребтов, плавников, так что в глазах зарябило. Спросили тогда Симон с Андреем: как узнал он, что именно теперь подошел косяк, неужто взгляд его хватает на такую глубину, неужто видит движение вод у самого дна? Но Иисус ответил, что ничего он не знал и сверхъестественной зоркостью не наделен, а просто пришло ему в голову: отчего бы не попробовать, не попытать счастья перед возвращением еще раз? Братья не усомнились в правдивости его слов — случай, как известно, и не такие чудеса творит, но Иисус, внутренне затрепетав, задал сам себе безмолвный вопрос: Кто сделал это? Сказал Симон: Дай Бог теперь разобрать улов, — и пользуемся случаем сообщить, что экуменически-всеядное выражение «На безрыбье и рак рыба» родилось уж точно не на берегу Генисаретского моря, ибо Закон не оставляет недомолвок в этом случае, как и во всех прочих, и говорит ясно: Из всех животных, которые в воде, ешьте сих: у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте; а все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас; мяса их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Так и было поступлено с сими последними, недостойными быть съеденными избранным народом, — их выбросили обратно, и многих — уже не в первый раз, так что иные успели даже привыкнуть к этому и, попадая в сеть, не слишком горевали, ибо знали, что скоро вернутся в родную стихию и задохнуться не успеют, и думали, должно быть, рыбьими своими мозгами, что Создатель испытывает к ним если и не любовь, то несомненное благорасположение, и почитали себя особенно сотворенными существами — много выше тех рыб, которые грудами лежали на дне лодок и баркасов, провинясь, наверно, в черном глубоководье пред Господом многообразно и тяжко, раз он так безжалостно обрекает их смерти.

Когда же наконец они причалили, что потребовало от рыбаков тысячи предосторожностей и всего их умения, поскольку вода стояла вровень с бортами перегруженной лодки, грозя перевернуть ее, люди на берегу не могли опомниться от удивления и допытывались о причинах такой неслыханной удачи, ибо другие рыбаки вернулись ни с чем, но ни один из троих, словно по дружному и безмолвному уговору, не стал распространяться про обстоятельства, сопутствовавшие изобильному лову. У каждого нашлись на то свои причины: Симон и Андрей не желали прилюдно умалять своих дарований и опытности; Иисус же не хотел, чтобы другие артели брали его с собой, передавая друг другу наподобие приманки, хотя, по крайнему нашему разумению, это было бы только справедливо, ибо разом прекратило бы наконец рознь между сыновьями и пасынками — от нее и так слишком много зла в нашем мире. Именно потому и объявил Иисус в тот же вечер, что на рассвете уходит в Назарет, чтобы повидать семью, в разлуке с которой и в скитаниях, в полной мере заслуживающих названия Дьявольских — так трудны они и изнурительны, — провел уже четыре года. Очень огорчились его словам Симон и Андрей, лишав-

шиеся лучшего пастуха морской скотины, какого знавали за всю свою историю воды Генисарета, очень сожалели о его решении и двое других рыбаков, Иаков и Иоанн, сыновья Зеведеевы, юноши столь простодушные, что, когда их в шутку спрашивали: Кто отец сыновей Зеведеевых? — становились в тупик, терялись и, хоть, разумеется, знали ответ, будучи сыновьями этого самого Зеведея, отыскивали его, ответ этот, не сразу, а лишь после минутного томительного замешательства. Жалели они, что уходит Иисус, не потому лишь, что теряли возможность наловить уйму рыбы, нет: оба были еще совсем молоденькие — Иоанн даже младше Иисуса — и надеялись, что втроем будет им легче противостоять старшему поколению. А простодушие их проистекало не от тупоумия или врожденной придурковатости, а так уж получалось, что шли они по жизни, словно постоянно и напряженно размышляли о чем-то постороннем, вот и не могли так вдруг, сразу сообразить, как зовут отца сыновей Зеведеевых, и тем менее могли понять, отчего вокруг поднимается такой хохот, когда наконец с торжествующим видом отвечают они: Зеведей. Иоанн даже решился подойти к Иисусу и сказать: Оставайся с нами, наша лодка больше, чем у Симона с Андреем, и рыбы наловили бы больше, на что Иисус, исполненный и мудрости и жалости, отвечал: Господь мерит иной, не человеческой мерой, но мерой своей справедливости. Иоанн отошел, понурившись, и во весь вечер никто более не пытался удерживать Иисуса. А наутро он простился со своими первыми за восемнадцать лет жизни друзьями и, снабженный едой на дорогу, пошел прочь от моря Генисаретского, где явил ему Бог знамение — если, конечно, он не обманулся, — и направил стопы свои в сторону гор, по дороге в Назарет. Судьбе, однако, было угодно, чтобы, проходя через город Магдалу, рассадил он ногу чуть не до кости, так что кровь никак не унималась. Ей же, судьбе то есть, вздумалось устроить так, чтобы произошло это на самой окраине городка, у самых дверей некоего дома, стоявшего поодаль от прочих, словно он не желал к ним приближаться или они хотели от него отдалиться. Иисус, видя, что кровь все течет, не останавливается, крикнул: Эй, есть здесь кто? — и тотчас за воротами появилась, точно только того и ждала, женщина, и по удивлению, легкой тенью мелькнувшему по ее лицу, можно было предположить, что привыкла она к тому, что в дом к ней заходят без оклика и стука, хотя это, если хорошенько вдуматься, в данном случае куда менее уместно, чем в любом другом и во всех прочих, ибо женщина эта была, потогдашнему выражаясь, блудницей и блюла законы своего ремесла, предписывавшие, впустив гостя, запереть за ним дверь. Иисус, сидя на земле и зажимая кровоточащую рану, лишь мельком взглянул на приближавшуюся женщину и сказал: Помоги, а? — и, ухватясь за протянутую ею руку, сумел все же подняться и доковылять до ворот. Ты идти не можешь, сказала женщина, войди в дом, надо перевязать. Иисус не ответил ни «да» ни «нет» — от этой женщины пахло так, что он потерял всякую способность к соображению и перестал даже ощущать боль, причиняемую разверстой раной, а когда, охватив женщину рукою за плечи, почувствовал, что поясница его обвита чьей-то еще, явно не его собственной, рукой, целая буря сотрясла его тело во всех направлениях, хотя точнее, наверно, было бы сказать «чувствах», ибо именно в них или в одном из них, носящем то же название, но не относящемся к способности видеть, слышать, обонять, осязать, ощущать, а вобравшем в себя малую толику каждого, бьется и колотится все, и слава Богу. Женщина между тем ввела его во дворик, затворила калитку и со словами: Посиди, я сейчас, — усадила, а сама вошла в дом и тотчас появилась с глиняным кувшином и белой холстиной. Смочила ее водой, опустилась перед Иисусом на колени и, поддерживая ладонью больную ногу, осторожно обработала рану, смыв с нее землю, умягчив корку, сквозь которую сочилось вместе с кровью и что-то желтое, гнойное, мерзкого вида. Сказала она: Одной водой тут ничего не сделаешь, а Иисус сказал: Ты стяни ее потуже да завяжи, мне бы только до Назарета добраться... А там уж, — а там уж мать меня вылечит, собирался сказать он и не сказал, потому что не хотелось предстать в глазах этой женщины мальчуганом, который, ударившись, взвывает и взывает со слезами: Ма-а-ама! — ожидая, что его тотчас пожалеют и приласкают, подуют на больной пальчик, приговаривая: Не плачь, не плачь, мой маленький, до свадьбы заживет. До Назарета еще идти да идти, но воля твоя, дай только мазью помажу, сказала женщина и вновь ушла в дом и на этот раз задержалась там подольше. Иисус тем временем огляделся по сторонам, дивясь тому, как все в этом дворике прибрано и чисто. Он подозревает, что хозяйка его торгует

своим телом, подозревает не потому, что наделен особой способностью с первого взгляда определять, каким ремеслом промышляет встретившийся ему человек, и ведь еще совсем недавно от него самого так несло козлом, что впору было бы причислить его к пастушьему племени, а теперь пахнет рыбой так, что всякий скажет про него: Ну ясно, рыбак, и одна вонь сменяется другой, не менее гадостной. От женщины веет неведомыми ароматами, но Иисусу при всей его невинности, которую не следует путать с невежеством, ибо он много раз видел, как происходит случка, хватает здравого смысла понять: исходящее от тела женщины сладостное благоухание — недостаточный повод считать ее блудницей. Да и потом блудница должна пахнуть тем, с кем имеет дело, — мужчиной, как пахнет козами козопас, и рыбак — рыбой, но как знать, может, женщины этой профессии и душатся так сильно, чтобы отбить, заглушить или хотя бы ослабить запах мужчины. А она между тем вновь появилась из дверей, неся флакончик и улыбаясь так, словно в доме рассказали ей что-то забавное. Иисус видит: она все ближе, но — если зрение ему не изменяет — идет она страшно медленно, как бывает только во сне, и туника колышется, послушно вторя прихотливому качанию бедер, и черные ее, распущенные волосы танцуют по плечам, словно колосья на жнивье под ветром. Сомнений нет: даже слепец бы понял, что это наряд блудницы, что это тело плясуньи, что так умеет смеяться лишь женщина легкого поведения. В смятении Иисус попросил память свою прийти к нему на выручку с каким-нибудь подходящим изречением из премудростей его знаменитого тезки, Иисуса, сына Сирахова, и память не подвела, чуть слышно шепнула — только не на ухо, а изнутри уха: Не оставайся долго с певицею, чтобы не пленяться тебе искусством, и еще: Не отдавай души твоей блудницам, чтобы не погубить наследства твоего, и если первое по молодости лет вполне могло случиться с Иисусом, то второе никак ему не грозило, ибо о достатках его мы с вами имеем представление, и он сам обрадовался тому, что неимущ, представив, как женщина перед тем, как договориться о цене, спросит: Сколько у тебя есть? И потому, готовый уже ко всему, он не был захвачен врасплох вопросом женщины, которая, поставив его ступню к себе на колено, умастила рану неким притиранием и спросила: Как тебя зовут? Иисус, ответил он, но не прибавил «из Назарета», ибо ранее уже сообщил, откуда родом и куда идет, как и женщина, отвечая на его вопрос, не прибавила к имени Мария слова «из Магдалы» — это и так было ясно. Вот сколько всего произошло за то краткое время, что Мария, умастив рану целебным составом, плотно, надежно и туго перевязывала ее чистой холстиной, проговорив под конец: Ну вот и все. Как мне тебя отблагодарить? — спросил Иисус, и тут впервые глаза его встретились с ее глазами, черными и блестящими как уголь, но при этом подернутыми переливающейся, будто вода по воде, сладострастной влагой, пронявшей юношу до самых глубин его естества. Женщина ответила не сразу, задержала на нем взгляд, словно оценивая, чего он стоит, хотя сразу было видно, что за душой у него ни гроша, и промолвила наконец: Запомни меня, вот и все. Век не забуду твоей доброты, — отвечал он и, собравшись с духом, добавил: И тебя саму тоже не забуду. Это почему же? — улыбнулась она. Потому что ты красивая. Не видал ты, какой я прежде была. Я вижу, какая ты сейчас. Улыбка на лице ее погасла, будто смыло ее: Ты знаешь, кто я, чем занимаюсь, на что живу? Знаю. Что же, тебе довольно одного взгляда, чтобы все про меня узнать? Да ничего я не знаю. И что я продаю себя, тоже не знаешь? Нет, это знаю. Что я отдаюсь мужчинам за деньги? Да. Ну а больше и знать нечего. Это только я и знаю. Женщина села с ним рядом, легко провела рукой по его голове, прикоснулась кончиками пальцев к его губам. Хочешь отблагодарить меня — останься со мною сегодня. Не могу. Почему? Мне нечем заплатить тебе. А то я не знаю. Не смейся надо мной. Ты, может, и не поверишь, но я охотней смеюсь над мужчинами с тугой мошной. Дело не только в деньгах. А в чем еще? Иисус молча отвернулся. Она не пришла ему на помощь, хотя могла бы — могла бы спросить: Ты невинен? — и тоже молчала выжидательно. Безмолвие было таким глубоким и плотным, что слышно было, казалось, как бьются два сердца — гулко и сильно у него, и сначала мерно и ровно, а потом, будто его смятение передалось ей, все чаще и беспокойней — у нее. Сказал Иисус: Волосы твои — как стадо коз, сходящих с горы Галаадской. Женщина молча улыбнулась. Сказал Иисус: Глаза твои — озерки Есевонские, что у ворот Батраббима. Снова улыбнулась и снова промолчала она. Тогда Иисус обернулся к ней: Я не познал еще женщины. Мария сжала ему руки: Всем надо

когда-нибудь пройти этим путем — мужчине, не знающему женщины, женщине, не знающей мужчины; пусть знающий учит, а незнающий — научается. Ты научишь меня? Тебе тогда снова придется благодарить меня. Так я вечно буду перед тобою в долгу. А я вечно буду учить тебя. Мария поднялась, задвинула щеколду, но прежде чем сделать это, вывесила на шесте над воротами некое полотнище, доводя до всеобщего сведения, что гостей хозяйка нынче не примет, ибо пришло ей время петь: Поднимись, ветер, с севера, и принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Потом они вместе — Иисус, опираясь, как и раньше, на плечо Марии, блудницы из Магдалы, которая исцелила его рану и теперь примет его в своей постели, — вошли в дом, в прохладный полумрак чистой комнаты, где постель была не та грубая циновка с брошенной поверх бурой простыней, какую видел Иисус в родительском доме, а настоящая, вроде той, что описана такими словами: Украшено ложе мое покрывалами, из льна египетского сотканы простыни, нардом и шафраном, аиром и корицей, миррой и алоем со всякими лучшими ароматами надушены они. Мария Магдалина подвела его к очагу, пол вокруг которого был выложен каменной плиткой, и, отклонив помощь Иисуса, сама, своими руками раздела и омыла, то и дело притрагиваясь кончиками пальцев к телу его здесь, и здесь, и здесь, прикасаясь грудями то к груди, то к бедру, то спереди, то сзади. И от легчайших прикосновений этих Иисус затрепетал, и мурашки побежали по коже, когда проскользили по ней острые ногти. Не бойся, сказала Мария из Магдалы и за руку подвела его к постели. Ложись, я сейчас. Задвинулась занавесь, зажурчала вода, потом все стихло, воздух наполнился благоуханием — и Мария из Магдалы появилась возле постели нагая. Нагим, как оставила она его, лежал Иисус, ибо думал, что, если прикроет открытую ею наготу, обидит ее. Мария остановилась, глядя на него с выражением и страстным, и нежным одновременно, и сказала: Ты красив, но, чтобы стать прекрасным, должен открыть глаза. Иисус повиновался после мгновенного колебания, но сейчас же снова зажмурился, ослепленный, и снова открыл глаза, и понял, что же на самом деле означают слова царя Соломона: Округление бедер твоих как ожерелье; живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями; два сосца твои — как два козленка, двойни серны, — но еще внятней стал ему смысл этих слов, когда Мария прилегла рядом, взяла его руки, потянула их к себе и принялась медленно водить ими по всему своему телу, от волос ко лбу, от лба по щекам к шее, от шеи к плечам, от плеч к грудям, охватив их, чуть сжав и отпустив и снова сжав, от грудей к животу, к пупку и вниз, туда, где расходились ее ноги, и там тоже помедлила, запутав и высвободив и вновь запутав пальцы его в руне своем, а оттуда по крутому, будто выточенному бедру, и при этом не переставала повторять еле слышно, почти шепотом: Учись, учись, постигай мое тело. Иисус глядел на свои руки, сжатые ее руками, и ему хотелось высвободить их, чтобы самому исследовать пядь за пядью это тело, каждую его часть, но Мария не отпускала, продолжая водить его руками по себе сверху донизу, и еще раз, и еще. Учись, учись, шептала она. Иисус дышал прерывисто и тяжко, и на миг почудилось, что дыхание его сейчас пресечется вовсе — это произошло в тот миг, когда руки ее — левая со лба, правая от щиколоток, — медленно двинувшиеся навстречу друг другу, встретились, сошлись, соединились в одной точке посередине, но задержались там лишь на мгновение и с той же неторопливостью вернулись туда, откуда пустились в это странствие, и снова отправились в путь. «Ты ничему не научился, уходи», — сказал ему Пастырь, и, быть может, это значило, что он не научился защищать жизнь. Теперь его взялась наставить Мария из Магдалы, все повторявшая «Постигай мое тело», а потом вдруг изменившая одно слово, так что получилось: Постигай свое тело, и вот плоть его напряглась, отвердела, восстала, устремляясь к волшебной наготе Марии, а она сказала: Тише, забудь обо всем, ни о чем не думай, я сама, и тогда он вдруг ощутил, как часть его плоти, та самая, вот эта, скрылась в ее теле, охватившем ее будто огненным кольцом, двигавшимся вверх и вниз, покуда он, содрогаясь, не забился с криком, как рыба на песке, чего быть не может, потому что рыбы не кричат, а кричал он в тот миг, когда Мария, застонав, упала на него, вбирая его крик жаждущими и нетерпеливыми устами, и от этого поцелуя вторая и нескончаемая судорога пробила тело Иисуса.

Целый день никто не стучался в ворота Магдалины. Целый день она служила юно-

ше из Назарета, тому, кто, не ведая даже о ее существовании, попросил у нее помощи — исцеления своим ранам, заживления своим язвам, облегчения своим мукам, которые — а этого не могла знать она — родились от другой его встречи, в пустыне, с Богом. Бог сказал ему: Отныне ты принадлежишь мне, ты кровью скрепил наш союз, а Дьявол, если это был он, с пренебрежением прогнал: Ты ничему не научился, уходи, Мария же, у которой меж напрягшихся и отвердевших грудей струился пот, распущенные волосы, казалось, испускали дым и черным омутам подобны были глаза, шептала ему набухшими от поцелуев губами: Ты не отделаешься от меня тем, чему я тебя научила, ты останешься со мной до утра. И Иисус, склонясь над нею, отвечал: То, чему ты меня научила, — не темница, а воля. Они уснули вместе, но не только в эту ночь. Наутро проснулись не рано, и тогда — после того как тела их вновь принялись искать и обрели друг друга — Мария осмотрела рану Иисуса и сказала: Заживает, но идти тебе еще не стоило бы — дорожная пыль навредит. Но я же не могу остаться, ты ведь сама сказала, что заживает. Можешь, если захочешь, и ворота мои будут закрыты столько, сколько мы пожелаем. Но твоя жизнь. Моя жизнь сейчас — это ты. Почему? Я отвечу тебе словами царя Соломона: Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Как же я могу быть твоим возлюбленным: ты ведь меня совсем не знаешь, ты впустила меня, пожалев за муки мои, а еще больше — за невежество. Потому я тебя и люблю, что помогла тебе и научила тебя, а вот ты любить меня не сможешь, ибо учить меня тебе нечему и исцелить меня ты не в силах. Но у тебя нет раны. Поискать, так найдется. Что же это за рана? Дверь, сквозь которую входят все, а возлюбленный мой — нет. Ты же сказала, что я твой возлюбленный. Потому, впустив тебя, я и затворила дверь. Но я могу научить тебя разве что тому, чему сам научился. Научи хоть этому, я узнаю, как усвоил ты мои уроки. Мы не можем жить вместе. Ты хочешь сказать, что не можешь жить с блудницей? Да. Пока ты со мной, я не блудница, я перестала быть блудницей с той минуты, как ты вошел ко мне, и сейчас я не блудница. Ты просишь меня о слишком многом. Всего лишь о том, чтобы ты дал мне еще день, еще два, столько, сколько нужно, чтобы твоя рана затянулась, а моя открылась. Я шел сюда восемнадцать лет. И еще два дня значения не имеют, ты еще так молод. Ты тоже. Я старше тебя, но моложе, чем твоя мать. Разве ты знаешь ее? Нет. Почему же говоришь? Потому что у меня не может быть сына твоего возраста. Верно, как я глуп! Не глуп, всего лишь невинен. Я уже не невинен. Потому что познал женщину? Нет, еще до того, как только лег с тобой. Расскажи мне о себе, но только потом, не сейчас, пусть левая рука твоя будет у меня под головою, а правая обнимает меня.

Иисус провел у Марии Магдалины неделю — столько времени понадобилось, чтобы наросла новая кожа на рану его. Ворота так и оставались закрыты. Самые нетерпеливые из посетителей Марии, терзаемые зудом похоти или досады, стучались в ворота, не обращая внимания на вывешенное полотнище, которое должно было бы удерживать их поодаль. Они желали знать, кто это застрял у нее так надолго, и один шутник крикнул даже: Эй, Мария, гость твой или ничего не может, или ничего не смыслит, отвори мне, я растолкую ему, что к чему, и Мария, выйдя во двор, отвечала на это так: Кто бы ни был ты, но мочь больше не сможешь, и что делал прежде, делать не будешь. Типун тебе на язык, проклятая потаскуха! Ступай прочь, ты ошибся: я не проклята, а благословенна, как ни одна женщина на свете. Возымели ли действие ее слова, или само собой так случилось, но больше никто не приходил под ворота, не стучался в них, и оттого, вероятней всего, что никому из мужчин Магдалы и дальней округи не хотелось рисковать и навлечь на себя бессилие, ибо весьма распространено мнение, будто проститутки, особенно высшего разбора, превзошедшие все тонкости своего ремесла, в совершенстве владеют от природы ли полученным, многолетней опытностью ли приобретенным даром не только возвеселивать мужскую плоть, но наоборот — внушать ей непобедимое уныние, заставляя горделивый уд понуро клониться долу. Так или иначе, но никто не тревожил более Иисуса и Марию за эти восемь дней, в продолжение которых уроки даваемые и получаемые как бы слились в единое целое, состоящее из движений, шепота и лепета, нежданных открытий, постижений и изобретений, бессмысленных и ничтожных сами по себе, словно кусочки смальты, которые лишь сложенные вместе становятся прекрасным и исполненным значения мозаичным панно. Не раз Мария из Магдалы просила своего возлюбленного рассказать о себе, но Иисус неизменно уклонялся от ответа, говоря, к

примеру: Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста, набрал мирры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим, и, произнеся эти поэтические строки, с таким же вдохновением переходил от слов к делу, истинно, истинно говорю тебе, милый Иисус, от подобных разговоров мало толку. Но однажды он решил рассказать про отца-плотника и мать-пряху, про восьмерых братьев и сестер, про то, как, согласно обычаю, стал изучать отцовское ремесло, но потом ушел из дому и четыре года пас овец и коз, а потом, по дороге домой, провел несколько дней с рыбаками, но слишком краток был срок, чтобы вполне овладеть их искусством. Он рассказывал это в конце дня, когда они ужинали во дворе, и время от времени поднимал голову, провожая взглядом ласточек, с пронзительными криками носившихся над ними, и потом замолчал, и можно было подумать — он сказал все, мужчина во всем признался женщине, но та, верно, думала иначе, ибо спросила: И все? Все, кивнул он. Полным сделалось безмолвие, в другое место унеслись чертить свои круги ласточки, и тогда Иисус сказал: Отца моего распяли на кресте четыре года назад, под Сепфорисом, а звали его Иосиф. Ты, верно, первенец? Первенец. Почему же тогда не остался с семьей, как велит тебе долг первородства? Тебе не все дано понять, и не спрашивай меня больше ни о чем. Ну ладно, о семье не стану, но расскажи мне, как ты жил в пастухах. Да не о чем рассказывать, все одно и то же, овцы да козы, козлы да бараны, и молоко, молоко, повсюду молоко. И нравилось тебе это? Нравилось. Отчего же ты ушел? Надоело, и по родным стосковался. Что значит «стосковался»? Значит, повидать захотелось. Ты говоришь неправду. С чего ты взяла? В глазах у тебя страх и вина. Иисус не ответил, поднялся, обошел двор кругом, остановился перед Марией. Когда-нибудь, если суждено нам будет увидеться, я расскажу тебе остальное, только обещай, что больше никто не узнает. Зачем откладывать, скажи сейчас. Нет, скажу, если мы встретимся снова. Надеешься, что я к тому времени уже не буду потаскухой, да? А то сейчас мне доверия нет, возьму да выдам твою тайну, за деньги продам или так просто, для забавы, выболтаю в благодарность тому, кто будет любить меня лучше, чем ты любил и любишь. Нет, не потому я сейчас предпочитаю молчать. Так вот, я говорю тебе, что Мария, блудница из Магдалы, как только понадобится тебе, будет у ног твоих. Чем я заслужил это? Ты не знаешь, кто ты. Тем и окончился их разговор, но в ту же ночь посетил Иисуса прежний кошмар, который в последнее время лишь смутной тенью вкраплялся между обычными снами и сам сделался привычным и терпимым. Но в эту ночь — оттого ли, что он в последний раз лежал в этой кровати, оттого ли, что вечером упомянул о Сепфорисе, — кошмар, подобно гигантской, очнувшейся от спячки змее, начал развертывать свои кольца, поднимать жуткую свою голову, и с криком, в холодном поту Иисус проснулся. Что с тобой? Что такое? — с тревогой спрашивала Мария. Ничего, приснилось что-то, отвечал он. Расскажи, — сказала она, произнеся это слово с такой любовью, с такой нежностью, что Иисус не сумел сдержать слез, а потом — и слов, которые старался утаить: Мне снится, что отец мой ищет убить меня. Это отца твоего убили, а ты здесь, ты жив. Я — младенец, я — в Вифлееме Иудейском, и отец мой ищет убить меня. А почему в Вифлееме? Я родился там. Быть может, сон твой значит, что отец твой не хотел, чтобы ты появлялся на свет. Мария, ты же ничего не знаешь. Нет, не знаю. Были в Вифлееме младенцы, которых погубил мой отец. Убил? Ну, не своими руками зарезал, а погубил тем, что не спас, не отвел занесенный над ними клинок. И тебе во сне кажется, будто ты — один из них. Я умирал уже тысячу раз. Бедный, бедный Иисус. Оттого я и ушел из дому. Вот теперь я наконец все поняла. Думаешь, поняла? Разве это еще не все? Нет, есть еще такое, чего я пока не могу тебе сказать. То, что ты скажешь, когда мы встретимся снова? Да. Иисус заснул, склонив голову на плечо Марии, обдавая дыханием ее грудь, а она не сомкнула глаз во весь остаток ночи. Сердце ее ныло, ибо вместе с рассветом должна была прийти и разлука, однако душа была спокойна: она знала теперь, что человек, спавший рядом, — это тот, кого ждала она всю жизнь, кто принадлежал ей и кому принадлежала она, хотя он достался ей девственником, а она отдала ему многогрешное и нечистое тело, но мир начался заново, с чистого листа, на котором пока лишь восемь строк — восемь дней, и что это значит по сравнению с огромным, нетронутым будущим, хотя он так молод, этот Иисус, и я, Мария из Магдалы, лежу бок о бок с мужчиной, как бывало столько раз, но теперь изнемогаю от любви и у меня нет возраста.

Утро ушло на приготовления в дорогу, и казалось, что Иисус собрался на край света, а не в Назарет, до которого и двухсот стадий не будет, так что обычный человек, выйдя в полдень, к закату дойдет непременно, даже при том, что путь из Магдалы в Назарет не очень-то прямой и ровный и изобилует крутыми каменистыми откосами. Будь осторожен, в окрестностях еще бродят мятежники, сказала Мария. Неужели? Ты давно не бывал в здешних краях, это ведь Галилея. И я галилеянин, они мне зла не причинят. Какой же ты галилеянин, раз родился в Вифлееме Иудейском? Меня зачали в Назарете, а на свет я появился, если правду сказать, не в самом Вифлееме, а в пещере, под землей, хотя, знаешь, мне кажется, что здесь, в Магдале, я родился во второй раз. И родила тебя блудница. Для меня ты никакая не блудница, с яростью ответил Иисус. Это мое ремесло. После этих слов наступило долгое молчание: Мария ждала, что он договорит, Иисус одолевал и все никак не мог одолеть свое смятение и наконец вымолвил: Ты уберешь то полотнище, что вывесила над воротами, чтобы никто не смел входить к тебе? Мария поглядела на него серьезно, но тотчас улыбнулась не без лукавства: Нельзя же принять двоих мужчин разом. Что значат твои слова? Значат они, что ты хоть и уйдешь, но останешься, — и прибавила, помолчав: Тряпка так и будет висеть над воротами моими. Но все подумают, будто ты принимаешь мужчину. И верно подумают, ибо со мною будешь ты. И никто больше не войдет к тебе? Ты сказал это, и женщина по имени Мария из Магдалы перестала быть блудницей в тот миг, когда ты оказался здесь. Чем же ты будешь жить? Только ландыши полевые растут без труда и забот. Иисус взял ее за обе руки и сказал: Назарет недалеко, я как-нибудь приду к тебе. Если придешь, то обретешь меня. Я всегда хочу обретать тебя. Так и будет, пока ты живешь на свете. Что же, я умру раньше тебя? Я старше и, конечно, умру первой, но, если случится тебе умереть раньше, я останусь жить хотя бы для того, чтобы ты мог обрести меня. А если ты умрешь первой? Хвала тому, кто привел тебя в этот мир, когда я уже была в нем. После этих слов Мария из Магдалы подала Иисусу еду, и ему не было нужды говорить: Присядь со мной, ибо с первого дня, как только затворились ворота, этот мужчина и эта женщина делили и умножали между собой чувства и движения, ощущения и пространство, не слишком заботясь о том, чтобы соблюдать обычай, закон или правило. Можно не сомневаться, что они не сумели бы нам ответить, вздумай мы осведомиться, каким образом удавалось им это, как чувствовали себя и надежно защищенными, и совершенно свободными в этих четырех стенах, где всего за несколько дней сумели создать мир по собственному образу и подобию — заметим мимоходом, что больше был этот мир подобен ей, чем ему, — и поскольку оба были непреложно уверены в том, что будут у них еще встречи, то нам остается лишь терпеливо дожидаться того часа, когда оба они станут лицом к лицу с другим миром, с тем, что ожидает за воротами, с тем, чьи обитатели беспокойно спрашивают: Да что ж там происходит внутри? — и уверяю вас, вовсе не постельные забавы рисует себе их воображение. Итак, Мария и Иисус поели, она надела ему на ноги сандалии и сказала: Если хочешь к вечеру быть в Назарете, пора идти. Прощай, сказал Иисус, взял свою котомку и посох и вышел во двор. Небо было все затянуто тучами, и сквозь эту пелену, очень похожую на очески грязной шерсти, Господу нелегко, наверно, было разглядеть сверху, что там выделывают овцы его. Иисус и Мария на прощание обнялись, и объятию этому, казалось, не будет конца, и поцеловались. Но поцелуй не затянулся, и ничего удивительного в этом нет: не в обычае тогда были долгие поцелуи.

Солнце село, когда Иисус вновь ступил на землю Назарета, где не был четыре долгих года — неделей больше, неделей меньше не в счет — с того самого дня, когда он, ребенок еще, бежал, гонимый смертельным отчаянием, из родного дома, чтобы искать в мире кого-нибудь, кто помог бы ему воспринять первую в жизни невыносимую истину. Четыре года, как ни медленно они тянутся, — срок недостаточный, чтобы излечить боль, но притупить и утишить ее могут. Этот человек расспрашивал книжников в Храме, гнал по горным тропам стадо Дьявола, он повстречал Бога, он спал с Марией Магдалиной, и о прежнем страдании напоминает лишь влажный отблеск в глазах, о котором мы говорили раньше, но, быть может, все еще ест ему глаза стойкий дым жертвенных всесожжений, или источает слезы душа, восхищенная тем, какие дали открылись ей на высокогорных пастбищах, или это страх того, кто в одиночестве и пустыне услышал «Я — Бог», или, что

вероятней всего, он томится и тоскует, вспоминая тело Марии из Магдалы, покинутой им лишь несколько часов назад. Освежите меня вином, подкрепите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви, — эту сладчайшую истину мог бы изречь Иисус, обращаясь к матери и братьям, но отчего-то у самого отчего дома замедляет он шаги. Кто они — мать моя и братья мои? — спрашивает он себя, и не потому, что не знает, вопрос в том, знают ли они, мать и братья, что пришел к ним тот, кто спрашивал в Храме, кто с высоты оглядывал окоем, кто повстречал Бога, кто познал женщину и осознал себя мужчиной. Вот на этом самом месте сидел некогда нищий бродяга, назвавший себя ангелом, и, хотя ангелу не составило бы труда в единый взмах взмятенных крыльев вихрем ворваться в дом, он предпочел постучать и жалкими словами попросить милостыню. Калитка закрыта на щеколду, ее легко открыть снаружи, и нет надобности окликать: Эй, есть тут кто? — как сделал он в Магдале, ибо дом этот — его, и войдет он к себе домой спокойно и уверенно, и глядите-ка, совсем зажила рана на ноге — впрочем, раны телесные, источающие кровь и гной, поддаются лечению не в пример лучше иных. Итак, стучаться незачем, но он стучится. Он слышит голоса за стеной, он даже различил уже издали голос матери, но духу не хватает просто толкнуть калитку и объявить: А вот и я, как поступил бы всякий, кто, зная, что приход его желанен, хочет преподнести домашним радостный сюрприз. Калитку отворила ему маленькая, лет восьми-девяти, девочка: она не узнала пришельца, и голос крови не сказал ей: Это твой брат, разве не помнишь, твой старший брат Иисус, который, несмотря на то что четыре года прибавилось к возрасту сестры и его собственному, несмотря на вечерние сумерки, спросил: Тебя зовут Лидия? — и она кивнула, очарованная таким чудом — незнакомец знает ее по имени, — однако Иисус рассеял все чары, сказав: Я твой старший брат, Иисус, впусти-ка меня. Во дворике, под навесом у крыльца, увидел он смутные, как тени, силуэты, это были братья его, обратившие взоры к вошедшему, а двое старших, Иосиф и Иаков, поднялись и пошли ему навстречу, хоть и не слышали слов, что сказал он их сестре, но узнали его без труда, да и Лидия уже завопила ликующе: Это Иисус, это наш брат, и после этих слов уже все тени задвигались, и в дверях появилась Мария, а рядом с нею — Лизия, уже с нее ростом, и обе вскричали в один голос: Иисус! — и в следующее мгновение посреди двора все обнимали его, исполненные семейственной любви и радости, а такая встреча и в самом деле приносит радость, особенно когда, как в нашем случае, возвращается домой наш первенец, наш первородный сын, которого снова можно пестовать и нежить. Иисус поздоровался с матерью, с каждым из братьев, с обеими сестрами, а те от всей души восклицали: Добро пожаловать, брат, как хорошо, брат, что ты вернулся, мы уж думали, брат, ты нас совсем забыл, и лишь одна мысль, мелькнувшая у всех, в слова не облеклась: Не похоже, брат, что ты разбогател. Потом вошли все в дом и сели за вечернюю трапезу, к которой и готовились в ту минуту, когда постучал в ворота Иисус, так что вполне уместно прозвучало бы здесь — особенно если вспомнить, откуда пришел он и как безудержно и рьяно всю минувшую неделю тешил, позабыв о нравственности, грешную плоть, — так вот, вполне уместно было бы здесь грубовато-откровенное присловье, бытующее у людей простых и бедных, при виде нежданного гостя, с которым надо поделиться и без того скудной пищей, пробормотывающих себе под нос: Черт его принес: где естно, там и тесно. Но нет, ничего подобного не было да и не могло быть не только сказано, но даже и подумано, ибо, когда жуют девять пар челюстей, десятую не услышишь, ртом больше, ртом меньше — разница невелика. И покуда шел ужин, младшие все допытывались у Иисуса о его приключениях, но мать и трое старших и так поняли, что со времени последней их встречи под Иерусалимом Иисус новому ремеслу не обучился, ибо не только рыбой от него не пахло, но даже те ароматы, которыми веяло от многолюбивого тела Марии из Магдалы, и самый запах этого тела, въевшийся, казалось бы, в тело Иисуса намертво, — примите, однако, в расчет неблизкую дорогу, ветер да пыль — учуять можно было, лишь уткнувшись носом в складки его хитона, а если на это не осмелился никто из домашних, то мы не решимся и подавно. Рассказал Иисус, что пас стадо — самое большое из всех, какие доводилось ему в жизни видеть, — а уж в недавние времена выходил в море с рыбаками и помогал им доставать из сетей огромных и диковинных рыб и прочих морских тварей, и тут случилось с ним происшествие необыкновенное, невообразимое и неожиданное, но о нем он поведает в свое время, не сейчас и не всем. Нет-нет, расскажи,

расскажи сейчас, принялись канючить малыши, а средний, именем Иуда, спросил, причем без всякой задней мысли: За столько времени денег небось кучу заработал? И трех монеток не будет, и двух, и даже одной-единственной, отвечал ему Иисус и в доказательство правоты своих слов, которым поверить было попросту невозможно — как же это: четыре года непрестанных трудов и ни гроша за душой? — вывернул свою суму. И в самом деле, небогат, прямо скажем, был его скарб, редко доводилось видеть, чтобы всего нажитого было — гнутый и сточенный нож, обрывок бечевки, ломоть хлеба, черствого как камень, две пары вдым изношенных сандалий и тряпка, звавшаяся некогда «туника». Это отца твоего туника, сказала Мария и, прикоснувшись рукой к тем сандалиям, что побольше, сказала детям: Их носил ваш отец. Дети опустили головы, в комнате повеяло печалью, а Иисус, укладывая обратно в суму убогое ее содержимое, заметил внезапно, что один уголок туники завязан узелком, а заметив, ощутил его тяжесть, и кровь бросилась ему в лицо при мысли, что в узелок этот завязаны деньги — а ведь он сию минуту сказал, что у него нет ни гроша, — и спрятала их туда Мария из Магдалы, которая их и заработала, но не в поте своего лица, как люди достойные, нет, стонами притворной страсти, а пот если и был, то никак не трудовой. Мать и братья с сестрами не сводили глаз с узелка на краешке туники, потом как по команде взглянули на Иисуса, который, не зная, то ли прятать и таить доказательство, уличающее его во лжи, то ли обнародовать его, причем без малейшей возможности объяснить происхождение этих денег так, чтобы высоконравственное его семейство снизошло до того, чтобы это объяснение принять, решился на второе и самое трудное и развязал тугой узелок, откуда выкатились двадцать монет — никогда не виданное в этом доме богатство, — и сказал: Я ничего про них не знал. Раскаленным ветром пустыни ударило ему в лицо осуждающее молчание родных: какой стыд! первородный сын лжет! Иисус же, порывшись у себя в душе, не нашел там и тени досады на Магдалину, а лишь безмерную благодарность ей — и за щедрость, и за тонкость, с которой щедрость эта была явлена, потому что женщина знала: дать ему денег из рук в руки — значит унизить его, ибо одно дело сказать: Левая твоя рука у меня под головой, правая обнимает меня, и совсем другое — не думать о том, сколько самых разных правых, а также левых рук обнимало тебя, и о том, что никто никогда не спрашивал, не подложить ли тебе просто руку под голову. И теперь уже Иисус смотрит на домашних своих с вызовом — примут ли они его слова «Я ничего про них не знал», а ведь это чистая правда, только правда, но одновременно и вся, и не вся правда — и ожидает безмолвного вопроса: Если ты ничего про них не знал, как они у тебя оказались, и на это ответить ему нечего, не скажешь ведь: Их дала мне блудница, у которой провел я последние восемь дней, а ей — мужчины, с которыми спала она до меня. На грязной и драной тунике, принадлежавшей человеку, четыре года назад распятому на кресте, а потом зарытому, как собака, в яме, в братской могиле, блещут двадцать монет, и блеск их подобен тому сиянию, что исходило когда-то от чашки с землей, озарявшему уже стены этого самого дома, только вот сегодня не придут сюда старейшины из синагоги, не скажут «Закопайте их», и никто не спросит «Откуда они взялись?», ибо ответ может быть таков, что придется отвергнуть деньги, как ни велика нужда в них, как ни хочется обрести их. Иисус сгребает монеты в кучку, держит их в обеих руках, сложенных ковшиком, и повторяет: Я ничего про них не знал, а потом, словно используя последнюю имеющуюся возможность, добавляет, глядя на мать: Они — не от Дьявола. Братья и сестры задрожали, но Мария, не переменившись в лице, ответила: Но и не от Бога. Иисус раз и другой подбросил монеты в ладонях, забавляясь их звоном, и сказал матери так обыденно, словно сообщал, что наутро станет к отцовскому верстаку: О Боге завтра поговорим, и добавил, обращаясь к Иакову и Иосифу: И вам обоим мне есть что сказать, — и не подумайте, что первенец произнес эти слова из одной учтивости: братья его уже вступили в пору совершеннолетия и, стало быть, имели право принимать участие в толковании сложных вопросов веры. Однако Иаков понял так, что разговор будет важнейший и серьезнейший и надо бы уже сейчас узнать, чем он будет вызван, ибо одного того, что вернулся домой старший брат — да какой бы он старший ни был — мало, а потому сказал: Речь у нас пойдет о Боге, — и добавил с не лишенной ехидства улыбкой: Ведь ты, по твоим словам, четыре года бродил с овцами и козами по горам и долам, и вряд ли удавалось тебе ходить в синагогу и свершать обряды, раз, не успев воротиться домой, сообщаешь, что наме-

рен говорить о Боге. Иисус, почувствовав глубоко запрятанную враждебность, отвечал: Ах, Иаков, как мало понимаешь ты, что есть Бог, если тебе невдомек, что нам не надо искать Бога — он сам нас найдет, когда сочтет нужным. Ты, верно, себя имеешь в виду? Не спрашивай сейчас ни о чем, завтра я скажу все, что должен сказать. В ответ Иаков пробормотал что-то неразборчивое, но явно язвительное по адресу тех, кто думает, будто знает все. Мария же устало промолвила своему первенцу: То будет завтра, или послезавтра, или когда пожелаешь, а сейчас скажи мне и братьям твоим, как ты намерен распорядиться этими деньгами, ибо живем мы в нужде. И ты не хочешь знать, откуда они у меня? Ты же сам сказал, что не знаешь. Я сказал правду, но сейчас поразмыслил и понял, что это за деньги. Если они не навлекли на тебя беды, то и семье твоей не повредят. И это все, что ты можешь сказать о них? Все. Тогда трать их как сочтешь нужным, употреби в хозяйство или еще куда-нибудь. При этих словах раздался одобрительный ропот братьев, и даже Иаков дружелюбно просиял, Мария же сказала: Если ты не против, отложим часть на приданое твоей сестре. Я и не знал, что Лизия выходит замуж. Да уж день назначен. Сколько же мы отложим на приданое? Я не знаю, что стоит такая монета. Иисус улыбнулся: Я тоже не знаю, что сто́ит она, знаю только, что за ней стоит, — и сам расхохотался собственным словам громко и безудержно, семейство же глядело на него в растерянности. И только Лизия в незапятнанной чистоте своих пятнадцати лет потупилась, ибо девичеству свойственны таинственные прозрения, и она одна из всей семьи отчего-то взволновалась от этих денег, неизвестно откуда взявшихся, кому принадлежащих и как заработанных. Иисус протянул монету матери и сказал: Завтра разменяешь, вот мы и узнаем ее достоинство. Но меня, конечно, спросят, откуда такое богатство, ибо всякому понятно: кто одну такую монету показал, остальные припрятал. Скажешь, что вернулся после дальних странствий сын твой Иисус и что нет большего богатства, чем возвращение блудного сына.

В ту ночь снился Иисусу отец. Он лег во дворе, под навесом, ибо, когда пришла пора устраиваться на ночлег, понял, что в комнате, где по всем углам в тщетных поисках уюта спят вповалку десять человек, уснуть не сможет: минули те времена, когда он не увидел бы разницы между братьями своими, сестрами и отарой ягнят — сейчас ему мешают руки, ноги, чужие случайные прикосновения, неизбежная в такой тесноте неловкость. Перед тем как уснуть, он вспоминал Марию Магдалину и все, что они делали вместе, и, хоть воспоминания эти так его разгорячили, что пришлось два раза вставать с соломы и обходить двор кругом, чтобы унять жар, сном, как говорится, младенца, когда наконец сморило его, уснул Иисус, погружаясь в некое подобие реки, уносивший его, мягко и плавно покачивая, и он медленно вплывал в забытье, как плывешь по течению, раскинув руки, глядя на плывущие вместе с тобой и над тобой ветви деревьев и облака, и какая-то безмолвная птичка то появлялась, то исчезала. И сон начался с того, что он испытал легчайший толчок, будто тело его повстречало другое тело, и поначалу почудилось, что рядом Мария Магдалина. Он улыбнулся, с улыбкой обернулся к ней, но увидел, что та же вода, под теми же ветвями и тем же небом с той же безмолвно порхающей птичкой, несет тело его отца. Прежний давний крик ужаса забился у него в горле, просясь наружу, но тут же утих: это был не тот преследующий его и ставший уже привычным сон, когда он видел себя младенцем рядом с другими младенцами на городской площади Вифлеема и ждал смерти, — нет, не слышно было шагов, конского ржания, звона и лязга оружия, и по-прежнему шелковисто струилась река, и по ней, как на плоту, плыли отец с сыном. В этот миг страх покинул душу Иисуса, и его место внезапно, точно вспышка или взрыв, заняло ликование, безмерное и неуемное. Отец! — вскричал он во сне. Отец! — повторил, проснувшись и плача, потому что понял, что опять один. Он хотел вернуться в сон, повторить его с самого начала, чтобы вновь испытать уже ожидаемое изумление от легкого толчка встречи, чтобы вновь увидеть отца и плыть с ним рядом, плыть до скончания века, до истечения вод речных. Ему не удалось это, но и тот, прежний кошмар с этой ночи не будет мучить его больше, ужас навсегда сменится восторгом, на место одиночества придет близость отца, ожидание отсроченной смерти вытеснится обещанием жизни, и пусть вот теперь книжники, назубок знающие Писание, растолкуют нам, если смогут, смысл этого сна, пусть определят значение реки, и нависших над стремниной ветвей, и плывущих облаков, и безмолвной птички, пусть объяснят, как благодаря

тому, что все это сошлось воедино и расставилось в должном порядке, смогли встретиться отец с сыном, хотя вину одного по-прежнему не искупить и не исцелить муку другого.

На следующий день Иисус хотел было помочь Иакову по плотницкому делу, но сразу же стало очевидно, что никаким старанием умение не заменить, и понятно, почему еще при жизни отца успехи его никак не могли заслужить себе удовлетворительной отметки. Иаков же сделался плотником если не хорошим, то, во всяком случае, неплохим, да и третий брат, Иосиф, хоть ему еще и четырнадцати не исполнилось, разбирался в ремесле так, что мог бы поучить старшего. Иаков же, смеясь над неловкостью Иисуса и над отсутствием у него сноровки, повторял: Тот, кто сделал тебя пастухом, погубил тебя, — и невозможно было представить, чтобы простые эти слова, исполненные незлобивой насмешки, содержали в себе тайную мысль или подспудный смысл, но Иисус тем не менее вдруг резко отшатнулся от верстака, и Мария сказала среднему: Не смей говорить о погибели, не навлекай нечистого на наш дом. А ошеломленный мальчик отвечал: Никого я не навлекал, я сказал только. Слышали уже, отрезал Иисус, и наша мать, и мы все слышали, что ты сказал, и это по ее наущению слова «пастух» и «погибель» соединились у тебя в голове, ибо сам ты до такого не додумался бы и причины этого ведомы ей, а не тебе. Я предупреждала тебя, с силой произнесла Мария. Поздно спохватилась, матушка, зло — если только это зло — было уже содеяно, ибо я смотрю на себя и себя не вижу. Нет слепца слепее того, кто не хочет видеть. Эти слова почему-то особенно задели Иисуса, отвечавшего ей с горьким упреком: Замолчи, женщина! Ибо если глаза сына твоего и увидели зло, то сначала все же предстало оно твоим глазам, а я, хоть ты и считаешь меня слепцом, видел такое, чего ты не видела никогда и уже никогда не увидишь. Загадочны были его последние слова, но Мария, покорная воле своего первенца и подавленная тоном его, сухим и суровым, повиновалась, но в ответе ее все же слышалось предупреждение: Прости меня, я не хотела тебя обидеть, дай Бог, чтобы вовеки не замутился свет твоих глаз и свет души. Иаков в недоумении переводил взгляд с матери на старшего брата: он понимал, что они ссорятся, но о давних причинах, могущих объяснить эту ссору, представления не имел, а новым причинам просто не хватило бы времени. Иисус направился в дом, на пороге задержался и сказал Марии: Отправь младших; мне надо поговорить с тобой, Иаковом и Иосифом. Так и было сделано, дом, еще минуту назад заполненный ребятишками, вдруг опустел, и сели на пол четверо: Мария, по обе стороны от нее — Иаков с Иосифом, а напротив — Иисус. Долгое наступило молчание, словно все по взаимному соглашению решили дать детям — предстоящий разговор для их ушей не предназначался — время отойти так далеко, чтобы даже и эхо криков их не проникло в дом. Наконец Иисус, медленно роняя слова, промолвил: Я видел Бога. Прежде всего лица матери и братьев выразили священный ужас, тут же сменившийся осторожным недоверием, а между этими чувствами мелькнуло в глазах Иакова нечто похожее на злорадное подозрение, в глазах Иосифа — восторженная оторопь, и тень горестного смирения пронеслась в глазах Марии. Никто из них, однако, не решался заговорить, и затянувшееся молчание нарушил Иисус. Я видел Бога, повторил он. Если, по народному присловью, внезапно наступившее молчание есть следствие того, что тихий ангел пролетел, то сюда слетелся целый сонм: Иисус сказал все, родные же его не знали, что сказать, и вскоре каждый из них встанет да пойдет по своим делам, ибо у каждого — своя жизнь, спрашивая себя мысленно, в самом ли деле приснился им сон, поверить в который никак невозможно. Однако молчание, если дать ему время, обладает тем достоинством, вроде бы противоречащим ему, что понуждает говорить. И вот, когда напряженное ожидание выдержать было уже невозможно, Иаков задал вопрос — безобиднейший из всех мыслимых, ни к чему не обязывающий и бессмысленный — одним словом, чисто риторический: Ты уверен? Иисус, не отвечая, только глянул на брата так примерно, как глядел, надо думать, на него самого Бог из облака, и повторил в третий раз: Я видел Бога. Мария ни о чем не спросила, а сказала только: Привиделось. Он говорил со мной, ответил Иисус. Иаков, оправясь от замешательства, решил, что у брата не все дома — ну что за вздор такой: Бог с ним говорил, — и с насмешливой улыбкой сказал: Не он ли и деньги подложил в твою котомку? Иисус покраснел, но ответил сухо: Все, что приходит к нам, приходит от Господа, он отыскивает и пролагает пути, ведущие к нам, и деньги эти пришли ко мне не от

него, но при его посредстве. А скажи-ка, где же ты повстречал его, во сне это было или наяву? В пустыне, я искал отбившуюся от стада овцу, когда он окликнул меня. Что же он сказал, если тебе позволено повторить его слова? Сказал, что однажды попросит у меня мою жизнь. Жизнь каждого из нас и так принадлежит Господу. Вот так и я ему ответил. А он что? Что в обмен на жизнь мою даст мне власть и славу. Переспросила Мария, словно не веря своим ушам: Власть и славу взамен жизни? Да. Да зачем же власть и слава тому, кого уж нет на свете? Не знаю. Ты грезил. Я бодрствовал, я искал овцу в пустыне. А когда же попросит он у тебя твою жизнь? Не знаю, он сказал только, что явится мне снова, когда я буду готов. Иаков поглядел на брата не без тревоги и высказал предположение: Там, в пустыне, тебе, должно быть, голову напекло, вот и все, а Мария вдруг спросила: А овца? Что с овцой? Господь потребовал, чтобы я принес ее в жертву, как залог нашего с ним союза. Эти слова возмутили Иакова: Ты богохульствуешь, брат: Господь заключил союз со всем своим народом, а не с одним тобой, простым, обыкновенным человеком, сыном плотника, пастухом и еще невесть кем. Мария, судя по выражению ее лица, с крайним напряжением ловила какую-то мысль, точно боялась, что нить ее вот-вот оборвется, но вот поймала кончик и задала тот вопрос, который должна была задать: Что это была за овца? Овца, что выросла из ягненка, который был со мной, когда мы встретились под Иерусалимом, у Рамалы, я хотел отказать Богу в ягненке, и он взял у меня овцу. Ну а какой он из себя? Он явился мне облаком. Облаком? Облаком, подобным столбу дыма. Нет, ты и вправду сошел с ума! — воскликнул Иаков. Если и так, то по воле Господа. Дьявол обуял тебя! — уже не сказала, а выкрикнула Мария. В пустыне я встретил не Дьявола, но Бога, и если я обуян Дьяволом, то опять же по воле Господа. Дьявол обуял тебя при рождении. Да? Да, ты прожил с ним и вдали от Бога четыре года. И на исходе четвертого года Бога встретил. Ужас и ложь изрекают твои уста. Я твой сын, ты произвела меня на свет: верь мне или отринь меня. Я не верю тебе. А ты, Иаков? Я не верю тебе. А ты, Иосиф, ты, носящий имя нашего отца? Я верю тебе, но не словам твоим. Иисус поднялся, оглядел всех троих с высоты своего роста и сказал: Когда исполнится во мне обещанное Богом, тогда придется вам поверить тому, во что не верите сейчас. Он подобрал котомку, взял свой посох, надел сандалии. Уже в дверях вытащил деньги, разделил их надвое: Это пусть будет приданым для Лизии — и монетка к монетке сложил их на пороге, — а это я верну в те руки, из которых получил их, может быть, и они станут приданым. Снова повернулся к двери, собираясь уйти не простившись, но Мария сказала: Я заметила, что в суме твоей нет чашки. Была, да разбилась. Вон на очаге лежат четыре, выбери себе любую. Иисус поколебался, ибо хотел уйти из этого дома с пустыми руками, но потом все же подошел к очагу, где одна в другой стояли чашки. Выбери любую, повторила Мария. Иисус глянул и выбрал: Вот эту, самую на вид старую. Ты выбрал ту, что тебе понравилась, почему? Она черна, как земля, она не разобьется, не выщербится. Он сунул ее в котомку, стукнул посохом оземь: Скажите еще раз, что не верите мне. Мы не верим тебе, сказала мать, и теперь еще меньше, чем прежде, ибо чашку ты выбрал, отмеченную печатью Дьявола. В эту минуту, всплыв из самых глубин памяти, прозвучали в ушах Иисуса слова Пастыря: Будет у тебя другая, она не разобьется, пока ты жив. Веревка протянулась во всю свою длину и вот свернулась кольцом, и на наших глазах стянулись концы ее в узел. Во второй раз уходит Иисус из отчего дома, но теперь не скажет: Вернусь, так или иначе, но вернусь. Оставляя за спиной Назарет, он спускается по склону первого холма и думает о простом и печальном: что, если не поверит ему и Мария Магдалина?

Этому человеку Бог обещал власть и славу, но, кроме как к блуднице из Магдалы, идти ему некуда. К пастве своей вернуться он не может — «Уходи», сказал ему Пастырь, дома остаться нельзя — «Мы не верим тебе», сказали ему домашние его, и потому шаг его неуверен: он боится идти, он боится прийти, он словно бы опять оказался в пустыне. Кто я, спрашивает он, но ни горы, ни долы не отвечают, и даже небо, которое куполом покрывает все, а потому всеведуще, молчит, а вернись он домой и задай тот же вопрос матери, она скажет, наверно: Ты сын мой, но я тебе не верю, и потому сейчас самое подходящее время присесть на камень, от сотворения мира ожидающий его, присесть и поплакать от одиночества и бесприютности, ведь неизвестно, соберется ли Бог явиться ему вновь, пусть хоть облаком или дымным столбом, лишь бы только промолвил: Ну, это никуда не годится, с чего же это ты расхныкался, у каждого случается черная полоса в

жизни, но есть одна очень важная штука, никому никогда о ней не говорил, а тебе скажу: все, понимаешь ли, относительно, и самое скверное покажется терпимым, если представить, что могло быть и хуже, так что вытри слезы, веди себя как подобает мужчине, ты ведь уже помирился с отцом, чего же тебе еще, а касательно размолвки с матерью, я, когда время придет, сам этим займусь, мне, по совести сказать, не очень-то по душе история с Марией из Магдалы, все же она потаскуха, ну да ладно, дело твое молодое, одно другому не мешает, ибо всему свое время — время есть и время поститься, время грешить и время каяться, время жить и время умирать. И тыльной стороной ладони Иисус вытер слезы: чего это он, в самом деле, расхныкался, и нечего сидеть здесь целый день, пустыня она пустыня и есть, она обступает нас, окружает нас и по-своему оберегает нас, но ничего не дает, и когда солнце вдруг заволакивают тучи, мы говорим: Вот, даже небо на нашей стороне, — и глупость говорим, потому что бесстрастное и беспристрастное небо держит строгий нейтралитет, и нет ему дела ни до радостей наших, ни до скорбей. По дороге из Назарета идут люди, Иисусу не хочется давать им пищу для насмешек: вот, мол, у самого борода уже, а плачет, как младенец, которому грудь не дают. Встречаются на дороге путники, кто вверх по склону, кто вниз, и приветствуют друг друга витиевато и многословно, но лишь после того, как убедятся, что у встречного — добрые намерения, ибо в здешних местах попадаются в избытке и лихие люди. Есть среди них и настоящие злодеи наподобие тех, что лет пять назад напали на Иисуса, направлявшегося избыть свои печали в Иерусалим, и обобрали его до нитки, а есть и одушевленные высокими помыслами повстанцы, которые не промышляют на большой дороге, а лишь изредка прячутся вдоль нее для скрытного наблюдения за продвижением воинских колонн с тем, чтобы в удобном месте устроить римлянам засаду, или для того, чтобы, не таясь, отобрать золото, серебро, всякое иное ценное достояние у богатых, как мы бы теперь назвали их, коллаборационистов, которых никакая охрана не сможет спасти от расправы. Не был бы Иисус восемнадцатилетним, если бы воображение, подстегнутое видом этих величественных гор, в отрогах и ущельях которых скрывались продолжатели дела Иуды Галилеянина, не нарисовало ему тотчас картины битв, если бы он не принялся раздумывать, как поступит в том случае, если выйдут навстречу ему на дорогу повстанцы, не предложат примкнуть к их отряду, сменив прелести мирной, хоть и скудной жизни на бранную славу, на власть победителя, ибо возвещено в Писании о пришествии некоего Посланца или Мессии, которого пришлет Господь, чтобы раз и навсегда освободил он народ его и свой от угнетателей и чтобы укрепил мышцу его для грядущих битв. Ветром безумной надежды и необоримой гордыни пахнуло ему в лицо, закружило голову, и плотников сын на умопомрачительно краткий миг увидел вдруг себя воином, военачальником, мужем брани, одного появления которого с мечом в руке достаточно, чтобы надменные легионы дрогнули и отступили, ударились в бегство столь поспешное и беспорядочное, словно сенат и народ римский обратились в обуянных всеми бесами свиней. Но в этот миг — о горе нам! — вспомнил Иисус, что славу и власть, возвещенные ему, он обретет, но обретет после смерти, а потому надо как можно лучше распорядиться отмеренными ему годами жизни, так что воевать он пойдет с одним непременным условием — чтобы в перерыве между боями разрешали ему покидать войско и проводить несколько дней с Марией Магдалиной, ибо даже в сем стане освободителей не водится такого, что маркитантка — назовем ее так — лишь одному солдату дарит свою любовь, а других ею обделяет, а это уже не любовь, но блуд, с блудом же Мария Магдалина, по ее словам, покончила навсегда. Дай-то Бог, потому что Иисус испытал подъем и прилив сил при одном воспоминании о женщине, которая, исцелив одну его мучительную рану, нанесла ему другую, вселив в него нестерпимое вожделение, и любопытно было бы знать, как поведет он себя, оказавшись перед закрытой дверью с вывешенным над ней на шесте полотнищем, — ведь не стоит ручаться головой, что за ней обнаружит он то, что в воображении своем оставил, — существо, живущее ожиданием, ожиданием его души и его тела, ибо Мария Магдалина одно без другого не признает. День клонится к вечеру, вдалеке уже виднеются домики Магдалы, сбившиеся гуртом, как овцы, но дом Марии — как овца отбившаяся, и его отсюда не видно из-за огромных камней, что окаймляют петляющую дорогу. В какой-то миг Иисус вспоминает ту овцу, которую пришлось ему убить, чтобы кровью ее скрепить навязанный ему Богом договор, и в голове его,

освободившейся уже от помыслов о битвах и победах, возникает, тревожа его, иная мысль: ему кажется, что он снова ищет ту овцу, но не затем, чтобы зарезать, и не затем, чтобы вернуть ее в стадо, — нет, чтобы вместе с нею подняться к нетронутым пастбищам, а они — надо только поискать хорошенько — наверняка есть в нашем обширном и столькими ногами исхоженном мире, овцы же, каковыми мы все и являемся, обнаружат заповедные уголки и нежданные кручи: тут, правда, искать придется еще усердней. Иисус стал перед воротами, несмелой рукой убедился, что они заперты изнутри. Полотнище по-прежнему было вывешено над ними. Мария Магдалина посетителей не принимает. Иисусу достаточно было позвать, подать голос, сказать: Это я, — чтобы тотчас донесся ликующий отклик: Голос возлюбленного моего! Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, — но он предпочел молча стукнуть кулаком раз и другой и подождать, пока отворят. Кто там и зачем, спросили из дома, и дурная мысль изменить голос и притвориться гостем, принесшим с собой деньги и зуд любовного нетерпения, пришла в голову Иисусу, сказать, к примеру: Отвори, лилия долины, отвори, не пожалеешь, не поскуплюсь ни на ласки, ни на серебро, но все же — он ли изменил голос, или голос ему — произнесено было то, что и следовало: Это я, Иисус из Назарета. А Мария отворила не сразу, ибо голос был незнакомый, а кроме того, ей не верилось, что так скоро — минула лишь ночь, да день прошел — вернулся к ней возлюбленный ее, тот, кто обещал: Назарет недалеко, я как-нибудь приду к тебе, о, как часто говорим мы такие и подобные слова, только чтобы обрадовать того, кто внимает нам, а «как-нибудь» может значить и через три месяца, но только не завтра. Но вот она отпирает и бросается в объятия Иисуса, и смятение ее столь сильно, что рождает нелепую мысль — он вернулся потому, что рана на ноге вновь открылась, — и с этой мыслью она вводит его в дом, усаживает и придвигает светильник: Как твоя нога, покажи ногу, но Иисус отвечает: Нога давно зажила, разве не видишь. Не вижу, могла бы ответить на это Мария Магдалина, и это была бы чистейшая правда, ибо глаза, полные слез, видеть не могут. Понадобилось припасть губами к запыленному своду его стопы, бережно развязать стянутые вокруг лодыжки ремни его сандалий, кончиками пальцев прикоснуться к тонкой молодой кожице, затянувшей рану, чтобы она убедилась в том, что мазь оказала ожидаемое целебное действие, чтобы поверить, от самой себя тая эту мысль, что и ее любовь помогла.

Покуда ужинали, Мария Магдалина вопросов не задавала, а всего лишь хотела знать — излишне говорить, что это не одно и то же, — как он добрался, не было ли по пути неприятных встреч и прочее, в том же незамысловатом роде. Окончив же трапезу, замолчала и молчания не нарушала, ибо не ее был черед говорить. Иисус поглядел на нее пристально и внимательно, словно стоял на высоком утесе, соразмеряя силы перед прыжком в море: так смотрят не затем, чтобы угадать, не таятся ли в глубине хищные твари или острые верхушки рифов, а всего лишь чтобы спросить себя, хватит ли отваги кинуться вниз. Всего неделю знает он эту женщину, а это целая вечность или, по крайней мере, срок достаточный, чтобы увериться: если он придет к ней, она раскроет ему объятия, предложит ему себя и свое тело, но страшно, все равно страшно ему сообщить ей, хоть время для этого безусловно приспело, что лишь несколько часов назад его отвергли люди, родные ему по крови, но чужими оказавшиеся по духу. Иисус колеблется, не зная, по какой дороге лучше пустить слова, и вместо длинного и необходимого объяснения с уст его слетает фраза, произнесенная для того, чтобы выиграть время, хотя ничего ею выиграть нельзя, можно только потерять — и время тоже: Удивилась, наверно, что я так скоро? Я начала ждать тебя с той минуты, как ты вышел за ворота, времени от ухода до прихода не считала и не стала бы считать, если бы ты вернулся через десять лет. Иисус улыбнулся, чуть пожал плечами — пора бы уж знать, что с этой женщиной ни притворство, ни околичности не нужны. Они сидели на полу, лицом друг к другу, стоявшая между ними плошка освещала остатки ужина. Иисус взял кусок хлеба, разломил его надвое и сказал, протягивая одну половину Марии: Да будет он хлебом истины, съедим его, дабы не усомниться ни в чем, что бы ни было тут сказано и услышано. Да будет так, сказала Мария. Иисус съел хлеб, дождался, пока доест свою долю она, и в четвертый раз за последние сутки произнес: Я видел Бога. Магдалина сидела как сидела, только руки ее, сложенные на коленях, чуть шевельнулись. Об этом ты обещал сказать мне, если мы увидимся вновь?

Об этом, и чем больше всякого случалось со мной с тех пор, как четыре года назад я ушел из дому, тем яснее я вижу, что все это как-то связано одно с другим, но почему и для чего, объяснить не умею. Я, сказала Магдалина, все равно что собственные твои уста и уши: все, что ты скажешь мне, будет, словно ты сказал сам и от себя самого услышал, я — всего лишь то, что есть в тебе. Теперь Иисус мог начать рассказывать: оба преломили и съели хлеб истины, а истина в том, что немного в жизни таких часов, как этот. Ночь перетекла в зарю, дважды умирал и дважды воскресал светильник, и история Иисуса была поведана вся, с теми подробностями, которые даже мы сочли не заслуживающими внимания, со многими и многими мыслями, которые остались неведомыми не потому, что Иисус утаил их от нас, а по той простой причине, что и евангелист, согласитесь, не может поспеть всюду. Когда Иисус перешел к тому, что последовало за его возвращением в Назарет, голос его вдруг сделался усталым, и в смятении и тоске он замолчал, не зная, рассказывать ли, как колебался, томимый недобрым предчувствием, перед тем как постучать в двери отчего дома, и тогда Магдалина, в первый раз за все это время нарушив молчание, задала вопрос, но видно было, что она наперед знает ответ: Мать не поверила тебе? Не поверила. И ты пришел сюда, в этот дом? Да. Все на свете отдала бы я, чтобы оказаться в силах солгать тебе и сказать, что я тоже тебе не верю. Но почему? Потому что тогда бы ты покинул и этот дом тоже, как покинул отчий, а мне, раз я тебе не верю, не надо было бы следовать за тобой. Пусть так, но это не ответ на мой вопрос. Верно, не ответ. Ответь тогда. Если я не верю тебе, мне не придется пережить вместе с тобою то ужасное, что предстоит тебе. Как можешь ты знать об этом? Я ничего не знаю о Боге, кроме того, что одинаково страшно быть и избранником его, и тем, кто навлек на себя его гнев. С чего ты взяла? Надо быть женщиной, чтобы понимать, каково жить с человеком, которого отверг Бог, а от тебя, чтобы жить и умереть достойно избранника Бога, потребуется в тысячу раз больше, чем от обыкновенного мужчины. Ты пугаешь меня, Магдалина? Я хочу рассказать тебе вот что: однажды приснился мне младенец, появился невесть откуда, возник неведомо как и сказал, что Бог — страшен, сказал и исчез, и я не знаю, кто он и чей. Подумаешь, сон. Уж кому-кому, но не тебе произносить это слово с таким пренебрежением. Ладно, а что было потом? Потом, потом я занялась своим ремеслом. Но теперь-то ты оставила его. Но сон мой никто не опроверг, даже после того как вошел в мою жизнь ты. Ну-ка, повтори те слова, что произнес младенец. Бог — страшен. Иисус снова увидел пустыню, и мертвую овцу, и ее кровь на песке, услышал удовлетворенный вздох, донесшийся из столпа облачного, и сказал так: Может быть, может быть, но все же — одно дело услышать такое во сне, и совсем другое — увидеть наяву, прожить это в жизни. Дай Бог, чтобы тебе не пришлось это познать. От судьбы не уйдешь. А твоя судьба тебе уже возвещена — ты получил первое и важное знамение. Над Магдалой и над всем прочим миром медленно вращается небесное решето, доверху набитое звездами. В каком-то углу бесконечности или бесконечно заполняя ее собой, двигает фигурки или бросает кости Бог, занятый какой-то иной игрой: до этой руки пока не дошли, он всего лишь сделал так, чтобы события шли своим естественным порядком, и разве что чуть-чуть, кончиком мизинца подпихнет застрявшее деяние или мысль, чтобы не нарушали неумолимую гармонию судеб. А потому ему не слишком интересно, о чем дальше говорили Магдалина и Иисус. Что теперь собираешься делать? — спросила она. Ты сказала, что пойдешь со мной куда угодно. Я сказала, что буду с тобой там, где будешь ты. Какая разница? Никакой, это значит всего лишь, что ты можешь остаться здесь столько, сколько пожелаешь, если только тебе не претит жить в доме, где я торговала собой. Иисус, задумчиво помолчав, ответил: Попробую найти работу в Магдале, и мы будем жить с тобою как муж и жена. Это слишком много, мне довольно, если ты позволишь быть у ног твоих.

Никакой работы в Магдале Иисус не нашел, зато вдосталь наслушался и насмешек, и гнусных шуточек, и оскорблений, и чего же другого можно ожидать в том случае, когда едва оперившийся птенец спознается с женщиной, известной всей округе: Погодите, говорили про него, еще неделька пройдет — увидим, как он сидит на пороге, пока она принимает очередного посетителя. Две недели Иисус терпел, а потом сказал Марии: Я ухожу. Куда? К морю. Они ушли на рассвете, и жители Магдалы ничем не смогли поживиться, ничего не успели вынести из горящего дома.

Несколько месяцев спустя, зимой, в дождливую холодную ночь, ангел вошел в дом Марии из Назарета, и никто из детей не проснулся, не заметил его появления — только она одна, да и могло ли быть иначе, если ангел прямо к ней обратился вот с такими словами: Тебе надлежит знать, Мария, что в то утро, когда понесла ты в первый раз, семя Господа смешалось с семенем мужа твоего Иосифа, но не он, законный твой муж, а Господь зачал в тебе сына твоего Иисуса. Мария, несказанно удивившись такому сообщению, суть которого, к счастью и несмотря на косноязычие принесшего его вестника, дошла до нее ясно, спросила: Стало быть, Иисус — сын мой и Господа? Женщина, что за непочтительность, как смеешь ты ставить себя на первое место, должно говорить «сын Господа и мой». Сын Господа и твой? Да не мой, а твой. Ты вконец меня запутал, задурил мне голову, отвечай толком, чей сын Иисус? Сын Божий, а ты в данном случае лишь зачала его, выносила и родила. Стало быть, Господь не избирал меня? Ну как тебе сказать: Господу в ту пору случилось быть поблизости, об этом можно было догадаться по одному тому, какого невиданного цвета сделалось небо, но он заметил, что ты и муж твой — люди здоровые, сложены без изъяна и порока, и, если ты еще не забыла, как и в чем проявляется желание, он пожелал тебя, и в итоге девять месяцев спустя появился на свет Иисус. А можно ли быть вполне уверенной, что понесла я своего первенца от Господа? Щекотливый вопрос, ты, милая, хочешь от меня не больше и не меньше как установления отцовства, а я тебе скажу, что в подобных обстоятельствах, какие анализы ни делай, какие пробы ни проводи, как ни считай кровяные тельца, вполне уверенной быть все же нельзя. Горе мне, бедной, слушая тебя, я подумала было, что Господь избрал меня в то утро в жены себе, а теперь получается, что дело более чем темное, может, так, а может, иначе, и, знаешь, зря ты спустился с небес к нам в Назарет, только вселил в меня сомнения, но если хочешь знать, что я сама по поводу всего этого думаю, отвечу тебе с полной откровенностью: сын Господа, пусть и выношенный в моем чреве, и при рождении, и потом, возрастая, должен быть схож с Господом и лицом, и станом, и речами, а я вижу, хоть материнская любовь и слепа, что мой сын Иисус этим требованиям не удовлетворяет. Мария, первая твоя ошибка в том, что ты считаешь, будто я пришел сюда для того лишь, чтобы рассказать о давнем любовном похождении Вседержителя; вторая же твоя ошибка в том, что ты полагаешь, будто красота и красноречие человека сотворены по образу и подобию Господа, тогда как сам Господь — ты уж мне поверь, я, так сказать, вхож к нему, — так вот, он, Господь наш, — полная противоположность тому, каким вы, люди, воображаете его себе, и — я, по крайней мере, так считаю, только это строго между нами — другим быть и не смог бы, и гораздо чаще приходится слышать от него слово «нет», а не слово «да». А я-то всегда думала, что это Дьявол все подвергает сомнению, все отрицает. Нет, дочь моя, Дьявол отрицает самого себя, и если ты всем сердцем не воспримешь этого различия, никогда не узнаешь, кому принадлежишь. Господу, конечно. Вот-вот, говоришь, что принадлежишь Господу, а сама между тем впала в третье и самое пагубное заблуждение, ибо не поверила сыну своему. Иисусу? Кому ж еще, никто из других твоих детей Бога не видел и не увидит никогда. Скажи мне, ангел Господень, значит, сын мой Иисус в самом деле видел Бога? Да, видел и, как малое дитя, которое, впервые в жизни найдя птичье гнездо, бежит показать его матери, поспешил к тебе поделиться, а ты, маловерная, сказала, что этого быть не может, что гнездо пустое, а если и есть в нем яйца, то протухли они, а если нет в нем яиц, то, значит, змея их съела. Прости меня, ангел мой, за мои сомнения. Это ты мне говоришь или сыну? Тебе и ему, вам обоим. Как избыть мне мою вину?! Материнское сердце подскажет как. Должно быть, надо разыскать его и сказать, чтобы простил меня и вернулся домой, где в должное время воззовет к нему Господь. По правде говоря, не знаю, удастся ли тебе задуманное: эти мальчишки — ужасно обидчивый народ, боюсь, как бы не пришлось тебе услышать скверные слова, как бы не захлопнулась у тебя перед носом дверь. Если такое случится, во всем будет виноват тот демон, тот бес, что вселился в Иисуса и погубил его, и я, право, не понимаю, почему Господь — отец все же! — так мирволит и попустительствует ему, его бы надо приструнить. Ты про кого? Да про этого пастуха, с которым сын мой четыре года пас стадо, а от стада этого ни прибытка, ни проку. А-а, это ты про Пастыря. Ты его знаешь? В школе вместе учились. Зачем же Господь дозволяет ему землю топтать да жить

припеваючи?! Затем, что того требует миропорядок, но последнее слово все равно останется за Господом, вот только никому не ведомо, когда прозвучит оно, но не сомневайся — проснемся мы в один прекрасный день поутру и увидим, что зла в мире нет, а теперь мне пора, если что хочешь спросить, спрашивай. Только об одном. Слушаю. Зачем Господу мой сын? Ну, «сын» — это ведь только так говорится. В глазах людей Иисус — мой сын. Зачем он Господу, ты спрашиваешь, и это хороший, очень, я бы сказал, хороший, дельный вопрос, вот с ответом дело обстоит хуже, ответа-то у меня пока нет, видишь ли, кроме них двоих, никто этого не знает, да, боюсь, и сам Иисус знает ненамного больше, чем сказал тебе. Мне он сказал, что обретет по смерти власть и славу. Насчет этого я в курсе. Но что придется совершить ему в жизни, чтобы заслужить обещанные Господом дива? Ну-ну-ну, неужто и впрямь, темная ты женщина, полагаешь, что в глазах Господа имеет хоть малейшую цену, хоть ничтожнейшее достоинство самонадеянно произнесенное тобою слово, какие еще заслуги могут быть у вас, ничтожных рабов, кроме покорного исполнения Божьей воли? Ладно, больше не скажу ни слова, я и в самом деле — раба Божья, да будет во мне по слову его, только ответь, где мне теперь отыскать сына, ведь уже минуло столько месяцев, как ушел он из дому? Ищи, исполняй свой долг, как Иисус, исполняя свой, искал заблудшую овцу. Искал, чтобы предать ее смерти. Не бойся, тебе это не грозит, а вот ты, если не будешь с ним в час смерти, убьешь его. Почем ты знаешь, что я переживу его? Мне ли не знать: я близок к тем сферам, где принимаются решения, а теперь прощай, ты спросила обо всем, что хотела узнать, хоть, быть может, не обо всем, что должна была, но это уж не моя печаль. Объясни мне. Ты сама себе все объяснишь, — и с этими словами исчез ангел, и Мария открыла глаза. Дети ее спали: трое старших, Иаков, Иосиф, Иуда, — в одном углу, трое младших, Симон, Иустин и Самуил, — в другом, а по обе стороны от нее, как всегда, — девочки, Лидия и Лизия, и тут глаза Марии, и так ошеломленной явленными ангелом истинами, буквально полезли на лоб от изумления: старшая дочь лежала, вся раскинувшись, разметавшись и заголясь, взбив рубаху выше грудей, прерывисто вздыхая и томно улыбаясь в глубоком сне, и легкая испарина блестела на лбу ее и над верхней губой, разгоревшейся и вспухшей, как от поцелуев. Столь недвусмысленны были все эти приметы, что, не будь Мария совершенно уверена, что был здесь только и только что словоохотливый ангел, впору было бы возопить, что некий демон-инкуб, коварно овладевающий по ночам спящими женщинами, воспользовался неосторожностью невинной девицы, покуда мать была отвлечена разговором, и вполне вероятно — просто мы этого не знали доселе, — что ангелы эти всегда работают в паре, и покуда один для отвода глаз заводит россказни, другой молча свершает свой actus nefandus[1], — впрочем, это мы так, отдаем дань речевой традиции, ибо ничего особо нефандного в сем акте нет — и, скорей всего, на следующий раз они меняются местами и ролями, чтобы в полной мере прочувствовать благодетельное двуединство плоти и духа. Мария как смогла привела дочь в пристойный вид, натянув задравшуюся рубашку до того места, которому уж во всяком случае подобает быть скрыту, разбудила и вполголоса спросила в упор: Что тебе снилось? Захваченная врасплох Лизия не могла ни лгать, ни отпираться и ответила, что снился ей ангел, но только он ничего ей не говорил, а всего лишь глядел на нее, и до того нежно и сладостно сделалось ей от этого взгляда, что, наверно, и в раю лучше не бывает. Он не прикасался к тебе? — спросила Мария, и Лизия ответила: Не на то даны глаза нам. Мария, сама не зная, успокоиться ли ей или встревожиться еще пуще от того, что происходило у нее под боком, все так же тихо произнесла: Знаешь, мне тоже приснился ангел. А твой говорил с тобой или тоже молчал? — в невинности своей вопросила Лизия. Говорил, и вот что он мне говорил: твой брат Иисус не солгал нам — ну, насчет того, что видел Бога. Ах, мама, как же нехорошо, что мы не поверили словам Иисуса, а он ведь мог и рассердиться на нас и, пожалуй, забрать деньги, что дал мне в приданое. Однако не забрал же; теперь надо придумать, как нам загладить вину. Но ведь мы не знаем, где он, вестей о себе он не подает, вот ангел бы мог нам помочь, ангелы, они все знают. Однако не помог же, а сказал только, что долг наш — разыскать Иисуса. Но если он и вправду видел Бога и говорил с ним, наша жизнь отныне изменится. Изменится, и к худшему, ибо, если мы с тобой не поверили ему и словам его, думаешь,

[1] Гнусное деяние (*лат.*).

другие поверят, — не бегать же нам по Назарету с криком «Иисус видел Бога, Иисус видел Бога», нас камнями побьют. Но раз Господь избрал его, он защитит нас, его родных. Напрасно ты в этом так уверена: когда Господь избирал нашего Иисуса, нас при этом не было, а для Бога нет ни родителей, ни детей, вспомни про Авраама и сына его Исаака. Ах, мама, какая печаль! Самое разумное — утаить это все в душе и говорить об этом как можно меньше. И все же, как быть? Завтра я пошлю Иакова и Иосифа на поиски брата. Где же они будут его искать — Галилея велика, а если он отправился в Самарию, в Иудею, в Идумею, они вовсе на краю света. Скорей всего, брат твой пошел к морю: помнишь, когда он был у нас, говорил, что подружился с рыбаками? А может, он опять пасет стадо? Нет, это время миновало. Откуда ты знаешь? Спи, Лизия, до утра еще далеко. Может быть, снова приснятся нам с тобой наши ангелы? Может быть. Но если даже ангел Лизии, отделавшись от своего напарника, пришел к ней во сне, она этого не заметила, а ангел-вестник, если и позабыл сообщить Марии некую важную подробность, вернуться к ней никак не мог, потому что до утра она просидела, не смыкая глаз, в полумраке: для невеселых дум с лихвой хватало и того, что было ей известно, предугадываемое же томило ее страхом.

Родился день, свернули циновки, и Мария, собрав свое семейство, сообщила ему, что много думала в последнее время о том, как обошлись они с Иисусом. Прежде всего мне самой, матери, следовало проявить к нему больше и ласки и понимания, а потому приняла я решение ясное и справедливое: надо нам отыскать его, попросить, чтоб вернулся домой, и сказать, что мы верим ему, и раз уж хочет того Господь, то поверим и его словам, — так сказала Мария своим детям, сама не заметив, что повторяет то, что сказал брату здесь же присутствующий Иосиф в горестный час отлучения Иисуса от дома, и как знать, не остался бы он у родного очага, если бы это бормотание, которое мы в ту пору еле расслышали, подхватили голоса всех остальных. Мария ничего не сказала ни об ангеле, ни о том, что тот возвестил ей, а вела речь лишь о простом долге младших братьев и сестер перед перворожденным. Иаков не решился возразить матери, хотя в глубине души пребывал в полной уверенности, что брат его лишился рассудка либо — в самом лучшем случае, который тоже не надо сбрасывать со счетов, — стал жертвою чьего-то жестокого и кощунственного розыгрыша. Наперед зная, что ответит ему мать, он спросил: Кто же из нас пойдет на поиски Иисуса? Ты и пойдешь, как следующий по старшинству, а с тобой пойдет Иосиф, вдвоем веселей и безопасней. И откуда же нам приниматься за поиски? Ступайте к морю Галилейскому, я уверена, что там вы найдете его. Когда ты хочешь, чтобы мы вышли? Минуло уже несколько месяцев с того дня, как ушел Иисус, а потому и часу терять нельзя. Погляди, какой ливень, в такую непогоду плохо пускаться в путь. Сын мой, обстоятельства всегда могут породить необходимость, но порою необходимость так сильна, что создает обстоятельства. Дети с удивлением воззрились на мать, поскольку не привыкли слышать от нее столь отточенные сентенции и в силу нежного своего возраста еще не могли понять, что посещения ангелов даром не проходят и приводят еще и не к таким блистательным результатам, чему лучшее доказательство — то, как в этот самый миг в знак согласия со словами матери не кивнула, а медленно и томно склонила головку Лизия. Тем и завершился семейный совет, и Иаков с Иосифом отправились посмотреть, не разгулялась ли погода, ибо раз уж выпало им на долю идти разыскивать брата в месяц дождей, то хотелось, по крайней мере, со двора выйти и не вымокнуть до нитки, и небо вроде бы сжалилось над ними, приоткрыв как раз над Галилейским морем голубой просвет в тучах, обещавший, что день будет сухим. Простились в доме, ибо, по разумению Марии, не следует соседям знать больше, чем следует, и братья тронулись наконец в путь, но не по дороге в Магдалу, поскольку не было у них никаких оснований считать, что туда пошел Иисус, а другим путем, что прямиком и в скором времени должен был привести их к новому городу Тивериада. Дороги раскисли от дождей, и потому братья шли босиком, рассудив, что лучше оставить сандалии на дне котомки, чем в жидкой грязи. Иаков выбрал дорогу на Тивериаду по двум причинам: во-первых, ему, деревенскому жителю, до смерти хотелось полюбоваться дворцами, храмами и прочими грандиозными постройками, о которых он столько слышал, а во-вторых, город, как было ему известно, располагался на побережье Тивериадского моря, как раз между северной и южной оконечностями, то есть на полпути. Сколько продлятся поиски, сказать

не мог никто, а жить-то ведь чем-то надо, и Йаков, пропустив мимо ушей утверждения благочестивых назореев о том, что из-за сернистых источников, будто бы отравлявших воздух, место это нечистое, рассчитывал подзаработать на стройке. Однако до вечера они в Тивериаду не добрались — небо обещаний своих не исполнило: часу не прошло, как снова полило, и счастье еще, что успели братья найти пещеру и укрыться в ней, прежде чем дождь превратился в ливень, который просто смыл бы их с дороги, как мусор. Там, в пещере, они и заночевали, а наутро, наученные горьким опытом, наружу не вышли, пока не убедились, что распогодилось окончательно и только-только просохшая их одежда не вымокнет снова. В Тивериаде они нанялись тесать камень: дело было новое и незнакомое, а потому оба весьма обрадовались, обнаружив через несколько дней, что заработали достаточно — и не потому, что Ирод Антипа так уж щедро платил своим строителям, а потому, что потребности их были столь ничтожны и возникали столь редко, что можно было бы и вовсе пренебречь их удовлетворением. Там же, в Тивериаде, начали они расспрашивать, не видал ли кто, не проходил ли тут некий Иисус из Назарета, он нам приходится родным братом, росту примерно вот такого, выглядит так-то и так-то, а один он был или нет, сказать затрудняемся. Отвечали им, что, мол, здесь такого вроде не видали, и, обойдя все стройки, убедились Иаков с Иосифом, что в Тивериаду Иисус не заходил, и ничего удивительного: зачем ему ворочать тяжелые камни под понуканье тяжелых на руку десятников, если он хотел вернуться в свое первоначальное рыбачье состояние, а море — вон оно, совсем рядом. Итак, денег братья хоть и немного, но заработали, и теперь им предстояло решить, на юг ли им двигаться по берегу от деревни к деревне, от артели к артели, от баркаса к баркасу, повсюду расспрашивая про Иисуса, или на север. Иаков выбрал юг — дорога показалась ему легче, ровнее и глаже, тогда как к северу не ландшафт был, а, можно сказать, беда. Погода установилась, дожди уже пролились, потеплело немного, и человек с более изощренными, чем у наших юнцов, природными чувствами уже сумел бы ощутить в самом воздухе и в трепетании земли первое робкое предвестие весны. И предпринятая по-материнскому приказу экспедиция стала превращаться в себялюбивую и приятную экскурсию, и казалось, вот-вот позабудут они, с какой целью занесло их к морю, а предадутся беспечным забавам, но вдруг первые же встреченные ими рыбаки предоставили им сведения об Иисусе, да еще и выразили их такими вот странными словами: Видели мы его; знаем его, а вы, если найдете его, скажите ему, что мы ждем его как манну небесную. Братья удивились и не поверили, что рыбаки ведут речь об Иисусе, решив, что есть тут еще какой-то Иисус. По приметам — вроде тот, сказали рыбаки, а из Назарета он, нет ли, не знаем, не говорил. А почему же вы ждете его как манну небесную? — спросил Иаков. Потому что когда он в лодке, рыба так и прет в сети, как никогда еще не видано было. Должно быть, это не он — наш Иисус ничего не смыслит в ловле. Мы и не говорим, что он искусный рыбак, он всего лишь скажет: Вот сюда бросайте сеть, — мы забросим, а вытянем ее полную рыбы. Но если так, отчего же нет его с вами? Несколько дней назад он ушел куда-то, сказавши, что должен помочь другим рыбакам, и это справедливо, поскольку с нами он выходил на ловлю уже трижды и всякий раз говорил, что вернется. Но сейчас-то он где? Не знаем, говорил, что пойдет на юг, но кто его знает — может, двинется на север, нам его не понять, он появляется и исчезает, как захочется ему. Тогда сказал Иаков Иосифу: Пойдем на юг, по крайней мере мы знаем, что он на этом берегу. Казалось бы, просто, ан нет: примите в расчет, что, пока они идут вдоль уреза, Иисус может, разминувшись с ними, выйти в море и заняться своим чудодейственным ловом, мы в нашем повествовании пока не уделяли внимания подобным мелочам, но вот пришла пора сказать, что судьба не имеет ничего общего с нашими понятиями о том, что все предопределено изначально, а ведь это совсем не так: сами посудите — чтобы сбылась написанная на роду встреча кого-то с кем-то, надо, чтобы эти кто-то сумели встретиться в нужном месте в нужное время, что, повторяю, далеко не просто, стоит ведь хоть на миг промедлить, ну, не знаю, заглядеться на облако в небе, заслушаться птичьей песней, начать подсчитывать, сколько входов и выходов в муравейнике, или, наоборот, по рассеянности не поглядеть, не послушать — и пропадает такая, казалось бы, благоприятная возможность, и, короче говоря, ничего на свете нет труднее, чем исполнить свой жребий, вот доживешь, братец Иосиф, до моих лет — поймешь тогда. И Иаков с Иосифом проявляли чудеса предусмотрительности — глядели

во все глаза, останавливались, поджидая, когда причалит к берегу ушедший на промысел баркас, возвращались назад, когда казалось им, что Иисус появился у них за спиной в том месте, которое уже миновали они. И так обогнули они берег моря, вброд перешли реку Иордан и первых же встреченных рыбаков спросили про Иисуса. Как же, отвечали те, еще бы, слышали о нем и о чудесном даре его, но в наших краях он не появлялся. Братья по собственным следам повернули на север, удвоив внимание, и сами стали подобны рыбакам, которые, вытягивая сети, надеются, что попадется в них царь-рыба, и, заночевав однажды на обочине дороги, даже спали по очереди, чтобы не пропустить Иисуса, если тому вздумалось бы воспользоваться лунной ночью и потихоньку перейти с места на место. Вот так, частым гребнем прочесывая местность, дошли они до Тивериады, где на сей раз им не надо было искать заработка, потому что деньги у них еще были, за что следует благодарить гостеприимных рыбаков, угощавших их рыбой, по какому поводу Иосиф спросил однажды Иакова: Тебе не приходило ли в голову, что рыбу эту мог выловить наш брат? — на что Иаков отвечал: Она от этого вкусней не становится, и слова эти явно были внушены не братской любовью, но законной досадой того, кто принужден отыскивать иголку в стоге сена.

А нашли они Иисуса всего в часе пути от Тивериады, и первым заметивший его дальнозоркий Иосиф воскликнул: Вот он! Но там, куда он показывал, шли по дороге двое — мужчина и женщина, — и смущенный сим последним обстоятельством Иаков сказал: Да нет, ты обознался. Со старшими не спорят, но Иосиф так обрадовался, что, решив пренебречь приличиями и обычаями, отвечал: Говорю тебе, это он! Но с ним женщина. Женщина — это женщина, а мужчина — это наш Иисус. По узкой тропинке, тянувшейся вдоль берега по ровной в этом месте долине, между двумя холмами, склоны которых спускались к самой воде, шли Иисус и Мария Магдалина. Иаков остановился в ожидании и велел Иосифу сделать то же. Тот повиновался не без внутреннего сопротивления — ему хотелось броситься навстречу и на шею наконец-то обретенному брату. А Иакова смутила незнакомка, шедшая рядом с Иисусом, — не в силах поверить, что брат уже познал женщину, он чувствовал, как одна лишь возможность этого бесконечно отдаляет его от старшего, словно Иисус принадлежал отныне к совершенно иному миру не потому, что видел Бога, а потому, что уже утратил невинность. Одна мысль тянет за собой другую, причем порою путь от одной до другой свершаем мы нечувствительно, словно перебираемся через реку по крытому мостику, когда идешь, сам не зная куда выйдешь, оказывается же, что мы одолели реку, о существовании которой и не подозревали, и Иаков, сам не зная почему, понял, что нехорошо так вот стоять столбом, будто это ты первородный сын и ждешь, когда младший приблизится и приветствует тебя. Мысль его передалась Иосифу, с ликующим криком, с распростертыми объятиями устремившемуся навстречу Иисусу и спугнувшему целую стаю птиц, которые, затаясь в высоких зарослях тростника, копошились в прибрежном иле, отыскивая себе поживу. Иаков прибавил шагу, не желая, чтобы младшему досталось то, на что с полным правом мог претендовать лишь он сам, и, обогнав его, сказал: Хвала Всевышнему, что привел нам встретить брата, которого искали мы, и Иисус ответил: Хвала Всевышнему, что вижу вас обоих в добром здравии. Мария Магдалина остановилась чуть поодаль, Иисус же спросил: Каким ветром занесло вас сюда, и ответил Иаков: Отойдем в сторонку, поговорим без помехи. Нам и так никто не мешает, сказал на это Иисус, а что до женщины этой, знай, брат: все, что имеешь ты сообщить мне, все, что хочу я от тебя услышать, может быть сказано и услышано при ней. После этих слов наступила тишина такая глубокая, такая плотная и высокая, что казалась она безмолвием моря и гор, а не молчанием четырех собиравшихся с силами смертных людей. Иисус за протекшие месяцы еще более возмужал, и еще смуглее стала кожа его, но глаза не горели уже так лихорадочно, и обросшее густой черной бородой лицо дышало, казалось, умиротворением и спокойствием, которые не смогла нарушить и поколебать и эта нежданная встреча. Кто эта женщина? осведомился Иаков. Ее зовут Мария, она со мною, ответил Иисус. Ты что, женился? Да и нет, нет и да. Не понимаю. Я на это и не рассчитывал. Мне надо поговорить с тобой. Говори. Мать просила передать тебе кое-что. Я слушаю. Хотелось бы наедине. Ты разве не слышал, что я сказал? Магдалина шагнула вперед раз и другой: Я стану так, чтобы разговор ваш не достигал моего слуха. В душе моей нет ничего, что было бы тебе неведомо, а потому по

справедливости ты можешь знать и то, что думает обо мне моя мать, тем более что так избавишь ты меня от необходимости потом пересказывать тебе это. От досады кровь бросилась в лицо Иакову, он отступил на шаг, словно собираясь уйти, и метнул на Магдалину гневный взгляд — но кроме гнева явно читалось в нем и смешанное со злобой вожделение. Иосиф протянул руки, чтобы удержать обоих своих братьев, — ничего больше он сделать не мог. Иаков сумел совладать со своими чувствами и, помедлив несколько, чтобы сосредоточиться и припомнить, произнес нараспев, громко и звучно: Наша мать послала нас разыскать тебя и передать тебе ее просьбу вернуться домой, потому что мы верим тебе и, раз уж хочет того Господь, поверим и тому, что скажешь нам. Все? Таковы были ее слова. То есть ты хочешь сказать, что сами вы ничего не предпримете для того, чтобы поверить моим словам, а будете сидеть и ждать, пока Господь не вразумит вас, не изменит способность вашу постигать? Постигнем мы это или нет, зависит от Господа. Ты ошибаешься: Господь дал нам ноги, и мы ходим, но я покуда не слышал, чтобы человек ждал, покуда Господь прикажет ему ходить, не так ли и с постижением, которое он даровал нам, чтобы мы распоряжались им сообразно с волей нашей и желанием. Я не стану с тобой спорить. И правильно сделаешь, ибо победителем тебе не выйти. Что передать матери? Передай, что слова ее дошли до меня слишком поздно, что они в свое время были сказаны Иосифом, но она их повторить не пожелала и что, даже если ангел небесный явится ей и подтвердит все, что я вам поведал, и убедит ее наконец подчиниться воле Господа, я все равно домой не вернусь. Ты, Иисус, впал во грех гордыни. Дерево стонет, когда его рубят, пес скулит, когда его бьют, а человек, когда его оскорбляют, взрослеет. Она твоя мать, мы твои братья. Матерью и братьями станут мне отныне те, кто поверит моим словам, едва лишь я произнесу их; мать моя и братья те, кто верит мне, когда мы выходим в море, что улов будет обильней, чем прежде; мать моя и братья мои — те, кому не надо дожидаться моей смерти, чтобы оплакать мою жизнь. И больше тебе нечего передать ей? Больше нечего, но скоро вы услышите обо мне, отвечал Иисус и, обернувшись к Магдалине, сказал: Пойдем, Мария, лодки готовы выйти на промысел, рыба уже сбилась в косяки, пришло время сбора этого урожая. Они были уже вдалеке, когда Иаков крикнул: Иисус, мать спросит, что это за женщина с тобой, что мне ответить? Ответь, что зовут ее Мария и что она — со мной, — и слова его гулким эхом отозвались меж холмов и над морем. И, ничком пав наземь, горько плакал Иосиф.

Иисус выходил в море с рыбаками, а Магдалина ждала его на берегу — садилась на камень у самой воды или поднималась на холмик, откуда легче было следить путь его лодки. Рыба не заставляла себя ждать — сроду не бывало тут такой прорвы рыбы, поначалу говорили люди: ее тут ловить — что из садка таскать, сама в руки идет, однако уже через день-два понимали, что, если Иисуса в лодке нет, не во всякие руки идет она, и очень скоро начинает ломить руки и плечи от бесплодного закидывания невода, и грустно смотреть, как приходит он совсем пустым, разве что запутаются в ячеях рыбка или две. И потому рыбачий мир по всему западному побережью Галилейского моря принимается просить Иисуса, требовать Иисуса, старается залучить и заманить его к себе, и уже кое-где встречают его цветами и пальмовыми ветвями и рукоплесканиями, словно дело в праздник. Но поскольку человек испечен из такого теста, где в равных долях — зависть и злость, самую чуточку милосердия, а закваской служит страх, от которого пухнет и лезет наружу все дурное и забивается хорошее, случаются и драки — артель на артель, деревня на деревню, ибо каждый хочет, чтобы Иисус помогал только ему, а остальные пусть устраиваются как знают. И когда происходит подобное, удаляется Иисус в пустыню и, пока не придут забияки молить о прощении за свою несдержанность, проистекающую, по их словам, оттого лишь, что слишком крепко и сильно они его, Иисуса, любят, не возвращается оттуда. Навсегда останется тайной, почему рыбаки с восточного побережья никогда не присылали сюда своих ходоков с тем, чтобы потолковать с местными да заключить с ними что-то вроде договора по справедливости, и тогда бы Иисус в равной степени оделял своими благодеяниями весь край, за исключением язычников разнообразных мастей и верований, каковых здесь тоже немало. Могли бы они, выбрав ночь потемней, побезлунней, да целой флотилией, снарядясь как для морского сражения, подобраться и выкрасть Иисуса, увезти его к себе, а запад, привыкший к изобилию, оставить снова прозябать в нужде.

Еще длится тот самый день, когда Иисус повстречал братьев, Иакова с Иосифом, явившихся звать его домой, оставить бродяжничество, хотя от него в немалой степени зависят рыбодобыча, рыботорговля и все их производные. В этот самый час они — один в ярости, другой в слезах — скорым шагом идут по горам и долам в Назарет, где мать в сотый раз спрашивает себя, увидит ли она, проводив двоих сыновей, как возвращаются к ней трое, и понимает — вряд ли. Кратчайший путь братьев от того места на берегу, где встретили они Иисуса, до дома пролегал через городок Магдалу, который Иаков знал мало, а Иосиф не знал вовсе, но, по первому впечатлению судя, они немного потеряли. Там они передохнули и тронулись дальше. Уже на выходе из этого населенного пункта — слово это употреблено здесь исключительно как логичная и внятная антитеза простирающейся вокруг пустыне — они заметили чуть поодаль по левую руку четыре обугленные стены — все, что осталось от сгоревшего дома. Ворота во двор были явно высажены, но не обгорели, пламя, все пожравшее, вспыхнуло внутри дома. В подобных случаях прохожий, кто бы ни был он, непременно думает, что найдет на пожарище клад, и, если не опасается, что на голову ему рухнет балка, принимается шарить там и ворошить палкой или носком башмака пепел, головешки, тлеющие уголья в надежде, что вдруг из-под них сверкнет золотая монета, не уязвимый ни для какой порчи брильянт или изумрудная диадема. Иаков с Иосифом заходят из чистого любопытства — не так наивны они, чтобы думать, будто тут уже не побывали алчные соседи, не поискали того, что хозяева не успели вынести и что пощадил огонь, но дом такой маленький, что, похоже, весь более или менее ценный скарб все же спасли: остались голые стены, ибо на новом месте можно и новые поставить. Хрустят под ногами обломки изразцов, которыми был выложен пол вокруг обвалившегося очага. Ничего тут нет, пошли отсюда, говорит Иаков, но Иосиф спрашивает: А вот это что такое? А это — нечто вроде широкого и длинного деревянного помоста на обгоревших ножках, и с него еще свисают обугленные лоскутья ткани. Это называется кровать, объясняет Иаков, на ней спят цари, богачи. И наша мать. Ну да, сравнил то и это. Не похоже, что здесь жили богатые люди. Внешность обманчива, веско роняет Иаков. Они выходят, и Иосиф замечает за воротами жердь, какими сбивают смоквы с дерева, но, должно быть, она в ту пору, когда служила этому предназначению, была длинней, а потом ее обрубили. Это-то здесь зачем? — спрашивает он не то самого себя, не то брата и, не дождавшись ответа, забирает шест с собой на память о пожаре, о сгоревшем доме, о незнакомых людях, когда-то живших в нем. Никто не видел, как братья вошли в дом, никто не видел, как вышли они оттуда, — просто два отрока в выпачканных копотью туниках идут к себе в Назарет, несут матери черную весть. Мысль одного, ища развлечения от дорожной скуки, обратилась к Марии Магдалине, мысль другого плодотворней и живее — он раздумывает, какое бы употребление в играх и забавах найти укороченному шесту, прихваченному с собой.

А мысли Марии из Магдалы, присевшей на камень в ожидании Иисуса, ушедшего в море, обращены к Марии из Назарета. Вплоть до сегодняшнего дня мать Иисуса только тем и была для нее — матерью Иисуса, но теперь она знает, потому что спросила, что они с нею тезки, и совпадение это само по себе значения не имеет, ибо Марий на свете много, а будет, если мода привьется, еще больше, но мы все же рискнем предположить, что между теми, кто носит одинаковые имена, возникает какая-то теснейшая родственная связь, и Иосиф, скажем, вспоминая о другом Иосифе, который был его отцом, не сыном его чувствует себя, но братом, и только пожалеть можно Бога, поскольку никого больше, как его, не зовут. Не следует полагать, что это последнее звено в цепи силлогизмов родилось в голове Магдалины, хотя, впрочем, мы располагаем о ней сведениями достаточными, чтобы счесть ее вполне способной и не на такие озарения, но просто движется сейчас ее мысль в ином направлении: так бывает — женщина любит мужчину, а думает о его матери. Магдалине не пришлось изведать любви материнской, но вот наконец после того, как столько времени она изучала, принимала и дарила любовь притворную, любовь обманную и познала нелюбовь в тысячах ее разновидностей, случилось ей обрести истинную женскую любовь. Иисуса она любит как мужчину, но хотела бы любить и как сына, оттого, вероятно, что ненамного моложе родной его матери, пославшей ему просьбу вернуться и получившей отказ, и Мария из Магдалы думает о том, какую боль испытает Мария из Назарета, когда передадут ей этот отказ, и боль эта будет

другого свойства, чем та, которую испытала бы она сама, потеряв Иисуса, ибо лишилась бы не сына, но возлюбленного. Господи, если суждено мне это, пошли мне обе эти муки, — пробормотала Магдалина в ожидании Иисуса. И когда баркас подошел к берегу и его вытянули на песок, когда стали выгружать корзины, наполненные рыбой, когда Иисус, по колено в воде, смеясь как ребенок, принялся помогать рыбакам, Мария из Магдалы вдруг почувствовала себя Марией из Назарета, поднялась, зашла в воду, чтобы быть рядом с ним, и, поцеловав его в плечо, произнесла: Сын мой. Никто не слышал, как ответил ей Иисус: Мама, — ибо известно, что слова, произносимые сердцем, звучания не обретают, с уст не срываются, застревая в горле комом, и лишь по глазам можно прочесть их. Из рук кормчего приняли Иисус и Мария корзину рыбы — свою долю и плату — и, как всегда, направились туда, где собирались провести сегодняшнюю ночь: да, такая у них была жизнь — бездомная, бесприютная, кочевая, и поначалу Иисус несколько раз говорил Марии: Такая жизнь не для тебя, что ж ты мыкаешься из лодки в лодку, с циновки на циновку, давай заведем свой дом, я буду приходить туда, как только представится возможность, но Мария отвечала: Не хочу ждать тебя, хочу быть там, где ты. Однажды Иисус спросил, нет ли у нее родных, которые согласились бы принять ее, и она сказала, что есть у нее сестра по имени Марфа и брат по имени Лазарь, и живут они в Вифании Иудейской, но она, сделавшись блудницей, оставила их и, чтобы не позорить, ушла в дальние края, покуда не добралась до Магдалы. Значит, тебя надо называть Мария из Вифании, а не Мария из Магдалы? — спросил Иисус. Да, я родилась в Вифании, но встретила тебя в Магдале и потому пребуду Магдалиной. И меня зовут не Иисус из Вифлеема, хотя я родом оттуда, и не Иисус из Назарета, потому что там меня отвергли и я там отверг домашних своих, и, быть может, по той же причине, что и тебе, следует мне зваться Иисус из Магдалы. Но дом наш сгорел, ты помнишь? Дом сгорел, а память осталась. Больше о возвращении Марии в Вифанию они разговоров не вели, и этот берег моря стал для них целым миром.

В народе — и весьма вероятно, не в одном народе, а во всех, какие есть на свете, поскольку речь идет о зле всеобщем и вселенском — говорят, что беды под ногами растут. Родилось же речение это, надо думать, у народа, крепко связанного с землей и потому поскальзывающегося, оступающегося, спотыкающегося и хорошо хоть не до смерти расшибающегося. Затем, в силу вышеупомянутых уже свойств всемирности и всеобщности, разойдясь по белу свету, из приметы сделавшись универсальным законом, это присловье, полагаем все же, не сразу и с трудом прижилось у народов, живущих у моря и морем кормящихся, у рыбаков и мореходов, которые знают, какие бездонные бездны, вспученные пучины пролегли от ступней до, так сказать, грунта, как знают и то, что беды не под ногами растут, а падают с неба и зовутся шквалами и ураганами, и это по их милости вздымаются волны и накатывают валы, разражаются бури и рождаются шторма, в клочья рвутся паруса и ломаются мачты, и идет ко дну утлое суденышко, и, по правде говоря, гибнет морской народ в буквальном смысле между небом и землей — до неба рукой не достанешь, землю ногой не нащупать. Галилейское море — по большей части кроткое, тихое и умеренное, да и вообще — не море это, а озеро, но приходит день, когда и в нем неистово взыгрывает стихия, и тогда уж спасайся кто может, и порою спастись могут не все. К тому мы и ведем наше повествование, но прежде надо вернуться к Иисусу из Назарета и к томящим его печалям, доказующим, что сердце человеческое счастливо не бывает никогда, так что простое и честное исполнение своего долга не приносит того удовлетворения, о котором толкуют нам те, кто такой малостью довольствуется. Действительно, можно с полным основанием сказать, что благодаря постоянным перемещениям Иисуса от верховий до низовий Иордана никто по всему западному берегу больше не голодает, не бедствует, и воцарившееся там изобилие распространило свое благодетельное влияние даже на тех, кто к рыбной ловле отношения не имеет, ибо избыток рыбы сбил цены, и люди могут тратить на еду денег все меньше и меньше. Не скроем, однако, что предпринимались попытки удержать цены на рыбу на относительно высоком уровне, для чего часть улова выбросить обратно в море, однако Иисус, от которого в конечном счете зависело, полными будут вытянуты сети или же пустыми, пригрозил, что уйдет в иные края, и хитроумным нарушителям корпоративной этики пришлось просить у него прощения и от затеи своей пока отказаться, а там видно будет. Так

или иначе, у всех здешних людей есть основания чувствовать себя счастливыми — у всех, кроме Иисуса. Он думает, что это не жизнь — вверх да вниз, отчаливать да приставать к берегу, каждый день произносить одни и те же слова, делать одни и те же движения, и еще думает, что если Господь даровал ему чудесное свойство приманивать рыбу в сети, то неужто тому же Господу до тех самых пор, пока не придет срок исполнить обещанное и призвать его на службу себе, угодно, чтобы так уныло и однообразно влачились дни его? А в том, что Господь — с ним, не сомневался Иисус ни минуты, поскольку рыба послушно шла в сети по его слову, и это обстоятельство, благодаря неизбежному движению мысли от частного к общему, подробно останавливаться на описании такового движения, именуемого по-ученому дедукцией, мы считаем излишним, в конце концов заставило его спросить себя, а не пожелает ли Господь предоставить ему и иные чудесные дарования — не навсегда, разумеется, расставшись с ними, а, так сказать, ссудив их под тем непременным условием, что он, Иисус, не употребит их во зло, а извлечет из них пользу и распорядится ими с толком, и пользу и толк Иисус мог гарантировать, имея в виду хотя бы ту работу, которой был занят постоянно, не прозревая пока ничего иного. Узнать это будет нетрудно — довольно лишь предпринять некий опыт, и, если удастся он, станет очевидно, что Господь расположен одарить его своими милостями, если же нет — то нет. Оставалось решить только один предварительный вопрос — а именно вопрос выбора. Не имея возможности напрямую осведомиться у Господа, Иисус должен был на свой страх и риск избрать из возможных проявлений могущества такое, что одновременно было бы и не слишком трудно осуществить, и не слишком бы бросалось в глаза, и однако же не прошло бы уж совсем не замеченным теми, кого он собирался облагодетельствовать, ибо в сем последнем случае воспоследовал бы ущерб славе Господа, чего допустить никак нельзя. И все же Иисус не решился — страшно стало, что Господь посмеется над ним и его унизит, как унизил в пустыне, и до сих пор Иисус корчился от стыда, вспоминая, как в первый раз сказал он: Вот сюда бросайте невод — а невод пришел пустым. Мысли эти занимали его до такой степени, что однажды ночью ему приснилось, будто кто-то шепчет ему на ухо: Не бойся, помни, что ты нужен Господу, — но, проснувшись, он вновь предался сомнениям, ибо советчиком этим мог оказаться и один из многочисленных ангелов, разносящих послания с небес, но ведь мог быть и кто-то из неисчислимого легиона бесов, исполняющих повеления Сатаны, а лежавшая рядом Магдалина, казалось, крепко спала, так что совет от нее исходить не мог, и это предположение Иисус от себя сразу же отогнал. Так, а вернее никак, все оно и шло, пока в один прекрасный день, не дававший решительно никаких признаков того, что будет чем-либо отличен от всех прочих, не вышел Иисус в море, чтобы сотворить ставшее уже привычным чудо. Погода портилась, низкие тучи, нависая, грозили пролиться дождем, но из-за такой малости рыбак на берегу не останется, ибо не из одних удовольствий и ясных дней состоит жизнь человеческая. Случилось так, что в этот раз плыл он на лодке Симона и Андрея — тех самых братьев, что стали свидетелями первого его чуда, а следом, в расчете на то, что, держась поблизости, сумеют, хоть и не в полной мере, воспользоваться чудодействием и перехватить часть улова, вели свой баркас Иаков и Иоанн, сыновья Зеведеевы. Сильный ветер быстро отогнал обе лодки на середину озера, и там рыбаки убрали паруса и разобрали сети, готовясь закинуть их туда, куда укажет Иисус. Вот тут-то и пришла беда — не под ногами выросла, а приняла обличье шторма, налетевшего с небес внезапно и без всякого предупреждения, если не считать хмурое, затянутое тучами небо, и, словно в настоящем море, выше мачт вздымавшего гонимые обезумевшим ветром валы, как ореховые скорлупки швырявшего и бросавшего лодки, которые руля не слушались и никак не могли противостоять яростному натиску разбушевавшейся стихии. Люди на берегу — жены, матери, сестры, даже тещи из тех, что помягче нравом, — увидав, какой опасности подвергаются несчастные рыбаки, оказавшиеся без защиты, подняли крик разноголосый и столь отчаянный, что непонятно, как не достиг он небес: Сын мой! Муж мой! Брат мой! Зять мой! Будь ты проклято, море! — а малые дети, говорить не умевшие, добавляли к хору стенаний свой плач. Мария Магдалина тоже была на берегу и шептала: Иисус, Иисус — но не из страха за своего возлюбленного, ибо знала, что ему-то Господь припас что-нибудь почище заурядного шторма, который унесет жизни скольких-то там рыбаков, нет, шептала она это имя, словно надеясь, что он сумеет как-то по-

мочь этим бедолагам, а те, похоже, свое уж отплавали. А сам Иисус, видя вокруг себя смятение и ужас, видя, что волны перехлестывают через борта, заполняя баркасы водой, что мачты сломаны и паруса сорваны, а дождь хлещет с таким остервенением, что его одного хватило бы, чтобы потопить даже императорскую галеру, так вот, видя все это, он сказал себе: Несправедливо будет, если спутники мои погибнут, а я останусь жив, тем более что Господь укорит меня: Ты мог бы спасти их, но не спас, мало тебе, значит, отца?! — и, от мучительного этого воспоминания вскочив на ноги, словно под ними была твердая земля, а не ходуном ходящая палуба, он запретил ветру и сказал морю: Уймись! Стихни! — и не успели прозвучать эти слова, как унялся шторм, улегся ветер, рассеялись тучи на небе и солнце на небе воссияло вечной славой, как, по крайней мере, кажется и всегда будет казаться тем, чей век короче, чем у него. Невозможно передать, какое ликование началось на баркасах и на берегу — поцелуи, объятия, слезы радости, — и если тут не понимали, отчего это так вдруг окончилось ненастье, то там, во второй раз родившиеся люди вообще не думали ни о чем, кроме своего чудесного спасения, и если даже прозвучало слово «чудо», то в эти первые мгновения никому дела не было, кто же сотворил его. Но вот воцарилось молчание, другие лодки окружили баркас Симона и Андрея, и рыбаки вспомнили, как, перекрывая вой ветра и гром, раздался голос: Уймись! Стихни! — этого человека, по слову которого рыба шла прямо в сети, по воле которого они не пошли на корм рыбам. Иисус присел на банку, понурился, испытывая сложное смутное чувство — словно одолел подъем, оказался на вершине самой высокой горы и знал, что теперь его ждет неизбежная печаль спуска. Но теперь, плотно окружив его, люди ждали его слова: недостаточно было унять бурю, смирить ветер, утишить волну — теперь надо объяснить, как он, простой человек, сын галилейского плотника, сумел сделать это, когда сам Бог, отступясь, ждал, что смерть вот-вот заключит их в ледяные свои объятия. Тогда Иисус поднялся и сказал: То, что вы видели, не мною сделано, не я отогнал бурю, а Господь, говоривший моими устами, избравший язык мой своим орудием, как в древности говорил устами пророков, помните? Сказал Симон: Господь, наславший бурю, мог и отогнать ее прочь, а мы бы лишь повторяли: Господь принес, Господь унес, но по твоему слову, твоей волей возвращена нам жизнь, с которой мы в глазах Господа готовы уж были расстаться. Еще раз говорю тебе: не я сделал это, а Господь. Сказал Иоанн, младший из сыновей Зеведеевых, и слова его доказали, что он не так уж прост и совсем не скудоумен: Конечно, это сделал Господь, заключающий в себе всю силу и все могущество, но сделал-то он это через твое посредство, и из этого вывожу я, что он хотел, чтобы мы узнали тебя. Вы и так меня знаете. Мы знали только, что неведомо откуда появился человек, что неведомо как наполняет он лодки наши рыбой. Я — Иисус из Назарета, сын плотника, распятого римлянами на кресте, я пас стадо овец и коз, больше которого не видел в жизни, а теперь вот ловлю рыбу и надеюсь, что до гроба останусь с вами. Сказал Андрей, брат Симона: Не ты должен остаться с нами, а мы с тобой, ибо если ты, обыкновенный человек, каков ты есть, по твоим словам, наделен таким могуществом и даром применять его, то одиночество тебе, бедняге, что камень на шее. Сказал Иисус: Что ж, оставайтесь со мной, если сердце ваше просит этого, если, как сказал Иоанн, вы хотите узнать меня, но только никому не говорите о том, что произошло здесь, ибо не настало еще время Господу подтвердить волю, которую он хочет исполнить во мне. Сказал тогда Иаков, старший сын Зеведеев, тоже, как и брат его, оказавшийся далеко не так прост: Не думай, что народ промолчит, погляди-ка на берег, видишь, они ждут тебя, чтобы восславить, а самые нетерпеливые прыгают в лодки и плывут к нам, но даже если мы сумеем уговорить их хранить все дело в тайне, разве уверен ты, что в любую минуту Господь, пусть и вопреки твоей воле, не воплотится в тебя, не обнаружит свое присутствие через посредство твое? Иисус снова понурил голову и ответил: Все мы в руках Божьих. Ты — больше, чем все мы, сказал Симон, потому что тебя он избрал и предпочел всем, но мы будем с тобой. До конца, сказал Иоанн. Пока ты нас не прогонишь, сказал Андрей. Пока сил у нас хватит, сказал Иаков. Тут подошли лодки, и стоявшие в них люди махали Иисусу, громче зазвучали славословия и благословения, и он, смирившись с неизбежным, молвил: Ну ладно, раз вино налито, надо его выпить. Он не искал среди приплывших Магдалину, он знал — она ждет его на берегу, ждет как всегда, и никакое чудо не поколеблет постоянство этого ожидания, и сердце его умягчилось благодарной, смиренной радос-

тью. Когда причалили, Иисус обнял ее и прильнул к ней и не удивился, услышав, что прошептала она ему на ухо, прижавшись щекой к мокрой бороде: Ничего не поделаешь, ты проиграешь войну, но выиграешь все сражения, — и потом, об руку с нею, отвечая на приветствия тех, кто окружал его, встречая, как полководца, победителем вернувшегося из первой битвы, он и друзья его двинулись по дороге, круто уходившей в горы, в Капернаум, деревню, где жили Симон и Андрей. У них в доме он и остановился.

Прав, прав был Иаков, когда говорил: напрасно надеется Иисус, что никто, кроме непосредственных очевидцев чуда о буре, о нем не узнает. Минуло несколько дней, и ни о чем другом не говорили в округе, хотя и была тут некая странность: море Галилейское, как уж было сказано, не слишком велико, и в ясный день с возвышенного какого-нибудь места можно его увидеть все целиком, от края до края, от одного берега до другого, но в Тивериаде, к примеру, никто ничего о буре не слыхал, и когда приходил туда кто-нибудь и начинал рассказывать, что вот, мол, человек, с капернаумовскими рыбаками выходивший на лов, приказал буре уняться, рассказчика перебивали: Какой еще буре? — отчего тот терял дар речи. А в том, что буря все же была, сомневаться не приходилось, ибо в избытке имелись те, кто готов был подтвердить и поклясться, что на волосок от гибели были рыбаки и в страхе за них — толпившиеся на берегу, и среди прочих — торговцы из Сафеда и Каны, оказавшиеся там по торговым делам. Они-то и разнесли по стране эту новость, сообразно с собственным воображением приукрашивая ее, отчего, как это и бывает с новостями, та, чем больше времени проходило, чем дальше оказывалась она от места действия, делалась все менее достоверной, а потому, когда доплелась наконец до Назарета порядком состарившаяся новость, уже нельзя было сказать, в самом ли деле случилось чудо, или же по счастливому совпадению слово брошено было ветру — спасибо, что не на ветер, — в тот самый миг, когда ему надоело дуть. Однако материнское сердце не обманешь, и Марии довольно было уже затухавшего отзвука этого сомнительного чуда, чтобы увериться: чудо сотворил ее сын. Она горько плакала втихомолку по углам, коря себя за то, что, в гордыне своей опасаясь упасть в глазах Иисуса, не сразу поведала ему о приходе ангела и о явленных тем откровениях, наивно полагая, что десятка путаных слов хватило бы, чтобы сын ее, с кровоточащим сердцем покинувший отчий дом, вернулся. Помимо прочего, Марии некому было излить свои горести и скорби: Лизия за это время вышла замуж и жила теперь в Кане Галилейской; с Иаковом она поговорить не решалась — тот до сих пор вскипал от бешенства при одном упоминании о встрече с братом и спутницей его. Да она ему в матери годится и видала виды, большой опыт имеет и в жизни, и в том, о чем и поминать-то зазорно! — кричал он, и справедливость требует признать, что собственный его опыт был ничтожен, обогатить же его в глухомани, именуемой Назарет, не представлялось возможным. Так что душу Мария могла отвести лишь с Иосифом, не только именем, но и наружностью все больше напоминавшим ей покойного мужа, но утешить он ее был не в силах. Матушка, мы расплачиваемся за содеянное: и я, видевший и слышавший Иисуса, очень боюсь, что ушел он навсегда и что оттуда, где он сейчас, возврата нет. Ты слышал, что говорят о нем — что он запретил буре и буря стихла? Я своими ушами слышал от рыбаков, что он приказывает рыбе идти в сети. Ангел не солгал. Какой ангел? — спросил Иосиф, и тогда Мария поведала ему все, начиная с того, как постучался к ним нищий, как бросил он потом в миску пригоршню земли и земля засветилась, и кончая ангелом, явившимся ей во сне. Этот разговор вели они не в доме, что было бы при столь многочисленном семействе попросту невозможно, — нет, тамошние люди, когда надо поговорить без помехи, уходят в пустыню, где иной раз встречается им сам Господь. И так вот говорила мать с сыном, и вдруг Иосиф увидел вдалеке, на склоне холма, к которому Мария сидела спиной, стадо овец и коз и с ним пастуха. Стадо, показалось ему, было не столь уж многочисленное, пастух — не выше обыкновенного роста, а потому он об увиденном промолчал. Однако когда Мария сказала: Никогда больше не увижу я Иисуса, — задумчиво ответил ей Иосиф: Как знать.

Он оказался прав в сомнениях своих. Минуло время — примерно около года, — и Лизия прислала матери весточку, от имени свекра со свекровью приглашая мать прийти в Кану на свадьбу невестки своей, сестры мужа, и взять с собой кого ей захочется — всем, мол, будут рады. Мария, как приглашенная, имела право выбрать, кто будет сопровождать ее на свадьбу, но, не желая быть хозяевам в тягость, чтоб, не дай Бог, не сказали:

Вот, явилась со всем выводком, — многодетные вдовы, как известно, весьма щепетильны, — решила взять с собой только двоих: нынешнего своего любимца Иосифа и дочку Лидию, которая была в той поре отрочества, когда праздники и развлечения наскучить не могут. Кана от Назарета невдалеке — не более часу ходьбы, а в такой мягкий осенний день и просто прогуляться приятно, даже если в конце пути не ждет нас свадебный пир. Вышли из дому, чуть рассвело, чтобы Мария смогла помочь хозяевам в последних приготовлениях к торжеству и угощению, а ведь известно, что чем больше гостей, тем больше у хозяев хлопот. Навстречу матери, брату и младшей сестре вышла радостная Лизия, начались поцелуи, объятия, расспросы, но поскольку дело не ждет, повела Марию в дом жениха, где, по обычаю, и должно было происходить застолье, чтобы вместе с другими женщинами варить, парить и жарить. Иосиф с Лидией остались во дворе, со сверстниками своими, мальчики затеяли игры, девочки принялись танцевать, и так продолжалось до самого начала церемонии. Тут уж все-все, без различия пола, устремились вслед за друзьями жениха, несшими по традиции горящие факелы, хотя утро выдалось ослепительное, но факелы эти, по крайней мере, доказывали, что, как бы ни сияло солнце, не стоит пренебрегать даже таким бледным и немощным светом, какой давали они. Высыпали на улицу соседи, радостно приветствуя жениха, но благословения приберегая на ту минуту, когда шествие двинется в обратный путь — уже с невестой. Иосифу с Лидией, однако, ничего из того, что последовало за этим, увидеть не довелось, что, впрочем, огорчило их не слишком, потому что ничего любопытного для них тут не было: недавно совсем выходила замуж их родная сестра, и они наперед знали, как все будет: жених постучит в ворота дома невесты, прося ее показаться, выйдет она к нему, окруженная подругами, которые держат, как пристало женщинам, не факелы, ибо факелу по размеру своему и по яркости пламени подобает быть несомым в руке мужчины, но светильники поскромнее, обыкновенные плошки; знали брат с сестрой и то, как ступит за порог невеста и жених поднимет ее покрывало и ликующе-изумленно ахнет, увидав, какое сокровище предназначено ему, словно за двенадцать месяцев, минувших от обручения до свадьбы, тысячи раз не видел он свою нареченную, не обладал ею когда только ему ее хотелось. Так вот, ничего этого Иосиф с Лидией не видели, и вот по какой причине: отрок, глянув случайно в другую сторону, увидел в глубине улицы двоих мужчин и женщину и, объятый таким чувством, будто заново родился, узнал старшего брата своего и женщину — ту самую, кого встретили они с Иаковом тогда на берегу моря. Он крикнул сестре: Смотри, наш Иисус идет! — и оба во весь дух припустили навстречу, но Иосиф вдруг остановился, застыл на месте, потому что вспомнил мать, вспомнил и как сурово говорил с ними брат, хотя дело было, конечно, не в них с Иаковом, а в том, что велела передать им мать, и, подумав, что потом объяснит Иисусу, отчего повел себя так, повернул назад. Уже заворачивая за угол, обернулся он и, ужаленный змеей ревности, увидел, что брат как перышко подхватил Лидию на руки, а она покрывает все его лицо поцелуями, спутники же его смотрят на это с улыбкой. Ничего не видя из-за слез досады, застилавших глаза, побежал Иосиф дальше, влетел в ворота, прыжками, чтобы не наступать на разостланные на земле скатерти, уже уставленные снедью, пересек двор и позвал: Матушка! — и как хорошо, что каждому из нас дан собственный голос: из всех женщин, хлопотавших там, обернулась на голос сына одна лишь Мария, взглянула на него и поняла, что он скажет: Иисус! — еще до того, как слово это прозвучало. Она побледнела, покраснела, улыбнулась, нахмурилась, снова побледнела и наконец взялась за сердце, словно проверяя, на месте ли оно, и отступила на два шага, словно наткнулась на стену. Кто с ним? — спросила она, не сомневаясь, что пришел первенец не один. Мужчина и женщина и наша Лидия. А женщина — та самая? Та самая, но мужчину я прежде не видал. Приблизилась ничего не подозревающая Лизия, спросила с любопытством: Что случилось? Твой брат пришел сюда на свадьбу. Иисус? Да, Иосиф видел его. Лизия не впала в смятение, не растерялась, как мать, лицо ее всего лишь озарилось улыбкой, которую мы рискнем назвать нескончаемой, и она произнесла вполголоса: Брат, — несведущим же поясним, что и улыбка такая, и слово это стоят иных восторгов. Пойдем же, встретим его, сказала она. Ступай одна, я останусь здесь, сказала, точно защищаясь, Мария и велела Иосифу: Иди с нею. Но Иосиф не захотел оказаться в объятиях Иисуса после младшей сестры; Лизия же одна идти не решилась, и в итоге все трое остались стоять, словно подсудимые, ожи-

дающие приговора и не уверенные в милосердии судьи — если, конечно, уместно будет употребить в этих обстоятельствах слова «судья» и «милосердие».

С Лидией на руках появился в дверях Иисус, и следом шла Магдалина, но первым шагнул через порог Андрей, ибо именно он был спутником Иисуса и приходился близким родственником жениху, что выяснилось тотчас же, как только он в ответ на радостные приветствия, обращенные к нему, сказал: Нет-нет, Симон не смог прийти, — и вот, пока одни упивались радостью встречи, другие глядели друг на друга так, будто их разделяла пропасть и надо было решить, кому первому надлежит вступить на узенький и ненадежный мостик, который был, все же был перекинут над нею. Мы не станем утверждать вослед какому-то поэту, что дети — лучшее, что есть на свете, но благодаря им, детям, взрослым иной раз удается без ущерба для собственного достоинства сделать первый и самый трудный шаг, пусть даже и окажется потом, что не на ту дорогу они шагнули. И Лидия выскользнула из рук Иисуса, подбежала к матери, и тут, как в театре марионеток, где одно движение порождает другое, а оба они — третье, Иисус приблизился к матери и с чинной обыденностью, не согретой решительно никакими чувствами, приветствовал ее, брата и сестру. После этого прошел вперед, оставив обратившуюся в соляной столп Марию, растерявшихся Иосифа и Лизию. Мария из Магдалы шла следом и, когда она поравнялась с Марией из Назарета, обе женщины — одна порядочная, другая гулящая — разом вскинули глаза, и во взглядах их не было ни враждебности, ни презрения, а лишь странная благодарность, которую могли бы питать друг к другу сообщницы в деле важном и тайном и которую постичь и оценить дано лишь тем, кто уверенно проходит извилистым лабиринтом сердца женского. Свадебная процессия была уже невдалеке, слышались крики и рукоплескания, раздавался в воздухе дрожащий гуд бубнов, тонкий и протяжный звон струн, ритмичный топот пляшущих и многоголосый говор, а спустя мгновение после того, как люди заполнили двор, словно волною здравиц и плеска ладоней внесло туда новобрачных, которые подошли под благословение к ожидавшим их родителям. Благословила их и Мария, как совсем недавно благословляла она свою Лизию, ибо и теперь, как тогда, не было рядом с нею ни мужа, ни старшего, первородного сына, которым бы могла она уступить это право. Все расселись, и Иисусу предложили почетное место, ибо Андрей успел шепнуть родне, что это — тот самый человек, по чьей воле идет в сети рыба и стихает буря, но он отклонил эту честь и сел поодаль, с краю. Ему подавала Магдалина, которую никто не спросил, кто она и откуда, иногда подходила к нему Лизия, и он по виду не делал различий между одной и другой. Мария, сновавшая со двора на кухню и обратно, не раз и не два сталкивалась с Магдалиной, и они, обмениваясь тем же заговорщицким взглядом, не заговаривали друг с другом до тех пор, пока мать Иисуса знаком не приказала ей следовать за собой в другой конец двора, где без всяких околичностей молвила: Береги его, ангел сказал мне, что его ждут великие испытания, а я рядом быть не могу. Буду беречь, жизнь за него отдам, если она хоть чего-то стоит. Как зовут тебя? Мария из Магдалы, я была блудницей до встречи с сыном твоим. Мария ничего не отвечала, ибо в голове ее стали в должном порядке выстраиваться прошлые события — деньги, узелком завязанные в подол туники, недомолвки и намеки Иисуса, теперь обретшие смысл, раздраженный отчет Иакова и отзывы его о спутнице старшего брата, а когда наконец все сложилось воедино, сказала: Благословляю тебя, Мария из Магдалы, за то добро, что сделала ты моему сыну, благословляю ныне и во веки веков. Магдалина, приблизившись, хотела в знак почтения поцеловать ее в плечо, но другая Мария простерла к ней руки, притянула к себе, и они постояли обнявшись, однако недолго, потому что дело не ждет и никто за них его не сделает.

Длилось празднество, подавались беспрерывной чередою кушанья, и лилось вино из кувшинов, и веселье нашло уж себе выход в песнях и танцах, как вдруг тревожная весть, тайно поданная хозяевам распорядителем пира — Вино на исходе, — обрушилась им на головы наподобие обвалившейся кровли. Что же нам теперь делать, зашептали они в смятении, как сказать гостям, что вина больше нет, завтра ни о чем другом в Кане говорить не будут. Дочь моя, запричитала мать новобрачной, что только ждет тебя впереди, какие насмешки: на собственной свадьбе и то вина не хватило, чем заслужили мы такой позор, нечего сказать, хорошее начало супружеской жизни. А за столами тем временем выцедили последние капли, и самые нетерпеливые из гостей стали уже оглядываться по

сторонам, ища, кто бы наполнил им стаканы, и тогда Мария, хоть только что вверила другой женщине все то, что Иисус отказался принимать из ее рук — заботы, попечение, долг, — вдруг, словно молния сверкнула в рассудке ее, захотела получить собственное подтверждение чудесным дарованиям сына своего, удостовериться и потом уже навсегда затворить двери в доме своем и уста свои, как тот, кто исполнил свое предназначение в этом мире и только ждет теперь часа, когда призовут его в мир иной. Она отыскала глазами Магдалину, увидела, как в знак согласия та медленно опустила ресницы, и, не медля больше, подошла к сыну и произнесла тоном человека, уверенного в том, что, чтобы его поняли, нет нужды проговаривать все до точки: Вина нет. Иисус медленно обернулся к матери, глянул на нее так, будто слова ее донеслись к нему из дальней дали, спросил: Что мне и тебе, жено? — и именно эти страх наводящие слова были услышаны сидевшими вблизи и поодаль: Не смеет сын так говорить с матерью, произведшей его на свет, — но столь велики были удивление, изумление, недоверие, что время, пространство, воля постараются так их понять, перевести, истолковать, откомментировать и переосмыслить, чтобы начисто изгнать из них жестокость, а если получится — сделать так, чтобы они как бы и вовсе не звучали, если же не выйдет, то придать им смысл, противоположный вложенному, и по прошествии лет и столетий говорить и писать станут, что сказал Иисус так: Зачем ты беспокоишь меня по таким пустякам? или так: Какое мне дело до этого? или так: Кто просил тебя вмешиваться в это? или: Просить тебе меня не надо, я вижу сам и сам вмешаюсь, или: Почему не попросить меня прямо, я ведь был и остаюсь покорным твоей воле, или: Сделаю так, как тебе угодно, нет между нами разногласий. Мария приняла удар грудью, выдержала взгляд, которым отвергал ее сын, и, отрезая ему путь к отступлению, сказала слугам: Что скажет он вам, то сделайте. Иисус видел, как мать отходит от него прочь, но не промолвил ни слова, не протянул руку, чтобы попытаться удержать ее, потому что понял: Бог воспользовался ею, как раньше — бурей, а еще раньше — надобностями рыбаков. Он поднял свой стакан, где на дне оставалось еще немного вина, и сказал слугам: Наполните сосуды водою — было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры, и они наполнили их доверху. Несите их ко мне, сказал он и влил в каждый сосуд по нескольку капель вина, остававшихся у него в стакане. А теперь почерпните и несите к распорядителю пира. Когда же тот, не зная, откуда несут к нему сосуды, отведал воды, в которой капля вина растворилась без следа, даже не окрасив ее, подозвал жениха и сказал: Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. А жених, который в жизни не видел, чтобы сосуды те использовали под вино, и вообще не знал, что вино кончилось, тоже попробовал вина и с притворной скромностью человека, подтверждающего то, в чем и так не сомневался, кивнул одобрительно в знак того, что вино и впрямь первоклассное — так сказать, винтаж. И если бы не глас народа, в данном случае представленного слугами, которые на следующий день распустили язык, о свершившемся чуде никто бы и не узнал — а это равносильно тому, что и чуда никакого не было, ибо распорядитель понятия не имел о претворении воды в вино, новобрачному, разумеется, лестно было приписать чужое деяние себе, Иисус был не из тех, кто похваляется на всех углах: Я свершил такие-то и такие-то чудеса, Магдалина, с самого начала посвященная в интригу, распространяться о ней не собиралась, Мария же и подавно, потому что самое главное, самое основное произошло между нею и сыном ее, а все прочее было так, добавлением или, вернее сказать, добавкой, и пусть подтвердят наши слова гости на брачном пиру, чьи стаканы вновь наполнились вином доверху.

Больше никогда не говорили друг с другом Мария из Назарета и сын ее. Незадолго до заката, не простясь ни с кем из домашних, Иисус и Магдалина ушли из Каны по дороге в Тивериаду. Иосиф и Лидия, прячась, проводили их до выхода из деревни и смотрели вслед до тех пор, пока не скрылись они за поворотом.

И тогда пришло время больших ожиданий. Знамения, которыми до той поры Господь обнаруживал свое присутствие в Иисусе, были маленькие домашние чудеса из разряда «ловкость рук и никакого мошенства», по сути своей не слишком сильно отличающиеся от тех фокусов и трюков, которые не столь, правда, отчетливо и чисто испол-

няют на востоке маги и чародеи, умеющие, например, подбросить в воздух веревку и влезть по ней, причем никто из зрителей не заметит, что верхний ее конец закреплен на прочном крюке или что кто-то из подручных держит его. Иисусу, чтобы проделать что-то подобное, довольно было лишь захотеть, но, спроси его кто-нибудь, зачем и для чего это, он ответить бы не сумел или сказал бы, что так, мол, надо и что нельзя оставить рыбаков без улова, а гостей на свадьбе — без вина, ибо и в самом деле не пришло еще время Господу говорить его устами. По градам и весям галилейским шла молва о неком назарянине, наделенном могуществом, которое один Бог способен был ему даровать, Иисус же не оспаривал это, никак не объясняя ни причин, ни побуждений, ни оснований, и людям оставалось лишь унять любопытство и воспользоваться подвалившей удачей. Разумеется, Симон и Андрей, равно как и сыновья Зеведеевы, думали не так, но ведь это были его друзья, и они боялись за него. И каждое утро, проснувшись, Иисус спрашивал: Сегодня? — спрашивал беззвучно, про себя, а несколько раз и вслух, чтобы Магдалина слышала, но она молчала, вздыхала, потом закидывала ему руки за шею, целовала его лоб и глаза, он же вдыхал едва уловимое благоуханное тепло, веявшее от ее груди, и порою снова забывался сном, порою избывал снедавшую его тревогу в теле ее, скрываясь в нем, как в коконе, из которого выйти можно лишь преображенным и возрожденным. Потом шел он к морю, где ждали его рыбаки, и из них многие не понимали и спрашивали его, почему не купит он в счет будущих доходов собственную лодку, не начнет работать на себя. Случалось иногда, что в открытом море, когда приходилось в бездействии дожидаться, пока суденышко сменит галс, ляжет в дрейф или выполнит иной маневр, без которого ловля, пусть и сделавшаяся в полном смысле слова плёвым делом, была все же невозможна, охватывало Иисуса внезапное предчувствие, и сердце тогда начинало биться учащенно, но глаза его не устремлялись к небесам, где, как известно, находится Господь, — как одержимый, неотрывно и жадно глядел он на спокойную поверхность воды, блестевшую, будто лакированная кожа, и с ужасом и с надеждой ожидая. Когда рыба наша появится, — говорили в такие минуты рыбаки, — когда из глубины раздастся голос? — а тот все медлил. Завершалась ловля, тяжело нагруженный баркас приставал к берегу, а Иисус — и Магдалина следом — понуро брел вдоль уреза, ожидая, кому понадобятся его даровые услуги. Недели проходили за неделями, складываясь в месяцы, а потом и в годы, перемены же бросались в глаза только в Тивериаде, где росли новые дома и преумножалась слава, во всех прочих местах все шло по раз и навсегда заведенному, извечному и привычному порядку, когда каждую зиму кажется, что земля кончается у нас на руках, и каждую весну — воскресает, и совершенно напрасно так кажется, ибо это есть глубокое заблуждение и обман чувств — не будь зимнего земного сна, неоткуда было бы почерпнуть весне силы свои.

Но вот наконец настал год, пришел час, и двадцатипятилетний Иисус почувствовал, что мир стронулся и пришел в движение — начали появляться новые и новые знамения, следовавшие друг за другом беспрерывной чередой, словно кто-то торопился наверстать упущенное время. Строго говоря, первое из этих знамений нельзя было отнести к чудесам истинным и настоящим, ибо ничего сверхъестественного не было в том, что Иисус приблизился к одру тещи Симона, лежавшей в горячке неведомого происхождения, возложил ей руку на лоб, как поступил бы и каждый из нас, побуждаемый к сему лишь состраданием, но никак не надеждой изгнать таким незамысловатым способом хворь из тела болящего, — однако никому из нас не доводилось и не доведется почувствовать, как прямо под пальцами жар слабеет, спадает, подобно дурной воде уходит в землю, и уж подавно не придется увидеть, как вслед за тем женщина встает с одра и говорит явно не случайные слова: Кто друг моего зятя, тот и мне друг, после чего берется как ни в чем не бывало за обычные свои дела по хозяйству. Таково было первое, так сказать, домашнее и внутреннее знамение, а на втором следует нам остановиться поподробнее, ибо выразилось в нем то, что Иисус наш открыто бросил вызов Закону писаному, чтимому и соблюдаемому, и, быть может, до известной степени объяснялся этот вызов естественным человеческим побуждением, ибо Иисус жил вне брака с Магдалиной, к тому же еще и блудницей, и ничего удивительного, что, увидев женщину, которую взяли в прелюбодеянии и, по Закону Моисея, должны были побить камнями, он вступился за нее, сказавши: Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень, что прозвучало так: Я и

сам бы, если бы не погряз в грехе любострастия, если бы не тяготели надо мной нечистые помыслы и деяния, вместе с вами свершил бы правосудие. Он сильно рисковал: кто-нибудь из доброхотов-палачей, у кого сердце очерствело окончательно и кто закоснел в грехе — а быть может, нашелся бы и не один такой, — вполне способен был пропустить его увещевание мимо ушей и привести приговор в исполнение, рассудив, что Закон писан не про него, а про женщин. Иисус по неопытности, наверно, не подумал о том, что если сидеть сложа руки и ждать, пока явятся в мир люди безгрешные — единственные, кто, по его мнению, имеет моральное право осуждать и карать, то, боюсь я, за время этого нашего бездействия безмерно умножится порок, процветет греховность и без удержу пойдут прелюбодейки блудить с одним, с другим, с кем попало и со всеми подряд, а ведь супружеская неверность — не единственный порок, тысячи их, один другого гнусней и мерзопакостней, и среди них — тот, за который Господь испепелил Содом и Гоморру, наслав на них огонь и серу. Но, возлюбленные братья мои, зло, родившееся вместе с миром и, насколько мне известно, многому дурному у него научившееся, — подобно пресловутой и никем никогда не виданной птице Феникс, которая сгорает в пламени и тотчас восстает из пепла. Добро — нежно и хрупко, и чуть лишь зло дохнет ему в лицо горячим дыханием самого заурядного греха, как навсегда пропадет его чистота, сморщатся и увянут его лилейные лепестки, сухим и ломким сделается стебель. Иисус сказал прелюбодее: Иди и впредь не греши, но душа его была исполнена сомнений.

Другой случай, заслуживающий внимания, произошел на восточном берегу Галилейского моря, куда Иисус считал нужным время от времени наведываться, чтобы не считали, будто он уделяет свои заботы только рыбакам из Капернаума. И вот он позвал Иакова и Иоанна и сказал им: Поплывем на ту сторону, в страну Гадаринскую, поглядим, как там и что, а на обратном пути займемся ловлей, так что в любом случае не напрасны будут труды. Сыновья Зеведеевы согласились, направили свою лодку и принялись грести, надеясь, что дальше попутный ветер доставит их к цели с меньшими усилиями. Так и вышло, но уже вскоре овладел ими страх, ибо вот-вот должна была начаться такая буря, рядом с которой пустяком покажется та, первая, однако Иисус сказал воде и ветру: Перестаньте, как не в меру расшалившимся детям, и тотчас стихло волнение, и ветер снова стал дуть в нужную сторону и не сильней, чем нужно. Причалили, вышли на берег: впереди Иисус, а Иоанн с Иаковом — следом за ним, ибо они никогда не бывали в этих местах, и все им было внове и в диковинку, но главное диво, от которого замерли у обоих сердца, было впереди — на дорогу перед ними выскочил человек, если позволительно будет назвать так существо, покрытое коростой и отвратительными язвами, с всклокоченными волосами и свалявшейся бородой, издающее тлетворный смрад, ибо, как узнали они потом, прятался он в гробницах всякий раз, когда ему удавалось освободиться и убежать, потому что многократно был он связан оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Будь этот человек просто безумцем, можно было бы, хоть известно, что, когда умалишенные впадают в неистовство, силы их удваиваются, так вот, можно было бы, говорю, поставить решетки попрочнее, заковать его в цепи тяжелее, но он был одержим нечистым духом, а тому нипочем все на свете затворы и оковы, любые узы. И одержимый день и ночь носился по горам, убегая от себя самого и от собственной тени, но всегда возвращался на кладбище, где прятался между гробницами, а иногда и в них самих, и его силой извлекали оттуда, наводя страх на всех, кто видел это. Вот тут и встретил его Иисус, и посланные взять бесноватого махали ему руками, чтобы убегал и спасался, но Иисус приплыл на ту сторону попытать судьбу и не желал упускать никакой возможности. Иаков и Иоанн хоть и робели, но не оставили друга одного и потому первыми услышали слова, которые доселе никто не только не произносил и не слышал, но и не полагал возможным произнести и услышать, ибо они были против Господа и его Завета, как станет очевидно из дальнейшего нашего повествования. Бесноватый, ощерив клыки, с которых свисали волоконца гниющей плоти, выставив когти, приближался, и волосы Иисуса шевельнулись от ужаса, но, двух шагов не дойдя до него, тот повалился наземь и громким голосом сказал: Что тебе до меня, Иисус, сын Бога Всевышнего, умоляю тебя, не мучь меня. Да, в первый раз, наяву и прилюдно — не в одиноких снах, истинность которых благоразумный скептицизм велит подвергать сомнению, прозвучал голос — и был это голос Дьявола — во всеуслышание объявив-

ший, что Иисус из Назарета — сын Божий, чего и сам он не знал, поскольку в разговоре с Богом в пустыне тема отцовства не затрагивалась: Ты мне понадобишься позже, вот и все, что сказал ему Бог, и невозможно было даже установить сходство, потому что явился он Иисусу в облике облака или столба дыма — короче говоря, в столпе облачном. У ног Иисуса корчился одержимый, голос обуявшего его беса произнес непроизносимое и смолк, и в этот миг Иисус, словно узнав себя в нем, почувствовал, как и в него входит и овладевает им некая сила, которая, поведя его неведомо куда и неведомо к чему, в конце концов приведет к могиле и в могилу сведет. Иисус спросил его: Как тебе имя? — и он сказал: Легион, потому что много бесов вошло в него. Тогда Иисус повелел: Выйди из этого человека, нечистый дух. И едва успел он произнести эти слова, как бесы многоголосым хором — звучали тут голоса пронзительные и тонкие, грубые и хриплые, по-женски ласкающие слух и визгливые, будто пила вгрызалась в камень, издевательски-глумливые и притворно, по-нищенски смиренные, надменные и жалобные, и такие, что подобны были лепету детей, произносящих первые в жизни слова, и стонущие, будто от боли, и воющие по-звериному — принялись умолять Иисуса, чтобы не высылал их вон из страны той, уверять его, что достаточно ему приказать — и они покинут тело несчастного, но только, пожалуйста, пусть не изгоняет их отсюда. Спросил Иисус: Куда же хотите вы войти? Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил войти в них. Иисус подумал и пришел к выводу, что это будет правильно, поскольку эти животные, чье мясо правоверные иудеи почитают нечистым, наверняка принадлежат язычникам. Он только не сообразил, что те, съев свиней, в которых войдут бесы, тоже могут превратиться в одержимых и обуянных бесами, как не предвидел и еще одного злосчастного последствия своего решения, ибо даже сын Божий, не осознавший, впрочем, в полной мере, с кем состоит он в родстве, не может, как в шахматах, просчитать все ходы и предусмотреть все наперед. Бесы в сильном волнении ожидали, что ответит он им, и когда наконец сказал Иисус: Позволяю, — издали дружный ликующий крик и тотчас вошли в свиней. То ли от неожиданности, то ли с непривычки носить в себе нечистых духов, животные — все, сколько их там было, а было их две тысячи голов — сей же миг обезумели и ринулись с кручи вниз, в море, где и потонули. Невозможно представить ярость, охватившую хозяев стада при виде того, как ни в чем не повинная скотина, которая еще минуту назад мирно разгуливала себе, рылась в земле в поисках съедобных корешков и червячков, пощипывала жесткую и редкую траву, росшую на пересохших от зноя горных кручах, оказалась в воде: одни несчастные свинки уже всплыли брюхом кверху, другие отчаянно бились и барахтались, прилагая — не побоимся этого слова — титанические усилия, чтобы выставить из воды уши: слуховые отверстия у свиней не закрываются, в них потоком врывается вода, заполняет всю тушу доверху — и аминь. Свинопасы в бешенстве принялись издали швырять камнями в Иисуса и бывших с ним, а потом устремились к нему, пылая справедливым негодованием и намереваясь потребовать с виновника своего несчастья возмещения ущерба — примем цену одной головы за «икс», умножаем на две тысячи и получаем искомую сумму ущерба. Да? С кого это мы ее получаем? И у рыбаков-то денег почти не водится, живут они тем, что наловят, а Иисус был даже не рыбак. Он хотел было дождаться пастухов, хотел объяснить им, что никого нет на свете хуже Дьявола, что по сравнению с этим злом гибель двух тысяч свиней — сущие пустяки и что все мы обречены нести потери, материальные и иные, хотел сказать им: Будьте терпеливы, братья! — но Иаков с Иоанном рассудили, что не стоит вступать в переговоры, которые по всем приметам мирными не будут, ибо учтивость и самые добрые намерения одной стороны ничто против доводов грубой силы, приводимых другою. Бегом сбежали они по склону на берег, вскочили в лодку, навалились на весла и вскоре были уже в безопасности, поскольку не вплавь же было гнаться за ними преследователям, по всей видимости рыболовством не промышлявшим и лодок оттого не имевшим. Сказал Иаков: Сколько-то свиней погибло, одна душа спаслась, прибыль — Господу. Иисус взглянул на него рассеянно, словно мысли его были заняты другим, и сыновья Зеведеевы знали, чем именно, и очень бы хотели обсудить это «другое» — неслыханные слова бесноватого о том, что Иисус — сын Божий, однако спутник их устремил взгляд на тот берег, откуда они с такой поспешностью отчалили: он глядел на воду, где покачивались в легкой зыби две тысячи ни в чем не виноватых свиней, и чувствовал, как

нарастающая в нем тревога все усиливается, пока наконец не нашла себе выход в крике, сорвавшемся с его уст: Бесы! Где же бесы? — и потом, вскинув голову к небесам, расхохотался: Слышишь, Господь, ты либо выбрал себе в сыновья человека, негодного исполнить твои предначертания, либо среди тысячи твоих могуществ не хватает одного, и разум твой бессилен справиться с разумом Дьявола! Что ты хочешь сказать? — пробормотал Иоанн, напуганный такой кощунственной дерзостью. Хочу сказать, что бесы, прежде обитавшие в теле того несчастного, ныне вырвались на свободу: мы ведь знаем теперь, что они не умирают, и сам Бог не может их убить, а то, что я сделал, может быть уподоблено попытке разрубить мечом морскую волну. А на берегу тем временем собралось уже много народу — одни входили в воду, чтобы достать туши, плававшие поблизости, другие, добыв лодки, отправлялись за добычей, находившейся в отдалении.

В ту же ночь, в доме Симона и Андрея, стоявшем подле синагоги, собрались пятеро друзей, чтобы втайне ото всех обсудить наводящий ужас вопрос: в самом ли деле Иисус, как сказали бесы, сын Божий? После всего, что случилось днем, все единодушно согласились перенести неизбежный разговор на ночь, и вот настало наконец время прояснить все до точки. И первым заговорил Иисус: Нельзя верить ни единому слову того, кто и породил ложь, — он, разумеется, имел в виду Дьявола. Сказал Андрей: И правда и ложь изрекаются одними устами, и Дьявол не перестанет быть Дьяволом, если случится ему иногда сказать правду. Сказал Симон: Мы давно знаем, что ты не такой, как все, вспомним рыбу, которую бы мы без тебя не поймали, вспомним бурю, которая бы нас убила, и воду, что ты превратил в вино, и грешницу, которую побили бы камнями, если бы не ты, а теперь еще и бесов, которых ты изгнал из одержимого. Сказал Иисус: Не я один изгонял бесов. Верно, сказал Иаков, но лишь перед тобой одним униженно склонились они, называя тебя сыном Бога Всевышнего. Что мне до их унижения, если в конце концов унижен оказался я? Да ведь не в том дело, вмешался Иоанн, я ведь был там и все слышал, почему ты не сказал нам, что ты сын Божий? Я не знаю, так ли это. Возможно ли, чтобы известное Дьяволу тебе было неведомо? Отличный вопрос, но пусть ответят тебе на него они. Кто они? Бог, сыном которого назвал меня Дьявол; Дьявол, который только от Бога мог об этом узнать. Все помолчали, словно давая время и возможность высказаться упомянутой паре, а потом Симон спросил о том, что вертелось на языке у всех: Что было у тебя с Богом? Иисус вздохнул: Я ждал этого вопроса с тех самых пор, как пришел в ваши края. Но мы и подумать не могли, что сын Божий пожелает сделаться рыбаком. Так кто же ты все-таки такой? Иисус закрыл лицо руками, отыскивая в памяти точку, от которой надо будет начать признание, и неожиданно как со стороны увидел свою жизнь и понял: если бесы не солгали, все, что происходило с ним до этого, должно обрести иной смысл, а многие события и вовсе могут быть поняты лишь в свете этой истины, явленной так недавно. Потом открыл лицо, поочередно оглядел каждого из сидевших перед ним с выражением мольбы, как бы признавая, что, прося их поверить ему, просит о превосходящем все человеческие возможности, и наконец после долгого молчания сказал: Я видел Бога. Рыбаки молчали, ожидая, что будет дальше. Иисус, потупившись, продолжал: Я встретил его в пустыне, и он возвестил мне, что в свое время дарует мне власть и славу в обмен на мою жизнь, но о том, что я его сын, — не сказал. Он опять замолчал, и молчали рыбаки. А как он явился тебе? — спросил Иаков. В виде такого, что ли, облака или, скорее, столба дыма. Дыма или пламени? Дыма. И больше ничего тебе не сказал? Сказал только, что, когда настанет срок, он опять явится мне. Срок чего? Не знаю, может быть, срок жизни моей. Ну а когда же ты обретешь власть и славу? Не знаю. В комнате, где, несмотря на жару, била всех пятерых дрожь, опять стало тихо. Потом Симон с расстановкой спросил: Может, ты и есть Мессия, которого нам следует считать сыном Божьим, потому что ты пришел, чтобы освободить избранный народ от рабства? Я — Мессия? Чего ты так удивляешься, улыбнулся нервно Андрей, как будто Мессией быть нельзя, а прямым сыном Господа — можно. Сказал Иаков: Мессия или сын Божий, я одного не постигаю — как узнал об этом Дьявол, если Бог даже тебе не открылся? Сказал Иоанн задумчиво: Мало ли какие дела у Бога с Дьяволом — почем нам знать. Пятеро переглянулись — страшно было и задумываться об этом, и Симон спросил Иисуса: Что же ты будешь делать? — и Иисус ответил: Ждать, когда придет час, что же я еще могу.

А час был уже близок, но Иисусу предстояло до той поры еще дважды проявить

свое чудесное могущество, хотя о втором случае предпочтительней было бы умолчать — потому что он опять дал маху и погубил смоковницу, причастную к какому-либо злу в той же мере, что и несчастные свиньи, ввергнутые с крутизны в море. А вот первый случай заслуживает того, чтобы о нем сделалось известно первосвященникам иерусалимским и быть высеченным золотыми буквами на фронтоне Храма, ибо такого никогда не видано было раньше и не будет видано впредь, вплоть до наших дней. Историки переломали немало копий, споря о том, по какой причине собралось столько и столь разнообразного народа в этом месте, — заметим кстати и мимоходом, что и о точном его положении споры не умолкают, поскольку одни утверждают — это мы уже вернулись к причинам, — что речь идет о самом что ни на есть обычном паломничестве, какие устраиваются спокон веку, другие же с пеной у рта твердят: Ничего подобного, столпотворение возникло оттого, что прошел и впоследствии подтвердился слух, будто прибыл из Рима чиновник с чрезвычайными полномочиями, чтобы объявить о снижении податей и пошлин, а третьи, не выдвигая никаких собственных предположений, заявляют, что даже малые дети не поверили бы в облегчение фискального бремени и изменение существующей системы в пользу налогоплательщика, что же касается столь массового наплыва людей, то пусть те, кто любит приходить на готовенькое, лучше дадут себе труд изучить состав и структуру этой толпы. Установлено и можно считать достоверным, что численность ее колебалась от четырех до пяти тысяч человек, не считая женщин и детей, и что все эти люди в определенный момент оказались без еды. Объяснить, по какой причине народ, от природы предусмотрительный и, кроме того, привычный к скитаниям и странствиям, никогда не пускающийся в путь, даже если путь этот — из одной деревни в соседнюю, без краюхи хлеба и ломтя вяленого мяса, на этот раз не взял с собой съестных припасов, никто не может да и не пытается. Но факты остаются фактами, и свидетельствуют они о том, что собралось там тысяч двенадцать-пятнадцать, если считать женщин и детей — а почему бы их, собственно, не считать? — голодавших уже на протяжении многих часов и намеренных рано или поздно отправиться по домам, хотя ясно было, что многие умрут от истощения по дороге или сядут по обочинам ее, вверив себя милосердию и благосостоянию прохожих. Первыми, как и всегда бывает в подобных обстоятельствах, начали дети — стали нетерпеливо требовать еды, а иные захныкали: Мама, я есть хочу! — и опасность того, что ситуация, как принято будет выражаться, выйдет из-под контроля, возрастала с каждой минутой. Иисус стоял в самой гуще толпы вместе с Магдалиной и четырьмя своими друзьями — Симоном, Андреем, Иаковом и Иоанном, которые после памятной истории со свиньями и после того, что выяснилось следом, были с ним теперь неразлучны, — но, не в пример прочим собравшимся там, они запаслись рыбой и несколькими хлебами и вполне могли бы закусить. Однако приниматься за еду посреди толпы голодных людей было бы не только проявлением самого гадкого себялюбия, но и небезопасно, ибо от необходимости до закона — один коротенький шажок, а кроме того, со времен Каина повелось, что справедливость лучше всего восстанавливать собственными руками — скорей будет. У Иисуса и в мыслях не было, что он чем-то может пригодиться такой прорве народа, устроившей толчею и давку, но Иаков и Иоанн с уверенностью, присущей очевидцам, сказали ему: Если ты сумел изгнать из человека бесов, которые его убивали, то сумеешь сделать так, чтобы эти люди получили еду, без которой умрут. Откуда же я ее возьму, у нас нет ничего, кроме той малости, что взяли мы с собой. Ты сын Божий, стало быть, можешь сделать это. Иисус взглянул на Магдалину, и та сказала ему: Ты достиг рубежа, откуда уже поздно сворачивать, и на лице ее была жалость — к нему или к голодным людям? Тогда, взяв шесть хлебов, что были у них с собой, он разломил каждый из них надвое и роздал их спутникам своим и так же поступил с рыбами, и себе тоже оставил половину ковриги и половину рыбины. Потом сказал: Ступайте за мной и делайте то же, что я. Нам известно, что он сделал, но до сих пор непонятно, как это у него получилось, что он переходил от человека к человеку, каждому давая по кусочку хлеба и волоконцу рыбы, но у каждого оказывалось в итоге по цельной ячменной ковриге и по цельной рыбине. Так же и то же делали, идя следом за ним, Магдалина и четверо рыбаков, и там, где проходили они, будто веяло над полем благодатным ветром, и один за другим выпрямлялись полегшие колосья, и шелесту колосьев под ветром подобен был равномерный шум жующих ртов, воз-

носящих благодарение уст. Это Мессия, говорили одни. Это волшебник, говорили другие, но ни одному из тех, кто стоял там, не пришло в голову спросить: Ты — сын Божий? А Иисус говорил всем: Имеющий уши да слышит, если не разделитесь, то не умножитесь.

Уместно, своевременно и хорошо, что он явил чудо, когда обстоятельства потребовали этого. Но совсем нехорошо взыскивать с не заслуживших взыскания, а ведь именно такова была уже упоминавшаяся история со смоковницей. Иисус шел полем и почувствовал голод и, увидев при дороге одну смоковницу, приблизился, чтобы посмотреть, нет ли на ветвях плодов, но ничего не нашел, кроме листьев, потому что время плодоносить не наступило еще. И он сказал тогда: Да не будет же от тебя плодов вовек. И смоковница тотчас засохла. Сказала Магдалина, бывшая тогда с ним: Давай нуждающимся, но не проси у тех, кому нечего дать. Устыдясь, Иисус велел дереву ожить, но оно по-прежнему оставалось мертвым.

Туманный рассвет. Рыбак поднимается со своей циновки, глядит из окна на молочную пелену, говорит жене: Сегодня в море не пойду, ничего не видно. Те же или схожие слова произнесены были по обоим берегам Галилейского моря всеми рыбаками, озадаченными таким из ряда вон выходящим явлением — в это время года подобных туманов не бывает. И только один, совсем не рыбак, хоть и выходит в море на ловлю и тем живет, поглядев с порога на непроницаемое небо и словно убедившись, что сегодня — его день, говорит кому-то, кто находится в доме: Выйду в море. Обернувшись через плечо, спрашивает Магдалина: Ты должен? — и Иисус отвечает: Пора. Он обнял ее и сказал: Наконец я узнаю, кто я и для чего я, а потом на удивление проворно и уверенно, хотя туман такой, что не различить и собственных ног, сбежал вниз по склону на берег, оттолкнул одну из лодок и принялся выгребать к невидимой середине. В тишине и тумане далеко разносятся звон уключин, стук весел о борта, плеск стекающей с них воды, и рыбаки открывают глаза, несмотря на увещевания верных жен: Раз уж в море не идешь сегодня, поспи подольше. В тревоге и беспокойстве глядят жители рыбачьей деревни на скрытое густым туманом море и, сами того не зная, ждут, чтобы смолкли внезапно стук весел и плеск воды, чтобы тогда можно было им разойтись по домам и закрыть двери на все замки, засовы и щеколды, хоть и знают, что это не поможет, если тот, о ком думают они, вздумает дунуть в этом направлении — слетят тогда все двери с петель. Туман расступается, пропуская Иисуса, но видит он лишь лопасти своих весел и корму своей лодки, а все прочее являет собою стену — поначалу мутно-пепельную, а по мере того как лодка приближается к цели, рассеянный свет делает туманную пелену белой и блистающей, подрагивающей, словно какой-то звук пытается пробиться сквозь нее и не может — глохнет, как в вате. И в пятне самого яркого света, на середине моря лодка останавливается. На корме, на возглавии сидит Бог.

Нет, на этот раз он явился не в столпе облачном — в такую погоду облако или дым сольются с туманом. Это старик большого роста, с окладистой, во всю грудь, бородой, с непокрытой головой, с широким лицом, на котором толстые губы крупного рта не шевелятся, когда он говорит. Он одет, как одеваются богатые иудеи, — на нем длинная, ярко-красного цвета туника, а сверху голубая, затканная золотом хламида с рукавами, но на ногах у него грубые, простые и прочные сандалии — обувь для ходьбы, а не для красоты, и сразу можно сказать: тот, кто носит такую, сиднем не сидит. А вот какого цвета у него волосы — седые, черные, каштановые, — мы сказать затрудняемся: в такие года должны были бы побелеть, однако, может, он из тех, кого до глубокой старости не пробивает седина. Иисус снял весла с уключин, положил их на дно лодки, словно знал наперед — долгим будет разговор, и сказал просто: Я здесь. Бог неторопливо и обстоятельно подобрал полы своего одеяния, оправил их на коленях и сказал: И я здесь. По тону его могло бы показаться, что он произнес эти слова с улыбкой, но губы оставались неподвижны, и только чуть-чуть подрагивали, словно от колокольного гуда, длинные волосы в усах и под подбородком. Сказал Иисус: Я пришел узнать, кто я и что отныне мне предстоит делать, чтобы выполнить мою часть договора. Сказал Бог: Тут два вопроса, и обсуждать их надо по отдельности; с какого желаешь начать? С первого: кто я такой? — спросил Иисус. А ты не знаешь? — в свою очередь спросил Бог. Думал, что знаю, считал, что я сын своего

отца. Ты о каком отце? О моем родном отце, о плотнике Иосифе, сыне Илии или Иакова, точно не помню. О том самом, кого распяли на кресте? Я полагал, что другого у меня нет. Да, это была трагическая ошибка римлян — тот твой отец погиб безвинно. Ты сказал «тот», значит, есть и «этот»? Я восхищен твоей сообразительностью. Сообразительность тут ни при чем: я узнал об этом от Дьявола. А ты с ним знавался? Да нет, это он однажды вышел ко мне навстречу. Ну так что же ты узнал от него? Узнал, что я — твой сын. Бог медленно склонил голову в знак согласия: Да, ты — мой сын. Но как же человек может быть сыном Божьим? Если ты сын Божий, то, значит, не человек. Но ведь я же человек: ем, пью, сплю, люблю как человек и, стало быть, как человек умру. Знаешь, я бы на твоем месте не был так уверен в этом. Что ты хочешь этим сказать? Это уже другой вопрос, и в свое время, благо его у нас в избытке, мы к нему вернемся, а сейчас скажи-ка мне, что ты ответил Дьяволу, когда он сообщил тебе, что ты — мой сын. Да ничего не ответил, я ждал встречи с тобой, а Дьявола я изгнал из одержимого, которого тот мучил: имя ему было Легион, ибо он был не один. Ну и где они сейчас? Не знаю. Ты же сказал, что изгнал их?! Тебе, без сомнения, известно это лучше, чем мне, ибо, когда изгоняешь бесов, не знаешь, куда они потом деваются. С чего ты взял, что я сведущ в таких делах? Ты не сведущ, а всеведущ, потому что ты — Бог. До известной степени, всего лишь до известной степени. До какой именно? До той, по достижении которой лучше сделать вид, что ничего не знаешь. По крайней мере, ты знаешь, как и почему и для чего я — твой сын. Замечаю я, что со времени нашей последней встречи ты сильно окреп духом, чтоб не сказать, принимая в расчет, с кем ты говоришь, — обнаглел. Тогда я был испуганным отроком, сейчас я — мужчина. И страха нет? Нет. Ничего, будет, уверяю тебя, страх посещает и сынов Божьих. А их много? Кого «их»? Сыновей у тебя много? Нет, мне требовался только один. Скажи все же, как же я стал твоим сыном? Разве мать тебе не говорила? А она знает? Конечно знает, я же ей ангела послал, чтобы объяснить, как все это вышло; я думал, она тебе рассказала. А когда ты послал ей ангела? Погоди, дай вспомнить: если не путаю, то после того, как ты во второй раз ушел из дому, но до того, как ты отличился в Кане. Стало быть, она все знала, а мне ничего не сказала и не поверила, что я видел тебя в пустыне, хоть должна была поверить словам посланного тобой ангела, но мне в этом не призналась. Разве не знаешь, что женщины — народ стеснительный, щепетильный, ты ведь, помнится, живешь с одной из них: у них свои страхи, свои заморочки. Какие еще заморочки? Ну, видишь ли, перед зачатием твоим я смешал свое семя с семенем твоего отца, Иосифа, это было несложно сделать, никто и не заметил. Но если так, то можно ли быть уверенным, что я — твой сын? Можно, хотя в таких делах благоразумней не высказываться с полной определенностью, но в данном случае — можно, ведь как-никак я Бог. А зачем ты захотел иметь сына? Раз на небе не обзавелся потомством, пришлось устраиваться на земле, и не я первый это придумал: даже в тех религиях, где богини могут иметь детей от богов, те то и дело сходят на землю, для разнообразия, я полагаю, но и для того, чтобы заодно улучшить породу — героев родить и тому подобное. Ну а меня-то ты зачем произвел на свет? Да уж не в поисках новых ощущений, можешь мне поверить. Тогда зачем? Затем, что мне нужен человек, который поможет мне на земле. Ты — Бог, как ты можешь нуждаться в чьей-то помощи? Это уже другой вопрос.

Продолжалось безмолвие, как вдруг в тумане, однако не из какой-то определенной точки, на которую можно было бы указать пальцем, стали слышаться звуки, какие издает пловец, и, судя по фырканью и одышке, пловец этот то ли был не слишком искусен, то ли уже выбился из сил. Иисусу показалось, что Бог улыбается и не намерен нарушать затянувшееся молчание, пока пловец не появится в освещенном круге с лодкой в середине. И вот внезапно, и не слева, откуда доносились фырканье и плеск, а по правому, обращенному в открытое море борту возникли размытые очертания темного пятна, поначалу напомнившие Иисусу свинью, выставившую из воды голову с торчащими ушами, но еще через несколько мгновений стало ясно, что это человек или, по крайней мере, некто, внешне от человека неотличимый. Бог обернулся в его сторону не просто с любопытством, но и словно желая подбодрить для последнего рывка — и этот полуоборот, очевидно замеченный плывущим, возымел немедленное действие: движения его ускорились и приобрели размеренную и четкую согласованность, как будто не было у него позади столь долгого пути — от берега, имеется в виду. Наконец за борт ухватились две руки —

ширококостые и сильные, с крепкими ногтями, и, должно быть, и остальное тело, еще не вынырнувшее из воды, было таким же, как у Бога, — могучим, огромным и древним. От толчка лодка накренилась, из воды показалась голова, следом, обрушив потоки воды, взметнулось туловище и наконец появились ноги. Это Пастырь, о котором столько лет не было ни слуху ни духу, взобрался в лодку и со словами: Ну вот и я, — присел на борту, так что Иисус и Бог остались от него на равном расстоянии, причем на этот раз лодка даже не качнулась, как будто вновь прибывший сумел сделаться невесомым и не из бездны выплыл, подобно левиафану, а парил в воздухе, только делая вид, что сидит. Вот и я, повторил он, надеюсь, успел вовремя — как раз к разговору. Да мы уж давно разговариваем, но самой сути пока.не затрагивали, отозвался Бог и добавил, обращаясь к Иисусу: Это Дьявол, легок на помине. Иисус поглядел на одного, потом на другого и увидел, что не будь у Бога бороды, они были бы похожи, как близнецы: Дьявол, правда, выглядел моложе, морщин у него было меньше, но и это можно списать на оптический обман или на его умение отводить глаза. Я знаю, кто это, отвечал он, четыре года провел в его обществе, только тогда его звали Пастырь. Надо же с кем-то общаться, сказал Бог, со мной нельзя, с домашними твоими ты сам не захотел, вот и остается один Дьявол. Я его не искал, он меня нашел сам или же это ты отправил меня к нему. На самом деле ни то ни другое: мы с ним, так сказать, согласились на том, что для тебя это будет наилучший выход из положения. Значит, он знал, что говорил, когда устами обуянного им безумца назвал меня твоим сыном? Более или менее. То есть я был обманут вами обоими? Да, как и каждый человек на свете. Ты говорил, что я не человек. Говорил и подтверждаю, можно сказать, что ты — ох, забыл как это называется, — а! перевоплотился. Ну а теперь что вам от меня надо? Ему — ничего. Но вы здесь вдвоем, я же видел, что его появление тебя не удивило, следовательно, ты ждал его. Это не совсем так, но, впрочем, затевая любое дело, надо иметь в виду и держать в уме Дьявола. Но если то, о чем ты собираешься говорить со мной, касается лишь нас двоих, зачем он здесь, почему ты не прогонишь его? Прогнать можно мелкую сволочь, которая у него на службе, если те позволят себе словом или действием что-то не то, а Дьявола, как такового, — пожалуй что нет. Значит, он явился потому, что наш разговор касается и его? Сын мой, запомни мои слова: все, что касается Бога, касается и Дьявола. Пастырь — позвольте нам время от времени по старой памяти называть его так, чтобы не упоминать лишний раз врага рода человеческого, — слушал их молча и безучастно, словно речь шла вовсе и не о нем, и всем своим видом опровергал только что прозвучавшее из Божьих уст веское утверждение. Но стоило лишь Иисусу произнести: Ответь мне теперь на мой второй вопрос, — как стало видно, что безразличие его напускное и он явно насторожился, хоть по-прежнему не произносил ни слова.

Бог глубоко вздохнул, оглянулся по сторонам и пробормотал так, словно только что открыл для себя нечто неожиданное и забавное: Я и не подумал об этом — чем не пустыня? Потом перевел взгляд на Иисуса, помолчал и, как бы смиряясь с неизбежным, начал: Чувство неудовлетворенности, сын мой, было вложено в душу человеческую творцом всего сущего, мною то есть, но чувство это, как и все, что я создал по собственному образу и подобию, я отыскал в собственной душе, и протекшее с той поры время не уничтожило его, напротив, признаюсь тебе, что оно сделалось сильнее и острее. Бог снова помолчал, давая возможность оценить свое вступление, и продолжал: Вот уж четыре тысячи четыре года, как я стал богом иудеев, а народ этот по природе своей сложный, вздорный, беспокойный, но мы с ним достигли некоего равновесия в наших отношениях, поскольку он принимает меня и будет принимать, насколько способен я провидеть будущее, всерьез. Стало быть, ты доволен? — спросил Иисус. Как сказать: и доволен и нет, а вернее, был бы доволен, если бы не это свойство неуемной моей души, твердящей мне ежедневно: Да уж, отлично ты устроился, после четырех тысячелетий забот и трудов, которые не вознаградить никакими, даже самыми щедрыми и разнообразными жертвами, оставшись богом крошечного народца, живущего в уголке мира, сотворенного тобой со всем, что есть в нем и на нем, и скажи-ка ты мне, сын мой, могу ли я быть доволен, постоянно имея перед глазами это мучительное противоречие? Не знаю, отвечал Иисус, я мир не сотворял, оценить не могу. Оценить не можешь, а помочь — вполне. В чем и чем? Помочь мне распространить и расширить мое влияние, помочь мне стать

богом многих и многих иных. Не понимаю. Если ты справишься с той ролью, что отведена тебе по моему замыслу, я совершенно уверен, что лет через пятьсот-шестьсот я, одолев с твоей помощью множество препятствий, стану богом не только иудеев, но и тех, кого назовут на греческий манер католиками. А что же это за роль? Роль мученика, сын мой, роль жертвы, ибо ничем лучше нельзя возжечь пламень веры и распространить верование. Медовыми устами произнес Бог слова «мученик» и «жертва», но ледяной холод внезапно пронизал все тело Иисуса, а Бог смотрел на него с загадочным выражением, чем-то средним между интересом естествоиспытателя и невольной жалостью. Ты же сказал, что дашь мне власть и славу, пробормотал Иисус, все еще трясясь от озноба. Дам, дам, непременно дам, но, как мы с тобой и договаривались, после твоей смерти. А зачем они мне после смерти? Видишь ли, ты не умрешь в полном смысле слова, поскольку, как мой сын, будешь со мной, при мне или во мне, я пока еще окончательно не решил. Да что это значит — «не умру в полном смысле слова»? Это значит, что тебе до скончания века будут воздавать в храмах и у алтарей такие почести, что — я уже сейчас могу тебе это сказать — что в будущем мне придется немного потесниться, ибо люди позабудут меня — первоначального Бога́, но это не так важно: малую малость не разделишь, а от большого не убудет. Иисус взглянул на Пастыря, заметил на губах его улыбку и понял. Теперь понимаю, зачем здесь Дьявол: если твоя власть распространится на иные страны и другие народы начнут поклоняться тебе, то тем самым увеличится и его могущество, ибо твои пределы — это его пределы, ни пядью больше, ни пядью меньше. Верно, сын мой, совершенно верно, меня радует твоя проницательность, доказательство коей — в том никем не замечаемом обстоятельстве, что нечистая сила одной религии не может действовать в другой, равно как и бог, если предположить, что он вступил в противоборство с другим богом, не сможет ни одолеть его, ни потерпеть от него поражение. Скажи, как я умру? Мученику подобает смерть тяжкая и желательно позорная, так легче тронуть сердца верующих, сделать их чувствительней и отзывчивей. Нельзя ли без околичностей сказать, как я умру? Ты умрешь смертью тяжкой, мучительной и позорной, тебя распнут на кресте. Как моего отца? Отец твой — я, не забывай этого. Если мне еще можно выбирать, я выбираю его, даже если и был в его жизни час позора. Выбирать тебе нельзя, ибо ты сам избран. Я отказываюсь от нашего договора, порываю с тобой, потому что хочу жить как все. Ну к чему эти пустые слова, сын мой, неужели ты до сих пор не понял, что ты в моей власти всецело и что, как бы ни назывались все эти документы, где в качестве одной из сторон фигурирую я, — договор, контракт, пакт, соглашение, — кончаются они все одинаково, бумаги и чернил на эту концовку уходит мало, и написано там просто и ясно, без околичностей и обиняков, следующее: Все, чего хочет Бог, становится законом, обязательным для исполнения, и даже исключения из правил — вот хоть ты, сын мой, ты ведь несомненное и заметное исключение из правил, ты тоже станешь столь же обязательным, как и само правило, и сделал это я. Но отчего бы тебе, раз у тебя такое могущество, самому не отправиться завоевывать иные страны и народы — это было бы и проще, и, я бы сказал, чище в нравственном отношении. Не могу; нельзя; не позволяет бессрочный и нерасторгаемый договор, который мы, боги, заключили между собой, обязуясь никогда впрямую не вмешиваться в чужие распри, и потом, хорош я буду на площади, перед язычниками и толпами идолопоклонников, когда стану убеждать их, что они молятся ложным кумирам, а истинный бог — я, такую свинью один бог другому не подложит, и ни один бог не допустит, чтобы творилось в его владениях то, что он сам бы считал недостойным творить во владениях чужих. Стало быть, вы людей используете как орудие? Именно, сын мой, именно так: из человека можно выстругать любую ложку, от первого крика до последнего вздоха он всегда готов подчиняться, скажешь ему «Иди» — он идет, скажешь «Стой» — стоит, скажешь «Назад» — возвращается, человек на войне ли, в мире — ну, в широком смысле этих слов — это самая большая удача, которая выпадает на долю богов. А ложка, сделанная из того материала, каким я являюсь, чему послужит? Ты станешь ложкой, которую я опущу в котел человечества и которой зачерпну человеков, уверовавших в нового бога, каким стану я. Зачерпнешь и сожрешь? Незачем мне их пожирать, они сами себя пожирают ежечасно.

Иисус вставил уключины и сказал: Прощайте, мне пора домой, а вы ступайте своей дорогой: ты — вплавь, а ты, раз появился откуда ни возьмись, возьми себя в никуда. Ни

Бог, ни Дьявол не шевельнулись, и тогда Иисус насмешливо добавил: А-а, вам угодно, чтобы я вас доставил к берегу, ну что же, охотно: свезу, пусть все наконец увидят Бога с Дьяволом во плоти, пусть посмотрят, как они схожи и как отлично понимают друг друга. Он полуобернулся и показал на берег, откуда приплыл, а потом несколькими сильными и размашистыми ударами весел ввел лодку в пелену тумана, столь густую и плотную, что тотчас потерял из виду Бога и даже смутного силуэта Дьявола различить не мог. Ему стало весело, он испытывал какой-то необычный подъем и прилив сил и, хотя не видел нос лодки, чувствовал, как при каждом гребке приподнимается он, будто голова карьером несущегося скакуна, который хочет, да не может освободиться от грузного туловища и, смиряясь, понимает, что взлететь оно ему не даст и придется влачить его за собой до конца. Иисус греб без устали: должно быть, уже близок берег, любопытно, как поведут себя люди, когда он им скажет: Вон тот, с бородой, — Бог, а второй — Дьявол. Глянув через плечо, он заметил просвет в тумане и объявил: Вот и приплыли — и еще усердней заработал веслами, ожидая, что вот-вот лодка мягко ткнется в прибрежную отмель и весело заскрипит галька под днищем. Однако невидимый ему нос уставлен был по-прежнему в сторону моря, а просвет был никакой не просвет, а все тот же блистающий магический круг, та ослепительная ловушка, из которой он, как казалось ему, выбрался. Вмиг обессилев, он опустил голову, сложил так, словно кто-то должен был связать их, руки на коленях, даже не подумав вытащить из воды весла, ибо, властно вытесняя все прочее, заполнило его душу сознание тщеты и бессмысленности всякого движения. Нет, он не заговорит первым, не признается вслух в том, что потерпел поражение, не попросит прощения за то, что пошел наперекор воле Бога и вразрез с его предначертаниями и, значит, покусился, хоть и не впрямую, на интересы Дьявола, который всегда извлекает пользу из тех побочных и вторичных, но далеко не второстепенных действий, что неизменно сопровождают точное исполнение Божьей воли. Молчание, воцарившееся после неудачной попытки, было недолгим. Вновь оказавшийся на возглавии кормы Бог с ложной многозначительностью судьи, который собирается приступить к ритуалу оглашения приговора, одернул полы, оправил ворот своего одеяния и сказал: Начнем сначала, с того места, когда я сказал тебе, что ты — всецело в моей власти, ибо всякое твое деяние, не являющееся смиренным и кротким подтверждением этой истины, будет зряшной, а значит, и недопустимой тратой времени твоего и моего. Ладно, начнем сначала, молвил Иисус, только я наперед заявляю, что от дарованной тобою возможности творить чудеса отказываюсь, а без них замысел твой — ничто, хлынувший с небес ливень, не успевший утолить ничью жажду. Слова твои имели бы смысл, если бы от тебя зависело, творить тебе чудеса или нет. А разве не от меня? Разумеется, нет: чудеса — и малые, и великие — творю я, в твоем, ясное дело, присутствии, чтобы ты получал от этого причитающиеся мне выгоды, и в глубине души ты ужасно суеверен и полагаешь, что у изголовья больного должен стоять чудотворец, и тогда свершится чудо, на самом деле стоит мне лишь захотеть, и умирающий в полном одиночестве человек, которого не лечит лекарь, за которым не ходит сиделка, которому кружки воды подать некому, так вот, повторяю, стоит лишь мне захотеть, и человек этот выздоровеет и будет жить как ни в чем не бывало. Отчего же ты это не делаешь? Оттого, что он будет уверен, что спасся благодаря своим личным достоинствам, и непременно будет разглагольствовать так примерно: Не мог умереть такой человек, как я, — а в мире, созданном мною, и так уж чересчур пышно процвело самомнение. Иными словами, все чудеса сотворены тобой? Да, и те, что ты явил, и те, что явишь в будущем, и даже если мы предположим невероятное — а смысл этого предположения в том лишь, чтобы до конца прояснить вопрос, по которому мы здесь собрались, — так вот, если даже предположить, что ты и впредь будешь противиться моей воле, начнешь на всех углах заявлять — это я так, к примеру, — что ты не сын Божий, я обставлю твой путь столькими невероятными чудесами, что тебе не останется ничего иного, как сдаться и принять благодарность тех, кто благодарит за них тебя — то есть меня. Значит, выхода у меня нет? Ни малейшей лазейки, и не стоит уподобляться агнцу, который не хочет идти на заклание, и упирается, когда его ведут к алтарю, и стонет, когда ему перерезают глотку, — все это без толку: судьба его предрешена, и жертвенный нож занесен. Я и есть этот агнец. Сын мой, ты — агнец Божий, ты — тот, кого поведет к своему алтарю сам Бог, подготовкой к чему мы, кстати, тут и занимаемся.

Иисус взглянул на Пастыря, словно ждал от него — нет, не помощи, а — в силу одного того, что тот не человек и никогда человеком не был, не бог и никогда богом не станет и потому просто обязан смотреть на вещи иначе, — всего лишь взгляда, движения бровей, знака, пусть даже уклончивого, который бы — пусть ненадолго — позволил бы ему не чувствовать себя обреченным на заклание агнцем. Но в глазах Пастыря Иисус прочел слова, уже однажды произнесенные им: Ты ничему не научился, уходи, — и понял, что мало один раз не повиноваться Богу; что тот, кто отказался принести ему в жертву ягненка, не должен покорно резать овцу, что Богу нельзя сказать «Да» и тут же — «Нет», словно слова эти — весла, и гребля идет на лад, лишь когда работаешь обоими. Бог, несмотря на то что он вечно демонстрирует свою силу, Бог, который есть Вселенная и звезды, громы и молния, грохот и огнь извержения, не обладает достаточным могуществом, чтобы заставить тебя убить овцу, и если ты в чаянии грядущей славы и власти все же убил ее, пролитая тобою кровь не полностью ушла в землю пустыни — гляди, как она подползает к нам, эта красная струйка, как вьется она в воде, а когда выйдем мы на берег, по суше неотступно будет следовать за нами — за мной, за тобой, за Богом. Иисус сказал Богу: Я объявлю людям о том, что я — твой сын, твой единственный сын, но, боюсь, что даже здесь, в краях, которые ты считаешь своими, этого будет мало, чтобы расширить по воле твоей твои владения. Спасибо тебе, сын мой, за то, что бросил наконец свое утомительное упрямство, которым чуть было уже не навлек на себя мой гнев, и своими ногами вступил на стезю, именуемую modus faciendi[1]: из всего того неисчислимого множества разнообразных отличий, существующих меж людьми, одно объединяет их всех, независимо от расы, цвета кожи, бога, в которого они верят, и философии, которую исповедуют, одно свойственно и присуще им всем, просвещенным и невеждам, молодым и старым, могучим и немощным — никто из них не осмелится сказать: Ко мне это не имеет отношения. Что же это такое? — осведомился с нескрываемым интересом Иисус. Всякий человек, продолжал Бог наставительно, кто бы ни был он, где бы ни жил, чем бы ни занимался, — греховен, и грех так же неотделим от человека, как человек от греха, это как две стороны одной монеты: на одной человек, на другой грех. Ты не ответил на мой вопрос. Отвечу, отвечу, и, таким образом, из сказанного следует, что ни один человек не посмеет отвергнуть как не имеющее к нему отношения слово: Покайся, потому что все, хотя бы однажды в жизни, но согрешили — кто дурно подумал о другом, кто преступил обычай, кто совершил преступление, кто не пришел на помощь нуждавшемуся в нем, кто нарушил долг, кто оскорбил веру или служителя ее, кто предал Бога, — и всем этим людям тебе достаточно будет сказать: Покайтесь! Покайтесь! Покайтесь! Неужели из-за такой малости стоит жертвовать жизнью человека, которого ты называешь сыном, — не проще ли отрядить к ним пророка? Миновали времена, когда люди внимали пророкам, сегодня нужно средство посильней — такое, чтобы продрало по-настоящему, вывернуло наизнанку, перетряхнуло все их чувства. Например, сын Божий на кресте. Годится. Ну, а что мне еще сказать всем этим людям, кроме призывов к покаянию, если им надоест слушать твоего посланника и они отвернутся от меня? Конечно, этого маловато, но придется тебе поднапрячь воображение, и не говори, что ты им не наделен: я до сих пор вспоминаю, как ты сумел спасти того ягненка, назначенного мне в жертву. Это было нетрудно: ягненку не в чем было раскаиваться. Сказано хорошо, жаль, что бессмысленно, но и это пригодится — пусть люди потеряют спокойствие, встревожатся, пусть думают, что если им невнятны твои слова, то не слова виноваты. Придется рассказывать им всякие истории? Придется: истории, притчи, моральные поучения, и ничего, если придется погрешить против Завета, подобные вольности люди боязливые особенно ценят у других, мне и самому, хоть я далеко не боязлив, понравилось, как ты ловко избавил от смерти прелюбодею, и, согласись, из моих уст такая похвала дорогого стоит, ибо это я определил в законе, за какую вину кого и как карать, и сам закон дал вам тоже я. Ты позволяешь преступать закон — это дурной знак. Позволяю, когда мне это на пользу, и требую, чтобы его блюли неукоснительно, когда мне это выгодно, вспомни, что я тебе объяснял о правиле и исключениях, ибо в моей власти в тот же миг превратить исключение в правило. Ты сказал, что я умру на кресте. Да, такова моя воля. Иисус покосился на Пас-

[1] Образ действия (*лат.*).

тыря, но тот сидел с таким отсутствующим видом, словно видел какой-то эпизод из далекого будущего и глазам своим не верил. Иисус уронил руки и произнес: Да будет мне по воле твоей.

Бог уже поднимался, чтобы поздравить возлюбленного своего сына, прижать его к груди, но Иисус остановил его: Но с одним условием. Ты отлично знаешь, что никаких условий мне ставить не можешь, недовольно проговорил тот. Хорошо, пусть не условие, назовем это просьбой — последним желанием приговоренного к смерти. Ну, говори. Ты — Бог, а значит, скажешь правду, отвечая на всякий заданный тебе вопрос, ты — Бог и знаешь все, что было прежде, что есть сейчас, при моей жизни, и что будет завтра. Именно так, ибо я и есть время, правда и жизнь. Тогда скажи мне, во имя всего того, что ты упомянул сейчас, что будет в мире после моей смерти и будет ли в нем что-нибудь, чего не было бы, не согласись я отдать жизнь в угоду твоей неудовлетворенности и желанию править как можно большим числом стран и людей. Бог явно был раздосадован, как тот, кого поймали на слове, и попытался, сам не веря в успех своей затеи, отговориться: Ну, сын мой, грядущее необозримо, всего, что там будет, не перескажешь. Сколько мы уже сидим здесь, посреди моря, в тумане — день? месяц? год? — и еще год посидим, еще месяц, еще день, а Дьявол может убираться, если хочет, он уже получил оговоренное, и если барыши и выгоды будут поделены поровну, по справедливости, то чем больше будет твоя власть, тем могущественней станет он. Нет, еще посижу, ответил Пастырь, и это были первые его слова после того, как он объявил о своем появлении, посижу, повторил он и добавил: Я и сам наделен даром провидеть грядущее, но не всегда удается отличить в этих видениях правду от лжи, то есть свою-то ложь я вижу ясно, ибо это мои истины, но вот никогда не удается узнать, насколько истинна ложь, изреченная другими. Чтобы придать этой запутанной тираде законченный вид, Дьявол должен был бы сказать, что именно провидит он в грядущем, однако он оборвал себя так резко, словно осознал внезапно, что и так уж наговорил лишнего. Иисус, не сводивший глаз с Бога, произнес печально и насмешливо: Зачем же притворяться, будто не знаешь то, что знаешь: ты знал заранее, что я попрошу тебя об этом, ты знаешь, что сообщишь мне то, что я хочу знать, а потому не надо больше тянуть время — мне пора начать умирать. Ты начал умирать в тот миг, когда появился на свет. Разумеется, но теперь дело пойдет повеселее. Бог поглядел на него с таким выражением, которое, появись оно на лице человека, можно было бы назвать внезапно возникшим уважением, и весь облик его и повадка как бы сделались более человечными, и, хоть одно на первый взгляд никак не связано с другим, кто мы такие, чтобы судить о глубоких и тайных связях, существующих между всеми явлениями, помыслами и деяниями, и туман сделался еще плотнее и гуще, окружив лодку непроницаемой стеной, чтобы в мир не проскользнуло, не разнеслось по нему ни единого словечка из тех, какими Бог собрался сообщить о последствиях и результатах жертвы, которую принесет Иисус, сын, как утверждает он, его и Марии из Назарета, хотя истинный его отец — плотник Иосиф, поскольку неписаный закон велит нам верить лишь тому, что мы видим своими глазами, и при этом известно, что мы, люди, одно и то же видим по-разному, и это наше свойство изрядно помогло роду человеческому не только выжить, но и до известной степени сохранить рассудок.

Сказал Бог: Ты станешь основателем Церкви, слово это, как тебе известно, значит «собрание» или религиозное сообщество, или его создадут от твоего имени, что, впрочем, почти одно и то же, и Церковь эта распространится по всему миру, дойдя до таких его уголков, которые еще предстоит открыть, и будет она по причине своей всемирности называться «католической», хоть, к сожалению, не сумеет удержать от раскола и розни тех, кто примет за духовный образец тебя, а не меня, но продолжаться это будет недолго — всего несколько тысячелетий, потому что я все же был прежде тебя и пребуду после того, как ты перестанешь быть тем, кто ты есть, и тем, кем сделаешься. Нельзя ли выражаться ясней? — перебил его Иисус. Нельзя, отвечал Бог, слова, произносимые людьми, суть тени, а тенями нельзя объяснить свет, ибо между ними и светом должно находиться некое непрозрачное тело, порождающее их. Я спрашивал тебя о будущем. О нем и речь. Да я хочу знать, как будут жить люди, явившиеся в мир после меня. Ты о тех, кто последует за тобой? Мне интересно, будут ли они счастливей меня. Ненамного, но у них появится надежда обрести счастье на небесах, где я пребываю во веки веков, то есть во веки

веков остаться со мной. И все? Неужели мало — жить с Богом? Мало это, или много, или вообще все — выяснится лишь после Страшного суда, когда ты будешь судить людей по их добрым и злым делам, а до тех пор останешься на небесах в одиночестве. У меня есть ангелы и архангелы. Но людей-то нет. Нет, и для того, чтобы они были у меня, тебя распнут. И еще я хочу знать, произнес Иисус почти с яростью, словно хотел отрешиться от представшего ему образа его самого — висящего на кресте, окровавленного и мертвого, — я хочу знать, как придут люди к тому, чтобы верить в меня и следовать за мной, но только не говори, что мне достаточно будет призвать их к этому или чтобы во имя мое призвали их к этому те, кто уже уверовал, и не хочешь ли ты сказать, что, например, язычники и римляне, поклоняющиеся другим богам, променяют их на меня? Не на тебя, а на меня. На тебя, на меня, не все ли равно, не будем играть в слова, ответь мне на мой вопрос. Кто уверует, тот и придет к нам. Как все просто, и ничего больше не требуется? Не так уж просто: другие боги воспротивятся этому. И ты, конечно, вступишь с ними в борьбу? Что за ерунда: борьба будет происходить на земле, а небо вечно и безмятежно, судьба же людей исполнится там, где эти люди находятся. Скажи начистоту — пусть даже слова суть тени, — будут люди гибнуть за тебя и за меня? Люди всегда погибают за богов, даже за ложных и лживых богов. Да разве боги могут лгать? Могут. А ты из них единственный, кто истинен и искренен? Да, я — единственный истинный Бог, и я не лгу. И все равно не можешь избавить от гибели людей, рожденных для того, чтобы жить для тебя, жить, разумеется, на земле, а не на небе, где ты не можешь дать им ни единой земной радости? И радости эти — ложные, лживые, лгущие, потому что человек с колыбели несет на себе проклятие первородного греха — спроси-ка своего Пастыря, он расскажет тебе, как было дело. Если есть между Богом и Дьяволом тайны, то, кажется, одну из них я у него узнал, хоть он и говорит, что я ничему не научился. Воцарилось молчание, Бог и Дьявол впервые взглянули друг на друга прямо, и казалось, оба собираются что-то сказать, но так ничего и не сказали. Сказал Иисус: Я жду. Чего ты ждешь? — спросил Бог, явно позабавленный. Жду, когда ты скажешь мне, скольких смертей и мук будет стоить твоя победа над другими богами, сколькими смертями и муками оплатят борьбу во имя твое и мое те люди, которые уверуют в нас? Ты настаиваешь на ответе? Настаиваю. Ладно: будет выстроено здание того сообщества, о котором я тебе говорил, но котлован для него придется вырыть в живой плоти, а фундамент скрепить цементом из отречений, слез, страданий, пыток, всех видов смерти, известных сейчас и таких, что станут известны лишь в грядущем. Наконец-то ты перестал темнить и заговорил прямо, продолжай. Начнем с тех, кого ты знаешь и любишь: вот, скажем, рыбака Симона, которого ты назовешь Петром, распнут, как и тебя, на кресте, но только вниз головой; и брат его Андрей будет распят — но на косом кресте; тому из сыновей Зеведеевых, которого зовут Иаков, отсекут голову. А Иоанн и Магдалина? Эти умрут своей смертью, когда придет им естественный срок оставить сей мир, но всем прочим твоим ученикам, последователям и провозвестникам твоего учения не удастся спастись от мук: вот, например, некий Филипп будет распят на кресте и побит камнями до смерти, а с другого, по имени Варфоломей, заживо сдерут кожу, третьего, Фому, пронзят стрелой, там будет еще такой Матфей, но что с ним сделают, я запамятовал; другого Симона распилят пополам, Иуду зарубят мечами, другого Иакова забьют камнями, а другого Матфея обезглавят, Иуда же Искариот — ну, впрочем, о нем ты будешь осведомлен лучше, чем я, если не считать, конечно, смерти его, — наложит на себя руки: повесится на смоковнице. И все они погибнут из-за тебя? — спросил Иисус. Ну, если ставить вопрос в такой плоскости — да, но скорее — не из-за, а за меня. А потом что будет? Потом, сын мой, как я тебе уже говорил, будет нескончаемая история, писанная железом и кровью, пламенем и пеплом, будут океаны слез и бескрайние моря страданий. Расскажи, я хочу все это знать. Бог вздохнул и монотонно начал — в алфавитном порядке, чтобы не обвинили в том, что он одного назвал прежде другого, — читать свой синодик: Адальберт Пражский — пронзен семизубцем; Адриан — положен на наковальню и забит молотами; Афра Аугсбургская — сожжена на костре; Агапит из Пренесты — повешен за ноги и сожжен; Агрикола Болонский — распят на кресте и пронзен гвоздями; Акведа Сицилийская — ей отсекут груди; Альфегий Кантуарийский — забит до смерти бычьей костью; Анастасий Салонский — удавлен и обезглавлен; Анастасия Сирмийская — груди отсекут, сожгут на костре; Ансаний Сиенский — внут-

ренности вырвут; Антоний Памиерский — четвертован; Антоний Риволийский — побит камнями, сожжен; Аполлинарий Равенский — забит молотом; Аполлония Александрийская — сожжена на медленном огне после того, как ей вырвали все зубы; Августа Тревизская — обезглавлена и сожжена; Аура Остийская — раздавлена мельничным жерновом; Аурея Сирийская — посажена на стул, утыканный гвоздями, и истекла кровью; Аута — расстреляна из луков; Бабилий Антиохийский — обезглавлен; Варвара Никомедийская — обезглавлена; Барнабий Кипрский — побит каменьями и сожжен; Беатриса Римская — удавлена; Блаженный из Дижона — пронзен копьем; Бландина из Лиона — растерзана бешеным быком; Калисто — раздавлен мельничным жерновом; Кассиана Имолийского ученики закололи стилетом; Кастулий — живым закопан в землю; Киприан Карфагенский — обезглавлен; Кирий Тарсийский умерщвлен еще в детстве судьей, бившим его головою о ступени помоста; Кларий Нантский — обезглавлен; Клементий — привязан к якорю и утоплен, Криспин и Криспиниан — обезглавлены оба; Кристина Больсанская — умерщвлена после пыток под жерновом, на колесе, тисками и стрелами. Дойдя до этого места, Бог сказал: Ну и так далее, в том же духе, разница только в мелких подробностях мучительства, которые слишком долго объяснять, а так все одно и то же — обезглавлен, сожжен, утоплен, брошен на растерзание диким зверям, пронзен копьем, зарублен мечом, распят, задушен, удавлен, обезглавлен, сожжен, утоплен, брошен на растерзание диким зверям, пронзен копьем, зарублен мечом, распят, задушен, удавлен, обезглавлен, сожжен, утоплен, брошен на растерзание диким зверям, пронзен копьем, зарублен мечом, распят, задушен, удавлен, колесован, четвертован, повешен, привязан к хвостам лошадей и разорван на части, отсечены груди, вырван язык, ослеплен, побит каменьями, забит, как ни странно это звучит, деревянными башмаками и опять — обезглавлен, сожжен, утоплен, брошен на растерзание диким зверям, пронзен копьем, зарублен мечом, распят, задушен, удавлен, вздет на рога, распят, распят, распят, распят, распят, распят — может быть, хватит? Это ты себя должен спросить, отвечал Иисус, и Бог продолжал: Сабиниан Ассизский — обезглавлен, Сатурнин Тулузский — затоптан бешеными быками, Себастьян — пронзен стрелами, Сегисмунд — брошен в колодец, Текла Иконийская — четвертована и сожжена, Теодор — обезглавлен, Тибурций — тоже, Тимофей Эфесский — побит камнями, Урбано — распят, и было еще великое множество прочих, хватит с тебя? Не хватит, отвечал Иисус, что было с этими прочими? Ты настаиваешь? Настаиваю. Под прочими я разумею тех, кто не подвергся пыткам и не был казнен, а умер своей смертью. Дьявол и мир жестоко искушали их, и, чтобы побороть искушения, они умерщвляли свою плоть молитвами и постом, и тут бывали курьезные случаи: некий Джон Скорн, к примеру, провел столько времени, молясь на коленях, что там появились мозоли, а еще говорят — эй, Пастырь, это уже тебя касается, — что он сумел заманить Дьявола в сапог, ха-ха-ха. Меня — в сапог? — удивился Пастырь, ну, это пустые бредни: для этого сапог должен быть размером с нашу землю, и мало того — должен еще найтись охотник сапог этот надеть, а потом снять. Только молитвами и постом? — перебил его Иисус, обращаясь к Богу, и тот ответил: Да нет, они еще будут терзать свое тело болью и оскорблять его грязью, носить вериги и власяницы, бичевать себя, иные не будут мыться в продолжение всей жизни, другие удалятся в лесную глушь и будут кататься там в снегу, чтобы победить назойливые притязания плоти, искушаемой лукавым, чья первейшая цель — сбить душу с пути истинного, прямиком ведущего на небеса, подсылая своим жертвам нагих красавиц и жутких чудищ, прельщая их роскошью и наслаждением, запугивая и смущая, много есть у Дьявола орудий, которыми он мучает бедного человека. Ты все это будешь делать? — спросил Иисус у Пастыря. Почти все, отвечал тот, я ограничусь малым: возьму плоть, от которой отказался Бог, плоть, со всеми ее скорбями и радостями, с ее цветением и дряхлением, свежестью и гнилью, но вот страх, пожалуй, это не мой инструмент, ибо, насколько мне помнится, не я измыслил грех, и расплату за него, и страх, с той поры неотделимый от человека. Замолчи, нетерпеливо перебил его Бог, грех и Дьявол суть два названия одного и того же. Чего? — спросил Иисус. Моего отсутствия. А почему ты отсутствуешь — ты отступился от человека или он отошел от тебя? Я никогда не отступаю. А когда отступаются от тебя, ты смиряешься? Когда отступаются от меня, это значит, что меня ищут. Ага, а если не находят, то вина лежит на Дьяволе? Нет, в этом виноват не он, а я — не успел вовремя появиться там,

где меня искали, и эти слова он произнес с такой неожиданной и пронзительной грустью, словно внезапно обнаружил пределы своего могущества. Продолжай, сказал Иисус. Иные, медленно заговорил Бог, удаляются в дичь и глушь, селятся в пещерах, знаясь только с бессловесными тварями, иные становятся затворниками, третьи поднимаются на высокие столбы и живут там годами — их называют столпниками; голос Бога слабел и затухал, перед мысленным его взором проходили бесконечной вереницей тысячи, тысячи, тысячи мужчин и женщин, направляющихся в скиты, монастыри и обители, среди которых были и бедные грубые лачуги, и величественные дворцы. Они останутся там, чтобы служить нам с тобой с утра до ночи бдениями и молитвами, у них у всех — одна цель и одинаковая судьба: они умирают с нашими именами на устах, хоть сами и зовутся по-разному — бенедиктинцами, бернардинцами, кармелитами, францисканцами, картезианцами, доминиканцами, тринитариями, иезуитами, августинцами, гильбертинцами, капуцинами, и еще много, много, много прочих имен будут носить они, так много, что жаль, не могу я вскричать: Господи Боже, да сколько же вас! В этот миг Дьявол сказал Иисусу: Ты заметил, надеюсь, что есть два способа лишиться жизни — стать мучеником или же отречься от мира; и им мало дожидаться смерти, которая явится к ним в урочный час, нет, они так или иначе спешат к ней навстречу сами: либо на кресты, костры, висели-

цы, колеса, рога, под секиры, стрелы и копья, копыта, в зубы и когти, живыми в могилу, либо затворясь в кельях и скитах, в монастырях и неустанно карая себя за то, что явились на свет во плоти, которую дал им Бог и не будь которой, негде было бы обитать душе, и все эти муки и пытки измыслил, поверь мне, не Дьявол, говорящий с тобой сейчас. Это все? — спросил Иисус у Бога. Нет, не все, еще будут войны. И войны будут? И войны, и прочие способы смертоубийства. Кое о каких мне известно, я и сам мог погибнуть, когда была резня в Вифлееме, и жалею, что уцелел тогда, не пришлось бы теперь ждать распятия. Это я привел другого твоего отца в нужное время к нужному месту, чтобы он мог услышать то, что опять же моей волей выболтали воины Ирода, и в конечном счете спас тебе жизнь. Спасти жизнь, чтобы отнять ее, когда тебе будет это нужно и выгодно, — это все равно что два раза убить. Цель, сын мой, оправдывает средства. Да уж, судя по тому, что изрекли твои уста, так оно и есть: отречение от мира, затворничество и отшельничество, муки и пытки, а теперь еще и войны, а что за войны? Ох, все и не перечислишь, но самые жуткие — те, что затеют против нас с тобой приверженцы бога, которого пока еще нет. Как же это может быть: бог, если он и вправду бог, всегда был и всегда будет. Согласен, понять это трудно, а объяснить еще трудней, однако все именно так и будет: придет новый бог и набросится на нас с тобой, а те, кто к тому времени последует за нами... нет, у меня слов нет, чтобы изъяснить тебе, какие кровопролития и мясорубки, какие побоища учинят обе стороны: вообрази мой алтарь во Храме Иерусалимском, только раз в тысячу больше, а на место жертвенных животных поставь людей, но и тогда не сможешь ты представить себе отчетливо, чем были крестовые походы. А что это такое и почему ты говоришь о них в прошедшем времени, когда они еще только будут? Вспомни, что я и есть время и потому для меня все, что должно произойти, уже произошло, а все произошедшее происходит и поныне. Расскажи мне о крестовых походах. Видишь ли, сын мой, место, где мы с тобой беседуем, равно как Иерусалим и прочие области, лежащие от него к северу и западу, будут захвачены приверженцами этого нового, малость припозднившегося бога, а наши с тобой сторонники постараются изо всех сил изгнать их с земли, по которой ты делал свои первые шаги и которую я столь охотно и часто посещаю. Чтобы изгнать с нее римлян, владеющих ею сейчас, ты приложил не слишком много усилий. Я толкую тебе о будущем, не сбивай меня. Ладно, продолжай. Ты на этой земле родился, жил и умер. Я пока жив! Я же тебе объяснял: с моей точки зрения, между тем, что было, и тем, что будет, разницы нет никакой, и будь добр, не перебивай меня, если не хочешь, чтобы я замолчал. Ладно, молчать буду я. Ну так вот, чтобы очистить этот край, ставший колыбелью новой религии, от нечестивых, недостойных владеть землей, которая будет называться Святой в память того, что ты в ней родился, прожил и умер, будут лет двести кряду с запада одна за другой приходить огромные армии отвоевывать пещеру, где ты явился на свет, и гору, где его покинешь, и прочие, менее важные святыни — основания, как видишь, более чем достаточные. Это и будет называться «крестовые походы»? Да. Ну, и достигнут их участники своей цели? Нет, но на-

роду уложат множество. А сами они? Их самих тут погибнет столько же, если не больше. И все это — во имя нас с тобой? Да, они отправляются в поход, твердя «Такова воля Божья», а умирая, будут шептать «Так Богу угодно», и это будет славная, красивая смерть. А мне сдается, что жертва несоразмерна с грехом. Сын мой, для спасения души надо пожертвовать плотью. Это или что-то в этом роде я от тебя уже слышал, а вот любопытно, что по этому поводу думает Пастырь. Я думаю, что ни один здравомыслящий человек не решится утверждать, что во всех этих кровопролитиях, резнях и побоищах был, есть или будет повинен Дьявол, и разве что злонамеренный клеветник припишет мне ответственность за появление Бога, которому суждено стать врагом нашего, этого вот. Мне кажется несомненным и очевидным, что вины на тебе нет, а что до этой мнимой ответственности, говори, что Дьявол как воплощение лжи никогда не сможет сотворить Бога, который есть истина. Но кто же тогда породил его, нового Бога? — спросил Пастырь, и Иисус не нашелся что ответить. Умолкнувший Бог продолжал хранить молчание, а из тумана донесся голос: Быть может, этот Бог и тот, кто станет его соперником, — не более чем гетеронимы. Чьи? — с любопытством осведомился другой голос. Пессоа, вымолвил первый голос, и слово, искаженное туманом, прозвучало как Персона[1]. Иисус, Бог и Дьявол сначала притворились, будто ничего не слышали, но тотчас испуганно переглянулись, ибо есть у страха такое свойство — сближать и объединять.

Прошло время, туман молчал, и Иисус задал вопрос таким тоном, будто ответ мог быть только утвердительным: Всё на этом? Бог, поколебавшись, устало ответил: Нет, еще осталась инквизиция, но о ней, если не возражаешь, мы могли бы поговорить как-нибудь в другой раз. А что такое инквизиция? Это еще одна нескончаемая история. Расскажи. Лучше бы тебе не знать это. Расскажи. Если узнаешь, в твоей нынешней жизни будешь страдать от угрызений совести, вызванных событиями грядущего. А ты не страдаешь? Я — Бог, а Богу угрызения совести неведомы. Но если я уже взвалил на себя бремя смерти за тебя, то вынесу и угрызения совести, которые тоже должны быть твоими. Я предпочел бы уберечь тебя. Да-да, ты со дня моего рождения только тем и занят. Ты неблагодарен, как и все дети. Ну довольно, скажи мне, что такое инквизиция. Инквизиция, иначе называемая Священный Трибунал, есть необходимое зло, жестокое орудие, с помощью которого нам придется в свое время изгонять заразу, что однажды и на долгий срок поразит тело твоей Церкви недугами гнусных ересей, основных и произошедших от них как следствие, второстепенных, к коим отнесены могут быть по праву и разного рода извращения как плоти, так и души, и вот они, собранные без попечения об очередности и порядке в один ужас внушающий мешок, — лютеране, кальвинисты, янсенисты, жидовствующие, содомиты, колдуны и чародеи и еще многие, из коих одни появятся лишь в будущем, другие же принадлежат любому времени и всем временам. И как же будет поступать инквизиция, чтобы извести столь пагубное, по твоим словам, зло? Инквизиция — это сыск, дознание и суд, и соответственно она и будет поступать — хватать, судить и приговаривать. К чему? К тюремному заключению, к высылке, к сожжению на костре. Как ты сказал? Да, на кострах погибнут в будущем многие тысячи людей. Ты уже говорил мне о них. Да нет же, тех сожгли за то, что верили в тебя, этих — за то, что усомнились. А нельзя сомневаться? Нельзя. А нам сомневаться, бог ли римский Юпитер, можно? Бог — един, я — Господь, и ты — сын мой. Так, говоришь, многие тысячи погибнут? Сотни тысяч. Сотни тысяч мужчин и женщин, и земля будет полниться страдальческим воплем и воем, предсмертным хрипом, и дым сожженных закроет солнце, и на углях зашипит растопленный жир, и от запаха паленого некуда будет скрыться, и я буду виною всему этому? Не виною, но причиною. Отец, да минует меня чаша сия. Ты должен испить ее — в том залог моей власти и твоей славы. Не нужна мне моя слава. Зато мне нужна моя власть. Туманная завеса чуть раздернулась, стала видна кольцом окружавшая лодку вода — гладкая и матовая, не встревоженная ни порывом ветра, ни плавником проходящей мимо рыбы. Тогда Дьявол сказал: Поистине, нужно быть Богом, чтобы так любить кровь.

---

[1] Многозначный смысл этого эпизода, чрезвычайно важного для понимания философии автора, передается игрой слов. Фамилия великого португальского поэта Фернандо Пессоа (Pessoa), создавшего нескольких разноименных двойников—гетеронимов, существовавших и творивших независимо от его воли, означает «лицо, персона, особа», а также — человек. Не хочет ли Сарамаго сказать этим, что Бога творит поэтическое воображение?

Снова сгустился туман, возвещая, что что-то еще должно произойти, какие-то еще откровения — прозвучать. Но прозвучал голос Пастыря: У меня к тебе есть предложение, сказал он, обращаясь к Богу, и тот с недоумением, с насмешливым сознанием собственного превосходства, которое отбило бы охоту говорить у любого, только не у Дьявола, старинного и хорошего его знакомого, отозвался: У тебя? Ко мне? Интересно, какое? Пастырь помолчал, словно подбирая слова поубедительней, и сказал так: Я с большим интересом выслушал все, что сказано было в продолжение вашей беседы, и, хотя сам тоже видел в грядущем какое-то зарево и какие-то тени, мало обеспокоился тем, что зарево — это зарево костров, а тени — тени сгинувших в пламени. А теперь тебя это стало тревожить? Это не должно было бы меня тревожить, ибо я Дьявол, а Дьявол всегда имеет со смерти какой-то барыш, и побольше твоего, ибо не нуждается в доказательствах тот очевидный факт, что преисподняя населена гуще, чем небеса. Так на что же ты жалуешься? А я и не жалуюсь — я хочу предложить тебе кое-что. Ну говори, не тяни, не сидеть же мне здесь до бесконечности. Ты лучше, чем кто-либо другой, знаешь, что и у Дьявола есть сердце. Есть, хотя оно ему без надобности. Вот я и хочу использовать его по назначению, ибо согласен и хочу, чтобы твоя власть распространилась во все пределы земли, но только чтобы для этого не надо было истреблять такое множество людей, и поскольку всё, что отрицает тебя и не подчиняется тебе, ты считаешь порождением Зла, которое я воплощаю в себе и которое покорно моей воле, то предложение мое заключается в следующем: ты позволишь мне вернуться на небо, простишь мне зло, содеянное в прошлом, ради того, какое не будет совершено в будущем, ты обретешь и будешь хранить мою покорность, как в те времена, когда я был одним из самых твоих любимых ангелов, когда ты звал меня Люцифером, что значит «Светоносный», как в те времена, когда желание стать равным тебе еще не снедало мою душу и еще не заставило восстать против твоей власти. Ты только не сказал, с какой это стати мне тебя прощать, принимать, возвращать и прочее. А вот с какой: если ты даруешь мне сегодня то самое прощение, которое в грядущем будешь сулить всем кому ни попадя, раздавать направо и налево, то здесь и сейчас окончит свое существование Зло, и сыну твоему не надо будет умирать на кресте, и царствие твое распространится не только на земли израильские, но и на весь мир, включая и неведомые пока страны, и во Вселенной установится власть Добра, я же самым вернейшим из смиренных, смиреннейшим из оставшихся верными тебе ангелов — ибо нет вернее раскаявшегося — в последнем ряду их стану возносить тебе хвалы, и все кончится, словно никогда не начиналось, все пойдет так, как должно было идти с самого начала. Неудивительно, что тебе удается уловлять в свои тенета слабые души и губить их: я всегда признавал за тобой дар слова, но такой речи даже от тебя не думал услышать — просто блеск, еще чуть-чуть, и ты бы меня убедил. Значит, нет, ты не примешь меня и не простишь? Нет, не приму и не прощу, ты нужен мне таким, каков ты сейчас есть и даже еще хуже, если только это возможно. Почему? Потому что Добро, воплощенное во мне, не могло бы существовать без тебя, воплощенного Зла, и Добро без тебя сделалось бы непостижимым и непонятным до такой степени, что даже я не в силах вообразить его, и для того, чтобы я оставался Добром, ты должен оставаться Злом, и если Дьявол не живет как Дьявол, то и Бог — уже не совсем Бог, и смерть одного означает смерть другого. Это твое последнее слово? Первое и последнее: первое — потому что я впервые вымолвил его, последнее — потому что никогда впредь его не произнесу. Пастырь пожал плечами. Так пусть же потом не говорят, будто Дьявол не пытался примириться с Богом, сказал он Иисусу и, поднявшись, перенес ногу через борт, как вдруг задержался: У тебя в котомке лежит одна вещь, которая принадлежит мне. Иисус и не помнил даже, с собой ли у него котомка, но она и вправду оказалась у его ног. Что за вещь? — спросил он, открыл суму, но не увидел на дне ее ничего, кроме старой почерневшей чашки, которую взял с собой, уходя из Назарета. Это, что ли? Это, ответил Дьявол, и в тот же миг она перешла к нему в руки, а потом исчезла в складках его грубого пастушеского одеяния. Придет день, и она вернется к тебе, но ты уж об этом не узнаешь. Не глядя в сторону Бога, он проговорил так, словно обращался к невидимым и многочисленным слушателям: Что ж, до встречи в вечности, раз ему так хочется, — и прыгнул в море. Иисус, провожая его глазами, видел, как Пастырь постепенно удаляется туда, где гуще всего был туман, а он ведь так и не спросил его, почему решил он добраться до

лодки и покинуть ее таким замысловатым способом — вплавь, Пастырь же опять стал похож на свинью, выставившую из воды уши, и опять слышалось сопение и хрюканье, хотя человек с тонким слухом без труда различил бы в них отзвук страха — разумеется, не страха утонуть, ибо Дьявол, как мы сию минуту узнали, бессмертен, а страха перед необходимостью жить вечно. Уже скрылся он в клочьях тумана, когда раздался торопливый голос Бога — так говорят, когда уже собрались шагнуть за порог: Я пошлю тебе в помощь человека по имени Иоанн, но тебе придется убедить его, что ты и вправду тот, за кого себя выдаешь. Иисус взглянул туда, откуда доносились эти слóва, но уже никого не увидел. В тот же миг туман поднялся и рассеялся, открывая от одного гористого берега до другого спокойное тихое море: поверить было невозможно, что в этой воде минуту назад плыл Дьявол, что в этом воздухе растворился Бог.

А на берегу, хоть и было до него далеко, Иисус разглядел огромное скопление народу, а позади — множество шатров: казалось, он превратился в постоянное прибежище странников, которым негде ночевать и потому пришлось разбить бивак. Иисусу показалось это любопытным, но не более того, и он налег на весла и повел лодку к берегу. Поглядывая через плечо, он заметил, что в воду столкнули несколько лодок, а присмотревшись получше, узнал Симона и Андрея и других, которых то ли видел когда-то, а то ли нет, — они направлялись к нему и гребли так усердно, что уже совсем скоро приблизились, и Симон, зная, что крик его будет услышан, крикнул: Где ж ты был?! — хотя узнать хотел совсем другое, но надо же как-то начать. Здесь, в море, последовал столь же необязательный ответ, и, право, не лучшим образом возобновил общение с ближними своими сын Божий, сын Марии, сын плотника Иосифа, хоть и наступила в его жизни новая эпоха. Еще миг — и Симон перескочил к нему в лодку, и тут выяснилось, что произошло нечто невозможное, недоступное пониманию, непостижное разуму. Спрашивает Симон: Ты знаешь, сколько времени провел в море, в тумане, а мы не могли спустить лодки — будто какая-то неодолимая сила отбрасывала их назад, на берег. Целый день, отвечает Иисус и, видя волнение Симона, добавляет, чтобы не попасть пальцем в небо: и всю ночь. Сорок суток, кричит Симон, а потом уже чуть потише: сорок суток ты был в море, сорок суток мы были как в молоке, и туман будто хотел скрыть от нас, что там происходит, что ты там делаешь, в этой пелене, — ведь за все это время мы не смогли выловить ни одной завалящей рыбки. Иисус уступил Симону одно весло, и они, сев плечом к плечу, принялись грести дружно и согласно, и заодно с движениями их звучали слова, которые говорили они. Торопясь высказать Симону тайное, пока не приблизились другие лодки, сказал Иисус: Я был там с Богом, он открыл мне мою будущую жизнь и то, что будет после. Какой он, ну, я про Бога. Бог многолик, может явиться в образе облака, столба дыма, а может предстать в обличье богатого старика иудея, мы узнаем лишь по голосу, и кто хоть раз услышал, тот уж не спутает. И что он сказал тебе? Сказал, что я — сын его. Значит, подтвердил? Подтвердил. Значит, тогда Дьявол сказал правду? Дьявол тоже был с нами почти все время, мне показалось, что он знает обо мне не меньше, чем Бог, а бывают случаи, когда, я думаю, — даже больше, чем Бог. А где? Что «где»? Где они были? Дьявол сидел на борту, вот тут, рядом с тобой, а Бог — на корме. Так что же сказал тебе Бог? Сказал, что я его сын и что меня распнут на кресте. Значит, ты уйдешь в горы, примкнешь к мятежникам, что воюют против римлян, если так, то и мы пойдем с тобой. Да, вы пойдете со мной, но не в горы, и не силой оружия предстоит нам добиться поражения кесаря, но словом — торжества Бога. Только словом? Словом, и примером, и, когда потребуется, — самой жизнью, принесенной в жертву. Он так и сказал? Отныне все, что ни скажу я, будет сказано им, и те, кто верит в него, уверуют в меня, ибо нельзя верить в Отца и не верить в Сына, и если Отец избрал себе новый путь, то начаться он может лишь с меня, Сына его. Ты сказал, что мы пойдем с тобой, кто это «мы»? Прежде всего — ты, и брат твой Андрей, и сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн, и, кстати, Бог сказал, что отрядит мне в помощь человека по имени Иоанн, но я думаю, вряд ли это наш Иоанн. Ну и хватит, зачем нам больше, это же не свита Ирода. Потом придут другие, а может быть, они уже пришли, они здесь и ждут лишь поданного Богом знака и явленного им знамения, чтобы уверовать в меня и последовать за мной, ибо им Бог не откроет своего лица. Что же ты возвестишь людям? Скажу, что пришла пора покаяться, что исполнилось время и приблизилось царство Божие, и огненным мечом согнет Бог шею тех, кто отверг

слово его и плюнул на него. Ты скажешь, что ты — сын Божий, тебе придется сказать это. Я скажу, что отец мой назвал меня сыном и что эти слова запечатлены в сердце моем с тех пор, как я родился, и что теперь явился мне Бог и тоже назвал меня сыном своим, сыном своим возлюбленным, и это не значит, что я позабуду другого своего отца, но ныне повелевает мной Бог, и да будем мы покорны воле его. Предоставь это мне, сказал Симон и тотчас оставил весло, стал на носу лодки и крикнул: Осанна Божьему Сыну, сорок дней и ночей провел он в море, говоря с Отцом своим, а теперь возвращается к нам, чтобы мы покаялись в грехах и приготовились. Только не говори, что там был и Дьявол, успел сказать ему Иисус, опасаясь, как бы не стало всем известно положение, объяснить которое будет крайне затруднительно. Симон издал новый крик, еще громче и пронзительней, от которого дрожь проняла стоявших на берегу, а потом бегом вернулся на место и сказал Иисусу: Дай мне весло, а сам стань на носу, но не произноси оттуда ни слова, ни слова, пока не выйдем на берег. Иисус послушался и стал на носу, в своем ветхом хитоне, с пустой котомкой на плече, приподняв руки, словно собирался приветствовать или благословить и не решился, оробев или потеряв уверенность в том, что достоин сделать это. Из тех, кто ожидал его, трое самых нетерпеливых вошли в воду по пояс, достигли лодки, взялись за борта ее, принялись толкать ее к берегу, а один из этих троих свободной рукой все пытался дотронуться до Иисусова хитона, но не потому, что поверил возвещенному Симоном, а потому, что человек, проведший посреди моря сорок суток, словно ушедший искать Бога в пустыне или в ледяной утробе горы, теперь возвращался живым и невредимым, и это — видел он Бога или нет — само по себе было чудом. Нет нужды добавлять, что во всех окрестных городах и селениях ни о чем другом и не говорили и что многие их жители, для того, чтобы своими глазами увидеть этот метеорологический феномен, явившиеся на берег, только там узнавали о человеке, который оказался застигнут диковинным туманом в море, и с жалостью шептали: Бедняга. Лодка причалила без толчка, так плавно и мягко, словно ангельские крылья опустили ее на сушу. Симон помог Иисусу сойти на берег, с едва сдерживаемым раздражением отталкивая тех троих, что зашли в воду, а потому считали себя вправе рассчитывать на особое воздаяние. Оставь их, сказал Иисус, настанет день, когда они услышат о смерти моей и восплачут о том, что не смогли нести тело мое, так пусть помогут мне, пока я еще живой. Потом спросил он: Где Мария? — и увидел ее в тот самый миг, когда произнес ее имя, словно она возникла из ниоткуда или склубилась из клочьев тумана, ибо только что ее не было тут — и вот есть. Я здесь. Стань рядом со мной, и пусть подойдут Симон и брат его Андрей, и Иаков с Иоанном, сыновья Зеведеевы, люди, знающие меня и верующие в меня, ибо знали они меня и веровали в меня еще тогда, когда я не мог сказать ни им, ни вам всем, что я — Сын Божий, сын, позванный отцом своим, и проведший с ним сорок дней посреди моря, и вернувшийся к вам, чтобы сказать: исполнилось время, покайтесь в грехах, покуда Дьявол не подобрал вас, как гнилые колосья из снопа, несомого Богом, если на погибель себе захотите уклониться от любящих его объятий. По толпе, точно легкая зыбь по морю, прошел ропот, ибо многие из стоявших там и внимавших Иисусу уже наслышаны были о чудесах, творимых им, а иные были прямыми их свидетелями и даже вкусили от них: Я ел тот хлеб и ту рыбу, говорил один; Я пил то вино на свадьбе в Кане, говорил другой; Я был соседом той прелюбодеи, говорил третий, но как бы ни были или казались дивны трансцендентальные эти дива, от них до величайшего чуда — увидеть Сына Божьего, а стало быть, самого Бога — было как от земли до небес, а это расстояние, насколько нам известно, и в наши дни никем еще не измерено. Тут из толпы долетел чей-то возглас: Докажи, что ты Сын Божий, и я пойду за тобой! Ответил Иисус: Ты пошел бы за мной, если бы сердце твое повлеклось ко мне, но раз оно заперто в затворенной твоей груди, ты и просишь доказательств, которыми удовлетворятся твои чувства, но не твой разум, и в конце концов ты, не зная в смятении, разуму ли повиноваться или чувствам, поневоле должен будешь послушаться сердца, сердце же приведет тебя ко мне. Может, кто другой тебя и понял, я — нет, отвечал этот человек из толпы. Как тебя зовут? Фома. Подойди ко мне, Фома, ближе, ближе, к самой воде, гляди: я вылеплю из мокрого песка птичек, видишь, как просто, — вот туловище, вот крылья, вот головка и клюв, а эти камешки будут вместо глаз, а вот длинные перья хвоста, а это — гляди, гляди! — ноги и коготки, одна готова, а теперь еще одиннадцать, гляди — одна, другая, третья, четвертая,

пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, итого дюжина птичек из песка, если хочешь, мы дадим каждой имя, вот эта пусть зовется Симоном, эта — Иаковом, эта — Иоанном, эта — Андреем, а эту, если ты не против, назовем Фомой, прочие же пусть подождут своих имен, часто бывает, что те приходят с опозданием, задерживаются где-то на пути, а теперь смотри — я накрываю птичек сетью, а то улетят. Улетят, если я приподниму сеть? — недоверчиво спросил Фома. Конечно улетят. Это и есть твое доказательство? Да и нет. Как это так? Самым лучшим доказательством — но только оно от меня не зависит — будет, если ты, не трогая сети, поверишь в то, что птички улетят, стоит лишь поднять сеть. Как же они улетят — ведь ты слепил их из песка?! А ты попробуй, праотец наш Адам тоже был слеплен из праха, а ты происходишь от него. Адаму дал жизнь Бог. Оставь сомнения, Фома, приподними сеть, ибо я — Сын Божий. Будь по-твоему, только никуда они не улетят, — и быстрым движением Фома поднял сеть, и птички тотчас вспорхнули в воздух, с щебетом описали два круга над изумленной толпой и исчезли в вышине. Сказал Иисус: Улетела твоя птичка, Фома, а тот ответил: Нет, Господи, она здесь, у ног твоих, это я.

Из толпы вышли несколько мужчин, а за ними — но сами по себе — несколько женщин. Они приблизились и заговорили по очереди: Я — Филипп, и Иисус увидел его на кресте под градом каменьев; Я — Варфоломей, и Иисус увидел его с содранной кожей; Я — Матфей, и Иисус увидел его вздетым на копья варваров; Я — Симон, и Иисус увидел его распиленным пополам; Я — Иаков, сын Алфея, и Иисус увидел его побитым камнями; Я — Иуда Фаддей, и Иисус увидел молот, занесенный над его головой; Я — Иуда из Кериофа, и Иисус пожалел его, ибо тот собственными руками затянул петлю у себя на шее. Потом он подозвал остальных и сказал им: Теперь все в сборе, и время пришло. И Симону, брату Андрея, сказал так: Поскольку есть теперь среди нас твой тезка, ты отныне будешь зваться Петр. Повернувшись к морю спиной, пустились они в путь, и следом за ними шли женщины, имена которых по большей части остались неизвестны, но так ли это, по совести говоря, важно, ибо почти все они — Марии, если даже при рождении назвали их как-либо иначе. Женщина, говорим мы, Мария, говорим мы, — и они смотрят на нас и служат нам.

Иисус и те, кто был с ним, шли по дорогам из селения в селение, и Господь говорил его устами, и вот что говорил он: Покайтесь, ибо исполнилось время и приблизилось Царство Небесное. И простой, темный народ, слушавший его по деревням, думая, что нет разницы между понятиями «исполнилось время» и «окончилось время» и что, значит, близок конец света, ибо только при конце света говорит ангел, что времени больше не будет, благодарил Бога за то, что в неизреченной милости своей послал вперед предупредить об этом не кого-нибудь, а человека, именующего себя его сыном, и это похоже на правду, ибо он творит чудеса, где ни появится, и условие, необходимое и достаточное для свершения чуда, — лишь твердая и убежденная вера того, кто о чуде этом молит, и вот, например, прокаженный попросил его: Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус же, тронутый его жалким видом, коснулся его и сказал: Хочу, очистись, — и не успел еще договорить, как проказа сошла с того, зажила гниющая плоть, а там, где ее уже не было вовсе, заново наросла на костях — и на месте отвратительного урода, пред которым все разбегались в страхе, стоял теперь мужчина хоть куда. Другой случай, равно заслуживающий упоминания, произошел с паралитиком, или, говоря тогдашним языком, с расслабленным: Иисус, подумав, что столь истинная вера заслуживает награды, сказал ему: Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои, бывшие же при этом книжники из тех, кто везде и всюду видят поношение Закона, затверженного ими наизусть, возразили Иисусу, сказав: Ты богохульствуешь, один Бог может отпустить грехи, а Иисус ответил им вопросом: Что легче сказать: «Прощаются тебе грехи» или «Встань, возьми постель свою и ходи»? И, не дожидаясь, пока они ответят, продолжал: Знайте же, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи — и обратился к паралитику: Встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И чудом исцеленный человек тотчас не только поднялся, но и вновь обрел силы, подорванные долгим лежанием в неподвижности, так что он взял свою постель, взвалил ее себе на спину и так вот вернулся, вознося благодарение Богу, к жизни обычной.

Поскольку все мы с течением времени сживаемся со своими более или менее тяж-

кими болячками, привыкаем к ним и считаем излишним беспокоить высшие силы по такому ничтожному поводу — нам это и в голову не приходит, — то отнюдь не все увечные и страждущие стекались к Иисусу за исцелением. А вот грехи — это совсем другое дело, грехи суть недуги, сокрытые от глаза, это вам не хромота и не сухорукость, а пожалуй что проказа, только проказа, пожирающая нас изнутри. И прав, совершенно прав был Бог, когда в лодке говорил Иисусу, что нет человека, у которого не было бы на совести хоть одного греха, как правило же, их в тысячу раз больше. Ну а раз конец света уже невдалеке и приблизилось Царство Небесное, то, чтобы войти в него, много важней и предпочтительней иметь душу, очищенную покаянием и излеченную прощением, чем чудодейственно исцеленную плоть. И если расслабленный из Капернаума часть жизни провел не поднимаясь со своего топчана, то лишь потому, что грешил, ибо ведомо всякому: болезнь есть следствие греха и воздаяние за грех, из чего следует безупречно логичный вывод: условием доброго здравия, не говоря уж о бессмертии души — и вполне вероятно, что и тела тоже, однако наверное сказать не можем, — служит совершеннейшая чистота, полное отсутствие всяких грехов, какового можно достигнуть двумя путями: либо счастливым неведением, либо действенным неприятием, отторжением их из помыслов и деяний. Не стоит, однако, думать, будто Иисус странствовал по этому Госпнему краю, на каждом шагу являя волшебный дар исцелять и власть прощать, которыми наделил его Бог. И поймите, не то чтобы ему не хотелось этого — нет, сердце у него было доброе, и он предпочел бы стать ходячей панацеей, чем, исполняя волю Бога, предрекать скорый конец света и требовать от всех и каждого покаяния, а чтобы грешники не слишком медлили с этим, не предавались бесплодным умствованиям, цель которых всего лишь оттянуть и отсрочить тот миг, когда будет наконец произнесено слово «Грешен!», Господь вложил в его уста слова грозные и многообещающие, вроде, например, таких: Истинно говорю вам, что иные из тех, кто стоит здесь, еще до смерти своей узрят пришествие Царства Божьего во всей славе его, — и нетрудно себе представить, какое действие оказывали эти речи на людей, какую смуту производили в бедных их умах, и потому отовсюду, из мест дальних и ближних, стекались они к Иисусу и толпами следовали за ним в исступленной надежде, что он прямиком поведет их в новый рай, Богом установленный на земле и отличный от рая небесного прежде всего тем, что наслаждаться им будут многие и многие, очистившиеся, благодаря молитве, покаянию и раскаянию, от Адамова греха, иначе еще именуемого первородным. А поскольку доверчивые эти люди по большой части относились к низшим социальным слоям — были среди них ремесленники, были землекопы, были рыбаки, были гулящие женщины, — Иисус в один прекрасный день, когда Бог отвлекся на что-то другое, решился без всякой подготовки, словно по наитию, произнести речь, всколыхнувшую души тех, кто внимал ему, исторгшую у них слезы радости, ибо замаячило перед ними спасение, на которое они уж не надеялись: Блаженны, сказал Иисус, блаженны нищие, ибо их есть Царство Небесное; блаженны голодные, ибо насытятся они; блаженны плачущие, ибо утешатся они, — и он, наверно, и дальше говорил бы в том же духе, но тут Бог спохватился, заметил происходящее и, раз уж сказанного не вернешь, вложил в уста Иисуса и заставил произнести вдогон произнесенным такие слова, от которых мигом высохли слезы радости и грядущее предстало в самом черном свете: Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески несправедливо злословить за меня, Сына Человеческого. Он вымолвил это — и душа его ушла в пятки, ибо в следующий же миг предстала его мысленному взору вся та нескончаемая череда мучительств и смертей, о которой возвестил ему в море Бог. И потому прямо перед всеми этими объятыми ужасом людьми Иисус пал на колени и молча принялся молиться, причем никто и не догадывался, что он, восславленный как сын Божий, сам наделенный могучим даром прощать, просит прощения для всех. В ту же ночь, оставшись наконец в своем шатре наедине с Магдалиной, он сказал ей так: Я — пастырь, посох которого гонит на жертву и правых и виноватых, спасенных и погубленных, и кто же спасет меня от мук совести, ибо я терзаюсь теперь, как терзался некогда мой отец, только он был в ответе за двадцать пять жизней, а я — за двадцать миллионов. Магдалина плакала вместе с ним и говорила: Ты ведь не хотел этого, а он отвечал: Нет, не хотел, и это самое скверное, а Магдалина, которая словно бы с самого начала и во всей целокупности знала то, что нам открывается постепенно, говорила ему: Господь пролагает пути,

Господь направляет каждого по его стезе, тебя же он избрал, чтобы открыть в служении ему дорогу дорог, путь путей, но не ты пройдешь им, не ты построишь Храм — другие возведут его, положив в основание твою кровь, сердце, печень, легкие, а потому лучше будет безропотно и смиренно принять уготованное тебе, ибо каждое твое движение уже предусмотрено, и слова, которые ты скажешь, ждут тебя там, куда ты должен будешь пойти, ждут вместе с хромыми, которым ты исцелишь ноги, со слепыми, которые прозреют, с глухими, которые по воле твоей обретут слух, с немыми, которые получат дар речи, с мертвыми, которых вернешь к жизни. Со смертью мне не совладать. Ты еще не пробовал. Да, но помнишь ту смоковницу — она ведь не ожила. Сейчас другие времена: ты обязан хотеть то, чего хочет Бог, но и Бог не может отказать тебе в том, что ты захочешь. Кто бы снял с меня эту ношу, я ничего больше не хочу. Это невозможно, любимый мой, единственное, на что Бог не способен, — это не любить себя самого. Откуда ты знаешь? Откуда-то знаю: женщины постигают все по-другому, должно быть, оттого, что мы устроены иначе, должно быть, оттого, да, должно быть, оттого.

Поскольку земля, и даже такая крохотная ее частица, как Палестина, все-таки слишком велика для усилий и стараний одного человека, Иисус по двое разослал своих друзей по градам и весям, чтобы они возвещали о скором наступлении Царства Божьего, чтобы проповедовали, учили и наставляли людей, как делал это он, и вместе с мужчинами ушли и женщины сообразно взаимной склонности тех и других, а сам он остался вдвоем с Магдалиной. Тут он вспомнил о давнем своем намерении посетить Вифанию, расположенную неподалеку от Иерусалима, и решил исполнить его, убив таким образом двух зайцев: посетив, во-первых, родню Магдалины, — ей давно уж было пора примириться с братом и сестрой, а ему познакомиться с ними, а во-вторых, двинуться в священный город вместе со всеми своими учениками, которым через три месяца назначена была встреча в Вифании. О том, что делали в землях израильских эти двенадцать человек, мы распространяться не будем — прежде всего потому, что не они, за исключением лишь кое-каких обстоятельств их жизни и подробностей смерти, составляют предмет нашего повествования, тем более что все они — пусть каждый на свой манер и в меру собственных способностей — наделены были всего лишь даром повторять уроки своего учителя, и это значит, что учили-то они как он, а вот исцеляли как умели. Очень жаль, что Иисус строго запретил им следовать через земли языческие и входить в города самарянские, и проявление подобной нетерпимости, особенно неожиданной и странной у человека, столь хорошо воспитанного, лишило их возможности облегчить и умерить грядущие труды, ибо Бог так ясно выразил намерение расширить сферу своих интересов и влияния, что рано или поздно придется идти в края, населенные не только самарянами, но и язычниками, как здешними, так и из других стран. Иисус велел своим апостолам исцелять болящих, воскрешать мертвых, очищать прокаженных, изгонять бесов, но, по правде говоря, кроме туманных намеков самого общего характера, в истории не осталось никаких следов подобных деяний, если они и свершались на самом деле, что лишний раз дает убедительное подтверждение тому, что Господь своей благодатью осеняет с большим разбором и даже самые блестящие рекомендации на веру брать не спешит. Когда апостолы вернутся к Иисусу, им, конечно, будет что порассказать о том, какие результаты имели их проповеди и призывы к покаянию, но в области излечения недужных успехи их будут значительно скромнее, а то и вовсе никакими, ибо нельзя же счесть таковыми изгнание всякого рода мелких бесов — столь немощных и хилых, что легко поддаются экзорсизму, перескакивая из одного человека в другого. Еще они, без сомнения, сообщат, как порою скверно их принимали в краях, которые не могут считаться языческими, как выгоняли из городов, где днем с огнем не найдешь ни одного самарянина, и единственным утешением послужат воспоминания о том, как отрясали они прах с ног своих, словно в чем-то виновата бедная пыль, которую все попирают и которая все безропотно сносит. Но Иисус, будто наперед зная, что их не захотят слушать, заранее сказал, как должно будет им поступать в таких и подобных случаях: вести себя смиренно и покорно, ибо отвергают не их самих, а слово Божие, ими несомое: Оставьте попечение о том, как прозвучат ваши слова, в этот час осенит вас то, что вы должны сказать. Что ж, если даже предположить, что и так дела на лад не пойдут, что и в этом случае, как и во всех прочих, доходчивость и основательность вероучения очень даже зависит от, как принято

выражаться ныне, личностного фактора, все равно — намотаем это на ус, пригодится.

А погода была — просто на загляденье, воздух прохладен и благоуханен, будто лепесток розы, а идти по дороге было так легко и приятно, словно только что ангелы окропили ее росой, подмели вениками из лавра и мирта. Иисус и Магдалина ни разу не остановились на ночлег в странноприимном доме или на постоялом дворе, не присоединялись к караванам, чтобы никто не узнал их, и не то чтобы Иисус перестал исполнять свой долг, чего всевидящий и вечно бодрствующий Господь никогда бы не допустил, — нет, как бы сам Господь решил дать ему передышку: по дороге не попадались ни прокаженные, моля излечить их, ни обуянные бесами, отвергавшие всякую помощь, и деревни, по которым проходили они, буколически нежились в покое и мире, словно сами, по собственной воле, вступили на путь покаяния и далеко прошли по нему. Иисус с Магдалиной ночевали где придется, довольствуясь тем, что можно было склонить голову на плечо другому, и не ища никаких иных роскошеств, а порою крышей им служил купол небес — огромный черный глаз Бога, сверкающий мириадами звездных огней, которые суть не что иное, как отражение и отблеск взглядов человеческих, из поколения в поколение устремляемых на небо, вопрошающих безмолвие и выслушивающих тот единственный ответ, что безмолвие дает. Потом, когда Мария Магдалина останется на белом свете одна, ей захочется припомнить эти дни и эти ночи, но всякий раз она должна будет отчаянно оборонять память свою от воспоминаний горестных и страдальческих, защищать этот островок любви от натиска бушующего вокруг моря бед, от лезущих из пучины его гадов и чудищ. Это время уже не за горами, но при взгляде на землю, на небо не различить еще грозных примет его скорого пришествия — так порхающая в вольном просторе птица не замечает, что быстрый коршун в поднебесье уже сложил крылья, выставил когти и камнем падает на нее. Иисус и Магдалина распевали по дороге песни, и другие путники, встречая их, говорили: Счастливые, и в ту минуту не было слова вернее и истины истинней. Так дошли они до Иерихона, а оттуда, не торопясь, ибо зной был нестерпим и укрыться от него было негде, за два дня неспешного пути поднялись в Вифанию. Столько лет минуло, что Магдалина не знала, как примут ее брат с сестрою, тем более что, уйдя из дому, вела она жизнь плохую. Может, они думают, что я умерла, говорила она, может, они надеются, что я умерла, и Иисус старался, чтобы его подруга выбросила из головы черные мысли: Время излечивает все, говорил он, не помня в этот миг, что рана, нанесенная ему домашними его, по-прежнему разверста и кровоточива. Когда вошли в Вифанию, Магдалина, стыдясь соседей, закрыла половину лица платком, но Иисус мягко упрекнул ее: От кого ты прячешься, той женщины, какой была ты прежде, больше нет. Отвечала она: Да, это правда, той больше нет, но осталась та, что была ею, и крепко связаны они меж собою узами памяти и стыда. Ты такая, как есть ныне, и ты со мной. Хвала Всевышнему за это, хотя настанет день, и он уведет тебя от меня, и с этими словами Мария откинула покрывало, открыв лицо, но никто не сказал: А-а, вон идет сестра Лазаря, та, что жила развратом.

Вот мой дом, молвила она, но не хватило у нее духу постучать в ворота или же позвать хозяев. Иисус толкнул притворенную створку и спросил: Есть кто в доме? Есть, отозвался изнутри женский голос, а кто там? — и за голосом вслед появилась у ворот та, кому принадлежал он, — Марфа, сестра Марии, более того — близнец, но сходство лишь угадывалось, не бросаясь в глаза, ибо на ней сильней и пагубней сказались протекшие ли годы, тяжкий ли труд, или так уж распорядились судьба, природа, образ жизни. Она взглянула сначала на Иисуса, и при взгляде этом ее лицо вдруг осветилось и прояснилось, будто рассеялась застилавшая его хмарь, но в следующую же минуту, когда она перевела глаза на сестру, отразилось на нем сперва сомнение, а потом неудовольствие. Кто же он такой, раз пришел с тобой? — подумала, должно быть, Марфа, или: Как может он — тот, кем кажется, — быть с тобой? — хоть и не могла бы сказать, кем же показался ей Иисус. И, без сомнения, именно потому вместо того, чтобы спросить: Как ты? — или: Зачем ты здесь? — с уст ее слетели слова: Кто этот человек? Иисус улыбнулся, и эта улыбка со стремительной силой прянувшей с тетивы стрелы ударила ее прямо в сердце, заставив его отозваться томительной и странной, доселе неведомой и сладкой болью. Меня зовут Иисус из Назарета, ответил он, я — с твоей сестрой, и слова эти, mutatis mutandis[1],

[1] Внеся соответствующие изменения (*лат.*).

как сказали бы на своей латыни римляне, равносильны были тем, что выкрикнул он когда-то Иакову, навек расставаясь с ним на берегу моря: Ее зовут Мария из Магдалы, и она со мной. Марфа отворила дверь и сказала: Входите, это твой дом, — и непонятно было, к кому из двоих обращено было это «твой». Уже во дворе Магдалина, взяв сестру за руку, сказала: Я принадлежу этому дому, которому и ты принадлежишь; я принадлежу этому человеку, которому ты не принадлежишь; с ним и с тобою связана я неразрывно, и потому прошу тебя, не кичись своей добродетелью, не кори меня моим несовершенством, я пришла с миром и в мире хочу пребыть. Сказала Марфа: Я приму тебя, как велит мне долг родства, и дай Бог, чтоб настал день, когда я смогу принять тебя по любви, но только не сегодня, — она собралась сказать еще что-то, но замолчала, оттого что затворила ей уста мелькнувшая мысль: знал ли человек, которого привела с собой сестра, о прошлой ее жизни, и в прошлом ли осталась эта жизнь? — и в этой точке ее размышлений лицо ее залилось краской смущения, и на миг она возненавидела и их обоих, и самое себя, но тут заговорил Иисус, понявший, что нужно в этот миг услышать Марфе, ибо не так уж трудно угадать, что за мысли роятся в голове человеческой. И он сказал: Господь судит нас всех, но каждый день — по-иному, ибо и сами мы каждый день — иные, и если бы сегодня, Марфа, судил тебя Господь, не думай, что предстала бы ты в глазах его иной, нежели Мария. Говори ясней, отвечала она, я тебя не понимаю. Я ничего более тебе не скажу: сбереги у себя в душе мои слова, повторяй их всякий раз, как будешь обращать взор на сестру твою. А она уже не?.. Хочешь знать, не потаскуха ли я? — грубо перебила Магдалина замявшуюся на миг Марфу. Та отступила на шаг, всплеснула руками: Нет-нет, не говори ничего, мне довольно слов Иисуса, — и, не сумев сдержаться, расплакалась. Мария подошла к ней, обняла, словно укачивая, и Марфа сквозь слезы проговорила: Что за жизнь, что за жизнь, — и непонятно было, о себе это она или о сестре. Где Лазарь? — спросила Мария. В синагоге. Здоров ли он? Его, как и прежде, все мучают приступы удушья, если б не это, все бы ничего. Ей захотелось добавить со вновь нахлынувшей горечью, что поздновато забеспокоилась блудная — вот уж истинно во всех смыслах «блудная», со злой насмешкой подумала она, — сестра о его здоровье: ни разу за все эти годы не удосужилась справиться, живы ли они с братом Лазарем, который все хворает и того и гляди отдаст Богу душу. Обернувшись к Иисусу, отступившему в сторону и наблюдавшему чуть поодаль эту заново готовую разгореться ссору, Марфа пояснила: Брат наш переписывает книги в синагоге, к иной работе не способен, здоровьем слаб, и прозвучало это, хоть, быть может, и ненамеренно, так: никто не в силах понять такую жизнь, когда мужчины в доме нет, и постоянного заработка тоже, и весь дом на ней одной, и ни минуты свободной у нее нет. Чем же он болен? — спросил Иисус. Случается у него удушье, сказала Марфа, сердце вот-вот остановится, а потом делается белый как полотно, а потом, не успев подумать, оттого ли, что вдруг заметила, как молод сам Иисус, оттого ли, что ревность тронула ее сердце или дух смутился, добавила: Он у нас младший, и вслед этим прозвучали слова, которые по праву и долгу произнести должна была бы вовсе не она, а стоящая рядом Магдалина: Ты устал, сядь, я омою тебе ноги. Немного погодя, когда они остались наедине, Магдалина полушутя, полусерьезно сказала: Судя по всему, сестрам этим на роду написано влюбляться в Иисуса, на что отозвался Иисус: Она не жила, и сердце ее потому полно печали. Нет, не потому, живо возразила Магдалина, она думает, как несправедливо устроен мир: падшая женщина получает награду, а тело добродетельной прозябает втуне. Бог наградит ее как-нибудь иначе. Может быть, и все же тот, кто сотворил мир со всем, что в нем есть, не должен бы лишать им же сотворенных женщин ни одного из его плодов. Например, познания мужчины. Да, как ты познал женщину и большего требовать не вправе, ибо ты сын Божий. С тобой спит сын плотника Иосифа. По правде говоря, с самого первого нашего дня я и не чувствовала, что сплю с сыном божества. Не божества, а Бога. Я бы все на свете отдала, чтобы ты не был Сыном Божьим.

Марфа тем временем послала соседского мальчика в синагогу уведомить Лазаря о возвращении сестры, на что, впрочем, решилась не без внутренней борьбы и колебаний, ибо таким образом получала вся Вифания исключительную пищу для пересудов и разговоров: вернулась, мол, блудница, столь долго жившая развратом, — а ведь протекшее время уже заставило злые языки смолкнуть. Она и саму себя спрашивала, осмелится ли назавтра показаться на улице, более того — решится ли взять с собой сестру, ибо

придется вступать в беседы с соседками и подругами и говорить, к примеру, так: Помнишь Марию, так ведь это же она и есть, да, вернулась, — а соседка закивает многозначительно: Помню, как же, кто же ее не помнит, и покорнейше прошу простить мне всю эту низкую житейскую прозу, ибо даже в священной истории не все сплошь священно. Устыдилась Марфа своих недостойных мыслей, когда вернувшийся из синагоги Лазарь заключил Магдалину в объятия и сказал: Добро пожаловать, сестра, — так, словно не мучили его долгие годы ее отсутствия неприязненное молчание, окружавшее ее имя, — и, устыдясь, почла себя обязанной как-то проявить радость и расположение и сказала ему: Вот Иисус, муж нашей Марии. Лазарь и Иисус взглянули друг на друга дружелюбно, завели беседу, пока женщины, будто вспомнив доброе старое время и невольно подражая своим тогдашним ухваткам, принялись в четыре руки готовить угощение. После ужина вышли Лазарь с Иисусом во двор подышать вечерней прохладой, а Марфа с Марией решали важный вопрос — как и где следует положить циновки, поскольку и состав ночующих, и отношения их изменились. Иисус же после продолжительного молчания, поглядев на первые звезды, показавшиеся на еще светлом небе, спросил: Плохо тебе, Лазарь? — и тот с неожиданным спокойствием ответил: Плохо. Ты скоро перестанешь страдать, сказал Иисус. Конечно, когда умру. Нет, сейчас. Только не говори, будто ты лекарь. Брат, будь я лекарем, я бы не знал, как вылечить тебя. А так знаешь? Ты исцелен, мягко и негромко промолвил Иисус, беря его за руку, и в тот же миг ощутил Лазарь, как болезнь уходит из тела, испаряется, словно вода под солнцем, почувствовал, как легко ему стало дышаться, как по-молодому ровно и сильно застучало сердце, и оттого, что он не мог постичь, что же происходит с ним, страх обуял его. Что это? — внезапно охрипшим голосом спросил он. Кто ты? Да уж во всяком случае не лекарь, улыбнулся Иисус. Ради Бога, скажи, кто ты! Не поминай имени его всуе. Как мне понять тебя? Позови Марию, она тебе объяснит. Но звать никого не пришлось — Марфа и Мария, услышав из дома, как изменились голоса мужчин во дворе, появились на пороге, опасаясь, что те повздорили, но сразу же увидели — нет, двор был весь синий, ну, разумеется, не сам двор, а воздух во дворе, и дрожащий Лазарь, указывая на Иисуса, вопрошал: Кто он, кто этот человек? — он взял меня за руку, сказал «Ты исцелен», и я исцелился. Марфа подошла поближе успокоить брата — нечего сказать, исцелился, если дрожмя дрожит, — он отстранил ее, вопросив: Скажи мне ты, Мария, ты привела его, кто этот человек? Магдалина, по-прежнему стоя на пороге, отвечала просто: Иисус из Назарета, Сын Божий. Марфа и Лазарь хоть и были родом из этих мест, которые от начала времен облюбованы были для пророческих откровений и апокалипсических предзнаменований, все же выказали самое естественное в их положении и решительное недоверие к ее словам, ибо одно дело — признать, что кто-то под несомненным и очевидным воздействием чуда выздоровел, и совсем другое — согласиться, что человек, взявший тебя за руку и исцеливший тебя от недуга, — сын самого Бога. Впрочем, любовь и вера могут сдвинуть горы, кое-кто даже утверждает, что они и поодиночке справятся с чем угодно, и потому Марфа, заливаясь слезами, бросилась было на шею Иисусу, но тотчас, сама испугавшись такой смелости, припала к земле и лишь смогла прошептать непослушными губами: Я омыла твои ноги, я омыла твои ноги. Лазарь застыл на месте, будто оцепенев от изумления, и мы вправе даже предположить, что это откровение не поразило его как громом, бездыханным повергнув наземь, потому лишь, что за минуту до того, как прозвучали слова «Иисус из Назарета, Сын Божий», в высшей степени своевременно взамен старого и изношенного забилось у него в груди новое сердце. Иисус с улыбкой приблизился к нему и обнял его, сказав: Не удивляйся, что Сын Божий — сын человеческий, сам посуди — кого ж еще выбрать Богу, как не человека: не так ли выбирает себе мужчина женщину, а женщина — мужчину? Последние слова были предназначены Магдалине, принявшей их с удовольствием и как должное, но Иисус, произнося их, позабыл о том, что они умножат скорби Марфы и безнадежность ее одиночества, — вот в чем разница между Богом и Сыном Божьим: первый сделал бы это намеренно, второй — со свойственной человеку неловкостью не подумав о последствиях. Но столь велика сегодня воцарившаяся в доме радость, что лишь завтра снова примется Марфа вздыхать и горевать, но все же будет ей одно несомненное утешение — никто не посмеет и не решится трепать по улицам, площадям и рынкам Вифании имя Марии, обсуждая прошлую ее блудную жизнь, ибо тот-

час станет известно — и сама Марфа немедля займется этим, — что человек, с которым пришла она, излечил Лазаря безо всяких отваров и мазей. Теперь они сидели в доме, предаваясь ликованию, и сказал Лазарь: Издалека доходили к нам известия о том, что объявился и творит чудеса некий человек из Галилеи, но не говорилось, будто он Сын Божий. Одни вести распространяются скорее, другие — медленнее, ответил на это Иисус. Ты и есть этот человек? Ты сказал. Затем Иисус поведал им свою жизнь с самого начала, умолчав, однако, о Пастыре, а про Бога упомянув лишь, что тот явился ему и сказал: Ты — сын мой. И не достигни Вифании молва о давних чудесах, не обернись она здесь чистейшей правдой, непреложной убедительностью чуда, явленного у них на глазах, не будь могущества веры и силы любви, то трудно, очень трудно было бы Иисусу одной короткой фразой, пусть и вымолвленной устами самого Бога, убедить Марфу и Лазаря в том, что духом святым сотворен человек, который вскоре возляжет с их сестрой и познает ее — ту, что до него знавала, не боясь Бога, стольких мужчин. Простим Марфе гордыню, заставившую ее тихонько произнести, прикрыв лицо платком, дабы никто не слышал и не видел, такие слова: Я была бы достойней.

Наутро новость стремительно облетела всю Вифанию, огласившуюся дружными славословиями и хвалами Господу, и даже скромникам, поначалу сомневавшимся в истинности происшествия, оттого что, по крайнему их разумению, слишком мал был городок для столь великих чудес, ничего не оставалось, как сдаться, поскольку предстал им въяве и вживе исцеленный Лазарь, вот уж к которому никак не применима была поговорка, что ему впору продавать здоровье по одной той причине, что, будь оно у него, раздавал бы он его даром, ибо сердце его было хоть и надорвано, но щедро и любвеобильно. И у дверей уже толпились любопытные, непременно желавшие воочию, чтобы не было обману, собственными глазами увидеть чудотворца, а для пущей убедительности, если представится к тому хоть малейшая возможность, — потрогать его руками или хоть прикоснуться к нему. И уже стекались к дому Марфы и Лазаря болящие — иные шли своими ногами, иных родичи тащили на носилках или на спине, — так что вскоре вся улица была ими запружена. Иисус велел городскому глашатаю, отряженному ему в помощь, объявить, чтобы шли все на главную площадь Вифании — там он будет говорить с ними, однако народ был не такой дурак, чтоб, поймав птичку, разжать руку. По причине таковой предусмотрительности или недоверчивости никто с места не тронулся, и Иисус был принужден появиться в дверном проеме и выйти, как любой из нас, — не загремела музыка, не воссиял ослепительный свет, не затряслась земля под ногами, и небо над головой не сдвинулось. Вот я, сказал он, постаравшись, чтобы голос его звучал как можно более обыденно, но даже если бы ему это удалось, сами по себе слова эти, сказанные тем, кем они были сказаны, заставили всех разом броситься на колени. Спаси меня! — кричали одни, а другие: Исцели меня! Он вернул дар речи немому, который по причине своей немоты ни о чем попросить не мог, а остальным велел разойтись по домам — ибо веры в них было мало — и вернуться сюда наутро, но прежде всего — покаяться в своих грехах, ибо Царство Небесное близко, и время скоро исполнится, то есть ничего нового не сказал. Ты — Сын Божий? — спрашивали его, и он отвечал загадочно, к чему уже привыкли слушавшие его: Если бы не был, то Бог скорее наслал на тебя немоту, чем позволил бы задать этот вопрос.

С этого началось и так продолжалось пребывание Иисуса в Вифании, покуда не пришел назначенный им срок встречи с учениками, прибывавшими из дальних краев. Разумеется, со всей округи, из городов и деревень, потянулись туда люди, проведав, что тот, кто творил чудеса на севере, находится теперь в Вифании. Теперь Иисусу даже не надо было выходить из дома Лазаря — все стекались туда как к месту поклонения, но он никого не принял и всем велел собраться на некой горе за городом, сказав, что там обратится к ним с проповедью, призовет покаяться и излечит кое-кого из страждущих. В скором времени дошли слухи об этом и до Иерусалима, и еще больше стали толпы, так что Иисус, опасаясь давки, в таких случаях и при таком немыслимом стечении народа неизбежной, спрашивал себя, надо ли продолжать проповеди. Прибыли же из Иерусалима в чаянии спасения и излечения сперва люди нищие и неимущие, но за ними последовали и те, кто побогаче, и даже сколько-то книжников и фарисеев, отказывавшихся верить, что кто-то, будучи в своем уме, решился на такую, можно сказать, самоубийственную дер-

зость и без обиняков объявил себя Сыном Божьим. Они воротились в Иерусалим раздраженные и озадаченные, потому что Иисус никогда прямо на вопрос, так ли это, не отвечал, называя себя, когда речь заходила об узах родства, Сын Человеческий, если же при упоминании Бога случалось ему назвать его Отцом, понимать это следовало так, что речь идет об Отце Небесном, чада которого — все люди на земле, а никак не он один. Оставался невыясненным и спорным вопрос о его многократно доказанной и подтвержденной способности исцелять, причем безо всяких магических заклинаний и пассов, а очень просто, одним-двумя словами: Иди, Встань, Говори, Виждь, Очистись — либо легчайшим, даже не возложением руки, а прикосновением пальцев, после чего в тот же самый миг кожа прокаженных становилась чище росы под первыми лучами солнца, речь немых и заик струилась текуче, легко и плавно, паралитики вскакивали со своих одров и принимались плясать до полного изнеможения, слепые не желали верить тому, что открывалось их прозревшим очам, хромые бегали без устали взад-вперед, иногда, для забавы, вновь подражая своему недавнему увечью, чтобы миг спустя вновь пуститься бегом. Покайтесь, говорил им Иисус, покайтесь, — и больше ни о чем другом не просил их. Но первосвященники Храма Иерусалимского, которым, как никому, памятны и известны были все смуты и волнения, порожденные пророками разного рода, решили после того, как взвесили и измерили все сказанное Иисусом, что на этот раз никаких религиозных ли, политических мятежей больше не допустят и что отныне и впредь все, что ни вымолвит, все, что ни сделает этот галилеянин, да и сам он, будет находиться под тщательным и неусыпным наблюдением, чтобы в случае необходимости — и, похоже, время это не за горами — выкорчевать уже объявившееся зло, ибо первосвященник сказал: Меня он не обманет, Сын Божий есть сын Человеческий. Иисус не пошел сеять семена в Иерусалим, однако в Вифании выковал и наточил серп для грядущей жатвы.

И приблизился час ее, когда — двое сегодня, двое завтра, а то и вчетвером, если сошлись по дороге, — стали приходить в Вифанию его ученики. Принесенные ими известия и рассказы их разнились лишь во второстепенных подробностях и маловажных обстоятельствах и сходились в одном: из пустыни вышел некий человек и принялся пророчествовать на старинный лад, так что словно катились камни от голоса его и горы сдвигались от движений, и говорил он о неминуемом приходе Мессии и возвещал кары народу. Увидеть его они так и не смогли, ибо он постоянно переходил с места на место, и сведения, принесенные ими, хоть и совпадали в главном, все были из вторых рук, не разыскали же они его, по их словам, оттого лишь, что уже выходил трехмесячный срок, назначенный им Иисусом, и они не хотели опоздать в Вифанию. Иисус спросил, как имя того пророка, и они ответили: Иоанн, а ведь Бог на прощанье сказал тогда, что именно так будут звать человека, которого отрядит он в помощь Иисусу. Вот он и пришел, сказал Иисус, и ученики не поняли, что он хотел сказать этим, а поняла Магдалина, но ведь она-то знала все. Иисус хотел было идти навстречу этому человеку, не сомневаясь, что и тот его ищет, но поскольку из двенадцати учеников двое — Фома и Иуда Искариот — еще не вернулись и была надежда, что, может, хоть они принесут сведения поточнее и подостовернее, чем все прочие, то решил дождаться их прихода. И поступил, как оказалось, правильно, ибо они не только видели Иоанна, но и говорили с ним. Послушать рассказ Фомы и Иуды пришли из своих шатров, разбитых в окрестностях Вифании, остальные апостолы, сели в круг во дворе дома Лазаря, а Мария, и Марфа, и другие женщины, бывшие с ними, служили им. Поочередно говорили Фома и Иуда и рассказали, что жил Иоанн в пустыне, когда воззвал к нему глас Божий, и пошел он креститься в Иордан, исповедуя грехи свои, и приходили к нему многие креститься, и встречал он их гневным криком, который слышали Фома с Иудой и немало дивились ему. Порождения ехиднины, говорил он, кто внушил вам бежать от будущего гнева?! Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне древ лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И те в великом страхе спрашивали его: Что же нам делать? — и отвечал им Иоанн: У кого две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища, сделай то же, а когда пришли мытари креститься, он сказал: Не требуйте ничего более определенного в Законе, но не думайте, что справедлив он потому лишь, что назван Законом. Спрашивали его также и воины: А нам что

делать? И сказал им: Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованьем. На этом месте Фома замолчал, переводя дух, и заговорил Иуда: Когда же народ был в ожидании и все помышляли в сердцах своих, не Мессия ли он, Иоанн всем отвечал: Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремни его сандалий; он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Замолчал и Иуда, и все ждали, что скажет Иисус, однако тот молчал и пальцем чертил по земле некие загадочные знаки, будто хотел, чтобы первыми заговорили ученики. И тогда сказал Петр: Это ты — Мессия, о пришествии которого возвещал Иоанн? — а Иисус, не переставая рисовать пальцем в пыли, ответил: Ты сказал это, а не я, и, помолчав, добавил: Пойду искать его. Можно и нам с тобой? — спросил один из сыновей Зеведеевых, именем тоже Иоанн, но Иисус медленно покачал головой: Я пойду один, возьму с собой лишь Фому с Иудой, ибо они знают его, — и обратился к последнему: Скажи, каков он с виду? Он выше тебя ростом и много крепче телом, у него длинная борода, и носит он одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах, а там, в пустыне, пищею его были акриды и дикий мед. Он больше похож на посланного от Бога, чем я, молвил Иисус и, поднявшись, вышел из круга.

Наутро, едва рассвело, двинулись они втроем в путь, и поскольку было известно, что Иоанн избегает оставаться на одном месте подолгу, но скорее всего можно его встретить на берегу реки Иордан, где он крестит людей, они, сойдя с высот вифанийских, направились в сторону Мертвого моря, к городу Вифавару, чтобы потом вверх по реке достичь моря Галилейского, а там взять северней и, если надо будет, восточней. Выходя из пределов Вифании, не предполагали они, однако, что столь кратким окажется их путь, — прямо в Вифаваре встретили они Иоанна, который сидел один и словно поджидал их. Издали еще увидели они маленькую фигурку на берегу Иордана, окаймленного белыми горами, хребты, гребни и пещеры которых казались еще не вполне зажившими рубцами и шрамами, по левую же его руку под белесым от зноя небом простиралось, расплавленным оловом зловеще сверкая на солнце, Мертвое море. Когда приблизились на полет камня из пращи, Иисус спросил своих спутников: Это он? — и те, щитком приставив ко лбу ладони, вгляделись и сказали: Если бы не знали, то решили бы, что это твой брат-близнец. Ждите здесь моего возвращения, велел им Иисус, не приближайтесь, что бы ни происходило, и, не прибавив более ни слова, стал спускаться по склону вниз, к реке. Фома с Иудой Искариотом сели на пересохшую от зноя землю, глядя вслед Иисусу, который то исчезал, то вновь появлялся меж складок гористого откоса, а потом, дойдя до берега, направился к тому месту, где неподвижно сидел Иоанн. Дай Бог, чтобы мы не обознались, молвил Фома, и ответил Иуда: Надо было поближе подойти, отсюда разве разглядишь, но Иисус был уверен, что нашел, кого искал, и спросил так, на всякий случай. Иоанн меж тем поднялся на ноги и глядел на подходившего к нему Иисуса. О чем станут они говорить? — спросил Иуда Искариот. Может, Иисус расскажет нам, а может, и нет, отвечал Фома. Там, вдалеке, оба теперь стояли лицом друг к другу и, судя по тому, как мелькали в воздухе их посохи, о чем-то говорили оживленно и с жаром, а потом подошли к самому берегу, и Фома с Иудой, оба уже окрещенные Иоанном, хоть и потеряли их из виду, знали, что происходит там: вошли в воду по пояс, Иоанн, зачерпнув воду обеими руками, высоко поднимает их и дает воде пролиться на голову Иисуса, говоря при этом: Крестишься водою, да будет она питать твой огонь. И вот он сделал это и произнес эти слова, и они снова выбрались на берег, подняли с земли свои посохи, а теперь они, без сомнения, прощаются, вот попрощались и обнялись, и затем Иоанн пошел вдоль берега на север, Иисус же направляется к нам. Фома с Иудой, встав с земли, поджидают его, а он, приблизившись, не говоря ни слова, уходит в сторону Вифании. Ученики следуют за ним в отдалении, снедаемые неутоленным любопытством, и вот наконец Фома, не выдержав и не обращая внимания на предостерегающие знаки, которые подает ему Иуда, спрашивает: Ты не скажешь нам, о чем говорил с Иоанном? Еще не время, отвечает Иисус. Скажи, по крайней мере, ты ли Христос. Еще не время, звучат те же слова, и не понять ученикам, просто ли он повторил уже сказанное или сообщает им, что еще не время объявить о пришествии Мессии. Ученики обескураженно отстали: Иуда склоняется именно к этой версии, тогда как Фома, от природы наделенный нравом упрямым и недо-

верчивым, считает, что все же Иисус просто повторил, чуть раздраженно, первоначальные свои слова.

О том же, что было в воде Иордана, узнала в ту ночь одна лишь Мария Магдалина. Он был малоречив, сказал ей Иисус, едва лишь мы поздоровались, он сразу спросил, тот ли я, кто должен прийти, или же следует ожидать кого-нибудь другого. И что же ты? А я сказал, что слепые прозревают, и хромые ходят, и прокаженные очищаются, и глухие слышат, и нищие благовествуются. А он? Не нужно Мессии делать так много, довольно будет, если сделает, что должен. Он так сказал? Да, этими самыми словами. А что должен сделать Мессия? Вот и я его спросил об этом. А он? Он ответил, что это и должен открыть мне. Что же было потом? Ничего: он повел меня в воду, окрестил, а потом пошел прочь. Какие же слова произнес он при этом? Крестишься водою, да будет она питать твой огонь. После этого ночного разговора с Магдалиной Иисус в продолжение целой недели не проронил ни звука. Он ушел из дома Лазаря в окрестности Вифании, где жили его ученики, но разбил свой шатер поодаль и в нем проводил дни в полном одиночестве, не допуская к себе даже Магдалину, ночами же уходил в пустынные горы. Ученики, которые иногда потихоньку шли следом, оправдываясь тем, что идут, дабы в случае нужды защитить его от диких зверей, которых там, впрочем, сроду не водилось, видели всего лишь, как Иисус садился на прогалине и сидел молча, устремив взгляд не в небеса, а куда-то прямо перед собой, словно ждал, что из зыбкой тени долины выйдет или с горного склона спустится — некто. Ночи стояли лунные, видно было далеко, однако никто не появлялся. Когда же заря делала первый шаг за порог дня, он поднимался и уходил в свой шатер, съедал малую толику того, что поочередно готовили ему и приносили Иоанн и Иуда, но не отвечал, когда они здоровались с ним, а однажды довольно грубо обошелся с Петром, который всего лишь хотел узнать, как он себя чувствует и не будет ли каких распоряжений. Петр поступил не неправильно, а всего лишь несвоевременно — по истечении недели Иисус вышел из шатра не под вечер, но средь бела дня, присоединился к своим ученикам, разделил с ними трапезу, после чего сказал: Завтра мы идем в Иерусалим, во Храм, вы будете делать то же, что я, ибо пришло время узнать Сыну Божьему, как может он послужить в доме отца своего, а Мессии — начать делать то, что должно ему. Ученики принялись расспрашивать о том, что означают эти его слова, но Иисус прибавил к сказанному лишь: Вам не придется доживать до старости, чтобы узнать это. Ученики не привыкли, что он говорит с ними так сухо и жестко, как внове было им видеть на лице его, обычно таком покойном и кротком, суровое выражение, делавшее его почти неузнаваемым и ничем не напоминавшим лицо прежнего Иисуса, который шел, куда посылал его Бог, и никогда ни на что не роптал. Без сомнения, перемены столь разительные проистекали от тех же, пока еще неведомых причин, заставлявших его сторониться сообщества его друзей и ночами бродить, как одержимый бесами, по лощинам и кряжам в неустанных поисках слова. Однако Петр, бывший старше годами всех учеников, почел, что несправедливо будет со стороны Иисуса бросить им без всяких объяснений «Идем в Иерусалим», словно они у него на посылках и годны на то лишь, чтобы покорно и ни о чем не спрашивая исполнять его волю. И он сказал так: Мы признаем могущество твое и власть, соглашаемся и со словами твоими, и с деяниями, совершаемыми тобою как сыном Божьим и как человеком, но нехорошо, когда ты обращаешься с нами, будто мы не вошедшие в разум дети или выжившие из ума старцы, не посвящаешь нас в свои замыслы, велишь делать то же, что делаешь сам, не давая нам возможности в меру способностей наших осмыслить то, что потребуется от нас. Простите меня, отвечал на это Иисус, но я и сам не ведаю, что ведет меня в Иерусалим, мне просто было указано идти туда, вот и все, вы же вовсе не обязаны следовать за мной. Кем было тебе указано идти в Иерусалим? Тем, кто овладел моим разумом и решает, что должен я делать и чего не должен. Ты сильно переменился после того, как встретился с Иоанном. Я понял, что пришел принести не мир, — не только мир, но и меч. Если царство Божие близко, спросил Андрей, зачем же нужен будет меч? Бог не сказал мне, каким путем придет к вам его царство: мы испробовали мир, испробуем теперь и меч, а Бог пусть сделает выбор, но, снова говорю вам, вы не обязаны следовать за мной. Ты сам знаешь, сказал Иоанн, что мы пойдем за тобой куда угодно. Не зарекайся, лишь те, кто дойдет, узнают, куда вел я их.

Наутро отправился Иисус к дому Лазаря не столько затем, чтобы проститься, сколько чтобы подать своим приходом благосклонный знак того, что вернулся в общество людей. Но Марфа сказала, что брат уже ушел в синагогу. Тогда Иисус и двенадцать его спутников двинулись по дороге на Иерусалим, Магдалина же и остальные женщины проводили их до городской черты, там остановились, маша вслед уходящим, которые, однако, не узнали об этом, ибо так ни разу и не обернулись. Небо хмурилось, обещая скорый дождь, и оттого, наверно, не было у них ни встречных, ни попутчиков — те, у кого не было важных и неотложных причин идти в Иерусалим, предпочли дома посидеть. Но тринадцать шагают по этой не просто безлюдной, а пустынной дороге, и наперегонки с ними катятся у них над головами, над вершинами гор низкие темно-пепельные тучи, словно задались целью раз и навсегда соединить небо и землю, влить металл в изложницу, слить самца и самку, вогнать шип в паз. Когда, однако, подошли к городским воротам, убедились, что у них — всегдашняя толчея и по-прежнему многолюдно, и придется долго терпеливо ждать, пока продерешься ко Храму. Но они ошиблись: при виде этих тринадцати — босых, обросших бородами, вооруженных тяжелыми суковатыми посохами, в тяжелых темных плащах поверх хитонов, помнивших, по виду, сотворение мира, — испуганная толпа отхлынула и раздалась в стороны, и люди спрашивали друг друга: Кто это? Кто это у них впереди? — и не умели ответить, пока кто-то из галилеян не сказал: Это Иисус из Назарета, он называет себя «Сын Божий» и творит чудеса. А куда это они? — раздались вопросы, а поскольку ответить на них можно было, лишь последовав за Иисусом и его людьми, то многие поспешили вдогон, так что к паперти Храма подошло не тринадцать человек, а тысяча, но, впрочем, толпа благоразумно остановилась поодаль, ожидая, что любопытство ее будет сейчас утолено. Иисус, направившись туда, где сидели менялы, сказал своим: Вот зачем мы здесь — и тотчас принялся крушить и переворачивать столики, расталкивая и колотя продающих и покупающих, отчего поднялся шум и грохот столь невообразимые, что безнадежно потонули бы в них слова, им произносимые, если бы по необъяснимой странности не стал голос его звучней бронзового колокола: Дом мой есть дом молитвы, вы же обратили его в вертеп разбойничий, — и продолжали лететь наземь столы меновщиков, рассыпались по земле столбики монет, к вящей радости иных зевак, бросившихся собирать эту манну. Ученики вслед за Иисусом принялись опрокидывать скамьи продающих голубей, так что обретшие свободу птицы разлетелись по всему преддверию Храма, суматошно закружились над жертвенниками, от пламени которых избавил их неведомый спаситель. Прибежали храмовые стражники с дубинками, чтобы схватить или же выкинуть вон осмелившихся нарушить порядок, но, на свою беду, столкнулись с тринадцатью дюжими галилеянами, которые посохами повергли наземь самых отважных, остальным же кричали: Подходите! Подходите все, сколько вас ни есть! — и били стражей, и в щепы разносили столы и скамьи, и вдруг появился неведомо откуда зажженный факел, и малое время спустя загорелись палатки и лотки, и рядом с дымом жертвенных всесожжений ударил в небо еще один столб дыма, и кто-то крикнул: «Позовите легионеров», будто забыв — римляне по закону не могут входить во Храм, что бы там ни творилось. Храмовым стражам на выручку поспешили другие, уже не с дубинками, а с мечами и копьями, и кое-кто из меновщиков и продавцов голубей присоединился к ним, рассудив, что негоже предавать в чужие руки защиту собственных интересов, и военное счастье мало-помалу стало переходить на них, и — в точности как в крестовых походах — если и свершалась эта битва по Божьей воле, то непохоже, чтобы сам Бог способствовал в должной степени успеху своих сторонников и приверженцев. Так развивались события, когда на верхние ступени паперти вышел из храмовых врат первосвященник в сопровождении старейшин и книжников, причем можно сказать, что вышел он поспешно, и, возвысив голос, который все равно был совершеннейшее ничто по сравнению с голосом Иисуса, сказал: Дайте им уйти, а если сунутся еще раз, изрубим на куски и вышвырнем вон, как плевелы, чтобы не заглушали пшеницу. Андрей, бившийся рядом с Иисусом, сказал ему: Хоть ты и сказал, что пришел не мир принести, но меч, мы теперь знаем, что пастуший посох — ничто против меча. Иисус же ответил: Все дело в том, чья рука держит меч, чья — посох. Что же мы будем теперь делать? — спросил тот. Вернемся в Вифанию, ибо не меча нам не хватает, но руки. Они отступили в порядке, не расстроив рядов, сдерживая выставленными посохами на-

тиск толпы, улюлюкавшей и свистевшей, но не решавшейся ни на что более серьезное, и, спустя небольшое время выбравшись из Иерусалима, пустились в обратный путь. Все были утомлены, иные — побиты.

Когда вошли в Вифанию, то заметили, что выглядывающие из-за дверей соседи смотрят на них с какой-то жалостливой неприязнью, но отнесли ее за счет того бедственного состояния, в какое привело побоище во Храме их лица и одежду. Когда свернули в ту улочку, где стоял дом Лазаря, ясно стало, что дело не в том, — они сразу поняли, что стряслась беда. Иисус, обогнав остальных, бегом вбежал во двор, и люди со скорбными лицами расступались, давая ему дорогу, а из дома доносились плач и причитания. Брат мой! — услышал он голос Марфы, и тотчас раздался голос Марии: Брат мой! На полу, на циновке увидел он Лазаря — тот покойно лежал на спине, сложив руки, и казалось, спит, однако не спал. Он умер. Чуть ли не всю его жизнь сердце грозило остановиться, но потом он излечился, что могла засвидетельствовать вся Вифания, а вот теперь лежал мертвый, неподвижный, как бы высеченный из мрамора, недоступный, словно уже вошел в вечность, но уже очень скоро из глубин его смерти поднимутся на поверхность первые признаки распада и тлена, чтобы сделать тоску и ужас оставшихся жить еще более невыносимой. Иисус, точно ему единым взмахом клинка подрубили сухожилия, рухнул на колени и еле выговорил сквозь рыдания: Как же так, как же это так?! — невнятные слова, в которые всегда облекается мысль наша при виде непоправимого, вопрос, который всегда задаем мы всем, кто стоит рядом, отчаянная и бесплодная попытка отодвинуть миг, когда все равно придется принять истину: да, мы хотим понять, как же это все было, мы все пытаемся еще поставить на место смерти жизнь, на место того, что есть, то, что могло бы быть. Со дна захлебывающегося и горького плача Марфы всплыли ее слова, обращенные к Иисусу: Окажись ты в этот час рядом, брат мой был бы жив, ибо я знаю, что Бог делает все, что ты ни попросишь: очищает прокаженных, возвращает зрение слепым, слух — глухим, дар речи — немым, и творит любые другие чудеса, что живут в твоей воле и ждут твоего слова. Иисус сказал ей: Брат твой воскреснет, и ответила Марфа: Знаю, что воскреснет он в воскресении последнего дня. Иисус поднялся на ноги, почувствовал, как безмерной силой исполнился его дух, — в этот высший час он мог свершить и исполнить все, мог изгнать смерть из этого тела, мог вернуть его к бытию во всей его полноте — со словами и с движениями, со смехом, но и со слезами, но без страданий и мук; мог сказать: Я есмь воскресение и жизнь, тот, кто верит в меня, оживет, и, спроси он Марфу: Ты веришь в меня? — она ответила бы: Верю, что ты Сын Божий, который должен был явиться в мир, — и, стало быть, все необходимое — сила, могущество, воля явить их — было уже обнаружено, приготовлено, расставлено по местам, и Иисусу оставалось лишь устремить взгляд на брошенное душою тело, простереть над ним руки наподобие моста, по которому она в него вернется, и сказать: Лазарь, встань! — и Лазарь встал бы, ибо так хотел Бог, но в самую последнюю минуту — вот уж, истинно, последнюю и предельную — Мария Магдалина положила ему руку на плечо и произнесла такие слова: Никто на свете не согрешил столь тяжко, чтобы умереть дважды. И Иисус опустил руки и вышел, заплакав.

Смерть Лазаря, будто ледяной ветер, единым дуновением погасила тот бранный пыл, что Иоанн возжег в душе Иисуса, в которой за неделю тягостно нескончаемых размышлений и нескольких кратких мгновений действия служение Богу и служение людям слились и сплавились воедино, создав нечто цельное. Когда минули первые скорбные дни, когда повседневные заботы вкупе с обыденными привычками стали уже понемногу занимать прежнее свое место, с которого вытеснил их ужас смерти, порою еще напоминавший о себе краткими, но острыми вспышками боли, пришли к Иисусу Петр и Андрей спросить, что думает он делать дальше — разошлет ли их по градам и весям проповедовать, пойдут ли они снова на Иерусалим, — ибо ученики уже сетуют и ропщут на затянувшееся бездействие, твердя, что так более продолжаться не может и не затем оставили они свои семьи, домы и труды, чтобы предаваться праздности. Иисус глядел на Петра и на Андрея так, словно не различал их лиц среди образов, теснившихся пред мысленным его взором, слушал так, словно с усилием выделял голоса апостолов из звучавшего у него в ушах хора бессвязных криков, и наконец после долгого молчания велел подож-

дать еще немного — он должен еще подумать, ибо чувствует, что должно вскоре произойти такое, что решит определенно и окончательно судьбу их, жизнь их и смерть. И еще сказал, что спустя небольшое время присоединится к ним, живущим в окрестностях Вифании, и уж этого не смог уразуметь ни Петр, ни Андрей: как же это он оставит осиротевших сестер, и зачем это нужно сейчас, когда ничего еще не решено. Не надо тебе возвращаться к нам, побудь пока в доме Лазаря, сказал Петр, того не зная, что душу Иисуса ежеминутно, днем и ночью рвут и терзают клещи двух мук — долга перед людьми, все бросившими, чтобы следовать за ним, и пребывания в этом доме, рядом с сестрами, похожими друг на друга и враждебными друг другу, как лицо и его отражение в зеркале. Лазарь оставался в доме и никуда не уходил — присутствие его ощущалось и в суровости Марфы, не простившей сестре, что та вмешалась и не допустила воскрешения, не простившей и Иисусу, что тот отказался воспользоваться своим богоданным могуществом; и в потоках слез, проливаемых Марией, которая, не желая, чтобы когда-нибудь настигла брата ее вторая смерть, воспротивилась тому, чтобы он жил, и теперь до гроба была обречена казниться, что не спасла его от первой. Постоянное присутствие его ощущал и Иисус в виде чего-то непомерно огромного, заполнившего и заполонившего все пространство, все уголки его смятенной души, уже не раздвоенной, а расчетверенной — ибо согласен был с тем, что сказала Мария, но винил ее в этом; ибо понимал мольбу Марфы, но осуждал ее за это. И ему казалось, будто четверка бешеных коней рвет его душу на четыре части; будто четыре якорные цепи, накручиваясь на четыре лебедки, по волоконцу раздирают ее; будто Бог и Дьявол, ухватясь за нее с двух сторон, божественной и Дьявольской забавы ради, перетягивают, как канат, измочаленные ее остатки. К дверям дома, что был некогда домом Лазаря, подходили убогие в струпьях и язвах, молили исцелить их страждущую плоть, и Марфа прогоняла их, как бы говоря: Не было спасения брату моему — не будет же и вам исцеления, — и те уходили, чтобы вернуться погодя, позже, но вернуться непременно и в конце концов добиться Иисуса, который очищал их и отсылал прочь излеченными, но никогда не говорил: Покайтесь, ибо излечиться — не то ли самое, что родиться заново не умирая, а у новорожденного грехов нет, и каяться ему в содеянном нет нужды, поскольку ничего сделать он еще не успел. Но Иисус, побуждаемый милосердием своим к возрождению человеческой плоти, не во грех ему будь сказано, неизменно чувствовал потом в душе некий неприятный осадок, горькое и едкое послевкусие, ибо чудесами своими мог лишь на известный срок отдалить неизбежный упадок и распад и знал, что тот, кто сегодня ушел от него здоровым и веселым, завтра придет снова, с плачем жалуясь на новые недуги и хвори, от которых уже не будет спасения. Печаль его достигла такого предела, что Марфа в сердцах сказала ему однажды: Смотри только не умри у меня, второго Лазаря мне не пережить, Магдалина же во тьме и тишине ночи, прячась под простыню, как прячется в нору раненый зверь, чтобы там, втайне ото всех скулить и стонать без помехи, шептала, лежа рядом с Иисусом: Я нужна тебе сегодня, как никогда прежде, но ты теперь там, куда мне не дотянуться, ты затворился за дверью, открыть которую превыше сил человеческих, а Иисус, который отвечал Марфе: В смерти моей заключены будут все смерти Лазаря, он вечно будет умирать и никогда не воскреснет, — просил и молил Марию: Даже если не в силах ты войти в те двери, не отходи от меня, протягивай ко мне руку, даже если не будешь видеть меня, а иначе я забуду о жизни или она меня забудет. Минуло еще несколько дней, Иисус ушел к ученикам, и Магдалина с ним. Я буду смотреть на твою тень, если не хочешь, чтобы смотрела на тебя, сказала она. Я хочу быть там, где будет моя тень, раз на нее будешь смотреть ты, отвечал ей Иисус. Они любили друг друга, и по дороге звучали слова, подобные этим, и не только потому, что они были искренни и красивы — если могут быть слова разом и красивы, и искренни, — но еще и потому, что уже приближалось время теней и нужно было, пока они еще вместе, начинать привыкать ко тьме окончательной разлуки.

Вскоре достигла Вифании весть о том, что схвачен Иоанн Креститель. Ничего, кроме того, что он взят, и взят по приказу самого Ирода Антипы, известно не было, причину же этого, не в силах отыскать другой, усматривали Иисус и его ученики в том лишь, что Иоанн всюду и везде и постоянно, между пророчествами: Идет другой, тот, кто будет крестить вас огнем, — и проклятьями: Порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от

будущего гнева? — возвещал о пришествии Мессии. Иисус же сказал своим — следует приготовиться к тому, что будут их гнать и преследовать, и, поскольку уже давно всю страну облетела весть о том, что они делают и что говорят, Ироду нетрудно будет сделать вывод, что два да два — четыре, и приказать взять под стражу плотникова сына, похваляющегося, будто он — Сын Божий, и присных его, чтобы отсечь вторую и главную голову дракона, грозящего лишить его престола. Нет ни малейших сомнений в правоте поговорки, гласящей, что отсутствие новостей лучше, чем плохие новости, но, к чести слушавших Иисуса, следует отметить, что приняли они дурную весть с душевным спокойствием тех, кто, с тревогой и душевным же трепетом ожидая чего угодно, оказывался в последнее время перед ничем. Они спрашивали друг друга и Иисуса, как быть им в этих обстоятельствах — держаться ли по-прежнему вместе и сообща встретить грозящую опасность, разойтись ли по городам и деревням или удалиться в пустыню, питаясь сушеной саранчой и диким медом, как поступал Иоанн в свое время, перед тем как вышел оттуда — для вящей славы Иисуса и, как показал ход событий, себе на горе. Но пока не двинулись в Вифанию Иродовы воины избивать новых младенцев, Иисус и ученики его могли спокойно рассмотреть все возможные варианты, чем и занимались в ту минуту, когда разом пришли вторая и третья новости — о том, что Иоанн Креститель обезглавлен, и о том, что арест его и последующая казнь не имеют никакого отношения к пророчествам о пришествии Мессии или наступлении Царства Божьего и объясняются исключительно громогласными обличениями кровосмесительного брака, свершенного Иродом, который при живом муже женился на Иродиаде, своей племяннице и невестке. Весть о гибели Иоанна вызвала плач и стенания равно у мужчин и у женщин, скорбевших одинаково безутешно и одинаково эту скорбь выражавших, однако разумению всех, сколько ни было их там, людей недоступна оказалась причина гибели Иоанна, вернее ничтожность ее, ибо, без сомнения, должна была иметься иная, более существенная причина, а она между тем словно бы и не существовала вовсе сейчас и завтра не будет иметь ни малейшего значения. Кричал в ярости Иуда Искариот, которого, как мы помним, Иоанн окрестил: Как же это, обращался он ко всем, не исключая и женщин, как такое может быть — Иоанн провозглашает скорое пришествие Мессии, который освободит народ, а убивают его за то якобы, что обвинил дядю и племянницу в кровосмесительной связи, в нарушении супружеской верности и в прочих грехах, будто мы не знаем, что блудодейство у них в роду от первого Ирода до нынешнего? Как же может быть, восклицал он, что, если Бог послал Иоанна возвестить пришествие Мессии, а я не сомневаюсь, что это Бог, потому хотя бы, что без Божьего соизволения ничего на свете не сделается, — так вот, если Иоанн выполнял Божью волю, то пусть объяснят мне люди более сведущие, чем я, как допустил Бог, чтобы собственные его намерения здесь, на земле, нарушались так бессовестно, но только, пожалуйста, пусть не говорят, что, мол, пути Господни неисповедимы, что ведомое Ему нам неведомо и ведомо быть не может, ибо на это я отвечу — я именно хочу знать, знает ли обо всем этом Бог?! Холодок страха пробежал по хребту всех слушавших его, словно гнев Господень уже готов был поразить и дерзеца, и тех, кто не заставил его в тот же миг, как уста его изрыгнули хулу, расчесться за нее. Но раз уж Бог не потребовал удовлетворения у Иуды Искариота, вызов пришлось принять Иисусу, как стоящему ближе всех к верховному ответчику. Будь это другая религия и не будь так остра ситуация, дело бы, возможно, тем и кончилось — кончилось бы загадочной улыбкой Иисуса, которую, сколь ни была она мимолетна, легко было разложить на три составляющих — удивление, благосклонность, любопытство, причем удивление вспыхнуло мгновенно, в благосклонности не было ни грана снисходительности, а в любопытстве — усталости. Но улыбка исчезла тут же, и смертельная бледность покрыла вмиг осунувшееся лицо Иисуса, словно вдруг воочию, вживе и въяве увидевшего собственную судьбу. Пусть уйдут женщины, — медленно, лишенным всякого выражения голосом проговорил он наконец, и первой поднялась Мария Магдалина. Потом, дождавшись, когда молчание придавило всех, кто сидел у костра, низким сводом, стиснуло стенами, замуровало в глубочайшей из пещер земли, Иисус сказал: Иоанн сам спросит Бога, почему тот привел ему — ему, пришедшему возвестить столь великие истины, — умереть так, как он умер, из-за такой безделицы, и замолчал на миг, но, когда Иуда собрался что-то произнести, вскинул руку, заграждая ему уста, и договорил: А мой долг, как я понял только что, —

сказать вам: я знаю то же, что знает Бог, если только он сам не запретит мне. Послышались измененные волнением голоса встревожившихся, беспокойно задвигавшихся учеников, которые и боялись, и жаждали узнать это, и лишь Иуда сохранил прежнее дерзкое и вызывающее выражение. Сказал Иисус: Я знаю свою судьбу, знаю вашу и тех многих, кому еще предстоит родиться; мне открыто предначертанное Богом и ведомо то, зачем он сделает это, и обо всем этом я обязан говорить с вами, поскольку это всех касается сейчас и еще сильней коснется в будущем. Зачем, спросил его Петр, зачем знать нам то, что одному тебе поведал Бог, лучше молчи. Во власти Бога было бы заставить меня молчать. Ты хочешь сказать, что Богу безразлично, будешь ты хранить молчание или нет, что то и другое ему равно безразлично и что, если Бог говорит твоими устами, твоими устами будет он говорить, даже когда, как сейчас, к примеру, ты идешь наперекор его воле? Ты знаешь, Петр, что меня распнут? Да, ты ж сказал мне об этом. Но я не сказал, что и ты умрешь на кресте, и Андрей, и Филипп, что с Варфоломея сдерут кожу заживо, а Матфея убьют варвары, что Иакову Зеведееву отрубят голову, что Иакова Алфеева побьют камнями, Фому пронзят копьем, Иуде Фаддею размозжат череп дубиной, Симона же распилят пополам, — ничего этого ты прежде не знал, а теперь знаешь, и знают все остальные. Слова его были встречены молчанием: будущее стало известно и страха более не внушало, и все было, как если бы Иисус предрек им: Вы умрете, а они бы хором ответили: Подумаешь, новость сказал, а то мы без тебя не знали. Но Иоанн Зеведеев и Иуда Искариот, не упомянутые Иисусом, спросили в один голос: А я? — и ответил Иисус: Ты, Иоанн, доживешь до старости и умрешь своей смертью, а ты, Иуда, держись подальше от смоковниц, ибо недалек уже тот час, когда ты своими руками удавишься на одной из них. Тут раздался голос кого-то из учеников, только непонятно было, кого именно: Стало быть, мы умрем за тебя? Не за меня, а за Бога, отвечал Иисус. А чего же он, в конце концов, хочет? — спросил Иоанн. Он хочет владеть всем миром. Но мир и так принадлежит ему, Вседержителю и творцу Вселенной, причем не со вчерашнего дня и с завтрашнего, а от начала времен и до скончания века, сказал Фома. Этого я не знаю, отвечал Иисус. Но ты так долго таил это в душе, почему же решил сейчас поведать нам обо всем? Умер Лазарь, исцеленный мною, умер Иоанн, возвестивший обо мне, и смерть уже среди нас. Всякая тварь земная смертна, заметил Петр, чем мы лучше других? В будущем многие умрут по воле Бога и за дело его. Раз по воле Бога, значит, за святое дело. Они умрут оттого лишь, что выпало им родиться тогда, когда родились они, не раньше и не позже. Они войдут в жизнь вечную, возразил Матфей. Да, но почему должны будут претерпевать для этого такие муки?! Если Сын Божий говорит это, он отрицает самого себя, сказал Петр. Ты ошибаешься: только Сыну Божьему позволено говорить так, ибо то, что в твоих устах прозвучит богохульством, в моих пребудет словом Божьим. Так получается, что мы вроде должны выбирать между тобой и Богом. Выбор ваш должен быть вечно и неизменно лишь между Богом и Богом, я же стою на полпути от вас до Бога, и от меня до вас как от вас — до людей. Что надлежит нам сделать? Помочь смертью моей спасти жизни тех, кто еще не родился. Но ты не можешь идти наперекор воле Бога. Не могу, но попытаться должен. Ты — Сын Божий, тебе ничего не грозит, мы же навсегда погубим душу свою. Нет, ибо, повинуясь мне, вы все еще будете повиноваться Богу. На горизонте, там, где обрывалась пустыня, появился краешек красной луны. Ну говори же, воскликнул Андрей, но Иисус дождался, пока не выплывет над землей весь целиком огромный кровавый диск, и только тогда продолжал: Сын Божий должен будет умереть на кресте, чтобы так исполнить волю Отца, но если вместо него распнут обыкновенного человека, не сможет уже Бог пожертвовать своим сыном. Ты хочешь вместо себя послать на казнь простого человека, одного из нас? — спросил Петр. Нет, я сам займу место Сына. Ради Бога, объяснись. Да, на крест пойдет простой, обыкновенный человек, но только он объявит себя царем Иудейским, намеренным свергнуть Ирода с престола и изгнать римлян из пределов своих, и просить я вас хочу о том, чтобы кто-нибудь из вас без промедления отправился во Храм и сказал там, что я и есть этот человек, и, если власти окажутся расторопны, Бог не успеет своим судом заменить земное правосудие, как не отклонил он секиры палача от головы Иоанна. Все ученики онемели от изумления, но уже вскоре дружным криком изъявили свое негодование, протест, невозможность поверить в слова Иисуса. Если ты — сын Бога, то и умереть должен как сын Бога! — воскликнул один. Я

преломлял с тобой хлеб, как могу я предать тебя?! — простонал другой. Не может быть царем Иудейским тот, кому суждено стать владыкой мира! — твердил третий. На месте прикончу всякого, кто попытается донести на тебя! — рычал четвертый. Тут, взлетев над всем этим гвалтом, прозвучал ясный голос Иуды Искариота, произнесшего раздельно и отчетливо: Я пойду в Храм, если такова твоя воля. Его тотчас схватили, и уже сверкнули выхваченные из-под плащей клинки, когда Иисус приказал: Отпустите его, не причиняйте ему зла, — и, поднявшись, обнял Иуду и поцеловал его в обе щеки, после чего сказал: Что делаешь, делай скорей. Тот, не промолвив более ни слова, закинул край плаща за плечо и исчез в ночи, будто тьма поглотила его.

А при первым свете дня пришли взять Иисуса храмовая стража и воины Ирода. Они незаметно подобрались к тому месту, где разбиты были шатры, и потом некоторые, вооруженные мечами и копьями, ворвались туда, и старший над ними крикнул: Где тот, что называет себя «Царь Иудейский»? — а потом еще раз: Пусть выйдет человек, именующий себя «Царь Иудейский», — и тогда вышел из шатра Иисус и с ним плачущая Мария Магдалина. Воин, подошедший, чтобы связать ему руки, шепнул ему: Если все же, несмотря на то что сегодня пришли мы взять тебя, станешь ты когда-нибудь царем над нами, вспомни, что я исполнял приказ, и если ты прикажешь взять того, кто ныне приказал взять тебя, я подчинюсь тебе, как ныне подчинился ему. Иисус же ответил: Один царь не схватит другого царя, и бог не убьет бога, ибо на то и существуют такие, как ты. Покуда опутывали веревкой и ноги его, чтобы он не мог убежать, промолвил Иисус как бы про себя: Поздно спохватились, я уже убежал. В этот миг испустила Магдалина душераздирающий вопль, и сказал ей Иисус: Ты не так еще заплачешь по мне, — и другим женщинам: И вы все, когда придет такой же час для всех, кто стоит здесь, и для вас самих, восплачете горько, но знайте, что в тысячи раз больше пролилось бы слез в будущем, если бы я по воле своей не решился принять смерть. И потом, повернувшись к старшему над воинами, сказал ему: Отпусти людей, что были со мной, я — Царь Иудейский, я, а не они, — и, уж более не прибавив ни слова, пошел вперед, воины же окружали его. Тем временем взошло и поднялось над Вифанией солнце, и все они двинулись по дороге на Иерусалим — впереди Иисус, по бокам его — воины, державшие концы веревки, которой связаны были его руки, следом ученики и женщины, причем первые пылали гневом, вторые же плакали, но от слез одних проку и толку было столько же, сколько от ярости других. Что делать нам? — переговаривались они между собой вполголоса, — напасть ли на воинов и попытаться отбить Иисуса и погибнуть в бою или же разбежаться, покуда не вышел приказ схватить и нас всех? — и, как не в силах они были сделать выбор, то не сделали ничего, следуя за стражниками в некотором отдалении. Спустя небольшое время заметили ученики, что отряд остановился, и не могли понять почему, и даже мелькнула у них мысль, что пришел другой приказ и воины сейчас развязывают Иисуса, однако для того, чтобы поверить в такое, недостаточно буйным были они наделены воображением. Никакие узлы не развязались, а один, по крайней мере, затянулся еще крепче, намертво затянулся под тяжестью тела, — на ветви придорожной смоковницы, которую никак не могли миновать Иисус и ведшие его, висел в петле Иуда Искариот, по доброй воле вызвавшийся донести на учителя, чтобы исполнена была последняя воля его. По знаку командира конвоя двое стражников перерезали веревку и опустили наземь бездыханное тело. Не остыл еще, сказал один из них, и ничего удивительного в этом не было, потому что Иуда, загодя взобравшись на смоковницу, привязал веревку к ветви ее, сунул голову в петлю и принялся терпеливо ждать, когда вдалеке из-за поворота дороги покажется Иисус, чтобы в тот же миг со спокойной совестью, ибо выполнил он все, что надо, и так, как надо, кинуться вниз. Иисус подошел к телу — стража не препятствовала ему — и долго глядел в искаженное недолгой предсмертной мукой лицо. Теплый еще, повторил конвойный, и Иисус подумал, что сейчас мог бы, если бы захотел, сделать то, чего не сделал с Лазарем, — воскресить Иуду, чтобы в другом месте и в другое — быть может, весьма отдаленное — время обрел тот тихую и естественную смерть, а не помеченное клеймом предательства бессмертие. Но всем известно, что воскрешать людей по силам только Сыну Божьему, а никак не Царю Иудейскому, чей дух безмолвствует, а руки и ноги связаны. Старший конвоя приказал: Бросьте его здесь, местные похоронят, а нет — будет воронью пожива, только сперва посмотрите, нет ли при нем чего ценного. Ничего,

ни гроша, доложили стражники, обшарив труп, да и не могло быть, поскольку деньгами общины распоряжался Матфей, поднаторевший в этом деле еще с той поры, когда был мытарем при таможне и звался Левий. Ему не заплатили за донос, пробормотал Иисус, и стражник, слышавший его слова, ответил: Хотели было, да он сказал, что привык платить свои долги сам, ну да, видно, он расчелся сполна. Процессия двинулась дальше: иные ученики с жалостью взирали на тело былого своего сотоварища, но Иоанн сказал: Оставим его, он не из наших, а другой Иуда, Иуда Фаддей, возразил: Хотим мы того или нет, но он всегда будет из наших, другое дело, что мы не будем знать, что с ним делать, но это не важно — он наш. Идем, сказал Петр, нечего нам делать рядом с Иудой Искариотом. Верно, сказал на это Фома, место наше — рядом с Иисусом, да только пустует оно.

Пришли наконец в Иерусалим, и Иисуса привели в Синедрион, состоящий из старейшин, первосвященников и книжников. Глава же его обрадовался, увидев Иисуса, и сказал ему: Я предупреждал тебя, но ты не внял моим словам, а теперь гордыня твоя не защитит тебя, а ложь, которую ты изрекаешь, — погубит. О чем ты? — спросил Иисус. О том, во-первых, что ты будто бы Царь Иудейский. Я — Царь Иудейский. А во-вторых, о том, что ты — Сын Божий. Кто сказал тебе, что я называл себя «Сын Божий»? Все твердят об этом. Не верь им, я — Царь Иудейский. Значит, ты признаешь, что ты — не сын Бога? Повторяю тебе, я — Царь Иудейский. Берегись, одного этого достаточно, чтобы приговорить тебя к смерти. Я сказал то, что сказал. Что ж, в таком случае я отправлю тебя к римскому прокуратору, ему любопытно будет поглядеть на человека, который собирается изгнать его из страны, а страну отнять у кесаря. Стража повела Иисуса во дворец Пилата, и, поскольку уже разнеслась весть о том, что схвачен человек, называющий себя Царем Иудейским, изгнавший из Храма торгующих и меновщиков, поджегший их лотки и палатки, толпами сбегались люди посмотреть, как выглядит царь, когда при всем честном народе ведут его со скрученными за спиной руками по улицам, точно обычного преступника, и любопытным было очень мало дела до того, из истинных ли он царей или из тех, кто сам лишь таковым себя считает. И, как всегда случается в нашем разнообразном мире, одни сострадали ему, другие — нет, одни говорили: Отпустите беднягу, он же явно не в себе, другие, напротив, считали, что преступление должно быть примерно наказано, чтоб неповадно было, и что если преступлений много, то и наказаний должно быть уж никак не меньше. Замешавшись в гущу толпы, брели в ней как потерянные ученики Иисуса и пришедшие с ними женщины, и вот их-то легко было узнать по тому, как горько они рыдали, и лишь одна из них, Магдалина, не плакала, и невыплаканные слезы жгли ее изнутри.

От дома первосвященника до дворца прокуратора было недалеко, но путь этот показался Иисусу нескончаемым, и не потому, что к этому моменту толпа, окончательно разуверившаяся, что жалкий человек под стражей годится ей в цари, доняла его насмешками и бранью, — нет, все никак не могли они добрести до суда, который по его, Иисусовой воле должен обречь его на смерть, а ведь в любую минуту могло случиться так, что Бог, глянув ненароком в эту сторону, скажет: Эт-то еще что такое?! Мы так не договаривались. Храмовая стража, передав Иисуса римским солдатам, осталась снаружи у ворот дожидаться решения прокуратора, во дворец же допущены были только немногие члены Синедриона. Сидя в своем кресле, прокуратор римский по имени Понтий Пилат видел, как ввели и поставили пред ним обросшего и босого оборванца, в тунике, покрытой пятнами давними и свежими — последние оставлены были соком спелых и зрелых плодов земных, сотворенных богами вовсе не для того, чтобы люди, швыряя их, давали выход злобе своей и позорили себе подобных. Арестованный, стоя перед прокуратором, голову держал высоко, глядел в пространство, но не вдаль, а в одну близкую, хоть и неопределимую точку, расположенную где-то на перекрестье взглядов его и Пилата. Тот до сей поры видел перед собой подсудимых лишь двух видов — одни опускали перед ним глаза, другие же, напротив, посылали ему взгляд прямо в лицо, как посылают вызов на поединок: первых он презирал, вторых всегда немного побаивался и потому старался приговорить их поскорее. А этот был словно и здесь, и одновременно еще где-то и держался с таким отстраненно-рассеянным достоинством, как будто и впрямь был царем по праву рождения, непреложно уверенным в себе и в том, что, когда в самом скором времени разъяснится досадное недоразумение, тотчас получит назад свой царский ве-

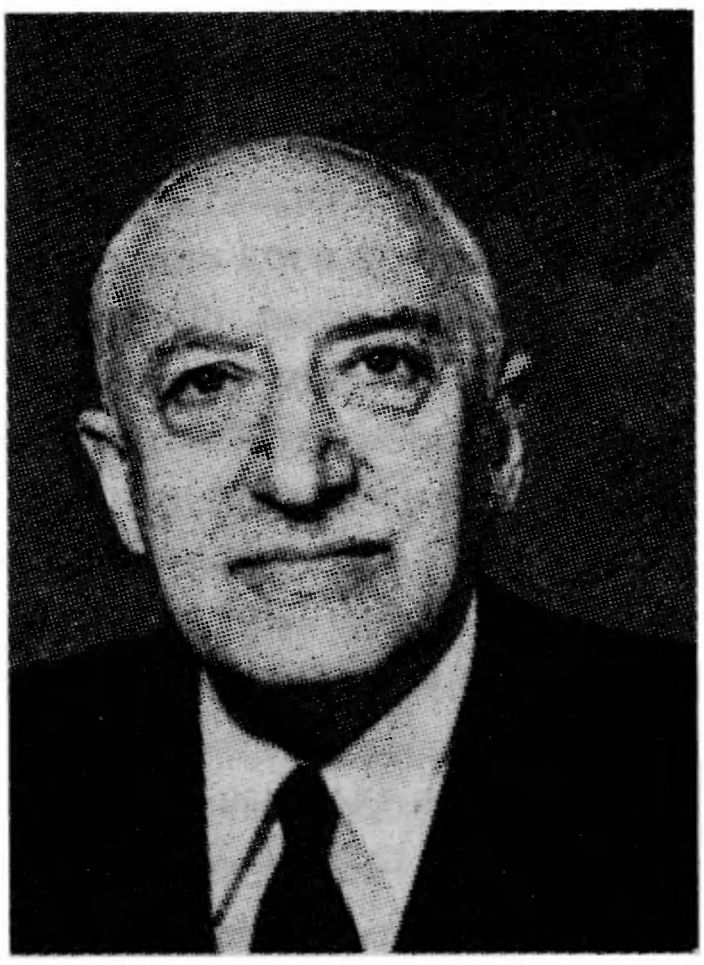
нец, и скипетр, и мантию. В конце концов Пилат, сочтя, что правильней будет отнести этого подсудимого ко второму виду и в соответствии с этим судить его, приступил к допросу. Кто ты и откуда? Иисус, сын Иосифа, я родом из Вифлеема Иудейского, но жил в Назарете Галилейском, и потому называют меня Иисус Назорей. Кто твой отец? Я же сказал — Иосиф. Чем он занимался? Плотничал. Скажи-ка мне, каким это образом плотник Иосиф родил Иисуса-царя? Если царь может родить плотника, то и плотнику должно быть по силам родить царя. В этот миг вмешался в допрос один из первосвященников, сказавший так: Напоминаю тебе, Пилат, что человек этот утверждал также, что он сын Божий. Неправда, я говорил всего лишь, что я — сын Человеческий, отвечал Иисус, а первосвященник воскликнул, обращаясь к Пилату: Не дай обмануть себя, прокуратор: в нашей религии слова «сын Божий» и «сын Человеческий» суть два названия одного и того же. Пилат с равнодушным пренебрежением пожал плечами: Я бы еще заинтересовался, тверди он повсюду, что приходится, скажем, сыном Юпитеру, как уж бывало раньше, но какое мне дело до того, сын он вашего бога или нет. Тогда суди его за то, что он называет себя — «Царь Иудейский», нам этого достаточно. Осталось только узнать, достаточно ли этого для меня, отвечал Пилат весьма неучтиво. Иисус спокойно ждал, когда окончится спор и возобновится допрос. Так кто ты есть? — спросил Пилат. Царь Иудейский. И чего добиваешься? Всего, что подобает и пристало царю. Ну например? Править своим народом и защищать его. От чего? От всего, что будет угрожать ему. От кого? От всякого, кто будет угрожать ему. И в первую очередь от Рима, если я верно тебя понял. Ты понял верно. И чтобы защитить его, поведешь с нами войну? Как же иначе? И изгонишь нас из этих пределов? Одно влечет за собой другое, это очевидно. Очевидно, что ты враг кесаря. Я — Царь Иудейский. Сознайся, что ты враг кесаря. Я — Царь Иудейский, и ничего другого уста мои не вымолвят. Первосвященник в крайнем возбуждении воздел руки к небу: Ты видишь, прокуратор, он признался, и ты не можешь даровать жизнь тому, кто при свидетелях заявил, что он — враг твой и римского кесаря. Помолчи, со вздохом сказал ему Пилат и, повернувшись к Иисусу, спросил: Что еще можешь сказать? Ничего, ответил тот. Ты принуждаешь меня вынести тебе смертный приговор. Делай, что должен. Можешь сам выбрать себе казнь. Я уже выбрал. Какую же? Распятие. Хорошо, ты умрешь на кресте. Иисус наконец нашел глазами глаза Пилата. У меня есть просьба. Если она не противоречит твоему приговору, говори, я исполню. Пусть над моей головой прибьют к кресту доску, где будет написано, кто я и что я, чтобы люди знали. Больше ничего? Ничего. По знаку прокуратора секретарь подал ему чем и на чем писать, и Пилат собственноручно вывел: Иисус Назорей Царь Иудейский. Первосвященник, заметив это, вышел из состояния блаженного довольства, в котором пребывал, и возразил: Не «Царь Иудейский» следует писать, а «именующий себя Царем Иудейским». Но Пилат, злясь на себя самого — он уверился в том, что правильней было бы сохранить этому человеку жизнь и отпустить его на все четыре стороны, ибо даже самый недоверчивый судья не усмотрел бы угрозы Римской империи, исходящей от такого ее врага, — отвечал сухо: Не докучай мне более, что я написал, то написал. Он махнул солдатам, чтобы выводили осужденного, и приказал подать воды, чтобы, как полагалось по обычаю, вымыть после суда руки.

А Иисуса повели на некую гору, называемую Голгофой, и, поскольку ноги у него, хоть он и был крепок телом, подламывались под тяжестью деревянной перекладины, центурион подозвал прохожего, опрометчиво остановившегося на миг посмотреть на шествие, и приказал ему помочь приговоренному. Ну, о насмешках, улюлюканье и брани, летевших из толпы, как и о том, что была она многочисленна, сказано было выше. О том, что мало кто испытывал жалость к обреченному, но все же нашлись и такие, — тоже. Что же касается учеников, они бредут в толпе, и какая-то женщина сию минуту спросила Петра: А ты не из тех ли, что был с ним? — и Петр, переспросив: Я? — ответил: Нет, и отошел поскорее, поглубже замешался в толпу, но и там тотчас встретил эту женщину и снова сказал ей: Нет, а поскольку бог троицу любит, Петр был спрошен в третий раз и в третий раз отрекся. Женщины поднимаются на гору по обе стороны от Иисуса, сколько-то справа, сколько-то слева, и Магдалина хоть и ближе всех, но на порядочном отдалении, потому что солдаты никому без различия пола не дают подойти вплотную к тому месту, где высятся три креста — на двоих уже рычат, и воют, и стонут казнимые, а третий,

прямой и отвесный, будто колонна, подпирающая купол небес, еще пуст. Солдаты велели Иисусу лечь наземь, и он повиновался и раскинул руки по перекладине, и, когда первый гвоздь, вогнанный безжалостным ударом молотка, вошел, пробивая кожу и мясо, меж лучевыми костями, вместе с острой болью он почувствовал, как с головокружительной быстротой понеслось время обратно: и боль была та же, что испытал его отец, и себя он вдруг увидел таким же, каким предстал ему в Сепфорисе Иосиф. Потом пробили второе запястье, и сразу же стали раздираться кожа и мясо — это перекладину вместе с пригвожденным к ней человеком в несколько резких рывков вознесли на вершину и прикрепили поперек столба, так что получился наконец крест — и на хрупких косточках повисло всей своей тяжестью его тело, и он почувствовал даже облегчение, когда его ноги привздернули кверху и сложенные лодыжки пронизал третий гвоздь. Теперь все, теперь больше делать нечего, теперь только умирать.

Иисус умирает, умирает, жизнь уже уходит из него, как вдруг над самой его головой надвое расходятся небеса, и появляется Бог — он одет так же, как в лодке, — и громовые раскаты его голоса разносятся по всей земле, когда он говорит: Ты — Сын мой возлюбленный, к которому благоволит душа моя. Тогда понял Иисус, что его обманом привели сюда, как ягненка — к жертвеннику, что от начала начал расчислено было, что жизнь его оборвется именно так, и, вспомнив реку крови и страданий, которая, взяв в нем исток, будет разливаться все шире, пока не затопит весь мир, закричал в разверстые небеса, посреди которых улыбался ему Бог: Простите ему, люди, ибо не ведает он, что творит. Потом в смертном полузабытьи он видел Назарет и отца, — тот, пожимая плечами и тоже улыбаясь, говорил ему: И ты не можешь задать мне все вопросы, и я не знаю всех ответов. Он был еще жив, когда почувствовал, как освежила ему уста пропитанная водой и уксусом губка, и, глянув вниз, увидел человека, который шел прочь с шестом на плече и с ведром в руке. Но он уже не успел увидеть на земле, у подножия креста, черную глиняную чашку, куда по каплям скатывалась его кровь.

■



АНДРЕ МОРУА

Воспоминания

Фрагменты книги

Перевод с французского М. АННИНСКОЙ

И все же надо жить

В смерти любимого существа мучительней всего невосполнимость утраты. Nevermore[1]. Никогда больше я не услышу ее мягкого голоса, не увижу прекрасного лица; никогда больше не будет у нас с ней «разбирательств» — так она называла наши долгие объяснения, тягостные выяснения отношений; только теперь я начал ценить их и с готовностью отдал бы остаток жизни, чтобы вновь увидеть Жанину хоть на час, хоть на минуту. В марте 1924 года стояла чудная погода, но раннее весеннее тепло лишь напоминало о моей утрате. Вслед за ночью неизменно наступал новый день, и на безоблачном небе снова появлялось солнце. Я не мог работать. Каждое утро я выходил из дома. Покупал белые цветы и подолгу расставлял их так, как это делала Жанина: то передвигая немного розу, то меняя изгиб стебля, — и водружал букеты перед ее портретами, стоявшими во всех комнатах. После обеда ко мне в кабинет приходила малышка Мишель и усаживалась напротив; ее детская и вместе с тем серьезная забота на некоторое время возвращала меня к жизни.

Узнав о моем трауре, полковник Дженнер написал мне: «Приезжайте к нам в Эйвбери. Места всем хватит. Полдома в вашем распоряжении, а нас вы даже не будете видеть. Вам надо сменить обстановку...» Я принял его приглашение, но, покинув Нёйи, все же не обрел душевного покоя. Напрасно я до изнеможения бродил среди трав и камней Эйвбери. Каждую ночь я возвращался во сне к моей Жанине, и пробуждение надрывало мне сердце. Вернувшись во Францию, я узнал, что подготовлен склеп в Ла-Соссе. Я перевез туда гроб жены, поставил перед могилой полукруглую мраморную скамью и вазон для цветов, посадил иву. Каждый день я приходил на маленькое кладбище и окунался в прошлое. Нередко меня сопровождали дети.

— Пошли отнесем mammy цветов, — звали они.

Мишель становилась задумчивой и скрытной. Унаследовав красоту и изящество матери, она походила на меня своей молчаливостью, сосредоточенностью на внутренних переживаниях. Мальчики, розовощекие и белокурые, были прелестны, особенно когда играли на зеленой траве, одетые в яркие комбинезоны. Мне нравилось наблюдать за их бесхитростной счастливой жизнью. Каждый день с тем же деловым видом, с каким ког-

---

[1] Никогда *(англ.). (Здесь и далее — прим. перев.).*

© М. Аннинская. Перевод, 1998
Полностью книга будет опубликована в издательстве «Вагриус».

да-то мой отец обходил завод, ребята обходили наш сад. Они увлеченно искали землянику, обследовали душистый горошек, с восторгом рассматривали розы, считали снесенные курами яйца, вертелись около садовника. Потом, как и я в их возрасте, собирали букеты полевых цветов. Ближе к вечеру, облаченные в бледно-голубые пальтишки с хлястиками, они отправлялись гулять, и их пшеничные головы терялись на тропинках среди колосьев, маков и васильков.

Как только ко мне вернулась способность писать, я принялся за работу. Давно уже вынашивал я замысел «Диалогов об управлении». Мысли мои на этот счет еще с тех времен, когда я учился у Алена[1], были весьма противоречивы. Учитель наш намеренно выступал в роли гражданина, восставшего против властей. Он внушал нам, что чем меньше правительство правит, тем лучше оно управляет страной и что любой вождь неизбежно стремится стать тираном. Жизнь (как и «Республика» Платона) научила меня другому: отсутствие добровольно признанного лидера и добровольного ему подчинения приводит общество к беспорядкам, а вслед за тем и к тирании. Где же истина? Мне хотелось разобраться в собственных мыслях и заставить спорить, по выражению Ренана, левую и правую половины мозга.

За год до того мне довелось познакомиться в Понтиньи с лейтенантом Блак-Белером, сыном кавалерийского генерала, возглавлявшего морскую военную школу. Лейтенант Эмери Блак-Белер командовал округом в независимой зоне Марокко. Это был пылкий молодой человек, горячий поклонник Жида, очень серьезно относившийся к своему солдатскому ремеслу. Сам того не ведая, он стал одним из участников моих «Диалогов»; другим я сделал Алена. Весь июль лейтенант и философ спорили во мне. Рассудок мой старался быть беспристрастным, но сердцем я был на стороне лейтенанта. Вероятно, потому, что одним из самых сильных моих чувств всегда был страх перед беспорядком. Это не значит, что я сторонник тирании, я ее ненавижу. Но я чту справедливую и твердую власть. Без дисциплины немыслима никакая деятельность. Это и стало моей темой.

К концу лета книга была закончена. Оторвался я от нее лишь однажды, когда в Ла-Соссе съехались гости: Андре Жид, чета Дю Бос[2] и Анна Дежарден. В их обществе мы с Мишель совершили увлекательное путешествие в Шартр. Мои друзья из Понтиньи заменили мне друзей юности, погибших на войне.

Бернару Грассе, моему издателю, «Диалоги» понравились. Он хотел выпустить их под каким-нибудь греческим названием и предложил «Никий»[3]. Звучало это красиво, но не соответствовало духу книги, так что заглавие осталось прежним. «Диалоги об управлении» вышли в свет и имели некоторый резонанс. Кое-кто ошибочно воспринял их не как литературное произведение, а как своего рода политическое кредо. В действительности у меня никогда не было определенной политической позиции. «Не вполне четкая», — говорил о моей ориентации Ален. Я придавал огромное значение основным политическим свободам и считал (а теперь просто уверен), что они являются непреложным условием для счастья и самоуважения человека. Вместе с тем я полагал, что эти свободы достижимы лишь при добровольном соблюдении определенной дисциплины, злоупотребление же свободой свободу и уничтожит.

С другой стороны, я страстно любил Францию. Я желал для нее благоденствия и величия, я видел, что представительная форма правления, процветающая в Англии, во Франции не приживется по вполне понятным для меня причинам. И искал других путей. Я пытался объяснить молодому поколению Франции — будущим руководителям, политикам, военным, предпринимателям — законы их предстоящей деятельности, которым научили меня история и личный опыт. Только и всего. Ярые поборники левых и правых идей не могли поверить, что моя книга — не более чем диалог, и пытались перетянуть меня каждый на свою сторону. Однако великие солдаты, такие, как маршал Файоль[4], и великие служители государства, как, например, Жюль Камбон[5], писали мне мудрые пись-

---

[1] Ален (Эмиль Огюст Шартье, 1868—1951) — французский философ и писатель.

[2] Шарль Дю Бос (1882—1939) — французский литератор, критик.

[3] Никий (469—413 до н. э.) — афинский стратег, возглавлял консервативное крыло афинской демократии и боролся за прекращение Пелопоннесской войны; казнен взявшими его в плен сиракузянами.

[4] Эмиль Файоль (1852—1928) — маршал Франции с 1921 г., командовал армией в годы первой мировой войны.

[5] Жюль Камбон (1845—1935) — французский политический деятель и дипломат, заложил основы французской политики в отношении стран мусульманского мира.

ма. Бергсон прислал скрупулезный и глубокий анализ «Диалогов»; ему понравилась мысль, что интуиция столь же важна для правителя, сколь и для художника. Ален узнал себя в одном из собеседников и, кажется, остался доволен.

— Не хотите ли познакомиться с маршалом Петеном? — предложил мне однажды в ноябре Бернар Грассе. — Вы можете побеседовать с ним о ваших «Диалогах». Он их прочел. Второго декабря он обедает у одной из моих знакомых, мадам де Кайаве. Будут Робер де Флер[1] и Поль Валери. Мне поручено пригласить вас.

— Вы знаете, что я в глубоком трауре и не появляюсь в свете, — отвечал я.

— Речь идет не о приеме, а о деловом обеде. Вы занимаетесь определенными проблемами. Вам представляется возможность обсудить их с выдающимися людьми. Что же тут такого?

В конце концов я согласился. О мадам де Кайаве я, разумеется, слышал. Это была старинная подруга Анатоля Франса, мать Гастона де Кайаве, написавшего в соавторстве с Робером де Флером «Короля», «Мальву» и «Зеленый фрак». Я готовился увидеть пожилую даму, согбенную, но властную и гордую. Явившись же вместе с Грассе на бульвар Малерб, я был приятно удивлен, когда нам навстречу вышла молодая женщина. Хозяйка была хороша собой и одета в черно-белое платье, очень ей шедшее. Взглянув на нее, я почему-то вспомнил о Жанине, хотя внешне они не были похожи. Мадам де Кайаве знала, что я в трауре, и растрогала меня выражениями сочувствия. За столом собрались Поль Валери, Робер де Флер, Анри Робер[2] и Грассе. Из-за каких-то важных дел маршал так и не явился. Тем не менее обед удался, и благодаря интересным собеседникам и самой мадам де Кайаве, которая много знала и оказалась остроумной рассказчицей, мы приятно провели время. Ушел я вместе с моим издателем.

— А теперь, — сказал я ему на улице, — объясните мне эту загадку... Я предполагал увидеть очень немолодую даму...

Грассе долго смеялся.

— Вы заблуждаетесь, — сказал он. — Мадам Арман де Кайаве вот уж пятнадцать лет как почила в бозе. Это ее внучка, Симона де Кайаве.

— А почему же тогда ее называют мадам? Почему не мадемуазель де Кайаве?

— Она была замужем. Во время мирной конференции вышла за иностранного дипломата. Три года спустя брак распался.

— И что, она несчастлива?

— Об этом не берусь судить... Мать ее вышла замуж вторично за своего кузена и носит теперь имя Морис Пуке. Робер де Флер, опекун Симоны, заменил ей отца. В ее доме собираются многие писатели и политики. Одни приходят поговорить с умной женщиной, другие — ради Робера де Флера.

— А дети у нее есть?

— Девочка четырех лет.

— А сама она что-нибудь пишет?

— Писала когда-то стихи, статьи. Не знаю, пишет ли теперь. Во всяком случае, очень интересуется литературой. Послушайте, ведь вы любите Пруста. Вам надо поговорить с ней на эту тему. Она его близко знала.

Мадам де Кайаве попросила меня надписать кое-какие из моих книг, и вскоре я снова посетил ее. Хозяйка была дома и приняла меня; я, признаться, этого ждал. Во второй раз я уже лучше рассмотрел ее квартиру: на стенах висели тяжелые, затканные темно-зеленым гобелены, чересчур высокие и предназначенные скорее для какой-нибудь средневековой залы. Между нами завязалась оживленная беседа — разумеется, о Прусте...

— Он был связан с моей матерью узами детской дружбы, переменчивой, но прочной... С нее он написал (по крайней мере, отчасти) одну из своих героинь: Жильберту Сван... А из меня сделал дочь Жильберты, мадемуазель де Сен-Лу.

И она рассказала, как через двенадцать или тринадцать лет после того, как ее мать

---

[1] Робер де Флер (1872—1927) — французский драматург, писавший в соавторстве с Гастоном Арманом де Кайаве, а после смерти последнего — с Франсисом де Круассе; автор сказок, новелл, опербуфф, комедий.

[2] Анри Робер (1863—1936) — знаменитый французский адвокат, выдающийся оратор, автор книг по истории и психологических эссе.

вышла за Гастона де Кайаве, Пруст явился к ним в полночь и попросил познакомить его с маленькой Симоной.

— Но она давно спит! — пыталась отговорить его мадам де Кайаве.

— Разбудите ее, я вас очень прошу.

— Он так настаивал, — продолжала свой рассказ Симона, — что меня вытащили из кровати... Возможно, вы вспомните сцену, где он это описывает?..

Моя собеседница вышла и вернулась с томиком «Обретенного времени». Она показала мне отрывок, о котором шла речь. Заканчивался он следующим образом: «Я нашел ее прекрасной: еще полной надежд. Смеющаяся, сотканная из тех лет, что мной утрачены, она была воплощением моей юности».

Затаив дыхание, я смотрел на сидевшую рядом женщину, которая была прообразом мадемуазель де Сен-Лу.

— Хотите, я покажу вам письма Пруста?

— Он вам писал?

— Очень часто.

Она достала из шкатулки листы, исписанные хорошо знакомым мне быстрым почерком.

Марсель Пруст к мадам Гастон де Кайаве:

Я видел ваши висячие сады, ваши античные колонны и даже, несмотря на мое притворное небрежение, взглянул на автограф Наполеона. Все более чем мило. Но больше всего мне пришлась по душе ваша дочь и яркие проблески ума в ином ее взгляде или восклицании. «Я делаю все, что в моих силах!» (чтобы быть послушной дочкой) — это поистине великолепно...

Марсель Пруст к Симоне де Кайаве:

Вы огорчили меня, назвав «дорогой месье Марсель» вместо прежнего «дорогой друг». Так обходятся в полку с разжалованным офицером... Прочли ли вы «Мельницу на Флоссе»[1]? Если нет, то, умоляю вас, прочтите... Как вам удается исписывать или, вернее, изрисовывать столько страниц вашими китайскими палочками? Это не буквы, а какая-то диковинная живопись. Она восхитительна, это акварельный этюд, это цветущий сад, а не написанный текст.

Я попросил показать мне эти письма, похожие на китайский сад, и нашел их вслед за Прустом «восхитительными». В них было нарочитое, чуть напряженное изящество.

Марсель Пруст к мадам Гастон де Кайаве:

Как сильно можно любить существо во всем тебе противоположное! Я влюблен в вашу дочь. С ее стороны нехорошо быть такой улыбчивой, ибо именно улыбка свела меня с ума; улыбка придает особый смысл всему ее облику. Как мне было бы спокойно, если бы ваша дочь была букой! Я пытаюсь понять, лепестки какого цветка напоминают мне ее щечки, когда она смеется?.. Очень бы хотелось вновь увидеть эту ее улыбку.

Бернар Грассе дал мне прочесть предисловие, которое в 1918 году Анатоль Франс написал к сборнику стихов «Латинские часы» Симоны де Кайаве, бывшей в ту пору юной девушкой. Ее портрет, созданный писателем, весьма примечателен. Франс видел в ней «загадочное, гордое и немного дикое» дитя. Вот что он пишет:

В пять лет Симона со знанием дела бралась за сочинение романов, заполняла ими школьные тетрадки. Это удивительно само по себе, но еще удивительней то, что она их заканчивала... Не всякий, кто хочет, хочет по-настоящему. Симона умела хотеть. Природа наделила ее несгибаемой волей; это было видно по красиво выписанному маленькому строгому рту и упрямому подбородку, это сквозило в горделивой посадке головы и решительной походке... Она была обречена следовать за своим внутренним демоном, забывая о куклах.

То же волевое начало находил Франс и в стихах молодой женщины:

---

[1] Роман английской писательницы Джордж Элиот (Мэри Анн Эванс, 1819—1880).

Врожденное упрямство, жажда преодоления препятствий бессознательно влекут ее к мудреному искусству стихосложения. Ей нравится неподатливая материя. Эта девушка — труженица в самом благородном смысле слова. Пусть смело и с достоинством примет этот титул. Минерва-труженица — ведь именно так древние афиняне называли свою богиню.

Пруст показал, как вкусы человека определяют его сердечные привязанности. Сван, страстно любивший живопись, воспылал любовью к Одетте в тот момент, когда нашел в ней сходство с Сепфорой, дочерью Иофора, запечатленной Боттичелли. О Симоне де Кайаве я не знал почти ничего: ни как она жила, ни каковы были ее вкусы и нрав, — но молодая женщина, которую в детстве водил по парижским музеям Анатоль Франс и в которую несколькими годами позже влюбился Марсель Пруст, была для меня окружена волшебным ореолом, окутана покровом благородной прозы и дивных легенд. Впервые за целый год я испытал к женщине интерес, влечение и что-то похожее на надежду. Я пригласил ее дочку, ровесницу моих сыновей, к нам поиграть, после чего откланялся.

Франсуазу привели. Это было хрупкое дитя, беспокойное, легкоранимое, чересчур умное для своих лет. Мать сама зашла забрать ее. Атмосфера моего дома, где в каждой комнате перед траурным портретом склоняли свои белые венчики цветы, должно быть, показалась ей тяжкой. (Арнольд Беннетт[1], посетивший меня приблизительно в ту же пору, записал потом в дневнике, что в моем доме на всем лежал гнетуще-таинственный отпечаток.) Мы опять говорили о поэтах и композиторах. На следующий день я послал ей в подарок «Этрусскую вазу» Мериме и «Интермеццо» Гейне. Она была удивлена, так как ожидала получить цветы. Но я оставался все тем же восемнадцатилетним упрямцем, который развлекал девушек комментариями к «Tractatus politicus». <...>

Валькирия

<...>

Я работал одновременно над двумя книгами. Одной из них был роман о жизни промышленника, «Бернар Кене», где я развернул сюжет моей старой новеллы, озаглавленной «Подъем и спад». Подобно Веронезе, дважды изображавшему себя на некоторых своих полотнах, я в романе раздвоился: я был и Бернаром, и Антуаном Кене. Бернар — это тот, кем бы я стал, если бы пошел по пути, намеченному в «Диалогах об управлении», Антуан — кем мог бы быть, останься в живых Жанина. «Бернар Кене» не был в полном смысле слова «романом», это была искренняя и, смею надеяться, правдоподобная картина мало кому знакомого мира. Другой книгой, гораздо более важной для меня, была «Жизнь Дизраэли».

Почему именно Дизраэли? Во-первых, меня вдохновило высказывание Барреса[2]: «Три наиболее интересные фигуры XIX века — это Байрон, Дизраэли и Россетти». Так у меня возникло желание получше узнать жизнь и произведения Дизраэли. Это был герой в моем духе. «Я радикал и сторонник коренных перемен, когда надо с корнем вырвать зло, — говорил он. — Я консерватор, если надо сохранить добро». И еще: «Сохранять — значит поддерживать и переделывать».

Мой собственный опыт привел меня к тем же политическим и философским заключениям. Чем больше я изучал историю и людей, тем больше убеждался, что цивилизация, выражаясь словами Валери, это «нагромождение химер». Общепринятые условности лежат в основе порядка, под защитой этих условностей процветает свобода. Английские условные нормы казались очень странными, но именно потому, что они соблюдались всеми, страна избежала потрясений и революций и стала одной из самых свободных в мире.

Еще со времен войны я всецело разделял преклонение Дизраэли перед английской традицией. Многие его изречения нравились мне лаконичностью формы и глубиной

---

[1] Арнольд Беннетт (1867—1931) — английский писатель, автор романов на религиозные темы, драматург, критик.

[2] Морис Баррес (1862—1923) — французский писатель, идеолог националистического движения, противник Анатоля Франса в деле Дрейфуса.

содержания: «Life is too short to be little»; «Never explain, never complain»; «Or perfect solitude, or perfect sympathy»[1]. Такие высказывания мгновенно находили во мне отклик. А его неизменная любовь к жене была олицетворением того, чего бы я желал для себя и в чем мне было отказано. Влияние Дизраэли в обществе было для меня, далекого от власти и не стремящегося к ней, как бы восполнением того, чем сам я не обладал. Никогда еще работа над книгой не приносила мне большей радости.

Выдающиеся добродетели Дизраэли постоянно напоминали мне, что для преодоления вековых предрассудков еврей обязан быть настолько безукоризнен, насколько позволяет человеческое естество; его честность и надежность должны быть живым опровержением злопыхательских вымыслов. Сказочная храбрость Дизраэли сломила сопротивление недругов, и он добился всеобщей любви и признания.

Известно, что Дизраэли был крещен в детстве по настоянию отца, и это избавило его впоследствии от необходимости самостоятельно принимать решение, оправдать которое могли бы лишь искренние религиозные убеждения. Со своей стороны, как я уже говорил, я восхищался христианством и воспринимал Новый Завет как замечательное продолжение Ветхого. При этом я не считал своим долгом непременно обращаться в христианство. Моим родителям, я знал, это причинило бы боль. Они не были набожными, не соблюдали религиозных обрядов, но чтили семейную традицию. После дела Дрейфуса мой отец пришел к убеждению, что раз быть евреем небезопасно, то смена вероисповедания — проявление трусости. Я придерживался той же точки зрения и, несмотря на упорное давление любящих меня людей, не делал решительного шага.

Лучшие мои друзья, Шарль Дю Бос, Морис Бэринг[2], были ревностными католиками. «Вы истинный христианин, — убеждали они меня, — «anima naturalites christiana»[3]... Почему вы не хотите смириться и признать это?»

В действительности мне была неведома благодать, внезапное озарение, которое описывает Клодель и которое познал Дю Бос. Положение мое было мучительно. Женившись на богомольной католичке, я постепенно привык сопровождать ее в церковь. Я любил церковные обряды, духовную музыку, прекрасную латынь молитвенных текстов. Но я оставался в позиции хоть и восхищенного, но стороннего наблюдателя богослужения, которое так благотворно действовало на меня, — и это двусмысленное положение казалось единственно достойным.

Так что писать о Дизраэли было для меня подлинным наслаждением. В июле я прервал работу, с тем чтобы съездить на несколько дней в Перигор, родовое гнездо мадам де Кайаве по материнской линии, то есть по линии Пуке (сами Кайаве происходили из Бордо). Клану Пуке принадлежал небольшой замок Эссандьерас, между Перигё и Лиможем, старый, со средневековыми башенками. Он был куплен в 1794 году Антуаном Шери Пуке, нотариусом из Ангуэса. Рядом, на том же холме, стоял новый дом, некрасивый, но более удобный, выстроенный дедом Симоны, биржевым маклером, и убранный с роскошью и дурным вкусом эпохи Луи Филиппа. Гобелены, мягкая мебель, тяжелые портьеры и безделушки переносили вас в те далекие времена.

Мне было чрезвычайно забавно находить в Эссандьерасе общие черты с нашим семейным Эльбёфом. Как рабочие когда-то — моему отцу, прислуга и работники Пуке подарили деду Симоны аллегорическую бронзовую скульптуру из мастерской Барбедьена «Труд», украшенную надписью: «На возделанной ниве плодоносна победа...» Так же как в Эльбёфе, здесь стояли на столах фотографии, но совсем особенные. На них можно было видеть Анатоля Франса, рассматривающего цоколь античной колонны или созерцающего пирамиды, юного Пруста с черными бархатными глазами, Викторьена Сарду[4] в берете, многочисленных Роберов де Флеров и Гастонов де Кайаве, исполненных взаимной дружбы и сияющих улыбками. Были и актрисы: Жанна Гранье, Лантельм, Мари Леконт, Ева Лавальер.

---

[1] «Жизнь слишком коротка, чтобы быть ничтожной»; «Не оправдывайся и не жалуйся»; «Или полное одиночество, или полное взаимопонимание» (*англ.*).

[2] Морис Бэринг (1874—1945) — английский дипломат, журналист, писатель, переводчик (в том числе и с русского).

[3] Исконно христианская душа (*лат.*).

[4] Викторьен Сарду (1831—1908) — французский драматург, автор более чем 50 пьес — от водевилей до исторических драм.

Из окон замка открывался веселый, живописный вид на долину реки Иль; по ней были разбросаны фермы со звучными названиями: «Бруйяк», «Гишарди», «Ла-Сериз». От дороги к замку сходились две аллеи — дубовая и каштановая. У подножия холмов, въедаясь в эссандьерасские луга, текла бурная речка Лу (или Лув, «волчица»).

Кроме мадам де Кайаве и мадам Пуке, в замке я нашел мужа последней, инженера горнодобывающей промышленности, умом и эрудицией которого нельзя было не восхищаться; еще там была бабушка Симоны, женщина замечательная, но взбалмошная; была мисс Варлей — англичанка до мозга костей, убежденная викторианка. По правде говоря, за эти десять дней я толком никого не видел, кроме Симоны де Кайаве, так как она затеяла показывать мне Перигор и мы с утра до вечера разъезжали по окрестностям. Кончилось это тем, что я влюбился в перигорские края, а заодно и в моего экскурсовода. Она была горячо привязана к этим местам, в рассказах проявляла глубокое и живое знание местной истории и культуры, чем окончательно растрогала меня. В каждой деревне, куда мы заезжали, был замок, у каждого замка — своя легенда. Моя спутница поведала мне историю Пряхи из Жюмийяка и историю Дамы из Монталя, рассказала о замке Бирона и о замке Отфор[1]. Мы совершили литературное паломничество по следам Монтеня, Брантома[2] и Фенелона[3]; потом съездили в Монтиньяк, где некогда жили Жубер[4] и Эжен Ле Руа[5]. О них и об их творчестве Симона знала решительно все. Я был поражен основательностью ее ума.

Мы спускались в ущелье Падирак, карабкались по крутым тропинкам к крепости Домм, откуда открывался дивный вид на долину Дордони, извивающейся меж величественно-прекрасных замков и растрепанных тополей. Наблюдая за моей новой подругой, я обнаружил, что она замкнута, скрытна, почти сурова. Несмотря на несколько лет замужества, она сохранила в своем характере много девического. Симона была воспитана в религиозном духе, в отвращении к греху и страхе перед низменной любовью. «Умеющая страдать и боящаяся радости больше, чем боли», — писал о ней Анатоль Франс.

Позже она призналась мне, что, зачарованная романом своей бабушки и Анатоля Франса, с ранних лет мечтала посвятить себя целиком творчеству какого-нибудь писателя. Она собиралась «уйти в литературу, как уходят в религию».

Однажды вечером у нас сломалась машина, и шофер вынужден был отлучиться на целый час, чтобы починить ее. Мы остались в лесу одни. Ночь стояла ласковая и теплая. Лунный свет, пробиваясь сквозь листву, освещал аллею, по которой мы шли, под ногами мягко шуршал ковер опавшей хвои, мха и сухих листьев. Бесхитростная красота уснувшей природы сломила отчуждение меж нами. Я осмелился признаться Симоне, что люблю ее. Но я не знал, как примирить это молодое, горячее и новое чувство с траурными тенями прошлого, во власти которых я все еще пребывал.

Зимой в Париже мы виделись почти каждый день. Ходили вместе в театры, на концерты. Страстная почитательница Вагнера, Симона задалась целью открыть мне его. И прекрасно справилась с этой задачей, тем более что, со своей стороны, я не менее страстно желал понять ее самое; вагнеровские грезы раскрывали мне ее внутренний мир, в большей степени мир Брунгильды, нежели Изольды. Она верила в сверхъестественную мощь Парсифаля, порожденную его целомудрием, она испытывала отвращение к распутным девицам — физическое отвращение, граничащее с ненавистью. «Горе тем, через кого приходит соблазн»[6], — говорила она, когда я упрекал ее в чрезмерной суровости к другим женщинам.

Музыка сближала нас. Симона находила в Вагнере отражение и, возможно, даже разрешение своих проблем. Я же, продолжая отдавать предпочтение Бетховену, получал от Вагнера ценные для писателя уроки. Идея, озаряющая и делающая понятным могу-

---

[1] Жюмийяк, Монталь, Бирон, Отфор — перигорские замки.

[2] Брантом (Пьер де Бурдей) (1538—1614) — французский писатель, мемуарист, жил в изгнании в своем замке Брантом в Перигоре.

[3] Франсуа де Салиньяк де ла Мот-Фенелон (1651—1715) — французский писатель, архиепископ, автор дидактических трактатов; был наставником детей королевской семьи при Людовике XIV.

[4] Жозеф Жубер (1754—1824) — французский мыслитель-моралист.

[5] Эжен Ле Руа (1836—1907) — французский писатель, родился в Перигоре в замке Отфор; первые его книги посвящены Перигору.

[6] Евангелие от Матфея, 18, 7: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит».

чий каскад звуков, должна озарять и упорядочивать запутанный клубок фактов истории или биографии. В «Траурном марше» из «Зигфрида», в финале «Гибели богов» я видел неподражаемый образец того, каким должен быть финал великой книги. Я пытался объяснить это моей очаровательной спутнице и помочь ей понять через музыку, чем является для меня искусство.

Еще одно обстоятельство связало нас очень близко: работа. Она призналась как-то, что в Эссандьерасе отец заставил ее учиться машинописи и теперь она не видит для себя интереснее занятия, чем перепечатывать мои рукописи. Я воспринял ее предложение как шутку. Но Симона упорно возвращалась к этой теме. Наконец я дал ей на пробу начало рукописи «Бернара Кене». Каково же было мое удивление, когда вскоре она принесла мне безукоризненно перепечатанный текст, причем ей потребовалось для этого так мало времени, что стало ясно: она просидела за работой всю ночь. Строго выровненные строчки напомнили мне удивительный китайский сад ее почерка. Я стал давать ей другие рукописи. Однажды в шутку я сказал, что, если бы она владела еще и стенографией, я не мечтал бы о лучшей секретарше. Тогда, ни слова никому не говоря, она стала брать уроки стенографии и через несколько месяцев уже попросила меня диктовать ей письма. Благодаря настойчивости и неустанному труду она в рекордно короткий срок превратилась в лучшую стенографистку, с которой мне когда-либо доводилось работать. Верно сказал о ней Анатоль Франс: «Минерва-труженица», исполняющая свою работу с педантичной, кропотливой тщательностью.

Мы так счастливы были вдвоем, что пропускали мимо ушей жалобы родственников и друзей, для которых у нас не оставалось свободного времени. Окружающие лучше, чем мы сами, понимали, что дело идет к свадьбе. <...>

Свадьбу мы отпраздновали просто, уютно, по-семейному. В скромной деревенской ратуше Пьер Пуке, дядя моей жены и мэр коммуны, задал нам обычные в такой ситуации вопросы. Робер де Флер произнес блестящую речь в своем духе, остроумную и сентиментальную. Он красноречиво описал чистую, суровую и благородную жизнь моих родителей, о которой знал со слов Симоны, потом рассказал о самой Симоне и ее готовности взять на свои плечи нелегкую долю жены писателя; он сообщил мне, что надеется когда-нибудь принять меня во Французскую академию, и, обратившись ко мне «дорогой мой Андре», затем в течение часа называть меня «месье».

В крохотной церквушке аббат Мюнье сочетал нас браком и сказал много хороших и высоких слов о любви, верности и связи искусства с верой. Затем состоялся праздничный обед, во время которого мы наслаждались обществом Габриеля Аното, политического деятеля в отставке, историка по роду занятий, все еще бодрого телом и духом. Обед, по перигорскому обычаю, был обильным и очень вкусным. Омлет с трюфелями, гусиный паштет и пирог со сливами вперемежку с шутками и каламбурами Габриеля Аното сделали нашу трапезу поистине французской. Аббат Мюнье сыпал цитатами из Шатобриана, Жубера и даже Гёте и Шекспира. Симона была очаровательна, разговорчива и блистала умом; я был горд за нее.

В дневнике Мэри Шелли между замечаниями по поводу прочитанных книг проскальзывает фраза: «Состоялась свадьба...». Эта сухая сдержанность понравилась мне; у меня родилось странное желание вплести мою вторую женитьбу в повседневную жизнь, ничего в ней не меняя. Симона, как и всякая молодая женщина, мечтала о свадебном путешествии, о нескольких неделях вдвоем в классической Италии или исполненном неги Марокко. Она, разумеется, была права, ибо первое соприкосновение двух разных судеб нуждается в оторванности от привычных мест, связывающих нас с прошлым. Но в результате какого-то непонятного ослепления я решил, что на следующий день после свадьбы мы должны отправиться на курорт Андай, где в это время отдыхали мои дети и их бонна. Мне нечего сказать в свое оправдание, я могу лишь объяснить мотивы моего поступка. Вероятно, в какой-то момент я начал находить горькое и мрачное удовлетворение в положении безутешного вдовца, каким я был в глазах друзей и в собственных своих глазах; я впал в сентиментальный фетишизм, в котором не было ни мудрости, ни благородства. Возможно, это были отголоски древнего, как само человечество, культа мертвых, внутренняя необходимость умиротворить их маны. А мои белые цветы, священные портреты и поминальные ритуалы являлись лишь завуалированной формой жертвоприношения.

Эта сентиментальность была поначалу естественным выражением безграничной печали, потом в ней появилось что-то нездоровое и, как писал Беннетт, гнетуще-таинственное. Живые должны жить среди живых и для живых; если чтить умерших — похвально и благочестиво, то приносить им человеческие жертвы — жестоко. Одолеваемый беспокойством, раздираемый воспоминаниями, мучимый невозможностью хранить верность прошлому, я постарался из второй женитьбы сделать ничего не значащий пустяк; по-видимому, я смутно и наивно надеялся, что эта новость, сжатая до двух слов, не достигнет печального царства. По тем же причинам, вернее, из-за того же суеверного страха и вопреки просьбам моей новой жены я долгое время отказывался говорить ей «ты», прячась за самые нелепые объяснения; я привез ее в Нёйи, в квартиру, дышащую воспоминаниями о другой женщине, и когда она попыталась отнестись к моим детям как к своим собственным, я препятствовал их сближению, используя такие придирки и оговорки, на которые не способно ни одно здравомыслящее существо. Мой нелепый запрет называть Симону «мамой» надолго поселил между ею и детьми чувство неловкости, воздвиг прозрачную, но непреодолимую словесную стену. Увы, я не был здравомыслящим существом.

Чары мертвых сильны и опасны. Мертвые неподвластны случайностям, искушениям и ошибкам, ибо «раз и навсегда их изменила вечность». В течение двух лет, никем не останавливаемый, я создавал неземной образ, любовно оттачивал воспоминания, сочинял траурные гимны. Я совершил непростительную ошибку, пожелав приобщить к этому культу женщину, которой отдал свою любовь. Она уступила мне, но очень страдала. Прислуга и бонна противились ее приказам, ссылаясь на волю «мадам»; «мадам» стала неуловимым, зачарованным призраком. Перемена власти вызвала всеобщее недовольство: кухарка, шофер, его жена, которую дети звали «Mammy Georges», упрямо отстаивали свои права, принадлежавшие им якобы с незапамятных времен. Лишь много позже Симона призналась мне, что, несмотря на узы глубокой любви, связывавшие нас, в первый год нашей совместной жизни она была до отчаяния несчастна. Я ни о чем не догадывался. Мы слепы, когда речь идет о чувствах других.

Налаживание отношений с друзьями для новой супружеской четы тоже дело нелегкое. Мои друзья из Понтиньи с угрожающим упорством продолжали настраивать меня против светских знакомств и их гипнотического воздействия. Правы ли они были? Свет в лучших своих проявлениях многому научил меня, а в тяжелые времена даже успокаивал своей неизменностью и надежностью. Мои связи никак не отразились ни на моих политических взглядах, которые остались теми же, какими сформировал их Ален, ни на круге чтения, ни на жизненном опыте. Для писателя единственная опасность светской жизни заключается в том, что она отнимает у него много драгоценного времени, которое следовало бы посвятить чтению или размышлениям. В свете романист находит своих персонажей, но теряет время, а нередко и право описывать героев правдиво. Возможно, лучший выход из положения нашел Пруст: изучить светское общество, а затем отстраниться от него — заболеть или уйти в затвор. В жизни человека творческого трудно вычислить необходимую меру одиночества. <...>

«Превратности любви»

<...>

Мой издатель Бернар Грассе предупредил меня: «В ваше отсутствие против вас сложился настоящий заговор. Группа литераторов из «Меркюр де Франс» — Луи Дюмюр, Валетт и Леото — решили извести вас. В чем дело? Они считают, что вы слишком быстро достигли успеха. «Брембл», «Ариэль», «Дизраэли»... огромные тиражи и благосклонность критики не дают им покоя. Они хотят доказать, что ваши книги списаны с английских источников. Все это нелепо, но злоба и зависть не рассуждают».

Грассе оказался прав. Враги искали какого-нибудь известного специалиста по английской культуре, который бы согласился предъявить мне обвинения. Разумеется, найти такого было непросто. Все, от Легуи до Косцуля, были на моей стороне. Тогда роль обвинителя предложили Анри Давре[1]. Он посоветовался с Уэллсом, которого переводил. Уэллс

[1] Анри Давре (1873—?) — переводчик с английского, сотрудник «Меркюр де Франс».

ответил: «Не связывайтесь. Это глупые обвинения». И Давре отказался. Леото написал Арнольду Беннетту, которого хорошо знал, и получил категорический отказ. Так и не найдя компетентного критика, согласного взяться за это гнусное предприятие, и вконец отчаявшись, заговорщики остановили свой выбор на молодом литераторе, писавшем иногда для «Меркюр» и воспылавшем ко мне столь же яростной, сколь необъяснимой ненавистью.

Атака заговорщиков была неистовой и совершенно безрезультатной. Бедняга литератор сопоставлял тексты самым нелепым образом. Всякий раз, как он находил в английских источниках и в моих книгах невинные совпадения типа «у маленькой Айанте, дочери Шелли, были голубые глаза», он громко трубил победу. Чего же он хотел? Чтобы из соображений оригинальности я заявил, будто глаза у нее были карими? С «Дизраэли» вышло еще глупей. Мой оппонент обвинял меня в копировании книги Монипенни и Баккла[1]! Меж тем как Баккл был в ту пору еще жив и не только на меня не жаловался, но даже поздравил с выходом в свет моей книги. В действительности не существовало никакой литературной связи между его замечательной, объективной биографией Дизраэли, состоящей из нескольких толстенных томов, и портретом, написанным мной, сугубо субъективным и импрессионистским.

Все эти детские нападки были тем не менее опубликованы в журнале, считавшемся серьезным. Я не мог оставить публикацию без внимания. Сознание собственной невиновности придало мне сил, и я отправился к Валетту, директору «Меркюр», которого Грассе считал человеком порядочным. Я сказал, что удивлен тем легкомыслием, с которым он решился напечатать бездоказательную и клеветническую статью, противоречащую мнению лучших английских писателей. «Ваши обвинения беспочвенны, — сказал я ему. — Если бы вы показали мне гранки, что было бы учтивым и благородным шагом, я бы убедил вас в ничтожности предъявляемых мне претензий». Впоследствии мои слова были до неузнаваемости искажены одним из присутствовавших при разговоре.

Валетт проявил совершенное непонимание, которое меня изумило, и ответил, что подобные «кампании» в традиции его журнала и что, если я считаю необходимым написать опровержение, он будет счастлив его опубликовать. Более опытные литераторы, мои друзья, уговаривали меня не делать этого. «Вы сыграете им на руку, — убеждали они меня. — Чего они хотят? Поднять шумиху, привлечь к себе внимание. Не помогайте им».

Я вспомнил девиз Дизраэли: «Never explain, never complain». Но я был настолько уверен в своей правоте, что не мог молчать и написал длинный ответ. Самые видные английские критики, в том числе Эдмунд Госс, разобравшись, в чем дело, прислали мне заверения, что они всецело на моей стороне. Заговорщики нашли себе лишь одного сообщника среди англичан, да и то совершенно некомпетентного — Фрэнка Хэрриса. Кампания провалилась. Позже, во время оккупации, ее подхватят пронемецки ориентированные газеты. А Леото и Валетт пожалеют о том, что они ее затеяли. Когда вышли мои «Превратности любви», Леото сказал: «Хороший роман он написал. Зря мы на него нападали».

В сущности, это был неплохой человек, только очень несчастный. Мое кажущееся счастье задевало его. «Превратности любви» открыли ему, что я тоже страдаю, и он смягчился ко мне. Я, со своей стороны, простил его. После этой бальзаковской истории и моих «утраченных иллюзий» у меня осталось странное ощущение, что я уже давно являюсь предметом недремлющей и неослабевающей ненависти каких-то неведомых мне людей.

До описанных событий я плохо себе представлял, что такое ненависть, ибо никогда не питал ни к кому этого чувства. Я никогда не завидовал собратьям по перу, но моей заслуги здесь не было, так как литературный мир, в который я попал, оказался доброжелательным и справедливым. Когда Робер де Флер сказал мне: «Я собираюсь присудить вам Гран-при Французской академии за лучший роман», я посоветовал ему отдать премию другому писателю, более, на мой взгляд, достойному. И тот ее получил. Однако завоевать друзей любовью и справедливостью труднее, нежели нажить врагов небрежением и неосторожностью. Возможно, я когда-то, сам того не ведая, обидел кого-нибудь из коллег, не назвав их моими учителями, забыв поблагодарить за статью или присланную

---

[1] *W.F. Monypenny, G.E. Buckle.* The Life of B. Disraeli. London, 1929.

книгу. Поглощенный работой, я не заботился о том, что обо мне думают. Усердие и увлеченность творчеством не мешали мне радоваться успехам моих любимых писателей и вместе с тем строго судить собственные произведения, которые всегда получались хуже замысла. Поэтому я несказанно удивился тому, как изобразил меня зоил.

По правде говоря, я совершенно упустил из виду, что, с тех пор как стал приобретать известность, за моей спиной начал расти некий «персонаж», созданный и вскормленный завистниками и недоброжелателями. Что же это был за «персонаж»? Писатель, вышедший из деловых кругов и озабоченный исключительно тиражами (на самом деле, работая над «Жизнью Шелли», я, как и мой издатель, был уверен, что книга, написанная для себя, мало кого заинтересует). А может, богач, окруженный сонмом секретарей, выискивающих для него материалы (тогда как единственной моей секретаршей была жена, а сам я не знал большего наслаждения, чем рыться в источниках). Или очень занятой господин, диктующий свои книги стенографисткам (в действительности я писал их собственноручно от начала до конца и переделывал по пять-шесть раз). Если бы я встретил где-нибудь такого «персонажа», то первым бы его возненавидел. Живой человек, напротив, был страстно влюблен в свою замечательную профессию, всей душой желал творить добро, быть справедливым и «приятным», как сказал бы Пруст. Так что, если бы мой зоил знал живого человека, он, вероятно, нашел бы его вполне безобидным и достойным уважения. Но зоил видел только «персонаж» и потому оставался зоилом.

Если разобраться, враги приносят немалую пользу. Их недружелюбные выпады вызывают дружеские по отношению к нам чувства со стороны других людей. Писатели, которые до сего момента, казалось, не питали ко мне симпатии, вдруг разом стали на мою сторону из-за того, что я подвергался столь недостойным нападкам. Одаренные молодые люди более радикальных воззрений, чем я сам, энергично выражали мне свое расположение. «Выходит, — писал социалист Жан Прево, — что ни самое корректное поведение, ни самая взыскательная профессиональная совесть не могут оградить писателя от клеветы». Такое заступничество обрадовало меня больше, нежели огорчили наговоры. И когда после этого вышла моя следующая книга, «Превратности любви», единодушная благожелательность и теплота, с какими она была принята, окончательно примирили меня с жизнью.

У этого романа странная история, ибо родился он как бы помимо моей воли. «Ревю де Пари» заказал мне новеллу на четыре-пять тысяч слов, и я задумал описать событие, свидетелем которого мне довелось стать. С одним из моих приятелей в Марокко случился сердечный приступ, и он упал в обморок, врач же без обиняков заявил, что жить ему осталось несколько часов. Придя в себя, обреченный собрал своих близких и сказал, что хочет остаться в их памяти таким, каким был на самом деле, после чего приступил к длинной публичной исповеди, как в русских романах. Волнение. Слезы. Прощание. И наконец, ожидание скорой смерти. Но смерть так и не наступила, а несчастный остался жить в окружении друзей, знавших о нем всю подноготную и не верящих больше в легенду, которую он создавал о себе всю жизнь. Я назвал эту историю «Марокканская ночь, или Смерть и воскресение Филиппа». Исповедь героя касалась его отношений с тремя женщинами и была, в сущности, описанием страданий, которые он причинял им своими слабостями.

Когда Симона перепечатала рассказ и я его прочел, оказалось, что из трех женщин две вышли живыми и правдоподобными (первая и третья), а вторая, актриса Женни Сорбье, была совершенно нереальна. Не удался и марокканский антураж. Убрав его и Женни, я получил костяк нового романа. Начал писать его почти бессознательно, и он на редкость легко «пошел». Может быть, потому, что чем-то напоминал мою собственную жизнь. Вымысел, правда, был весьма далек от реальности, и те, кто прочтет подряд «Превратности любви» и мои мемуары, увидят, насколько они различны. Люди, не посвященные в алхимию вызревания романа, будут искать прямые соответствия между жизнью и литературным произведением. Но их не существует. Я лишь напитал моих вымышленных персонажей подлинными человеческими страстями, отсюда и их правдоподобие.

В первой редакции романа Филипп Марсена, похоронив Одиль, решается на фиктивный брак, чтобы оградить себя от романтических увлечений. Он берет в жены собственную кузину, Рене Марсена, немолодую и некрасивую девицу сурового нрава. Когда я перечитал написанное, то обнаружил некоторые несоответствия. Мой Филипп, ка-

ким он выведен в первой части, видел в Одили Сильфиду своих грез и не мог решиться на брак по расчету, который я ему навязал. Чтобы женить Филиппа вторично, надо было уверить его в том, что он вновь обрел исчезнувшую Сильфиду, и придумать ему женщину «в его духе», такую, чтобы он искренне поверил в перевоплощение Одили. Изабелла родилась из невозможности женить Филиппа на Рене. В сущности, Изабелла — это Филипп в юбке, точно так же как у Стендаля Ламиель — это Жюльен Сорель в женском варианте. Изабелла становится для Филиппа не столько второй Одилью, сколько олицетворением его собственной юности.

Закончив новый вариант романа, я понял, что первая часть вышла волнующей, а вторая — неприятной. В чем же дело? Да в том, что в первой части герой не устает повторять: «Я любил, но не был любим», во второй части он причитает: «Я любим больше, чем люблю сам», и в этом сквозит гнусное самодовольство. Я решил «вывернуть» вторую часть, превратив ее в исповедь Изабеллы. Вот так, вынужденно, а вовсе не по изначально продуманному плану роман принял форму диптиха, которую одни сочли оригинальной, а другие ругали за искусственную симметрию. Из всех моих книг «Превратности любви» снискала наибольшее число читателей, правда, не в англосаксонских странах, хотя Вирджиния Вулф написала о ней необыкновенно умную и проницательную статью; книгу читали во Франции, Германии, Италии, Испании, Польше и Латинской Америке, а теперь еще и в СССР. Стоит ли книга того? Отражает ли она истинное лицо любви? «Да будет судьей любящий, а я воздержусь от решения».

«Превратности...» я закончил в Шалдорф-парке, в Суррее, куда мы уехали на лето. Весной того же 1928 года я читал в Кембридже ежегодный курс лекций по литературе. В 1927 году этот курс читал Эдуард Морган Форстер[1]; Десмонд Маккарти[2] должен был читать его в 1929-м. Форстер взял себе темой «Взгляд на роман», я выбрал «Взгляд на биографию» и постарался раскрыть своим слушателям некоторые премудрости ремесла биографа. Курс длился шесть недель; на этот период лектора селили в Харкуртских палатах Тринити-колледжа — величественных апартаментах, свидетелях многих исторических событий; трапезы мои проходили за Высоким столом, я сидел бок о бок с главой колледжа, видным физиком сэром Джозефом Томпсоном. «Почему Англия дает миру столько знаменитых ученых?» — спросил я его однажды. «Потому что мы не преподаем науки в школах, — объяснил он. — Свежие головы, интересующиеся физикой, приходят сразу в лабораторию, не успевая погрязнуть в рутине теорий».

Я всей душой полюбил Кембридж, его старые колледжи из серого камня, вытянувшиеся вдоль реки, нежно-зеленые береговые склоны, ивы, нависшие над водами Кема, старинные мостики, под которыми снуют плоскодонки с молодежью, залу, насчитывающую не одно столетие, в которой я читал свои лекции, преследуемый веселым и беспощадным взглядом Генриха VIII, увековеченного Хольбейном. Кроме сэра Джозефа, на моих лекциях присутствовали еще два знаменитых профессора: поэт Хаусмен[3] и историк Тревельян[4]. Когда я принялся рассказывать о Литтоне Стрейчи[5], Тревельян заметил: «В истории английской биографии XX века важнейшим событием является не портрет королевы Виктории, написанный Стрейчи, а победа королевы Виктории над Стрейчи».

В Тринити-колледже учился когда-то Байрон. Я частенько ходил к тому месту у излучины реки, где он любил нырять в глубокую заводь и, достигнув дна, цепляться за сгнивший остов дерева. В то время я делал записи, собирая материал для будущей книги. В «Ариэле» я набросал его портрет, но остался им недоволен. Мне казалось, что я был к Байрону несправедлив и что в его внешнем цинизме больше благородства, чем в чувственном идеализме Шелли. Его письма, которые я старательно изучал, восхищали меня резким и откровенным противопоставлением голых фактов, что напоминало манеру иных живописцев играть на контрастах чистых цветов. Тем же летом я сделал вылазку в школу Харроу и нашел имя Байрона, вырезанное им когда-то на дубовой обшивке стен,

---

[1] Эдуард Морган Форстер (1879—1970) — английский писатель и литературный критик.
[2] Десмонд Маккарти (Чарльз Отто, 1877—1952) — английский журналист, театральный критик, издатель.
[3] Альфред Эдуард Хаусмен (1859—1936) — английский поэт, филолог-классик.
[4] Джордж Маколей Тревельян (1876—1962) — крупный английский историк.
[5] Джайлс Литтон Стрейчи (1880—1932) — английский писатель, автор литературных портретов и биографий, в частности биографии королевы Виктории.

посетил могилу Пичи, куда приходил думать хромой поэт, видел розовый куст на могиле его дочери Аллегры. Кроме того, на самом севере Англии я посетил аббатство Ньюстед, родовое имение Байронов. Монастырская церковь была разрушена, но жилые здания все еще поражали величием и благородством; при виде этих готических арок, монастырских стен, леса и озера я вдруг понял, что испытал маленький мальчик, когда после невзрачного Абердина вдруг сделался полновластным хозяином этих дивных владений. Мне более чем когда-либо стало ясно, сколь важно для биографа посетить места, где жили его герои. Ньюстед дал мне ключ к пониманию детства Байрона: то, что его враги называли позже снобизмом, было всего лишь изумлением маленького Байрона, привыкшего к Абердину, перед лордом Байроном, хозяином Ньюстеда.

Неподалеку от Ньюстеда, в Эннесли-холле, все еще жили потомки Мэри Чаурт, первой любви поэта. Я попросил их показать мне лестницу, где Байрон услышал слова юной особы: «Как мне может понравиться хромой мальчик?» И дверь, которую он изрешетил пулями, стреляя из пистолета. Обитатели Эннесли мистер и миссис Мастерз мало что знали о той, чей род продолжали. Совершенно иной оказалась леди Ловлейс, вдова внука Байрона, ревностно и благоговейно хранившая семейные архивы. Я знал, что в ее руках находится множество ценных бумаг, в том числе дневник леди Байрон, разрешавший спорную проблему инцеста. Невозможно было правдиво описать жизнь Байрона, не изучив эти единственно достоверные источники. К счастью, у нас оказалась общая знакомая — леди Джордж Хамильтон, и я, получив разрешение прочесть документы, отправился на несколько дней в Окхэм-парк, замок леди Ловлейс. Там ночи напролет при свете двух свечей я увлеченно расшифровывал невероятные свидетельства — записки этой рьяной пуританки. Повествование ее было столь живо, что я так и видел Байрона, шагающего своей прыгающей походкой меж серых каменных стен, и слышал его голос.

Вернувшись в Лондон, я пришел с визитом к престарелому лорду Эрнлю, который (под своим первым именем — Протеро) опубликовал когда-то письма Байрона. «Я в затруднительном положении, — сказал я ему. — Вы всегда утверждали, что между Байроном и Августой не было инцеста... Я могу доказать обратное, и в то же время мне неловко вам противоречить... Как быть?» Он весело рассмеялся: «Как быть? Да очень просто. Если был инцест, так и скажите. Мне же почти восемьдесят, в моем возрасте негоже менять убеждения».

Чтобы завершить байроновские исследования, мне пришлось повторить маршрут Чайльд Гарольда. Воспользовавшись этим заманчивым предлогом, в 1928—1930 годах я много путешествовал по Европе. Меня сопровождала жена. От нежных австриячек мы попадали к прекрасным гречанкам; болота и сосны Равенны сменялись венецианскими дворцами; Акрополь — лагунами Миссолунги[1]. Путешествуя по гостеприимной, многоликой Европе, могли ли мы предположить, что через десять лет она будет лежать у ног завоевателя во власти нищеты и раздора.

Когда мы вернулись из путешествия, Гарольд Никольсон, автор замечательной книги «Байрон в последние годы жизни», дал мне прочесть записки Томаса Мура о Байроне с комментариями его лучшего друга Хобхауса; а леди Ловлейс предоставила мне многочисленные письма, среди которых были письма Байрона-отца, стилем напоминавшие Байрона-сына и чрезвычайно интересные с точки зрения деталей жизни родителей поэта. Редко биограф имеет в своем распоряжении столько неизданных документов. Возможно, с художественной точки зрения моя книга от этого пострадала. Она получилась чересчур длинной, что, безусловно, плохо, но мне не хотелось жертвовать бесценными материалами. Все же Байрон, кажется, вышел похожим на себя.

Некоторые критики принялись упрекать меня в том, что я написал не повесть о жизни Байрона, как, скажем, о жизни Дизраэли, а университетскую диссертацию. Я, признаться, сам давно не перечитывал книгу и уже не знаю, чего она стоит. Во всяком случае, она принесла мне ощутимую пользу, освободив от ярлыка автора «романизированных биографий». Хорош или плох мой «Байрон», но он, несомненно, свидетельствует об огромной подготовительной работе. «Не стоит забывать, — писал английский критик Десмонд Маккарти, — что это самая серьезная и полная книга, которая была написана о Байроне». Помимо всего прочего, эта биография примирила меня с учеными мужами. Я поджидал

[1] Миссолунги — город в Греции, где в 1824 г. умер Байрон.

их без трепета, укрывшись в бастионе сносок и ссылок. И они явились: не противниками, но друзьями. В литературе, как и в жизни, готовность к войне укрепляет мир. <...>

Перстень Поликрата

Рассказывать о политической жизни Франции 1932—1937 годов здесь, разумеется, не место. В книге «Голые факты» я писал о своих встречах с политическими деятелями. Что меня самого поражает, когда я перечитываю записи тех лет, — это моя близость к представителям всех течений. Я свободно и без чинов беседовал с Леоном Блюмом[1] и с Тардьё[2], с Эррио[3] и с Манделем[4]. Английские послы сэр Уильям Тиррелл и сэр Джордж Клерк нередко обращались ко мне за советом. Я не стремился взять на себя какую-либо роль, но независимо от моего желания и вне рамок крупных событий мне приходилось исполнять роль советчика, или, как выразился один критик, «разъяснителя». Не имея никаких политических пристрастий, а лишь некоторые твердые принципы, я был в состоянии многое понять, оценить и связать. За нашим столом почти еженедельно сходились сильные мира сего, чувствовавшие друг к другу неприязнь и неожиданно проникавшиеся взаимным уважением.

В 1936 году, когда образовался Народный фронт, Леон Блюм попросил у меня гранки «Истории Англии», которую я только что закончил, и высказал много умных и интересных, как всегда, замечаний. Книга вышла в 1937 году. Я с опаской ждал отзывов со стороны профессионалов. Историки оказались ко мне благосклонны. Крупный английский историк Х. А. Л. Фишер, преподаватель Оксфорда, написал мне: «Вы совершили воистину великое дело, создав для ваших соотечественников блестящую и правдивую картину английской истории. Это в высшей степени замечательная книга как по своей продуманности и композиции, так и по трезвости политических оценок». Французский историк Луи Мадлен отозвался так: «Вот наконец всеохватная историческая книга, которой так хотелось. Я восхищен!.. Непринужденность, с какой вы будто играете девятнадцатью веками английской истории, является для меня, старого профессионала, верхом артистизма». А вот отзыв Бергсона: «Ваша история является одновременно и философией, ибо именно ваша концепция событий, постоянно присутствующая in the background[5], позволила вам рассказать столько всего in a nutshell[6]. Прочтя вашу историю, намного лучше начинаешь понимать Англию». Премьер-министр Великобритании (Болдуин) и глава оппозиции (Эттли) выразили мне благодарность.

Выиграв это сражение, в 1937 году я взялся за подготовку курса лекций о Шатобриане, который обещал прочесть на следующий год в обществе Думика[7]. Впоследствии я собирался издать этот курс в виде книги.

Мои отношения с Думиком, несмотря на то что он отверг «Семейный круг», постепенно переросли в дружбу. Он доверял мне, зная, что если я за что-то берусь, то делаю это пусть не всегда хорошо, но, во всяком случае, добросовестно; я тоже доверял ему, так как много раз убеждался в его разумности, строгости и решительности. Он уже в третий раз предлагал мне прочесть «большой курс» из десяти лекций, хотя я когда-то решил, что это мне не по плечу. Тему мы выбирали вместе, в редакции его журнала. Он предложил мне Шекспира.

---

[1] Леон Блюм (1872—1950) — французский писатель и политический деятель, литературный и театральный критик; в 1937 г. возглавил правительство Народного фронта; в 1940 г. арестован по приказу правительства Виши, в 1943 г. депортирован в Германию, в 1945 г. освобожден.

[2] Андре Тардьё (1876—1945) — французский политик, в 1929—1930 и в 1932 гг. был главой правительства.

[3] Эдуар Эррио (1872—1957) — французский писатель и политик, лидер партии радикалов, учредитель Союза левых сил (Cartel des Gauches); будучи премьер-министром, добился признания Францией Советского Союза.

[4] Луи Жорж Мандель (1885—1944) — французский политик, глава кабинета Клемансо, убит милицией Виши.

[5] Подспудно (*англ.*).

[6] Кратко, в двух словах (*англ.*).

[7] Рене Думик (1860—1937) — французский критик, директор журнала «Ревю де дё монд», несменяемый секретарь Французской академии.

«Domine, non sum dignus[1]», — ответил я и предложил взамен Шатобриана, который давно уже меня привлекал. Аббат Мюнье был первым, кто за театральной маской открыл мне Шатобриана-человека. С тех пор я много его изучал и теперь хотел воскресить к жизни. «Существует лишь одно затруднение, — сказал мне Думик, закутывая ноги в одеяло. — Однажды мы уже давали цикл лекций о Шатобриане, читал его Жюль Леметр[2]. Впрочем, это даже не препятствие, поскольку Леметр, который блестяще прочел Расина и весьма недурно Руссо, из Шатобриана сотворил нечто, не достойное ни его самого... ни Шатобриана. Так что приступайте».

К этому он не моргнув глазом добавил, что если лекции пройдут успешно, то наградой за них может стать академическое кресло. Я поблагодарил его, не придав значения словам: я их слышал от него не в первый раз. Это была вполне безобидная, отшлифованная традицией формула вежливости — приманка, которой академики дразнят самолюбие своих менее везучих собратьев. Еще в 1925 году, когда я был очень молод, Барту[3] посоветовал мне выступить претендентом на академическое кресло покойного Анатоля Франса — ему был нужен дополнительный кандидат в противовес Леону Берару[4].

Отрочество мое протекало под сенью классиков, в прилежном учении; я вынес из него те же чувства и мечты по отношению к Академии, которые студентам Оксфорда или Кембриджа внушает английский парламент. «Как это прекрасно, — думал я, — быть избранным своими предшественниками и равными тебе современниками и заседать в окружении высокого братства, к которому принадлежали Корнель и Расин, Вольтер и Виктор Гюго, Тэн и Ренан». Позже мои друзья из Понтиньи — Андре Жид, Мартен дю Гар и Шарль дю Бос — научили меня с недоверием относиться к кандидатам в Академию. Впрочем, когда я в 1925 году получил письмо Барту, на моем счету было еще очень мало книг, и были они столь незначительны, что не могли послужить оправданием его выбора. Я ответил, что существует много весьма талантливых писателей, которые имеют бесспорное право быть избранными прежде меня. Несмотря на то что Барту настаивал, я был непреклонен. Восемь лет спустя Поль Валери спросил меня: «Вы или Мориак?» Я ответил: «Мориак». И к моей величайшей радости, Франсуа Мориак, имевший, несомненно, больше заслуг и шансов, нежели я сам, был принят во Французскую академию.

После этого многие мои друзья стали академиками: Жалу[5], Дюамель[6], Жилле[7]. Наконец в 1936 году Думик сказал мне: «Теперь ваш черед».

Мне послышалось пение сирен, и в течение нескольких недель, сам себе дивясь, я верил, что хоть я не маршал, не кардинал и не при смерти, но одержу победу с первой же попытки — что, впрочем, противоречило строгим правилам этого института. В последний момент у меня неожиданно появился конкурент — свою кандидатуру выставил сельский писатель Жозеф де Пескиду, много писавший для «Ревю де дё монд», протеже маршала Петена. Думик мгновенно от меня отступился, и я проиграл. Когда мы вновь встретились, он сказал мне, поглаживая бороду: «Не расстраивайтесь... Виктор Гюго проваливался трижды... Впрочем, из тридцати одного голосующего в вашу пользу высказалось одиннадцать... По крайней мере, вы попробовали свои силы».

Это было обычное в такой ситуации утешение.

Но вовсе не мечты об Академии заставили меня приняться за Шатобриана. Я любил моего героя. А какие прекрасные женщины его окружали: Полина де Бомон, Дельфина де Кюстин, Натали де Ноай, Жюльетта Рекамье и, наконец, сама Селеста де Шатобриан. Эпоха, в которую жил Шатобриан, одна из самых драматичных в истории Франции, стоила того, чтобы ее изучить. К тому же хотелось заново пережить восхитительные «За-

---

[1] Господин, я недостоин (*лат.*).

[2] Жюль Леметр (1853—1914) — французский писатель, поэт, автор многочисленных комедий, театральный критик, литературовед.

[3] Луи Барту (1862—1934) — французский политик, министр юстиции, внутренних и иностранных дел, затем премьер-министр; был также музыкантом и библиофилом.

[4] Леон Берар (1876—1960) — французский политик, министр образования, введший латынь в обязательную программу средней школы.

[5] Эдмонд Жалу (1878—1949) — французский писатель, критик и литературовед.

[6] Жорж Дюамель (1884—1966) — французский писатель, драматург; в годы первой мировой войны — военный врач; сборник военных рассказов «Цивилизация» (1918) был удостоен Гонкуровской премии.

[7] Луи Жилле (1876—1943) — французский искусствовед, историк искусства.

могильные записки». Я уехал в Бретань и исколесил ее от Сен-Мало до Комбура, от Фужера до Гран-Бе, стараясь проникнуться атмосферой, в которой прошла юность моего героя. Мало кто из современных авторов имеет столько почитателей, сколько их у Шатобриана. Существует даже общество его памяти; во главе этого общества стоял тогда доктор Ле Савурё, который вместе со своими единомышленниками очень помог мне и предостерег от многих ошибок. Графиня де Дюрфор, урожденная Сибилла де Шатобриан, позволила мне изучить комбурские архивы, и если бы моя жена, неизменная моя помощница, не была тяжело больна, я бы с радостью забыл все на свете и с головой ушел в работу. Но тот год был омрачен для нас загадочным недугом Симоны, который пугал меня своими проявлениями.

Подготовка «Шатобриана» почти завершилась, и мы с Думиком уже искали название для каждой отдельной лекции, как вдруг он слег с пневмонией. Незадолго до этого он заметно ослаб; когда 2 декабря 1937 года мне сообщили, что он умер, я был потрясен и страшно горевал.

В то время я часто виделся с маршалом Петеном, президентом французской Службы информации для Соединенных Штатов; администратором этой службы был я сам. На заседаниях Петен был приветлив, требователен, пунктуален и категоричен. Однажды вечером после совещания он сказал мне: «Почему бы вам не предложить свою кандидатуру в Академию на освободившееся место Думика?» Я замялся: «Господин маршал, я как-то не думал об этом... К тому же второй провал причинит мне куда больше боли, чем победа может принести радости».

Тем не менее я посоветовался с друзьями — Мориаком и Жалу. Они нашли мысль Петена удачной и всячески меня поддержали. Я послал письмо в Академию на имя бессменного секретаря. Взвешивать приходилось каждое слово, ибо послание принято было зачитывать вслух перед всеми членами Академии, а потом отдавать на суд суровым критикам. Обычно от письма с предложением кандидатуры требуется сдержанность, простота и краткость. Далее настает период визитов и определения сторонников. Многие кандидаты вспоминают об этом с содроганием. Но я воспринял все совсем иначе. Посетить тридцать девять академиков, из которых почти все в высшей степени замечательные люди: писатели, генералы, прелаты, адмиралы, ученые, дипломаты, что же в этом неприятного? Как раз наоборот. Те, кто собирается голосовать за вас, говорят об этом сразу, и беседа становится веселой и доверительной. Те же, кто настроен враждебно, прибегают к различным тактическим приемам — от бесцеремонной прямоты до ловкого увиливания; за ними очень интересно наблюдать. Если вдруг генерал в течение часа толкует вам о Фридрихе II, а археолог беседует с вами исключительно о храмах, вы наверняка знаете, что они уже обещали свои голоса другому, но зато вы услышали две блистательные лекции, прочитанные персонально для вас, и получили два урока дипломатии. Это ли не стоит потраченного времени?

Самым коротким оказался мой визит к маршалу Франше д'Эспере[1]. Я знал его и любил за солдатское прямодушие. «Знаю, зачем вы пришли, — сказал он при моем появлении. — Хотите в Академию? И правильно... Как вам в этом отказать? Только я составил себе последовательный список... У вас второй номер. А первый у Жерома Таро[2]. Если Таро выдвигает свою кандидатуру против вашей, то я голосую за Таро. Если нет — голосую за вас... Всего хорошего, друг мой».

Таро не выдвинул свою кандидатуру, и моим соперником стал Поль Азар[3], человек несравненной честности и учтивости, так что меня ждал поистине рыцарский турнир. У нас было много общих друзей, и некоторые из них, будь моим соперником кто-либо другой, голосовали бы за меня, как, например, адмирал Лаказ, Жозеф Бедье[4], Луи Мадлен; но так как конкурентом оказался Азар, они честно предупредили меня, что на первом туре будут голосовать за него. Я не учитывал их голосов в предварительном подсче-

---

[1] Луи Феликс Франше д'Эспере (1856—1942) — маршал Франции; много сделал для утверждения французского влияния в Марокко, Тунисе и Алжире.

[2] Жером Таро (1874—1953) — французский писатель, писал в соавторстве с братом — Жаном Таро; в 1906 г. братья получили Гонкуровскую премию; занимались также исследованием еврейской и мусульманской культур.

[3] Поль Азар (1878—1944) — профессор литературы в Сорбонне и Коллеж де Франс, специалист по XVIII веку.

[4] Жозеф Бедье (1864—1938) — французский писатель, ученый-медиевист, профессор Коллеж де Франс.

те, но даже без них на моей стороне, как мне казалось, было большинство. «Не стройте иллюзий, — предупреждали меня опытные тактики, такие, как Абель Эрман[1]. — Были случаи, когда по предварительному подсчету кандидаты набирали до двадцати голосов, обещанных формально, а реально, в день голосования, получали только три».

Приближался решающий день, я с интересом следил за колебаниями моих шансов и бурлением предвыборных интриг.

Шомекс[2], член избирательной коллегии, был настроен ко мне враждебно и собирался выдвинуть в противовес кандидатуру Анри Бернстейна[3]. А Луи Бертран[4], увлекшийся во время поездки по Германии идеологией нацизма, затеял против меня дикарскую травлю.

Придя с визитом к Бергсону, я просидел у него более двух часов. Он признался, что желал бы отдать мне свой голос, но уже несколько лет не заседает в Академии. Он не мог двигаться из-за деформирующего ревматизма, заседание превратилось бы для него в пытку.

Идя к нему, я знал, что в выборах он принимать участия не будет и мой визит — не более чем формальность. Но он говорил о таких важных вещах и так хорошо, что встреча с ним стала для меня событием.

Предвыборная кампания запомнилась мне также мужественным поступком Жоржа Леконта[5]. Он был опасно болен и готовился к операции. Но ради того, чтобы принять участие в голосовании, вопреки настояниям врачей операцию отложил. У академиков — академический героизм.

В день выборов — это был четверг 23 июня 1938 года — я отправился с детьми гулять в парк. Симона, страстно желавшая моего успеха, попросила одного знакомого позвонить ей и сообщить результаты. Она осталась сидеть у телефона, снедаемая беспокойством. Небо было чистое, день — теплый, мы радовались чудесной прогулке. Весело болтая обо всем на свете, мы не заметили, как пролетело время. В тот момент, когда мы входили в дом, раздался телефонный звонок. Звонил какой-то журналист. «Месье, освободите линию! — в нетерпении воскликнула Симона. — Я жду один очень важный звонок». — «Сейчас освобожу, мадам, — ответил он. — Я только хотел сообщить вам, что ваш муж принят во Французскую академию». Жена вскрикнула от радости и выронила трубку. Мы прибежали на шум. Вот и настал счастливый миг. Уже через десять минут начали приходить друзья. Выборы прошли быстро, и на втором туре я победил, получив девятнадцать голосов «за» и тринадцать «против». Я был, выражаясь словами Дизраэли, «на самой верхушке масленичного шеста».

Вечером мы оставили ужинать самых близких наших друзей. Их присутствие и искренняя радость были мне дороже самой победы. Я не просто питал к ним дружеские чувства, я любил их и восхищался ими. «Друзья мои, — думал я, — как я благодарен вам за то, что вы такие, какие вы есть, и в то же время, что вы — мои друзья!» В тот день у меня даже возникло мимолетное ощущение, что я выиграл главное в своей жизни сражение и что старость моя будет, как и полагается, окружена покоем, уважением и любовью. Однако подспудно в душе рождалась и нарастала, как в «Нибелунгах», тема рока.

Счастье для меня никогда не бывало безоблачным и долгим. В 1918 году радость победы была омрачена болезнью. В 1924 году, когда я уже поверил было в возрождение своей семьи, все перечеркнула смерть. В 1930 году Рождество, сулившее надежду, обернулось кончиной маленькой Франсуазы. И вот теперь, в 1938-м, моя жена, болевшая года два, начала наконец поправляться, враги мои, казалось, были повержены, моя жизнь вот уже несколько месяцев напоминала волшебную сказку, в которой добрый волшебник осыпает дарами владельца магического талисмана. Но, глядя на пенящееся в кубке золотое шампанское, я в смятении думал о том, что боги ревнивы и что настал час бросить в пучину перстень Поликрата. <...>

---

[1] Абель Эрман (1862—1950) — французский писатель, член Академии с 1927 г., в 1944-м исключен из нее, в 1945-м приговорен к пожизненному заключению за сотрудничество с оккупантами, освобожден в 1948 г.

[2] Андре Шомекс (1874—1955) — французский критик, журналист, сотрудник журнала «Ревю де дё монд» и газеты «Фигаро».

[3] Анри Бернстейн (1876—1953) — французский драматург.

[4] Луи Бертран (1866—1941) — французский писатель, историк, автор биографий.

[5] Жорж Леконт (1867—1958) — французский писатель, драматург, критик, автор исторических исследований и биографий.

Лето 1938 года я, как всегда, провел в Перигоре и посвятил его составлению речи для церемонии вступления в Академию. Я должен был рассказать о заслугах Думика. Его сын, Жак Думик, и зять, Луи Жилле, предложили мне для работы его личные бумаги и дневник. И передо мной предстал очень странный, но, несомненно, достойный человек. То, что я сам хорошо его знал и работал с ним, очень мне помогало. Я старался, чтобы портрет ожил и был похож на оригинал. Работа подходила к концу, когда прокатились первые раскаты мировой грозы. Берлин угрожал Праге. Французское правительство объявило мобилизацию нескольких призывных разрядов.

ОТРЫВКИ ИЗ МОЕГО ДНЕВНИКА

Эссандьерас, 10 сентября 1938 г. Не знаю, что из всего этого получится: война или мир, — но мы в страшном волнении. Вот уже неделя как мы не отрываемся от радио. Иногда ловим Лондон, он холоден и невозмутим: «По сообщениям полиции...», «Weather forecast...»[1] Самые страшные новости англичане преподносят так, словно речь идет о рядовых событиях. Иногда удается поймать Тулузу или Париж: они не так раздражают, зато сильней пугают. Единственное утешение — это работа (закончил речь о Думике, вот только произнесу ли ее когда-нибудь?) и музыка. Вчера, несмотря на атмосферные и душевные бури, с наслаждением слушали симфонию Франка. А передача «Мастера вокала» показалась нам божественной, несмотря на то что был первый день Нюрнбергского конгресса. Послезавтра возвращаемся в Париж. Неужели война? Смерти я не боюсь. Иногда зову ее. Мир так глупо устроен. Но порой мне кажется, что жизнь прекрасна и труд оправдывает все. Даже в дни катастроф можно с восторгом шлифовать фразу, и если в этот миг луч солнца позолотит лес или выхватит из дымки старый замок Эксидёй, я замираю от счастья. Принял решение: если начнется война, буду работать не покладая рук — как офицер и как писатель — и постараюсь не думать о будущем, которое все равно невозможно предугадать. Сегодня с утра все вспоминается одно байроновское четверостишие:

Here's a smile to those who love me
And a sigh to those who hate,
And, whatever sky's above me,
Here's a heart for every fate[2].

11 сентября1938 г. Последний день в Эссандьерасе. Смотрю на дивный пейзаж, на волшебную долину с темными островками ферм и думаю: «Увижу ли их вновь?» Как всегда, утро провел за работой. Получил почту: медицинский журнал просит написать для них статью «Литература в 2038 году». Ответил им, что мы в тот год как раз выйдем из нового пещерного века. Днем приходило много соседей. Пертинакс с женой. Он настроен не так пессимистично. «Один шанс из ста, что начнется война, — сказал он. — Но до чего же неловки были французские политики в последние двадцать лет!»

Бывший император Аннама[3] со своей дочерью, красавицей принцессой... Вечером слушали по радио выступление Бенеша[4], затем долго и безуспешно искали хорошую музыку. По Би-би-си какой-то юморист читал свои истории. Не нашел ничего смешного. Ночь провел без сна.

Нёйи, 12 сентября 1938 г. Из Перигора вернулись на машине. Проезжали Лимузен, Солонь, Иль-де-Франс. Солнце по-осеннему мягкое, краски природы слегка пожухли. Деревни, колокольни, черепица и аспид. Никогда еще Франция не была так прекрасна. Люди на дорогах внешне спокойны. И тем не менее в каждой семье при-

---

[1] Сводка погоды (*англ.*).

[2] Вздох я шлю друзьям сердечным
И усмешку злым врагам.
Не согнусь под ветром встречным
И в бою нигде не сдам. (*Перев. Л. Шифферса*) —
строки из стихотворения Байрона «Томасу Муру» (1817), у Моруа в цитате несколько искажен порядок слов.

[3] Аннам — административное название Центрального Вьетнама в 1884—1945 гг. при французском протекторате.

[4] Эдуард Бенеш (1884—1948) — государственный и политический деятель Чехословакии, с 1935 г. с перерывами — президент республики.

звали сына или взяли в резерв мужа. Вопреки всему фермеры группами идут на охоту, прихватив три-четыре ружья, мальчишек-загонщиков и испытанных псов. Вот удивился бы Гитлер. Вернувшись в Париж, сразу отправились в «Фигаро». Виделись с Ромье[1]: «Все еще может уладиться, если не чей-нибудь безумный шаг».

Того же мнения придерживался Эрик Фиппс, английский посол в Париже. Сэр Эрик и леди Фиппс были моими старыми друзьями. Познакомились мы после войны, когда Фиппс впервые получил назначение в Париж. Позже он был министром в Вене, потом послом в Берлине, но когда возвращался на время отпуска в Англию, я всегда навещал его в загородном доме в Уилтшире. Что касается Фрэнсис Фиппс, то я за всю свою жизнь не встречал женщины добросердечнее. Она была ревностной католичкой и втайне от мира расточала материальную и моральную помощь и спасла множество людей от нищеты и отчаяния.

В течение этого года правительства обеих стран приложили немало усилий для возобновления почти заглохших франко-английских отношений. В июле Францию посетили король с королевой и, как в давние времена их дедушка Эдуард VII, покорили Париж. В ноябре с официальным визитом прибыл Невилл Чемберлен. Мы обедали с ним на набережной Д'Орсэ; а после обеда, возвышаясь над слушателями своей маленькой птичьей головкой, он рассказывал о своих поездках в Берхтесгаден и в Годесберг[2].

Чемберлен, еще больший островитянин, чем любой житель Англии, совершенно не представлял себе, что такое Адольф Гитлер. Один из моих английских друзей заметил мне: «Чемберлен, конечно, не думает, что Гитлер состоит вместе с ним в Бирмингемской промышленной корпорации, но полагает, что он наверняка уж член Манчестерской».

По признанию самого Чемберлена, во время своей первой «беседы» с немецким канцлером в Берхтесгадене он был оглушен неуемным словесным потоком и потрясен невозможностью вставить хоть слово. Во второй раз, в Годесберге, Гитлер обрушился на него с такой яростью, что продолжать беседу просто не имело смысла. Каждые пять минут (видимо, следуя заранее разработанному сценарию) входил офицер и вручал фюреру депешу. «Чехи убили еще двух немцев! — начинал кричать Гитлер, делая страшное лицо. — Они дорого заплатят за пролитую немецкую кровь! Чехи должны быть уничтожены!..»

«Видя фюрера в таком гневе, притворном или искреннем, — продолжал свой рассказ Чемберлен, — я сказал переводчику, что хочу вернуться в гостиницу. Для этого мне предстояло пересечь Рейн на самоходном пароме. Заметив, что я собираюсь уйти, но все еще продолжая кричать, Гитлер последовал за мной на террасу. Там он вдруг замолчал, и выражение его лица мгновенно изменилось. Он посмотрел на реку, которая плескалась у наших ног, и проговорил тихим, почти нежным голосом: «Ах, господин премьер-министр, какая жалость... Я мечтал показать вам дивный вид... но он пропал в тумане...» Никогда не видел, чтобы человек мог так внезапно переходить от звериной ярости к поэтическому умилению», — закончил Чемберлен.

Один из дипломатов, сопровождавших Чемберлена в Германию, признался мне, что премьер-министр сохранил о своих поездках крайне тягостные воспоминания, а гневные выкрики фюрера настолько его покоробили, что теперь, когда при нем произносят имя Гитлера, «на лице его появляется гримаса ребенка, которому дают касторку».

Однако Чемберлен был убежден, что спасти мир — его долг, и надеялся свой долг исполнить.

В январе 1939 года, читая лекции, я побывал в разных частях Великобритании и обнаружил, что общественное мнение опередило правительственные указы. Власти не решались объявить мобилизацию, страна же настойчиво этого требовала. Англичане и англичанки всех слоев общества говорили мне одно и то же: «Нельзя позволить этому человеку задушить Европу, у нас должна быть сильная армия и мощная авиация».

Вернувшись в Париж, я написал статью, в которой сообщил: в марте текущего года

---

[1] Жан-Батист-Люсьен Ромье (1885—?) — французский литератор, историк, журналист.

[2] В маленьком немецком городке Берхтесгадене 15 сентября 1938 г. состоялась встреча Н. Чемберлена и А. Гитлера, в результате которой Чемберлен вынужден был согласиться с требованием рейхсканцлера о присоединении к Германии Судетской области в Чехословакии; в Бад-Годесберге 22 сентября 1938 г. состоялась вторая встреча английского премьера с Гитлером.

в Англии будет объявлена мобилизация. Большинство моих французских друзей ответили, что я сошел с ума, что никогда Великобритания не решится ввести всеобщую воинскую повинность, противоречащую многовековой традиции. Тем не менее в марте 1939 года мобилизация была объявлена.

Внезапное присоединение Англии к политике европейского сотрудничества неизбежно сблизило ее с Францией. В июне 1939 года франко-британская ассоциация устроила в Париже банкет, на котором присутствовали английский военный министр Хор-Белиша, министр иностранных дел Франции Жорж Бонне и генерал Гамлен. Хор-Белиша объявил, что в дни войны британская армия встанет под французские знамена и что он счастлив сказать «наш генерал Гамлен». Генералу долго аплодировали, в то время как он оставался невозмутим. После банкета вместе с Хор-Белишей мы отправились в польское посольство, где шумел грандиозный праздник. Английский министр счел своим долгом на нем присутствовать, чтобы выразить дружеские чувства, которые Англия питала к Польше.

Это торжество произвело на меня жуткое впечатление. Стояла чудная летняя ночь. В саду особняка Саган, отданного польскому посольству, сверкали под звездами беломраморные сфинксы. Оркестр играл вальсы Шопена. Пожарными всполохами озаряли ночь бенгальские огни. На лужайке красавицы в кринолинах (среди них были две очаровательные дочки немецкого посла) танцевали с польскими и французскими офицерами. Надвигалась война, Польша должна была принять на себя первый удар; этот праздник напоминал бал, который лорд Веллингтон дал в Брюсселе накануне Ватерлоо. Но веселящийся свет это нисколько не заботило, гости пили шампанское и болтали о пустяках. Кого волновало плаванье «Пастера», а кто вслух мечтал о том, чтобы уехать в Южную Америку. <...>

Несколько дней спустя Хор-Белиша снова приехал во Францию с Уинстоном Черчиллем, чтобы присутствовать на параде 14 июля. Никогда еще французская армия не выглядела столь внушительно. Для этого парада мы собрали все, что составляло нашу гордость: стрелков, зуавов, морскую и штурмовую пехоту, Иностранный легион. Черчилль ликовал: «Слава тебе, господи, что у французов такая армия!»

Но никто из нас тогда не знал, что мужество солдат, их отличные боевые качества и даже традиции прославленных полков — ничто, если армия вооружена устаревшей военной техникой. Колонна танков убедила трибуны Елисейских полей, они ликовали, но кто мог знать, что у немцев на вооружении танков больше и одеты они в более прочную броню, которую нашим пушкам не пробить.

В тот же день в сопровождении своего адъютанта Хор-Белиша приехал к нам в Нёйи. Он рассказал о трудностях реорганизации английской армии. «Всеобщая воинская повинность — дело хорошее, — сказал он, — но в данный момент она существует больше на бумаге, чем в реальности... Я не могу призвать всех, кто взят на учет, потому что у меня нет для них ни снаряжения, ни офицеров, способных их обучить». — «Но ведь есть офицеры, прошедшие ту войну...» — «Они не знают новой техники». — «А если война начнется завтра, сколько вы сможете прислать нам дивизий?» — «Сразу?.. Не более шести».

Я пришел в ужас. Но ужас мой еще усилился, когда несколько позже я узнал, что наш генеральный штаб просил у Англии на все время войны в Европе всего лишь тридцать две дивизии. Меж тем как в 1918 году вместе с нами воевало до девяноста пяти английских дивизий, а американцы, русские, итальянцы и японцы были нашими союзниками — и войну мы при этом выиграли с трудом. Так что причин для тревоги было предостаточно.

В феврале 1939 года мы собрались в Америку: я согласился на длительную поездку с лекциями по разным городам. Когда числа пятнадцатого мы покинули Гавр — отношения между Францией и Италией были очень натянутыми. Мы готовились к тому, что, едва высадившись на берег, вынуждены будем вернуться обратно. В день нашего прибытия нью-йоркские газеты пестрели крупными заголовками: «64 итальянца и 12 французов убито на тунисской границе...» Правда, на следующий день появилось опровержение. В этот раз Америка была недружелюбно настроена к Франции и Англии. Все мои американские друзья возмущались мюнхенскими соглашениями. «Ну хорошо, а чем бы вы могли нам помочь?» — спрашивал я. «Ничем», — искренне отвечали они.

В сущности, в тот год Америку больше всего занимала не ситуация в Европе, а президентские выборы 1940 года. Деловые круги, недовольные президентом, тяготели к изоляционизму, стремясь воспрепятствовать избранию Рузвельта на третий срок; сторонники же президента проявляли в области внешней политики осторожность, дабы не по-

дорвать его шансов. Такое положение дел было на руку Гитлеру. Одержимость американцев поразила меня. У одной пожилой дамы с Пятой авеню — мы сидели рядом за обедом — я спросил: «Неужели вы согласились бы пожертвовать вашей страной и моей тоже, лишь бы только воспрепятствовать политике New Deal[1]?» — «Мистер Моруа, — отвечала дама, — пусть лучше весь земной шар разлетится на куски, чем Рузвельт в третий раз станет президентом!»

На мой взгляд, это был ярко выраженный случай dementia politica[2].

Мой manager Гарольд Пит организовал мне замечательное путешествие: Филадельфия, Бостон, Цинциннати, Миннеаполис, Детройт, Омаха, Талса, Чикаго. В Чикаго друзья пригласили меня на ужин в обществе экс-президента Гувера. Блистая юмором, он говорил о том, как будут удивлены люди через две-три тысячи лет, когда, изучая наши экономические достижения, обнаружат, что мы бурили скважины в Африке, тратя на это колоссальные средства, добывали там руду и делали из нее золото, потом переправляли это золото в Америку и опять, тратя колоссальные средства, бурили скважины в Кентукки, чтобы зарыть там драгоценный металл. Несмотря на охватившее Европу безумие, Гувер верил в демократию: «Это единственный политический режим, позволяющий при неблагоприятном стечении обстоятельств изменить направление политики без применения силы. Но для того чтобы механизм действовал, надо, чтобы демократические свободы соблюдались не только в теории, но и на практике».

Несколько позже я обедал с группой писателей в Белом доме и был представлен президенту Рузвельту. Мне понравились его изысканные светские манеры. Патриций виг и плебей тори в эпоху Билля о реформе — вот кого напомнили мне Рузвельт и Гувер.

15 марта, когда я находился в Далласе, штат Техас, немцы вошли в Прагу. Значит, война? Многие американцы, похоже, хотели ее, но воевать не рвались. Более того, они голосовали за строгий нейтралитет. Могли ли Франция и Англия победить без их помощи? Я понимал, что нет. Поэтому счел своим долгом на конгрессе Pen Club'ов[3], который состоялся в Нью-Йорке в дни Всемирной выставки, призвать их к умеренности и бдительности. Я всегда преклонялся перед солдатами, которые жизнью своей добывают победу, и с недоверием относился к аэдам, издалека вдохновляющим их на подвиг. Именно об этом я и говорил на конгрессе американских писателей, хотя подобные заявления вряд ли могли там кому-нибудь понравиться: «Если бы люди понимали, какую опасность таят в себе некоторые слова, то словари на витринах были бы перевиты красной ленточкой с надписью: «Взрывоопасно. Обращаться осторожно». Военные эксперты пишут о зажигательных бомбах, которыми можно спалить весь континент. У нас на вооружении есть противовоздушные пушки, но нам нужны также противолексические орудия. Романисты, биографы, историки, наш с вами долг — нарисовать наш крошечный мир как можно достовернее. Нам ведь не нужно ни точить штыки, ни биться за успех на выборах... В эти опасные дни самое полезное, что мы можем сделать для сохранения мира, — это положить под спуд все взрывоопасные слова, усмирить страсти и говорить нашим читателям правду, одну только правду и ничего, кроме правды. Да поможет нам Бог».

Возвращение во Францию на борту теплохода «Нормандия» по сверкающему на солнце океану напоминало Ватто, Мариво и Понтиньи одновременно: лихорадочно-бессонные ночи, нескончаемые разговоры о политике, нежно-шутливое воркование в салонах. В моих записях, сделанных на борту теплохода и опубликованных сразу же по возвращении, я читаю следующее: «Что предпримут Соединенные Штаты, если мы вступим в войну? Ничего — в течение года. Через год они начнут оказывать нам финансовую и промышленную помощь. В войну они включатся через два года после ее начала...» Предсказание, которое впоследствии сбылось. Подплывая к Гавру, мы увидели остов полузатонувшего, перевернутого вверх дном «Парижа» — только вздувшееся его брюхо торчало из воды. Загадочным образом возникший пожар уничтожил корабль, на котором я впервые пересек Атлантический океан. Не вражеская ли это диверсия?

Вернулись мы как раз к моменту моего вступления во Французскую академию. Но еще до торжественной церемонии я был на другой, которая очень меня взволновала.

---

[1] Новый курс (*англ.*) — название реформ, проводимых Рузвельтом.
[2] Политическое безумие (*лат.*).
[3] Ассоциация писателей США.

Директор Руанского лицея попросил меня присутствовать на открытии нового памятника Корнелю во дворе лицея. С грустью я узнал о том, что моего любимого гипсового Корнеля, мимо которого я проходил столько раз, созданного Давидом д'Анже[1], размыли дожди. Цветущий кавалер, заменивший его на пьедестале, привел меня в замешательство. Но рассказывать о Корнеле в стенах, где сорок лет назад я начал читать его творения, было для меня истинным счастьем. После открытия памятника был устроен прием, и мои бывшие товарищи подарили мне бронзовую доску, отлитую одним из них, скульптором; на одной стороне доски был изображен мост Бойелдье над Сеной, по которому я ходил каждое утро в лицей, а на другой — парижский мост Искусств и возвышающийся над ним купол Академии.

Глядя на моих старых руанских товарищей, убеленных сединами, обремененных солидными животами и все же немного похожих на прежних юношей, я испытывал приблизительно те же чувства, которые описывает Марсель Пруст, повествуя о приеме у герцога Германтского. Все эти мальчики, с которыми я когда-то играл в мяч, казалось, просто переоделись в стариков. Один из них стал префектом, другой — сенатором, третий — полковником жандармерии. Многие уже ушли на пенсию. Дюпре, открывший мне когда-то красоту музыки, еле ходил, опираясь на две клюки. Моя мать специально приехала сюда из Эльбёфа, как когда-то приезжала на вручение премий, и упоенно слушала проникновенные речи, в которых хвалили ее мальчика. А я думал: «Вечер на исходе пригожего дня...» Увы, вечер только начинался, а на горизонте уже собирались грозовые тучи.

Церемония принятия в Академию — одна из красивейших французских традиций. Все в ней по-своему замечательно: старинное здание причудливой архитектуры, тесная зала и собравшиеся в ней заслуженные люди, мундиры, ритуальные фразы, а иногда — еще и высокая риторика. Речь, которую новый член Академии должен читать на заседании, сначала утверждается комиссией. Этот последний в своей жизни экзамен я сдал, снискав любезные похвалы. Герцог де ла Форс[2] заметил мне: «Надо заменить слово «безустанно» — его нет в Академическом словаре».

Он был прав. После этого последнего испытания новоиспеченный академик может участвовать в заседании. В тот момент, когда он входит, вся Академия вежливо встает; новичок отвечает поклоном, затем садится и впервые присутствует при работе над словарем. В контрасте между простотой церемониала и величием института есть особое благородство и изысканность.

В четверг 22 июня 1939 года состоялось открытое заседание. Для родственников и знакомых нового академика секретариат отводит двадцать мест, так что я смог усадить на них лишь мать, жену, детей, родителей жены и кое-кого из близких. Некоторые мои друзья раздобыли билеты через других академиков, и, входя в зал, я увидел много дорогих мне лиц. Мое появление сопровождалось барабанной дробью, стража при этом взяла на караул, а офицер салютовал шпагой. Сидя между своими старшими собратьями, немного стесненный новой зеленой формой и треуголкой с плюмажем, я рассматривал скульптуры, возвышающиеся по обеим сторонам зала: Боссюэ и Фенелона. Чуть ниже меня сидели генерал Вейган и дипломат Палеолог; в течение всего заседания я больше всего, пожалуй, заботился о том, чтобы не толкнуть стоявший передо мной на узенькой полочке стакан воды и не опрокинуть его на прославленные головы.

«Слово предоставляется господину Андре Моруа для зачтения благодарственной речи...»

Сердце мое бешено заколотилось, я встал. И тут раздались такие дружные аплодисменты, что я сразу успокоился.

Вслед за мной слово получил Андре Шеврийон[3], на этот раз он воздержался от обычных колкостей, так что мой звездный час не омрачила ни одна неприятность. Слушая его, я вглядывался в череду внимательных лиц. У самого стола президиума на высоких табуретах сидели парижские красавицы: Эдме де Ларошфуко, Марта де Фель и Анриетта де

---

[1] Пьер Жан Давид д'Анже (1788—1856) — французский скульптор, уроженец Анже, автор барельефа на фронтоне Пантеона, а также памятников знаменитым французам.

[2] Огюст Арман Номпар де Комон герцог де ла Форс (1878—1961) — французский историк, член Французской академии.

[3] Андре Шеврийон (1864—1957) — французский писатель, племянник и ученик философа и историка Ипполита Тэна, автор исследований по английской литературе.

Мартель. В середине амфитеатра я заметил нежное лицо Фрэнсис Фиппс, чуть дальше — блестящие глаза Анны Эргон, напоминавшие мне вечера в Понтиньи; Жанна Мориак сидела рядом со своими дочерьми, а Бланш Дюамель — со своими сыновьями; еще выше восседали четырнадцать внуков покойного Думика, группа нормандских лицеистов, мои товарищи по оружию и несколько старых эльбёфских друзей, вызвавших в памяти грохот станков и дым фабричных труб. Необыкновенно радостно было в такой важный день видеть вокруг себя друзей, с которыми связаны ключевые моменты моей жизни. Но почему, пока Андре Шеврийон говорил о Байроне, Дизраэли, Лиотее, в мозгу настойчиво звучала пророческая и скорбная строка из греческой трагедии? Почему в этот торжественный день перед моими глазами стояло гордое и кровавое лицо Муне-Сюлли из «Царя Эдипа»? Почему в то время, как мне улыбались сотни губ, я не мог не думать о том, что Рок коварен во все времена и печальная мудрость Софокла по-прежнему верна: «Счастливым никого не почитай, пока не кончен срок его земной»?

Последние дни мира

Обрамленные ивами и тополями долины Перигора в июле 1939 года казались еще более веселыми и безмятежными, чем прежде. На закате среди зеленой листвы, как и раньше, пламенела карминовыми крышами ферма «Бруйяк», и веяло от этой красоты привычным спокойствием. И как всегда, только осы, слетавшиеся к цветам на столе, нарушали мое утреннее уединение. Мне казалось, что эта тишина и подчеркнутая бездвижность словно заколдованной природы, как и в июле 1914 года, таят в себе опасность. Каждое утро, разворачивая газету, мы готовились прочесть смертный приговор нашему счастью. Польша, Данциг, Коридор... Когда было опубликовано сообщение о Версальском договоре, люди дальновидные сразу догадались, что с этой странной карты, с этих в шахматном порядке поделенных территорий и начнется следующая война. Сколько бы ни юлили политики, это было самое уязвимое место, и Марс, похоже, целился именно в него. <...>

К 20 августа до нас стали доходить все более скверные новости.

Объятые тревогой, мы решили не оставаться в Эссандьерасе на сентябрь и, заехав в Малагар к Франсуа Мориаку, вернуться в Париж. Дом его был именно таким, как мы его себе представляли и каким его описывал хозяин: белый, обожженный солнцем домик виноградаря, а вокруг, докуда хватает глаз, бледно-зеленые виноградники, обсыпанные голубым сульфатом. Все там имело особый, тонкий, неповторимый привкус старого ликера. Нас встретили Франсуа и Жанна, а еще их дети и аббат Мориак. Как это часто бывает в окрестностях Бордо, воздух был тяжелым, будто перед грозой; в нем вились назойливые мухи. Под палящим солнцем мы совершили длинную печальную прогулку, разговаривая о нависшей над всеми опасности. Мир всецело зависел от России, с которой Франция и Англия вели переговоры. Вечером, после ужина, Франсуа читал нам свою новую пьесу «Нелюбимые». Читал он хорошо, глухим, надломленным голосом, который еще добавлял пафоса его и без того патетичным персонажам. Пьеса нам понравилась. В ней была воссоздана та же атмосфера неприкаянности и потаенной ярости, что и в «Асмодее». Между вторым и третьим актом мы слушали новости. *Москва объявила о подписании пакта о ненападении с Берлином.*

Кто-то из детей спросил: «Что это значит?»

Я ответил: «Это значит — война».

На следующий день мы уехали в Париж. По железным дорогам уже ползли составы с солдатами. Едва вернувшись, мы, как и год назад, бросились к Люсьену Ромье, но на сей раз пророк не сказал ничего утешительного. Несколько дней мы не отрывались от радио. Печальные и серьезные выступления Даладье были созвучны надеждам на мир, которые продолжали питать французы. Но люди устали от бесконечного тревожного ожидания.

«Нет, пора с этим кончать! — сказал мне мой парикмахер, готовившийся к отправке на «линию Мажино».

Почти каждый вечер мы с Пьером Бриссоном[1] обедали в каком-нибудь ресторан-

[1] Пьер Бриссон (1896—?) — французский журналист и театральный критик, с 1934 г. — директор газеты «Фигаро».

чике в Булонском лесу, а затем отправлялись в редакцию «Фигаро» читать свежие телеграммы. Днем стояла тропическая жара, вечера были чудно свежи. Вдруг 31 августа, в четверг, нам показалось, что наша взяла: Польше предложены приемлемые условия. Домой мы вернулись вне себя от радости. Но на следующий день пришло опровержение: Польша захвачена. Значит, опять война, но война без участия России, при упрямом нейтралитете Америки и слабой подготовке Англии против Германии с ее авиацией, куда более сильной, чем наша собственная.

Общественность еще не выработала твердого мнения и пребывала в замешательстве. Мобилизованные солдаты не выказывали и тени энтузиазма 1914 года. Прежде чем самому отправиться на фронт, я успел написать статью в «Фигаро», где пытался объяснить, почему для нас эта война является справедливой. Эта статья принадлежала к тем выступлениям, за которые меня лютой ненавистью возненавидело немецкое радио. Вот она.

В ЧЕМ ДЕЛО?

Данциг? Коридор? Нет, на самом деле мы не за это сражаемся. Правда в том, что за последние три года жизнь Европы и всего мира была отравлена бесконечной чередой насилий над народами. Сценарий прост. Из числа сопредельных государств Германия выбирала себе жертву. В немецком меньшинстве выбранной страны находили честолюбивого, ничем не брезгующего гауляйтера. Затем заявляли о притеснении немецкого меньшинства. Германская пресса развязывала яростную кампанию, вслед за которой следовала мобилизация войск на границах с государством-жертвой. Закончив все эти приготовления, Германия оборачивалась к другим европейским государствам, заверяя их в самой искренней дружбе и клятвенно обещая, что это будет последний акт кровавого спектакля, десерт страшного пира, что отныне она не покусится ни на пядь чужой земли. Германия заклинала Европу не начинать всеобщую войну из-за какой-то ничтожной нации, недостойной даже ступать по земле. Добропорядочные европейские правительства, надеясь избежать войны, были склонны верить торжественным клятвам рейха и со вздохом бросали жертву на произвол судьбы. Но едва проглотив эту жертву, чудовище выбирало новую из числа тех стран, в любви к которым оно распиналось, когда нуждалось в их расположении. И комедия повторялась.

Этот фарс удался с Австрией. Потом с Чехословакией. Он удался потому, что, едва оправившись после предыдущей войны, Европа жаждала мира. Потому, что вопреки очевидности мы все же продолжали надеяться: может, хозяин рейха сдержит наконец свои обещания. Теперь мы на кровавом опыте научились понимать, чего стоят нацистские пакты. Ежегодно мы становимся свидетелями того, как из-за безрассудства нескольких человек мир застывает в напряженном ожидании, останавливаются работы, разбиваются семьи, рушится счастье. Довольно! Отныне мы знаем, что отступать перед Германией — значит готовить почву для нового шантажа. Довольно! Мы не хотим, чтобы ненависть, ложь и насилие выдавались за добродетели. Довольно! Мы любим жизнь, но мы хотим жить в таком мире, где можно растить детей, творить, строить важные и смелые планы без страха быть оторванным дважды в год от всего этого из-за ненасытности свирепого чудовища. Мы хотим восстановить в правах честность и благородство. Честные люди всего мира да помогут нам в этом.

Хотя я давно вышел из призывного возраста, тем не менее сразу подал прошение о том, чтобы меня оставили офицером запаса. 2 сентября я пришел на Парижскую площадь, но там узнал, что военное министерство приписало меня к только что созданному Комиссариату по информации, во главе которого поставлен Жан Жироду и который должен располагаться в отеле «Континенталь» на улице Риволи. Это противоречило моему стремлению попасть на фронт, но временно пришлось согласиться на «Континенталь». Я отправился туда. У дверей дежурили полицейские. В коридоре было не протолкнуться: пожилые полковники, дипломаты в отставке, преподаватели из Коллеж де Франс... Они вели блистательные беседы посреди устрашающего хаоса. На плечи злополучного Жироду свалилась — вдруг, посреди войны — тяжелейшая ответственность: организовать службу подобную той, что в Германии действовала уже много лет. Задача невыполнимая.

Он выбрал себе в помощники человека энергичного и надежного, преподавателя Гарвардского университета, своего друга Андре Мориза.

В воскресенье 3 сентября в пять часов истек срок ультиматума и началась война. Я находился в бюро Мориза, и, когда часы пробили пять, мы пожали друг другу руки. «Это первая минута войны, — сказал он. — Давайте не забывать, что мы провели ее вместе».

Я думал о трагедии, которую второй раз за короткую человеческую жизнь мне предстоит пережить: люди, бегущие по дорогам под бомбами, разрушенные деревни и города, осиротевшие семьи. Столько горя из-за того, что какой-то визгливый, полоумный капрал разродился идеей германского превосходства, а слабые, безответственные правители не удосужились вовремя вооружить Францию; из-за того, что ни Англия, ни Америка не пожелали заглянуть в будущее, которое уже возвещало о себе кровавыми зарницами. Нам предстояло исправить последствия этих безрассудств. В роковую минуту начала войны я поклялся себе сделать все, что в моих силах, чтобы повергнуть кровожадное чудовище и объединить силы тех, кто готов с ним сражаться.

Вечером Жироду вызвал меня к себе в кабинет. У ног его лежал великолепный пес, которого он гладил и время от времени разговаривал с ним. Я смотрел на Жироду, элегантного, обворожительного, и прислушивался к его безукоризненным, изящным, ироничным фразам. Но сутью их была чистая, благородная любовь к Франции, какой она ему представлялась, — и то была подлинная Франция; а его своеобразное чувство чести было подлинной честью. Странно и страшно было осознавать, что этот великий писатель, заклеймивший когда-то воинственные речи Пуанкаре, возглавлял теперь нашу военную пропаганду. Один высокий военный чин спросил его надменно: что же французское воображение может противопоставить изобретениям Гитлера? Он не задумываясь ответил: «Кира Великого».

Ответ мне понравился, но кто мог сказать наверняка, помогут ли нам фантазии и находчивость самого французского из всех французов.

Следующая глава выпадает из череды воспоминаний. Я написал ее в 1941 году в Нью-Йорке, на башне, возвышающейся над Парк авеню. Поражение Франции забросило нас с женой в Америку. Я поместил этот текст в финале первой части моих «Мемуаров», которая заканчивается 1939 годом и включает разделы: «Годы ученичества» и «Годы труда». Хронологически повествование продолжается в «Годах бедствий».

Царствие Божие

Царствие Божие внутри вас есть.

Евангелие от Луки, 17, 21

Сегодня утром в лиловом предрассветном тумане мне почудился раскинувшийся у моих ног итальянский город, вознесший ввысь церковные шпили и крепостные башни. Вдали сквозь бледную зелень и прозрачную дымку проступает голубое озеро Центрального парка; оно напоминает крошечные средневековые пейзажи, едва различимые в светящемся мареве заднего плана картины. С раннего утра по улицам, как по шахматной доске, движется бесчисленное множество желтых, серых, черных машин, послушных в своем продуманном танце ритмичному чередованию красных и зеленых огней. Прохожие кажутся сверху темными и светлыми точками. Забираясь на такую высоту, я иногда чувствую себя монахом-столпником и отрешаюсь от суеты и городского шума. Возвышенность этих мест располагает к молитве. Подведем итог.

«На земле мы как на спектакле, — писал Шатобриан. — Стоит на мгновение отвернуться, как раздается свисток и волшебные дворцы исчезают. Когда же мы снова устремляем взгляд на сцену, то видим лишь голые доски и незнакомых актеров...» На сцене собственной жизни я долго глядел на привычные декорации и считал их неизменными. «Здесь такая панорама!» — сказал мне архитектор, когда я покупал дом в Нёйи. В декорациях, изображавших Булонский лес, Париж, Францию, двадцать лет кряду играли известные мне актеры; я знал их амплуа и творческие возможности, я разбирался во всех перипетиях пьесы и, казалось, угадывал развязку. Вдруг звучит свисток: вмешивается Судьба. Панорама исчезает. Булонский лес уплывает вверх, в колосники, силуэт Триумфальной арки бледнеет, в темноте колдуют рабочие сцены. Когда вновь вспыхивают огни рампы,

на заднике изображены Рокфеллеровский центр и Эмпайр-стейт-билдинг, а на сцене — совсем другие герои, говорящие на чужом языке.

В счастливые дни я писал: «Жизнь моя похожа на сказки «Тысячи и одной ночи», где колдун, разыскав в обувной лавке бедного башмачника, делает его халифом. Жизнь моя — это волшебная сказка. Утро — я живу в провинции, в глуши, и робко восхищаюсь прославленными деятелями, которых мне не суждено узнать ближе. Вечер — я давно покинул тихий уголок, а те, кого я обожал издалека, стали моими друзьями». Я забыл только, что на последней странице колдун снова может превратить халифа в бедного башмачника. Странная сказка моей жизни заканчивается именно так. У меня было все: друзья, состояние, почести, семейный очаг, — и всего я лишился. Осталась только моя лавка уличного писца. Жизнь снова похожа на сказку, но последнее слово осталось, кажется, за злыми волшебницами.

Подведем итог. Подобно тому как на детских фотографиях мы с удивлением обнаруживаем черты, сохранившиеся в старческом лице, так же и нами всю жизнь руководят страсти, зародившиеся еще в детском сердце. До сих пор, вынуждая меня поступать наперекор обстоятельствам, мною движет неутомимая жажда самоотдачи, которую впервые я испытал, читая на развилке ствола высокой нормандской сирени не помню чью книгу «Маленькие русские солдатики». А наслаждение от хорошо написанной фразы, которое я впервые познал, когда был лицеистом и начал изучать классиков, — до сих пор это остается для меня самой большой радостью. Первые доллары, заработанные в этой стране, я потратил на то, чтобы снова окружить себя произведениями Паскаля и Боссюэ, Реца и Сен-Симона. Мои ученические добродетели, жажда знаний и стремление ими делиться помогли мне этим летом провести несколько упоительных недель в Милс-колледже.

У меня есть два брата, два литературных персонажа, которые помогают мне лучше разобраться в себе. Это князь Андрей у Толстого и доктор Антуан Тибо у Мартена дю Гара. Оба — люди безупречно нравственные, и не из принципа, а просто в силу цельности своей натуры. Внутренний нравственный импульс — вот, пожалуй, тот код, через который можно объяснить мои поступки. Мне кажется, в безразличном к нам окружающем мире человек не может опереться ни на природу, ибо ее законы не имеют никакого отношения к нашим чувствам, ни на толпу, чье поведение сродни явлениям природы. Человек может рассчитывать лишь на себя и себе подобных союзников. Царствие Божие лишь в сердце верных. Всю свою жизнь, подчиняясь скорее инстинкту, нежели продуманному решению, я старался хранить верность принятым обязательствам, людям, которых любил, своей стране. Иногда императив верности чему-то одному исключал верность другому, и тогда приходилось делать трудный, а подчас и невозможный выбор. Я старался как мог, но не избежал оплошностей, ошибок и страданий.

Я сказал «верность стране и людям», но я не имел в виду ни определенную идеологию, ни определенную партию. Я вообще более чем далек от духа партийности. Не люблю политических теорий и не верю в них. Борьба разных группировок для меня, как говаривал Монтескьё, «лишь повод поохать». И я всегда готов принять ту форму правления, которую свободным волеизъявлением выберут себе французы, если только она обеспечит им единство, независимость и безопасность. Но, легко принимая самую строгую дисциплину в действиях, я убежденно стою за свободу мысли. Добросовестные учителя, преподававшие физику, химию и историю, научили меня чрезвычайно уважительному отношению к фактам. Если какое-либо положение удачно укладывается в мои умозаключения, это еще не значит, что оно истинно. Противника я слушаю с опрометчивым желанием понять его. Мне трудно заподозрить кого-то в озлобленности, злонамеренности и коварстве. Отсюда моя наивная доверчивость, сотни допущенных неосторожностей и бессмысленная надежда доказать фанатикам, что они заблуждаются. Ведь фанатики сами хотят заблуждаться. Похвально ли это? По-моему, нет. Но многие люди, к которым я отношусь с большим уважением, придерживаются иного мнения. В этих неистовых упрямцах они видят соль земли. «Вам не хватает воинственности», — повторял мне Люсьен Ромье и был прав, потому что присущее мне чувство меры делает мои суждения не такими резкими. «Истина есть крайность, — учил нас когда-то Ален. — Нужно далеко зайти за черту умеренности, чтобы понять даже самую простую вещь». «К чертогу мудрости ведет тропа чрезмерности», — писал Блейк. Я прекрасно понимаю, что они имеют в виду, но крайности мне чужды, даже противопоказаны, и истерзанной

Франции, я думаю, тоже. Должно быть, для устойчивости мира нужны как безумцы, чтобы расшевелить народ, так и спокойные умы, чтобы с восходом солнца унять беснующихся фурий, дочерей тьмы.

Иных бедствия ожесточают, меня же они излечили от многих предрассудков. Я начал свою жизнь в клане тех, кто повелевает, и долго не мог понять недовольство других — кем повелевают. Например, прежде я готов был повторить вслед за Гёте: «Несправедливость я предпочитаю беспорядку». Теперь я уже так не скажу. Невзгоды научили меня терпимости, терпению, выдержке и состраданию. Или еще: я долгое время считал, что любая женщина, поразившая меня своей красотой, непременно должна быть умна, скромна и добра. Опыт обманул мои ожидания, прозрение было мучительным. Но главное, чему я научился в этой школе, — самопожертвование; если оно не замешено на гордыне, то дарит ни с чем не сравнимую радость. Самые счастливые мгновения своей жизни, моменты озарения и восторга я пережил, когда, движимый любовью или состраданием, забывал о себе. Как это отрадно — забыть себя. В смирении, если оно добровольное и безусловное, есть чудесная защищенность. У Сайна в «Заложнике»[1] есть такая реплика: «И вот я сел на последнее место, чтобы никто меня не потеснил».

Темнеет, сумерки окутывают город, в котором меж тем загораются мириады огней. Длинная цепочка рубинов рассыпана по Парк авеню, неожиданно они гаснут, и на их месте уже сверкают изумруды. Ближе к Ист-Ривер на земле больше огней, чем звезд на перигорском небе. Те, что вблизи, неподвижны, а на горизонте они мерцают сквозь колеблющийся туман и складываются в неведомые созвездия. На юге начинают светиться башни и колокольни. В ослепительном свете прожектора изрытый темными ячейками окон фасад Радио-сити похож на гигантские соты на фоне грозового неба. Контуры других зданий размыты, растворены во тьме; только горящие окна взлетают вверх, к звездам, и кажутся витражами огромного, размером с город, собора. О чем молится собравшийся в нем люд?

Ах, я знаю, о чем они просили бы, будь они мудры, или, вернее, что они всеми силами старались бы удержать. То, что уже имеют, — свободу, терпимость и относительную мягкость нравов. Счастливая Америка, помни наши ошибки, наши страдания, не думай, что путь в будущее лежит через забвение прошлого; обновляя, сохраняя, созидая, не разрушай. Чему научили нас бесчисленные катастрофы? Что не бывает справедливости без порядка. Я был и остаюсь либералом. Это значит, я убежден, что люди будут лучше и счастливее, если получат основные свободы. Я понял также, что нет свободы без защищенности и нет защищенности без единства. Я знаю, что, если по окончании войны Франция хочет остаться великой державой, она должна будет засыпать «кровавый ров» и примирить всех французов.

Прошлым летом, когда студентки Милс-колледжа анализировали героев моих книг, я был поражен, как часто встречается у меня тема примирения. «Полковник Брембл» — попытка объяснить французам английскую душу, а англичанам — французскую; «Бернар Кене» — попытка доказать, что порядочность в равной степени может быть свойственна как рабочим, так и хозяевам; «Превратности любви» — попытка доказать правомерность и мужского, и женского взгляда на брак; «Семейный круг» — попытка примирить поколения. Я всегда считал, что слова больше, чем действия, разъединяют людей, тогда как молчание и труд могут привести к согласию. Даже сегодня, в том хаосе, где гибнет цивилизация, я продолжаю напряженно искать возможности сближения. Неудачи не убили во мне упрямой и, пожалуй, нелепой веры, что ненависть между людьми будет побеждена любовью.

Иллюзии? Не совсем, ибо любовь есть реальность. Разумеется, невозможно освободить человека от страстей, но нужно создать такие условия, при которых даже страсти будут объединять людей и сплачивать общество. Я думаю, что это возможно. За время нашей истории счастливое равновесие достигалось не раз. Без сомнения, когда война закончится, такое равновесие будет найдено. Лет десять — или сто — оно будет казаться прочным. А потом снова хрупкое строение пошатнется.

«Какие законы лучшие?» — спросили как-то у Солона[2]. «Для какого народа и в ка-

---

[1] «Заложник» — драма французского писателя Поля Клоделя, поставлена в 1914 г.

[2] Солон (между 640 и 635 — ок. 559 до н. э.) — афинский политический деятель и поэт, античные предания причисляли его к Семи мудрецам.

кое время?» — ответил он вопросом. Народы, как и люди, весь свой век преодолевают крутой подъем, по обеим сторонам тропы зияют пропасти, и отдохнуть на краю обрыва невозможно. Каждая минута — восхождение, каждый день — борьба. Жизнь — это игра, из которой нельзя выйти, забрав свою ставку.

До моей башни доносятся иногда кое-какие вести. Меня хочет видеть незнакомый молодой человек. Он приехал из Эльбёфа и показывает мне маленькие снимки, на которых можно разглядеть руины домов, окружавших меня в первые годы жизни, и все, что осталось от живописных руанских набережных — каждое утро, проходя по мосту Бойельдье, я любовался ими, как будто видел в первый раз. Я начинаю расспрашивать гостя и выясняю, что он внучатый племянник начальника пожарной охраны, того самого, которого я помню с раннего детства в медной каске с красным султаном. «Что с ним стало?» — «Я не знал его, — объясняет гость. — Он был чем-то вроде семейной легенды... Сын его, мой дядя, умер несколько лет назад в чине полковника».

Однажды по телефону мне сообщают, что бывший директор Руанского лицея покинул Европу и живет в Нью-Йорке у дочери. Я отправляюсь его навестить и с радостью нахожу старого и обходительного французского эрудита, который посреди всей этой неразберихи продолжает философствовать, цитируя классиков. «Как прекрасен был наш парадный лицейский двор, — говорит он. — Корнель работы Давида Анжерского... И великолепная иезуитская часовня... мне, государственному служащему, пришлось реставрировать памятник Лойоле перед ней...»

Пришло письмо от Луи Жилле — удивительное, героическое, совершенно в духе этого благородного человека. Приходят и другие: от Андре Жида — серьезное и проникновенное; от Роже Мартена дю Гара, от Жана Шлюмберже[1], от Анны Эргон. Она в Алжире и изо всех сил старается подкармливать моих детей, потому что во Франции голод; проблемы еды горячо обсуждаются в наших письмах. Жеральд нашел себе место, через силу работает. Оливье болен и живет в горах, в школе-санатории. О дочери и матери, которые сейчас в Париже, я узнаю от тещи, но и ее письма по известным причинам осторожны и содержат высказывания, порой прямо противоположные ее мыслям, — все мы вынуждены остерегаться многоэтапной цензуры. От этих истерзанных, испещренных клейкими цензорскими заплатками конвертов веет страданием. Когда их вскрываешь, в горле стоит комок. И начинаешь мечтать, как бы увидеть любимых и сказать им все, о чем неизбежно молчат письма.

Но ждет работа. В соседней комнате уже застрекотала машинка жены. Мы занимаемся одновременно этой книгой, подготовкой моих лекций и, что самое трудное, работами, связанными с войной. Так что живем одни и не знаем ни минуты покоя. Счастливый брак — это непрекращающийся диалог, который всегда кажется слишком коротким. Иногда по вечерам, когда из Франции приходят утешительные вести и дневные труды успешно завершились, когда ночь тиха и огни над городом величественно прекрасны, нас посещает мимолетная, неуместная и дерзкая надежда на лучшее. «Увы, — говорит тогда Симона, поеживаясь, — опять что-нибудь стрясется».

Она теперь, как и я, знает, что счастье подобно анемонам, бело-розовым цветам моего детства, которые нельзя срывать.

Возможно, она права. Вот-вот прозвучит новый свисток, и рок сменит декорацию, как уже сменил однажды. Рокфеллеровский центр и Эмпайр-стейт-билдинг могут исчезнуть так же быстро, как исчез Булонский лес. Возможно, теперешняя наша жизнь, такая неустойчивая, хрупкая, с таким трудом кое-как налаженная за год, рухнет в один миг, как рухнула прошлая, казавшаяся незыблемой. Что предстанет перед нашими глазами, когда вновь зажгутся огни рампы — если они зажгутся? Этого не может знать никто. В глубине души теплится боязливая, но упрямая мысль, что, может быть, это вновь будет декорация милого сердцу, славного Перигора, длинная долина с подступившими к ней вплотную тополями, карминовая черепица «Бруйяка», пылающая в лучах закатного солнца... Ночью же, когда совсем стемнеет, поверх платанов и кедров засверкают на небе знакомые созвездия, которые на самом красивом языке мира назовут родные голоса.

---

[1] Жан Шлюмберже (1877—1968) — французский писатель, один из создателей литературного журнала «Нувель ревю франсез» (1909).

МИЛОРАД ПАВИЧ

ПИСАТЬ ВО ИМЯ ОТЦА, ВО ИМЯ СЫНА ИЛИ ВО ИМЯ ДУХА БРАТСТВА?

В Греции, на последнем из ее полуостровов, Халкидики, уже более тысячи лет существует монашеское православное государство. Число его монастырей велико, и монахов, населяющих эти монастыри, множество: греки, сербы (их монастырю Хиландар принадлежит половина Святой Горы), русские, болгары и другие. Тот, кто посетит монастыри Святой Горы (Афона) узнает, что там есть два вида монахов: киновиты (это название происходит от греческого слова χοινός βios, что означает «совместная жизнь») и идиоритмики — одиночки. Таким образом, одни живут связанные святым заветом братства, объединенные в своего рода коммуну, а другие сами по себе, почти не соприкасаясь с остальными монахами. (Разумеется, это просто два типа монашеской жизни, принятые на Афоне, и каждый из этих монашеских орденов — назовем их так — дал редкие примеры подвижников, выбирающих отшельническую судьбу анахоретов.) Однако у этих двух, как мы их назвали, орденов есть еще одна важная особенность, вернее, различие. Уже много столетий монахи-общежители (те, что живут вместе) и монахи-одиночки поделили между собой разные ремесла, виды деятельности и духовные дисциплины. Такое распределение видов человеческой деятельности проведено с большой точностью, и они строго придерживаются его.

Одиночки и братство

Трудно сказать, когда и при каких условиях перевешивает на Афоне власть того или другого монашеского ордена. Однако всегда, когда, к примеру, одно поколение киновитов (общежителей) начинает пользоваться в монастыре бóльшим влиянием, на первый план выходит то, чем занимаются именно они. А киновиты (общежители) охотнее и чаще становятся музыкантами (певчими в церкви), строителями и каменщиками, ратниками (если этого требуют обстоятельства), врачами и знахарями, астрономами, виноградарями, писателями — все эти занятия связаны именно с их орденом, и они углубляются в них, всегда среди семи свободных наук, известных нам с давних времен, отдавая предпочтение квадривиуму, а именно тем, которые относятся к математическим (арифметика, геометрия, астрономия и музыка). Разумеется, рядом с этими наиболее популярными дисциплинами, а прежде всего с музыкой, стоит и интерес к сценическому искусству, театру, хотя его на Афоне, конечно, нет.

До поступления в монастырь киновиты, как правило, участвуют в крупных народных движениях, а если им случается уйти в ересь, то они часто становятся догматиками и иконоборцами.

И наоборот, когда в том или ином поколении перевес оказывается на стороне идиоритмиков (одиночек) и именно они, заняв влиятельные позиции, начинают управлять монастырем на Святой Горе, на первый план выходит то, чем главным образом занимаются они. А одиночки становятся преимущественно художниками, проповедниками, землепашцами, педагогами, лингвистами, рыбаками и лоцманами. В отличие от киновитов, идиоритмики чаще принадлежат к широким международным движениям, а впав в ересь, превращаются в идолопоклонников. Среди семи свободных наук их обычно вдохновляет тривиум, а это значит, что своими занятиями они выбирают устные дисциплины: риторику, грамматику (охватывающую и осмысление литературных произведений) и диалектику как искусство вести спор, то есть логику.

Не следует думать, что перевес одного или другого ордена происходит в монастыре сам по себе или же в точной последовательности, зависящей от смены поколений. На деле эти смены суть следствие крушения тех или иных устремлений монашеской жизни. Мне трудно оценить, при каких обстоятельствах входят в силу, например, киновиты, а при каких — идиоритмики. Однако складывается впечатление, что киновиты управляют монастырем в добрые времена, когда царит процветание, а идиорит-

© Милорад Павић, 1990
© Л. Савельева. Перевод, 1998

мики выходят на первые роли в самые тяжелые и смутные периоды, когда наступают дни бедствий. И по отношению к себе подобным киновиты и идиоритмики существенно различаются и ведут себя совершенно определенным образом. Идиоритмики друг с другом не знаются, а если некоторые из них занимаются писательством, то друг друга не читают. Киновиты же даже не замечают разделения, о котором мы говорим. Это, однако, не влияет на то главное, что мы отметили еще в начале, а именно, что поколения киновитов и идиоритмиков сменяют друг друга, пропуская на первый план то один, то другой образ жизни и позволяя особенно интенсивно развиваться то одним, то другим видам человеческой деятельности, поделенным между двумя видами монахов — одиночками и общежителями. Так на Святой Горе веками все человеческие умения, объединенные в две большие группы, попеременно то набирают силу, то отходят на второй план, позволяя наукам и искусствам дышать в одном ритме со сменой поколений. Таким образом, мы видим, что одна из групп дисциплин всегда остается в тени, превращаясь во второразрядную. И значит, догадываемся мы, с помощью монахов человечество совершенствует свои достижения, свои ремесла, искусства и знания в ритме приливов и отливов.

Смена монашеского ордена (отшельники)

Жизнь иногда вносит изменения в выбор людей. Случается на Афоне и так, что какой-нибудь идиоритмик, одиночка, стоящий перед Богом, становится вдруг каменщиком (что вообще-то не свойственно духовному братству, к которому он принадлежит, то есть идиоритмикам) или киновит делается полиглотом, что характерно как раз для представителей другого ордена. Можно не сомневаться, такому монаху всегда будет нелегко осуществить призвание, представляющее собой чужую привилегию. Находясь на Святой Горе, я спросил, каким образом идиоритмик становится киновитом? Что должен сделать монах для того, чтобы перейти в другой орден? Он должен сменить имя, отвечали мне, отказаться от родного языка, покинуть монастырь, в котором до этого находился, и уйти в какой-нибудь другой... В том случае, если монах найдет в себе силы для такого подвига — поменять всю свою жизнь и монастырь, — то в новой для себя среде, в другом ордене, он сможет реализовать свое призвание без мучений, которые ждали бы его в подобном случае в прежней жизни. С точки зрения интересов призвания монах спасен, однако с точки зрения целостности его души — нет, потому что тот, кому удается излечиться от себя самого, плохо кончает.

Литературный вид явления

В этом месте придется сказать, что дальше мы не будем разбирать практику монашеской жизни ни на Святой Горе, ни где бы то ни было еще. Ведь все, о чем мы здесь говорили, можно найти не только среди монахов Афона, но и на Синае, и не только сейчас, но уже в период раннего христианства. Нам же все это интересно потому, что может быть осознано как важный опыт монашеской мудрости, накопленный за долгую историю, которая уходит в далекие времена, и помогающий им справиться с трудностями смены поколений и со своими обязанностями в монастырской жизни. Таким образом, мы можем, имея в виду опыт, вынесенный со Святой Горы, обратиться к жизни, не задумываясь больше над тем, откуда мы его извлекли. Возьмем, например, литературную жизнь. Нам сразу же бросится в глаза, что далеко не всегда литература оказывается в списке «привилегированных» занятий, что и она, как и всякий иной вид человеческой деятельности, время от времени уходит в тень каких-то других видов, в данный момент более «важных», и, разумеется, происходит это тогда, когда по своему значению для общества в нем перевешивает поколение идиоритмиков, одиночек (здесь, конечно, уже не в конфессиональном значении слова), к кругу деятельности которых (как мы уже видели) литературное творчество не относится. Иначе говоря, положение писателя в той среде, где он находится, во многом зависит от исторического момента, но еще больше от того, принадлежит он к поколению идиоритмиков или киновитов. И, возможно, было бы интересно посмотреть на литературу через эту смену склонности или несклонности к литературному творчеству в отдельных поколениях.

Читатель, не расходующий энергию, накопленную благодаря чтению, похож на человека, который толстеет оттого, что не тратит энергию, приобретенную за счет пищи. С писателем дело обстоит иначе. Однако писателей с читателями роднит описанная выше универсальная модель со Святой Горы, которая может быть распространена на все виды человеческой деятельности и которая, таким образом, охватывает общей концепцией все виды искусства и все отрасли науки (с чем, кстати говоря, мы не сталкивались после эпохи Просвещения). Уместно даже сказать, что каждый из нас мог бы задаться вопросом, к какой группе принадлежит он сам — к одиночкам или к братству людей, связанных друг с другом, и, найдя ответ, получить возможность чуть больше понять

себя и свое время, свои занятия, неудачи, вероятные трудности или достижения. Исходя из описанной модели поведения при смене поколений, легко вообразить себе некую «Сравнительную историю искусства и науки». В будущем после возможных исследований этой области в каком-нибудь труде такого плана нашелся бы ответ на вопрос: к какой группе принадлежали, например, Уильям Шекспир и Сервантес? Или Юнг и Эйнштейн?..

Для начала я попытался бы отметить некоторые отдельные случаи, которые можно представить себе в области литературы при таком подходе к жизни и творчеству.

Писать в духе братства

К этой группе принадлежат счастливчики, потому что среди членов их ордена расцветают именно те виды деятельности, к которым они чувствуют склонность. Если речь идет о литературе, то это случаи, когда писатель относится к братству киновитов и пишет в духе своего святого братства. (Еще раз напомню, теперь мы уже не употребляем слова и выражения в конфессиональном смысле.) Беру на себя смелость высказать уверенность в том, что сюда и по военному, и по писательскому призванию относится Сервантес, так же как Платон или Толстой, тоже солдаты и писатели или философы, и всем им удалось осуществить свое писательское призвание без особых препятствий на жизненном пути, то есть они смогли самореализоваться, оставаясь в той же группе, к которой естественным образом принадлежали и они сами, и их творческие склонности. Им не нужен был никакой отец, достаточно было принадлежности к братству, и им не стоило никакого труда клясться слабыми отцами, которых не нужно было бояться. Так, например, делал Платон, клянясь Сократом, одним из настоящих одиночек, обладавшим настоящим эдиповым комплексом, который и привел его к смерти. Потому что зачем и насколько мог быть нужен Платону — писателю, солдату и члену братства — какой-то проповедник, высказывающий умные мысли? Он был для него всего лишь оправданием, объектом клятвопреступления, так же как Христос для евангелистов.

Ведь писательское мастерство — напомним еще раз — относится к области, где правят киновиты, и Платон — как человек, принадлежащий к братству, — использует lege artis[1] и не чувствует никакой необходимости подчинять свою личность таланту и мастерству учителя-одиночки, относящегося к тому поколению, с которым писательство не имеет никакой связи. Более того, Платон даже выступает против подобного дара, дара поэтического, и чувствует свое право на это — ведь дар принадлежит ему и его братству, поколению тесно связанных между собой людей, правда, он оставляет возможность защищать его Аристотелю, тоже одному из одиночек, которому этот дар не принадлежит ни по тому, каков порядок вещей, ни по тому, к какому поколению он относится, так что Аристотель обращается к нему «не имея на это права». Аналогичным образом Сервантес не обязан был сочинять восхвалений своим боевым товарищам. Он, напротив, занялся одним-единственным солдатом, превратив его в Дон Кихота — самого известного в мире ратника.

Писать во имя отца (anti-oedipus)

Если первая группа писателей требует проведения подробнейших исследований, то со второй, видимо, все гораздо яснее. Для начала возьму на себя смелость предположить, что Аристотель принадлежал к поколению одиночек и оказался зажатым между двумя мощными братствами в поколении отцов и в поколении детей его рода, говоря конкретнее, между учителем Платоном и учеником Александром Македонским. В таком положении он не имел права на литературное творчество по принадлежности к поколению и должен был его завоевать или же выпросить у поколения отцов, которые жили в духе братства, согласно чему (вспомним о разделении родов деятельности у киновитов) литературный труд «отходил» к ним. Мы сказали *выпросить* или *завоевать* право на литературный труд. Известны и те и другие случаи. Остановимся здесь только на первых — когда право на свое призвание нужно было *выпрашивать* у всемогущих отцов, которым оно принадлежало по традиции, если речь шла о тех отцах-киновитах, которые обладают «непосредственным правом» заниматься литературой. Ибо одни и те же науки, искусства и умения в руках одиночек становятся *вассальными* по отношению к таким же наукам, ремеслам или умениям, когда их практикуют члены спаянного поколения киновитов, если это дисциплины из их сферы и если они, то есть их братство, в настоящий момент представляют собой в обществе преобладающий фактор. Отсюда становится ясно, что в какой-то период некоторые виды искусства, умений и наук делаются «запрещенными» одной группе людей и становятся привилегией другой группы. В таком положении писатель, оказавшийся, подобно Аристотелю, как между молотом и наковальней, между двумя могущественными

[1] Правила искусства (*лат.*).

поколениями киновитов, может, будучи идиоритмиком, решиться начать писать (на что он не имеет права по своей принадлежности к поколению) в пусть выпрошенной им, но все же открывшейся перед ним писательской сфере «во имя отца». Это те случаи, когда у писателей проявляется антиэдипов комплекс.

Но это отнюдь не тот случай, когда клянутся слабым отцом, как это было с Платоном, который клялся Сократом. Это случай, когда клянутся сильным отцом, как это было с Христом, являющим собой первый пример поведения, выражающего антиэдипов комплекс. В конце XII — начале XIII века на Афоне жили два монаха, отец и сын, позже причисленные сербской православной церковью к лику святых. Отец, Неманя, был знаменитым военачальником, основателем сербской царской династии Неманичей и правителем сербского государства. Его младший сын, принц, а позже святитель, Савва воспитывался и рос в тени собственного могущественного отца. Принявший еще в молодости постриг, святой Савва стал одним из крупнейших писателей в сербской литературе. Исходя из рода деятельности и направленности интересов этих двух святых, можно сделать вывод, что Неманя должен был принадлежать (в соответствии с изложенной здесь схемой) к поколению, которое крепко связано узами братства, в то время как его сын мог быть только идиоритмиком, причем не в монастыре, а по принадлежности к поколению. Проблема возникла в тот момент, когда Савва, сын царя и монах, решил заняться литературой, делом киновитов, то есть группы или поколения, к которому он не имел и не мог иметь отношения именно «по принадлежности». Таким образом, он начал заниматься таким видом искусства, которое соотносилось не с его группой крови идиоритмика, а с группой крови его собственного отца и его же ровесников, то есть братства. У святого Саввы было два пути, две возможности. Он мог остаться послушным своему отцу и мог отказаться от послушания. Он выбрал первое. И подчинил свое литературное призвание идиоритмика литературному призванию и целям братства своего отца, то есть киновитов, проявляя тем самым антиэдипов комплекс. Жертвуя индивидуальным призванием писателя-идиоритмика ради интересов содружества, святой Савва поставил свое литературное творчество на службу прославления отца и династии Неманичей и помог тем самым возрождению сербского государства в XIII веке, в результате чего в XIV веке оно превратилось в царство. А свой монастырь Хиландар на Святой Горе он устроил по образцу киновитских греческих монастырей и ввел там устав общежителей...

Благодаря таким выводам мы можем сделать еще несколько шагов по нашему полному предположений пути...

Писать во имя сына (oedipus)

Теперь мы можем задаться вопросом: кем бы стал святой Савва, не подчини он свое писательское призвание общим интересам, интересам отца и его братства киновитов? Он мог избрать тяжелый путь и не согласиться поставить талант на службу нуждам монахов-киновитов, которые занимались литературой по долгу, как своей официальной профессией. И в числе этих монахов был и его собственный отец, Неманя, тоже писатель. В таком случае, выбрав путь неповиновения, святой Савва проявил бы эдипов комплекс. Он этого не сделал. Но были такие, кто поступал именно так. Тут мы подходим к вопросу о Шекспире. Надо сказать, что Шекспир очень хорошо вписывается во все особенности, характерные для поколений, названных нами идиоритмиками, или одиночками. Хотя ему и приходилось время от времени — оказывая услуги — хвалить крепко спаянное в братство поколение киновитов, он смог несмотря ни на что сохранить собственную литературную самобытность. Шекспир — по моему впечатлению — представляет собой чрезвычайно редкий случай писателя, не захотевшего подчинить свое творчество литературному давлению объединенных в братство старших современников-киновитов. Это как раз один из тех редких случаев, когда монах выбирает ценности другого монашеского ордена, но соглашается на вассальное положение, которое влечет за собой такой выбор, и, заплатив исключительно высокую цену, реализует свое призвание, невзирая на обстоятельства и не соглашаясь подчинить свою дисциплину или призвание ценностям, которые культивируются в кругу тех, кто считает себя вправе воспринимать и развивать эти ценности в качестве собственности.

Когда речь идет о Шекспире, ясно, что современники сделали все для того, чтобы предать его забвению. В заключение можно было бы еще сказать, что литература безусловно была первым призванием Шекспира, но не была и не могла быть первым призванием его поколения одиночек, идиоритмиков. Именно в этом смысле можно толковать и понимать сонеты Шекспира. Что же касается киновитов эпохи Шекспира, то они так и не простили ему, что он смог стать первым среди писателей и поэтов, не принадлежа к их братству, для которого литература была привилегией. Он должен был бы стать одним из них. Одним из членов братства. А не оставаться одиночкой. Но кроме этого Шекспир вошел и еще в одну область, быв-

шую привилегией лишь мощных братств. Он вошел в театр, да так и остался в нем по сей день. И за это ему пришлось заплатить киновитам. Потому что сама природа одиночек не позволяет им иметь друг с другом много общего, становясь писателями, они не читают друг друга и обращаются исключительно к будущим поколениям, пишут во имя Сына, а не во имя Отца и не во имя Святого Духа своего братства. Между тем писать во имя Сына — отнюдь не гарантия ни скорого понимания, ни быстрого признания, этого вообще может не произойти. Обычно между двумя поколениями киновитов находится одно поколение идиоритмиков — одиночек, испытывающих давление как со стороны братства своих отцов, так и со стороны собственных детей. Итак, следует иметь в виду, что и в отношениях с сыновьями существует та же проблема, с которой писатель сталкивается в отношениях с отцами. Для писателя вовсе не безразлично, предшествовало ли ему поколение слабых сыновей (идиоритмиков), какое было перед победителями во второй мировой войне (именно они-то в значительной степени и сделали его «слабым», поколением одиночек), или поколение сильных, крепко спаянных сыновей, какое было, например, перед нами, родившимися около 1930 года и оказавшимися слишком молодыми для войны и слишком старыми для 1968 года, который был делом рук наших сыновей. Победители во второй мировой войне произвели пару поколений нас, идиоритмиков, слабых сыновей, и они держали нас в покорности до тех пор, пока мы не оказались совершенно определенно вытесненными со сцены новым поколением киновитов, «святым братством» 1968 года. В Германии же, Японии, Италии война и поражение в ней вывели на сцену одно-два поколения сильных сыновей, которые смогли объединиться в братства и — без помех со стороны отцов, проигравших войну, — создать германское, японское и итальянское экономическое чудо. Все они были на одно поколение моложе тех, кто руководил странами, победившими во второй мировой войне.

Литература, так же, разумеется, как и все остальное, не могла остаться не затронутой этими обстоятельствами, и одиночки, которые выбрали для себя писательское будущее, были вынуждены выпрашивать или же завоевывать у сильных отцов и сильных сыновей право на жизнь. И тут уже история, конечно, просто повторялась.

Возможно, самые интересные случаи встречаются тогда, когда в один и тот же период сосуществуют сильный отец, киновит, крупная, значительная фигура, политик и военный, как, например, Толстой или Гёте, а в предыдущем или следующем поколении, в поколении слабых отцов или слабых сыновей, то есть идиоритмиков, какой-нибудь великий писатель, ставший таким вопреки тому, что его «ордену» не соответствовало lege artis писательское призвание, как это было с Достоевским или Гёльдерлином. По аналогии с такими парами нужно было бы искать и «сильную» киновитскую пару Шекспиру, какого-то писателя, которого характеризовало бы (неосуществленное) патерналистское отношение к Шекспиру и которому не удалось навязать ему свою литературную волю, как это не получилось у Толстого по отношению к Достоевскому или у Гёте по отношению к Гёльдерлину.

Возможно, именно в появлении подобных «пар» и реализуется закон герметической мысли у евреев, который требует, чтобы при каждом посвящении в любую из высших тайн в нем участвовало не одно, а два лица.

Писать во имя Пресвятой Девы Марии

Читатель с полным правом может задать вопрос, почему этот раздел не отражен в названии нашей работы. Ответ очень прост: несмотря на то, что вся Святая Гора посвящена Богородице Троеручице, монахи, живущие там, не могли ввести женщину в рамки своего распределения людских профессий и смен поколений по той простой причине, что женщинам присутствовать на Афоне не разрешено. С другой стороны, и у меня самого нет ответа на этот вопрос, оставшийся открытым на Святой Горе. Рассмотреть роль женщины в смене поколений, в делах киновитов и идиоритмиков очень трудно. Каким ритмом развивается жизнь женщины, к сожалению все еще пребывающей в тени стремлений и интересов мужчины? Мне кажется, по отношению к женщинам вряд ли применимо разделение, характерное для монахов, хотя многие из читательниц «Пейзажа, нарисованного чаем» говорили, что чувствуют себя одиночками, и мне ни разу не довелось услышать от женщины, что она воспринимает себя как частицу братства киновитов. Распятые или между сильными отцами и слабыми сыновьями, или — в каком-то другом поколении — между сильными сыновьями и слабыми отцами, они всегда были вынуждены заботиться о «слабой части» своей семьи (это, правда, не значит, что они всегда становились на ее сторону). Возможно, у нас есть основания сказать, что и в литературе, как на Святой Горе, женщина представляет собой и самый заметный, и самый незаметный фактор. И с этой точки зрения, как мне кажется, писатели пока еще не отдавали себе в должной мере отчета в том, для кого они пишут и какое место в написанном ими

принадлежит читателю-женщине. Тем не менее некоторые авторы как в нашей, так и в мировой литературе считаются «женскими писателями». У нас это Воислав Илич, Йован Дучич — поэты, но сюда же относят и написавшего эти строки, то есть того, кто преимущественно занимается прозой. Мне известен один случай, когда некая особа женского пола видела во сне мужчину, оплодотворявшего ее со всех сторон, через все поры тела, причем мужчина был писателем, с которым она хотя и была знакома, но никогда не имела каких-либо близких контактов. Для нее это было своеобразным «погружением в литературное семя», оплодотворением без дефлорации. Также можно было бы сказать: в каком-то ином смысле каждая книга имеет своих родителей и писателю следовало бы хорошенько подумать, кто отец, а кто мать тому, что он написал. И вспомнить, что наряду с женами писателей, которые пишут во имя своего отца, сына и духа братства мужчин, и они и он пишут и во имя Пресвятой Девы-Матери. А еще вспомнить знаменитую защитницу Святой Горы, Богородицу Троеручицу, третья рука которой, как известно, принадлежит одному из самых великих в истории человечества поэтов — Иоанну Дамаскину.

*

Вместо заключения скажу, что модель поведения, о которой здесь шла речь, помогает, как мне кажется, понять отношения между искусством и наукой в ходе смен поколений. Возможно, монахи с Синая и Афона открыли маленькую «систему Менделеева» в области, относящейся не к химии, а к целому комплексу видов человеческой деятельности, к которому принадлежит и литература. Однако на исследование этих сложных отношений потребовалось бы более двадцати лет. Так что вместе с другими вопросами, правильно и неправильно поставленными нашей эпохой, предложим следующему столетию решать и эту задачу.

Если в XXI веке наши потомки прочтут эти строчки, часть из них отреагирует на них как киновиты, а именно — сделают вывод, что все рассуждения о двух типах и двух группах людей не имеют смысла, ибо для них деления на поколения не существует. Другие же, то есть идиоритмики XXI века, скажут, что все написанное здесь совершенно верно, однако тем дело и кончится, они забудут об этих строчках, потому что идиоритмики друг другу никогда не помогают.

А раз так, то зачем им поддерживать гипотезу какого-то идиоритмика XX века по имени Милорад Павич?

Перевод с сербского ЛАРИСЫ САВЕЛЬЕВОЙ

■

ЦВЕТАН ТОДОРОВ

ЧЕЛОВЕК, ПОТЕРЯВШИЙ РОДИНУ

Главы из книги

Политика интеллектуалов

Что такое интеллектуал? Лично я употребляю это слово лишь в следующем смысле: ученый или художник (писатели включаются в эту категорию), который не просто занимается научной деятельностью или созданием произведений искусства, способствующих познанию истины либо расцвету прекрасного, но еще и небезразличен к общественному благу, к ценностям общества, в котором живет, а следовательно, участвует в споре вокруг этих ценностей. Интеллектуал в таком понимании этого слова равно далек как от артиста или ученого, не заботящегося о политическом или моральном аспекте своего творчества, так и от проповедника или профессионального политика, неспособного творить.

Пока я жил в коммунистической стране, я думал, что все проблемы интеллектуалов происходят от отсутствия свободы и от давления, которое они испытывали со стороны властей. Если бы они жили при демократическом режиме, говорил я себе, ничто не могло бы помешать им сыграть свою роль до конца. Однако, оказавшись в Париже, я понял, что и западным интеллектуалам непросто определиться в своем отношении к политической жизни страны. Я не говорю о крайних случаях — о творце, замкнувшемся в «башне из слоновой кости», или о бывшем творце, перешедшем к активной деятельности на благо власти (или Революции, призванной сбросить эту власть) и почти ничем не отличающемся от прочих активистов. Подавляющее большинство интеллектуалов не входит в эти две ограниченные категории. Но чтобы во всем разобраться, следует начать издалека.

Три голоса

Американский философ и социолог Кристофер Лэш предложил собственную типологию интеллектуалов. Он выделяет три роли, примерно соответствующие трем периодам в Истории: интеллектуал как голос совести, как голос разума и как голос воображения. В первом случае он — моралист, опирающийся на традиции и на религию; это самая древняя модель. Второй тип становится антагонистом первого в эпоху Просвещения, его идеальное воплощение — ученый. Третий тип олицетворяет собой романтический бунт против Просвещения; его воплощением становится маргинал, про́клятый поэт, художник. Так каждый из них выступает под своим знаменем: добро, истина, красота. Лэш не скрывает своих симпатий к первой модели, к которой и призывает нас возвратиться после заблуждений Просвещения и Романтизма; он хочет «оживить полузабытую традицию широковещательного нравственного поучения, в котором интеллектуал взывает скорее к совести людей, нежели к холодному разуму или к романтической мечте о всеобщей свободе». Он готов согласиться с «возвратом к религии», который, по его мнению, неотъемлем от такого решения.

Что меня привлекает в рассуждениях Лэша, так это его нежелание принести этические ценности в жертву каким-либо другим. Добро не сводится к красоте, добро не выводится из истины. Художник как таковой, ученый как таковой не могут научить нас морали; в этом отношении они не более компетентны, чем обычный гражданин. Вместе с тем два пункта такой типологии кажутся мне спорными. Первый — это отождествление морали с религией (а шире — с традицией), и в этом с Лэшем согласятся, хоть и по противоположным причинам, как консерваторы, так и анархисты (мораль — это религия, следовательно, это хорошо; мораль — это религия, следовательно, это плохо). Однако мораль можно оправдать не только идеей Бога, а, предположим, следуя по стопам Руссо или Канта, идеей всечеловеческой общности и самоценности личности. Именно это, в частности, обозначалось старым термином «гуманизм».

Второй спорный пункт тесно связан с первым, но кажется мне еще более важным: кто противопоставляет совесть разуму, тем самым утверждает, что законы совести иррациональны. Лэш приходит к этому, не только сводя мораль к религии, но и сводя разум к научной обоснованности и, в итоге, к позитивным наукам. Однако мораль и наука, хоть и не могут быть слиты воедино, все же не исключают друг друга. Да, наука не может помочь нам распознать добро и зло, а мораль не должна учить нас, как отличить истину от лжи; но обе они взывают к всечеловеческой общности. Научные тео-

© Éditions du Seuil, 1996
© Н. Кулиш. Перевод, 1998

рии не навязываются властью традиций или силой оружия — всякое человеческое существо может постичь их силой собственного разума. В свою очередь, моральные принципы, как в наше время продемонстрировали, скажем, Хабермас[1] в Германии или Марсель Конш[2] во Франции, основываются на возможности диалога между людьми, который сам по себе предполагает идею всеобщности.

Поэтому я не могу полностью принять теорию Лэша о трех голосах, в истоке которой, возможно, лежит данное Максом Вебером[3] определение трех форм легитимности — традиционной, рациональной и харизматической (которое, в свою очередь, вероятно, восходит к фразе Паскаля: «Есть три средства уверовать: разум, привычка, озарение»). Один классик стоит другого, и мне ближе определение Монтеня, различавшего три позиции по отношению к истине и духовным ценностям: позиция нигилистов (как мы выразились бы сегодня), которые отказались от их поисков; позиция догматиков, которые их уже нашли; и позиция неутомимых исследователей, продолжающих искать, даже если они знают, что поиск не завершится никогда. Разница между этими последними и нигилистами, коих сейчас особенно много, огромна, поскольку определяется конечными целями. Разница между ними и догматиками тоньше, ибо относится главным образом к средствам достижения цели: догматикам их ценности даются традицией (религиозной или нет) или же минутным озарением (от речей харизматического лидера или от творения гениального художника), а искатели истины и духовных ценностей обретают их через постижение Вселенной и через диалог между людьми.

Интеллектуал третьего типа, ни догматик ни нигилист, имеет дело и с истиной, и с духовными ценностями, что обусловлено самим его призванием; более того, в тех и в других отношениях он достигает гармонии, поскольку не верит ни в предустановленные истины, ни в ценности, опирающиеся лишь на акт веры. Такой интеллектуал, в противоположность остальным, не является анахронизмом.

Искушение утопизмом

Георг Штейнер в одной из работ рассказывает о таком случае. Решившись (с некоторым опозданием) высказать свое мнение о разоблачениях, связанных с ГУЛАГом, Сартр будто бы сказал: «Предположим, что все это правда. Однако у нормального человека тут может быть две реакции. Первая — это констатация: «Ну, я же вам говорил! Как глупо было ожидать, что дело обернется иначе!» А вторая: «Черт возьми! Вот и еще одна великая надежда человечества развеялась как дым!»

Это две прямо противоположные роли: интеллектуал как воплощение проницательности и интеллектуал как податель надежд. Сама манера, в которой сформулировано противопоставление, свидетельствует о том, что Сартру ближе вторая позиция. Отстаиваемая им точка зрения есть утопизм: представление о некоем идеальном бытии человечества и попытка осуществить его на земле (коммунизм — новейший, но не единственный вариант). Конечно, утопии были всегда, но от Платона до Руссо их задачей было воспитывать ум, чтобы он смог анализировать мир, а не поставлять планы действий для технократов будущего. Утопизм — это совсем другое дело, и сползание к нему произошло, по-видимому, за жизнь одного поколения, между Руссо и Робеспьером, когда последний стал применять на практике и на живых — до поры — людях то, что для первого было лишь средством исследовать логику государства (но утопизм как таковой, конечно же, начал складываться гораздо раньше, он формировался всей тысячелетней христианской традицией). С этого момента интеллектуалы сочли своей обязанностью без устали изобретать все новые утопии, открывать все новые «окна в надежду», находить места, «зачаровывающие воображение».

Действительно ли, как представлялось Сартру, миссия интеллектуала — насаждать веру и призывать к самопожертвованию во имя правого дела? Присущее всякому утопизму стремление установить рай на земле — является ли оно не скажу осуществимым, но хотя бы достойным осуществления? Даже если не верить в неискупимый первородный грех, разве нельзя сказать, что в самом уделе человеческом есть нечто, мешающее нам найти глобальное решение всех наших проблем, добиться чего-то большего, чем отдельные улучшения? А в таком случае следовало бы осудить не только методичное внедрение новой мечты, позавчера в России, вчера в Китае, но даже ход мысли, влекущий нас к этим надеждам и, по сути, не предлагающий нам ничего, кроме убогого выбора между самоотречением на время пути и конечной точкой, имя коей — Террор.

Вспоминается противопоставление Сартра и Раймона Арона, уже ставшее банальным в сегодняшней Франции. Слишком часто его истолковывают как противоположность между по-

---

[1] Юрген Хабермас (р. 1929) — немецкий социолог, оказал влияние на студенческое движение на Западе. *(Здесь и далее — прим. перев).*

[2] Марсель Конш (р. 1922) — французский философ, почетный профессор Парижского университета.

[3] Макс Вебер (1864—1920) — немецкий социолог и экономист.

литикой и наукой: с одной стороны — чистой воды идеолог, на решения которого в конечном счете влияют только его симпатии, с другой— специалист, ученый, привыкший считаться с фактами. А между тем Арон ведь еще и моралист. Однако его мораль и мораль Сартра — разного происхождения: у Сартра, по сути, мораль верующего, который слепо следует догме; у Арона — мораль рационалиста, она основана на идее всечеловеческой общности, и он отстаивает ее в аргументированном споре. Вот почему Сартра мало интересуют факты, в то время как для Арона оценка фактов — первый и необходимый этап во всяком рассуждении. Однако Арон не был сторонником Realpolitik[1]. Проблему, к решению которой он постоянно стремился, можно было бы сформулировать так: если мы установили, что политика и мораль не одно и то же, то как различить допустимые и недопустимые приемы в политике? Интеллектуалу незачем быть ни подателем надежд, ни защитником высшего блага; пускай в этом мире, где редко встречаются абсолютное добро и абсолютное зло, он помогает отличить лучшее от худшего.

Ошибки интеллектуалов

Однако, вчитываясь в историю нашего столетия, мы видим совсем другое. В последние годы часто обсуждался случай Хайдеггера и многих его поклонников и последователей, до начала или уже во время второй мировой войны принявших идеи нацизма. Конечно, они были не одиноки; и в довоенное, и в послевоенное время, возможно, даже большее число интеллектуалов душой и телом предались тому или иному варианту политического марксизма: сталинизму, троцкизму, маоизму, кастроизму... Если к этому перечню присоединить единичные случаи, как, например, поддержку, пусть и недолгую, оказанную Мишелем Фуко режиму Хомейни, и сложить вместе различные направления, становится ясно, что, даже если дело ими не ограничивалось, в них все же представлена значительная часть всех интеллектуалов Европы.

Вот загадка: западные страны уже двести лет как встали на путь демократии, путь, избираемый большинством населения, а интеллектуалы, то есть, вообще говоря, наиболее просвещенный слой этого населения, чаще высказывались в пользу жестоких, деспотических режимов. Если бы в западных странах правом голоса обладали одни лишь интеллектуалы, мы сейчас жили бы при тоталитарном режиме — и нам больше не нужно было бы голосовать! Этот добровольный выбор в пользу рабства показался мне тем более странным, что я-то хорошо знаю, какой тяжелой и унизительной может быть жизнь интеллектуалов при таком режиме. Как же может быть, спрашивал я себя, оказавшись во Франции, чтобы средний гражданин обладал большей политической мудростью, чем интеллектуальная элита страны? Что это — личное заблуждение, у каждого свое, или же тут следует искать какое-то общее объяснение, причины, так сказать, структурного порядка? Почему западные интеллектуалы виновны в таком попустительстве по отношению к тоталитарным режимам? Не могут же они быть глупее и бесчувственнее простых смертных!

Уже предлагалось несколько решений этой загадки. В сороковые годы над этим размышлял Джордж Оруэлл. Он тоже противопоставлял интеллектуалов обычным людям, отдавая предпочтение последним. В Англии в канун второй мировой войны именно простые люди дорожат свободой, верят в добро и зло и почитают разум; а интеллектуалы давно уже разоблачили подобные «метафизические выдумки». В результате интеллектуалы потворствуют фашизму или, чаще, сталинизму, в то время как обычные люди знают, что против Гитлера надо воевать.

А причина как раз в том, подсказывает Оруэлл, что в духовном плане интеллектуалы одареннее обычных людей. Они пытаются достичь власти, опираясь лишь на свои умственные способности; а демократия для этих целей не столь удобна, как тирания, которая предоставляет возможность сделаться советником правителя (печальный опыт Платона, служившего тирану Сиракузскому, равно как и других философов, подвизавшихся в такой роли позднее, по-видимому, никого не смущает). В душе интеллектуал тяготеет к аристократическому режиму, а не к демократии. Вдобавок он всецело поглощен трудностями, связанными с его работой, а потому весьма туманно представляет себе, что делается вокруг. По мнению Оруэлла, воспевать «необходимые убийства» (как это делал поэт Оден в 30-е годы), могут только те, кто никогда близко не видел трупа. «Такое мог написать только человек, для которого убийство — главным образом слово» (тут можно бы поспорить). Если Оруэлл думает иначе, то это не потому, что он выше Одена как интеллектуал, а потому, что когда-то он был еще и полицейским, бродягой, солдатом.

В подобном контексте вспоминаются любопытные размышления немецкого философа Карла Лёвита, изложенные им в книге «Моя жизнь в Германии до и после 1933 года». Автор вспоминает, как он был учеником Хайдеггера, будучи при этом еще и евреем. Как положено философу, Лёвит уделяет особое внима-

[1] Реалистическая политика (*нем.*).

ние политическому воплощению философских идей — даже тех, которые некогда были ему дороже всего. Он на собственной шкуре убедился, что культ «жизни среди опасностей» ведет «очень извилистым и все же прямым путем от Ницше к героическим фразам Геббельса». Он показывает, как поэты и писатели, такие, как Шпенглер, Стефан Георге или Гундольф[1], подготавливали почву для победы фашизма — даже если каждому из этих авторов в отдельности претила вульгарность Гитлера и они отказывали ему в поддержке. Лёвит напоминает, что в те мрачные годы немцев, среди прочего, сгубила традиция, согласно которой следует отделять абстрактные идеи от конкретных фактов. Что бы там ни говорили хитроумные философы, слова могут отсылать к предметам, а не только к другим словам. Лёвит достиг той нелегкой стадии смирения, которая заставляет человека признать, что в своей философской молодости он способствовал «дегуманизации человека», способствовал разрушению того, за что впоследствии старался ухватиться изо всех сил.

Второе объяснение, не противоречащее первому, связано с одним из основных устоев демократического общества, а именно автономией: и личность, и коллектив вправе требовать, чтобы нормы их жизни были выработаны ими самими, а не навязаны извне. В таких обстоятельствах критика существующих норм — чрезвычайно важная функция общества; и интеллектуалы взяли эту функцию на себя. Критический взгляд — необходимое условие работы разума — они возвели в принцип, вне зависимости от господствующего порядка; живя при демократии, они готовы примкнуть к тоталитарному кредо, поскольку оно позволит им радикальную критику status quo. С этой точки зрения хайдеггерианство сегодня попросту приходит на смену выдохшемуся марксизму; иными словами, хайдеггерианство отныне может считать себя на стороне левых.

Следуя толкованию, изложенному в книге Люка Ферри и Алена Рено «Хайдеггер и современные мыслители», можно также увидеть перспективу решения проблемы: интеллектуалам не следует отказываться от своей критической функции, но они смогут выполнять ее во имя современности, вместо того чтобы ставить себя вне этой последней и отвергать ее целиком. Идея демократии еще не вполне реализована, и ее слишком часто компрометировали сомнительными альянсами; поэтому демократические страны вполне можно критиковать с позиций их собственного идеала.

К этим двум толкованиям можно прибавить и третье. С исчезновением внешних императивов модель искусства, как кажется, обретает у нас все возрастающую важность, поскольку искусство как таковое мыслится в категориях автономии (произведение искусства прекрасно само по себе, а не потому, что оно отображает некую истину или некое нравственное поучение). И в то же время интеллектуалы, писатели, художники начали систематически применять эстетические критерии в области этики и политики (согласно классификации Лэша, это царство воображения). Романтическое кредо, которое так тщательно проанализировал Поль Бенишу[1], требовало, чтобы современная эпоха присутствовала при «короновании писателя». А потом будет сказано, что поэты станут «законодателями вселенной» (Шелли), или что «красота спасет мир» (Достоевский), или что «эстетика — мать этики» (Иосиф Бродский). Эти притязания давно уже перестали понимать буквально, но дух их еще жив и действует, на нас и в нас. В XX веке от политических проектов, словно от произведений искусства, нередко ждут потрясений, абсолютного новаторства, интенсивности переживания.

Но о какой красоте, о какой эстетике идет речь — ведь их несколько? Три тысячи лет поэты, от Гомера до Юнгера и далее, воспевали красоту войны — так должен ли я поверить, что война есть также и благо? Уже несколько веков западная культура опьяняется красотой насилия — должен ли я признать ее, раз из нее рождаются великолепные стихотворения или фильмы? В более близкую нам эпоху поэты 20-х и 30-х годов приветствовали приближение фашизма и обновление культуры, которую считали упадочной; русские поэты начала XX века прославляли революционное насилие, воспевали красоту разрушения. Возможно, война прекраснее мира, вихрь революции прекраснее однообразия мирной жизни, ведь немало художников поддались этому соблазну; и все же, даже если мне нравятся эти красивые фантазии, в политике я предпочитаю мир — и так думаю не я один. «Правда уродлива», — говорил Ницше, и сейчас, столетие спустя, мы с горечью вынуждены согласиться с этим. И все же лучше мы узнаем уродливую и горькую правду, чем позволим прельстить себя красивой ложью. Дерзновенность мысли, чьи связи с реальным миром оборваны, не всегда преимущество в этой области, и не так уж приятно, наверное, жить в Республике Платона: в общественной жизни лишь умеренность является добродетелью, но не экстремизм.

---

[1] Гундольф (Фридрих Гундельфингер, 1880—1931) — немецкий историк литературы из кружка Стефана Георге.

[1] Поль Бенишу (р. 1908) — французский литературовед, культуролог, с 1949 по 1978 г. преподавал французскую литературу в США, в Гарвардском университете.

Замещение морали и политики эстетикой неприемлемо. «Разве концентрационным лагерям можно поставить в вину лишь их безобразие?» — задается справедливым вопросом Андре Конт-Спонвиль[1]. Оправдание морали — в ее универсальности, политика имеет целью общее благо группы людей, и их нельзя заменить отсылками к красоте или эмоциям. Место прежних боговдохновенных истин должны занять не красота, но универсальная мораль, рожденный в диалоге консенсус, любовь к отдельной личности.

Очарованные красотой идей, интеллектуалы слишком часто думают, что реальности, соответствующие этим идеям, также должны быть прекрасны, — пока не столкнутся лицом к лицу с реальным фашизмом или коммунизмом. Скольких ошибок удалось бы избежать (и сколько тонн бумаги сэкономить!), если бы они принципиально согласились проделать обратный путь и присоединиться к определенным убеждениям, только когда они будут готовы терпеть последствия оных в своей собственной жизни! Иногда ведь можно и помечтать.

Цензура и свобода выражения

Посетив несколько лет назад выставку «Виды цензуры», проходившую в Центре Помпиду, я был очень разочарован. Это меня удивило: я думал, что мое тоталитарное прошлое сделало меня страстным поборником свободы выражения. Однако я не мог не заметить, что подбор экспонатов был бессистемным, что целью выставки было не размышление над проблемой, а самолюбование. Все там было перемешано: цензурирование вымысла и цензурирование фактов, цензура текста и цензура иллюстраций (детские книги Агнес Розенштиль и Лейлы Себбар в одной витрине с журналами «Нью лук» и «Пентхаус»), запреты для детей и запреты для взрослых. В общем, противники цензуры, как и сами цензоры, стригли всех под одну гребенку: разоблачительный репортаж о применении пыток в Алжире столь же достоин (или недостоин) уважения, как порнография. Вывод напрашивался такой: прошлое было океаном мракобесия, и мы должны быть счастливы, что освободились от него.

Пышные фразы должны были вызвать у посетителя эйфорию. Свободу не задушить (Дидро). Невзирая на инквизицию, Земля вертится (Галилей). Основная идея выставки была изложена в предисловии к каталогу, написанном Робером Бадинтером[2]: цензура — это всегда и исключительно «проявление нетерпимости и страха», поход «сторонников порядка и единообразия» против «мысли»; да здравствует «терпимость, предоставляющая мысли Другого человека полную свободу»!

Такое же половодье добрых чувств и сомнительное смешение понятий имело место несколькими месяцами раньше, в связи с «выставкой Паскуа», организованной по инициативе тогдашнего министра внутренних дел и посвященной пропаганде насилия и порнографии. Газета «Либерасьон» удачно воспользовалась случаем, чтобы сообщить нам: здесь налицо угроза основным гражданским свободам. Какое счастье, что цензура (в 1857 году) запретила «Цветы зла»: это доказывает несправедливость запрета, наложенного сегодня на «Эхо саванн», утверждал Даниэль Филипакки, учредитель издательской группы, выпускающей эту газету и несколько других в том же роде (хотя на самом деле с Бодлером их роднит отнюдь не гениальность, а разве что ненависть к женщинам).

Вице-президент той же группы, Франк Тено, пошел еще дальше: гонения на распространителей порнографии в наше время, говорил он, это то же самое, что преследование евреев в недавнем прошлом (он сравнивал Паскуа с Даркье де Пельпуа, комиссаром по делам евреев в правительстве Петена): и те и другие — несчастные, беззащитные жертвы (правда, в это сравнение как-то не укладываются громадные доходы издателей многотиражных порнографических журналов). Жак Ланг, тогдашний министр культуры и социалист, приводил в пример Рабле, скульптуры собора в Бурже и Пикассо, чтобы оправдать деятельность группы Филипакки (которая, как известно, славится своей бескорыстной борьбой за чистое искусство и авангардную эстетику), забывая при этом, что между искусством и коммерцией может быть некоторая разница: если «Нью лук» переходит на «мягкую» эротику, то не ради художественных исканий, а в ответ на изменившиеся требования рынка: такое сейчас лучше продается.

Свобода и власть

И все же одна фотография на выставке «Виды цензуры» заставляла задуматься. На этой фотографии было показано, как молодежь во время демонстрации в Париже в 1962 году сжигает оасовские плакаты и газеты. Странность была в том, что фотография была помещена (мешанина обязывает) среди изображений, на которых сжигали книги, от аутодафе инквизиции до костров на площадях, устроенных нацистами. Однако эта фотография по смыслу изображенного отличалась от остальных, ведь сжигать в

---

[1] Андре Конт-Спонвиль (р. 1952) — французский философ.

[2] Робер Бадинтер (р.1928) — французский политический деятель, юрист, с 1986 по 1995 год был председателем Конституционного совета Франции, внес большой вклад в либерализацию национального законодательства.

данном случае означало освободиться, а не подавлять. Впрочем, в каталоге выставки была и еще одна подборка похожих фотографий: как в Будапеште в 1956 году вместе с советскими флагами жгут книги Ленина и портреты Сталина. Кто же там, говоря словами Бадинтера, не давал полной свободы мысли Другого человека? Сталин, что ли, был для венгерских рабочих «Другим человеком»?

«Правы ли цензоры, усматривая в писательском вымысле возможность воплотиться в жизнь?» — такой вопрос, а скорее утверждение, был написан на одной из витрин выставки. Но не только цензоры видят такую возможность: все мы, писатели, верим в это по крайней мере в минуты вдохновения, и многие наши читатели тоже; да и путей для перехода из вымысла в реальность имеется предостаточно. Слово есть дело, и в этом качестве может служить как добру, так и злу. Под именем пропаганды (государственной или партийной) оно может привести к насилию и рабству; под именем entertainment (развлечения) или рекламы оно может довести до идиотизма. И защищаться от таких дел вполне законно, пусть огонь и не лучшее средство защиты: вот в чем смысл аутодафе на улицах Будапешта и на улицах Парижа.

А могло ли быть иначе? Только неграмотный политик или демагог может утверждать, будто наибольшая свобода для всех — это принцип, достаточный для того, чтобы регулировать жизнь в обществе. Поскольку все мы живем бок о бок, даже поступки одиночек сказываются на всех остальных; если эта жизнь не будет подчинена никаким правилам, сила станет единственным законом. Но свобода для сильного означает отсутствие свободы для более слабых: это свобода лисы в курятнике. Свобода для насильников равнозначна покорности насилию. Или вернемся к проблемам информации: если моему соседу дана свобода безнаказанно клеветать на меня, то я лишаюсь свободы выходить на улицу не краснея. Если фирме по «организации досуга» дана свобода заклеивать стены города, где я живу, рекламными плакатами, на которых женщины изображены связанными или просто превращены в предмет потребления, то я лишаюсь свободы пройтись по улице, не видя их, или свободы запретить моим детям держать такие картинки дома. Демократия предполагает наличие некоей коллективной воли, которая *ограничивает* свободу каждого делать что ему вздумается так, чтобы это не задевало других; выдавать такое ограничение за исключительную меру — глубокое заблуждение.

Безнадежно запутается тот, кто скажет: осуждать какой-либо текст или изображение — уже само по себе реакционно и свидетельствует о правых взглядах. Журналистка из «Эвенман дю жеди» воображает варианты отзывов о «выставке Паскуа»: «1) вести себя как подобает женщине левых взглядов, заявить, что позиция устроителей выставки возмутительна, это фашизм, и что я бегу подписывать страстное воззвание в защиту прав человека; 2) дать волю дремлющей в глубине души правизне, признаться, что экспонаты вызывают у меня отвращение». Какой неожиданный подарок правым: привилегия защищать завоевания демократии! Быть на стороне права против силы (представленной в данном случае миллионами Филипакки) — разве это не завоевание, достойное защиты? А что касается прав человека (и в частности, прав женщин), скажите мне, когда мы их защищаем на самом деле: когда протестуем против надругательств, которым женщины подвергаются ежедневно, или же когда подписываемся под призывами дать коммерсантам «свободу» наживаться за их счет?

Спокойствие организаторов антицензурной выставки нарушил непредвиденный инцидент: группа негационистов (тех, кто отрицает существование газовых камер и «окончательное решение еврейского вопроса») стала расклеивать свои плакаты и листовки прямо в помещении выставки. Нисколько не обрадовавшись этому вторжению маргиналов, этому спонтанному проявлению мысли Другого человека, директор библиотеки Центра Помпиду с помощью персонала и кого-то из любовавшихся выставкой посетителей начал торопливо срывать их плакаты; дело кончилось потасовкой и заявлением в полицию, продиктованным, как утверждал Бадинтер, отнюдь не нетерпимостью и страхом, но протестом против разжигания расовой ненависти. Такая реакция (которой не предвидели организаторы выставки) мне кажется вполне естественной: эти листовки и плакаты — слова, превратившиеся в дело (как и бесчисленное множество других слов), а делу можно и нужно противодействовать. Однако я не считаю, что такие публикации следует запретить, я опасаюсь повторения «эффекта Бодлера» (запрещено — значит, хорошо); похоже, что это уже началось.

Свобода художника

Филип Рот в одном самоинтервью отмечает, что немало людей на Западе втайне завидуют писателям на Востоке, тому, что те подвергаются гонениям, «как если бы в отсутствие тоталитарного контекста сила воображения убывала и литература теряла бесспорное право на серьезность». Еще он говорит: «Над Америкой нависла угроза: скрытое опошление всего и вся в обществе, где на самом деле ничто не препятствует свободе выражения». Со своей сторо-

ны Казимир Брандис, польский писатель, живущий в Париже, заявляет: «Угнетение делает тебя безумцем, но свобода делает из тебя идиота». О чем речь? Неужели в свободе выражения есть какой-то тайный порок?

Даже если оставить в стороне побуждение — возникающее при любом запрете — изъясняться метафорами и аллегориями, намеками и двусмысленностями (преследования оттачивают искусство писателя, говорил Лео Штраус[1]), совершенно ясно, в чем тут дело. Конечно, в западных демократиях писатели вольны писать что им вздумается, но бурной радости этот факт может и не вызвать: он свидетельствует о безразличии общества к тому, что они пишут. Личность обрела автономию; оборотная сторона явления состоит в том, что общество больше не считается с ней и перестает обращать на нее внимание; она может говорить все что хочет, но слушать ее никто не будет. В тоталитарных странах, напротив, важность написанного доказывалась самим существованием цензуры; а популярность писателя была огромна (сравнение тиражей поэтического сборника там и здесь не могло не опечалить даже самого свободолюбивого западного поэта).

Рассмотрим ситуацию подробнее. В странах восточного лагеря писатель мог выбрать для себя одну из трех ролей, разумеется, с большим количеством промежуточных вариантов.

На одном полюсе — роль официального писателя. Писатель находился в тесной зависимости от государства, которое само создавало эту зависимость. Государство давало много (писатели пользовались привилегиями: у них были высокие гонорары, почетные должности и дома творчества, главы государств принимали их в свое общество и прислушивались к их мнению), но взамен оно также требовало многого (не только не говорить того, чего не следовало, но — и это хуже — говорить то, что следовало).

На противоположном полюсе находились диссиденты; их зависимость от окружающего мира также была очень тесной, но зависели они не от государства, а от гражданского общества, невидимого и, однако, вполне реального. Такие писатели не получали официальных наград, зато у них было отрадное сознание, что они стали голосом своего народа.

И наконец, третья роль — жрец чистого искусства: как и диссидент, он не прославлял государство, но, подобно официальным писателям, избегал его обличать: он понимал свою миссию иначе. Он писал для самого себя, для искусства и для вечности; он рассказывал преимущественно о прошлом и (или) о замкнутом мирке частной жизни. Тем самым он оказывался на обочине, но впоследствии его честность вознаграждалась: он вызывал всеобщее восхищение. Сам я, когда еще жил в Болгарии, был слишком молод, чтобы играть какую бы то ни было роль; и все же, полагаю, больше всего меня привлек бы третий путь — писателя-затворника.

Если на Востоке существовал целый «треугольник», то на Западе положение писателя тоже не сводится к одной-единственной роли — роли одиночки, чьи писания никого не интересуют. Это верно, что, когда культура находится под властью только лишь рыночной экономики, общество весьма нечетко выражает свои требования к художнику. Во Франции, однако, дело обстоит иначе, да и другие западные страны не подвержены такой культурной распыленности, не настолько лишены общих ценностей, как любят утверждать современные нигилисты. Но ценности эти — особого рода. Если в идеократиях (я буду обозначать этим термином как теократии прежних веков, так и современные тоталитарные государства) действует принцип: спасение — единственно, грех — многообразен, то в демократических обществах все наоборот. Здесь предметом консенсуса является только преступление (то, что преследуется по закону); что касается добра, то всякий человек волен найти его для себя сам, а если он найдет его в алкоголе или в героине, это никого особенно не взволнует. Следовательно, в данном случае предопределяется форма, но не содержание: тут проходит граница частной жизни. Так же точно никакое учение не может быть запрещено, за исключением тех, что запрещают свободно исповедовать другие учения, предполагают заменить дискуссию насилием. С такими учениями, напротив, следует бороться; если бы так поступала Веймарская республика, ей, возможно, удалось бы остановить фашизм.

Таким образом, в западных демократических странах писатель, наряду с другими членами общества, представляет собой личность полностью обособленную и в этом качестве не обладает ответственностью; он живет между двумя полюсами, испытывая притяжение с двух сторон: с одной — одиночество (необходимое при его работе), с другой — солидарность (обусловленная его потребностью в аудитории); такое двойственное положение предпочтительнее, чем «треугольник» в восточном блоке (когда государство является производным от общества, это лучше, чем когда они в постоянном конфликте). Иногда вечером, говорит мой друг Адам Загаевский, никак не можешь решить, что

[1] Лео Штраус (1899—1973) — американский философ, автор многочисленных работ по политической философии.

слушать: Би-би-си или Брамса? Или же, если говорить об активных действиях: принять участие в политическом проекте или написать симфонию?

Скорее всего, самый приемлемый выход — чередование этих вариантов, а не отказ от одного из них. Когда я ощущаю себя членом моего сообщества, это избавляет меня от эгоцентрических иллюзий; когда я погружаюсь в себя и в свою работу, это помогает мне освободиться от расхожих стереотипов. Чередование также может подчиняться ритму Истории. Достоевский представлял себе, как в Лисабоне, наутро после землетрясения, среди дымящихся развалин, некий поэт пишет стихотворение, где говорится лишь о соловьиных трелях и колыхании ручья и вдобавок нет ни одного глагола. Он опасался, что участь поэта будет незавидной: жители города растерзают его на месте; и он не считал, что эти люди достойны осуждения. Это не мешало Достоевскому восхищаться самим стихотворением; к счастью, землетрясения бывают не каждый день, даже в Лисабоне.

Свобода и ответственность

Следует ли стремиться к еще большей, к абсолютной свободе? Если бы писатели добивались возможности говорить все и при любых обстоятельствах, это означало бы, что они требуют для своего слова абсолютной безответственности, иначе говоря, соглашаются с тем, что общество не будет придавать ему никакого значения. Известно, однако, что писатели, становясь «интеллектуалами», то есть теми, кто небезразличен к общественному благу, хотят говорить со своими согражданами, а не просто позволять им восхищаться собой. А это означает, что право на свободу должно компенсироваться обязательной ответственностью. Да, ничто не должно мешать поискам истины, но слово, сказанное во всеуслышание, есть дело и побуждение к действию и как таковое должно следовать гражданским законам, как и все прочие действия.

Перед второй мировой войной и особенно во время войны Симона Вейль часто высказывалась на эту тему, ее точка зрения была крайней и именно по этой причине выгодно отличалась от других полной ясностью. На первых страницах своей небольшой книжки «Укоренение» она задает вопрос: не слишком ли явно идея цензуры противоречит принципу свободы выражения, которому привержены граждане современных государств. И отвечает по существу: нельзя иметь одновременно масло и деньги за масло. Писатели, которые претендуют на роль властителей дум, возвещают о «короновании писателя», не вправе требовать для себя такой же безответственности, как те писатели, которым дозволено говорить что угодно, лишь бы взволновать наше воображение.

В те же годы Симона Вейль направляет в «Кайе дю Сюд» письмо (оно было опубликовано только после войны), в котором говорится об ответственности сюрреалистов, дадаистов и других довоенных писателей за крах Франции перед лицом гитлеровской угрозы. Вот характерный отрывок из этого письма: «Я считаю, что писатели недавно минувшей эпохи несут ответственность за несчастья нашего времени. Основная особенность первой половины XX века — это стирание и почти исчезновение такого понятия, как вечные ценности. В дадаизме и сюрреализме выразилось упоение вседозволенностью, упоение, при котором разум, отбрасывая всякое представление о ценностях, всецело предается сиюминутному. Конечно, писатели не должны учить морали, но им положено изъяснить удел человеческий, а в жизни людей, всех людей во всякое время, нет ничего важнее добра и зла. Когда литература проявляет принципиальное безразличие к противопоставлению добра и зла, она изменяет своей миссии и не может претендовать на звание высокого искусства».

В «Укоренении» Симона Вейль высказывает подобное замечание и в отношении Андре Жида: «Например, Андре Жид несомненно сознавал, что такие его книги, как «Яства земные» или «Подземелья Ватикана», повлияли на образ жизни очень многих молодых людей, и он гордился этим. А стало быть, нет никаких оснований для того, чтобы относить такие книги к неприкосновенной категории «искусства для искусства» и сажать в тюрьму парнишку, который выбрасывает человека из мчащегося поезда».

Считать писателя ответственным за проступок кого-то из читателей — это, по-моему, слишком: Симона Вейль рассуждает так, словно этот парнишка совершил преступление исключительно под воздействием чтения, словно у него совсем не было своей воли и свободы выбора. С юридической точки зрения тут явно прервана связь, какая должна бы существовать между выдуманной кошмарной сценой и совершением преступления. Это не означает, что в другом плане, в плане общественного мнения, а не юридического преследования, нельзя задаваться вопросом: стало ли данное произведение причиной данного преступного деяния (множество примеров говорит о том, что такую зависимость установить возможно). Не надо подвергать эти произведения цензуре, не надо тащить их авторов в суд, но никому не возбраняется публично выразить им свое неодобрение во имя блага общества, в котором мы живем, и,

предположим, отказать им в государственной субсидии. И это не будет равнозначно попытке диктовать художнику содержание его сочинений или превратить искусство в пропаганду на службе государства, это будет лишь признанием того, что некоторые духовные ценности, даже воспринятые через произведения искусства, в определенных обстоятельствах могут принести зло. И тогда опять-таки художник не сможет в одно и то же время добиваться абсолютной независимости *и* благожелательного внимания общества.

Отличается ли ответственность — не юридическая, а моральная — писателей и художников от ответственности обычного гражданина?

Аргументированное суждение на этот счет имеется в эссе Ханны Арендт, посвященном политической судьбе Бертольта Брехта. Автор размышляет об обязанностях писателя, точнее — писателя, живущего при коммунистическом режиме. В самом начале Арендт приводит гётевскую цитату, в каком-то смысле дающую художнику право зайти несколько дальше, чем положено простому смертному: «Поэты никогда не совершают тяжких грехов»; она присоединяется к этому мнению, утверждая: «Поэтам можно предоставить определенную свободу действий, какую мы не захотели бы предоставить друг другу при обычном ходе событий, — назовем это правом чаще ошибаться». Далее, однако, говоря об особенностях положения Брехта, она замечает, что, давая писателям бóльшую свободу действий, следовало бы и требовать с них больше. В этом случае латинская поговорка должна звучать наоборот: что дозволено быку, не дозволено Юпитеру. Вина Брехта в прислужничестве властям гораздо больше, чем у любого обычного гражданина ГДР. Именно огромная власть, данная нами поэту, не позволяет простить ему то, что прощают простым смертным. Похоже, именно поэтому де Голль отказался помиловать Бразийяка[1], которого сразу после освобождения Франции осудили за предательство: «грех интеллектуала» означает смертный грех.

Добавим еще (это уточнение также отсутствует у Симоны Вейль), что к заявлениям, сделанным при демократии или при тоталитарном режиме, следует подходить с разными мерками. В первом случае антисемитские заявления Бразийяка и его братьев по оружию стали бы просто еще одним высказанным мнением (за которое разве что возбудили бы дело о разжигании расовой ненависти); во втором случае они превратились в доносы, чреватые опасностью для жизни: поэтому и наказание должно быть строже.

Дело Рушди: враги и друзья

Первое время бурные дискуссии, вызванные «Сатанинскими стихами» Сальмана Рушди, оставались в рамках одной темы: разрешить или запретить свободу выражения. Вспомним факты: опубликованный в Англии и вскоре запрещенный в Индии, в Пакистане и в Саудовской Аравии, роман Рушди привлек внимание всего мира, когда в феврале 1989 года аятолла Хомейни приговорил к смерти его автора и издателя; в лучших традициях охоты на злоумышленников убийце была обещана награда в три миллиона. Затем запрет распространился на другие страны с большой долей мусульманского населения (Кения, Сенегал и т. п.).

Во Франции приговор нашел поддержку у небольшой части мусульманского населения и «понимание» у многих известных личностей: так, например, Жак Ширак, в то время мэр Парижа, заявил, что «не испытывает никакого уважения ни к Рушди, ни к тем людям, которые используют кощунство как средство наживы». Кардинал Декуртрэ, в то время президент Конфедерации французских епископов, дал знать, что чувствует солидарность «с теми, кто достойно и с молитвой изживает оскорбление», нанесенное Рушди, а не с писателем. Мохаммед Аркун, профессор Сорбонны, читающий лекции также и в Принстоне, сказал, что его возмущает негативная реакция на фетву Хомейни, поскольку реакция эта основана на «совершенно недопустимом идеологическом постулате»: защищать сегодня права человека значит «возвращаться к колониальной доктрине, которая оправдывала владычество над другими народами и культурами насаждением европейской цивилизации».

Что сказать об этих заявлениях? Ширак и Декуртрэ повели себя, как подобает политикам: они не хотели оттолкнуть от себя мусульманское население Франции; им было важно, какое впечатление произведут их слова, а не справедливость этих слов. Ни тот ни другой, по-видимому, не держали в руках книги Рушди; их советники — тоже, а это уж никуда не годится (политики могут не разбираться в романах, но обязаны правильно подбирать себе помощников). Столь же очевидно и то, что они вопиющим образом нарушают принципы, коим так привержены на словах: в одном случае — защиты свободы личности, в другом — христианского милосердия к ближнему. У позиции Аркуна нет политической подоплеки: она, как заявляет ученый в том же интервью, чисто

[1] Робер Бразийяк (1909—1945) — французский журналист, писатель, литературовед. Был приговорен к смертной казни за сотрудничество с оккупантами.

«научная» (он повторяет это слово четыре раза), или, точнее, «семиологическая» (повторяется шесть раз). Но какое отношение к науке имеет довод, согласно которому доктрина не может быть универсальной лишь потому, что возникла не там, где надо, или же утверждение, что права человека следует осмыслять «в их зависимости от прав Бога»?

Смертная казнь есть варварство. Смертный приговор гражданину иностранного государства не имеет законной силы. Призыв к убийству — ибо речь идет именно об этом — есть преступление. Хомейни, желающий исправлять нравы путем кровопролития, есть (был) такой же преступник, как Сталин, рассылавший по всему миру убийц для устранения своих идейных или личных врагов: теократия на старинный лад, проникнутая завоевательным духом, ничем не лучше современной идеократии, или тоталитаризма. Правда, разрушительная сила, которой обладают эти тираны, не столь велика (хотя не стоит недооценивать аятолл); но, как замечает Рушди в своем романе, мощь фанатизма не зависит от меры власти, коей располагает фанатик.

У защитников Рушди один-единственный аргумент: право на свободу выражения. Покушение на это право — «абсолютное зло» для Франсуа Миттерана, тогдашнего президента Французской республики; министр культуры в его правительстве Жак Ланг спешит добавить: «Как известно, каждая книга должна иметь право на публикацию и распространение». Писатели, поставившие свои имена под различными обращениями в защиту Рушди, говорят еще о праве на собственное мнение, праве на самовыражение. Сам Рушди в письме, направленном Радживу Ганди после запрещения «Сатанинских стихов» в Индии, настаивает на «праве свободно высказывать свои мысли».

Та же точка зрения изложена и в самой книге; неясно, впрочем, является ли она для автора высшей мудростью. Ее придерживается один из персонажей, писатель Баал, заявляющий: «Я не признаю иной юрисдикции, кроме суда моей музы», что не помешало правителям города отрубить ему голову... Наказание, конечно же, слишком сурово, но и то правда — что бы ни говорили разные там Баалы или, в других широтах, Бодлеры, — что никакая волшебная сила еще не освобождала поэтов от общей юрисдикции. Никакой закон не может дать кому-либо свободу, не сопроводив ее ответственностью: я вправе оскорбить моего соседа, но он вправе подать на меня жалобу за клевету (например, мы считаем, что фетва Хомейни незаконна, и мы вправе так считать).

Наглядной иллюстрацией к положению вещей — подобно вторжению негационистов в Центр Помпиду — может служить один эпизод дела Рушди: на книжном Салоне в Женеве в апреле 1989 года книгу не сняли с экспозиции, несмотря на протесты представителей Ирана; тогда эти последние решили в ответ выставить «Протоколы сионских мудрецов», знаменитую антисемитскую фальшивку. Но дирекция выставки заставила их убрать этот экспонат: выставлять «Протоколы» запрещено с 1988 года! Значит, неверно, что любая книга имеет право на распространение.

В том же письме Ганди Рушди подчеркивает разницу между вымыслом и исторической правдой: разве нельзя предоставить свободу хотя бы воображению? Один из персонажей его романа дает на этот вопрос не вполне четкий ответ. Это Билли Баттута, не слишком щепетильный продюсер фильма о жизни Пророка: «Вымысел есть вымысел, — говорит он, — а факты есть факты». Бесспорно да — если необходимо установить историческую правду или предъявить доказательства в суде. Однако писатель, целиком придумавший свой сюжет, также обязан стремиться к правде — пусть эта правда и другого рода; Рушди совершенно прав, говоря: «Когда я хочу исследовать вершины и бездны человеческого общества и человеческого духа, я обращаюсь к литературе».

Действительно, литература — исследование мира; было бы лукавством утверждать, будто нет ничего общего между религией, изображенной в «Сатанинских стихах», и настоящим исламом, между пророком Махоундом и Магометом или между придуманными стихами и стихами Корана. В любом случае различие между вымыслом и историей лежит в сфере соотношения литературного текста с окружающим миром, а если речь идет о кощунстве или клевете, то это вопрос воздействия текста на читателя: «Протоколы сионских мудрецов» — это, скажем так, вымысел; если их запрещают, то не потому, что в них содержится ложь (это присуще всякому вымыслу), а потому, что они приносят вред.

После публикации книги Рушди в Индии и Пакистане во время демонстраций протеста погибли десятки людей. Все единодушно сожалеют о погибших. Следовало ли запретить публикацию, чтобы предотвратить их гибель? Пятьдесят человеческих жизней: не слишком ли велика цена свободы выражения? Мнение Нобелевского лауреата по литературе 1988 года, египетского писателя Нагиба Махфуза, кажется мне достойным внимания. Он говорит о фетве так: «Подстрекательство к убийству — это преступление, и имама Хомейни следовало бы наказать за то, что он призывает мусульман убить Рушди»; однако в декабре 1988 года он по собственной инициативе прекратил жур-

нальную публикацию своего романа «Сыновья медины», где Бог изображается в компании трех пророков, представленных в виде главарей преступных группировок... Должен ли был Рушди поступить так же?

Стоит задать этот вопрос — раз уж мы решили, что писатель должен не только пользоваться свободой, но и нести подобающую ему ответственность. Я прочел книгу, и мой ответ будет отрицательным. Ибо великолепный роман Рушди не оскорбляет верующих и не призывает к насилию. Помимо прочего, это новое, собственное толкование истории ислама, богатое оттенками и раздвоениями смысла, оно должно было бы вызвать вопросы, побудить к размышлению — и ничего больше. Если на улицах Исламабада или Бомбея погибли люди, то виной тому не книга Рушди, а фанатизм и ненависть организаторов этих демонстраций. Если бы они прочли книгу, то не вышли бы на улицы; вряд ли, впрочем, они стали бы ее читать. Отвлекаясь от всего происшедшего, можно сказать, что Рушди был тысячу раз прав, опубликовав свою книгу. С другой стороны, я не берусь утверждать, что индийские и пакистанские власти были неправы, запретив (на время) ее распространение: возможно, благодаря этому они избежали новых жертв.

«Сатанинские стихи»

«Сатанинские стихи» — рассказ о конфликте одиночки и множества, об общине, где коллективная правда обязательна для индивида, и обществе, где каждый волен искать истину по-своему, о цельности религии и бесконечном разнообразии литературы, о пророках и поэтах, о Книге и книгах, о вооруженных борцах и безоружном человеке. В какой-то момент Рушди обращается к нам напрямую — чтобы сказать, что он не хочет открыто выражать свое мнение о сути этого конфликта. В самом деле, миссия романиста — не объяснять, а показывать. Вместе с тем наивно было бы принимать на веру эту декларацию нейтралитета. Самим фактом своего существования роман сражается за романы, за плюрализм, за право личности вдумываться в вековые традиции. А потому нет ничего удивительного, что иранский аятолла, французский кардинал и израильский раввин, кто с большей, а кто с меньшей горячностью, высказались против Рушди. Ведь уже в его книге пророк говорил персонажу по имени Сальман, посмевшему подправить священный текст: «Сальман, этому кощунству нет прощения... Ты обратил свои слова против Слов Господа!»

«Сатанинские стихи» — это также книга о природе добра и зла. Они противостоят здесь друг другу под видом ортодоксии и ереси, но также в облике двух главных персонажей, Гибрееля и Саладина, поскольку голова первого окружена ореолом, напоминающим нимбы святых, а второй с беспокойством замечает, что на лбу у него вырастают рожки, а ноги превращаются в козлиные копыта. Однако в финале Гибреель, вообразивший себя архангелом, погибает, а Саладин, смиренный и человечный грешник, спасается и начинает новую жизнь. Рушди не приемлет манихейской концепции мира, согласно которой зло есть сущность, абсолютно чуждая природе человека (или бога); мир по своей структуре разнороден, или, как он говорит, — одна сплошная несовместимость: «Призраки, нацисты, святые — все они живут в одну и ту же эпоху».

Следует ли это понимать так, что добро и зло стали неотличимы друг от друга, что всякая вещь в равной степени ангелосатанична или сатаноангелична? Порой Рушди как будто намекает на это; порой он спохватывается: «В мире есть подлинные чудовища — диктаторы крупного масштаба, маньяки, насилующие детей». Хочется прибавить: и аятоллы, приговаривающие к смерти неугодных писателей. Не то чтобы их преступления были нечеловеческими, отнюдь нет; но их виновность гораздо очевиднее, чем, скажем, виновность миссис Тэтчер, в романе любезно названной миссис Торчер[1], которая приняла меры по охране Рушди после приговора.

Но «Сатанинские стихи» вдобавок — и прежде всего — книга о неизменности и изменчивости, о верности и предательстве, об отдельных культурах и о современном сплаве культур. И снова мысль Рушди не стремится поучать нас. Два главных героя привыкли изменяться, ибо они актеры, но делают они это по-разному. Гибреель, обычно изображающий индийских богов, которые уже сами по себе изменчивы, тем не менее воплощает в себе преемственность, верность Индии, презрение к чужеземцам; а Саладин, чья фамилия Шамша, — он непрямой потомок Грегора Замзы, героя «Превращения», — человек с тысячей голосов, умеющий подражать любым звукам, даже верещанию бутылки с кетчупом в рекламном ролике, отрекся от своего прошлого, презирает все индийское, восхищается англичанами и космополитической культурой. Каким метаморфозам следует идти навстречу: тем, что описаны у Овидия — форма меняется, но сущность остается прежней, — или метаморфозам по Лукрецию, при которых прежняя сущность должна погибнуть? Судя по всему, Саладин одерживает

[1] Миссис Пытка (от англ. Torture).

верх над Гибреелем, Лукреций — над Овидием: старое должно умереть, чтобы новое смогло родиться. Однако после смерти Гибрееля Саладин решает поселиться в Индии и возобновить связь с прошлым.

А вот Рушди должен остаться в Англии, если хочет выжить, а тем более писать и печататься. Ставит ли судьба книги под сомнение рассказанную в ней историю? Реакция на «Сатанинские стихи» — пример печального недоразумения: во-первых, аятоллы считают Рушди святотатцем на службе у империализма и сионизма, участником заговора западных стран против третьего мира, во-вторых, сам Рушди одно время хотел «наделить голосом и литературной плотью культуру иммигрантов», стать рупором общины уроженцев бывшей Британской империи, обосновавшихся в Англии, а эти самые иммигранты чувствуют себя оскорбленными и публично сжигают его книгу. Был бы образ Саладина «правдивее», если бы автор оставил его жить в Англии?

Быть может, ответить на этот вопрос труднее, чем кажется, и я, сын дунайских крестьян, поселившийся на берегах Сены, не узнаю себя ни в одном из героев-антагонистов. Рушди словно бы противопоставляет друг другу верность традиции (пусть даже такой многоликой, как культура Индии) и всеядность Лондона, современный космополитический эклектизм, своего рода духовную многопрограммность: в каждом из нас «столько каналов, сколько не снилось ни одному владельцу сети кабельного или спутникового телевидения». В данном случае частное противостоит не общему, а некоей смеси из множества частностей, мозаике, пестрому лоскутному одеялу. Никого не заставляют выбирать: либо единичность, либо бесконечность; между этими двумя полюсами есть вариант, который наблюдается все чаще и чаще, — причастность к двум или даже трем культурам. Существует и понятие универсального, хотя в книге Рушди прямо о нем не говорится; это — общее для всех стремление прийти к истине, в том числе и путем романа. Не случайно именно демократические режимы, такие, как в Западной Европе и Северной Америке, предоставляют писателю право свободно писать романы: у политиков и у литераторов здесь одинаковое представление об истине как о перспективе для диалога, а не как о догматической непреложности.

К этому, возможно, следует добавить, что опять-таки не случайно романы, которыми мы зачитываемся сегодня, написаны в Азии или в Африке, в Латинской Америке или в Восточной Европе. Таким образом, положение индийского писателя, живущего в Лондоне, могло бы показаться идеальным... если бы не несколько миллионов мусульман, страстно желающих его смерти.

Перевод с французского Н. КУЛИШ

■

ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ

ПРОХЛАДНЫЙ СВЕТ

О подлинной реальности Мирчи Элиаде и Гайто Газданова

Последовательность событий во всякой человеческой жизни чудесна.
Гайто Газданов

...что бы ни случилось, — в Гималаях всегда есть пещера, которая меня ждет...
Мирча Элиаде

Мирское и священное

Одна из популярных книг Мирчи Элиаде называется «Священное и мирское». Написанная для широкого, «непосвященного» читателя, она не является «основополагающей» в череде множества работ Элиаде, а представляет собой, как сказано в авторском предисловии, «общее введение к феноменологическому и историческому изучению фактов религий». Отдавая должное скромности автора, подчеркивающего «прикладной» характер данного сочинения, позволим себе все же усомниться в точности этого определения, для чего у нас есть немало оснований — и прежде всего уверенность, что Мирче Элиаде менее всего подходит узкое определение «историк религий», несмотря на то что в последние годы жизни он занимал пост профессора кафедры именно истории религий в Чикагском университете. В словарях же и энциклопедиях «историк религий» — приклеилось к Элиаде намертво. Впрочем, его едва ли стоит называть и философом. Хотя он, кажется, нигде (в отличие, скажем, от Рене Генона)[1] и не подчеркивал своего резко отрицательного отношения к сей научной дисциплине.

На наш взгляд, «Священное и мирское» есть краткое и доступное изложение мировоззренческой концепции автора, в основе которой — и умозрительное, и опытное знание того, что «*священное и мирское* — это два образа бытия в мире, две ситуации существования, принимаемые человеком в ходе истории». Элиаде особенно ничего не пытается доказать, он лишь констатирует, что «открытие священного пространства позволяет обнаружить «точку отсчета», сориентироваться в хаотичной однородности, «сотворить Мир» и жить в нем *реально*. Напротив, мирское восприятие поддерживает однородность, а следовательно, относительность пространства. Всякая *истинная* ориентация исчезает, так как «точка отсчета» перестает быть единственной с онтологической точки зрения. Она появляется и исчезает в зависимости от повседневных нужд. Иначе говоря, больше нет «Мира», а есть лишь осколки разрушенной Вселенной, то есть аморфная масса бесконечно большого числа «мест» более или менее нейтральных, где человек перемещается, движимый житейскими потребностями, обычными для существования в индустриальном обществе».

Рассматривая категории «священного» на примерах «традиционных» обществ, Элиаде тем не менее — и даже в первую очередь — обращает внимание на положение современного человека. Вводя формулу «человека религиозного», он постоянно подчеркивает, что нет и человека «нерелигиозного» в окончательном смысле этого определения. Так как священное пространство и время существуют, то они не могут никак не «касаться» каждого из живущих в этом мире. «Религиозный человек живет в двух планах времени, наиболее значимое из которых — Священное — парадоксальным образом предстает как круговое, обратимое и восстанавливаемое Время, некое мифическое вечное настоящее, которое периодически восстанавливается посредством обрядов. Подобное поведение по отношению ко Времени достаточно для того, чтобы отличить религиозного человека от нерелигиозного: первый отказывается жить только в том, что в современной терминологии называется «историческим настоящим»; он старается приобщиться к Священному Времени, которое в некотором отношении может быть сравнено с «Вечностью».

Не вдаваясь в подробные объяснения тонкостей мировосприятия двумя человеческими типами (это, как и доказательство наличия в Мире двух «полюсов», не входит в нашу задачу), обратимся к той сфере человеческого бытия, которая называется искусством, точнее, еще у́же, — к литературе. Ибо именно на этом поле «священное» и «мирское», «реальное» и «потустороннее» сосуществуют в наиболее доступном и ясном для современников виде.

Чем более тонко человек ощущает наличие иного мира, тем легче ему преодолеть границу

---

[1] Рене Генон (1886—1951) — французский традиционалист и мистик, в 1912 г. перешедший в ислам и принявший арабское имя Абу-эль-Вахед Яхья («служитель единого»). Автор множества работ о «сущностях таинственного».

© И. Кузнецов, 1998

привычного, чем глубже он в тот мир проникает, тем сложнее ему поведать согражданам о том, что ему открылось, — ибо иной мир всерьез может быть описан лишь при помощи символов. Тем не менее «сакральный» опыт есть у каждого. Иногда он отражается в виде прямого свидетельства, в виде рассказа очевидца, чему примером небезызвестные былички, не пытающиеся объяснять сущность таинственного, а лишь в безыскусной форме повествующие о событиях, далеко выходящих за рамки обычного. Подобный опыт и попытки его изложения не являются прерогативой лишь посвященных. Однако две крайности — примитивное видение профанов и зачастую «птичий язык» посвященных — не всегда позволяют читающему доверять и понимать. Человек же, наделенный ко всему прочему еще и творческим даром, исчерпав возможности прямого свидетельства об увиденном, услышанном и почувствованном или возможности перевода с языка символов, обращается в конце концов к свидетельству литературному, художественному (именно так произошло и с Мирчей Элиаде и, например, с Альфредом Хейдоком[1], русским эзотериком и писателем-мистиком). В этом случае литературный текст на первый взгляд выступает почти исключительно как средство донести до читателя тайное знание, облаченное уже не в символическую, но в образную форму, он позволяет зафиксировать проявления иной реальности, вместе с тем всегда оставляя автору возможность сделать вид, что все им написанное — лишь плод его буйной фантазии, а вовсе не раскрытие тайн. Но в широком смысле, и это особенно важно подчеркнуть, речь не идет исключительно о произведениях так называемого «фантастического реализма» (с ударением на «фантастическое»), которые зачастую являются в значительной мере лишь плодами умозрительного сочинительства. Дабы не останавливаться на этой теме более подробно, скажем лишь, что для нас классическим примером образного видения священного и мирского в их тончайшем соприкосновении является бунинское «Легкое дыхание».

Проза пишется вовсе не для того, чтобы копировать действительность. Хотя писатели, вступая в игру с окружающей нас реальностью, любят объяснять правила этой игры с позиции здравого смысла, как его понимает — в их представлении — некий гипотетический читатель. То есть писатель, со своей стороны, заранее соглашается с тем, что кому-то герои, события и обстоятельства, им описанные, покажутся чересчур фантастическими; в то же время ему самому они таковыми не кажутся, просто у него иной опыт видения мира, иная оптика.

Однако он вынужден, точнее, волен иногда учитывать привычку обыденного сознания соотносить прочитанное с повседневностью. Чтобы читателя в собственном его жизненном опыте, слишком обычном, окончательно не разочаровать, писатель и прибегает к некоторым реверансам, позволяющим читателю воспринимать прочитанное как нечто, к действительности отношение имеющее лишь постольку поскольку.

«Я знаю, что все, случившееся в те времена, вся история Великого музыканта и обстоятельства, сопровождавшие ее, не могли произойти утром или после обеда — это были ночные вещи, скорее похожие на ошибки воображения, чем на действительность, или на воспоминания, видоизменяющие все и придающие ему ту определенную окраску и тот вид, которых оно не могло иметь на самом деле», — сообщает Гайто Газданов в рассказе «Великий музыкант». Подобные полупризнания-полуоправдания рассыпаны и в других его произведениях. Здесь же, в этой отчасти запутанной фразе, речь идет об «ошибках» воображения, видоизменяющих все, воображения, которое, как известно из Даля, есть «способность изображать в уме чувственные и отвлеченные предметы; возможность сочетания и мысленного живописания умственных картин». Добавим — не только в уме, но и на бумаге, на которой посредством слов запечатляются образы воображаемого. О каких же «ошибках» можно говорить применительно к художественному отражению картины мира? Именно о тех, которые позволяют художнику видеть мир по-иному, не как другим, то есть в его подлинной таинственной сущности. Именно это имел в виду Элиаде, говоря о двух полюсах метафизики — ночном и дневном, и о том, что литературное воображение — исключительно мифологизированное. Для Элиаде это означает — подлинное, ибо реальность мифологическая только и есть подлинная реальность. Писатель и ученый в Мирче Элиаде сходятся на территории мифа (Клод-Анри Роке)[1].

Мирча Элиаде и Гайто Газданов сходятся на территории воображения, которое не есть то же самое, что фантазия, — в каком-то смысле эти понятия даже антонимичны. Воображение вообще сродни визионерству.

«Ошибки» же художественного видения имеют двойственный характер: иногда автор про-

---

[1] Альфред Хейдок (1892—1990) — русский «харбинский» писатель. Поклонники Н. К. Рериха знают А. Хейдока как «продолжателя учения». На самом же деле он один из самых блистательных прозаиков русского зарубежья. В истории русской литературы он проходит именно по этому ведомству, несмотря на то что последние сорок лет Хейдок прожил в России.

[1] *Мирча Элиаде*. Испытание лабиринтом. Беседы с Клодом-Анри Роке (*Перевод с французского А. Старостиной*). Рукопись.

сто не отдает себе отчета, почему из каких-то пустяков рождается тот или иной «волшебный» (не в смысле — сказочный, а по своему необычайному воздействию на читателя) образ, порой же он специально запутывает все так, чтобы не быть уличенным в причастности к «тайному знанию».

Мирча Элиаде лишь в беседах с Клодом-Анри Роке («Испытание лабиринтом») признавался в подобных «ошибках», разбросанных по страницам его художественных произведений. Так, герои новеллы «Серампорские ночи», оказавшись в Серампорском лесу, попадают в иное время (для них — прошлое). «Я верю в реальность опытов «выхода из времени» и «выхода из пространства», — говорит Элиаде, но тут же уточняет, что он нарочито местом действия новеллы выбрал Серампорский лес, которого на самом деле нет. Тем самым он, хотя и чуть лукаво, дает понять, что все остальное описанное, столь внешне таинственное, фантастическое, имело место быть на самом деле. По поводу же «Загадки доктора Хонигбергера» его признания еще более откровенны. В этой новелле авторский герой (по признанию Элиаде — он сам) волею обстоятельств попадает в дом и библиотеку таинственно исчезнувшего доктора Зерленди. По сути дела, он находит разгадку тайны, расшифровав записки доктора. Однако спустя какое-то время его под всякими предлогами в дом номер 17 по улице С. перестают пускать, когда же он туда все же попадает, то все делают вид, что его не знают; по поводу же библиотеки выясняется, что она действительно была, но столь много лет назад, что он уж никак не мог в ней работать совсем недавно. Да и хромая служанка, о которой он напоминает хозяевам, уж лет пятнадцать как умерла. И вот как все это объясняет Клоду-Анри Роке сам Элиаде: «Муж мадам Зерленди, наделенный ясновидением, понимал, что, к его прискорбию, чрезвычайно ценный документ, который он замаскировал в надежде, что в один прекрасный день некто его расшифрует и таким образом убедится в реальности определенного йогического опыта, — так вот, Зерленди понимал, что документ расшифрован человеком, который, зная и санскрит, и йогу, является романистом и что его будет одолевать искушение — как оно, разумеется, и случилось — разболтать об этом необыкновенном опыте. Тогда, чтобы устранить любой риск проверки повествования на подлинность (распознать дом и найти библиотеку с рукописями было легко), в общем, ради доказательства, что тут имеет место лишь литературная фантазия, Зерленди преображает свой дом, устраняет библиотеку, а члены его семейства делают вид, будто не узнают рассказчика. И все для того, чтобы документ, содержание которого я намеревался передать в новелле, не был сочтен за подлинный». И само это признание предполагает два варианта восприятия — ему можно или поверить, или же отнести его на счет продолжения литературной игры. Но тут надо подчеркнуть, что Мирча Элиаде никакого отношения к постмодернизму не имеет, стало быть...

Стало быть, мы будем полагаться на собственную интуицию, особенно в плане сближения Элиаде и Газданова, писателей, на первый взгляд имеющих все же мало общего. Всякие сопоставления грешат условностью, но в то же время имеют право на существование. Во всяком случае, у Элиаде и Газданова немало точек соприкосновения и пересечения, как биографическо-географических (то есть в пространстве и времени мирском), так и метафизических (то есть в пространстве и времени священном, отражением которых является художественное творчество обоих, признаемся, любимых нами авторов).

По крайней мере, позволим себе тоже совершить некоторое количество «ошибок».

Север — юг, запад — восток

Одна дама, прочитав рассказ Газданова «Бомбей», воскликнула: «Когда же это он успел побывать в Индии?»

Газданов в Индии никогда не был. Но вполне мог бы быть, случись в его обыденной жизни такие же обстоятельства, каковые им описаны в рассказе, — то есть пригласи его туда вдруг какой-нибудь Питерсон, встреченный в монпарнасском кафе. Хотя вполне можно предположить, что он там все же побывал — сидя в Париже — благодаря волшебным свойствам воображения, позволявшего ему многажды перевоплощаться, в сущности всегда оставаясь собой, — он один из немногих писателей, исключительно «зацикленный» на себя, именно над собой экспериментирующий, помещая себя в обстоятельства чрезвычайные и порой едва ли не безвыходные. Впрочем, и Элиаде признавался, что многие его произведения, вполне экзотические и фантастические, на самом деле в немалой степени автобиографичны.

В отличие от Гайто Ивановича (который в зрелые годы предпочитал, чтобы его называли Георгием Ивановичем, хотя произведения свои он по-прежнему подписывал как Гайто) Мирча Элиаде в Индии не только бывал, но и прожил там довольно продолжительное время (кстати, уж коли зашла речь об именах, то стоит напомнить вот о чем: дедушку Мирчи звали Иеремия, фамилию Элиаде взял его отец — от румынского писателя XIX века Элиаде Рэдулеску, — деталь если и не символическая, то, по крайней мере, дающая пищу все тому же воображению). Поначалу Элиаде тоже погрузился в Индию воображаемую, но, так как его эта мистическая страна заворожила всерьез, он

решился на шаг беспрецедентный. В предисловии к «Истории индийской философии» Сурендраната Дасгупты он прочитал слова благодарности автора махарадже Маниндре Чандре Нанди из Кассимбазара и написал письма Дасгупте в Калькуттский университет и в Кассимбазар махарадже, в которых объяснил, что хотел бы изучать индийскую философию, особенно йогу. У махараджи он просил стипендию на два года. Тот стипендию предоставил, но не на два года, а на пять лет, объясняя факт подобной щедрости исключительно тем, что двух лет будет явно недостаточно. И вот сразу после защиты диплома в ноябре 1928-го (в 21 год) лиценциат филологического факультета по специальности «философия» Мирча Элиаде отправился из Констанцы в Порт-Саид на румынском пароходе, из Порт-Саида на японском — в Коломбо, а оттуда поездом — в Калькутту. В Индии он провел всего три года, вынужденный вернуться домой в 1931-м. Впрочем, «всего три года» — определение более чем условное. Ибо Индия от него уже никуда и никогда не уходила. Изучение языков, жизнь в гималайских монастырях, практическая йога превратили его из просто молодого, хотя и невероятно талантливого, ученого в человека «посвященного», обладающего тайными знаниями о мире.

Если уж мы сказали о мистическом опыте Элиаде, то сразу напомним и о том факте, что в 1932 году по приглашению Михаила Андреевича Осоргина Газданов вступил в русскую масонскую ложу «Северная звезда». Сложно решить, насколько участие Газданова в деятельности русских масонов в Париже можно отождествлять с «мистическим опытом», но во всяком случае сей факт определенно свидетельствует о том, что стремление к обретению подобного опыта у него было, — все-таки масонская ложа это не просто группа людей, проводящих досуг за обсуждением всяческих вопросов, так или иначе — это тайное братство «вольных каменщиков» со своими мистическими традициями и обрядами.

Но вернемся все же к началу, точнее, к началам обоих наших героев, вспомнив слова Газданова о том, что последовательность событий во всякой человеческой жизни чудесна. Только изначально оговоримся, что мы не будем пытаться «притягивать за уши» те или иные «похожие» факты из их биографий, мы их просто разложим перед читателем в некоторой последовательности — выводы же каждый волен делать сам.

Гайто Газданов появился на свет в Петербурге 6 декабря (23 ноября) 1903 года. «Я родился на севере, ранним ноябрьским утром. Много раз потом я представлял себе слабеющую тьму петербургской улицы, и зимний туман, и ощущение необычной свежести, которая входила в комнату, как только открывалось окно». Но корни его семьи были на юге, на Кавказе, в Осетии. Газданов, конечно же, не мог не ощущать этих корней, хотя прямых свидетельств того, что его занимал вопрос происхождения, кажется, нет. Необычное имя, чуть-чуть — черты лица и, может быть, сочетание холодного ума и лишь внешне сдержанного характера (выпестованного строжайшей самодисциплиной) могли свидетельствовать об этих самых корнях. Он и вообще, похоже, стремился быть человеком мира, которого прежде всего волнуют общие проблемы человеческого бытия, а не конкретно-исторические, — даже в тех его произведениях, где действуют эмигранты, его меньше всего занимает их российское прошлое (которое существует просто как данность, факт биографии), скорее — настоящее. Многие русские герои у него живут так, будто и не было никогда никакой революции, просто живут — как обыкновенные парижане, «хуже» или «лучше». Поздние романы и вообще написаны о французах — хотя, по большому счету, это и не принципиально.

Но есть и еще одна координата, связывающая в судьбе Газданова север и юг — путь исхода, соединивший изломанной линией гражданской войны имперский холодный Петербург и покидаемый последними врангелевскими войсками Крым, откуда пароход, на борту которого находился семнадцатилетний Газданов, взял курс на Константинополь, из России — навсегда. Далее — Галлиполи, вновь Константинополь, Болгария (в это время Газданов смог окончить курс гимназии) и, наконец, Париж, куда он перебирается в 1923 году. Черная работа и учеба в Сорбонне. Ночное такси (до самой войны и еще несколько лет после) и писание прозы. В 30-е он уже признанный писатель, автор «Вечера у Клэр», рассказов, «Истории одного путешествия», «Полета», «Ночных дорог». В середине 30-х была попытка при посредничестве Горького вернуться в Россию к больной матери. К счастью, при всей драматичности ситуации, неудачная. Потом война, участие в Сопротивлении, с 1953 года — работа на «Свободе», «Призрак Александра Вольфа», «Возвращение Будды», «Пилигримы», «Пробуждение», «Эвелина и ее друзья», смерть 5 декабря 1971 года (умер в Мюнхене, похоронен на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем). Вот и вся внешняя канва жизни.

Жизнь Мирчи Элиаде на первый взгляд менее всего похожа на газдановскую. И все же когда рассматриваешь их параллельно, то обнаруживаешь массу внутренних, а иногда даже и внешних пересечений. Во всяком случае, они имели возможность встретиться. В столь любимом обоими Париже. (Газданов в рассказе «Авантюрист» описал один из эпизодов легендарного пребывания Эдгара По в Санкт-Петер-

бурге. Возможно, появится еще автор «с воображением» и запечатлит для нас парижскую встречу наших героев. Им бы нашлось о чем побеседовать, сидя за столиком в монпарнасском кафе или бродя осенними улочками Латинского квартала.)

Мирча Элиаде родился 9 марта 1907 года в Бухаресте в ужасный месяц румынской истории, когда вся страна была охвачена восстанием. Отец — молдаванин, мать — олтянка. И вот что по поводу своего происхождения говорил сам Элиаде: «В румынской культуре Молдова представляет сентиментальный полюс: это меланхолия, склонность к философии, к поэзии и некоторая пассивность перед лицом жизни; молдаване больше любят политические программы, чем саму политику, и предпочитают революции на бумаге». «Молдавская линия дала мне наклонность к меланхолии, к поэзии и метафизике — скажем так: к *ночи*». «Мама же родом из Олтении, то есть западной провинции, граничащей с Югославией. Олтяне — народ гордый, энергичный, жить не могут без лошадей». Они торгуют лошадьми, даже воруют их. «Это самая предприимчивая, самая кипучая, самая страстная наша провинция — полная противоположность Молдове». Черты румынского востока и запада в Элиаде в той или иной мере соединились. Дед его был крестьянином — возможно, сей факт немало способствовал столь рано проявившемуся интересу Элиаде к традиционной народной культуре. Отец — военный, посему Элиаде еще в детстве пришлось немало попутешествовать.

Уже в двенадцать лет он писал и публиковал заметки о насекомых в «Газете народного знания». Первый рассказ — «Как я открыл философский камень» — напечатал в тринадцать лет. Элиаде с любовью вспоминает о своей мансарде, где он проводил большую часть времени — читая, сочиняя, изучая языки. В университете к французскому, немецкому и латыни добавились иврит, персидский. Санскритом и английским, бенгальским и тибетским языками он овладел уже в Индии. Позже изучал русский, португальский. Однако языки никогда не были для него целью, но лишь средством.

Увлечение древними культурами, алхимией, герметическими и оккультными течениями в философии естественным образом ввело его в круг молодых румынских интеллектуалов, объединенных целями великими и, как тогда казалось, вполне достижимыми. «Мы считали, — рассказывал он Роке, —что, впитывая эти архаические, внеевропейские культуры, мы найдем и средства выразить наше собственное духовное наследие: фракийско-славянско-римское и одновременно протоисторическое и восточное. Мы осознавали свое местоположение между Востоком и Западом. Вам ведь известно, что румынская культура образует в некотором роде «мост» между Западом и Византией, с одной стороны, и мирами славянскими, восточным и средиземноморским — с другой». Эта заложенная еще в юности «программа» и выполнялась самим Элиаде на протяжении всей жизни посредством его научных трудов и художественной прозы (кстати, если свои научные сочинения он писал не только по-румынски, но и по-французски, и по-английски, то прозу — исключительно на родном румынском).

Вернувшись в 1931 году из Индии, он начал свою преподавательскую деятельность в Бухарестском университете курсом лекций «Проблема Дьявола в истории религий». В 1933-м выходит в свет роман «Майтрейи», в 1936-м — «Девица Кристина»[1], в 1937-м — повесть «Змей», сделавшие Элиаде громкое писательское имя, — *так* до него в румынской литературе еще никто не писал.

В 1940 году он был назначен атташе по культуре при румынском посольстве в Лондоне, с 1941-го по 1945-й служил советником посла по вопросам культуры в Лисабоне. После окончания войны в Румынию он не вернулся, а поселился в Париже, где вскоре вновь стал преподавать — сначала в Парижской школе Высших исследований, затем в Сорбонне, «выезжая» с лекциями в Рим и Падую, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне, Марбург и Цюрих и т. д. Знакомится с К. Г. Юнгом и многими другими крупнейшими деятелями науки, культуры и искусства.

Большинство исследователей сходятся на том, что парижский период был для Элиаде самым плодотворным. В эти годы написаны такие, например, труды и художественные произведения, как «Очерки по истории религий», «Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторения», «Йога: бессмертие и свобода», «Мифы, сны и таинства», «Бенгальская ночь», «Запретный лес», «У цыганок», и многие другие. Но даже переехав в Чикаго (в 1957-м), Элиаде ежегодно несколько месяцев проводит в Париже, живя в том же районе Монмартра, где прошли его первые парижские годы. Умер он тем не менее не в любимом Париже, а в Чикаго в 1986-м.

Таким образом, именно в Париже пересекаются судьбы двух эмигрантов — Гайто Газданова и Мирчи Элиаде. Хотя следует признать, что ни тот ни другой себя эмигрантами не ощущали. Просто Газданов волею судеб стал самым парижским русским писателем, Элиаде же, можно предположить, ощущал себя вполне комфортно в столице мира, который оставался для него открытым.

И тот и другой чуждались публицистичности, по большому счету оба они были вполне

[1] Опубликована в «ИЛ», 1992, № 3.

аполитичны, что не помешало Газданову участвовать в Сопротивлении, а Элиаде написать целый цикл довольно мрачных рассказов, действие которых происходит в социалистической Румынии, знакомой ему лишь по прессе и рассказам очевидцев.

Представляется, что и Газданову с СССР все было ясно (попытка вернуться в начале 30-х была скорее жестом отчаяния, а не обдуманным желанием). И описание Центрального Государства в «Возвращении Будды», и столь редкие для него прямые высказывания по поводу тоталитаризма (там же) определенно говорят за это: «Я думал даже о разнице политических режимов, — мысль, вообще говоря, занимавшая мое внимание чрезвычайно редко, — и мне казалось, что девятнадцатый век не знал тех варварских и насильственных форм государственности, которые были характерны для истории некоторых стран именно в двадцатом столетии. Я вспоминал теории Дюркгейма об «общественном принуждении», contrainte sociale, и опять, отвлекаясь от университетского курса, переходил к суждениям более общего и более спорного порядка. Я думал, что глупость государственного насилия должна казаться современникам гораздо более очевидной, чем так называемым будущим историкам, которым должна быть непонятна именно личная тягостность этого гнета, соединенная с отчетливым пониманием его абсурдности. Я думал еще, что государственная этика, доведенная до ее логического пароксизма, — как кульминационный пункт какого-то коллективного бреда, — неизбежно приводит к почти уголовной концепции власти, и в такие периоды истории власть действительно принадлежит невежественным преступникам и фанатикам, тиранам и сумасшедшим; иногда они кончают жизнь на виселице или гильотине, иногда умирают своей смертью, и их гроб провожают безмолвные проклятия тех, кто имел несчастье и позор быть их подданными».

Элиаде объяснял свое невозвращение в Румынию без особого пафоса, не заявлял о «неприятии режима». При всем своем космополитизме оставаясь румыном, он задачу свою видел в сохранении и продолжении национальной культурной традиции, познании и объединении культур мировых — то есть задача оставалась той же самой, что была сформулирована им в молодости. Париж для исполнения этой миссии подходил больше, чем тогдашний Бухарест. И для Газданова парижский климат оказался более здоровым, чем — не дай бог — ленинградский или московский.

Итак, география судьбы свела Элиаде и Газданова в этом открытом на все стороны света городе. Но мало ли кого она там сводила...

Метафизика повседневности

Все же вот что, на наш взгляд, в наибольшей степени роднит последовательного мистика Элиаде и религиозного скептика, агностика Газданова — поразительная покорность судьбе, то есть мудрое приятие ее как данности. Они полностью осуществились в жизни благодаря тому, что никогда не искали виноватых в своих злоключениях, а находили свой собственный предопределенный свыше путь — порой ощупью, порой совершенно сознательно: просто они знали (в случае Элиаде) или хотя бы догадывались (в случае Газданова) о существовании в мире такого, что открыто лишь подлинно посвященным. Причем в данном случае речь совсем не обязательно идет о буквальном «посвящении», сопровождаемом определенными тайными обрядами, а в каком-то смысле о большем — о соотнесенности строя души с общей гармонией мира лишь внешне, на бытовом уровне дисгармоничного. «Всякий мир есть творение богов, так как он либо был непосредственно создан богами, либо «освящен» и, следовательно, «космизован» людьми, ритуально повторяющими примерный акт Сотворения. Иными словами, религиозный человек может жить лишь в священном мире, так как только такой мир участвует в бытии, то есть *существует реально*», — констатирует Элиаде в «Священном и мирском». А вот что говорил Газданов в «Третьей жизни», одном из самых загадочных своих рассказов (написанном еще в 1932-м): «Это была возможность иного видения мира и обретение того знания, которого я искал всю мою жизнь и которое каждый раз, когда мне казалось, что я его находил, исчезало, как тень, или оказывалось не тем, которое мне было необходимо, как воздух. Но я, в сущности, никогда не обманывался, я всегда знал, что это неверно и призрачно. Я говорил себе, что если бы я нашел это знание, — я знал, что оно существует, иначе не стоило бы жить, — то с этой минуты началась бы третья жизнь — как прозрачная река, непостижимо соединенная с ослепительным светом, мягким и нежным, как самые ранние воспоминания детства. Это была бы третья жизнь: первая кончилась тогда, когда я перестал быть ребенком, вторая жизнь — это были путешествия, война, книги, университет, встречи и те слепые движения души, которые заставляли меня с непонятным вниманием читать целые часы о давно происшедшем преступлении или писать рассказы, которые потом казались мне дикими и неестественными. Я знаю, что в неисчислимом множестве вещей и ощущений, которые предстояли мне, в целом мире неизвестного есть только один узкий вход в эту третью жизнь; и нужно было родиться с уделом единственного счастья, чтобы найти именно тот вход». Нам представ-

ляется, что Элиаде и Газданов пишут об одном и том же, а именно — о возвращении к подлинной реальности. И даже если это возвращение на уровне обыденном и невозможно, то оно осуществимо в художественном творчестве. Хотя многое все равно остается «за кадром» и угадывается лишь созвучной читательской душой.

Положение Газданова в данном «литературном» контексте в какой-то мере предпочтительнее, он — чистый художник, не «отягощенный» наукой, ему легче следовать исключительно интуиции. Элиаде приходилось себя в той или иной мере преодолевать: «Возможно, если бы я дал себе труд, символизм «Змея» получился бы более связным. Но не стеснило бы ли это литературный вымысел? Не знаю. Любопытным мне кажется вот что: хотя я «брал с бою» предмет, столь дорогой историку религий, каковым я являюсь, писатель во мне отверг любое *сознательное* сотрудничество с ученым и интерпретатором символов; он грудью встал за *свободу* выбирать то, что ему нравится, и отбрасывать символы и толкования, которые ему в готовом виде услужливо подсовывал эрудит и философ. <...> Я ни в коем случае не хотел бы, чтобы создалось впечатление, будто я прибегаю к беллетристике ради демонстрации того или иного философского тезиса. Поступай я так, мои романы были бы, возможно, содержательнее в философском смысле. Но я, как в полной мере показывает опыт «Змея», обращался к литературе ради удовольствия (или потребности) *писать свободно*, выдумывать, мечтать, мыслить, если угодно, но без пут систематического мышления. Вполне допускаю, что целый ряд моих недоумений, непроясненных тайн и проблем, не вместившихся в мою теоретическую деятельность, просились на просторы литературы». Не от имени ученых и философов, а от имени художников он заявлял: «Мы занимаемся демистификацией наизнанку, мы прозреваем священное в обыденном».

Именно за флером повседневности угадывал Газданов очертания той подлинной реальности, на которой зиждется в мире все. Отсюда — столь частые у него «пограничные» состояния героев, особенно «явственные» — в «Третьей жизни», «Возвращении Будды» или «Пробуждении». Вот как *это* описывается, например, в «Возвращении Будды», когда герой выбирается из столицы фантастического Центрального Государства, куда он забрел, блуждая по парижским улицам, и где едва не погиб: «Я начал свое последнее путешествие именно с Парижа; но где и когда я мог видеть нечто похожее на тот воображаемый лабиринт, куда меня повлекло властное движение моего безумия? Реальность этого перехода была, однако, предельна, и я помнил его поворот и эти непонятные углубления его стен не менее ясно, чем все дома улицы, на которой я действительно жил в Латинском квартале. Я знал, конечно, что улица существует, а проход возник только в моем воображении; но эта бесспорная разница между улицей и проходом была лишена для меня той каменной и неподвижной убедительности, которую она должна была иметь». Но это пример явной, болезненной «пограничности». Другое дело — чудо пробуждения к новой, по сути дела той самой «третьей жизни» Анны-Мари, для которой ее разбудил Пьер, взяв в свой дом почти животное и воссоздав из этого существа прекрасную женщину («Пробуждение»). «Для меня чудо, — говорит Пьеру пораженный психиатр, — это не то, чего не может быть, а то, чего мы не можем постигнуть, так как не знаем ни его природы, ни тех законов, которые эту природу определяют. Но так или иначе, то, что произошло, это именно чудо, как бы это ни понимать». Но здесь тоже — чудо явное, бесспорное, видимое обычным взглядом. Ощущение метафизичности повседневности имеет и гораздо более тонкие, «обычные» проявления: «Каждое утро, когда я просыпаюсь, я думаю, что именно сегодня по-настоящему начинается жизнь, мне кажется, что мне немногим больше шестнадцати лет и что тот человек, который знает столько трагических и печальных вещей, тот, который вчера ночью засыпал на моей кровати, мне чужд и далек, и я не понимаю ни его душевной усталости, ни его огорчения. И каждую ночь, засыпая, я чувствую себя так, точно я прожил очень долгую жизнь и все, что я из нее вынес, это отвращение и груз долгих лет. И вот идет день, и по мере того, как он подходит к концу, эта отрава душевной усталости все глубже и глубже проникает в меня» («Призрак Александра Вольфа»). Волшебством газдановской прозы самая жуткая повседневность одухотворяется, становится нестрашной, естественной, *обратимой*. Обратимой не в том смысле, что можно заново прожить жизнь, отменив в ней то, что хочется забыть, а в том, что красота и оправданность есть даже в мерзости, преступлении, убийстве. Газданов при том вовсе не любуется отвратительными сторонами бытия, он о них свидетельствует как перед каким-то высшим судом. И это не цинизм холодного художественного ума, это грустное понимание цельности мира, в котором, оказывается, есть место всему — и высоким движениям души, и самым низким падениям. Отчаянной попыткой преодоления этого состояния мира на примере отдельно взятой человеческой души явился роман-притча «Пилигримы», в которой отъявленный, «конченый» негодяй Фред возвращается в подлинно человеческий образ. Но, конечно же, погибает. Вообще, Газданов — писатель невероятно грустный (говорят, что и в жизни он был человеком мрачнова-

тым и даже угрюмым) и вместе с тем чрезвычайно добрый. Кажется, он навсегда хотел бы остаться ребенком, с тихим восторгом открывающим мир. Но выпало ему иное предназначение: слишком уж откровенно и подробно мир позволял себя видеть. В детство он возвращался лишь воспоминаниями: «Я знал когда-то, — думал я, — такую счастливую и прекрасную жизнь: зимние сумерки, и маленькую кровать, и лицо матери, и страшные сказки, — и потом иное: честность и искренность, и северное видение снежного рыцаря, и нежная грудь с молоком, дающая жизнь новому и лучшему существованию, — и все это тлеет на черном огне, и тяжелый дым, похожий на небо святого Антония, медленно стелется над этим».

Элиаде тоже писатель не очень-то веселый. Но он жил на уровне более глубоком или, если хотите, более высоком. Для него границы между профанным и священным вообще не существует, посему на человека он смотрит взглядом не участника событий, но наблюдателя. Он гораздо лучше Газданова знает, как оно все на самом деле есть. И это знание он щедро дарит всем, кто способен этот дар принять. Увидев в детстве волшебную комнату в своем доме, он уже никогда более не сомневался в том, что внешняя сторона жизни — вторична и не стоит тех необузданных страстей, коими сопровождается. Он так и остался гималайским монахом-отшельником, вернувшимся в мир лишь для того, чтобы свидетельствовать перед людьми о том, что высший мир не фантазия, а данность, которой каждый принадлежит, и которая в свою очередь принадлежит каждому из живущих, умерших или еще не родившихся.

И именно здесь, в метафизической точке, соединяющей священное и мирское, по-настоящему и встречаются Элиаде и Газданов — их профили будто выбиты на разных сторонах одной медали или монеты, символизирующей интуицию и знание — плату за прижизненное вхождение в вечность.

Главный же жизненный вывод, который можно сделать благодаря внимательному и медленному чтению Газданова и Элиаде, уже сделан учителем русского языка в речи на выпускном гимназическом акте, которую вспоминает Газданов в «Призраке Александра Вольфа»: «Вы начинаете жить, и вам придется участвовать в том, что называется борьбой за существование. Грубо говоря, есть три ее вида: борьба на поражение, борьба на уничтожение и борьба на соглашение. Вы молоды и полны сил, и вас, конечно, притягивает именно первый вид. Но помните всегда, что самый гуманный и самый выгодный вид — это борьба на соглашение. И если вы из этого сделаете принцип всей вашей жизни, то это будет значить, что та культура, которую мы старались вам передать, не прошла бесследно, что вы стали настоящими гражданами мира и что мы, стало быть, тоже недаром прожили на свете. Потому что, если бы это оказалось иначе, это значило бы, что мы только потеряли время».

О природе света

В «Египетских мистериях» Ямвлиха[1] подробно описаны природа и свойства света, исходящего от высших существ: «...боги сияют светом такой тонкости, что его не могут вынести телесные глаза, но люди испытывают подобное рыбам, вытащенным из мутной и вязкой влаги на тонкий и прозрачный воздух. Ибо и созерцающие божественный огонь, будучи не в состоянии дышать им по причине его тонкости, бессильны оказаться видящими и отрезаны от родственного духа. Архангелы сияют сами по себе невыносимой для дыхания чистотой, которая, однако, не столь же невыносима, как принадлежащая лучшим. Присутствие ангелов создает переносимое смешение с воздухом, так что оно может уже прийти в соприкосновение с теургами». Таким образом, Ямвлих отмечает, что свет из областей сакральных едва ли может быть «впрямую» воспринят человеком, разве что при посредстве ангелов. Которые, как известно, сопровождают каждого из нас. Следовательно, мы этот свет увидеть можем. И видим — только не всегда сей факт осознаем. Я видел нечто похожее однажды, сидя на холме над рекой в тот призрачный час, когда день сливается с сумерками. Он едва заметно для глаз, но буквально физически ощутимо поднимался над невидимой рекой к розовеющему предзакатному небу. Я знаю, что это был прохладный свет тайны, окружающей и охраняющей нашу жизнь.

И еще иногда мне кажется, что этот мерцающий прохладный свет исходит от страниц некоторых книг — в их числе книги Элиаде и Газданова. Может быть, мне это действительно только кажется, и виной всему исключительно воображение. Но ведь на то оно — воображение — и дано: дабы зрить невидимое.

[1] Ямвлих Халкидонский (2-я пол. III — 1-я пол. IV в.) — неоплатоник, автор многих философических сочинений, в том числе знаменитой книги «О египетских мистериях».

■

АЛЕКСАНДР ГЕНИС

ДОВЛАТОВ И ОКРЕСТНОСТИ

Главы из книги

Книга, которую я хочу представить читателям «Иностранной литературы», была задумана уже несколько лет назад. Давно было готово заглавие, использующее титул замечательной монографии Ивана Аксенова «Пикассо и окрестности». Предрешен был и тот свободный жанр «филологического романа», в котором написана моя любимая русская проза, — от мандельштамовского «Разговора о Данте» до «Прогулок с Пушкиным» Синявского. Но что особенно важно, сама собой сформулировалась центральная тема всего сочинения — исповедь последнего советского поколения, голосом которого стал, как мне кажется, Сергей Довлатов. Итак, готово было все, кроме начала. Но одним дождливым майским днем пришло и оно. Было это в Петербурге, в редакции «Звезды», где я рассказывал о Довлатове одной милой аспирантке. Пока интервью плавно катилось к финалу, к дождю за окном прибавился град и даже хлопья снега. Неожиданно в комнате появилась промокшая женщина с хозяйственной сумкой. Оказалось — офеня. Она обходила окрестные конторы, предлагая свой товар — импортные солнечные очки. В этом была как раз та степень обыденного абсурда, который служил отправной точкой довлатовской прозе. Я понял намек и, вернувшись в Нью-Йорк, плотно уселся за письменный стол.

Роман пунктиром

Совершенно непонятно, когда Довлатов стал писателем. У нас считалось, что это произошло в Ленинграде, в Ленинграде — что в Америке. Остается признать решающими несколько недель австрийского транзита. Оказавшись с матерью и фокстерьером Глашей в Вене, Сергей развил бешеную деятельность. В тамошнем пансионе он успел написать несколько прекрасных рассказов, украсивших потом «Компромисс».

Возможно, творческий запой был, как это у него случалось, следствием обыкновенного. До Вены Сергей так усердствовал в прощании с родиной, что в Будапеште его сняли с самолета. Правда, я слышал это не от Довлатова, что и придает достоверности этой истории и внушает сомнение в ней. Кажется странным, что Сергей опустил столь яркую деталь своего исхода. Хотя не исключено, что он счел ее душераздирающей.

Так или иначе, в Америку Довлатов приехал автором бесспорно известным, к тому же — в умеренном диссидентском ореоле. Однако вместо иллюзий у него были одни смутные надежды. Поэтому он, как и все мы, готовился зарабатывать на жизнь незатейливым физическим трудом.

С этого начинали почти все мои знакомые литераторы. Лимонов, как известно, пошел в официанты. Спортивный журналист Алексей Орлов присматривал за лабораторными кроликами. Публицист Гриша Рыскин стал массажистом. Хуже других пришлось автору детективных романов Незнанскому. На фабрике, где он служил уборщиком, стали довольно грубо измываться над мягким и симпатичным Фридрихом, когда узнали, что он из юристов — им в Америке так завидуют, что терпеть не могут. Соавтор Незнанского Эдуард Тополь начинал по-другому. Заявив, что не собирается путаться в эмигрантском гетто, он приехал в Америку с готовым сценарием. Первая фраза звучала эффектно: «Голая Сарра лежала на диване». Вскоре Тополь выучился на таксиста. Когда их союз распался, Фридрих жаловался Довлатову, что Тополь зажилил его машинку. Сергей еще удивлялся: что ж это за следователь, который не может уследить за своей собственностью?

Сергей, кстати, знал толк в пишущих машинках. Он даже собирался заняться их починкой. Эту весьма экзотическую деятельность он выбрал как наиболее тесно связанную с литературой. Выяснилось, однако, что в Америке машинки не чинят. Тут и ботинки-то отремонтировать — проблема. Тогда Сергей записался

© A. Genis, 1998

на курсы ювелиров — он умел рисовать и обожал безделушки.

Впрочем, долго это, как и у всех нас, не продлилось. Меня, например, с первой американской работы выгнали через месяц — за нерадивость. Скучнее этих четырех недель в моей жизни ничего не было. Я мечтал о конце рабочего дня через пятнадцать минут после его начала. И это при том, что служил я грузчиком в фирме, которая занималась, как теперь понимаю, не столько джинсами, сколько постмодернизмом. Выглядело это так: на полу лежала груда купленных по дешевке штанов, на которые тихие пуэрториканки нашивали модный ярлык «Сассун». На Пятой авеню эти джинсы шли по пятьдесят долларов.

С Довлатовым мы познакомились сразу. Его жена Лена тогда работала вместе с нами в «Новом русском слове», да мы уже и знали друг друга по публикациям.

Как ни странно, мы тут же перешли с Сергеем на ты. С ленинградцами это происходит отнюдь не автоматически, чем они и отличаются от москвичей. (Когда к Ефимовым пришел Алешковский, Марина, открыв дверь, поздоровалась. В ответ Алешковский закричал: «Бросьте ваши ленинградские штучки!») Сергей любил и ценил этикет. Со многими близкими людьми, тем же Гришей Поляком, он общался на вы. Фамильярность его не столько оскорбляла, сколько озадачивала. Когда моя жена уличила его в мелком вранье, Сергей с удивлением заметил: «Я не думал, что мы так близко знакомы».

Нашему стремительному сближению несомненно способствовала решительность в выпивке. Мы отвели Сергея в странную забегаловку «Натан», где наравне с хот-догами подавали лягушачьи лапки. Запивая все это принесенной с собой водкой, мы сразу выяснили все и навсегда — от Гоголя до Ерофеева.

Затем произошла история, которую я так часто рассказывал, что сам в ней стал сомневаться. Мы шли по 42-й стрит, где Довлатов возвышался, как, впрочем, и всюду, над толпой. Сейчас эту улицу «Дисней» отбил у порока, но тогда там было немало сутенеров и торговцев наркотиками. Подойдя к самому страшному из них — обвешанному цепями негру, — Сергей вдруг наклонился и поцеловал его в бритое темя. Негр, посерев от ужаса, заклокотал что-то на непонятном языке, но улыбнулся. Довлатов же невозмутимо прошествовал мимо, не прерывая беседы о Фолкнере.

Можно было подумать, что в Америку Сергей приехал как домой. На самом деле Сергей отнюдь не был избавлен от обычных комплексов. По-английски он говорил даже хуже нас. Манхэттен знал приблизительно. В метро путался. Но больше всего его, как всех эмигрантов, волновала преступность. В письмах Сергей драматизировал обстановку с наслаждением: «Здесь фактически идет гражданская война <...> большинство американцев рассуждают так, что лучше сдаться красным, которые ликвидируют бандитизм».

От него мне такого слышать не приходилось — то ли он стеснялся, то ли я не интересовался. Мне ведь тогда еще не было тридцати, и новая жизнь вокруг бурлила и завихрялась таким образом, что жена нередко задавала классический вопрос: «Знаешь ли ты, какие глаза у твоей совести в два часа ночи?» Не без основания тогда редактор «Нового русского слова» называл нас с Вайлем «Двое с бутылкой». При всем том мои воспоминания о нью-йоркских приключениях ничем не омрачены. Ни разу мне не приходилось сталкиваться, например, с полицейскими. Хотя даже в Нью-Йорке не положено распивать коньяк на скамейке в Центральпарке. Правда, мы всегда блюли если не дух, то букву закона, не доставая бутылку из коричневого бумажного пакета. Не было у меня столкновений и с уголовниками, хотя сильных ощущений хватало. Скажем, однажды мы сидели на лавочке неподалеку от страшного Гарлема, куда благоразумные люди и днем-то не ходят. За разговором незаметно стемнело. И тут нас окружила стайка чрезвычайно рослых негров. Вскочив на ноги, мы постарались изобразить отчаянное дружелюбие. Однако они пробежали мимо, не обратив на нас внимания. Приглядевшись, мы увидели, что бегут они из церкви в спортивный зал, где в Нью-Йорке и по ночам играют в баскетбол.

В другой раз я ехал с компанией в ночном сабвее. Вагоны полупустые, свет тусклый, да и попутчики соответствующие. Чтобы скрасить поездку, мы слушали записи Высоцкого и потягивали свое из коричневого пакета. А один из нас даже закурил. Тут наш приятель оглядел ночной вагон и с тоской воскликнул: «Господи, мы же хуже всех!» Эту историю Сергей обожал пересказывать и вставил в «Записные книжки».

Но хуже всего было, когда я случайно попал в рок-клуб. В гуще танцующих я выбрал себе партнершу поснисходительнее. То есть это я думал, что выбрал, а так-то я до сих пор не знаю, танцевала ли она со мной одна или в хороводе. Чтобы это выяснить, я завел игривую беседу. К несчастью, из меня вылезали только заготовленные впрок совсем для другого случая английские фразы. С ужасом я услышал, как говорю, перекрикивая ударника: «Сахаров из грейт. Уот э найс тинг димокраси. Я выбрал свободу!»

Сперва на правах старожилов мы покровительствовали Сергею. Он даже обижался, говоря, что мы принимаем его за деревенскую старуху. Но очень скоро Довлатов освоился в Америке. Он с маху нашел тут то, чего я в ней не видел. Так мы и прожили с ним в разных странах.

Я Америку обживал, как любую заграницу, — смотрел города, ездил на природу, ходил по музеям и ресторанам. Всем этим Сергей категорически не интересовался. Он действовал по-другому. В чужой стране Довлатов выгородил себе ту зону, которую мог считать своей. Сергей нашел тут то, что объединяло Америку с ее прозой, — недосказанность и демократизм.

После переводчиков Сергею в Америке больше всего нравились уличные музыканты и остроумные попрошайки. Впрочем, Сергей и на родине любил босяков, забулдыг и изгоев. Как в «Чипполино», в его рассказах богатым достается больше, чем беднякам.

Запоздалый разночинец, Довлатов презирал сословную спесь. Во всей американской литературе Сергей своей любимой называл фразу: «Я остановился поболтать с Геком Финном». Том Сойер, как известно, произносит ее в тот критический момент, когда несчастная любовь сделала его бесчувственным к последовавшей за этим признанием порке.

Довлатов сам был таким. Его готовность к диалогу включала всех и исключала только одного — автора. Сергей умел не вмешиваться, вслушиваясь в окружающее.

Еще в американской прозе Довлатов любил «достижимость нравственных ориентиров». Дело не только в том, что американская литература реже нашей требовала от человека героизма и святости. Важнее, что она вообще ничего не требовала, только просила — попридержать моральное суждение, принимая мир таким, какой он есть. Не то чтобы по одну сторону океана к добродетели относились с меньшей любовью, чем по другую. Просто не зараженные гиперморализмом американские писатели умели отдавать должное соблазну.«Если я продал Сатане душу за чечевичную похлебку, — говорит герой «Похитителей», одного из самых любимых Сергеем романов Фолкнера, — то, по крайней мере, будь что будет, а я получу эту похлебку и выхлебаю ее».

В одном из американских телесериалов есть похожая сценка. Дьявол предлагает купить душу.

— Сколько? — спрашивает герой.

— Сто долларов!

— Sounds good! [1] — не сдерживает восторга простак.

В этой нерасчетливости можно найти если не оправдание порока, то снисхождение к нему.

Впрочем, в фолкнеровской апологии порока Довлатову, как всегда, ближе была не теологическая, а эстетическая софистика. В том же романе Фолкнер разворачивает мысль, которая не могла не понравиться Сергею: «Посвятившие себя Добродетели получают от нее в награду лишь безжизненный, бесцветный и безвкусный суррогат, ни в какое сравнение не идущий не только с блистательными дарами Недобродетели — грехом и наслаждением, но и... с несравненной способностью изобретать и придумывать».

Видеть в грехе источник литературы — это очень по-довлатовски. И защищать порок, в сущности, — по-американски. Ведь только тот демократ последователен, кто вынуждает добродетель поделиться правами с пороком. Демократия — это не признание другого мнения, а терпимость к другой жизни. Способность не роптать, деля пространство с кем-то чужим и посторонним, вроде крысы или таракана. Характерно, что Сергей первым в Америке вступился за последних: «Чем провинились тараканы? Может, таракан вас укусил? Или оскорбил ваше национальное достоинство? Ведь нет же... Таракан безобиден и по-своему элегантен. В нем есть стремительная пластика гоночного автомобиля».

В американской литературе Довлатов находил то, чего ему не хватало в русской. Сергей жаловался, что у Тургенева никогда не поймешь, мог ли его герой переплыть озеро. Чтобы не быть на него похожим, сам Довлатов переплыл Миссисипи. Во всяком случае, написал об этом.

Сергей никогда не забывал о телесном аспекте нашего существования. Тем более что сделать ему это было непросто. Выпивший Сергей мог быть физически обременительным. На третий день ему отказывала грация, с которой он обычно носил свое непомерное тело. Больше, чем все остальное, оно сближало его с Хемингуэем. В отличие от многих, Сергей не плевал в забытого кумира, но никогда его и не цитировал. Хемингуэй, как танк, проехал по прозе всего поколения, но на довлатовских страницах он оставил не так уж много следов. Самые неловкие из них — концовки рассказов в «Зоне»: «Но главным было то, что спит жена. Что Катя в безопасности. И что она, наверное, хмурится во сне...»

Тут важно, что Сергей взял у Хемингуэя не только скупую слезу, которая иногда орошает довлатовскую страницу, но и знаменитые дырки в повествовании. Приспособив теорию айсберга для своих целей, Сергей придумал себе

[1] Звучит неплохо! (*англ.*).

особую пунктуацию. Эстонская журналистка из «Компромисса» совершенно справедливо называла ее «сплошные многоточки».

Точка редко бывает лишней, многоточие — почти всегда. От своего аристократического предка этот знак унаследовал лишь внешность, да и то троекратно разбавленную. Ставя три точки вместо одной, автор рассчитывает, что многозначительность, как цветы — могилу, прикроет угробленное предложение. Многоточие венчает не недосказанную, а недоношенную мысль.

Сергей знал все это лучше других. И все же, терпеливо снося насмешки, в том числе и собственные, он стал рекордсменом многоточий. Отстаивая свое право на них, он писал, что «пунктуацию каждый автор изобретает самостоятельно». В *его* литературе многоточия были авторским знаком. Довлатовское многоточие больше напоминает не пунктуационный знак, а дорожный. Он указывает на перекресток текста с пустотой. Каверны, пунктиром выгрызенные в теле текста, они придают ему элегантную воздушность, как дырки — швейцарскому сыру.

Самая загадочная довлатовская фраза звучит так: «Завтра же возьму напрокат фотоувеличитель». Сергей ею больше всего гордился, хотя смысла в ней немного. Потому и гордился.

Эта фраза маскирует свое отсутствие. Она — род довлатовских «многоточек». А хвалился он ею потому, что мастерство и решительность писателя сказываются не только в том, что он написал, но и в том, чем он пожертвовал. Оставив никакую фразу на том месте, где могло быть сказано что-то значительное, Довлатов давал читателю перевести дух.

Если в прозе нет фокуса, то она не проза; но если автор устраивает из аттракционов парад, то книга становится варьете без антракта. Чувствуя себя в ней запертым, читатель хочет уже не выйти, а вырваться на свободу. Чтобы этого не произошло, Сергей прокладывал свои хрустальные фразы словесной ватой. Его бесцветные предложения освежают рецепторы, мешая притупиться зрению. Прореживая текст, Сергей незаметно, но властно навязывает нам свой ритм чтения. У довлатовской прозы легкое дыхание, потому что его регулирует впущенная в текст пустота.

Стараясь быть блестящим, но не слепящим, Сергей пуще всего ценил ту остроту оригинальности, о которой знает один автор. Об этом говорится в той цитате из Пастернака, которую — «единственную за всю мою жизнь» — выписал еще в молодости Довлатов: «Всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают».

В «Зоне» Сергей писал, что мы прозвали его «трубадуром отточенной банальности». На самом деле он, как всегда, приписывал другим нанесенную им же себе обиду, чтобы тут же обратить слабость в достоинство.

Сергей дерзко разбавлял тривиальностью свою тайную оригинальность.

Пустота всякой банальной фразы — своего рода рама. С одной стороны, она выгораживает картину из невзрачной стены, с другой — соединяет ее с ней.

Пустота — трубопровод, связывающий текст с окружающей действительностью. Впуская пустоту в текст, автор смешивает вымысел с реальностью как раз в той пропорции, в которой они встречаются и за пределами печатной страницы.

Китайцы, великие мастера в обращении с пустотой, знали три способа ее использования. Первый — оставить ее как есть. Однако незамеченная пустота перестает быть собой. Она неизбежно во что-нибудь превращается — в тетрадный листок, бурый фон, звездное небо, обои в цветочках. Второй способ — украсить вещь пустотой. Такая пустота становится декоративной. Она, как поля в тексте, оттеняет собой чужое присутствие. И наконец, третий, самый трудный, требует впустить пустоту в картину, дав небытию равные права с бытием. Только тот художник изображает мир во всей его полноте, кто блюдет паритет вещи с ее отсутствием. Недостаток — больше избытка, и, заменив сложение вычитанием, пустое способно заполнить порожнее.

Довлатов, как все писатели, стремился воссоздать цельность мира. Но, в отличие от многих других, он видел препятствие не в чистой, а в исписанной странице.

Американская жизнь Довлатова походила на его прозу: роман пунктиром — вопиюще недлинный, изобилующий многоточиями. Тем не менее она вместила в себя все, что другие растянули бы в эпический роман. В Америке Сергей трудился, лечился, судился, добился успеха, дружил с издателями, литературными агентами и американскими «барышнями» (его слово), здесь он вырастил дочь, завел сына, собаку и недвижимость. Ну и конечно, 12 американских лет — это дюжина вышедших в Америке книжек: аббревиатура писательской жизни. И все это не выходя за пределы круга, очерченного теми американскими писателями, которых Сергей знал задолго до того, как поселился на их родине. Довлатов с легкостью и удобством жил в вычитанной Америке, потому что она была не менее настоящая, чем любая другая.

Сергей писал, что раньше Америка для него была как рай — «прекрасна, но малоубедительна». Поэтому больше всего в Америке его удивляло то, что она есть. «Неужели это я?! Пью айриш-кофе в баре у Джонни?» — вот основная эмоция, которой, в сущности, исчерпываются его отношения со страной, которую он знал, любил, понимал и игнорировал.

Блестящий послужной список Довлатова — множество переводов, публикации в легендарном «Нью-Йоркере», две сотни рецензий, похвалы Воннегута и Хеллера — мог обмануть всех, кроме него самого. Про свое положение в Америке Сергей писал с той прямотой, в которой безнадежность становится смирением: «Я — этнический писатель, живущий за 4000 километров от своей аудитории».

All that Jazz[1]

Своему успеху в Америке Довлатов обязан языку, вернее, его отсутствию. Не зная толком английского, он писал на нем, сам того не ведая. Чтобы окончательно запутать ситуацию, я бы сказал, что Довлатов писал на американском языке по-русски. При этом собственно «английский Довлатов» всех устраивал, хотя мало кого удивлял. Исключением Сергей был среди русских, а не американцев.

Решительней всех на это указал Бродский. В мемуарном очерке о Сереже (так он его называл) Бродский обронил замечание слишком глубокомысленное, чтобы им пренебречь: Довлатова «оказалось сравнительно легко переводить, ибо синтаксис его не ставит палок в колеса переводчику».

Синтаксис Сергей и правда упразднил. У него и запятых — раз-два и обчелся. Иначе и быть не могло. Как все теперь знают, Сергей исключал из предложения — даже в цитатах! — слова, начинающиеся на одну букву. Сергей называл это своим психозом. Чтобы не было двух начальных «н», в пушкинской строке «к нему не зарастет народная тропа» он переделывал «народную» на «священную».

За этим чудачеством стояла вполне внятная идея спартанской дисциплины. Прозаику, объяснял Сергей, необходимо обзавестись самодельными веригами взамен тех, что даром достаются поэту.

Сергей не хотел, чтобы писать было легко. Когда его уговаривали перейти на компьютер, говоря, что тот ускоряет творческий процесс, Довлатов приходил в ужас. Главная моя цель, повторял он, писать не быстрее, а медленнее. Лучше всего было бы высекать слова на камне — не чтобы навечно, а чтобы не торопясь.

Довлатов боялся не столько гладкости стиля, сколько его безвольности. Лишенный внутренних ограничений автор, сам того не замечая, вываливается из художественной литературы. Чтобы этого не произошло, прозаик должен отвечать за выбранные им слова, как блатной за свои татуировки.

Естественным результатом довлатовского «психоза» были чрезвычайно короткие предложения, что идеально соответствовало всей его философии.

Ведь что такое синтаксис? Это связь при помощи логических цепей, соединяющих мысли наручниками союзов. Синтаксис — это навязанная нам грамматическая необходимость, которая строит свою картину мира. Стоит пойти на поводу у безобидного «потому что», как в тексте самозарождается независимый от автора сюжет. Стройная система, лишающая нас свободы передвижения, синтаксис — смирительная рубашка фантазии. Намертво соединяя предложения, союзы создают грамматическую гармонию, которая легко сходит за настоящую. Синтаксис — великий организатор, который вносит порядок в хаос даже тогда, когда его же и описывает.

И все-таки как бы искусно ни была сплетена грамматическая сеть, жизнь утекает сквозь ее ячеи. Предпочитая откровенную капитуляцию мнимым победам, Сергей соединял свои предложения не союзами, а зиянием многоточий, разрушающих мираж осмысленного существования.

Это-то и выделяло Довлатова из соотечественников, о которых так точно написал Бродский: «...мы — народ придаточного предложения».

По-моему, Бродский был единственным человеком, которого Сергей боялся. В этом нет ничего удивительного — его все боялись.

Когда у нас на радио возникала необходимость позвонить Бродскому, все смотрели на Сергея и он, налившись краской, долго собирался с духом, прежде чем набрать номер. Иногда такие звонки заканчивались экстравагантно. На вопросы Бродский отвечал совершенно непредсказуемым образом. Когда его, например, попросили прокомментировать приговор Сальману Рушди, он сказал, что в ответ на угрозу одному из своих членов ПЕН-клуб должен потребовать голову аятоллы — «проверить, что у него под чалмой». Перед Бродским Сергей благоговел. Довлатов говорил о нем: «Он не первый. Он, к сожалению, единственный». Только после его смерти на Парнасе стало тесно. Бродский был нашим оправданием перед временем и собой. «Я думаю, —

[1] «Весь этот джаз» (*англ.*; название известного фильма Боба Фосса, означающее также «вся эта суета»). (*Прим. ред.*)

писал Довлатов, — наше гнусное поколение, как и поколение Лермонтова, — уцелеет. Потому что среди нас есть художники такого масштаба, как Бродский».

Надо сказать, что еще задолго до того как появилась профессия «друг Бродского», близость к нему сводила с ума. Иногда — буквально. Бродский тут был абсолютно ни при чем. Со знанием дела Сергей писал: «Иосиф — единственный влиятельный русский на Западе, который явно, много и результативно помогает людям».

Особенно отзывчивым Бродский казался по сравнению с игнорировавшим эмиграцию Солженицыным. (На моей памяти Александр Исаевич поощрил только одного автора — некоего Орехова, искавшего истоки славянского племени в Древнем Египте. Среди прочего Орехов утверждал, что этруски сами заявляют о своем происхождении: «это — русские».) Бродский же раздавал молодым авторам отзывы с щедростью, понять которую помогает одно его высказывание: «Меня настолько не интересуют чужие стихи, что уж лучше я скажу что-нибудь хорошее». С прозой обстояло не лучше. Однажды его скупые, но все-таки благожелательные слова появились на обложке шпионского романа под названием «Они шли на связь». Это, говорят, погубило автора, солидного доктора наук. Окрыленный похвалой, он с таким усердием занялся литературой, что потерял семью и работу.

Бродский, читавший все книги Довлатова, да еще в один присест, ценил Сергея больше других. Что не мешало Довлатову тщательно готовиться к каждой их встрече. Когда Бродский после очередного инфаркта пытался перейти на сигареты полегче, Довлатов принес ему пачку «Парламента». Вредных смол в них было меньше одного миллиграмма, о чем и было написано на пачке: «Less than one». Именно так называлось знаменитое английское эссе Бродского, титулу которого в русском переводе не нашлось достойного эквивалента.

С Бродским *у* Довлатова, казалось бы, мало общего. Сергей и не сравнивал — Бродский был по ту сторону. Принеся нам только что напечатанную «Зимнюю эклогу», Довлатов торжественно заявил, что она исчерпывает его представления о современной литературе. Когда Сергей бывал в гостях, Лена определяла степень его участия в застолье по тому, декламирует ли он «тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон». Отвечая на выпад одного городского сумасшедшего, Довлатов писал: он «завидует Бродскому и правильно делает. Я тоже завидую Бродскому».

Дороже искусства Довлатову была личность Бродского — Сергей поражался его абсолютным бесстрашием. Свидетель и жертва обычных советских гадостей, Довлатов всегда отмечал, что именно Бродский в отношениях с властью вел себя с безукоризненным достоинством.

Еще важней было мужество другого свойства. Бродский сознательно и решительно избегал проторенных путей, включая те, которые сам проложил. Большая часть жизни, говорил Бродский, уходит на то, чтобы научиться не сгибаться. Считая, что речь идет о властях, я недоумевал, потому что эти конфликты остались в прошлом. Только со временем до меня дошло, что Бродский имел в виду другое: сильнее страха и догмы человека сгибает чужая мысль или пример.

Сергей завидовал не Бродскому, а его свободе. Довлатов мечтал быть самим собой и знал, чего это стоит. Без устали, как мантру, он повторял «хочу быть учеником своих идей».

«Я уважаю философию, — писал Сергей, — и обещаю когда-то над всем этим серьезно задуматься. Но лишь после того, как обрету элементарную житейскую свободу и раскованность. Свободу от чужого мнения. Свободу от трафаретов, навязанных большинством».

Больше многого другого Довлатову нравилось в Америке, что тут «каждый одевается так, как ему хочется».

Демократия, конечно, дает отдельному человеку развернуться. Но — каждому человеку, и этим излечивает личность, как говорил тот же Бродский, от «комплекса исключительности». Чтобы быть собой, ты должен быть с собой; чаще всего — наедине. Автономность и самодостаточность не исключают, а подразумевают затерянность в пейзаже. Демократия, как болото, все равняет с собой.

С Бродским Довлатова объединяла органичность, с которой они вписывались в этот горизонтальный пейзаж. Почти ровесники, они принадлежали к поколению, которое осознанно выбрало себе место на обочине. Ценя превыше всего свободу, не имея потребности попадать в зависимость и навязывать ее другим, Бродский и Довлатов превратили изгнание в точку зрения, отчуждение — в стиль, одиночество — в свободу.

Бахчанян, который сопровождает эту книгу, как дед Щукарь «Поднятую целину», высказался и по этому поводу: «Лишний человек — это звучит гордо».

Америка не обделила Довлатова славой. Напротив, тут-то он ее и нашел. Сергей говорил, что удивляется и когда его узнают на улице, и когда не узнают. Однако свойство быст-

ротекущей американской действительности таково, что заставляет усомниться в ценности всякого признания. Милая редакторша из «Нью-Йоркера» сказала, что рассказы Довлатова перестали печататься потому, что он умер, а в Америке предпочитают живых авторов: мертвые — это те, кто проиграл. У нас, похоже, — те, кто выиграл.

В Америке Сергей нашел то, чего не было в отечестве, — безразличие, воспитывающее такую безнадежную скромность, что ее следовало бы назвать смирением.

Для русского писателя, привыкшего к опеке ревнивой власти, снисходительная рассеянность демократии — тяжелое испытание. Открыто об этом осмелился заявить лишь задиристый, похожий, как писал Довлатов, на «помесь тореадора с быком», Лев Халиф. В Нью-Йорке он поселился на такой далекой окраине, что с друзьями выпивал по телефону. О его злой и смешной книжке «ЦДЛ» Сергей отзывался тепло, в том числе и в стихах:

Верните книгу, Саша с Петей,
иметь такую книгу — честь!
Я прославлял ее в газете,
теперь хочу ее прочесть.

Халиф вызвал возмущение, когда публично пожаловался, что в России его замечал хоть КГБ. Особенно негодовала та часть эмиграции, которую больше волновал ОБХСС.

Еще Бродского и Довлатова сближали стихи. Бродский прямо утверждал, что довлатовские рассказы «написаны, как стихотворения».

Я не уверен, что это так. Скорее его рассказы появились на обратном пути от стихов к прозе.

Поэзия сгущает реальность, отчего та начинает жить по своим законам, отменяющим пространство и время, структуру и иерархию. Информационная среда уплотняется до состояния сверхпроводимости, при котором все соединяется со всем. В таком состоянии ничего не может быть случайным. Тут не может быть ошибки. Бессмысленно спрашивать, правильно ли выбрано слово. Если оно сказано, значит — верно.

У Фроста есть стихотворение о том, почему в лесу встречаются согнутые березы. Это происходит оттого, объясняет он, что на них качаются мальчишки. Забираются до самой вершины и своим весом нагибают ствол до земли. Карабкаться по черным сучьям белого ствола — все равно что ползти вверх по строчкам стихов на бумаге. Идти не на небо, а по направлению к небу. Чем тоньше ветка-материя, тем неизбежнее она нас приземляет. В этом путешествии поэт и поэзия, поэт и язык, поэт и действительность становятся союзниками, как в вальсе. Искусство поэта в том, чтобы использовать неподатливость материала. Там, где материя — по Чехову — истончается до символа, пространство закукливается, сворачивается. За ним ничего нет. Кривизна поэтического континуума — свойство его физики. Рано или поздно береза кончится. Но дерзость поэтической игры в том, чтобы забраться как можно дальше. Умная мера сочетает дерзость с расчетом, отвагу с разумом, дисциплину с азартом. Те, кто поднялся слишком высоко, падают, не рассказав, как там было. К тому же они проделали только полпути. Суть же в том, чтобы — *туда и обратно*.

Довлатов не сгущал, а разрежал реальность. Лишнее в его рассказах соединяется с необходимым, как две стороны одного листа.

Прообразом довлатовской прозы была не поэзия, а музыка. Сергей мог бы повторить слова одного композитора, сказавшего о своих сочинениях: «Черное — это ноты, белое — музыка».

Как-то в Ленинграде к Довлатову домой зашел брат Боря. Спросил *у* Норы Сергеевны, где Сергей. Та сказала, что сидит у себя и слушает Шостаковича. «С алкоголиками это бывает», — успокоил ее Борис.

Довлатов, который, конечно же, сам это и рассказал, очень любил музыку. Однажды я даже слышал, как он пел на встрече с читателями. Выступать Сергей обожал, хотя и непритворно волновался. Сперва он, потея и мыча, мямлил банальности. Постепенно, расходясь, как товарный состав, Сергей овладевал ситуацией и покорял любую аудиторию, невпопад отвечая на ее вопросы. Например, на дежурное в эмиграции «Как у вас с языком?» Сергей рассказывал, что его соседка на вопрос, как ей удалось быстро овладеть английским, отвечала: «С волками жить».

Но пел Сергей лишь на своем нью-йоркском дебюте. Только что приехавший в Америку Довлатов был в ударе. Демонстрируя публике сразу все свои таланты, он читал рассказы и записи из «Соло на ундервуде», рассуждал о современной литературе, называя Романа Гуля современником Карамзина, а под конец необычайно чисто исполнил песню из своего «сентиментального детектива»:

Эх, нет цветка милей пиона
За окошком на лугу.
Полюбила я шпиона,
С ним расстаться не могу.

Так что Бродский, сказавший про рассказы Сергея «это скорее пение, чем повествование», был все-таки прав: со стихами довлатовскую прозу роднила музыка.

Иногда Бродский говорил, что хотел быть не поэтом, а летчиком. Я не знаю, кем хотел бы стать Довлатов, но думаю, что джазистом. По-своему Сергей им и был. Во всяком случае, именно в джазе он находил систему аналогий, позволяющую ему обосновать принципы своей поэтики.

Довлатов много писал о джазе. Начиная с газетной рецензии на концерт чудом оказавшегося в Таллине Оскара Питерсона: «Я хлопал так, что у меня остановились новые часы». Джазу была посвящена и его последняя работа в «Новом американце». Это сочинение витиевато называлось «Мини-история джаза, написанная безответственным профаном, частичным оправданием которому служит его фантастическая увлеченность затронутой темой». Свой неожиданно ученый опус Сергей, выбрав меня мальчиком для битья, разнообразил ссылками «на неискушенных слушателей джаза вроде моего друга Александра Гениса». И все равно получилось блекло. Однако именно сюда Сергей вставил куски, которые трудно не считать авторским признанием. В них Довлатов излагал не историю джаза, а свою литературную утопию: «Джаз — это стилистика жизни... Джазовый музыкант не исполнитель. Он — творец, созидающий на глазах у зрителей свое искусство — хрупкое, мгновенное, неуловимое, как тень падающих снежинок... Джаз — это восхитительный хаос, основу которого составляют доведенные до предела интуиция, вкус и чувство ансамбля... Джаз — это мы сами в лучшие наши часы. То есть когда в нас соседствуют душевный подъем, бесстрашие и откровенность...»

Я действительно плохо разбираюсь в джазе, но однажды понял, чем он был для Сергея. Случилось это в Массачусетсе, по которому мы путешествовали вместе с Лешей Хвостенко. На шоссе нас, разомлевших и уставших, угораздило попасть в жуткую многочасовую пробку. Положение спас музыкальный Хвостенко. Высунув руку из окна машины, он стал барабанить по крыше, напевая «Summer time and the living is easy», но по-русски: «Сям и там давят ливер из Изи». Через минуту все остальные, категорически лишенные слуха и голоса, последовали его примеру. Наше вытье привлекло внимание томящихся соседей, и вскоре вся дорога приняла участие в радении. Это был акт чистого творчества, обряд, стирающий границу между исполнителем, и слушателем, между хором и солистом, между мелодией и тем, во что каждый из нас ее превращал.

Я слышал, что главное в джазе — не мастерство, а доверие к себе», ибо, в сущности, тут нельзя сделать ошибку. Импровизатор не может ничего испортить. Если у него хватает смелости и отчаяния, в его силах обратить неверный ход в экстравагантный. Считаясь только с теми правилами, которые он по ходу дела изобретает, импровизатор никогда не знает, куда он доберется. Прыгая в высоту, мы берем не нами установленную планку. В длину мы прыгаем как можем. Поэтому настоящую импровизацию завершает не финал, а изнеможение.

Сергей любил джаз потому, что он занимался искусством, согласным впустить в себя хаос, искусством, которое не исключает, а переплавляет ошибку, искусством, успех в котором определяют честность и дерзость. Сергей с наслаждением смирял свою прозу собственными драконовскими законами. Но еще больше он дорожил советом Луи Армстронга: «Закрой глаза и дуй!»

Нью-Йорк, декабрь 1997

■

ПЕТР ВАЙЛЬ

ИЗ ЖИЗНИ ГОРОЖАН

Нью-Орлеан — Теннесси Уильямс, Нью-Йорк — О. Генри

СЛАБЫЕ ЛЮДИ

«Представьте себе роман о Чикаго, или Буффало, или, скажем, о Нашвилле, штат Теннесси! В Соединенных Штатах есть только три больших города, достойных описания, — конечно, Нью-Йорк, Нью-Орлеан и, лучший из всех, Сан-Франциско». Эти слова Фрэнка Норриса поставил О. Генри эпиграфом к своему рассказу «Муниципальный отчет» (в хрестоматийном русском переводе «Город без происшествий» — удивительная все-таки бесцеремонность).

Полвека спустя Теннесси Уильямс почти повторил комплект: «В Америке есть только два города, пронизанных романтическим духом, тоже, впрочем, исчезающим, — и это, конечно, Нью-Орлеан и Сан-Франциско».

Исключение Нью-Йорка здесь понятно: речь идет о романтике. Что до двух других, то и через полвека после Уильямса выбор верен, как верны и его слова о духе исчезающем. На Сан-Франциско работают координаты и ландшафт: холмы над океаном — козырь небитый и вечный. Но привлекательный, будоражащий, пусть романтический Нью-Орлеан сжимается до музейных размеров. Та его часть, которую имели в виду Норрис, Уильямс и все прочие очарованные городом — а это хорошая компания: назвать лишь Уитмена, Твена, Фолкнера, Дос Пассоса, — малозаметна на карте большого Нью-Орлеана. Пятнадцать улиц с северо-запада на юго-восток от парка Луи Армстронга к Миссисипи, а под прямым углом к ним — семь улиц с юго-запада на северо-восток вдоль реки. Восемьдесят четыре прямоугольника — вот и весь Vieux Carré, French Quarter, Французский квартал.

С другой стороны — Вуди Аллен четверть века снимает примерно то же количество манхэттенских перекрестков. Сколько их вообще нужно? Велик ли был Скотопригоньевск, где привольно разместились два тома о семье Карамазовых? С острие иглы был городишко, в котором устроилось столько достоевских бесов! Длиннофокусность ценнее широкоугольности. А главное — наводка на резкость.

Это непросто сделать в Нью-Орлеане — сфокусировать внимание. Восьмидесятичетырехквартальный Французский квартал оказывается большим и не то что богатым, но — разнообразным. Он поражает все чувства разом: мельканием огней, грохотом джаза, вкусом острой каджунской и пряной креольской кухонь, сладким ароматом подгнивающих за день на прилавках спелых фруктов, влажной волной горячего воздуха с Мексиканского залива. Все это круглосуточно, круглогодично. Круглолицые тетки на каждом углу предлагают цветы, бормоча что-то не по-английски, как в предпредпоследней сцене «Трамвая «Желание». Начитавшись, слышишь в бормотании цитату: «Flores. Flores para los muertos», хотя ясно, что цветы — для живых, а не мертвых. Любой пышный южный город неизбежно напоминает о стремительной краткости жизни, что значит — о смерти. В Нью-Орлеане к южному местоположению и французско-испанскому происхождению прибавляется американский темп, и возникает нелепое ощущение наглядности жизненного цикла: так примечательны и многочисленны здесь бордели, кабаки и кладбища. Дух распада — не достойный венецианский, а разгульный свой: от истерического веселья до жестокой меланхолии.

Никто не ощутил и не описал эти перепады с таким пониманием, как Теннесси Уильямс. То есть карнавальное безумие, даже вне самого карнавала Марди-Гра, уловить проще простого. Труднее осознать терапевтические качества Нью-Орлеана: «Лунная атмосфера этого города возвращала мне силы всякий раз, когда энергия, с которой я скитался по более шумным городам, иссякала и появлялась потребность в отдыхе и уединении. Понеся потерю, потерпев неудачу, я возвращался в этот город. В такие дни мне казалось, что я принадлежу только ему и никому больше в этой стране».

«Скитался по городам» — не было в амери-

© П. Вайль, 1998

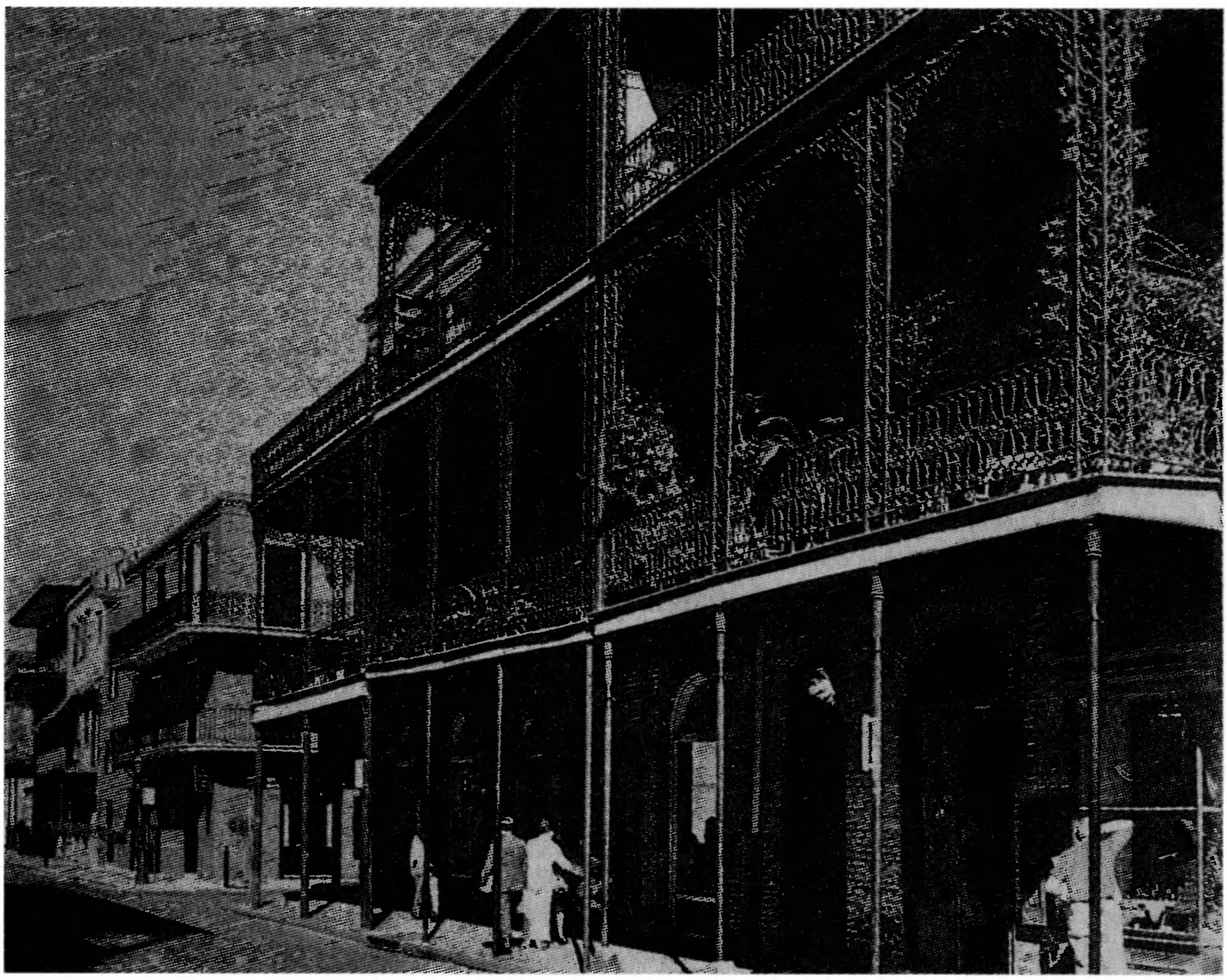
канской, а может, и в мировой литературе такого непоседливого писателя. Видимо, подсчитать места жительства Теннесси Уильямса невозможно. Были годы (!), когда он не жил больше месяца на одном месте. При полном равнодушии к туристскому времяпрепровождению, вообще к истории и культуре («Он редко читал книги, и единственная история, которую он знал, была его собственная» — Гор Видал), много ездил за границу. Больше всего любил Сицилию, особенно Таормину, — благодаря своему многолетнему любовнику Фрэнку Мерло, чьи предки были сицилийцами. На карте же Штатов не осталось бы живого места, если б нанести уильямсовские маршруты. Выделим в первую очередь Нью-Йорк, где началась его подлинная слава и где она стала мировой. В Нью-Йорке — десятки адресов, не уследить. Но всего два дома были собственностью разбогатевшего Уильямса — на Ки-Уэсте, по соседству с Хемингуэем, и в Нью-Орлеане. «Сейчас я немного устал и иду спать сюда, на Дюмейн-стрит, во Французском квартале Нью-Орлеана. Я сражаюсь со временем и не скрываю этого. Я хочу сказать, что нельзя не говорить о времени, которое так быстро утекает. Когда придет тот день, я хотел бы умереть во сне и надеюсь, это случится на прекрасной большой железной кровати в моем нью-орлеанском доме».

Не случилось и случиться не могло: дом на 1014 Дюмейн-стрит Уильямс продал в свой последний приезд в Нью-Орлеан за месяц до смерти. Умер он в нью-йоркском отеле с французским, нью-орлеанским именем «Elysée» — Элизиум, Елисейские поля. Все рифмуется в жизни выдающегося человека: дом Стенли и Стеллы Ковальских из «Трамвая «Желание» автор поместил на нью-орлеанской улице, которая называется Елисейские поля.

Утром 25 февраля 1983 года у его кровати обнаружили десятки лекарств и наркотиков, не говоря о бутылках вина. В свою последнюю ночь 72-летний Уильямс принимал привычные за тридцать лет барбитураты и амфетамины плюс кокаин, но сама смерть наступила от удушья: крышка от пузырька, застряв в горле, возвратила Теннесси Уильямса на Елисейские поля молодости.

«Мои счастливейшие годы прошли там. Я был невероятно беден, заложил все, кроме пишущей машинки, но у меня была хорошая квартира за пять долларов в неделю. Нью-Орлеан — мой самый любимый город в Америке и, откровенно говоря, во всем мире».

Можно догадываться о причинах такой люб-



Французский квартал Нью-Орлеана больше напоминает средиземноморские города

ви. Самой заметной чертой молодого Уильямса была болезненная застенчивость, преодоленная именно в Нью-Орлеане, где он впервые оказался в 1938 году. Можно смело сказать, что здесь он стал взрослым, пережив шок столкновения разгульного города с пуританским воспитанием. Уильямс всю жизнь подчеркивал строгость нравов своей юности, спекулируя: «Я не несу ответственности за беспорядочность связей, поскольку это реакция на репрессии моего детства».

Вплоть до шестидесятых Нью-Орлеан был столицей геев, как потом Сан-Франциско на западе и Провинстаун на востоке. Здесь Теннесси Уильямс пережил первый гомосексуальный опыт — в новогоднюю ночь. Вступил, таким образом, в 1939-й не столько новым, сколько осознавшим себя — по крайней мере, в этом отношении — человеком.

Открыто говорить об интимной стороне своей жизни он начал лишь в начале семидесятых — и уж охотно и взахлеб. Возможно, оттого, что его пьесы больше не потрясали так воображение публики, Уильямс принялся поражать воображение жизненными обстоятельствами. А возможно — и скорее всего — речь идет об алкогольно-наркотическо-старческом бесстыдстве, с которым он расписывал подробности. Я увидел его на экране ТВ, приехав в Нью-Йорк в 1978-м: гладкий, румяный, хохочущий до самозабвения так, что глаза делались щелочками, рот широко раскрывался и запрокидывалась голова. От него веяло морским здоровьем — не Нью-Орлеаном, а Ки-Уэстом. Так должен был бы выглядеть Хемингуэй, но Хемингуэй до таких лет не дожил. Помню странное ощущение: писатель из разряда классиков был весел, молод и очень несолиден.

Немногие оставшиеся друзья (он сделался подозрителен, был уверен, что на нем наживаются, и прогонял от себя людей) отмечали бешеную активность Уильямса в последние годы. Попытка догнать уходящее время, о чем он печально писал: уже не сочинение, а постоянная переделка пьес, внесение мелких изменений; похожие на мельтешение беспрестанные путешествия взад-вперед; более частая даже, чем обычно, смена любовников.

Хотя вся его любовная жизнь — отчаянный промискуитет. Похоже, он не верил в искренность партнеров, как всякий слабый человек, не верил, что к нему можно привязаться по-настоящему. Всю жизнь он вел себя, как Бланш Дюбуа в отеле «Фламинго», приникая к первым встречным, полагаясь на «доброту незнакомцев» — как сформулировано в «Трамвае «Желание». В последнее десятилетие Уильямс вообще не мог оставаться один. В шестьдесят лет сделав признание: «Промискуитет любого вида разрушает способность к любви», — ничего на деле не поменял. И ведь надо было дожить до шестидесяти.

> В эту ночь я должен идти на поиски того
> неизвестного прежде, но узнаваемого сразу,
> чье прикосновение, корыстное или чудесное,
> посеет панику во мне и остановит мой бег.

Это четверостишие довольно точно описывает времяпрепровождение Теннесси Уильямса. Он убегал даже от тех, кого искренне любил, хоть ненадолго, но убегал. Даже от главной привязанности своей жизни — Фрэнка Мерло, с которым прожил четырнадцать лет и от чьей смерти в 63-м так толком и не оправился («каменный век» — называл он годы после кончины Мерло). При Фрэнке Уильямс вел себя относительно сдержанно, но стоило тому уехать на несколько дней — начинался разгул, так возвышенно описанный в стихах.

Назовем этот стиль нью-орлеанским, по аналогии с нью-орлеанским джазом — самой эротической музыкой на свете. Не зря само слово jazz на креольском диалекте по сей день и означает половой акт. В русском «любовь как акт лишена глагола», в английском этих глаголов сколько угодно. Есть и такой — джаз.

История музыки называет несколько событий, благодаря которым африканские ритмы, рабочие песни, духовные гимны и блюзы слились в Нью-Орлеане в то, что называется джазом. Привлекательны своей внятностью причины материальные: в конце XIX века после окончания американо-испанской войны Нью-Орлеан оказался завален духовыми инструментами, которые распродавала разъезжающаяся по домам армия. В то же время местные власти решили собрать все публичные дома в один район и тем самым сплотили разрозненных музыкантов в оркестры. Но главное, как всегда — иррациональное, неуловимое, но очевидное: свобода. Раскованный дух пестрого города, до сих пор носящего прозвище «Big Easy» — «Великая легкость», «Большой расслабон», — в котором знаковый 1900 год с наглядной поуильямсовски символикой ознаменован рождением Луи Армстронга.

Ранний джаз еще не был импровизационным, но Уильямс попал в Нью-Орлеан в эпоху свинга, когда уже царила установка на личность того, кто в данный момент делает шаг вперед со своим соло. Как бы хаотично ни было свальное упоение ансамбля, из него непременно вырывается и самовольно звучит одинокий голос. Нет и не было в искусстве — любом его виде — более откровенного и непосредственного самовыражения.

Есть, конечно, респектабельный коллективистский диксиленд, его играют старики в Pre-

servation Hall — пусть будет «Консерватория», во всяком случае, нечто консервное ощущается. В большом амбаре на Сент-Питер-стрит дряхлые ветераны, опасно нависая над саксофонами, исполняют классику — «Вест-Энд-блюз» или «Когда святые маршируют». Публика переминается с ноги на ногу и глядит на улицу. Preservation Hall обязателен, как был в другом городе мавзолей, но на улице интереснее. Там джаз не великих исполнительских достоинств, но полон актуальности, поскольку гремит в унисон с воплями вывесок массажных заведений и ресторанов, возбуждая всякий аппетит. Три столетия основные городские профессии — повара, проститутки, музыканты: комплексное обслуживание жизненного цикла (особенно если вспомнить о знаменитой музыке нью-орлеанских похорон). Вместе с новой цветовой, звуковой, вкусовой, обонятельной и осязательной гаммой меняется представление о жизни: что в других местах изредка происходит во время карнавала, а в Нью-Орлеане — всегда.

Поскольку Французский квартал изменился мало — сужу по фотографиям и фильмам, — легко представить, что мог ощутить здесь молодой человек из пуританской провинции, если и теперь даже тертый нью-йоркский житель цепенеет и разнуздывается от наглого эротического напора этого города. Напора бесстыдного еще и потому, что уже натужного, музейного, консервированного, но все же полного мощной исторической инерции, которой хватит надолго.

Позднее вызревание 27-летнего Уильямса произошло в самой живой гуще: первое жилье — 431 Ройал-стрит, центр French Quarter, в пяти кварталах от его последнего дома на Дюмейн. В пределах пешего хода друг от друга — все его многочисленные нью-орлеанские адреса. Новая жизнь Теннесси Уильямса началась на сцене, где фоном был неслыханный джазовый ритм сдвинутого к ночи дня, задником — невиданный в остальной Америке городской пейзаж: опоясывающие дома средиземноморские балконы и веранды с узорчатыми коваными решетками, все эти французские вывески, испанские башенки.

Уильямс обновил все — даже рацион, часто обедая в «Баре Виктора» одними устрицами, которые стоили двадцать центов дюжина. С устрицами в Нью-Орлеане до сих пор происходит нечто невообразимое: как-то в ноябре я попал там в устричный рай. Урожай, видно, оказался таков, что цены рухнули: были места, где спрашивали доллар двадцать за дюжину, а ведь с баснословных довоенных времен прошло полвека — то есть выходило дешевле, чем для Уильямса в 39-м. В забегаловке с позабытым именем я съел, запивая калифорнийским шабли, семь дюжин — дорвался до бесплатного, говорили мы в детстве. Нью-орлеанские устрицы не сравнить с бельгийскими или нормандскими, но цена искупает многое, и такой удачи мне больше не видать.

От обилия моллюсков в Нью-Орлеане придумали устрицы à la Rockefeller — запеченные в шпинатном пюре, я их ел в «Галатуаре», в самом начале главной улицы Французского квартала, Бурбон-стрит, — том самом «Галатуаре», куда Стелла водила обедать Бланш: только теперь там дорого, хотя вкусно.

В двух городах Америки можно поесть очень хорошо — в Нью-Йорке, разумеется, и в Нью-Орлеане. Кулинарную базу на Миссисипи заложили французы, основавшие город в 1714 году и почтившие названием тогдашнего регента Франции — Филиппа Орлеанского, известного более всего как раз сластолюбием и чревоугодием. Полвека владели Нью-Орлеаном испанцы. Сюда переместились креолы с Карибских островов, нормандские и бретонские выходцы из Канады. Вся эта мешанина с индейскими и африканскими добавками и создала нью-орлеанскую кухню, даже две — креольскую и каджунскую, — с такими шедеврами, как креветочный суп гамбо, морской плов джамбалайя, зачерненная красная рыба. Все это остро и ярко, как здешняя ослепительная джазовая ночь.

Уильямс работал официантом в здешних закусочных. Для одной придумал эффектный рекламный лозунг: «Еда в Квартале за квотер (25 центов)», по-английски совсем хорошо: «Meals in the Quarter for a Quarter». В пансионах он регистрировался как «Теннесси Уильямс, писатель».

Нью-орлеанский культурный шок можно считать определяющим для его жизни и его литературы. «Зимой тридцать девятого года в Нью-Орлеане...» — зачин знаменитого рассказа «Однорукий». Город — в новеллах «Желание и чернокожий массажист», «Ангел в алькове», пьесах «Любовное письмо лорда Байрона», «Аутодафе», «Внезапно прошлым летом», «Изувеченный». Последняя большая пьеса Уильямса — «Vieux Carré», «Старый квартал». И главное — «Трамвай «Желание».

Останься от Уильямса только эта пьеса, он был бы классиком. В ней завораживает все, начиная с названия — волнующего и непонятного. Непонятного даже тогда, когда знаешь все про этот трамвай, который в самом деле ходил по городу. В пьесе фигурируют маршруты «Желание» и «Кладбище» — как еще может быть в Нью-Орлеане, где желанием сочится город, а кладбища особенные. Заболоченная почва отвратила от похорон в земле, и местные

жители стали строить высокие стены с глубокими нишами, превратив погосты в белые города с улицами и кварталами. Умершие просто меняют адреса, переселяясь на жилплощадь потеснее, отправляясь погостить. Похороны, сделавшиеся переездом на новую квартиру, обрели должный ритуал. Лихая и разухабистая нью-орлеанская джазовая классика часто происходит из похоронных мелодий, когда ритм нарастает по мере приближения к конечному пункту, точке нормального завершения жизненного пути. А раз нормального — значит, радость уместна и необходима. Собственно, в этом смысл любых поминок с застольем и пьянством, просто нью-орлеанцы пошли дальше всех более быстрой и развязной походкой — от «Желания» к «Кладбищу».

Сопряжение Эроса и Танатоса, так отчетливо обозначенное на всем протяжении «Трамвая» (перед соитием Стенли с Бланш появляется мексиканка, продающая «цветы для мертвых»), возникает позже и в других вещах Уильямса. В пьесе «Орфей спускается в ад» героиня ездит с любовниками на кладбище: «Расстилаете одеяло среди надгробий на Кипарисовом холме — там местный приют для покойничков...» И еще более резко: «Садитесь в мою машину и везите меня на Кипарисовый холм. Послушаем, о чем толкуют покойнички». В соответствии с ходом прогресса трамвай сменился автомобилем, маршрут остался прежним.

Сейчас вагон с надписью «Желание» стоит в виде памятника у перекрестка Барракс и Декатур, в юго-восточном углу Французского квартала, возле реки. Пешая экскурсия «Нью-Орлеан Теннесси Уильямса» делает тут привал для снимков на память. Занятно, что название трамвайного маршрута не имеет отношения к желанию, какому бы то ни было. Трамвай некогда ходил до улицы Дезире, названной так в честь некой Дезире Монтрё. Французское имя Desirée превратилось в английское Desire — желание. Разгадка скучна, как любые разгадки.

С прямотой, отличающей все сочиненное Теннесси Уильямсом, он сразу ввел откровенную символику, дав героине ее первую фразу: «Мне сказали сесть в трамвай «Желание», потом сделать пересадку на тот, который называется «Кладбище», проехать шесть кварталов и выйти на Елисейских полях!» С первой фразы ясна обреченность Бланш Дюбуа. Не детектив с тайной, а полицейская драма с погоней. Не то что оторваться — передохнуть нельзя. Уильямс с дивной простотой объяснял: «Жизнь течет очень медленно, но на сцене с восьми сорока до одиннадцати пяти надо показать ее всю».

В «Трамвай «Желание» погружаешься, как в Нью-Орлеан, – полностью, с головой. Напряженный сюжет, который выстроен одной эмоцией, заявленной в заглавии, — желанием, — сочетается с чеховской бессобытийностью. Точнее — с чеховским внутренним напряжением. Героиня по ходу пьесы объясняет значение своего французского имени: Бланш Дюбуа — это «белый лес». «Вишневый сад»!

Тема красоты угрожаемой, красоты уничтожаемой, гибнущей — одна из любимейших у Теннесси Уильямса, чьей любимой пьесой была «Чайка». В 1981-м он даже написал вольное ее переложение — «Записки Тригорина». Под воздействием чеховской «Моей жизни» сочинил рассказ «Лоза». В возрасте тридцати пяти Уильямс решил, что умирает, и чуть не умер, хотя обнаружилось что-то неопасное желудочное. Он был ипохондриком всю жизнь, но тут добавилась литературная аналогия: именно в тридцать пять Чехов осознал себя неизлечимо больным, через полвека едва не погубив тем самым американского коллегу.

Два портрета — Харта Крейна и Чехова — Уильямс неизменно возил с собой в своих бесконечных скитаниях. Герой одной его малоизвестной пьесы, молодой нью-орлеанский писатель, в ответ на просьбу назвать свое имя кричит: «Чехов! Антон Павлович Чехов!»

Они действительно близки — Чехов и Уильямс, — с поправкой даже не на время, а на то, что проще определить именем места: с поправкой на Нью-Орлеан.

Действие «Трамвая «Желание» — с мая по октябрь. Жарко. То и дело меняет рубашку Стенли, потеет Митч, полпьесы отмокает в ванне Бланш. Влажно, душно и жарко. Все на пределе, на спусковом крючке. Плюс — нью-орлеанская яркость, высвечивающая и усугубляющая любую эмоцию: свет, непереносимый для мотылька Бланш. Ремарки напоминают: все время звучит музыка за сценой — блюзовое фортепиано, джаз, истома и страсть. Весь этот фон — уже событие. В чеховской средней полосе выстрел оглушает внезапностью, в Нью-Орлеане ничего другого и не ждешь, как непременного взрыва.

«Бланш приходит в дом, где ее собираются убить», — комментировал автор сценической и экранной премьер «Трамвая «Желание» режиссер Элиа Казан. Не меняет сути, что ее не убивают, а увозят в психиатрическую лечебницу, как увезли некогда сестру драматурга, о которой он трогательно заботился десятки лет. Казан: «Я понимаю Бланш как Уильямса, противоречивую фигуру, которая тянется к жестокости и вульгарности, но в то же время страшится этого как смертельной угрозы». В общем, Эмма — это я. Бланш и была любимым персонажем Уильямса.

Мне приходилось видеть прекрасные пары

Бланш — Стенли: Ута Хаген — Энтони Куин, Анн-Маргрет — Трит Уильямс, Фэй Даноуэй — Джон Войт. Никому из них не уйти от экранного оригинала 1951 года: Вивьен Ли — Марлон Брандо. Англичанка — великолепие, но американец — революция.

То, что произносит Бланш, — важнее, но само появление Стенли меняет все без слов. В Стенли-Брандо — магнетическая притягательность, и надо понять, какую роль он сыграл не только для будущего кино, шоу-бизнеса и рекламы, но и шире: для расстановки половых сил в обществе. До балетного переворота Рудольфа Нуреева, когда мужчина перестал быть подставкой для женщины, а сделался равноправным солистом. До модельеров 80-х, которые вывели мужчину на подиум как субъект моды. До всего этого именно Марлон Брандо в «Трамвае «Желание» Элиа Казана явился образцом вожделения — ничего особенно для этого не делая: просто двигаясь по комнате или снимая через голову майку. Мужское тело на экране — открытие Брандо. В первых кадрах их встречи Бланш нечаянно касается руки Стенли, и ее резко бьет током желания, а Стенли, сразу уловив разряд, пронзительно взвизгивает, как саксофон. Эротическое равенство мужчины с женщиной — вот что показал Брандо-Стенли. Он не столько противник женщины, сколько соперник. Сгусток сексуальности. Предмет любования.

Бланш проигрывает уже своей первой фразой о пересадке с «Желания» на «Кладбище». И Стенли не надо ее побеждать, да он и не может — он сам слабый: хвастливый, недалекий, дешеватый. Бланш вторгается в его простой первобытный мир, как Печорин — в мир честных контрабандистов «Тамани».

«Нет ничего хуже для слабого, чем связаться со слабым», — говорит персонаж «Ночи игуаны», другой пьесы Теннесси Уильямса. Он сам, Уильямс, был слаб, приникая к бутылке, шприцу и первым встречным, — оттого и полон сочувствия к слабым. Оттого вечна его пьеса: мы все такие.

Читая текст или смотря фильм, нельзя отделаться от впечатления: какие же они русские! Как знаком этот базар эмоций! Наш сосед по коммуналке капитан Пашин выбросил в окно радиолу — как Стенли швырнул на улицу приемник. Мы, младшее население квартиры, бросились во двор, и уцелевшая пластинка досталась Сашке по прозвищу Варяга, а ответственная квартиросъемщица Марья Павловна Пешехонова утешала на кухне пашинскую жену: «Ты его не ругай, ты жалей, его жалеть надо». Вечером капитан вернулся пьяный, но с канарейкой.

В рассказе «Однорукий» есть словосочетание «обаяние побежденных». В этом — обаяние Теннесси Уильямса.

Нельзя не отвлечься тут на идею американского Юга — побежденного и униженного Севером. «Обаяние побежденных» легко вычитывается у Фолкнера, у Фланнери О'Коннор, у Колдуэлла. У Теннесси Уильямса, который развернул все свои большие пьесы (кроме «Стеклянного зверинца») на Юге. «Я писал из любви к Югу... Когда-то там существовал образ жизни, который я еще помню, — культура изящная, элегантная, вырождающаяся... Я писал, сожалея о том Юге». Они оба потерпевшие поражение южане — почти француженка Бланш Дюбуа и поляк Стенли Ковальский. Истерики, слабаки, неудачники. По сути, провинциалы — созданные для жизни в каких-то иных местах, но не в большом современном нервном городе.

Единственная для них возможность напомнить себе и другим о своем существовании — сексуальность. Необходимо проехать хоть несколько остановок на трамвае «Желание» — под стук и звон. Бланш говорит: «Люди не замечают тебя — *мужчины* не замечают — даже не признают твоего существования, пока не ложатся с тобой». В те времена мало кто употреблял слово «секс». По все стороны океана господствовала социальность. Перед бродвейской премьерой 1947 года на пробный прогон в Нью-Хейвене пришел Торнтон Уайлдер, который после спектакля стал говорить о неправдоподобности союза Стеллы и Стенли: девушка подобного воспитания не связалась бы с таким плебеем. В наступившей тишине Уильямс произнес: «Этот человек никогда ни с кем как следует не переспал». На премьеру Уайлдер не пришел. А ведь мог бы вслушаться в текст пьесы — Уильямс лишь аранжировал слова Стеллы: «Есть вещи, которые происходят между мужчиной и женщиной в темноте, — такие, которые делают все остальное неважным».

Во времена, когда социальность одушевляла даже экзистенциалистов, Теннесси Уильямс сказал: «Ад — это мы сами», — резко и убедительно возражая формуле Сартра: «Ад — это другие». И еще, уже словами одного из своих героев: «Все мы приговорены к пожизненному заключению в собственной шкуре!» Если так, то узнать друг друга легче всего на ощупь. Универсальным и общедоступным становится язык тела.

Рваные короткие эпизоды (кинематографическая композиция пьесы) — кванты чувственности, остановки все того же трамвайного маршрута. Эмоции на пересадках даны открытым текстом и простыми словами (что безнадежно теряется в имеющемся русском переводе; где это говорится: «мытарства», «что за вздор»,

«мне порядком нездоровится» — ничего подобного нет в оригинале). Естественный язык героев не затушевывает архетипических глубин («возвышенный натурализм», — сказал Ирвин Шоу). На глазах творилась новая американская мифология, и критики изощрялись, обосновывая дионисийство Стенли, обнаруживая прообразы Бланш в Персефоне, Психее, Далиле, Маргарите Готье. Публика же как проводила получасовой овацией премьеру, так и принимала все 855 спектаклей в бродвейском театре «Этель Барримур»: больше двух лет без перерыва. Были Пулицеровская премия, балет «Трамвай «Желание», пять «Оскаров» за фильм, всемирная слава.

За полтора десятка лет Теннесси Уильямс создал десяток шедевров драматургии. Это были сороковые — пятидесятые: мощь и размах. Большой стиль: вспомним хоть автомобили. С шестидесятых Уильямс с его сильными чувствами отошел на задний план, сделался скорее фоном. Когда его портрет появился 9 марта 1962 года на обложке «Тайм» — знаменуя успех «Ночи игуаны», последний настоящий успех, — это казалось уже эпитафией. За двадцать лет до смерти он встал на полку классики. Сократился до музейных размеров, но зато отвердел до бронзы — повторяя судьбу любимого города.

Наступала эпоха эклектики, отрицавшая авторитеты и абсолюты, а Теннесси Уильямс слишком явно царствовал на американской сцене, раскинув от океана до океана свою империю страсти со столицей в Нью-Орлеане.

...На углу Ройал и Дюмейн меня ухватил за рукав увешанный бубенцами зазывала, над которым проворно раздевались неоновые девушки. Зазывала был похож на телефон — блестел и позвякивал. Выслушав мое малодушное бормотание, он ткнул пальцем куда-то в сторону от Миссисипи и сказал: «Возвращайтесь к себе на Север, сэр».

СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ

О. Генри и Нью-Йорк — ровесники. Писатель появился в городе в 1902 году — в то же время, когда Нью-Йорк, по сути, и возник.

Основанный в 1625-м, он сделался тем мегаполисом, каким его знает мир, лишь накануне XX века. С 1 января 1898 года Манхэттен и Бруклин, прибавив к себе Куинс, Бронкс и Стейтен-Айленд, слились в единый город. Новый Нью-Йорк насчитывал три с половиной миллиона жителей, уступая на планете лишь Лондону, который очень скоро остался позади. Составные части не сложились, а скорее перемножились, помогая друг другу расти, и теперь Бруклин равен Чикаго, Куинс больше Филадельфии, Бронкс превосходит Детройт. Но великим этот город делает лишь изначальное ядро — Манхэттен. Все, что предстает перед умственным взором любого человека, хоть бы и никогда не выезжавшего из родной деревни, при слове «Нью-Йорк», — это Манхэттен. За его пределами нечего делать не только пришельцу, но и ньюйоркцу — разве что ночевать.

Проявив изумительное чутье, это ощутил и передал вписавшийся в город южанин-провинциал Уильям Сидни Портер, более известный под псевдонимом О. Генри; он не дал себя обмануть: его Нью-Йорк — только Манхэттен. И более (менее) того: несколько десятков кварталов вокруг пересечения Бродвея, Пятой авеню и 23-й стрит.

Центр мира — там, где высится диковинное здание, у которого есть лишь профиль, — это о нем говорит вольнодумец из рассказа «Мишурный блеск»: «Он считал архитектуру настоящим искусством и был искренне убежден, — хотя не рискнул бы заявить об этом в Нью-Йорке, — что небоскреб «Утюг» по своим архитектурным формам уступает Миланскому собору». Спорный вопрос для демократического века: кремовый торт или ломоть серого хлеба?

На этом перекрестке — Мэдисон-сквер. где по сей день лежат бомжи, наследники героя «Фараона и хорала» («Сопи заерзал на своей скамейке в Мэдисон-сквере»). Они по-прежнему используют для утепления периодику («Три воскресных газеты, которые он умело распределил — одну под пиджак, другой обернул ноги, третьей закутал колени»), только сейчас и одной газеты многовато: нынешний воскресный номер «Нью-Йорк таймс» — около трехсот страниц.

«На углу Бродвея, Пятой авеню и Двадцать третьей улицы кровные враги из Камберленда пожали друг другу руки». Так решается нерешаемая коллизия в рассказе с декларативным названием «Квадратура круга»: жизнь в большом городе настолько серьезна, что побочные противоречия снимаются. Город — примиритель: не потому, что добр, а потому, что значителен, потому что человек обнаруживает себя в ином масштабе и смиряется.

Все нью-йоркские адреса О. Генри — в пяти минутах ходьбы от этого судьбоносного перекрестка. Квартиры — на 24-й и на Ирвинг-плейс; отели — «Марти» на 24-й, «Каледония» на 26-й, «Челси» на 23-й. Последний на месте, его неожиданный, почти нью-орлеанский фасад с резными балконами украшен мемориальными досками, но другими: тут умерли Томас Вулф и Дилан Томас. О. Генри снимал в «Челси» семейный номер со второй женой, недолго.

Цела в неприкосновенности «Таверна Пита»

на углу 18-й стрит и Ирвинг-плейс. Там на стенах — журнальные первоиздания, там показывают любимый столик писателя, там подают напиток «Галлучино О. Генри» — что не только сомнительно, но и оскорбительно: манерная дамская смесь ликера «Галлиано» и кофе капучино. Если О. Генри что и смешивал, то виски с имбирным лимонадом или апельсиновым соком. Знакомому, спросившему, как написать рассказ, он отвечал: «Первым делом нужен кухонный стол, деревянный стул, пачка желтой писчей бумаги, химический карандаш и стакан. Это основа. Затем вы запасаетесь фляжкой шотландского виски и несколькими апельсинами... Так подходим к ситуации, которую часто величают вдохновением. Смешивая апельсиновый сок со скотчем, писатель пьет здоровье всех журнальных редакторов, затачивает карандаш и начинает писать. Когда апельсины выжаты и фляжка пуста, товарный кусок словесности готов к отправке».

Ирония звучит правдиво, однако «фляжка» — это пинта, по-нашему пол-литра. А нью-йоркский знакомец (друзей и даже близких приятелей не водилось) Роберт Дэвис называл О. Генри «двухбутылочным человеком». Это пугающе: речь идет о двух квартовых, то есть почти литровых, бутылках виски в день. Можно усомниться — но в номере отеля «Каледония» (три с половиной квартала от «Утюга»), откуда 48-летнего О. Генри увезли в больницу, нашли девять именно таких пустых бутылок. Он умер через два дня, 5 июня 1910 года. Диагноз — множественный, но основное — цирроз печени. «Цирроз-воевода дозором обходит владенья свои», — говорил скончавшийся в Нью-Йорке восемьюдесятью годами позже, выпивавший в свою предсмертную неделю ту же дозу, другой 48-летний новеллист, Сергей Довлатов.

Ничего не поделать: нельзя писать о Нью-Йорке с той же степенью спокойного отстранения, как о Мехико, Руане или Киото. Даже с тем управляемым волнением, как о Севилье, Париже, Риме. Существуют четыре города, от которых никуда не деться. Рига, где родился и вырос. Венеция, где хотел бы стареть и умереть. Москва — столица языка, которым владею. Нью-Йорк, куда приехал в первые дни 78-го и давно перестал вступать о нем в споры. Шекспир, Эверест, Пушкин, Амазонка, Пеле, Нью-Йорк — их первенство в своих областях обсуждать можно, но нелепо. Есть Нью-Йорк — и есть все остальные города мира.

Манхэттен населен для меня разнообразно и плотно. Случаи множатся переживаниями, переживания впечатлениями, впечатления наблюдениями — пора, наверное, писать мемуары, но все кажется рано. (Хотя самое важное происходило в нью-йоркских декорациях, и главные встречи уже произошли здесь, между Гудзоном и Ист-Ривер: с женой, с Довлатовым, с Бродским.) Да и память не поспевает за хрусталиком: картинки ускользают. Надо воспользоваться оказией, отметить, что на небоскребе «Утюг» с зимы 78-го часы показывают без пяти два — и это, кажется, единственная незыблемая деталь нью-йоркского пейзажа.

Городской ритм и пульс, размах и хаос таковы, что Нью-Йорк в воображении и в словесности возникает по кускам: так слепые описывают слона. Для целого нужна передышка, чтоб натурщик посидел тихо. Нью-Йорк текуч, стремителен, изменчив, его не уложить на бумагу. Конечно, город воспет: есть «Мост» Харта Крейна, стихи Фрэнка О'Хара, проза Сэлинджера, Доналда Бартелми, Тома Вулфа, эссе Скотта Фицджеральда, но, в общем, оскорбительно мало — оскорбительно то ли для города, то ли скорее для пишущих.

Проницательнее и точнее других воспроизвел Нью-Йорк О. Генри. Город у него оборачивается грандиозной изнанкой: по пушкинскому слову, «охота видеть его на судне», и тут-то ясно, что «он и мал и мерзок — не так, как вы, — иначе». Нью-Йорк у О. Генри — неразрывный великоничтожный образ. И таков в Нью-Йорке человек. Стейнбек однажды сказал: «Это уродливый город, грязный город. Его климат — скандал. Его политика пугает детей. Его уличное движение — безумие. Его конкуренция убийственна. Но есть одна вещь: если вы жили в Нью-Йорке и он стал вашим домом, ни одно иное место вам не подойдет».

Сдавший нью-йоркский экзамен поступает куда угодно. Здесь живут сильные люди — другие не выживают.

Качества, без которых не прожить в большом городе, — и есть основные характеристики прозы О. Генри: здравый смысл и юмор, сдобренные сентиментальностью. Он — едва ли не единственный писатель, который вызывает у меня не скажу слезу, но позыв к ней. О. Генри дозирует сантименты так, что, когда все заканчивается свадьбой или подвигом, раздражения нет, есть благодарность — и даже не ему, не писателю, а самой жизни за то, что она помнит о справедливости. О. Генри восстанавливает доверие к жизни.

Не зря он так наглядно заполняет Нью-Йорк в дни ежегодного бешеного всплеска благостной энергии — перед Рождеством. На книжных прилавках соперничает с Диккенсом: две сезонные вещи — «Дары волхвов» и «Рождественский хорал». Такая же примета праздника, как колокольчики Дедов Морозов из Армии спасения на перекрестках, воздушные проволочные архангелы с трубами у главной го-

родской елки в Рокфеллер-центре, многофигурные композиции в витринах по Пятой авеню, распродажа в универмагах. Считается, что от Дня благодарения до Рождества товаров продается столько же, сколько в остальные одиннадцать месяцев. Золотых цепочек, черепаховых гребней и сборников О. Генри — тоже.

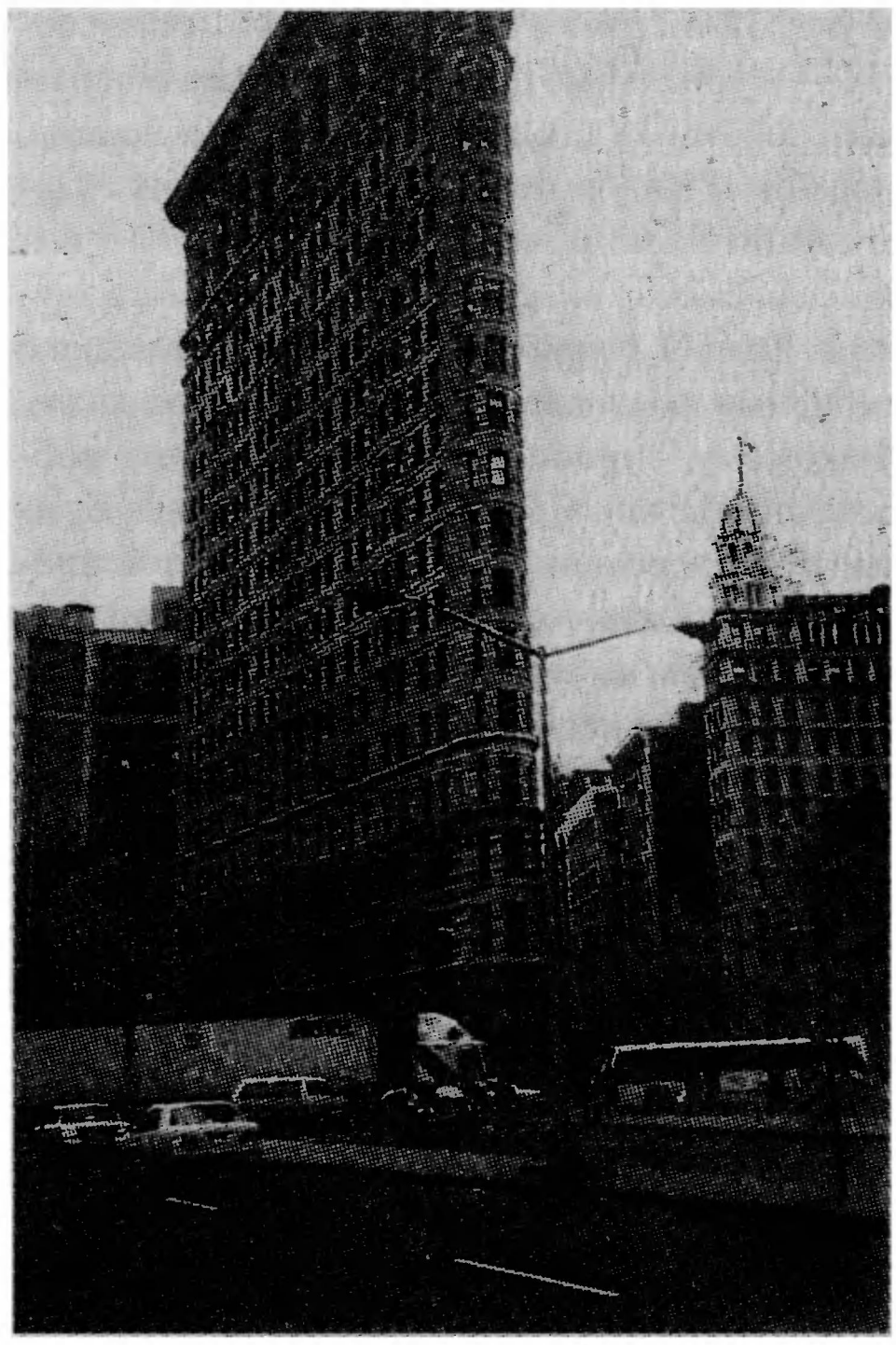
Пик торгового разгула — там же, где его наблюдал О. Генри: «В этом гигантском магазине, Магазине с большой буквы, служили три тысячи девушек, в том числе и Мэйси». Тут ловко, характерно по-огенриевски, зашифровано название самого большого в Америке и, кажется, в мире универмага «Мэйсис».

Всего в пяти кварталах от него (и в четырех от «Утюга») — последний адрес О. Генри: упомянутая в финале «Романа биржевого маклера» — «маленькая церковь за углом». Официально — епископальная церковь Преображения. Она в самом деле за углом от Пятой авеню, на 29-й стрит, только вовсе не маленькая — разве что на фоне нависающего сзади 102-этажного Эмпайр-стейт-билдинг, но его построили через семнадцать лет после того, как здесь отпели О. Генри.

Службу начали в одиннадцать часов утра 7 июня 1910 года, а ровно в это время к церкви подъехала свадьба, которой по ошибке назначили тот же час. Молодожены и гости весело шумели в ожидании, пока О. Генри ускоренно отпевали. Надо думать, ситуация позабавила бы его, а вот то, что теперь правая часть красно-коричневого храма отдана корейско-американской епископальной церкви, — удивило бы: в его нью-йоркских рассказах разместились ирландцы, итальянцы, евреи, но азиаты в то время селились на Западе, в Калифорнии.

Нью-Йорк непрерывно расширяет спектр — за счет тех же корейцев, раскинувших повсюду свои безупречные овощные лавки; индийцев, почти монополизировавших газетные киоски; скупающих Манхэттен кварталами японцев; господствующих за рулем такси египтян и гаитян; китайцев, чей Чайнатаун все больше теснит Маленькую Италию; кубинцев и пуэрториканцев, отодвинувших ирландцев на край моего района Вашингтон-хайтс, к протоке между Гудзоном и речкой Харлем, где, по преданию, индейцы продали голландцам Манхэттен за кучку товаров на 24 доллара. Вокруг этого события масса спекуляций, симпатичнее других такая: индейцы действительно отдали за топоры и бусы самую дорогую в мире недвижимость, только она им не принадлежала — островом владело другое племя. Блистательное мошенничество, не снившееся Джеффу Питерсу и Энди Такеру.

Немудрено: это же были нью-йоркские индейцы, а Питерс и Такер привыкли резвиться



Знаменитый небоскреб «Утюг» на пересечении Бродвея, Пятой авеню и 23-й стрит

на иных американских просторах. Приезжая же в Нью-Йорк, оказывались «младенцами в джунглях» и возвращались поправлять дела в провинцию. Зато жесткость большого города шла на пользу автору. Из 273 его рассказов Нью-Йорку посвящена треть, и треть эта — лучшая.

Запад у О. Генри — фольклорный и ходульный. Восток — реальный и яркий. Кажется, что до прихода в Нью-Йорк он сорок лет блуждал по пустыне, готовясь к событию, о котором его первый биограф Альфонсо Смит сказал: «Если когда-либо в американской литературе произошла встреча человека с местом — это когда О. Генри впервые прошел по улицам Нью-Йорка».

Между тем позади была драматическая жизнь — со множеством занятий (аптекарь, овцевод, журналист, банковский служащий), перемещений (Северная Каролина, Техас, Нью-Орлеан, Гондурас, Огайо, Питсбург), потрясений (бегство за границу от суда, смерть 29-летней жены, три года тюрьмы за растрату). 40-летний О. Генри в Нью-Йорке родился заново, но не из пепла: его незаурядность сомнений не вызывала никогда. Он был редкостно одарен: играл на скрипке, хорошо рисовал (первыми публикациями были не тексты, а шаржи и карикатуры), пел басом в церковном хоре и в любительской опере, свободно владел испанс-

ким, мог объясниться по-французски и по-немецки. Имея непрезентабельную внешность (до 80 кг веса при 169 см роста), любил себя украшать: дюжинами приобретал перчатки, носил трость с золоченым набалдашником, покупал дорогие одеколоны. Но успеха в компаниях и у женщин добивался историями: судя по мемуарам, он, как Довлатов, был не импровизатор, а излагатель своих новелл. Мне много раз приходилось наблюдать, как цепенели при довлатовских повествованиях даже пылкие его недоброжелатели, не в силах противиться этой сирене.

О. Генри, впрочем, свой шарм расходовал бескорыстно, не сближаясь ни с кем. Друзей у него не было, были две жены, остальное — в тумане. Он свято хранил «прайвеси», никогда не обсуждая ни своего тюремного прошлого — это был шок на всю жизнь, — ни личной жизни. Целомудрие — равным образом в поведении и писании. В многообразии нью-йоркских уличных персонажей — только одна проститутка. Он гордился чистотой: «Если вы найдете непристойное слово или строку в любой из моих вещей, вырежьте и вычтите из гонорара». И в другом письме: «Я в жизни не написал ни одного неприличного слова».

При этом О. Генри (как его русского ровесника Чехова) постоянно упрекапи в отсутствии нравственной идеи, уходе от этических оценок, в моральной неразборчивости: зачем с симпатией изображаются жулики? Более серьезные критики шли глубже, усматривая тотальную замену людей — типами. Властитель дум Менкен писал, что у О. Генри «ни одного человеческого характера, все персонажи — марионетки». За четверть века до этого О. Генри высказался сам: «Мы марионетки, которые пляшут и плачут, напуганные собственными страстями. А когда гаснут яркие огни, нас кладут в деревянные коробки, и темная ночь опускает занавес над сценой нашего краткого торжества».

Это школа Нью-Йорка, в описаниях которого О. Генри — как меньший о большем, как младший о старшем — позволял себе пафос: «Вершины и утесы каменных громад Нью-Йорка...»; иногда даже пафос, отдающий безвкусицей: «Манхэттен, ночной кактус, начинал раскрывать свои мертвенно-белые, с тяжелым запахом, лепестки». Звучат интонации деревенщика: «Грозные, безжалостные, острые и жесткие углы большого города, затаившегося во мраке и готового сомкнуться вокруг сердца и мозга». При этом — полное отречение от природных просторов, на которых прошла прежняя жизнь. Осенью 1909-го по настоянию врачей О. Генри уехал в Ашвилл, Северная Каролина, но выдержал там лишь до зимы: «Я могу смотреть на эти горы сотню лет и не родить ни одной мысли. Там слишком много красивых видов и свежего воздуха. Что мне нужно, так это квартира с паровым отоплением, без вентиляции и физических упражнений». За полтора месяца до смерти он сказал: «Все нарциссы весенних лугов цветут здесь. В одном нью-йоркском квартале больше поэзии, чем в двадцати усыпанных ромашками полянах».

Тут взлетает к высотам поэзии и он, отзывавшийся о всех прочих местах пренебрежительно и иронично. Пожив летом 1896 года во Французском квартале Нью-Орлеана, удостоил город отзыва в «Королях и капусте»: «Прославленный центр паточной промышленности и непристойных негритянских песенок». Это, видимо, о великом нью-орлеанском джазе.

В Нью-Йорке О. Генри встретил нечто, неизмеримо превосходящее и его самого, и человека вообще. Отсюда пугливый восторг, круто замешенный на сознании своей малости и гордости своим ежедневным подвигом. Взглянем на огенриевскую сцену: место действия — меблированная квартирка, действующие лица — выкованные из чистой стали молодые продавщицы, образ действия — отвага и самоотверженность.

«В большом городе происходят важные и неожиданные события... Бродишь по улицам, кто-то манит тебя пальцем, роняет к твоим ногам платок, на тебя роняют кирпич, лопается трос в лифте или твой банк, ты не ладишь с женой или твой желудок не ладит с готовыми обедами — судьба швыряет тебя из стороны в сторону, как кусок пробки в вине, откупоренном официантом, которому ты не дал на чай». Похоже, после всей прежней приключенческой жизни О. Генри ощутил здесь подлинный вызов.

Ровесник Нью-Йорка, он не стал частью его мифологии — потому что он, О. Генри, ее и творил.

Тень великого города нависает над миром — Калифорнией, банановыми республиками. Техасом: «Домов там еще больше, чем в Нью-Йорке, только их строят не в двух дюймах, а в двадцати милях друг от друга». Нью-Йорк делается точкой отсчета для всяких впечатлений, что мне близко и внятно: после любых странствий сюда возвращаешься, как в столицу из провинции.

Баснословность нагнетается: «Само собой, Нью-Йорк чуть побольше, чем Литл-Рок или Европа, и приезжему человеку с непривычки страшновато». Здесь возможно все, потому что всего ждешь и ко всему готов: «Когда им предложили взглянуть на холмистые берега Гудзона, они замерли от восхищения перед горами земли, навороченными при прокладке новой канализации».

И наконец, пойманный образ, который О. Генри перепевает на все лады: «Великий город Багдад-над-Подземкой». Волшебное видение, город из сказки. Сюжет как минимум удваивается за счет сказочной «подземки» — сразу заявленного символического подтекста. Автор при этом ничуть не распускается: реальный Нью-Йорк существует по скрупулезно выверенной топографии. Подсчитав повороты и кварталы, мне удалось найти ту не названную в «Фараоне и хорале» церковь, возле которой арестовали бомжа Сопи: это храм Св. Креста на углу 21-й стрит и Парк авеню. О. Генри-Шехерезада не придумывает, но одушевляет улицы, скверы и дома.

Я нанизываю цитаты, сам тому удивляясь: не припомню, чтобы когда-либо приводил их в таком количестве, но догадываюсь отчего. Перебирая огенриевские фразы, словно листаешь подспудный путеводитель. Дело не только в том, что за его словами встают мои реалии (гротескный «вестибюль паросского мрамора» — мой собственный помпезный подъезд на углу 181-й и Форт Вашингтон). Чтобы передать комплекс ощущений от города, в котором проходит жизнь, надо бы писать беллетристику, но О. Генри это уже сделал.

Он, не отходивший от перекрестка Бродвея, Пятой и 23-й, ухватил суть Нью-Йорка и охватил его весь. За пределами Манхэттена ничего существенного нет: можно разок съездить в Бронкс — в роскошный зоопарк; в Бруклин — пройтись по пляжу на Брайтон-Бич и съесть шашлык в «Одессе» или «Кавказе»; на деревенский Стейтен-Айленд — с пикником; в Куинс — прежде на 108-ю к Довлатову, теперь и вовсе ни к чему. У О. Генри за Манхэттеном — миражи.

Как положено в мифологии, есть райские кущи, отнесенные в бруклинские дали, — это Кони-Айленд, увеселительный городок, парк аттракционов, Диснейленд начала столетия: «Как называется эта картина? «Сцена на Кони-Айленд»? — Эта? Я хотел назвать ее: «Илья-пророк возносится на небо», но, может быть, ты ближе к истине». Ирония, замешенная на насмешке и жалости, создает непреходящий образ: как там теперь называются наши эдемы — Багамы, Анталия, Палм-Бич, Антиб?

Доступность рая — непременное условие существования. Легкодоступность — крушение мечты. Заряженная, как боец-профессионал на ответный удар, продавщица отказывает искренне влюбленному миллионеру, предлагающему: «Я увезу вас в город, где множество великолепных старинных дворцов и башен и повсюду изумительные картины и статуи. Там вместо улиц каналы... Из Европы мы уедем в Индию... Мы будем путешествовать на слонах, побываем в сказочных храмах индусов и браминов. Увидим карликовые сады японцев, караваны верблюдов и состязания колесниц в Персии... — Я дала ему отставку... Он предложил мне выйти за него замуж и, вместо свадебного путешествия, прокатиться с ним на Кони-Айленд».

Расцвет этого бруклинского района примечательно совпал с пиком О. Генри: в 1904 — 1905 годах он напечатал сто двадцать рассказов, в то же время на Кони-Айленде был построен Dreamland (Мечталия?). Столь же примечательно Мечталия сгорела в 1911-м, на следующий год после смерти О. Генри. В эпоху Диснейлендов и нашествия латиноамериканской шпаны Кони-Айленд зачах, зато по соседству разместилась другая репрезентация земного рая — Брайтон-Бич. На узкой полосе вдоль океана тысячи советских (потом российских и иных прочих) эмигрантов воспроизвели свое представление о светлой жизни — обтекая Америку, создали целый русский город с черным хлебом, книжным магазином «Черное море», вывеской «Имеем свежий карп» и вполне огенриевской ресторанной песней «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой».

Нью-Йорк и не поперхнулся, как с легкостью проглотил он Чайнатаун, Литл-Итали, польский Гринпойнт, арабскую Атлантик авеню и т. п. В городах стильных — Петербурге, Париже, Буэнос-Айресе — всякое самобытное вкрапление неуместно. В эклектичных — Риме, Москве, Нью-Йорке — все поглощается, переваривается, идет на пользу: городу и горожанам.

Вот он, Нью-Йорк О. Генри: «Молчаливый, мрачный, громадный город всегда стойко выдерживал нападки своих хулителей. Они говорят, что он холоден, как железо, говорят, что жалостливое сердце не бьется в его груди; они сравнивают его улицы с глухими лесами, с пустынями застывшей лавы. Но под жесткой скорлупой омара можно найти вкусное, сочное мясо». Этим мясом и была сама городская жизнь — американа в концентрированном виде, которую представляет О. Генри, культурный герой Америки; его выдающийся стиль — краткость, динамичность, стремительность, неожиданность, способность поражать.

Он раньше и лучше других сумел передать колоссальные амплитуды большого города и выносящего такие перепады человека, провидчески бросив взгляд в начале столетия на всю его длину. Сигнал был воспринят сразу и благодарно: трудно представить степень популярности О. Генри в первую четверть века. О нем писали ученые труды. Борис Эйхенбаум бестрепетно сопоставлял его с Пушкиным и Стерном. Его сравнивали с новым французским

классиком — статья «Янки Мопассан». Сотни его эпигонов заполняли журналы. Его влияние на американскую новеллу и американскую журналистику — незыблемо, хоть и неназываемо теперь.

О. Генри вышел из моды — как раз из-за своего главного читательского козыря: неожиданных концовок. Они показались нестоящей игрой во времена тотальной игры — такой, как джойсовский «Улисс», назовем вершину. Показалось, что поток сознания и подбирание крох утраченного времени — это реальность, равноценная жизни. Наверное, так, но сюрпризные финалы О. Генри — не вымысел и не фокус: это тоже сама жизнь, и каждому из нас не счесть случаев, повергающих во внезапное изумление, гнев, радость, досаду, восторг. Жизнь кишит огенриевскими кульбитами, пореже бы.

Критиковали обстоятельный, временами тяжеловатый юмор: «За всю жизнь я не изувечил ни одного овцевода и не считал это необходимым. Как-то я повстречал одного, он ехал верхом и читал латинскую грамматику — так я его пальцем не тронул». Между тем многословный юмор — истинно народен. Вообще, многословность — исконная жизненная категория, это знает каждый, кто слышал, как простые люди рассказывают анекдоты и происшествия: «А вот еще с одним было...» Такие истории всегда длинны — жаль расставаться с сюжетом, с общественным вниманием, с ролью звезды. Рассказчик путается в деталях и забывает соль, завершая мычанием и бормотанием: «Да, ну вот так оно было, значит...» Сколько я слышал такого в казарме, на рабочем дворе кожгалантерейного комбината, в стекольном цеху стройуправления, в комнате отдыха пожарной охраны — на всех своих неинтеллигентных службах, где помалкивал, вслушиваясь в чудовищные по занудству и захватывающие по правдивости истории — такие, какой была жизнь.

Впрочем, О. Генри почти всегда блистательно афористичен и легко распадается на цитаты: «У вас на ранчо будет пение, а вы его не услышите», «Он был слаб, как вегетарианская кошка», «Каждый доллар в руке у другого он воспринимал как личное оскорбление», «Рот такой формы и таких размеров, что взгляд невольно искал над ним надпись: «Для писем», «Ростом она была примерно с ангела», «Рыжая борода, похожая на коврик для вытирания ног, только без надписи «Добро пожаловать», «Он был свеж, как молодой редис, и незатейлив, как грабли».

Его проза потрафляет читателю, как довлатовская: она достаточно проста, чтобы не испытывать затруднений, и достаточно изысканна, чтобы переживать удовольствие от понимания. Внятный повествовательный голос, довительные обращения к читателю, живой диалог, красочные метафоры, гиперболы, обильные аллюзии. И — краткость, которую он в конце жизни переживал как ущербность: «Я хочу заняться чем-то бóльшим. То, что я сделал, — детская забава перед тем, что я могу, что во мне есть». Чеховский (довлатовский тоже) комплекс отсутствия большой формы. О. Генри в этих муках шел против своей выдающейся максимы: «Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу». Его дорога привела в Нью-Йорк, а тот не располагал к романам: журнальный сюжет должен быть прочитан в подземке.

Это масскульт. Масскультом были театр Шекспира, музыка Моцарта, проза Дюма — дело в уровне. Может, «Дары волхвов» и в самом деле сусальная история для глянцевого журнала. Но — лучшая в мире сусальная история!

О. Генри предсказуем — прочитав два десятка его рассказов, можно угадать концовки всех остальных. Манипулятор, фокусник, технарь, он довел до виртуозности ремесло сюжетосложения, профессионального писания вообще. Это под воздействием О. Генри появились руководства по сочинительству, и я лично знаю молодую женщину, которая, оставшись без работы, купила такое пособие и выпускает уже третий бестселлер. О. Генри вроде бы нашел формулу успеха, что противоречит самой идее творчества, немыслимого без чуда. Но, во-первых, в предсказуемости и лестном для читателя угадывании есть обаяние, во-вторых — все это никак не объясняет, почему перечитывают О. Генри.

Его достижение — разумеется, не сюжетные извивы, а интуитивно, чудесным образом найденная пропорция юмора, здравого смысла, сентиментальности, и этому его научил Нью-Йорк.

Когда я нахожусь вдали от Нью-Йорка, мне хочется напоминать себе и другим, что я — оттуда. Наверное, не надо: печать неизгладима. «Нью-Йорк? — говорит он наконец... — Изначально и время от времени, — говорю я. — Неужели еще не стерся?» Не стирается: в столице мира царит первозданная простота, уроки которой годятся всюду. Самый городской из городов возвращает к Колумбовым ориентирам: в Нью-Йорке все соотносят себя со странами света — «на северо-восточном углу», «двумя кварталами южнее», «западная сторона улицы». Построенный без лекала, умышленный хлеще Петербурга, воплощенная мечта Малевича и Мондриана, Манхэттен вырастает из океанских просторов и пионерских прерий, и язык никогда не даст этого забыть.

Просты идеалы: «Если у меня будут лишние деньги, я сниму где-нибудь хибарку из двух комнат, найму повара-китайца и буду себе сидеть в одних носках и читать «Историю цивилизации» Бокля». С поправками на время и место — Генри Торо, Обломов, Пульхерия Ивановна. Что, если вдуматься, близко: это вровень с человеком. Все — и смех, и чувствительность, и пафос — с человеческим лицом.

Просты принципы: «Вы ведь не презираете денег, Келли? —Я? — сказал Келли. — Я бы убил того, кто выдумал бедность».

В рассказах О. Генри торжествует поэзия товарного словаря, железнодорожного расписания, ресторанного прейскуранта. Не уметь вычитывать ее из жизни — подлинное несчастье. Потому что «самое главное — не бессмертие души и не международный мир, а маленький столик с кривоногим судком, фальсифицированным вустерским соусом и салфеткой, прикрывающей кофейные пятна на скатерти». А то, что люди постановили называть поэзией, занимает подобающее место: «Подобные стихи оскорбляют закон и порядок, но почта их пропускает на том основании, что в них пишут не то, что думают». Просто-таки разнузданность здравого смысла!

О. Генри всеприемлющ и терпим: горожанин обязан быть таким, хотя бы из инстинкта самосохранения, из опаски ответного удара. Страх и выгода — закон общежития и основа правопорядка. Горожанин не добр — он осмотрителен. Это надежнее и долговечнее — как еще обернется доброта, за кого, против кого, с какой праведной яростью? Отсюда — никогда не оскорбительный, не издевательский смех О. Генри. В некрологе юмориста Билла Ная он написал, конечно же, о себе: «Его юмор — чисто американский: основанный на острых и неожиданных контрастах, сближении противоположностей для эффектного сравнения. Шутки никогда не ядовиты. Они сверкают, как летняя молния над горизонтом жизни. Они безвредны, как улыбка ребенка».

Ребенок улыбается, читая О. Генри. У взрослого — набухает слеза. Взрослый знает, что быть веселым — значит быть сильным. Я сдавал эти экзамены в манхэттенской средней школе на аттестат этой зрелости. Учебник или, если угодно, шпаргалка — О. Генри.

Он писал свое пособие по жизни, бродя по великому городу, неизменно возвращаясь к перекрестку с небоскребом «Утюг», вокруг которого размещался его Манхэттен, его Нью-Йорк, его мир. Всего восемь лет и всего несколько десятков кварталов — а сколько вообще нужно? «В большом городе происходят важные и неожиданные события». Чтобы разобраться в них, необходима наводка на резкость — О. Генри это умел. Он внятен, забавен и прост, но — тем не исчерпывается. Зазор неизвестен, потому что неопределим. Он не зря назвал Нью-Йорк «Багдад-над-Подземкой», а рай поместил в Кони-Айленд. Чудеса — за ближайшим углом: это страшно и восхитительно. «Мы в состоянии постичь климат, но погода выше нашего понимания».

■

ПУШКИН ПО-НЕМЕЦКИ

Alexander Puschkin. Jewgeni Onegin. Roman in Versen. Aus dem Russischen und mit Erläuterungen von Rolf-Dietrich Keil. Moskau, Sabaschnikow Verlag, 1997.

Рольф-Дитрих Кайль совершил великое дело, можно было бы даже сказать подвиг, если бы это слово не было так обесценено слишком частым употреблением. Он перевел на немецкий язык «Евгения Онегина» — онегинскими строфами, с рифмами, стилистически соответствующими пушкинским, легкими, звучными стихами. И при этом поразительно точно. Настолько точно, что, если пронумеровать строки, как это делают, например, с Библией, с античными поэтами или в академических изданиях классиков, любой стих перевода будет соответствовать стиху оригинала, в чем легко убедиться, благо издательство имени Сабашниковых опубликовало немецкий перевод en regard с подлинником.

«Перевод, — говорит в примечании Кайль, — охватывает только роман как таковой, то есть главы 1—8, включая посвящение и эпиграфы, а также пушкинскую ремарку «Конец». Это, полагаю, отвечает и основному замыслу Пушкина, и особенно задаче всякого перевода — передать общее художественное впечатление от данного произведения».

Вот эту-то задачу Кайль выполнил, по-моему, великолепно.

Мне хочется сказать несколько слов о переводчике, с которым я познакомился в 1989-м и еще раз виделся в 1993 году в Германии. Как славист, он был во время войны переводчиком высокого ранга в немецкой армии и провел несколько лет в русском плену в особенно тяжелых (именно из-за высокого ранга) условиях. На вопрос, не ожесточился ли он поэтому, не стал ли враждебно относиться к России, Кайль ответил: «Нет. Ведь еще до того, как я попал в плен, я прочитал Пушкина». Мечта Кайля перевести сказки Пушкина не осуществилась и кажется ему неосуществимой вообще. Сказки Пушкина, по его мнению, непереводимы, потому что их дух неотрывен от русского языка. Хотя мне случалось читать прекрасные немецкие переводы такой русской прозы, которую я до того и представить себе не мог в иноязычном обличии, например из Зощенко и Платонова, думаю, в отношении пушкинских сказок Кайль прав. И правоту его доказывает то, что в его вызывающем у меня восхищение и благодарность переводе «Евгения Онегина» единственное, на мой взгляд, неадекватное, как любят теперь говорить, место — это песня «Девицы, красавицы». Не хочу отягощать короткую рецензию разбором немецких строчек и прошу потому просто поверить, что никакой смысловой эквивалент не передает эмоциональных обертонов таких слов, как «душеньки, подруженьки», «молодец», «вишенье» и «песенка заветная».

Эмоциональные обертоны непередаваемы в переводе, по-видимому, особенно тогда, когда имеешь дело с фольклором — сказкой, песней или со «сказом под фольклор», то есть когда нельзя прибегнуть ни к замаскированному под перевод разъяснению — оно убило бы живую речь, ни к эквивалентам из сокровищницы языка переводчика — это перенесло бы читателя на другую национальную почву, погрешило бы против географии. Ведь вот такую, например, трудную с виду задачу, как «Всё *да,* да *нет,* не скажет *да-с* иль *нет-с*» (гл. 2, V), Кайль решает путем описательного объясняющего перевода («не говорит учтивостей, всё «да» и «нет»), а улыбку автора, проглядывающую в эпитафии Дмитрию Ларину, где куда как мирское обозначение чина («бригадир») смешано с богослужебной лексикой («Господний раб»), Кайль играючи передает написанием слова «HErr» с двумя заглавными буквами по немецкой библейской транскрипции...

Нисколько не злоупотребляя переводом-комментарием, Кайль прилагает к своему переводу комментарий как таковой — в конце книги, после самих стихов. И правда, как иначе объяснишь немецкому читателю игру слов в эпиграфе ко второй главе «O rus! /Hor./ О Русь!» Да и как иначе узнает он, какими патриархальными ассоциациями заряжено слово «Русь»? В своем комментарии Кайль предстает не только основательным знатоком русского языка, но и пушкинистом, пристально вчитывающимся в текст и делающим на его осно-

вании выводы, которые выходят за рамки задачи только репродуктивной. Сам комментарий Кайля начинается не пояснением реалий, не переводческой сноской, а историко-литературным рассуждением по поводу эпиграфа ко всему «Онегину». Напоминаю, что в переводе с французского он звучит так: «Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще той особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, — следствие чувства превосходства, быть может мнимого. (Из частного письма)». Кайль комментирует: «По черновикам можно заключить, что Пушкин сам придумал этот эпиграф. Важнее то, что он сохранял его от первого отдельного издания (1825) до последнего. Это подвергает сомнению все толкования, которые пытаются найти существенную перемену в характере Онегина (или стилизовать его под потенциального декабриста)».

Есть случай, когда из пушкинского примечания (к стиху «Ее сестра звалась Татьяна»: «Сладкозвучнейшие греческие имена, каковы, например, Агафон, Филат, Федора, Фекла и проч., употребляются у нас только между простолюдинами») Кайль делает как переводчик практический вывод. В комментарии к соответствующей строке он дополняет пушкинское замечание своим наблюдением: «Эти имена святых производят такое же впечатление, как в немецком, например, Корбиниан, Теофил, Крescентия, Эвлалия», а когда имя Агафон появляется в «Онегине» ниже, в последней строке IX строфы пятой главы: «Смотрит он / И отвечает: Агафон», Кайль руководствуется этим своим наблюдением и переводит с полной уверенностью, что в данном случае его отступление от «буквы» оправданно:

Er sieht sie an
Und antwortet: «Korbinian».

Кайль отмечает в своем комментарии, что в онегинскую пору английские романы читались в России во французских переводах, и вставляет имена Ловлас, Ричардсон, Грандисон в свой стих таким образом, чтобы они читались, как у Пушкина, с ударением на последнем слоге, что для немецкого слуха непривычно и сразу простейшим образом переносит нынешнего немецкого читателя в другую страну и в другую эпоху. Соблюдая, однако, меру, немецкое по происхождению «Фрейшиц» («Вольный стрелок», название оперы Вебера) Кайль дает с естественным для немца ударением на первом слоге.

Я не уверен, что сегодня и каждый русский читатель не задумавшись объяснит, как понимать «новый он принял венец» или что значит «пучок зари». Кайль знает смысл подобных мест и если не проясняет их для читателя-немца самим переводом, потому что не хочет жертвовать легкостью стиха и построчным соответствием подлиннику, то в комментарии он все-таки дает нужное пояснение, лишний раз подтверждая свою историко-литературную компетентность и свою переводческую взыскательность. «Русское слово «венец», — пишет он, — может означать и «венчик», и «корона». Я думаю о «Jungfernkranz» («венец невесты», «брачный венец». — *С. А.*), но мне нужно было односложное слово». Кайль перевел «Kranz».

Рискну признаться, я не уверен, что стихи вообще переводимы, а тем более стихи гениальные. Полагаю, что «роман в стихах», то есть произведение с фабулой, сюжетом, действующими лицами, психологическими портретами, картинами быта, более все-таки благоприятный, при всех лирических отступлениях, для переводчика жанр, чем чистая лирика. Но когда я перечитывал строки, предваряющие «Письмо Татьяны к Онегину»:

Но вот
Неполный, слабый перевод,
С живой картины список бледный,
Или разыгранный Фрейшиц
Перстами робких учениц, —

я думал, что к работе Кайля можно приложить только антонимы всех этих эпитетов. Сильный, яркий, умелый и смелый перевод, с которым можно поздравить и Рольфа-Дитриха Кайля, и немецких читателей.

С. АПТ

«К УМЕРШЕМУ В ЮНОСТИ»

...Дух умершего в юности
молча ступил меж нас...
Георг Тракль

Георг Тракль. Стихотворения. Проза. Письма. С.-Пб., СИМПОЗИУМ, 1996.

Стихийный всплеск интереса к лирике Георга Тракля (1887—1914), неожиданно захлестнувший литературную Россию лет пять—десять назад, принес свои плоды: в петербургском издательстве «Симпозиум» вышла книга его произведений с текстами параллельно на двух языках: немецком и русском. Впервые в России достаточно полно представлены стихотворения и проза Тракля, приведены «избран-

ные места из переписки». Серьезная вступительная статья австрийского исследователя Вальтера Метлагля о его жизни и поэзии, послетекстовый комментарий, библиография переводов на русский язык отвечают намерению издателей представить по возможности полную картину творчества знаменитого австрийского поэта начала века.

Четвертый из шести детей почтенного торговца скобяным товаром, будущий поэт Георг Тракль родился и вырос в Зальцбурге. Из седьмого класса государственной гимназии был отчислен за неуспеваемость и стал учеником аптекаря в аптеке «У белого ангела», где впервые попробовал наркотические вещества. Окончив курс в Венском университете (он изучал фармакологию), прошел годичную добровольную службу в армии и получил должность военного провизора при аптеке гарнизонного госпиталя в Инсбруке. К тому времени его стихи регулярно печатались в журнале «Бреннер», шла работа над первым (опубликованным) сборником «Стихотворения» (1913). Сразу после объявления войны Тракль как резервист был призван и попал на фронт, а уже 3 ноября 1914 года умер в госпитале от остановки сердца. «Суицид вследствие интоксикации кокаином» — было записано в его истории болезни.

«Мне никогда не был дан дар говорения», — писал Тракль своему однокашнику Карлу фон Кальмару. Среди всех способов выражения мысли поэт отдавал предпочтение «письменному слову». Слова, написанные им, пережили своего автора уже почти на сто лет, повлияв на многое из написанного и ненаписанного в нашем веке.

И дело не только и не столько в новых поэтических формах и «новаторских мелодико-ритмических композиционных фигурах» (на которые указывает Вальтер Метлагль), а скорее в том, что созданное Траклем поэтическое пространство обладает некоей цельностью, автономностью и благодаря этому может сколь угодно долго существовать во времени, оставаясь органичной частью культуры.

Из стихотворения в стихотворение кочуют похожие на галлюцинации образы в обязательном сопровождении звуков и запахов; элементы стихотворения движутся и взаимодействуют по законам, ясным интуитивно, но не поддающимся точной формулировке и оттого называемым (например, Вальтером Метлаглем) «законами музыкального построения» (хотя, как мы увидим, «законы цветовых соответствий» было бы не менее справедливо), — все это позволяет считать Тракля поэтом «единого стихотворения», который постоянно создавал, обживал и одушевлял одно и то же лирическое пространство.

Воспринимая «все голоса, которыми говорит мир вокруг», как безжалостные, вызывающие боль (письмо к Гермине фон Раутерберг, 5.10.1908), Тракль угадывает сосуществование в мире «выразимого» и «несказанного» — кстати, именно эти понятия несколько лет спустя получили в трудах другого австрийца, Людвига Витгенштейна, статус важнейших философских категорий и легли в основу философской системы.

«Несказанность полета птицы» не отпускает поэта, она хочет быть выражена. И наряду со словами в ход идут паузы, молчание — ибо «О чем невозможно говорить, о том следует молчать»[1], — которые уводят Тракля от традиционного рифмованного стиха к верлибру и во многом формируют своеобразное деление на строки и строфы в его поздних стихотворениях.

«Я в конце концов навсегда останусь бедным Каспаром Хаузером», — пишет Тракль своему другу Эрхарду Бушбеку. Действительно, аналогия напрашивается: как и Каспар (юноша, найденный в прошлом веке в одном из заброшенных подвалов Нюрнберга и вынужденный осваивать заново человеческий язык), поэт постоянно сталкивается с невозможностью выразить бушующую в нем стихию образов и чувств языковыми средствами, скудными по сравнению с этим богатством. К образу нюрнбергского найденыша, вскоре погибшего от руки убийцы, поэта влечет и предчувствие собственной ранней смерти — мотив, снова и снова возникающий в его стихах. Смерть, как он опасается, помешает и ему овладеть языком «несказанного», то есть «родиться в вечность». Собственно, его «Песня Каспара Хаузера» и об этом тоже: «С серебристым вздохом поникла голова нерожденного» — такова последняя строка названного стихотворения в переводе И. Болычева.

В поисках спасения от «безжалостных голосов» Тракль наполняет свой лирический мир запахами, шепотами и шорохами, насыщает его цветом. Внимание поэта к «неязыковым средствам» вполне закономерно, учитывая стремление приблизиться к «несказанному». И запах дегтя смешивается у него со сладким запахом яблок, музыка Шуберта служит фоном еле слышному звуку, с которым «улыбка погружается в ветхий колодец», а тайна, сокрытая в «красном безмолвии твоих губ», растворяется

[1] Заключительная фраза «Логико-философского трактата» Людвига Витгенштейна.

в синеве и принимается как данность: «Облаком синим твой лик / В душу мою низошел» («В пути»).

Среди «неязыковых средств», широко используемых поэтом, нам хотелось бы выделить цвет — ибо характерный вообще для немецкоязычной поэзии XIX—XX веков цветовой символизм особенно ярко проявился в лирике Тракля. К тому же именно этот аспект ускользнул от внимания автора вступительной статьи.

Начнем с цитат:

О, черный ангел, что молча из недр
древесных ступил,
когда были мы мирные дети в час вечерний,
у колодца, чья глубь голубела.
Покоен был шаг наш, округленны глаза
в бурой осенней прохладе.
О, пурпурная сладость звезд...

(«К умершему в юности», перевод С.Аверинцева)

и

Голубизна моих глаз в эту померкла ночь,
Красное золото сердца. О, как тихо
горел огонь.
Твой синий плащ окутал поникшего;
Твой алый рот печатью скрепил
ума омрачение.

(«Ночью», перевод С. Аверинцева).

Если теперь проследить, с каким настроением ассоциируется у Тракля каждый цвет, в каких контекстах употребляется, какие поля смысловых и чувственных ассоциаций пробуждает, можно нащупать некое правило, один из «законов природы» его лирического мира.

Начиная с Новалиса (знаменитый «голубой цветок»), во всей немецкоязычной поэзии синий (голубой) цвет стоит особняком. И лирика Тракля — не исключение. Кстати, с этим же цветом связана одна из главных трудностей адекватного перевода: по-немецки слово «blau» обозначает как «синий», так и «голубой», — то есть перевод всегда несколько произволен. Для русского же читателя эти два цвета весьма существенно различаются, и различия влекут за собой почти непересекающиеся ряды ассоциаций.

Вернемся к траклевской синеве. В ней — дыхание божественного, неторопливость размышлений, вечер и ночь, молчание и тени умерших. Очень «синее» настроение задано, как нам кажется, в стихотворении «Ночная песня»:

Недвижного мира дыханье. Лик зверя,
застывший перед святостью синевы.
Безмерно молчанье, живущее в камне.

Маска полуночной птицы. Плавно сливается
в звук неделимый трезвучье. Илу! Твой лик
безмолвно склонился над синей водой.
О правды тихие зеркала! У одинокого
на виске из слоновой кости
падших ангелов отсвет.

(Перевод В. Вебера)

Синее — область духовного, бесконечного, трансцендентного. Это цвет тайны и вечности. Цвет души, покинувшей тело.

Но мир двойствен. А значит, двойствен и человек. С вечным сосуществует преходящее, духовное подразумевает телесное, возвышенное сочетается с будничным. Двойственность порождает контрасты, в том числе цветовые. И в поэзии Тракля «аполлоническому» синему противостоит «дионисийский» красный:

Цвет алый — головокруженья,
Цвет солнца сквозь твои ладони.
Блаженство сердца, дрожь погони
В немом предчувствии свершенья...

(«Маленький концерт», перевод И. Болычева)

Эпитеты «красный», «пурпурный», «маковый» появляются в его стихах, когда речь идет о страстях и пороках («пурпурное пламя похоти»), о физическом страдании, боли. С красным цветом ассоциируется телесное в человеке в противоположность духовному. Отсюда характерное для Тракля «двуцветное» восприятие людей: «синяя тень человека: из раны под сердцем хлещет пурпурная кровь».

Если сама по себе боль связана с красным цветом или его «носителями» (кровь, рана, рот и т. д.), то безысходность страдания, его будничность и безнадежность помимо красного влечет появление коричневого, бурого, желтого цветов:

Осенним пурпуром сады опалены.
Здесь каждый день безрадостен и труден:
Охапки бурых лоз проносят люди,
И кроткой грустью взгляды их полны...

(«Превращение», перевод О. Бараш)

Зеленый — цвет жизни как таковой, вне противостояния духовного и телесного («радость зелени»), но это и цвет тления, гниющей плоти. То есть цвет противоречивый сам по себе:

...Душа воспевала смерть, зеленое тление
плоти,
И лес неумолчно шумел...

(«К умершему в юности», перевод С. Аверинцева)

Черный — цвет физической смерти, распада, цвет зловещих теней и предчувствий. Черный антонимичен красному, правда, в ином смысле, чем синий:

Неба черного металл.
Криком красный мрак пронзая,

Воронья густая стая
В мертвом парке правит бал.

Эта строфа задает систему отсчета стихотворения «Зимние сумерки» (в блестящем переводе И. Болычева).

Белый цвет — вечная жизнь, жизнь после смерти, заранее оплаченная страданием, отсюда, например, «белая жизнь» Сони (Мармеладовой), ее «белые брови», усыпанные снегом (стихотворение «Соня»).

Разумеется, приведенный выше «толковый словарь цветов» не только не полон, но и достаточно условен. Однако даже он в какой-то мере иллюстрирует исключительную важность цвета в поэтике Тракля.

С этой точки зрения интересна параллель с немецким поэтом Готфридом Бенном, младшим современником Тракля, который, теоретически причисляя обилие цветовых эпитетов (за исключением все того же «blau») к недостаткам поэтического произведения (см. эссе «Проблемы лирики»), опровергал собственное утверждение, постоянно разрабатывая в своих стихах цветовую символику и, в частности, цветовой контраст «аполлонического» синего и «дионисийского» красного.

Завершая разговор о книге, хочется отметить высокий общий уровень переводов (среди переводчиков — С. Аверинцев, И. Ахметьев, И. Болычев, В. Вебер, И. Куприянов, Г. Ратгауз, В. Санчук, В. Топоров и др.). Многие переводы были сделаны специально для этого издания. В некоторых случаях приведены сразу несколько русскоязычных версий одного стихотворения, что создает у читателя более объемное представление об оригинале.

По замыслу составителя А. Белобратова, книга призвана в какой-то мере «подвести предварительные итоги» литературной судьбы Тракля в России, где в течение первых восьмидесяти лет XX века было опубликовано в общей сложности одиннадцать стихотворений поэта, а уже в первой половине 90-х годов помимо многочисленных журнальных публикаций вышли три отдельные книги его стихов. Связан ли как-то всплеск интереса к поэзии Тракля с бурными переменами в российской жизни (совпадение по времени налицо) — вопрос естественный, но скорее риторический. Гораздо важнее, что каждый из нас получил возможность открыть для себя яркого поэта уходящего века, поэта смятения и надлома, чьи стихи созвучны многим эпохам, но нашей, может быть, в особенности.

Е. СОКОЛОВА

В ОПРОВЕРЖЕНИЕ СЛУХОВ О КОНЦЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ИСТОРИИ

История литературы США. Литература колониального периода и эпохи Войны за независимость. XVII—XVIII вв. Том 1. Отв. редактор М. М. Коренева. М., «Наследие», 1997.

Случаю подобает эпический зачин: раз в полстолетия в нашей стране выходит первый том академической истории литературы США. Первый первый том увидел свет в 1947 году, второй первый — в прошедшем 1997-м. Две книги, положенные рядом, зримо свидетельствуют о том, что знание не стоит на месте. То, что в издании 1947 года изложено на ста страницах, в новейшем развернуто на восьмистах — весомая разница, и не только количественная. В сравнении (к примеру) с беглой, в два абзаца, характеристикой Анны Брэдстрит, родоначальницы всех американских поэтов, — почти двадцатистраничная глава о ней же, где есть стихотворные цитаты, анализируется биографический контекст, поэтика и проблематика творчества, это явно и качественно иной уровень освоения материала. Старую «Историю» писали трое (А. А. Елистратова, Т. И. Сильман, А. И. Старцев), у новой — девять авторов (Е. М. Апенко, А. В. Ващенко, Я. Н. Засурский, А. М. Зверев, М. М. Коренева, Э. Ф. Осипова, Е. А. Стеценко, С. А. Чаковский, Н. Л. Якименко) — еще одно косвенное свидетельство роста масштабов нашей американистики.

Что же удалось в итоге? Удалось, как уже сказано, достичь впечатляющей фактографической полноты и зрелой проблемности в трактовке литературных явлений. Удалось заполнить вопиющие лакуны, посвятив, в частности, отдельные главы поэзии Эдварда Тэйлора и философско-богословскому наследию Джонатана Эдвардса, чьи имена в старой «Истории» даже не упоминались. Удалось существенно расширить картину американской словесности XVII—XVIII веков: в ней фигурируют теперь фольклор и журналистика, ораторское искусство, драматургия, литературная критика. Академическая основательность в сочетании со свободой изложения — легко опознаваемые признаки профессионализма. В нем залог привлекательности издания и для искушенного коллеги-американиста, и для студента, осваивающего историю литературы США, и для любопытствующего читателя, нуждающегося в сведениях по конкретному вопросу.

Надо сказать, что в самой Америке за последние полвека были предприняты по крайней мере три авторитетные попытки написать историю собственной словесности, из них две истории — так называемые «Колумбийская» (1988) и «Кембриджская» (1995) — в течение последнего десятилетия. Обе интересны, обе — каждая по-своему — запечатлели кризис, в котором пребывает сегодня история литературы. Как самостоятельный объект исследования литературный процесс грозит потеряться, раствориться в переплетении языковых, культурных, идеологических практик. Привычные категории — «период», «жанр», «литературное направление», — будучи осознаны как условные, исторически-изменчивые конструкты, из рабочих инструментов историка превратились в предмет интенсивной рефлексии. Под сомнением — сама история (претензия на знание «о том, что было на самом деле»), а равным образом и «национальная идентичность», «национальное своеобразие». «Сегодня нет объединяющего видения национальной самобытности», — признает Эмори Эллиотт, редактор «Колумбийской литературной истории Соединенных Штатов». Что же остается историкам национальной литературы? Представлять «разнообразие точек зрения», выдерживать — с бесконечной политической корректностью — «принцип полифонии». И вот результат: «История литературы США в XX веке все больше превращается в историю литератур США, окончательной интеграции которых не происходит».

Установка на плюрализм, принципиальную мозаичность, гетерогенность, неслиянность может быть по-своему плодотворна (об этом свидетельствует опыт американского литературоведения последних десятилетий), но она же чревата издержками — утратой целостного видения, смысловой перспективы. Извне американскую (как и вообще «другую») культуру несравненно легче представить как целое, но тем важнее напоминать себе, что целостность в значительной мере иллюзорна — конструируема, воображаема нами.

Как же воздать должное разноречию культуры, не превращая его в фетиш? Как обнаружить в ней единство, не впадая в грех «тотализации»? Эти вопросы сегодня вынужден решать для себя каждый гуманитарий. Американская литература, с ее неоспоримыми достоинствами и раздражающими недостатками, в наши дни — «наиболее читаемая в мире», «обладает... широчайшим полем притяжения». Осмысление ее прошлого опыта неизбежно заземлено в сегодняшних спорах и культурных коллизиях.

Задача новейшей российской «Истории литературы США» сформулирована весьма осторожно: «расширить наше традиционное видение историко-литературного процесса в США», но при этом «избежать внеэстетических подходов, которые у некоторых американских энтузиастов реконструкции и пересмотра канона становятся едва ли не основными» (имеются в виду поборники расово-классово-гендерного подхода, у которых рассуждения об «эстетической самоценности» вызывают реакцию заведомо враждебную).

Здесь приходится иметь дело с примечательным парадоксом. Если для российского академического сообщества в последние три десятилетия были актуальны усилия отстоять относительную «автономию» литературы (с ее «собственно эстетическими законами»), защитить ее от посягательств идеологических доктринеров, то в западном (прежде всего американском) литературоведении той же поры, на волне контркультуры и возросших в ее лоне культурологических штудий, идея эстетической автономии подвергалась массированной критике, подчас и отвергалась напрочь как результат определенного («антидемократического», элитаристского) идеологического выбора. История американской литературы, которая пишется по-русски в конце 1990-х годов, вынуждена решать задачу исключительно сложную: надо удержать то ценное, что несли в себе традиционные историко-литературные подходы, по возможности учитывая плодотворные новации «пост-постструктуралистской» гуманитарной науки, и — не принимая на дух «вульгарного социологизма» — надо уметь опереться на опыт серьезной социологии и антропологии литературы.

Но обратимся к содержанию тома. Одна из его сквозных тем связана с явлением не собственно литературным, но для литературы важным: с развитием фольклора, как сугубо «местного», так и «привозного» (африканского, европейского происхождения). Драматическая встреча людей разных рас, воспитанников разных континентов (по тем временам — все равно что инопланетян!) сопровождалась сложными взаимопроекциями: европейцы видели в индейцах то ли «исчадий ада», то ли заблудших предков библейских племен, индейцы в белых — «утраченных белых братьев», явившихся из-за Большой Воды во исполнение древних пророчеств, и так далее. В аборигенном и негритянском фольклоре запечатлелись разные ипостаси общечеловеческого идеала, подвергшиеся — в конкретных социальных условиях — жесточайшему испытанию на выживание.

Два основных раздела тома посвящены, соответственно, литературе XVII и XVIII веков. По объему они соотносятся как три к пяти, что понятно, если иметь в виду сравнительную скудость американской словесности первого века колонизации. «По своему составу американская литература колониального периода, особенно на его начальном этапе, принципиально отличается от того образа, который возникает в нашем сознании при слове «литература». Предметом рассмотрения являются по большей части «описания», хроники, дневники, путевые заметки, биографии и автобиографии, мемуаристика, эпистолография — жанры, по определению направленные на достоверное воссоздание новой, интригующей для переселенцев реальности. Степень «достоверности» была, разумеется, относительной, мало кто заботился и о строгости жанра: нередко в одном сочинении соединяются черты этнографического очерка, исторической хроники, приключенческой повести и даже богословского трактата.

В отношении традиции Старого Света пишущие американцы чувствуют себя пока прилежными подражателями, свобода проявляется разве лишь в выборе объекта для подражания. «Сознательно отринув художественные достижения Возрождения», пуританская Новая Англия «недвусмысленно предпочла им возврат к более раннему художественному опыту», к средневековым художественным формам, которые преобразуются в культурном контексте, уже проникнутом (по Веберу) «духом капитализма».

Принцип организации материала в первом разделе скорее географический, чем исторический: «Литература Новой Англии», «Литература средних колоний», «Литература южных поселений». Это оправдано, с одной стороны, крайней разобщенностью существования колоний в XVII веке, с другой — сохраняющимся и впоследствии «региональным уклоном» американской культурной жизни. Для историка всегда соблазнительно «пророчески» указать на зачатки будущего в отдаленном прошлом. Сознавая всю увлекательность подобных обратных проекций, позволю себе все же усомниться в возможности отнести «начало формирования специфики Юга» с характерным стремлением «его жителей к гармоническому сосуществованию с природой, патриархальному быту, романтизации действительности и комическому мировосприятию» — аж к XVII веку. Этот вывод, слабо оправданный содержанием главы, более напоминает поэтическую вольность.

В разделе, посвященном XVIII веку, географическая (региональная) тема уходит на второй план, зато в названиях глав наряду с именами собственными обильнее представлены литературные роды и жанры: публицистика, поэзия, роман, драма. Проблематика раздела связана по преимуществу с обсуждением природы американского Просвещения.

Свобода — высшая ценность; рост знаний, развитие образования — ее обеспечение. Эти идеи в Америке XVIII века становятся частью культурной аксиоматики, звучат из уст политиков, газетных публицистов, даже церковных проповедников. По причине изначальной приверженности радикальному протестантизму американское Просвещение почти свободно от антиклерикального пафоса, зато более (сравнительно с Европой) склонно культивировать идею веротерпимости, что в конечном итоге «привело к отделению церкви от государства и утверждению свободы совести, чем особенно гордился Джефферсон». С другой стороны, прочная кальвинистская предубежденность не способствовала развитию прожектерства, основанного на благостно-оптимистических представлениях о человеческой природе. Американские мыслители — в большинстве скептики, сознающие, подобно Франклину, что людей «гораздо легче спровоцировать, нежели примирить, они более расположены к тому, чтобы причинять друг другу вред, нежели искупать свою вину, легче поддаются, чем противятся обману». Как бы то ни было, всплеск социальной активности, вызванный Революцией и Войной за независимость, оказал явное — раскрепощающее — воздействие на культуру: «За четверть века поразительного обновления в стране появились первый роман, первая эпическая поэма, первый композитор, первая профессионально поставленная пьеса, первый актер и танцовщик, первый музей, первые значительные живописцы, мастера музыкальных инструментов, граверы, журналы — поистине большинство определяющих черт традиционной высокой культуры». Во второй половине XVIII века в США происходит становление литературы как профессии и социального института. Как и в Европе, ответственнейший «момент перехода словесности из состояния письменного и приватного к печатному и публичному» пришелся на эпоху Просвещения, но здесь (в Америке) отчетливо совпал с первым отчаянным усилием самоидентификации.

При таком объеме поднятого материала и многочисленности авторского коллектива вполне естественно, что уровень письма, будучи в целом высок, не везде ровен. Главное, что том

состоялся как образец сотрудничества, глубоко и взаимно осмысленного. Немногочисленные претензии можно свести, пожалуй, к следующему. При том что общая концепция «Истории» отличается стройностью, структурированность отдельных глав недостаточно очевидна. На вкус, «испорченный» четким выделением уровней в компьютерном гипертексте, бестрепетно-плавное течение повествования от одного сюжета к другому на протяжении десятков страниц — тяжело, удручающе старомодно. Выделенные курсивом оригинальные названия анализируемых произведений — кажется, единственное послабление торопливой прагматичности, которою заражены дети «информационной эпохи». Но разве не им адресована книга?

У читателя может вызвать недоумение и то обстоятельство, что ряд авторов характеризуется «в два захода»: сначала в главе «Хроники и описания. *Формирование светской литературной традиции*» и затем еще раз в главе «*Сочинения новоанглийских пуритан.* Миссия и историческая реальность» (курсив мой. — *Т.В.*) — там и там речь идет об Уильяме Брэдфорде, Джоне Уинтропе, Томасе Мортоне, Томасе Шепарде, Коттоне Мэзере, — причем различия в ракурсе рассмотрения неочевидны. Так же и Мэри Роуландсон, автор прославленного в свое время повествования об «индейском пленении»(1682), фигурирует в «Истории» в первый раз в связи с литературой XVII века, второй — в главе, посвященной XVIII столетию.

Стратегически более выигрышной могла бы стать и заключающая том глава «Русско-американские литературные связи»: в данном случае она невелика и носит по преимуществу фактографический характер. Между тем изучение культурной рецепции выросло в одно из магистральных направлений гуманитарной науки, оно требует к себе самого серьезного отношения, в том числе в контексте написания литературной истории. На смену культу «объективного, беспристрастного... исследования истории» пришел другой императив: глубокая и честная рефлексия над собственной позицией историка-исследователя. «История литературы США», написанная по-русски, будет тем интереснее (не только для русского, но и, скажем, американского ее читателя), чем богаче в ней будет представлен сопоставительный ракурс, чем осознаннее «призма» восприятия, сформированная культурной традицией.

«История литературы умерла» — нехитрая мысль стала модным клише. Но написана же, издана, читается! В 1947 году появлению второго тома «Истории американской литературы» воспрепятствовала «холодная война». Продолжению рецензируемого издания (замысленного в семи томах!) может помешать разве только недостаток денег или энтузиазма. Хочется верить, что достанет того и другого, и удачно — хотя и вторично — начатое предприятие будет доведено до конца.

Т. ВЕНЕДИКТОВА

■

■АРГЕНТИНА

ЭДГАР ПО И К°

Смерть помешала знаменитому американскому писателю Эдгару Аллану По закончить рассказ (а возможно, повесть или роман) — осталось всего четыре страницы, отрывок из дневника некоего человека, о котором известно лишь, что он весьма благородного происхождения. Этот таинственный незнакомец поселяется на маяке, на острове в открытом море, где хочет провести целый год почти в полном одиночестве (его единственный компаньон — пес по имени Нептун). Дневник начат в первые дни 1796 года, и уже 4 января он обрывается...

По заказу барселонского издательства «Альтера» восемь современных аргентинских и испанских писателей продолжили повествование. Так появилась книга «Маяк», в которой соавторами американского классика выступили Кристина Фернандес Кубас, Хавьер Гарсиа Санчес, Анхелика Городишер, Хосе Хименес Лосано, Хуан Перучо, Хуан Мануэль де Прада, Элена Сантьяго и Орарио Васкес Риаль.

Осуществить этот замысел оказалось не так просто: Эдгар По, как известно, один из самых оригинальных и загадочных писателей в истории Нового Света. Как и следовало ожидать, большинство текстов так или иначе повторяют друг друга. Например, многие авторы решили, что герой удалился ото всех, дабы написать некое великое произведение, которое, разумеется, никак не пишется; почти у всех собака наделена способностью видеть таинственные знаки, ускользающие от внимания человека; кроме того, новые тексты изобилуют странными звуками и загадочными и трагичными любовными историями, пережитыми когда-то главным героем.

Как ни странно, наиболее удались те новеллы, авторы которых не старались слепо подражать Эдгару По, а использовали придуманную им завязку в собственных целях. Так, осталась верной себе — и добилась успеха — К. Фернандес Кубас; ироничный, полный изящества и фантазии рассказ получился у Х. М. де Прады (романтическое родовое поместье, разорившийся аристократ, скончавшаяся в расцвете юных лет любовница); крепкое, красивое и убедительное повествование создал Х. Х. Лосано; наконец, О. Васкес Риаль тоже не изменил своим излюбленным мотивам: тайны происхождения, отношения отцов и детей, соперничество мужчин из-за женщины... Интересно только, что бы сказал на все это сам Эдгар По?

■ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

НА ОЧЕРЕДИ — ЗООЛОГИЯ

Если на литературу XX века огромное влияние оказали работы З. Фрейда, то XXI век для прозы может начаться под знаком Ч. Дарвина, ибо за последнее время в западноевропейской литературе появляется все больше романов, где на первый план выступают представители фауны. Возможно, новое течение отражает преклонение перед дикой природой, или разочарование в человечестве (особенно в ученых), или стремление опрокинуть еще одно табу. Как бы там ни было, число подобных книг растет, и одна из них — «Великие обезьяны» (издательство «Блумсбери»), автор которой, английский писатель Уилл Селф, имеет репутацию мастера эпатажа, язвительного насмешника с необычайным полетом фантазии. «Великие обезьяны» эту репутацию полностью подтверждают.

Уилл Селф помещает главного героя, Саймона Дайкса, в антимир: проснувшись однажды утром после бурного алкогольно-наркотического расслабления, бедняга оказывается в мире, где место людей заняли обезьяны, причем поведение их, мягко говоря, можно определить как разнузданное. Впрочем, кое-что новые хозяева планеты полностью переняли у своих предшественников, людей:

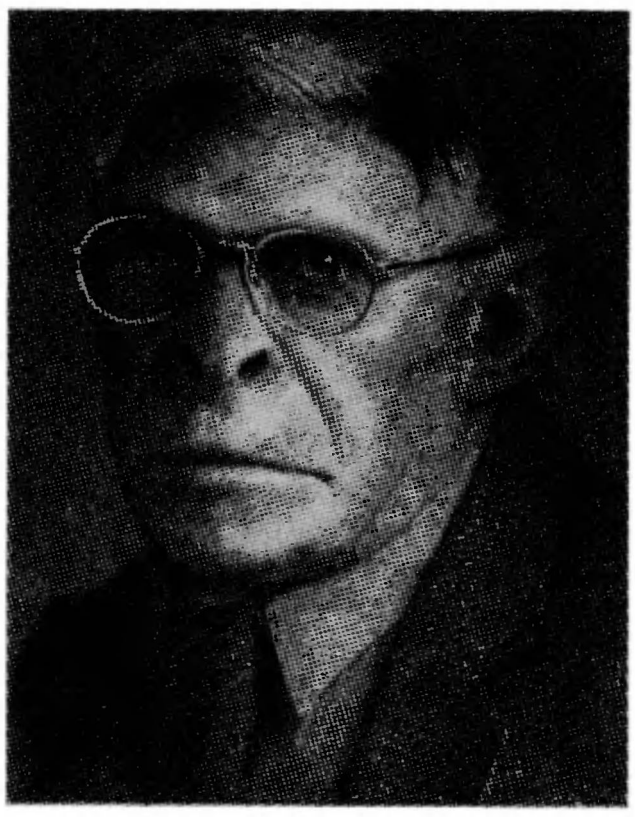


Иллюстрация к книге Уилла Селфа «Великие обезьяны».
(Журнал «Экономист»)

например, они так же обожают шататься по барам и кабакам, а больница, куда помещают Саймона, мало чем отличается от того бедлама, который он помнит еще с «человеческих» времен.

Саймона классифицируют как «человекообразное дерьмо» и отдают доктору Баснеру, специалисту по редким психическим заболеваниям, который должен избавить пациента от бредовых идей о том, что тот является человеком и что человек — венец эволюции, царь среди приматов. Для доказательства обратного доктор ведет Саймона в зоопарк, где в клетках сидят несколько невзрачных двуногих особей...

Автор мастерски справляется с нестандартной ситуацией, в которую он помещает своего героя, при этом демонстрируя неплохое знание повадок животных и нейрохирургической терминологии. Описанное им в резко сатирических тонах обезьянье общество порой вдруг напоминает до боли знакомый человеческий социум.

■ПОРТУГАЛИЯ

ЗАХОТЯТ ЛИ КЛОНИРОВАТЬСЯ ДИКТАТОРЫ?

Званая гостья на Франкфуртской книжной ярмарке, пор-

тугальская литература в лице около полусотни авторов проявила себя с наилучшей стороны. Так единодушно решила не только международная критика, но даже великий скептик Жозе Сарамаго. Знаменательно, что творческий подъем беллетристов передался и публицистам, которые, в свою очередь, всколыхнули читателей не только совершенно новыми, но и, казалось бы, исчерпавшими себя темами.

В самом деле, о диктатуре Салазара написано столько, что, пожалуй, и добавить нечего. Но вот выходит книга «Маски Салазара» (издательство «Нотисиаш») — и критика относит ее к числу тех, без которых «невозможно понять сложную личность этого диктатора и ключевые моменты современной истории Португалии». Этому исследовательскому успеху автор, Фернандо Дакошта, обязан не каким-то сенсационным открытием, а способности взглянуть на ситуацию под иным углом. Его поразила готовность, с которой почти весь народ принимал эту диктатуру. И поскольку ее живучесть была явно связана с личностью Салазара, исследователь углубился в изучение ее потаенных сторон. «В отличие от стандартных диктаторов, Салазар предпочитал свету рампы полумрак кулис, — отмечает Ф. Дакошта. — Оставаясь в тени, он на редкость ловко создавал свой мифологический образ и манипулировал окружающими. Прекрасно зная характер своего народа, он действовал сообразно, и его репрессии были избирательны». Тактика искусного лицедейства и отстрела неугодных — увы — обеспечила ему почти сорок лет правления.

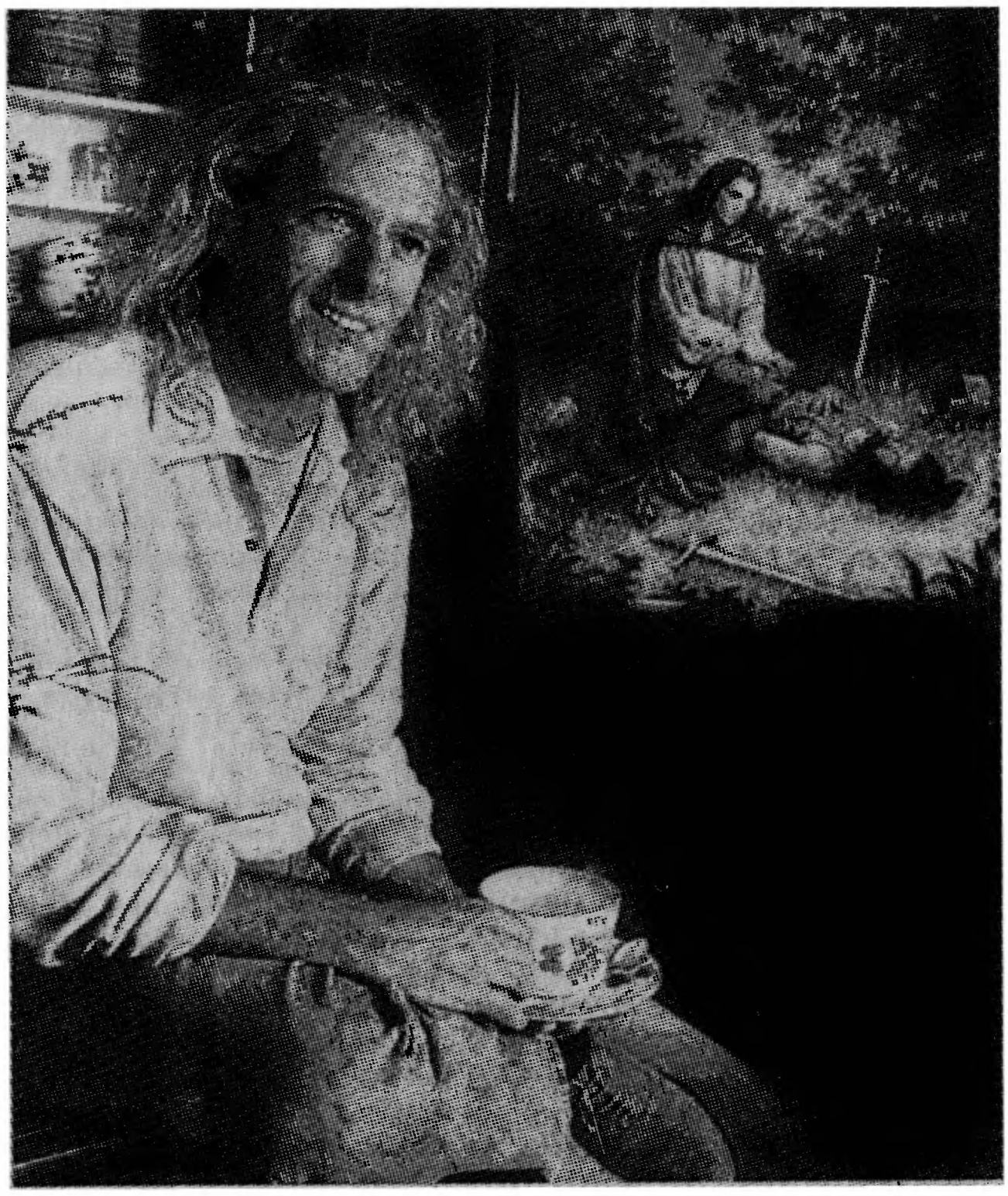
Но это — уже уроки истории. А как поведет себя диктатор в нынешнюю «эру овцы Долли»? На эту и другие темы, связанные с реальной возможностью клонирования, размышляет писательница и журналистка Клара Пинто Коррейа в книге «Клонирование и размножение: правда и вымысел» (издательство «Тексто эдитора»). Материалы о достижениях в области генетики она, биолог по профессии, собирала в США, так что на ее разъяснения можно положиться. Сложнее обстоит дело с психологическими оценками. По логике, клонирование — не для диктатора, так как это противоречит его желанию оставаться единственным и неповторимым. Но если желающий все же найдется? Например, какой-нибудь сумасброд, которому логика — не указ. Что тогда?

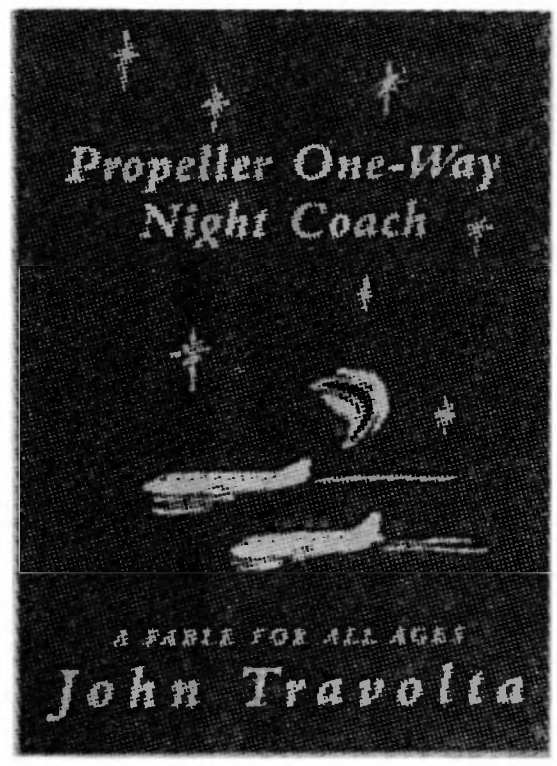
■США

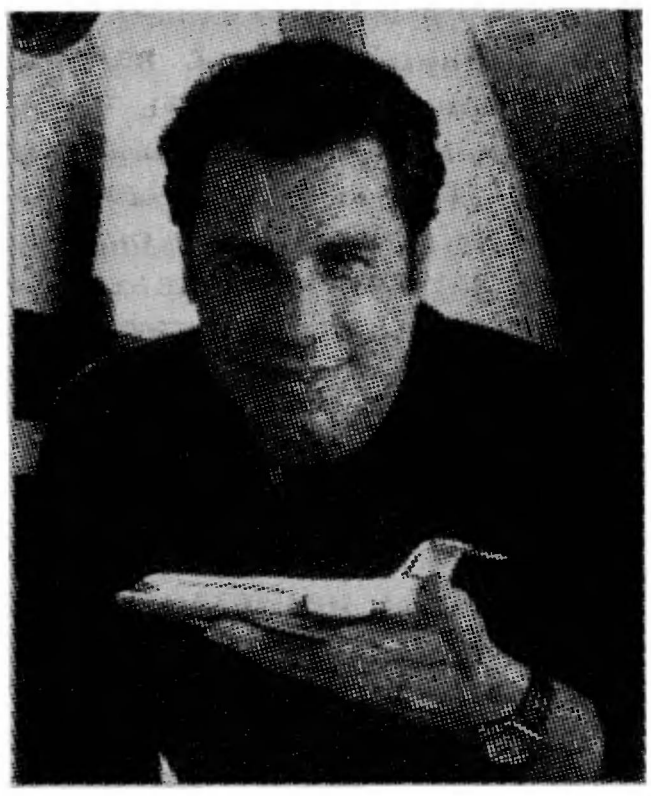
СКАЗКИ ОТ ПЕВЦОВ И АКТЕРОВ

В необычной для себя роли выступили известный американский певец Майкл Болтон и не менее знаменитый актер Джон Траволта: оба попробовали силы в качестве детских писателей. Майкл Болтон провел несколько ночей в старинном английском замке и до того вдохновился увиденным, что за одно утро написал «Тайну утерянного королевства» — сказку о принце, который ушел из замка своего отца и стал жить как простой крестьянин. Поклонникам певца может особенно понравиться то, что изображенный в книге длинноволосый принц сильно напоминает автора.

В отличие от Майкла Болтона, Джон Траволта — не такой уж новичок в писательстве: он уже публиковал ста-







Майкл Болтон и Джон Траволта со своими книгами.

(Журнал «Тайм»)

тьи в журналах «Эсквайр» и «Роллинг стоун». Несколько лет назад он написал книжку для своего сына Джетта, сам ее проиллюстрировал и опубликовал подарочным тиражом — всего 75 экземпляров для друзей и родственников. Но издательство «Уорнер букс» решило ознакомить с книгой более широкие круги и опубликовало ее тиражом в четверть миллиона экземпляров. Так появилась «сказка для читателей всех возрастов» (как гласит ее подзаголовок) под названием «Ночной инструктор по полетам в один конец».

ГИМН ТОЛСТЯКАМ И ТОЛСТУШКАМ

«Кусочек пожирнее» — так назвал свою дерзкую книгу Ричард Кляйн, автор панегирика курению «Сигареты возвышенны» (написав который сам он, однако, курить бросил). Р. Кляйн утверждает, что толстяки страдают напрасно и комплекс неполноценности навязан им обществом, точнее, диетологами, косметологами и специалистами по здоровому образу жизни. Всеамериканские исследования в области здоровья и питания показали, что 59% мужчин и 49% женщин в США имеют избыточный вес, причем десять лет назад эти показатели равнялись 51% и 41% соответственно. Иначе говоря, почти все толстяки, которые решили похудеть и придерживаться диеты, стали в итоге еще толще — и это в стране, где на различные услуги и продукты для похудения ежегодно тратится 33 миллиарда долларов!

Автор предлагает толстякам (да и всем остальным) успокоиться и перестать терзать себя и окружающих этой надуманной, на его взгляд, проблемой. Его рецепт прост: есть надо много, хорошо и не бояться взять «кусочек пожирнее». Свое мнение он подкрепляет как прославлением еды вволю, так и пугающими подробностями борьбы за стройную фигуру. Полнота и искусство, полнота и политика, полнота и религия, полнота и секс, полнота и история — вот лишь некоторые темы, которых касается Р. Кляйн. И он полагает, что полнота всегда играла во всех смыслах заметную роль в истории.

В самом деле, история общества и искусства изобилует примерами знаменитых толстяков и толстушек: Санта-Клаус, персонажи Чосера и Шекспира, борцы сумо, Лучано Паваротти, Орсон Уэллс, Марлон Брандо, Элизабет Тейлор, образы с полотен Рубенса и Ренуара...

Что касается борьбы с лишними килограммами, то ее Р. Кляйн считает куда опаснее и вреднее любого переедания. Риск сердечных заболеваний и диабета, побочное действие снижающих вес лекарств, проблемы с питанием у детей (особенно у девочек), бесплодие и даже смерть — все это сопряжено с диетами и голоданием. Сюда же можно добавить варварское отношение к собственному телу, изнуряющие упражнения, чувства вины, разочарования, тревоги и злобной неудовлетворенности.

А ведь всего сто лет назад женщины следовали советам из книг под названием «Как стать пухленькой». И нынешний панический страх перед, например, блюдом спагетти неразумен: ведь при поступлении в организм углеводов мозг вырабатывает серотонин, помогающий победить депрессию и алкоголизм, клептоманию, навязчивые состояния и патологическую робость. В целом же, по мнению автора, толстяки и толстушки все смелее заявляют о себе — возникают специальные клубы и журналы для полных, не говоря уже о магазинах и страничках в Интернете.

ПЛАГИАТ — ДРУЖБЕ КОНЕЦ

Бурными событиями был отмечен очередной съезд Американских авторов дамских романов: как выяснилось, одна из самых популярных и плодовитых писательниц этого направления балуется плагиатом. Джанет Дейли, которая написала 93 романа, опубликованных общим тиражом 200 миллионов экземпляров, и в честь которой даже названа премия, призналась, что заимствовала фрагменты из книг Норы Робертс (125 романов, 30 миллионов экземпляров).

Открылось все случайно: некий любитель душещипательного жанра прочитал от корки до корки «Дурную славу» Дж. Дейли и «Сладкую месть» Н. Робертс и поместил в Интернете подозрительно схожие отрывки. Нора Робертс, которая публиковала по 10 романов в год, начала внимательно просматривать труды плагиаторши и обнаружила новые совпадения. Джанет Дейли принесла публичные извинения, заявив, что ее действия были порождены нервным расстройством, вызванным стрессом. До неприятного открытия авторши были подругами, однако теперь дружбе, похоже, пришел конец. Как сказала Нора Робертс: «Трудно дружить с тем, кто тебя обокрал».

Незадачливая плагиаторша (справа) и ее жертва.

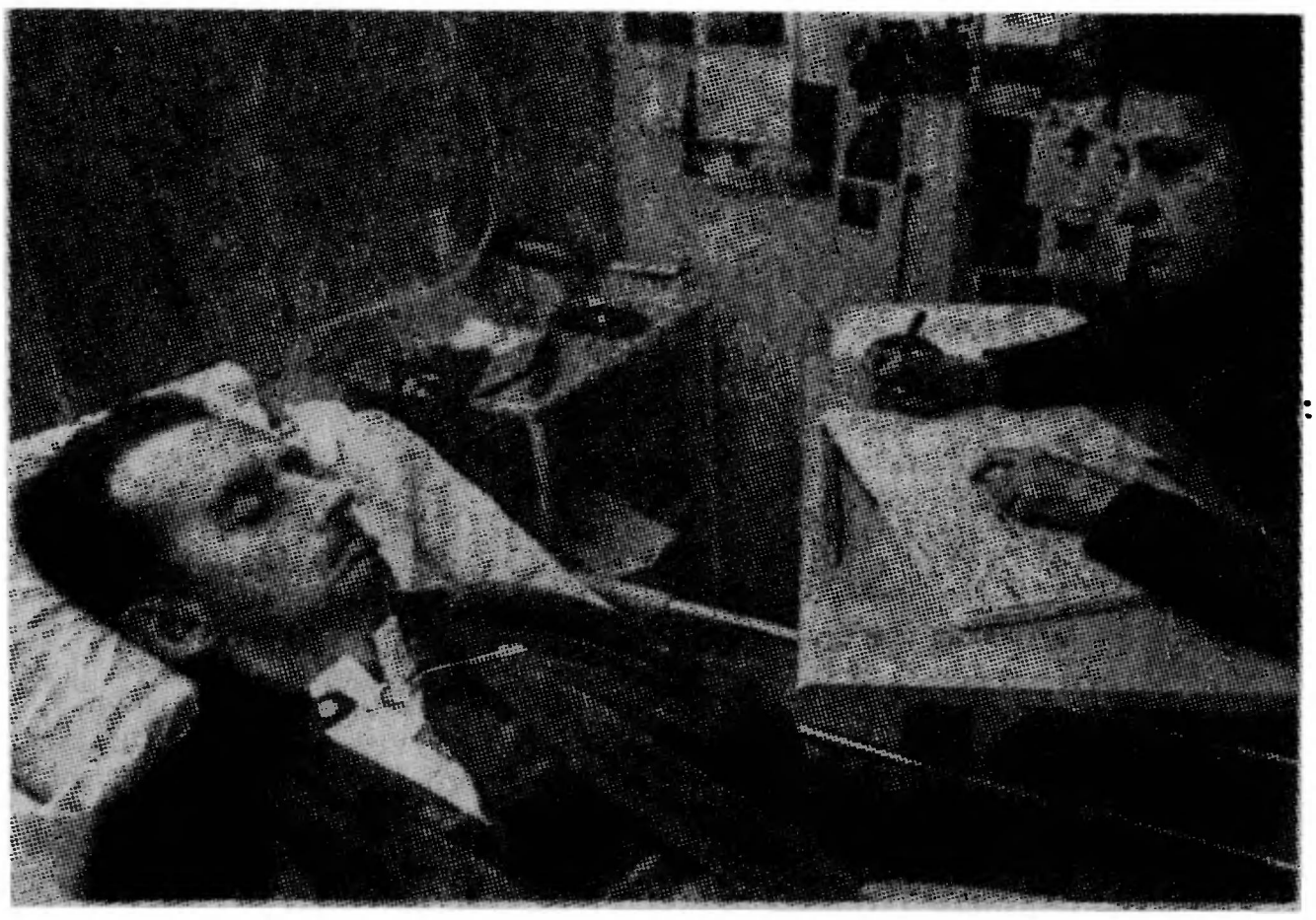
(Журнал «Тайм»)

■ ФРАНЦИЯ

КНИГА, НАПИСАННАЯ ОДНИМ ГЛАЗОМ

В январе 1996 года Жан-Доминик Боби, главный редактор популярного журнала «Эль», оказался в больнице в северонормандском городке Берке. Инсульт, трехнедельная кома и почти полный паралич всего тела — не пострадал лишь левый глаз. Его попросили мигнуть, если он слышит и понимает, что ему говорят. Он мигнул.

Так началось новое существование для некогда активного, жизнерадостного, насмешливого француза. Ж.-Д. Боби захотел сообщить друзьям о своем нынешнем положении и начал выпускать «самиздатовские» бюллетени о состоянии своего здоровья. А затем ему в голову пришла мысль написать книгу, в которой можно было бы рассказать всем о своих чувствах, переживаниях, воспоминани-



Жан-Доминик Боби и Клод Мандибиль за работой.

(Газета «Нью-Йорк таймс»)

ях и фантазиях. И мсье Боби взялся за перо.

В его случае пера как такового, разумеется, не было — он не мог ни писать, ни говорить. Для работы над книгой был использован своеобразный метод: издательство «Робер Лаффон» пригласило специального редактора и секретаря Клод Мандибиль, она зачитывала особый алфавит, в котором буквы расположены в зависимости от частоты их употребления во французском языке, а от Ж.-Д. Боби требовалось мигнуть, услышав нужную букву.

Так создавалась эта уникальная книга — не по строчке, не по фразе и даже не по слову, а по букве. Ж.-Д. Боби должен был держать всю книгу в голове и выдавать практически готовые фразы. Два месяца работы, две недели редактирования — и появился «Скафандр и мотылек», волнующая, увлекательная, порой шаловливая и полностью лишенная жалости к себе 130-страничная книга, состоящая из предисловия и двадцати восьми небольших глав. Книга сразу же стала бестселлером: за первые десять дней было продано почти двести тысяч экземпляров! Увы — ровно через два дня после выхода книги в свет ее автор скончался от сердечной недостаточности в больнице парижского пригорода. Ему было 44 года.

Французский режиссер Жан-Жак Бенеикс снял 25-минутный документальный фильм «Под домашним арестом», в котором запечатлен процесс создания книги и активная, несмотря на паралич, жизнь Ж.-Д. Боби (он даже умудрился пропутешествовать из Нормандии в Париж). Фильм был показан по каналу «Франс-2» через несколько дней после публикации книги.

«МЕРКЮР» ОЗНАЧАЕТ «ВЕСТНИК»

Как известно, книги остаются, а журналы умирают. Однако это еще не повод для забвения, особенно если речь идет о таком знаменитом журнале, как «Меркюр де Франс». Именно так считают Филипп Кербеллек и Альбан Серизье, которые подготовили 600-страничный сборник статей под названием «Меркюр де Франс» антология, 1890—1940 годы», выпущенный одноименным издательством (оно, кстати, было основано четыре года спустя после журнала).

Фактически журнал был основан еще в 1672 году, а с 1890 года выходила его современная версия: 25 декабря 1889 года вышел первый «литературный сборник» — 32 страницы, 600 экземпляров. Уже тогда на него можно было подписаться по всей Франции (включая Корсику и Алжир), а также в Бельгии, Дании, Италии, Норвегии, Нидерландах, Португалии, Швеции и Швейцарии. Очень скоро «Меркюр де Франс» превратился в литературное явление европейского масштаба. Он стал выходить ежемесячно, объемом в 300 страниц, а количество рубрик к 1897 году возросло почти до полусотни: стихи, романы, пьесы, путевые заметки, статьи по философии, библиофилии, искусству и спиритизму... Кроме того, в журнале активно освещались немецкая, английская, итальянская, испанская, русская, нидерландская, венгерская, скандинавская, латиноамериканская и другие литературы.

С журналом сотрудничали крупнейшие авторы: Гурмон, Метерлинк, Жарри, Фарг, Клодель, Аполлинер, Колетт, Мориак, Юрсенар... И это при том, что в начале XX века были основаны также заметные литературные журналы — «Оксидан», «Марж», «Нувель ревю франсез».

В антологии собраны лучшие статьи на самые разные темы: от переводов, прозы и поэзии до хроники и юмора, обзоров французских провинций и злободневных проблем и веяний. Тут и рецензии Ж. де Тинана на романы, полемические заметки Р. де Гурмона, сатирический комментарий о некоем мсье де Голле, опубликовавшем в 1934 году работу «На пути к профессиональной армии», письма в редакцию от Малларме, Гюисманса, Жида, Пруста, Альфреда Дугласа. Антология заканчивается весьма полезной хронологией — 1890—1965 годы (именно в 1965 году «Меркюр де Франс» перестал выходить). Остается лишь подождать продолжения — 1940—1965 годы.

По материалам газет «Паис», «Нью-Йорк таймс», еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», журналов «Тайм», «Магазин литтерер».

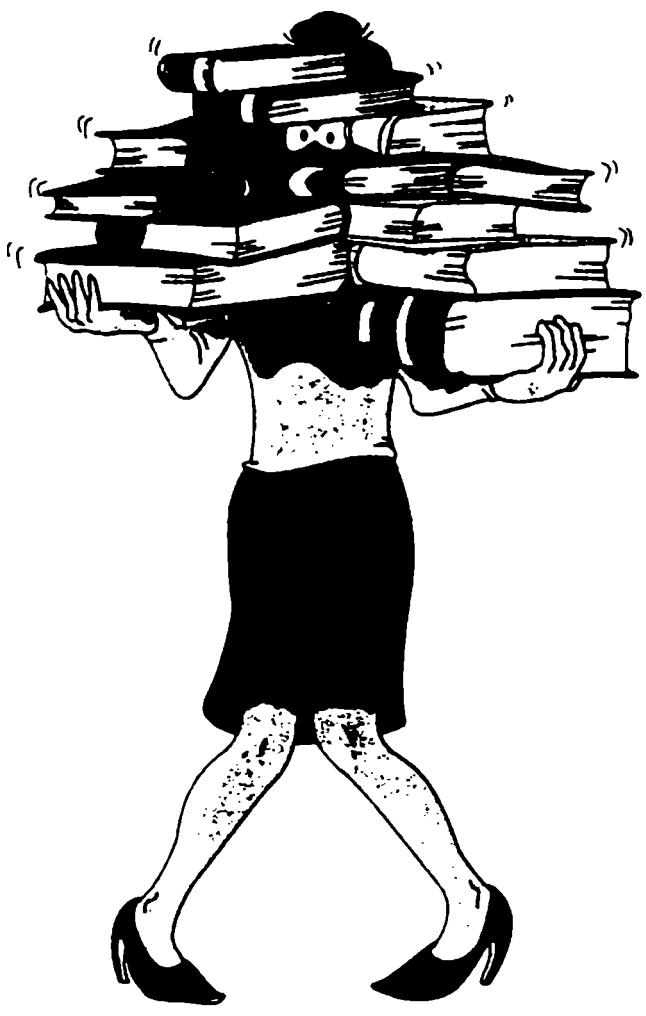
■

Самый большой выбор английских книг в магазине

АНТАЯ

Британские книги

Хлебный пер. 2/3, м. Арбатская



Мы работаем:

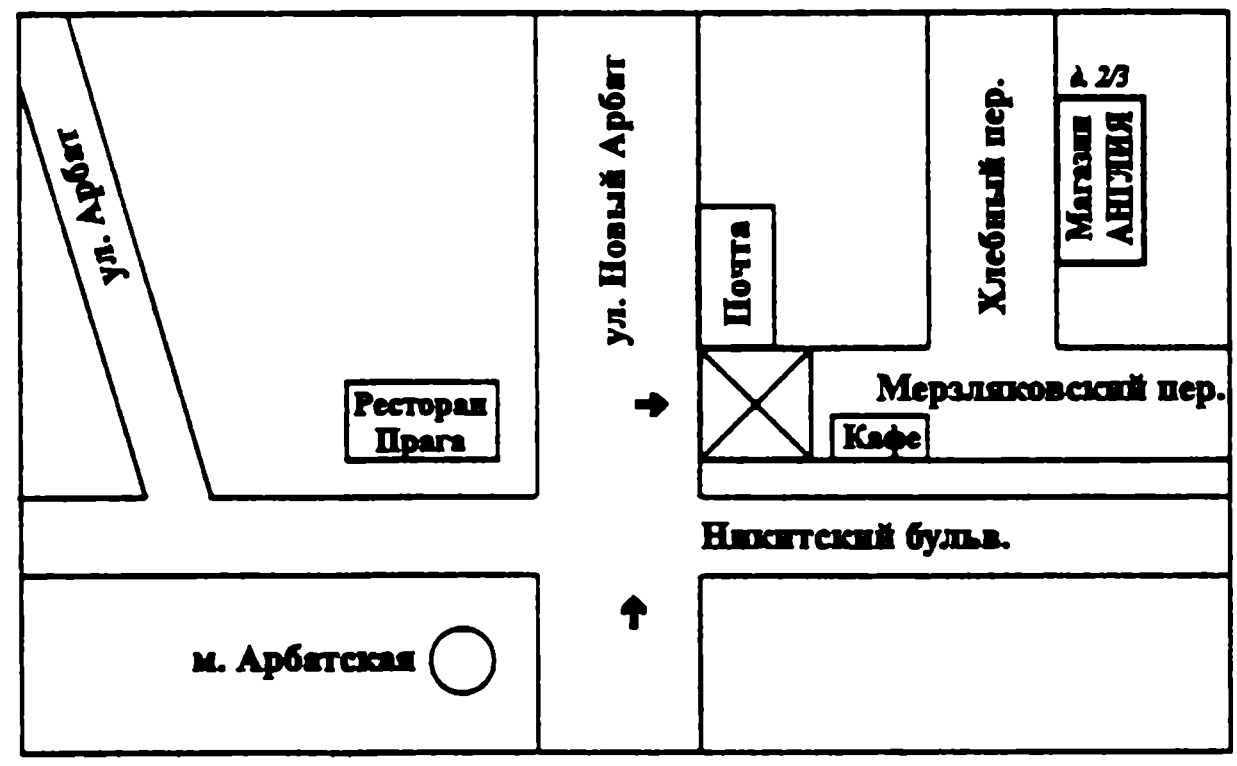
Пн.-Пт. 10.00-19.00
Чт. 10.00-20.00
Сб. 10.00-18.00

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПОЭЗИЯ
УЧЕБНИКИ и СЛОВАРИ
СПРАВОЧНИКИ
АКАДЕМИЧЕСКИЕ КНИГИ
БИЗНЕС и КОМПЬЮТЕРЫ
ИСТОРИЯ и ПОЛИТИКА
ФИЛОСОФИЯ и РЕЛИГИЯ
ПСИХОЛОГИЯ
АРХИТЕКТУРА
ИСКУССТВО и ДИЗАЙН
МОДА
ФОТОАЛЬБОМЫ
МУЗЫКА и КИНО
ДЕТСКИЕ КНИГИ
ПУТЕВОДИТЕЛИ

а также многое, многое другое...

У нас проводятся

- ✔ ***Авторские презентации***
- ✔ ***Литературные вечера***
- ✔ ***Детские праздники***



Информация
по телефону
203-5802

Мы принимаем ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ
на любые книги,
изданные в Великобритании

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

РОМЕН ГАРИ (ROMAIN GARY; наст. имя РОМАН КАСЕВ; 1914—1980) — французский писатель русского происхождения, дипломат. Юридическое образование получил во Франции. В 1938 году окончил летное училище, служил во французской эскадрилье в составе Британских ВВС, во время второй мировой войны участвовал в освобождении Франции от фашистской оккупации. С 1945 года — на дипломатической службе. Автор романов «Европейское воспитание» («Éducation européenne»; премия Критики, 1945), «Корни неба» («Les racines du ciel»; Гонкуровская премия, 1956), «Обещание на рассвете» («La promesse de l'aube», 1960; рус. перев. в «ИЛ», 1993, № 2), «Глотатели звезд» («Les mangeurs d'étoiles», 1966), «Воздушные змеи» («Les cerfs-volants», 1980; рус. перев. в «ИЛ», 1994, № 1, 2), книги «Ночь будет спокойной» («La nuit sera calme», 1974; фрагменты — в «ИЛ» 1994, № 12),. Под псевдонимом ЭМИЛЬ АЖАР — «Жизнь впереди» («La vie devant soi»; Гонкуровская премия, 1975; рус. перев. в Библиотеке «ИЛ», 1988), «Голубчик» («Gros-Câlin», 1974; рус. перев. в «ИЛ», 1995, № 7), «Страхи царя Соломона» («L'angoisse du roi Salomon», 1979; рус. перев. в «ИЛ», 1997, № 9).

Автобиографическая повесть «Белая Собака» вышла во Франции в 1970 году («Le Chien Blanc». Paris, Gallimard).

ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКА (FEDERICO GARCÍA LORCA, 1898—1936) — испанский поэт, драматург. Автор поэтических сборников «Поэма о канте хондо» («Poema del cante jondo», 1921), «Цыганское романсеро» («Romancero gitano», 1927), «Диван Тамарита» («Diván del Tamarit», 1936) и др., трагедий «Кровавая свадьба» («Bodas de sangre», 1933), «Йерма» («Yerma», 1934), «Дом Бернарды Альбы» («La casa de Bernarda Alba», 1936) и др. пьес.

Произведения Ф. Гарсиа Лорки неоднократно издавались на русском языке, его стихи и драматургия наиболее полно представлены в «Избранных произведениях», т. 1-2 (М., 1986), проза — в книге «Самая печальная радость...» (М., 1987).

Публикуемые стихи и эссе взяты из Полного собрания сочинений Ф. Гарсиа Лорки (Obras completas. Barcelona. Círculo de lectores, 1996—1997).

ГЕЛЕСКУЛ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1934 г.) — переводчик. В его переводе публиковались стихи испанских поэтов Ф. Гарсиа Лорки, Х. Р. Хименеса, А. Мачадо и др.; польских — А. Мицкевича, Б. Лесьмяна, Л. Стаффа, К. К. Бачинского; французских — П. Верлена, Г. Аполлинера. В «ИЛ» в его переводе печатались стихи Сесара Вальехо (1983, № 8), андалусская песенная поэзия «Канте хондо» (1986, № 7), поэзия испанских мистиков (1993, № 11), стихи поэтов Арагона (1995, № 5), «Поздние мысли» Поля Верлена (1996, № 7), эссе Хосе Ортеги-и-Гассета («ИЛ», 1998, № 3). Лауреат премии «ИЛ» (1993) и премии «Инолиттл» (1995).

АНДРЕ МОРУА (ANDRÉ MAUROIS; 1885 — 1967) — французский писатель, член Французской академии, классик жанра биографического романа. Многие произведения А. Моруа переведены на русский язык, в их числе «Превратности любви» («Climats», 1928), «Семейный круг» («Le cercle de famille», 1932), «Жизнь Александра Флеминга» («La vie de sir Alexander Fleming», 1959), «Жизнь Дизраэли» («La vie de Disraeli», 1927), «Байрон» («Byron», 1930), «Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго» («Olympio ou la vie de Victor Hugo», 1954), «Три Дюма» («Les trois Dumas», 1957), «Прометей, или Жизнь Бальзака» («Promethée ou la vie de Balzac», 1965) и др.

Эссе А. Моруа «Калибан, который был Ариэлем» («Paul Verlaine: un caliban qui fut un Ariel») напечатано в «ИЛ» (1996, № 7).

Книга «Воспоминания», фрагменты которой публикуются в номере, издана во Франции в 1970 году («Memoires». Paris, Flammarion).

МИЛОРАД ПАВИЧ (МИЛОРАД ПАВИЋ; род. в 1929 г.) — сербский писатель, литературовед, доктор филологических наук, профессор Белградского университета. Автор поэтических сборников и сборников рассказов «Железный занавес» («Гвоздена завеса», 1973), «Кони святого Марка» («Коњи Светога Марка», 1976), «Русская борзая» («Руски хрт», 1979), «Вывернутая перчатка» («Изврнута рукавица», 1989) и др. На русском языке печатались романы М. Павича «Пейзаж, нарисованный чаем» (журнал «Согласие», 1991, № 6, 7), «Хазарский словарь» (фрагменты в «ИЛ», 1991, № 3; полное отдельное издание в Библиотеке «ИЛ», изд. «Азбука», 1997), «Внутренняя сторона ветра» («Унутрашња страна ветра», 1991; журнал «Ясная Поляна», 1997, № 1), «Последняя любовь в Константинополе» («Последња љубав у Цариграду», «ИЛ», 1997, №7), рассказы в сборнике «Набросок сценария со счастливым концом» (М., 1984), рассказ «Корсет» («ИЛ», 1998, № 4), новелла «Шляпа из рыбьей чешуи» («ИЛ», 1997, № 1), пьеса «Вечность и еще один день» («ИЛ», 1995, № 7) и др.
Эссе «Писать во имя отца..?» («Писати у име отца, у име сине, или у ими духа братства?») взято из журнала «Книжевност», № 11/12 за 1990 г.

ЦВЕ́ТАН ТОДОРОВ (род. в 1939 г. в Болгарии, с 1963 г. живет во Франции) — ученый, работающий в разных областях гуманитарной науки: филологии, социологии, культурологии. Автор многочисленных книг, в том числе «Поэтика прозы» («Poétique de la prose», 1971), «Теории символа» («Théories du symbole», 1977), «Мы и другие» («Nous et les autres», 1989), «Лицом к крайности» («Face à l'extrême», 1991) и др.
Книга «Человек, потерявший родину», фрагменты которой публикуются в номере, вышла во Франции в 1996 году («L'homme dépaysé». Paris, Éditions du Seuil).

КУЗНЕЦОВ ИГОРЬ РОБЕРТОВИЧ (род. в 1959 г.) — прозаик, литературный критик. В периодической печати выступает со статьями о современной литературе. В «ИЛ» напечатаны его статьи «Бессмертие путника» (1995, № 6) и «Регулярный парк сновидений» (1995, № 12).

АЛЕКСАНДР ГЕНИС (род. в 1953 г.) — литератор. С 1977 года живет в США. Автор книг (совместно с П. Вайлем) «Современная русская проза» (1982), «Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета» (1983), «Русская кухня в изгнании» (1987), «60-е. Мир советского человека» (1988), «Родная речь» (1990), «Американа» (1991). Перу А. Гениса принадлежат также книги «Американская азбука» (1994) и «Вавилонская башня» («ИЛ», 1996, № 9). В «ИЛ» опубликован ряд его статей: «Гипертекст — машина реальности» (1994, № 5), «Треугольник (авангард, соцреализм, постмодернизм)» (1994, № 10), «Глаз и слово» (1995, № 4), «Бродский в Нью-Йорке» (1997, № 5) и др.

ВАЙЛЬ ПЕТР ЛЬВОВИЧ (род. в 1949 г.) — эссеист. В соавторстве с Александром Генисом написал книги «Современная русская проза» (1982), «Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета» (1983), «Русская кухня в изгнании» (1987), «60-е. Мир советского человека» (1988), «Родная речь» (1990), «Американа» (1991). Неоднократно публиковался в «ИЛ» (1990, № 8; 1995, № 6; 1996, № 1, 3). Ведущий авторской рубрики «Гений места» (1995, № 2, 4, 12; 1996, № 8, 11, 12; 1997, № 6, 7, 11, 12; 1998, № 2, 4).

■Переводчики:

ЗЛОБИНА МАЙЯ ЛАЗАРЕВНА — литературный критик и переводчик. Автор статей о современной зарубежной литературе, публиковавшихся в периодических изданиях. Переводила с французского рассказы и эссе А. Камю, А. Моруа, Ф. Мориака и др. В «ИЛ» в ее переводе напечатаны фрагменты книги «Признание» Артура Лондона (1989, № 4).

ВАРШАВЕР ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА — переводчик с английского. В ее переводе издавались романы «Мы живем в замке» Ш. Джексон, «Бессмертник» Б. Плейн, пьесы «Слуги и снег» А. Мердок, «Отражения» Т. Стоппарда (совместно с Т. Тульчинской), рассказы Б. Маламуда, У. Сарояна, К. Маккаллерс, Т. О'Брайена. В «ИЛ» напечатаны документальная повесть «Кокаиновые короли» Гая Гульотты и

Джеффа Лина (1991, № 3), пьеса «Аркадия» Тома Стоппарда (1996, № 2), рассказы Олив Синиор (1997, № 3) и др.

МИЗРАХИ ИЗАБЕЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА — переводчик с английского языка. С 1981 года живет в США. Автор книги переводов из американской поэзии «Шары» (Контракт — ТМТ, Москва, 1992) и сборника переводов стихов известного американского поэта Марка Стрэнда «Строки для зимы» (Нью-Йорк, 1996).
В «ИЛ» публиковались ее переводы стихов Марка Стрэнда (1996, № 10).

МАЛИНОВСКАЯ НАТАЛИЯ РОДИОНОВНА — филолог-испанист, кандидат филологических наук, переводчик. Автор статей об испанской литературе XX века. В ее переводе публиковались проза и пьесы Ф. Гарсиа Лорки («ИЛ», 1982, № 4), эссеистика и афоризмы Р. Гомеса де ла Серны, автобиографическая книга Сальвадора Дали «Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим» (фрагменты в «ИЛ», 1991, № 12; 1992, № 5-6; 8-9), эссе об Испании Хосе Ортеги-и-Гассета (совместно с А. Гелескулом, «ИЛ», 1993, № 4). Лауреат премии «ИЛ» (1991) и «ИЛлюминатор» (1996).

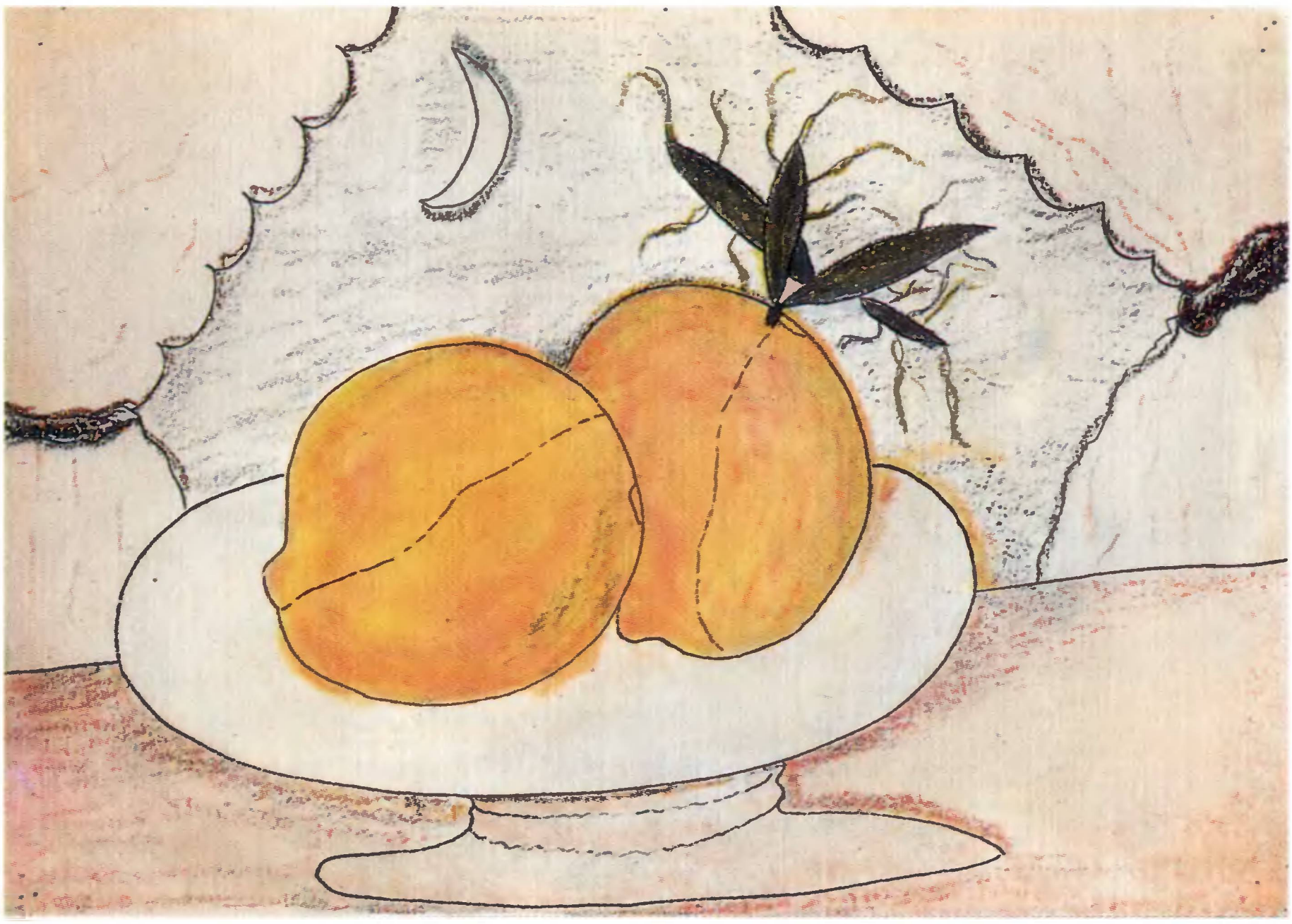
АННИНСКАЯ (ИВАНОВА-АННИНСКАЯ) МАРИЯ ЛЬВОВНА — переводчик с французского и итальянского языков. В ее переводе издавались романы «Осень в Пекине» Б. Виана (рус. перев. в «ИЛ», 1995, №3), «Ловушка для нации» Ж.-Ж. Арно; рассказы Д. Буццати («ИЛ», 1994, № 12), Б. Виана, Т. Ландольфи; эссе А. Жида, Алена (Эмиля Шартье).

САВЕЛЬЕВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА — филолог-славист, переводчик с сербского и хорватского языков. В ее переводе публиковались: повесть «Лесной хозяин» Д. Илича, романы «Хазарский словарь» (фрагменты в «ИЛ», 1991, № 3; полное отдельное издание в Библиотеке «ИЛ», изд. «Азбука», 1997), «Внутренняя сторона ветра» (М., 1997), «Последняя любовь в Константинополе» («ИЛ», 1997, № 7), пьеса «Вечность и еще один день» («ИЛ», 1995, № 7; совместно с Н. Вагаповой) М. Павича; «Форсирование романа-реки» Д. Угрешич, «Ночь генерала» В. Драшковича (М., «Ясная поляна», 1997), «Атлас, составленный небом» Горана Петровича («ИЛ», 1997, № 6), рассказы Й. Радуловича, «Справочник по реальной зоологии» С. Шнайдера («ИЛ», 1996, № 9), работы югославских авторов по истории, социологии и политологии.

КУЛИШ НИНА ФЕДОРОВНА — переводчик с французского и итальянского языков. В ее переводе публиковались романы «Изнанка мюзик-холла» и «Дуэт» Г. С. Колетт, «Из волшебного леса» Дж. Бонавири, повести «Антимоний» Л. Шаши, «Осеннее равноденствие» Дж. Конте, сборник эссе П. Клоделя «Глаз слушает» и др.

■

Federico.
1928



ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1998, №6, 1 — 256.

ИНДЕКС 70394